МОРИС СИМАШКО

Избранное

2

МОРИС СИМАШКО

Избранное

в трех томах

МОРИС СИМАШКО

Избранное

Том второй

АЛМА-АТА
ЖАЗУШЫ
1992

ББК 84 Р7-44
С 37

Симашко М.
С 37 Избранное в трех романах.— Алма-Ата: Жазушы. Т.2.— 1992.— 480с.

ISBN 5-605-00982-6 (Т.2)
ISBN 5-605-00984-2

Во второй том избранных произведений Мориса Симашко вошли романы «Колокол» и «Падение Ханабада».

4702010201—065
С ---------- 15—92 ББК 84Р7-44
402(05) — 92

ISBN 5-605-00982-6 (Т.2)
ISBN 5-605-00984-2

© Колокол, изд-во Жазушы, 1984
© Падение Ханабада, изд-во Жазушы, 1990
© М. Симашко, 1992

КОЛОКОЛ

UNIVERSITY OF WASHINGTON
LIBRARIES

ВСТУПЛЕНИЕ

Николай Павлович умирал. Он лежал и смотрел в посветлевший потолок своим твердым сосредоточенным взглядом. Вчера Мандт, исполняя данное еще полтора года назад обещание не скрывать в этом случае правды, предупредил его о неизбежности конца. Но он знал все уже без Мандта. Это знание пришло в ту минуту, когда адъютант штаба передал ему в среду под конец дня серый продолговатый пакет с сургучом и красными молниями по шву. Первый раз в жизни, прежде чем ровным движением разорвать конверт, он посмотрел на лицо адъютанта. Там было несколько оспинок — на носу и щеках. Прочитав донесение, он положил его на подставку для бумаг и сказал: «Иди, братец!» Потом прошел вниз, в свою комнату, и лег на узкую железную кровать. Так и лежал он со среды, не вставая и не принимая пищи. Только многолетний слуга-чухонец заходил к нему.

Ближние лишь знали, что Николай Павлович слегка занемог простудою перед масленицей на свадьбе у дочери графа Петра Андреевича и в великий пост не смог приобщиться святых даров вместе с семейством. Лейб-медик Мандт ничего тревожного не говорил, даже когда государь перестал принимать пищу. Ждали выздоровления, и все занимались своими делами.

Когда Мандт наедине подтвердил ему неминуемое, Николай Павлович велел позвать проститься императрицу Александру Федоровну и детей. Ровным, твердым голосом он сказал цесаревичу: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Проведение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. После России я вас любил более всего на свете. Служи России».

Делал он все так из чувства того долга, которое было у него в прошлом. Слова выговаривались помимо него, он даже слышал их со стороны. И речь других людей тоже будто слушал теперь не он, а другой, неизвестный ему человек. Болезнь его была

не простуда. Он хорошо знал, что если бы встал, как обычно, в зорю, и начал свой заведенный день, к чему привык еще много раньше — в саперной и инженерной службе, то все бы продолжалось и болезни никакой бы не было. Но продолжаться это не могло.

Впервые ощутилась неизбежность полтора года назад, когда, приехав в свою финскую Александрию на берегу залива, он приложил к глазу морскую трубу. Серые полосы резко приблизились, и он увидел красно-черные железные обрубки с трубами, из которых поднимался черный угольный дым. Они страшны были своей уродливостью. Нелепо торчали в стороны палки механических лебедок, и ни один парус не украшал моря и неба. Как бы не веря себе, он опустил трубу и оглянулся. Шпили Санкт-Петербурга, столицы его царства, были совсем рядом. Англичанин, в котором еще сорок лет назад почуял он угрозу себе, пришел к порогу самого его дома...

Все шло потом у этому концу. Он был неплохой инженер и понимал умом закономерность материальных законов. Синоп, когда лихой его адмирал ворвался в бухту к туркам и с громовым «Ура!» поджег их корабли, был последним свидетельством той русской особенности, коей считал он себя историческим выразителем. Случившееся затем происходило уже в другой, непонятной ему плоскости. Дымящие густым самоварным дымом железные пароходы встали в морях империи напротив Кронштадта, Свеаборга, Севастополя, и тот же адмирал принужден был затопить свои белопарусные фрегаты у входа в собственную бухту. Победоностные до той поры армии стали почему-то топтаться у Дуная, а когда в поддержку султану англичанин и француз высадились в самой Тавриде, не смогли им воспрепятствовать. На своей земле русские склонили знамена на Альме, под Инкерманом и оказались заперты в Севастополе. В среду он узнал об Евпатории, где ничего не сделал и новый его командующий. Это и был конец...

Сейчас он лежал и думал, уже безучастный ко всему. Четыреста тысяч русских войск стояли в Европе, но и одного полка нельзя было взять оттуда. Австрийский и прусский дворы в союзе со шведами не пожелали даже принять на себя обязательств нейтралитета. Двоедушная Австрия, которую совсем недавно спас он от венгерской революционной гидры, сама придвинула двести тысяч войск к русской границе, принудив его уйти из дунайских княжеств. Как же это случилось?..

Некий немецкий родич — князек из умствующих не так давно говорил ему, вежливо приподняв плечи:

— О, Ваше Величество, существует выработанная человече-

ством от классических времен дипломатия, коей законами пренебрегать не следует...

— Говори прямо! — предложил он.

Князек, сам потомственный дипломат, не сбился с тона:

— Наука дипломатии не терпит однообразия даже в людях умудренных. Каждый период требует своего подхода, порой противоположного, и не может в современном государстве один и тот же человек вести дипломатическую политику на протяжении всей своей жизни.

Он воспринял тогда эти слова, как отголосок интриги против своего вице-канцлера. Так и не назвал князек фамилию Нессельроде, что сорок лет уже вершил дипломатию России. Когда сразу же после известных событий, случившихся в его воцарение, решил он пойти на близость с Англией и Францией, граф Карл Васильевич послушно и со рвение осуществил все его предначертания. Потом же, после июльских потрясений в Европе, столь же радиво восстанавливал твердый дух священного союза против всепроникающего французского якобинства. Долг государя, от которого освободился он теперь, не мог позволить ему ставить в вину своему министру столь похвальную исполнительность.

Все делалось разумно и устремленно к цели успокоения в Европе, а следовательно, в российских интересах. Англия противопоставлялась Франции, а главная опора, как и положено со времен французских войн, была на Австрию с Пруссией, где порядок впрямую зависел от его своевременной помощи. Как же получилось вдруг, что не в одной Европе, а во всем мире не нашлось государства, которое бы стало союзником в трудный час. Вопль всеобщей ненависти раздается отовсюду по адресу России, тридцать лет охранявшей европейский мир. В Нессельроде ли дело...

Впрочем, и помимо Австрии или Пруссии со шведами не снять полков из Европы. Состояние мыслей в Западных губерниях таково, что лишь присутствие военной силы гарантирует порядок. Да и никак не умиротворен Кавказ...

Что-то непонятное ему вмешалось и положило предел. Ибо инженерно все делалось правильно. Держава, как и возводимое здание, покоится на расчетах и материале, соответствующем сим расчетам. Мог ли он здесь ошибиться. Сколько лет Россия в его лице одним лишь бряцанием победоносного оружия остужала недобрые страсти. И все вдруг оказалось тленом...

Тело не ощущало ни тепла, ни прохлады. Красноватый свет углей из камина нарушал серость ровного февральского дня, проникающего в окна. Все здесь было просто и необходимо ему. Бумажные обои по стенам, кресло, стулья, диван. Рабочий стол,

на котором портреты жены и детей, трюмо с полочкой, где склянка духов 'Parfum de la Cour', щетка и гребенка. Мебель вся красного дерева с зеленым сафьяном. И еще на стене у трюмо шпага, ружье и сабля. Над спинкой кровати портрет великой княгини Ольги Николаевны в мундире гусар, которым она была шефом. Внутренняя дверь к лестнице наверх, в комнаты императрицы...

В Европе ходили разговоры о его сластолюбии — тут уж поляки постарались. Да и своих язвителей не пересчитать. Между тем, за многие годы была по-настоящему у него лишь некая фрейлина, с которой делил природные человеческие чувства. Постоянная болезненность жены объясняет его грех. Людям непристрастным известно, сколь заботливый был он муж и отец. Случались, правда, у него в краткие часы досуга некоторые амурные приключения, да разве не простительно это христианину, без остатка полагающему жизнь свою на благо подданных. Уж в разврате и разгуле, коим отличались его клеветники, его не обвинишь. Делалось это им пристойно, чтобы не вводить в соблазн других.

Все это было далеко сейчас от него, в той жизни, где исполнялся им долг. Ни одно чувство уже не владело им. Можно было взвешивать в холодной пустоте. Оставалось лишь недоумение...

Наверху камина, в серой ровности, куда не достигал свет углей, стоял единственный в комнате бюст человека, от коего всегда получал он нужный ответ. Не эллинский или римский то был образец. Кто, как не этот граф с нерусской фамилией, наиболее знал и представлял российскую славу. Под Аустерлицем отличился он, осаждал турков, лучшим был в войну Двенадцатого года. И по велению долга первым от русской гвардии тайно представил покойному брату-государю свидетельство про то, что готовится среди взбудораженных заграничными походами умов. Александр Павлович не сделал тогда должного самодержцу вывода, оттого и произошли последующие события.

А уж после его воцарения этот человек принял на себя самую большую трудность, встав во главе важнейшего перед всеми отделения собственной его канцелярии. Все сошлось там: и тайный надзор за направлением умов и выявление делателей фальшивых ассигнаций, и отеческое наблюдение за стихотворцами. Была ли когда в России более кристальная душа, чтобы занять такую должность.

Да, не он один стремился к поставленной цели. Тесный строй сподвижников старше его опытом и годами сомкнулся за его спиной в памятный день возложения им на себя державного бремени. Он лишь олицетворял их волю, волю России. И когда

произошли известные события, то их соединенная воля разметала ряды преступных людей, поднявших руку на само Отечество. Всем известно, что он пытался тогда удержать правосудие от крайностей. Но этот человек на камине настоял на употреблении позорной петли при казни наиболее виновных, явив пример спасительной твердости в государственных делах.

И прочие его министры все почти составили славу России, когда пришлось спасать Европу от узурпатора. Никто их лучше не мог понимать нужды отечества. Однако не одни лишь войны являли тридцать лет его царствования. Ученейший из русских людей кратко и всесторонне выразил цель, коей руководствовалась Россия в своем пути, указанном ей Провидением. Как чертеж в построении величественного здания российской государственности запечатлелись в уме его слова ревнителя просвещения, знатока эллинской и русской словесности, президента Российской Академии наук, графа Сергея Семеновича Уварова, кои высказал тот в докладе к десятилетию Министерства народного просвещения... «Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, состовляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащия; собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастия общественного и семейственного. Без любви к вере предков, народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего ПРАВОСЛАВИЯ, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. САМОДЕРЖАВИЕ составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия... Наряду с сими двумя национальными началами, находится и третье, не менее важное, не менее сильное: НАРОДНОСТЬ...»[1]

Все продумано было в этом меморандуме, и стиль его лицетворил заложенные в нем мысли, вплоть до крайнего, завершающего абзаца: «В заключение всеподданейше осмеливаюсь

[1] «Русская быль» (Эпоха Николая I). Московское книгоиздательское товарищество «Образование», 1910, с. 115—116.

с умилением выразить пред Вашим Величеством, что я считаю себя, в полном значении слова, счастливым, что удостоился быть, в продолжении 10-ти лет, орудием Ваших высоких видов, исполнение коих не могло бы иметь успеха, если б беспрерывное внимание Вашего Императорского Величества, Ваш опытный взгляд, Ваше драгоценное никогда не изменяемое доверие не осеняли меня и министерство на каждом шагу и во всех оборотах служебной деятельности».

Образцом высокой патриотической доблести служил сей документ в его царствование, выражая не приблудные и случайные, а истинно русские качества сердца, души и поведения.

Он не менял своих министров, которые встали рядом с ним в трудный день, как не менял и единожды поставленной цели во славу России. И коль умирали они на своих постах, не мог уже найти им достойной замены. Первым безвременно ушел тот, чей бюст стоял у него на камине. Граф Александр Христофорович Бенкендорф был старшим и опытнейшим из всех...

Нечто в собственных мыслях привлекло вдруг внимание Николая Павловича. Тогда, когда выполнялся им долг самодержца, это было в порядке вещей. Но теперь, получив возможность взгляда со стороны, он ощутил некое несоответствие. Почему вот уже тридцать лет иносказательно называется тот памятный день, когда безответственные умы бросили дерзкий вызов трону и порядку? Картечью были разметены они, а пятеро повешены затем на валу кронверка. Это было законное действие с его стороны, поддержанное всей здравомыслящей, приверженной порядку Россией. Зачем же теперь, отрешившись от всего, даже в мыслях упоминает он это, как «известные события»? И во все его царствование никто на людях не называл этот день иначе. Что означает такая формула: стремление забыть или нечто другое, в чем и нельзя признаваться?..

Тогда, провозглашенный только что государем России, стоял и смотрел он на площадь, где выстроилось каре бунтующих войск. В первый и последний раз воочию видел он тех, кто прямо угрожал ему смертью. Это осталось с ним на всю остальную жизнь, как было предчувствием до того. С ними был его постоянный спор, хоть никогда больше — ни раньше, ни потом — они впрямую не поднимали на него оружие.

Да, так оно было, ежеминутно ощущал он проявления все того же смертного холода, который пахнул на него в тот декабрьский день от молча стоящего каре. И знал сейчас, что умирает от него, и не от чего другого.

В первый раз ощутил он этот холод в малолетстве. Дядька

водил его на плац, где производился развод караула. Безмерно приятны были ему ровность и машинное движение солдатских рядов. Изо дня в день смотрел он на них, и детские сны его были об этом. Как вдруг сон разрушился, из постоянной одинаковости лиц выделилось одно лицо.

Было сделано не так что-то незаметное глазу. Фельдфебельские усы дрогнули, и утверждающий кулак в перчатке заходил где-то среди строя. Так происходило много раз, и еще маленький, он без напряжения смотрел на установление должного порядка в строю. И тогда выделилось это лицо: широкое, скуластое, с рыжеватыми бровями. Серые глаза разбойно потемнели, и фельдфебель, уже понимая, отдернул руку.

— Ну, ты... ты смотри!..— закричал фельдфебель и вдруг побежал, разрушая ровность построения. Солдат гнался за ним, и из-под съехавшего парика трепалась на ветру русая прядь волос. Штык беззвучно вошел в поясницу фельдфебелю. Солдат смотрел, опустив руки, в посветлевших глазах его была отрешенность. На солдата навалились с разных сторон и увели...

Вцепившись дядьке в рукав, стоял он и дрожал от особого, впервые осознанного чувства. Множество раз видел потом он учения и разводы, сам участвовал в них. Солдаты исправно исполняли команды и принимали наказание с должной покорностью. С тем большим упорством ужесточал он дисциплину на учениях, стремясь выявить это непохожее лицо. Послушные его мановению колонны двигались в четком маневре, и начинало казаться, что солдат из детства только приснился ему.

Но снова и снова, в тысячах видов являлась угроза. Когда дерзкий стихотворец приписал ему и сподвижникам его смерть своего знаменитого собрата, вдруг остро ощутилась все та же холодная дрожь. Неправдой было это. Он лично покровительствовал покойному, дал ему соответственный порядку производства чин при своем дворе, оплатил его долги, а убийцу его изгнал навеки из России. Даже своего лейб-медика Арента послал после дуэли к умирающему. И, как знают все, погиб тот от арапской неровности своей натуры. Самого же обличителя постигла потом та же участь, вполне им заслуженная.

А еще отчетливо помнился ему приезд его до воцарения в Лондон с младшим братом Михаилом Павловичем. Наследник английского престола встречал их на набережной. Как только сошли они с корвета, он услышал звонкий голос:

— Гляди, гляди, Джек, кто же из них русским царем будет?

— Да вот тот, рядом с принцем Джимми. Который словно палку проглотил!

Веснушчатое мальчишеское лицо на столбе увидел он. Рыжие кудри трепал морской ветер, и в глазах была дерзкая веселость.

— Чего он глядит так на тебя, Джек? Уж не должен ли ты ему шиллинг? — не унимался другой, внизу.

В толпе смеялись. Он огляделся и увидел вокруг такие же веселые лица. Без всякой боязни смотрели и говорили они. С недоумением повернулся он к наследнику английского престола. Тот тоже смеялся и даже махнул рукой оборванцу на столбе.

Во Франции они так же вели себя, и дерзкая эта заносчивость таила лезвие машины, коей недавно отсекались там головы. С той, первой поездки ощутил он знакомую угрозу и всю жизнь противостоял ей, внимательно наблюдая за положением в Европе.

Такое нездоровое состояние национального духа противно было русской природности. Следовало оградить Россию от того гнилого и разлагающего, что порождено было Западом, и в этом видел он свою задачу. Даже Турцию поддерживал он против греков и сербов, когда поднимали те руку на законные власти.

Четко определив необходимые для России понятия православия и самодержавия, граф Сергей Семенович не совсем уверен оказался в определении народности. Некая расплывчатость присутствовала в его словах... «Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице Русского царства. Относительно к народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует НЕПОДВИЖНОСТИ в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна. Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий; если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию».

На твердом постаменте практики разрешал он со своими сподвижниками этот вопрос. Они знали свой народ не в плане философических упражнений. Множество раз присутствовал он при наказании солдат, когда командовал или был главным инспектором инженерной части. По фамилиям помнил он каждого рядового в силу удивлявшей всех памяти. Обязательно приходя всякий раз в госпиталь к подвергшемуся экзекуции солдату, он спрашивал:

— Как чувствуешь себя, братец?

И тот, бодрясь и превозмогая боль, отвечал истинно по-русски:

— Так что благодарю за науку, Ваше Высокопревосходительство!

Не служебный то был ответ, а шло у претерпевшего от глубины сердца. Он досконально знал эту природную особенность, ибо, как радивый командир, слушал также разговоры солдат, не замечаемый ими.

— Нашего брата в строгости держать надлежит,— поучительно говорил как-то пожилой ветеран молодому рекруту.

— Мочи нет, дядя Филя,— плача жаловался тот.— Душу унтер вымает!..

— А ты знай свою линию — терпи. Терпение есть наивысшая российская доблесть... Тверд будь в бедствиях и все превозмогешь. На то и есть ты русский солдат!..

Бывши уже императором, он приказал ввести в полках науку солдатской доблести и любви к отечеству, преподаваемую молодым солдатам. А рекрута, выражавшего недовольство положенной строгостью, в тот же день наказал. Унтера же, выказавшего рвение в службе, поощрил.

Что значил единый увиденный в детстве взбунтовавшийся солдат перед этой массой примеров. Не она ли являла собой суть истинной народности. Прочее происходило лишь от принесенных извне идей и действий подстрекателей. Само слово революция — нерусское, и в народе это всегда называлось воровством.

Многократно любил он выслушивать рассказ про то, как русские кирасиры в четырнадцатом году входили в Париж. Цвет французов встречал их на Елисейских полях, дамы бросали цветы, восторженно махали платками. Солдаты же, перемигиваясь, с присвистом пели:

Доху я, доху я, доху я купила...

То была истинная народность, коей присуще державное презрение ко всему иностранному. Природная русская насмешливость выражалась в срамных словах на два смысла, выпеваемых в лицо многоумным французам. Наученный палкой русский солдат выражал свое превосходство пред ними, погрязшими в скверне революций...

Практическое понимание народной души позволяло ему повелевать людьми. Сумрачный петербургский день помнился ему, когда почерневшие от холеры трупы валялись вдоль улиц. Народ, прибив полицейских и высадив двери винных лавок, ловил и бросал в реку немцев и докторов, от которых будто пошел мор на Россию. Ему донесли, что уговоры не помогают. Тогда, чувствуя звон в голове от подступившей болезни, он сел на коня и въехал в середину толпы.

— На колени! — закричал он.

И тысячи людей, готовых к смертоубийству, пали на колени, видя в нем лицо той власти, которая одна только может принести им спасение.

Не те ли солдаты, коих держали в спасительной строгости, сокрушили узурпатора, а потом еще не раз удерживали Европу от торжества беззакония. На этот святой дух российской народности неукоснительно опирался он тридцать лет своего царствования. Что же произошло теперь? Отчего дымят иноземные корабли в виду Петербурга и беспомощны стали русские армии?..

В невидимой связи состоит это с тайным смущением, кое подавлял он в себе всю жизнь. Не он один — сами собой стали писаться и произноситься вокруг него лукавые слова. Не одни только «известные события» — на все, что делалось, имелись обязательно иносказания. Зачем же не называлось все прямо?

Нет, он не был трусом. То была лишь оставшаяся от детства нервическая болезнь, когда при разрывах фейерверка или обычном небесном громе закрывался он руками и впадал в бессознательное состояние. Проверяя себя, он в рост стоял на Дунае под турецкими ядрами. В холеру, когда умерли в три дня его брат и любимый фельдмаршал, он был среди смутившихся духом людей, заходил каждодневно в смрадные бараки, и только бог уберег его для некоей высшей цели. Не пуль и ядер боялся он и в тот день, глядя на стоящее перед сенатом каре. Опасность шла оттуда, куда не достигал его ум. Отдельное лицо впервые увиденного солдата имело тысячи ликов.

От этого постоянного ощущения опасности были тайности его канцелярии. Год от года умножались ее отделения, призванные наблюдать за самими министерствами. Но и этого недоставало. По каждому делу образовывались секретные комитеты, о коих и вовсе никому не было известно даже из самых доверенных людей. Теперь он знал: когда делалось так, то больше всего опасался он не проникновения иноземцев в державную тайну, а непохожего лица солдат, увиденного в детстве...

Чего же испугался он тогди и боялся потом всю жизнь? Времени уже не оставалось у него. Но даже сейчас не решался он сдернуть тот последний покров, под которым таилась простая человеческая правда. В том была она, что хотел он удержать при себе неведомым путем определенную ему власть. Лукавым прикрытием было остальное. Все происходило от этой власти: бесчисленные комнаты его сгоревшего и вновь отстроенного дворца, парки и мраморные колоннады у теплого моря, леса для охоты, женщины, которых можно было беспрепятственно выбирать, и главное из всего — вера в собственную значимость. Под последним покровом оставалось то, что представлял он из себя

на самом деле: среднего, завистливого к чем-нибудь выдающимся людям, по-мелкому злого и жестого человека. Себе подобную одинаковость насаждал он в мире, так как на ней утверждалась сама возможность этой власти. В царство посредственной одинаковости стремился превратить он Россию, Европу, весь мир, ибо это свойственно серым, однозначным людям.

Но разум уже не повиновался ему, и в последние мгновения своей жизни он увидел все так, как оно было на самом деле. Тот солдат из детства не был единственным, и не случайно вглядывался он на учениях в их лица. Все они были разными, даже лицо того унтера, которого поощрил он за строгость. Разными были они у его жены, у адъютанта из штаба, передавшего ему сообщение о неудаче под Евпаторией, у прибирающего комнату чухонца. Дерзкий мальчишка-стихотворец, обвинивший его в том, что он прямо не совершил, лишь выразил эту непреоборимую разность. Однако совершил ли он... это?

Будто разорвав серую паутину света, встало перед ним в особенной, никогда еще им не виданной яркости необыкновенное лицо, странно удлиненное книзу, с рыжеватыми завитками волос по щекам. Большие голубые глаза поэта серьезно и прямо смотрели куда-то мимо него. Пот проступил на лбу у Николая Павловича и потек холодными каплями к ушам и подбородку. С тоскливой ясностью понял он, что во веки будет проклят этой страной, которой правил столько лет...

Да, не он, а они оказались правы. Он мог бы сказать еще, как Россия при нем усилилась до того, что ни одно дипломатическое действие в мире не происходило без ее участия, что расширились ее пределы и новые языки и народы вступили в ее благостную сень, что упорно и непоколебимо утверждался им среди этих народов свет российского гения. Но они знали нечто большее о своем народе, неведомое ему и его сподвижникам.

Это тот увиденный в детстве солдат, это они, непохожие, а не Бенкендорф и Милорадович, выиграли Отечественную войну. Под Севостополем спасали они сейчас то, что губил он тридцать лет — славу России. Все они в мире — разные: поляки и мадьяры, которых он подавлял, малороссы, чухонцы, горцы Кавказа. Между ними, непохожими, идет своя жизнь, не имеющая отношения к той жизни, которую он для них придумал. Не палка, а нечто другое, о чем в силу своей посредственности он не мог иметь представления, свяжет Россию с ними, со всеми другими людьми на земле. Ибо они, непохожие, и есть Россия...

Умер Николай Павлович по-русски, не издав ни стона.

Часть первая

ОКОЁМ

I

Знакомые пальцы мягко подергали его за ухо. Он открыл глаза, и дядька Жетыбай пошел к другим кроватям, трогая так за ухо каждого воспитанника. Дежурный унтер Галеев с рыжими усами стоял у двери, неодобрительно косясь глазом на потягивающихся, медленно одевающихся мальчиков. Фитили в лампах под потолком были выкручены до отказа и свет достигал всех уголков длинного спального зала, разгоняя темень морозного утра.

Так было заведено еще пять лет назад, когда открылась эта школа. Бии и другие ответственные люди из киргизов особо договаривались со старым генералом, что все здесь по возможности будет приближено к степной, аульной жизни, чтобы воспитанники не чувствовали себя одинокими. И когда в первое утро оба унтера — Галеев и Митрошин закричали по-солдатски и стали сбрасывать их за ноги с кроватей, многие очень испугались, а самый маленький — Жакып Амангельдиев, приехавший с ним от узунских кипчаков, убежал в степь, так что его едва нашли. Родичи, не успевшие уехать после праздничного открытия школы, захотели сразу же забрать обратно с собой некоторых мальчиков. Тогда Генерал Ладыженский твердо пообещал им, что унтеры будут следить лишь за порядком в школе и не станут заставлять их делать все, как в солдатской службе. А ему особо, из уважения к деду, разрешили оставить при себе дядьку Жетыбая на все время обучения в школе. Без этого он никак не соглашался оставаться в Оренбурге.

Дядьку Жетыбая даже приняли на службу при школе. Его определили смотреть за четырьмя юртами и всем хозяйством при них, которое приобрели специально для воспитанников. Летом они могли, если хотели, спать в этих юртах, пить кумыс и ездить на лошадях. Каждое утро с тех пор дядька Жетыбай приходил будить его, как делал это дома после той страшной ночи, когда не стало отца. Вместе с ним дядька Жетыбай будил и других мальчиков...

Сначала в этот день все было, как обычно. Один за другим выходили они в умывальную комнату — каждый со своим куском мыла и полотенцем. Красной медью сиял огромный — выше человеческого роста — умывальник с красивыми чеканными завитушками у кранов. Туда была уже налита подогретая вода. Умывшись и приведя себя в порядок, они оделись, убрали постели, поели лапши с мясом и сухим соленым сыром — куртом, которую готовил им повар из татарской слободки. Начались занятия.

Мирсалих-ага, большой и строгий, в мундире с блестящими пуговицами и с подстриженной по-русски бородой, задал старшему — третьему классу переводить арабскую притчу о некоем человеке, который был беден, но благодаря богобоязненности и честности сделался богатым и уважаемым купцом в своем городе. Мирсалих-ага Бекчурин был ученый человек. Кроме них он обучал татарскому, персидскому и арабскому языкам старшие классы в Неплюевском кадетском училище и еще служил в Пограничной комиссии у Генерала. Говорили, что учителя Бекчурина вызывали однажды по важному делу в Петербург, к самому царю.

Быстро закончив свой перевод, он достал из-под стола русскую книгу и стал дочитывать историю про кузнеца, который летал на черте в Петербург и привез своей невесте золотые туфли, которые дала ему царица. Он второй раз уже читал эту книгу. Сидящий рядом Шамурат Кучербаев толкнул его ногой. Прямо над собой увидел он строгие глаза и большую бороду учителя...

Мирсалих-ага взял со стола его перевод, прочел и кивнул головой. Потом взял в руки книгу, тоже почитал. Чуть обозначились морщинки у его глаз, и сделалось ясно, что не такой уж строгий учитель, а только борода у него необыкновенная.

— Это интересная книга, бала[1],— сказал Мирсалих-ага.— Но даже самое приятное на свете делается в свое время.

Учитель всех их называл «бала». Он поспешно закрыл книгу, спрятал под стол и стал старательно списывать с доски завтрашнее упражнение. Учитель пошел к своему месту, но вдруг остановился на полдороге, посмотрел в окно.

На улице во весь опор проскакали всадники, что-то кричали. Прошло еще немного времени, хлопнула тяжелая входная дверь, послышались поспешные шаги. В передней заговорили громко и тревожно.

---

[1] Мальчик, ребенок.

Никто уже не занимался, все смотрели на дверь. Она отворилась, и показался надзиратель школы Кукляшев. Он не заходил, а лишь кивнул учителю. Мирсалих-ага вышел. Происходило нечто необычное...

Учитель вернулся, лицо у него было бледным, но спокойным. Встав на кафедру, Бекчурин оглядел их каким-то особенным взглядом.

— Сегодня, дети, не будем учиться.

— Почему, мугалим? — спросил кто-то.

— Вам все скажут... Потом.

Мирсалих-ага махнул рукой, собрал свои тетради и ушел, от волнения загребая ногами. Они остались одни и не знали что делать. Первыми встали старшие, пошли к двери, выглянули в прихожую. Никого из учителей не было, лишь оба унтера — Галеев и Митрошин стояли возле комнаты дежурного служителя. На лицах у обоих тоже были растерянность и непонимание. Галеев погрозил им пальцем, они вернулись в класс и приникли к окнам.

По большой Оренбургской улице, на которой стояла школа, туда и обратно скакали конные. Прохожие оглядывались на них, останавливались. Потом от Пограничной комиссии отъехали дрожки с Генералом. Знакомое лицо с жесткими бакенбардами было неподвижно, и глаза смотрели куда-то вверх, на крыши домов. Сзади скакали три казака с флажками на пиках.

Прозвенел, наконец, звонок, и они побежали из классного зала к шкафам с одеждой. Комната надзирателя была закрыта, в школе никого из взрослых не было. Наматывая на ходу башлыкы, они повыскакивали на широкий школьный двор с прочищенными в снегу дорожками, и оттуда уже через дыру в заборе — на улицу...

Народу прибавлялось, люди собирались на углах. Сразу за высоким каменным домом Пограничной комиссии, к которому примыкала школа, стояли длинные казармы. Там, на плацу, строились солдаты, слышались команды и звуки трубы.

— Царь-то...

— Извели, говорят, заступника... Теперича что захотят с народом сделают!

— Известно, грамотеи...

Это говорили между собой люди, сошедшиеся из дворов по другую сторону улицы. Один — приземистый, крепкий — Тимофей Ильич, что гонял их всегда от своего забора, значительно покашливал в кулак. Дом у него был с фронтоном, резными ставнями и зеленой железной крышей. Его слушали, согласно кивая головами. Другой, видимо, прохожий, в нагольном полушубке, говорил громко, тонким голосом, размахивая руками:

— Государь-то волю хотел народу дать. Чтобы мужика из крепости, значит, в вольные перевести. Вот они ~~его и того...~~ Удавили, говорят, в самом дворце, как и родителя его Павла Петровича. Тоже за народ стоял...

— Не то,— твердо сказал Тимофей Ильич.— Немец, новый доктор царский, Мант по фамилии, подсыпал чего-то. Другой был, Арент, тоже немец, тот не захотел. Так и его извели, чтобы сподручней было... И не в мужике дело. Как это можно его из крепости освобождать? Кто же тогда в России сеять-пахать будет? Мужик не казак, на хозяйстве не удержится, сразу в кабаки засядет... Тут другое дело, государственное. Измена, вот что.

— Как это — измена? — ахнул кто-то.

— А так. Чтобы в Крыму, значит, и прочее французу с турком отдать. Вот и купили кой-кого. Немцы да полячишки в России много власти получили. Опять же студенты, эти лохматые. Был в Казане, навидался...

— Что ж будет теперь-то?

— В Петербурге, сказывали, народ докторов бьет. Манта ищут. Как в воду, говорят, канул, только государь преставился...

От угла пришел городовой в шинели со шнурком, прикрикнул на собравшихся:

— Па-апрашу не собираться... На-арод!

— Так мы только, между собой, Семен Иваныч...

— Не велено без дела... Па-апрашу!

Народу все прибавлялось. Зазвонили колокола: сначала на большой соборной церкви, потом на Никольской и в слободках. Люди бежали к площади. Из широких казарменных ворот строем выводили солдат с ружьями. Офицеры на лошадях повели их на Губернаторскую улицу...

Лишь после обеда к школе подъехали две пары дрожек. Из них вылезли школьный попечитель Плотников, надзиратель Кукляшев и молодой ахун из слободской мечети. Воспитанникам приказали переодеться в парадную одежду. Они бросились надевать красные нагрудники, новые зеленые кафтаны с черным шнуром по краям, заправлять твердые коленкоровые воротники. С прутов над кроватями доставали меховые шапки-тюбе с красным шелковым верхом, надевали их все ровно — полпальца над бровью.

Красный бархатный занавес в зале у стены был раздвинут. Во весь рост стоял там на картине царь-император в мундире с золотыми эполетами, с орденами и лентами на груди. Когда открывали так царя, он всегда смотрел на сапоги, с удивлением думая, каким образом художник смог так хорошо нарисовать

идущий от них блеск. Сейчас оба школьных служителя и унтер Галеев прилаживали к картине широкую черную ленту, крепили ее булавками. Стоя по классам, они долго ждали.

— Что же вы, голубчики, замешкались! — негромко упрекнул попечитель.

— Сейчас только приказали, ваше высокоблагородие,— сказал Галеев.

— Вы же знаете. От Их высокопревосходительства предупредили,— тихо объяснил Кукляшев.— Не вызывать ненужных волнений...

— Да, да, конечно.

Ленту, наконец, укрепили, и попечитель Плотников, сделав шаг вперед, заговорил:

— Господа киргизские воспитанники, дети... Прискорбнейшая, надрывающая сердца истинных сынов Отечества весть пришла к нам из столицы. Скончался самодержец всея Руси, император Николай Павлович. В бозе почил... Вся Россия, все верноподданные народы ее скорбят о великой утрате. Ибо кто, как не сей государь, был первым их радетелем и заступником. И эта школа, в коей уроженцы дикой доселе киргизской степи вкушают сладкий плод от древа цивилизации, была открыта по высочайшему его повелению. Великим ревнителем просвещения был покойный государь...

Плотников говорил долго. Потом Кукляшев повторял это по-татарски для самых маленьких, которые не знали еще хорошо русского языка. А он стоял и думал, что же теперь будет. Может быть, школу их закроют?..

По-двое строем повели их через город в соборную мечеть. На улицах толпился народ. У губернского присутствия стояли конные солдаты и казаки. Городовые тащили через площадь пьяного. Он вырывался и кричал:

— Государя нашего, светлого... И помянуть-то христианским обычаем не даете, р-растакие!

В мечети и перед ней рядами стояли люди из татарской слободки. Были среди них башкиры в лисьих шапках, виднелись киргизские треухи. Все они не в пример людям на улицах стояли молча, словно бы ожидали чего-то...

Воспитанников провели в середину мечети, поставили на постоянное место справа. Здесь, впереди, находились самые значительные люди: губернские чиновники в мундирах, купцы в шелковых халатах с опушкой, известные своим благочестием старики. Среди чиновников был и Мирсалих-ага Бекчурин, их учитель. Он стоял чуть в стороне, поглядывая умными, прищуренными глазами на соседей. Старики с неодобрением смотрели на его необычную бороду.

Молитву вел домулло Усман Мусин, главный ахун соборной мечети, который учил их три раза в неделю Корану и шариатским законам. Подняв как при молитве руки, он возвестил о кончине великого земного владыки-царя, чьи действия, как и действия всякой земной власти, были угодны богу, ибо все от него. Послушание и следование законам, в коем смысл правой веры, призывают оплакать того, чьи дни прекратились и молиться за утверждение нового владыки, столь же могучего, доброго и благостного к делам веры...

Мирсалих-ага произвел со всеми первый ракат молитвы, а потом стоял, не принимая в ней участия.

С книгой в черном с зелеными углами переплете он перебежал две улицы к офицерским домам, где жил учитель русской словесности Арсений Михайлович Алатырцев. Там, на казенных квартирах, жили почти все их учителя, состоявшие также и при кадетском училище. В одинаковых ровных домах из желтого кирпича еще не закрыты были ставни, и окна светились.

Он оббил в прихожей снег с сапог, отдал слуге Тимофею кафтан с башлыком, вошел в гостиную. Там были люди, в основном знакомые ему: учителя из Неплюевского училища, офицеры-топографы и артиллеристы. Среди них сидел Мирсалих-ага Бекчурин, который дружил с Алатырцевым.

— А, это вы, Ибрагим... Тимофей, дай господину Алтынсарину чаю и булку!

Учитель русской словесности всех их, даже из первого класса, называл на «вы». Он уселся в своем углу возле шкафа с книгами, а они продолжали говорить — громко, как всегда, вставая при этом временами и подходя друг к другу.

— И тут явился дух времени,— с усмешкой говорил Дальцев — офицер с темным топографическим кантом на обшлагах.— Чего, кажется, естественней: смерть. Как сказано: «и цари ей причастны». И что же, чуть не сутки не решались объявить о том мещанам и гарнизону, все ждали надлежащих разъяснений. Отсюда, как водится, и слухи дикие, и волнение в людях, которого как раз пытались избежать.

— Сама философия российского правления такова — ничего не говорить прямо,— заметил Алатырцев.— В самом очевидном деле надлежит найти некое иносказание.

— Холопство! — горячо сказал топограф.— Не суть тут даже само крепостное состояние. Мужик — он хоть на земле, какая она ни есть. Нет-нет, взбунтуется или самозванца отыщет. А вот дворовый холоп при барском доме — тут уж ничего не может

быть подлее и безобразней. Пятки чесать, лгать, наушничать наперебой — и все соревнание в том, чтобы какой-нибудь объедок послаще со стола перехватить. О воровстве уж не говорю. Какое может быть у холопа движение души, кроме как половчей обмануть ближнего своего, да и господина при случае. Разве не все мы — холопы при сей форме человеческого общежития!..

— Господин поручик... Господа, в этот скорбный для России час. Над разверзтым гробом, так сказать...

Это просящим голосом произнес Куров, советник губернского правления, живущий в другой половине дома с учителем Алатырцевым. Он был старше других, с лысиной посреди седеющих волос, и всегда так говорил, удерживая других от резких слов.

— С каждым днем яснее ощущаем, будто ходим ногами вверх,— пожал плечами Дальцев, но голос понизил.— Да еще прямо так и говорится, что это и есть естественное состояние человека, во всяком случае россиянина. Весь мир думает неправильно, одни мы — молодцы. Нужно было крымское позорище, миллионное воровство до министров, чтобы хоть как-то ощутить это неестественное состояние!..

— Покойный государь неуклонно боролся с названным злом. Таковы, однако, люди... Достижений России, руководимой державной рукой, не отнимешь.

Другие гости сидели, не вступая в обострившийся разговор, пили пунш, приготовленный Тимофеем. Спорили теперь между собой лишь топограф Дальцев с Куровым.

— Э, господа, ничего не попишешь: Россия,— капитан казачьей артиллерии Андриевский добродушно-примирительно махнул рукой.— Вот скажите, доктор, вы не наш российский немец — подлинный, можно сказать. Как в германских землях: так же воруют?

Доктор Майдель, врач Пограничной комиссии, который заведовал также лечением воспитанников киргизской школы, серьезно покачал головой:

— О, господа, в Германии есть свой немецкий форофство. Только хитрый,— доктор поднял вверх палец.— Этот форофство не допускайт все форофать без разбор. Если так делать — то форофать скоро ничего не останется. Россия есть великий несчастный страна. Человек здесь добрый, чесный, ошень чесный. Так что, как говорят, хуже форофства...

— Вот, слышите, поручик! — засмеялся Андриевский.— Ну, а на другую от нас сторону? Что вы, господин Бекчурин, скажете насчет сего предмета у мусульманских наций?

— Воруют. Аж дым идет! — засмеялся Мирсалих-ага.

Здесь Бекчурин был совсем свой. Хоть был он из оставшихся

в правой вере, его тут больше любили, чем крестившегося по-русски Кукляшева, заведовавшего их школой.

— Здесь не отшутишься, господа,— грустно сказал Дальцев.— Историю не обманешь. Рано или поздно, приходится отвечать по всему счету. Чем позже, тем счет неотвратимей. Позволять себя калечить столько лет, как позволили это мы, русские...

— Прошу прощения, господа...

Советник Куров встал, поклонился и при общей тишине ушел на свою половину дома. Капитан Андриевский подмигнул хозяину:

— Ну хоть не донесет. В нашем любезном отечестве это высшая аттестация порядочности!

Продолжали пить и говорить, потом стали расходиться. Так здесь было каждый вечер. Когда ушел и Дальцев, учитель Алатырцев взял у него из рук книгу:

— Прочитали?... Интересно это для вас?

Они долго потом разговаривали. Алатырцев знал татарский язык и поэтому определен был к ним учителем. Однако говорил он с ними только по-русски. Как и Генерал из Пограничной комиссии, учитель Алатырцев расспрашивал обо всем из кайсацкой жизни, но не записывал в тетрадь, и только задумчиво покачивал головой.

Пришедший за ним Жетыбай сел у порога и слушал их. Дядька всегда приходил, когда он дотемна задерживался у Алатырцева. Когда они уже уходили, учитель, заложив пальцы за помочи под расстегнутым сюртуком, остановился перед шкафом с книгами:

— А вам, пожалуй, можно кое-что посерьезней из этого автора почитать, Алтынсарин. В российскую словесность вы проникли — дай бог некоторым из моих кадетских лоботрясов. Вот, возьмите.

Алатырцев поставил в шкаф принесенную книгу, дал ему другую, стоявшую рядом. На титуле было крупно обозначено «Мертвые души» — сочинение господина Н. В. Гоголя и мелкой прописью — «поэма». Он подумал, что это должно быть еще страшнее, чем про чертей и утопленниц.

На улицах стояли городовые, проезжали казачьи патрули. Пьяных прогоняли в слободки, выталкивали на задние дворы. Падал мягкий, пахнущий близким теплом снег.

Он пошел к Жетыбаю. Дядька жил в юрте на школьном дворе: утеплил ее, поставил маленькую татарскую печку, а жестяную трубу выпустил в шанырак.[1]

---

[1] Отверстие в куполе юрты.

Задерживаясь по вечерам, он не шел в школу, а оставался спать у дядьки Жетыбая. Это позволялось ему. В последний год его часто вызывали в Пограничную комиссию. Старший толмач Фазылов временами запивал и не справлялся с работой. Он тогда переводил все, что было необходимо, и писал по-русски подробные объяснения казахских слов. Сам Генерал похвалил его деду Балгоже, когда тот осенью приезжал в Оренбург.

Печка в юрте уже топилась. Солдат Демин в белой рубахе без пояса подкладывал в открытую дверцу печки маленькие, аккуратно нарубленные ветки. На краснеющем железе стоял котелок с кашей и медный чайник. Вкусно пахло разваренной крупой.

Года два уже как приходил к ним этот солдат — невысокий, плотный, с широко расставленными спокойными глазами. Его перевели по болезни из полка в госпитальную часть, и он остался в команде при Пограничной комиссии. Из своей казармы в соседнем дворе Демин шел к дядьке Жетыбаю, а часто и спал здесь, когда не случалось службы.

Дядька Жетыбай так и не выучился по-русски, и Демин был единственный русский человек, с кем он мог разговаривать. Уж как это получалось у них, трудно было понять, потому что солдат тоже не знал по-татарски и тем более по-кайсацки.

Демин выложил на сковороду крупно нарезанное баранье сало и, когда оно зарумянилось, полил им разваренное пшено. Потом расстелил на кошме солдатское полотенце, поставил котелок, выложил деревянные ложки. Они принялись есть, слегка обжигаясь горячей кашей. Нигде он не ел так хорошо, как с Жетыбаем и солдатом. Потом они пили чай вприкуску с мелко наколотым казенным сахаром.

Придвинувшись к лампе, принялся он читать. Книга оказалась вовсе не о чертях, а про какого-то человека, который в своей бричке со слугой и кучером приехал в один город. Все почти там было, как у них в Оренбурге, но читать было интересно.

Почитав немного, он положил книгу на сундук и лег на свое место за печкой, где была постелена вчетверо свернутая кошма. Дядька Жетыбай прикрутил лампу, и они с солдатом начали свой нескончаемый разговор. Было тепло, приятно потрескивали дрова в печке, но он не мог уже спать. В груди стучало, будто что-то хотело вырваться и улететь. Такое иногда происходило с ним, а потом два-три дня ходил он потерянный, пугался всего, никого не хотел видеть.

— Только мы, значит, разделись, амуницию с себя сложили, чтобы искупаться, значит, тут в самый раз оно и случилось,— размеренно, не спеша рассказывал Демин.— Из-за деревьев, это,

выезжают на лошадях. А он впереди — в каске, такой шапке железной, с орлом, глаза смотрят прямо и вроде не видят...

— Ца-арь!..— в растяжку произнес дядька Жетыбай. У него выходило по-казахски.— Са-арь...

— Известно, их императорское величество,— подтвердил Демин.— Как закричит страшным голосом: такие, мол, растакие, морды, говорит, кто позволил рзоблачаться? В черте Царского села.

Мы стоим в исподнем, замерли все. Их благородие, поручик Родионов, неробкий был человек, встал во фронт: так и так-то, мол, ваше величество, сам я дозволил артиллеристам искупаться, как они, значит, устали после маневров, пушки таскаючи. Тут их императорское величество вовсе осерчали, непотребное стали говорить. Нас повелели арестовать, поручика тоже: саблю отняли. На той же неделе по триста палок каждому вкатили и всех сюда, в степь...

Дядька Жетыбай покачал головой:

— Нехорош... палка.

— Шпицрутен называется по-русски. Небось видал и тут, в Оренбурге. С двух сторон бьют. Самое нехорошее дело. Все от нее болит, сама душа... А поручика Родионова за их дерзостное послабление к солдату, как он, значит, дворянин — на Кавказ, под Шамиля...

— Ца-арь! — опять протянул Жетыбай.

— Да уж...

Все смешалось у него в голове: речь попечителя Плотникова, уличный разговор, крики пьяного, которого тащили городовые, слова топографа Дальцева и размеренный рассказ солдата. И еще книга, которую начал он читать, как бы вплетала в себя виденное и слышанное. Голос дядьки Жетыбая повторял: «Ца-арь!»

Дед Балгожа всегда замолкал и значительно прикрывал веки, когда называлось имя государя. Прочие казахи лишь хлопали глазами. Киргизская школа была открыта по именному повелению...

Ярко вспыхнул горячий летний день, навсегда оставшийся в памяти. Впервые их одели в одинаковую форму: темно-зелёные кафтаны со шнурами, красные нагрудники, стоячие белые воротники. Три султана-правителя, бии и самые значительные люди степи стояли толпой во дворе школы. Еще раньше приезжали два генерала и поп, который крестил пахнущие краской комнаты и картину с царем, вывешенную в классном зале. Ахун соборной мечети Усман Мусин, их будущий учитель, начал совершать намаз, а гости из степи молились с ним вместе. Военный губернатор и прежний — хромой генерал из Пограничной комис-

сии с сопровождающими людьми молча ждали, пока все будет сделано по мусульманскому закону. Потом заиграл военный оркестр и пели гимн с пожеланием силы и здоровья царю. Гости из степи нестройно подпевали. Кукляшев на русском и татарском языках, а за ним ахун поздравляли воспитанников с открытием школы. По двое вели их в зал, где были расставлены столы для обеда. Такие же столы стояли во всех других комнатах. Губернатор с золотыми эполетами говорил громким голосом. Кукляшев слушал, склонив голову, и переводил, выкрикивая:

— Государь — отец своим верноподданным народам. Он надеется, что выучившиеся в этой школе люди будут честно служить в канцеляриях по управлению степью и будут полезны своим соплеменникам, неграмотность коих служит препятствием для познания и строгого исполнения российских законов...

Съев две ложки супа, губернатор уехал. На следующий день за татарской слободкой в больших котлах варилось мясо. Вокруг скакали джигиты, боролись силачи-палуаны. В последний раз сидели они, притихшие, со своими родичами, оставлявшими их здесь, в русском городе...

Он открыл глаза. Сухой жар шел от печки. За войлочной стеной, у самого уха, слышалось тихое равномерное шуршание — с вечера падал снег.

— ...Вот этот Потресов, барин-то медведевский, и говорит нашему барину: продай, мол, их на вывод, которые мастеровые, делу обученные.— Голос Демина не прерывался, был покойный, ровный.— Известно, фабрика у него, у Потресова, в Елецком уезде: лён бьют машиной. Да только по закону государеву нельзя уже было, чтобы от жены али от родителей сына отлучать. Тогда барин в управу: три тыщи, говорят, дал. Нас всех и записали как, значит, бобылей и сирот. Зиму потрепал у Потресова лён — мочи нет, хочу домой. Родитель как раз помирал. Ну я и сбежал. В деревне уж поймали — и в солдаты. Набор в то время под венгерца был...

— Ай-ай, нехорош,— качал головой дядька Жетыбай.

Еще не раз просыпался он. Все падал и падал снег за стеной. Теперь уже говорил дядька Жетыбай:

— ...Ай, снега не было, все дождь. Потом мороз — трава пропала. Снег пошел, джут начался. Овцы пропали, лошади пропали...

— Мор, значит? — догадывался солдат.

— Джут,— соглашался дядька Жетыбай.

— Хуже нет для скотины, когда бескормица,— вздыхал Демин.— Отсюда и болезни на нее...

Потом солдат ушел. Дядька вовсе прикрутил лампу, лег. В

груди уже не стучало. Все слышнее становилась тишина. Знакомое, черно-красное, увеличиваясь, наползало на него. Все силы он собрал, чтобы закричать...

Огонь запрыгал в стороне, остро запахло горящим войлоком. Черные полосы пробегали в красном небе. Кричать нельзя было ни в коем случае...

Широко ступая, шел к нему человек с бритой головой. Громадный, до звезд он был, и с отсвечивающей холодным лунным светом сабли стекала кровь. Тонкий детский плач дрожал в воздухе. Сердце перестало биться.

Человек подошел и, не опуская головы, посмотрел на него. Черные, закрученные на концах усы свисали по обе стороны рта. Глаза смотрели пристально, не мигая.

Чуть качнулась сабля в руке, в холодных глазах появилось раздумье. Уже не видя его, человек повернулся и, не выпуская из руки сабли, пошел назад, в степь. Все дальше уходил он, пока не растворился в неясном звездном тумане. И тогда только вырвался из горла протяжный, нескончаемый крик...

Дядька Жетыбай держал в руках его голову, гладил щеки. Лампа горела ярко, до блеска осветляя войлочный свод юрты. Дрожа, заливаясь слезами, прижимался он к жестокой, пахнущей дымом дядькиной ладони.

— Успокойся, бала, «он» больше не придет...

II

Это чувство осозналось неожиданно, так что он остановил подаренного дедом гнедого трехлетка. Слезши с коня, он сел на землю, глядя перед собой бессмысленным остановившимся взглядом. Подобное случалось с ним, когда следовало о чем-то серьезно подумать. Долго мог сидеть он так, не двигаясь, упершись взглядом в какой-нибудь кустик неподалеку...

Нет, не сразу появилось это чувство. И в прошлый и в позапрошлый приезд на вакацию домой, в узунские края, жило оно в нем, но не проявлялось еще с такой неудержимой силой.

Половина времени уходила на дорогу. Но едва возок, который присылал за ними дед Балгожа, въезжал на школый двор, как начинался переход в другой мир. Этим миром остро пахло от запарившихся, вздрагивающих от городского шума лошадей, от неразговорчивого возчика Нурумбая, от проехавшего полтыщи верст по степи возка-тарантаса, в колесах которого застряла

цепкая сухая трава. То был впитанный уже им навечно горьковатый и сладкий запах дыма, молока, теплой пыльной шерсти, запах самой земли, жесткой и соленой, на которой росла эта вырванная железными ободьями колес трава.

Мир, который он оставлял, давал еще себя знать зримыми, осязаемыми образами: вынесенными для покраски во двор учебными столами, реестром сдаваемых на сохранение в склад казенных вещей, солдатом Деминым, вышедшим проводить их до конца квартала. И еще сто верст в селениях и станицах напоминал этот мир о себе колодцами с круглым воротом наверху, желтеющими полосами пшеницы, песней людей, равномерно машущих косами. Когда же все это уплыло назад и началась ровная, с сухой травой степь во все четыре стороны, ничего больше не осталось от того, другого мира — лишь неясные блики без цвета и запаха. Он весь был уже здесь, в этой степи, частью которой состоял от рождения.

Поворачивая голову, он видел только ровную линию окоема по кругу. Сколько бы они ни ехали, эта линия передвигалась вместе с ними. Тарантас неизменно находился в центре этого круга. Впереди, в светлых летних ночах, возникало из вечности кочевье его деда Балгожи.

Потом, как и в прошлые приезды, погрузился он без остатка в радостную, бездумную жизнь, которая причиталась ему от рождения в этом мире. Все вокруг было частью его самого: юрта матери с горой одеял на плоском, обитом цветной жестью сундуке, жгучее, кисловато-приторное кобылье молоко в деревянной чашке из ее рук, из рук бесчисленных тетушек во всех других юртах, звонкое ржание привязанных к аркану жеребят. Алтынколь — озеро в золотых камышах с полукружьем кочевья — было средоточием жизни. Ее неизменность определял властный и спокойный взгляд бия Балгожи, его деда, чье неоспоримое право на эту жизнь подтверждалось и из другого, призрачного мира с высокими домами, выложенными камнем улицами и другими людьми, не имеющими отношения к Алтынколю. В сундуке у деда лежал мундир с золотыми пуговицами и большим серебряным орденом, таким же, как у Генерала.

Был праздник по случаю их приезда. За сто и за двести верст, из других родов и кочевий, двигавшихся от Тобола вместе с выедающим траву скотом, наехали гости и родичи. Но главный спор был между своими. Кулубай — дядя его по матери выставил сразу трех лошадей из своего тургайского табуна — одинаково серых с черными хвостом и гривой. Соперник этого дяди во всем — Хасен — другой его родич по второй жене деда Балгожи,

представил лишь одного гнедого — поджарого, с широкой грудью и тонкими ногами, из тех, от которых был подаренный ему дедом трехлеток. Всей душой переживал он за гнедого скакуна Хасена — не из-за масти, а потому что вел скачку на нем Нурумбай, джигит, приезжавший за ними в Оренбург. Всю дорогу этот молчаливый человек с черными усами на сухощавом непроницаемом лице как заведенный делал свою работу: расчищал место для ночлега, собирал топливо, раскладывал костер. Выходило это у него так, будто делалось само собой. Ночью Нурумбай тихо спал, но вдруг поднимал голову и слушал степь — светлую, полную шорохов. Их сопровождало пятеро казаков, но у Нурумбая было свое задание от деда по их охране.

С Идеге Айтокиным, приехавшим с ним на вакацию из школы, поскакал он на другую сторону озера, где была половина установленного расстояния скачки. Там, в степи, уже горячили коней сочувствующие. Скачка начиналась от холма у кочевья, огибала озеро и возвращалась с другой стороны. Он видел, как двое людей дяди Кулубая заехали в тугаи. Столбы пыли вихрились у горизонта, стремительно приближаясь.

Джигиты завопили, заулюлюкали, пристраиваясь к скачущим и подбадривая своих избранников. По правилам никто не приближался к ним на длину аркана. Он тоже кричал и скакал со всеми, не выбирая дороги. Гнедой со свободно сидящим на нем Нурумбаем вырвался на добрую четверть версты от других и шел мощным размашистым шагом. Ему хорошо было видно лицо Нурумбая, спокойное, без всякого выражения, как будто тот делал обычную свою работу. И вдруг все изменилось...

Не понятно было, что произошло, но Нурумбай уже поднимался с земли, зажимая рукой голову. Повязанный на ней платок быстро набухал кровью. Гнедой конь, хромая и кося глазом на тугаи, отходил в сторону.

Пронеслись две серые с черными гривами лошади Хасена, потом орущей, гикающей толпой проскакали остальные участники скачки. Кто-то из джигитов поднял с земли толстую, с обрубленными сучьями палку, лежавщую на дороге в двух шагах от тугаев, показал Нурумбаю. Тот, не сказав ничего, отвернулся...

Эту палку потом выбрасывал перед собой в сжатой руке Хасен, когда говорил перед аксакалами и уважаемыми людьми рода узунских кипчаков. Дородный, с выпуклыми глазами и мясистыми губами, он не прямо обвинял своего противника, а лишь настойчиво говорил о неких людях, бросивших березовый обрубок под ноги гнедого, чтобы не дать ему получить жулде — первую награду. Зато Кулубай, крепкий, широкоплечий, быстро и зло сверкая глазами во все стороны, кричал, что хорошо знает,

кто подрезал ремни у лучшего из его серых аргамаков. При этом он тыкал рукой с зажатой в ней камчой в сторону Хасена и его сторонников.

Долго и рассудительно говорили аксакалы. Речь каждого придирчиво оценивали, смеялись в интересных местах, сочувственно цокали языками. Все знали, каким образом подрезаны были ремни и чья палка вылетела из тугаев под ноги гнедому. Дело было не в жулде, из-за которой ссорились теперь родичи. Награда лишь подтверждала другие, более высокие притязания.

Дед Балгожа, огромный, с необъятным животом под синими бархатными штанами, слушал с непроницаемым лицом. Потом лишь кивнул головой, утверждая приговор аксакалов. Русское ружье с серебряной насечкой и кобылица с жеребенком из табуна самого бия присуждалась владельцу серых аргамаков — Кулубаю. Не дело главы рода было вникать в мелкие хитрости младших родичей. Аксакалы одобрительно покачивали головами, подтверждая мудрость бия. Оба дяди сидели боком к родичам и мягкими, как вата, словами жалили друг друга. С каждым его приездом повторялось это.

Не усидев на тое, пошел он бродить по аулу. В юртах было пусто — лишь женщины и совсем маленькие дети оставались тут. Все остальные сидели возле котлов — одни ближе, другие — дальше, третьи вовсе на отшибе, куда передавались миски с куырдаком — обрезками мяса, кусками печени и подбрюшья. Каждый знал здесь свое место и не было случая, чтобы кто-то из сидящих сзади полез вперед, к уважаемым людям...

Пройдя большие белые юрты у самой воды, он перешел через тугаи на выгон, где вразнобой разбиты были жуламейки[1] табунщиков и туленгутов. Кое-где среди них тоже стояли небольшие юрты тех, в чьем доме была женщина. Он шел, заглядывая в незавешенные двери. Собаки, не поднимая головы, следили за ним спокойными глазами. В глубине серой с черным квадратом над входом юрты увидел он знакомого человека, лежащего на кошме.

Нурумбай повернул завязанную платком голову, приподнялся и сел, опершись спиной о прокопченные стойки. Мать его — совсем маленькая, как девочка, в стершейся от времени плюшевой кофте — вышла, постучала посудой и внесла глиняную миску с кислым молоком. Кумыса, как видно, у них не было, и молоко жидкое было и совсем кислое. Попив его, он тут только понял, что в доме ничего больше нет. Поблекшее ситцевое одеяло лежало на рассохшемся, с широкими щелями, сундуке, кошма

[1] Небольшие походные шатры.

не закрывала всего пола, и виднелась голая земля. Было чисто и пусто.

Он сам не знал, зачем пришел к Нурумбаю. Тот сидел неподвижно и смотрел на него спокойно, как в дороге, когда топливо было собрано, а лошади отпущены пастись. Что же привело его сюда? Он закрыл на минуту глаза и вдруг понял.

Тот, другой мир, в котором жил он уже пять лет, незримо присутствовал здесь вместе с ним. Какая-то связь была между приходом его сюда, громкими разговорами в доме учителя Алатырцева, бесконечными рассказами солдата Демина, заучиваемыми в школе стихами и даже той книгой, в которой расчетливый человек скупал мертвые души. Без всего этого он остался бы сидеть у котлов, где сидит бий Балгожа, дяди, аксакалы, все его родичи...

Уходя, он еще раз оглянулся на юрту Нурумбая. Черная квадратная заплата над входом была пришита неровно, рыжей шерстяной ниткой. На сером войлоке выделялись еще пятна, где шерсть стерлась и требовала починки. Он посмотрел вокруг. Такой же выцветший войлок был здесь на других юртах и жуламейках. Раньше он не видел этого. И сейчас, кроме него одного, никто здесь ничего не видит. Из того, другого мира проистекало беспокойство.

Вскоре он забыл это все: ездил на своем гнедом по гостям в соседние кочевья, охотился с Нурумбаем, ловил арканом жеребят. Всюду ему было хорошо и, казалось, нет ничего не свете, кроме открытого во все стороны пространства. Но нечто таилось уже в нем самом, чего нельзя было избежать или исправить. И вот сегодня, когда ехал он в гости к очередному родичу, это осозналось сразу, как будто некая пелена спала с глаз. Все вокруг перестало сверкать, и с неудержимой силой потянуло его в тот другой мир. Он слез с гнедого трехлетка и сел на землю...

Нет, не думалось ему сейчас по порядку, как когда решал он задачу с дробями. Неожиданность открытия потрясла его. Значит, в нем самом жили эти два мира: один — с матерью, родичами, дедом Балгожой — уравновешенный, вечный; и другой — с остро пахнущими краской столами, громко спорящими друг с другом людьми, новыми словами, книгой в черном переплете с зелеными углами. От того, другого мира, исходило волнение, избавиться от которого уже не было возможности.

В каком же мире предстоит ему жить? Если там, то как может он обойтись без матери и деда Балгожи, без того вечного, частью которого является. Но и без того, другого мира, он тоже

уже не ощущает себя. В нем самом связь между этими двумя мирами.

Ему ясно увиделось, что не он один, а все узунские кипчаки, которые живут сейчас в белых юртах вокруг золотого озера, и те, что в черных юртах и жуламейках на выгоне, неминуемо соприкоснутся с другим миром. И беспокойство поселится в них, как сейчас в нем. Что будет с ними? В первый раз думал он об этом.

Медленней стал ходить он по аулу. На выгоне объезжали лошадей. Пожилой человек раз за разом садился на большого, с кровавыми глазами жеребца, и тот бил тяжелыми копытами о землю, так что все вздрагивало вокруг. Натянутые арканы не позволяли жеребцу дотянуться зубами до стоящих рядом людей. Жилы на руках их были вздуты, крупный пот скатывался по лицам. Потом коня разом отпускали, тот уносился в степь, вставал на дыбы, опрокидывался на спину, чтобы сбросить человека со своей спины. Когда это получалось, коня ловили с двух сторон арканами, и все повторялось.

Начиналось это с восходом солнца и заканчивалось, когда в ауле зажигались костры. Лица у людей были спокойны. Вечером они уходили в свои жуламейки и лежали там тихо, до утра. Так было всякий день. Четыреста пятьдесят лошадей продавалось осенью на Троицкой ярмарке из одного только табуна на Алтынколе. Продавали также объезженных лошадей в казну Хасен, Кулубек и другие его родичи.

Женщины доили кобылиц. Движения пальцев их, если долго смотреть, усыпляли. Время первой дойки без перерыва переходило во время второй дойки. На темных сухих руках вздувались голубые жилы. Потом, когда кобылиц угоняли в табун, женщины били палками шерсть — ровно, без перерыва, час за часом. Шерсть скатывали, как тесто, в мокрые тяжелые комья, ее мяли валками, выдавливая цветные узоры. Жилы на руках у женщин делались бурыми. Кошмы везли потом на ярмарку.

Вспомнилась книга для народных училищ, откуда заучивали они тексты... «Беспечные номады проводят время в праздности и играх». Так там было сказано.

Беспокойство продолжалось...

Теперь он считал дни до отъезда. Отчетливо виделись каменные квадраты другого мира, явственно звучали слова. Он вдруг осознал, что когда учитель Алатырцев или топограф Дальцев и даже Мирсалих-ага говорили в пылу спора: «мы, русские... наши российские порядки», то про себя он повторял это за ними. Как же так, если оставался он узунским кипчаком? И как быть

с бесчисленными тобольскими, ишимскими, тургайскими, уильскими кочевьями?..

Семь поколений предков твердо знал он наизусть, как всякий казах. Это оставалось в нем навечно. Мир узунских кипчаков не отпускал его. Он ощутил это уже незадолго перед отъездом...

За много дней говорили, что знаменитый Марабай теперь в урочище Тересколь — у соседей. Он ждал приезда певца, потому что все равно ему нечего было уже делать. Лишь заинтересовало, что этот прославленный Марабай, несмотря на свою известность в кочевьях, его курдас — однолеток.

Марабай приехал к полудню в сопровождении большого сурового родича, одетого, несмотря на жару, в зимний чапан. Худенький, с тонкими руками мальчик важно сидел среди взрослых, но, когда кончились приветствия, побежал к озеру и предложил ему сыграть в асыки[1]. Они играли, а Марабай, тараща большие черные глаза, рассказывал про своего коня, который, как конь Тайбурыл у Кобланды-батыра, легко перепрыгивает через самую широкую реку. Говорил мальчик и про непобедимого борца-палвана из его рода, про лук, стрела которого пронзает сразу двадцать человек, и про многое другое, как любой аульный мальчик, попавший в чужое кочевье. А он все думал, что же рассказать в ответ: про школу или про Генерала из Пограничной комиссии, которого все боялись? Но Марабай этого не поймет, а рассказывать про коней, которые перепрыгивают реки, он теперь уже не мог...

Все сразу переменилось. Мальчик с черными глазами стал вдруг расти, тонкие руки его повелительно управляли временем, лоб осветило страдание. Тучи чернее самой черной ночи заклубились над степью, обгоняя встающее солнце, а вместо дождя из них сочилась кровь. И забыв пять лет своей жизни в другом мире, он мерно качался в такт со всеми, и слезы текли у него из глаз, заливая лицо и землю. Все узунские кипчаки, от мала до велика, плакали вместе с ним, и с ними плакали предки...

В год Великого Бедствия это случилось. Там, где встает солнце, как случалось уже не раз, раздвинулись горы, и красноглазая Смерть ринулась на кипчаков, аргынов, кереев, найманов[2], обитавших в этой своей вечности от сотворения мира. Некий многорукий бронзовый Идол жил за горами. Он не спрашивал, не предлагал, а лишь прекращал жизнь. И ужас, непонимание смерти бились в тонких пальцах акына, в синей жилке на его тонкой шее, в высоком детском плаче, в жесткой траве, вздрагивающей под порывами сухого, горячего ветра:

---

[1] Игра в кости.
[2] Казахские племена.

О, что за время пришло — время страданий!
Птица счастья покинула нашу горькую степь.

Люди бегут из родных мест, как развеянные бурей птицы,
Холоднее лютых буранов оставляемый ими белый след.

О, что за время пришло — время скорби великой!
И нет просвета в безбрежности времен...

А потом акын Марабай пел другую песню, как сорок батыров из степи скакали на помощь Казани — жемчужине веры, осажденной капирами[1], и приняли там смерть. Опять со всеми качался он в такт горестной музыке, радовался победам и плакал над неудачами предков. Да, он был узунский кипчак и не мог стать кем-то иным...

В ночь после песен Марабая опять приходил к нему Человек с саблей. Нельзя было кричать. Огонь прыгал в стороне, черные широкие полосы пробегали в красном небе. С мерцающей холодным блеском сабли стекала кровь.

Человек смотрел на него долго, не опуская головы, потом повернулся и пошел, сливаясь со звездами. Знакомые теплые руки гладили его голову, плечи. Не переставая протяжно кричать, он прятал лицо на груди у дядьки Жетыбая, и мать плакала, причитала, стремясь успокоить его бьющееся в судорогах тело. Дед Балгожа в белой ночной одежде печально смотрел на него от дверей юрты...

Этого не могло быть. В ту ночь, когда убили отца и братьев, дядька Жетыбай спрятал его в дальней жуламейке за выгоном. Никто не приходил туда с саблей. И этого человека не могло тогда тут быть, потому что, когда люди его напали на род узунских кипчаков, тот воевал с киргизами где-то на другом краю степи.

Наверно, рассказывали ему все это, и с тех пор где бы он ни находился, наступает время, когда приходит к нему Человек с саблей. Только дядька Жетыбай может тогда его успокоить, и еще три дня боится он всего, дрожит и убегает от людей.

Перед самым отъездом уже дед его — бий Балгожа собрал совет рода узунских кипчаков. Сам дед сидел на двух подушках в суконном полковничьем мундире с эполетами и большим серебряным орденом. Но шапка и штаны на нем были казахские. Ему дед приказал тоже надеть парадную школьную одежду с серебряными пуговицами и жестким коленкоровым воротником. И посадил его бий Балгожа рядом с собой, у правого колена.

---

[1] Неверными.

Сразу побагровела шея у дяди его Хасена, сузились и совсем перестали быть видны глаза и губы у другого дяди — Кулубая. Они первыми сидели к деду — по правую и левую его стороны. И еще мулла Рахматулла пробормотал что-то, отвернувшись. Другие молча смотрели перед собой, никак не выказывая своих чувств. Приехавшие с ближних и дальних кочевий, все они были его родичи: прямые или нагаши — родственники по матери. Кипчаки все находились между собой в родстве, и за каждым сидящим здесь уважаемым человеком была его родня в белых юртах, и в черных, и жуламейках за выгоном. Нурумбай приходился родичем дяде Хасену, чьих лошадей объезжал. Дядька Жетыбай, приставленный к нему от рождения, вовсе не имел жуламейки и жил при юрте деда Балгожи.

Все говорилось, как водится: какими путями возвращаться кочевьям на кстау — тобольские зимовья, об угнанных барымтачами[1] лошадях. И еще про затобольские земли, где селились капиры-переселенцы. Эти земли принадлежали узунским кипчакам, и двадцать лет назад бий Балгожа отдал их по договоренности в казну. Теперь там в ряд стояли дома с колодцами посредине улицы, а узунским кипчакам невозможно было выгонять скот на ту сторону реки в пойменные тугаи.

Дядя Кулубай первый напомнил об этом. Не прямо, а говоря совсем о другом. В старину, рассказывают, кипчакские кони могли скакать день, ночь и еще день без отдыха. На то есть свидетельства в песнях акынов. Теперь же редко какой конь продержится даже день и половину ночи на ногах. Все вздыхали, слушая, поддакивали, соглашались. Получалось, что как раз в затобольских лугах паслись прежние кони, не знающие усталости.

Сверкая глазами, кричал дядя Хасен, что казахам было завещано не трогать земной покров, не будоражить кости предков. Все кипчакские беды оттого, что капиры ковыряют железом землю. И еще звон беспокоит лошадей, когда стучат орысы в медные колокола. Кобылы перестают доиться и молоко скисает, делается горьким. Все согласно кивали головами.

Большое теплое колено деда ощущалось за спиной. Он понимал, отчего происходит недовольство родичей. Их искоса бросаемые взгляды скрещивались на нем, сидящем у места, откуда правят родом. Ничего здесь не делалось даром, и городская одежда его с серебряными пуговицами особенно раздражала родичей.

Не к лицу было бию Балгоже замечать понятные всем чувства племянников. Трубным, как у диких гусей, голосом им

---

[1] Конокрадами.

отвечал аксакал Азербай. Да, хуже и слабее делаются кони у кипчаков, и нет в них прежней выносливости. Мельчают не только кони, но и люди. Стоит лишь посмотреть, что сделалось с танабугинскими, турайгырскими, кульденянскими кипчаками, актачинскими аргынами, матакайскими кереями. На путях кочевий их отобраны лучшие земли в казну. Приходится им со всем своим скотом обходить стороной, по бесплодным солончакам, построенные там русские селения. Путь получается длинный, а корма на нем мало. Узунские кипчаки избежали этого, отдав бросовые пойменные земли, и пути их кочевий всегда свободны. Мудрость бия Балгожи служит источником их благосостояния и хорошего отношения к ним начальства. Всем известно, что сам Генерал в Оренбурге не делает чего-либо, не выслушав его совета. Когда произошло несчастье и джигиты Кенесары — Аблаева внука напали на их кочевья, то были отправлены солдаты с пушками для их защиты. Иначе всех бы узунских кипчаков постигла судьба Алтынсары — Ибраева отца и других погибших в ту ночь. На переправе, когда хотели спасти табуны, убили их соилами[1], а потом искали по всему кочевью и убивали их сыновей. Один лишь внук по прямой линии остался у бия Балгожи, и место здесь его по закону, у колена бия.

Правильно все делалось в роду узунских кипчаков в эти трудные годы. Но есть некие люди, которым не по душе мудрость и здравомыслие. Подметные письма посылаются от них начальству о будто бы незаконных наших действиях, и нарушается спокойствие. Нанимая людей из капиров для этого недостойного дела, они уподобляются неразумным волчатам, приводящим охотника к своему логову. Мы знаем, как, обвиняя нас, они водят дружбу с приставом в Новониколаевске, пьют с ним запретные для правоверного напитки и продают через него украденных в соседних кочевьях лошадей. Известно также, что некие другие люди покрывают конокрадов, получая от этого прибыль. Случившееся прошлым летом убийство трех человек при барымте — их рук дело.

Кулубай осуждающе покачивал головой, Хасен фыркал, потрясал кулаком от возмущения такими действиями. А он чувствовал колено деда и понимал свою обязанность перед миром, от которого произошел. Посадив его здесь, у своего колена, дед выразил свою непререкаемую волю.

А мыслями он был уже там, в другом мире. Всю дорогу, примолкший, не играл он на прилавах с другими воспитанниками, которые возвращались с ним в город. Идеге Айтокин плакал первые три дня пути. Но он сидел на облучке и смотрел вперед,

---

[1] Длинная палка с заостренным концом.

туда, где, постоянно отдаляясь, виделась линия, отделяющая землю от неба. Лишь когда въехали на большой школьный двор и дедовский тарантас собрался в обратный путь, он подошел к Нурумбаю, взялся за его руку и постоял, не выпуская ее...

III

А город сделался совсем другим. Он ходил по улицам, смотрел на людей и все видел словно бы заново. Каждый разговор, событие, услышанное слово не просто принималось им, но поверялось из того мира, откуда он вернулся. Делалось так само собой, необдуманно. Оба мира скрестились в нем, и он знал, что это только начало для рода узунских кипчаков. Многорукий бронзовый Идол из песни акына Марабая холодно позванивал с другой стороны, и Человек с саблей задумчиво уходил в зведную ночь...

Первый человек, преобразивший этот мир, был небольшого роста, рябой, с кустистыми светлыми бровями и очень крепкий. Как-то в воротах школы застряла бочка с водой. Возчик Евдоким, дядька Жетыбай и прохожий солдат старались сдвинуть тележный передок в сторону, чтобы освободить створ ворот. Господин Дыньков стоял на крыльце и недовольно смотрел на них. Потом сбежал и, не снимая мундира, один взялся рукой за выпирающее сзади бревно. Что-то скрипнуло, бочка с водой приподнялась и колеса покатили по земле...

Появился в школе господин Дыньков как-то незаметно. Просто ходил целый день по коридорам и во дворе какой-то человек в мундире, а вечером остался в школе. Он пришел в спальную комнату, сел на табурет у окна и заговорил вдруг по-казахски. Совсем как кипчак он говорил, как никто не умел из известных им русских людей.

— Вы только спите здесь, дети? — спросил он.

— Нет, мы еще пишем и читаем вот у этого большого стола,— объяснил Миргалей Бахтияров, чья кровать стояла с краю.

— Ты откуда? — спросил у него этот человек.— Из какого рода и кто ты?

— Я Западной части, сын свободного брата султана Баймухамета,— объяснил разговорчивый Миргалей.— Двоюродный брат мой Баймухаметов учится в Неплюевском училище, а еще один брат у губернатора служит...

Незнакомый человек по очереди спрашивал всех, из какого они рода и сам называл их родичей.

— Так ты внук Балгожи? — переспросил он.— Каково здоровье высокочтимого бия?..

Даже Хасена и Кулубека он знал и справился о их благополучии. Потом долго и подробно рассказывал о себе, как служил на Орской таможне. Хитрые бухарцы много лет провозили к себе краденое на приисках золото, и никак нельзя было их поймать. А вот он поймал. Ходил возле каждого каравана, который направлялся в Бухару, и догадался. Один купец, Мадамин-ака, все хвалил мед у башкир и всегда угощал им таможенников. «Ай, посмотрите, воистину золотой мед!» — не уставал восхищаться бухарец, всякий раз увозя по двадцать-тридцать бочонков к дастархану самого эмира. Мед и вправду оказался золотым. В каждом бочонке был золотой песок. Крупинки его обволакивались медом, и трудно было что-нибудь заметить, даже если вылить мед на тарелку. Дома, в Бухаре, оставалось только промывать этот песок...

Собравшись вокруг, все они цокали языками, удивляясь бухарским хитростям. Никто так и не спросил, зачем этот человек пришел к ним в школу.

Наутро приехал попечитель Плотников, их построили перед портретом нового государя. Незнакомый человек находился тут же.

— Вот, господа киргизские воспитанники, ваш новый надзиратель, коллежский советник господин Дыньков Алексей Николаевич. Надеюсь, что его опыт и, так сказать, направление чувств помогут в достижении целей, поставленных перед школой...

Они стояли и удивлялись. После важного, дородного Кукляшева новый надзиратель выглядел очень уж просто, как какой-нибудь нижний чин или простой человек, сам себе покупающий на базаре еду. Получилось так, что с первого раза начали его называть не «господин надзиратель», как Кукляшева, но и не по имени и отчеству, как русских учителей, а «господин Дыньков».

Через несколько дней в большом крытом рыдване приехали его мать, жена и три девочки с такими же круглыми лицами и толстыми светло-желтыми, как из соломы, косами. Оба унтера, солдат Демин и дядька Жетыбай снимали узлы, сундуки, корзины и носили в надзирательскую квартиру. Их никто не звал, но все воспитанники стали помогать.

— Отдай Таську, я сама понесу!

Маленькая девочка отобрала у него корыто с куклой, которое он нес, принялась кутать и качать ее: «Бай, Тасинька, бай, ручки-ноженьки небось устали лежать от самого от Орского, глазки запылились...»

Уже на второй день после появления в школе господин

Дыньков сказал им, чтобы убрали с видного места кумганчики и большой медный таз с водой для омовений, которые стояли в умывальной комнате.

— Унесите их в баню, дети,— сказал он.— Кто захочет — там возьмет.

И в прошлом, и в позапрошлом году сам попечитель предлагал убрать отсюда все необходимое для омовений. Унтер Галеев по приказанию Кукляшева уносил это во дворе, под крыльцо. Но они всякий раз приносили обратно, и кумганчики с тазом оставались стоять здесь, как во всех домах у правоверных людей в слободке. Теперь они без всяких разговоров унесли замызганные кумганчики. Некоторые по надобности ходили за ними в баню, другие и вовсе перестали соблюдать омовения.

Домулло Усман, учивший их правоверному закону, заметил это и спросил у господина Дынькова, почему не позволяет тот производить омовения. Надзиратель замахал руками:

— Что вы, уважаемый Усман-ходжа; ни боже мой. Пусть делают как хотят!

Однако кумганчики с тазом так и остались в бане.

В следующий раз домулло Усман упрекал господина Дынькова за длинные волосы у некоторых воспитанников. Из татарской слободки приходил по четвергам специальный человек Мустафа, чтобы брить им головы в положенный срок. Миргалей Бахтияров и Кусваков всякий раз прятались от него. Они потихоньку ходили танцевать к юнкерам в Неплюевское училище и бывали на представлениях в Дворянском собрании. У Бахтиярова имелась даже городская одежда с длинными узкими штанами со штрипкой и остроносыми полусапожками. В них он был совсем как чиновник или учитель.

— Не могу им сего запретить, господин Мусин,— строго ответил на этот раз господин Дыньков.— Извольте заметить, что офицеры и чиновники из магометан носят волосы. По службе это разрешено. Нашим лицеистам тоже предстоит служить. Мое дело проследить, чтобы все было в пределах.

Домулло Усман лишь сердито моргал глазами. После этого все в школе стали отпускать себе волосы. Мустафа перестал ходить в школу, а вместо него приходил Кухнер, отставной солдат из кантонистов, подстригающий мещан и чиновников.

Он тоже начал отращивать себе волосы. У солдата Демина было надколотое зеркало на подставке. Оно стояло на сундуке в юрте у дядьки Жетыбая. Подолгу смотрелся он в желтоватое стекло. Сизые уродливые шрамы становились все виднее среди черных жестких пучков волос. Это был когда-то у него таз — аульная болезнь, от которой выпадают волосы. Солдат Демин,

бривший всегда голову у дядьки Жетыбая, брил теперь и его, осторожно обходя шрамы.

Но самая большая ссора между домулло Усманом и господином Дыньковым произошла из-за уразы[1], когда целый месяц нельзя правоверным есть от восхода до заката солнца. Накануне надзиратель приказал повару Билялетдину, который готовил для них приличествующую мусульманам еду, готовить назавтра полный обед. Продукты были выданы в кухню на весь день, как в обычное время. Билялетдин, видно, сразу же побежал в слободку, потому что домулло Усман приехал в школу задолго до начала занятий. Он самолично присмотрел за их утренней молитвой и, пока они завтракали, прохаживался по коридору. Потом старик уехал, но часа через два вернулся. Из кухни пахло пловом, и проникающий в классы запах дразнил ноздри.

Они не слышали начала спора, но во время перерыва видели, как разгоряченный ахун-домулло махал руками. Господин Дыньков мягко говорил ему по-татарски:

— Все вы правильно сказали, Усман-ходжа, и уразу обязан чтить и блюсти всякий человек, приверженный вере. Однако сказано у пророка о слабых, болеющих и убогих разумом, к коим допустимы послабления. К ним же причтены несовершеннолетние.

— Не сказано в книге о несовершеннолетних! — громко возражал ахун-домулло.

— Прямо не сказано, но есть разъяснения.

В последний перерыв из открытой двери надзирательской комнаты доносились несколько голосов. Из слободки пришли ученые старики-улемы и спорили между собой. Слышался и голос господина Дынькова:

— Несовершеннолетние, когда вдалеке от дома, не есть ли слабые...

Вправду сказать, все они, как обычные казахи в аулах, не удерживались в пост от еды. Лишь тут, в школе, их стали учить законам веры. С вечера они припрятывали куски и днем жевали, не попадаясь на глаза домулло Усману. Был еще Мирсалих-ага Бекчурин, но все знали, что он, как и другие городские люди, не соблюдал уразу. На этот раз они по одному, по двое пошли в столовую. В конце коридора стоял домулло Усман, но ничего им уже не говорил.

На следующий день его позвали к Генералу. Старый толмач Фазылов по случаю уразы еще до восхода солнца выпил припасенной водки и теперь кричал и стучал в двери гауптвахты при

[1] Мусульманский праздник с постом.

комиссии. Толмача, когда начиналась у него горячка, запирали там по приказу Генерала.

Ему же, как обычно, поручили перевести на русский язык большую жалобу. Она была написана от каких-то людей из Западной части Орды татарскими, казахскими и арабскими словами. Все же он разобрался в конце концов. Получалось, что султан-правитель Западной части подполковник Баймухамет Айчуваков отобрал скот у какого-то уважаемого человека по имени Тлеген, а сам дружит с хивинцами и принимает от них подарки. Так всегда писали русским властям, когда жаловались на утвержденных правительством султанов или управляющих родами: из Восточной и Средней части писали про бухарцев и кокандцев, а из Западной — про хивинцев.

Дверь из генеральского кабинета была открыта, явственно слышались голоса разговаривающих там людей.

— Нужно ли сейчас, ввиду происходящих событий, обострять таким образом отношения с инородцами, Алексей Николаевич. Вы же опытный человек и знаете: магометане весьма чувствительны к подобным действиям. Сразу же начнутся разговоры.

Голос был чей-то незнакомый, не генеральский. Он знал уже, что «происходящие события» — это война в Крыму с турками, французами и англичанами. Потом он услышал голос господина Дынькова:

— Помилуйте, Евграф Степанович, моей вины тут нет. Все по доброму согласию.

— Не вина тут, а так сказать... политика,— перебил его первый голос.— Ахун соборной мечети господин Мусин — лицо положительное. Далась вам эта ураза, Алексей Николаевич. С расчетом ведь открывалась школа. Пусть остаются при своем, абы верные слуги царю выходили.

— А я так мечтаю, Ваше Превосходительство, что все сии хитрости только делу вредят.— В голосе господина Дынькова слышалось упрямство.— Коли хотим мы киргизцев и прочих навечно под российскую руку взять, то и надо это прямо делать. Обман да заигрывания они сразу почуют и на него свой обман выставят. Хоть бы то же магометанство. Нет его в киргизцах, а так лишь, одна видимость. Уж я-то знаю, поверьте. А почуют наиболее лукавые из них заигрывания и начнут: и ураза тут будет, и прочее... Нет, прямо это надлежит делать: вот так-то, господа киргизцы, извольте! Доверия от того больше у них будет. Главное не в том. Душу живу надо иметь, да-с!..

— Так или иначе, Алексей Николаевич, следует придерживаться высочайше утвержденного статуса школы. О том была договоренность и с киргизами.

Это уже говорил сам Генерал. В коридор прошли, не обращая на него внимания, попечитель Плотников и какой-то статский советник с круглыми черными баками. Господин Дыньков подошел к нему, вынул платок и стал вытирать себе лоб.

— Так-то, брат!

Даже отодвинулся он, до того противно было ему смотреть на большую руку надзирателя школы со светло-желтыми волосами у запястья. Волосы лезли из-под твердого коленкорового подрукавника. Но господин Дыньков не обращал на него внимания и все вытирал вспотевший лоб большим, как скатерть, клетчатым платком.

— Эй, халам-балам, выпусти, душа просит счастья!..— кричал во дворе запертый Фазылов и нехорошо ругался по-русски и по-татарски.

Вечером, в юрте у дядьки Жетыбая, он с неприязнью смотрел на солдата Демина. Что делает тут у них этот орыс[1]? И когда он засыпал, то видел большую руку с желтыми волосами и слышался ему жесткий, как камча, голос: «Нет, прямо это надлежит делать: вот так-то, господа киргизцы, извольте!»

В следующий день он терпеливо соблюдал уразу. И два дня еще не ел в дневное время, но потом не удержался. Теперь он уходил всякий раз, когда господин Дыньков начинал с ними свои разговоры. Не было для него на свете неприятней этого человека.

Долго не приходил он и к учителю Алатырцеву. Вечерами ему нечего было делать. Книги, которые были при школе, он все перечитал. Два или три раза подходил он все же к окнам офицерского дома. У учителя по-прежнему собирались люди. Гул голосов доносился из-за прикрытых ставен. Но ведь и надзиратель Дыньков мог быть там, среди них, думал он и уходил.

Собирались теперь вместе по вечерам не одни только учителя и офицеры. Вместо заболевшего дядьки Жетыбая, исполнявшего должность рассыльного при Пограничной комиссии, послан он был как-то с бумагой к самому попечителю Плотникову. В доме попечителя он увидел чужого генерала и еще двух чиновников с орденами, сидящих полукругом возле стола. Один из них, с маленькими ручками, читал какую-то бумагу негромким размеренным голосом.

— Господин надворный советник заняты, подождешь! — сказал ему слуга с такими же бакенбардами, как у попечителя, и он остался сидеть в зале, у дверей. На него даже не посмотрели.

— Вот что далее пишут их сиятельство,— чиновник с ма-

---

[1] Русский.

ленькими ручками значительно выпрямился, и он узнал статского советника, который приходил к ним в Пограничную комиссию. «Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которою нам «семь морей немолчно плещут»?

Что стало с нашими морями?.. Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях... Друзей и союзников у нас нет. Везде проповедуется ненависть к нам, все на нас злословят, на нас клевещут, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Европа уже говорит, что турки переросли нас...

В исполинской борьбе с половиною Европы нельзя было более скрывать под сению официальных самохвалений, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Европу колебали, несколько лет сряду, внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы...

Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления? Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины... Многочисленность форм подавляет сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки; то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды,— и редко где окажется прочная плодотворная польза. Сверху блеск, внизу гниль. У нас самый закон нередко заклеймен неискренностью...»[1].

Статский советник опять откинулся, ошалело посмотрел на других и оглянулся на него, сидящего у двери. Все они тоже посмотрели на него, но словно бы не видели.

Другой статский советник с залысинами прокашлялся:

— Коль такой строгий и приверженный престолу ум, как граф Пётр Александрович Валуев, пишут подобное... Губернатор Курляндии как-никак...

— Повторяю, господа, все это строго конфиденциально,—

[1] Валуев П. А.— будущий министр, автор неофициальной записки «Дума русского во второй половине 1855 года», из которой приводятся отрывки.

предупредил читающий чиновник.— Передано мне под большим секретом их превосходительством в Самаре.

— Будьте покойны, Евграф Степанович. Сие не выйдет за стены этой комнаты.

Они еще раз посмотрели на окна и двери. И опять не увидели его. Он тоже посмотрел на свои сшитые по аульному образцу штаны, на руки, как бы желая убедиться в своем существовании.

— «Управление доведено, по каждой отдельной части, до высшей степени централизации; но взаимные связи этих частей малочисленны и шатки...— читал статский советник.— Везде преобладает у нас стремление сеять добро силою. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде противоположение правительства народу, казенного частному, вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Постановлениями о заграничных паспортах наложен домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных его императорского величества...»

Здесь не разговаривали громко, не спорили, как у учителя Алатырцева, а только согласно покачивали головами.

— Правы, правы их высокопревосходительство,— задумчиво говорил генерал.— Государственным умам надлежит спокойно решить сии вопросы, чтобы не позволить вырваться разрушительным силам.. Слышно, к такому мнению склоняется и государь...

Всю дорогу домой думал он о том, почему не видели его эти люди. Ведь он сидел там, и они смотрели, не желая постороннего присутствия. Между тем этот самый чиновник с короткими ручками упрекал недавно надзирателя Дынькова за уразу.

Учитель Арсений Михайлович Алатырцев сам остановил его в коридоре:

— Почему вы, Алтынсарин, перестали бывать у меня?..

Он потупился. Серые глаза учителя смотрели недоуменно. В тот же вечер он пришел в знакомый дом.

— Тимофей, чаю господину Алтынсарину и калач!

Были все прежние, но появились и новые люди: высокий офицер из кавалерии Нестеренко и еще один — Бутаков — пожилой, рослый, в белом кителе. В городе знали, что люди в такой форме — из Аральской флотилии. Господина Дынькова здесь не было.

На него и тут посмотрели мельком, но его увидели, приняли во внимание. Неизвестно почему, но знал он об этом. И разговор

их каким-то образом был связан с ним, хоть говорилось о другом.

— Ну, так вот, господа, приступаем мы, егеря, значит, к Корсуни,— рассказывал штаб-ротмистр Нестеренко, поправляя ус и поблескивая хитрыми глазами.— Все, как водится, в боевом строю, с приданной артиллерией. Враг-то силен, почитай три уезда хохлов наших от мала до велика готовы поспешать на войну, в самый Севастополь. И все про некий указ говорят, по которому, кто, значит, в ополчение добровольно запишется, тому вольную — опять в казаки со всей родыной... Да-с, дело знакомое. Стояли мы перед тем возле Чернигова. Там тоже — поголовные разговоры, что вышел манифест о воле и лишь местные власти да священники не хотят переписывать мужиков в казаки. В селе, где летом квартировали, тыщи две народу собралось. С косами да вилами приступали к прибывшему иерею и тамошним попам: «Посоветуйтесь между собой и решайтесь написать нас всех вольными казаками, дать нам присяги, что мы уже не панские. А также, что поля и луга наши, и все, что у панов, наше же. Оно так и есть, ибо мы и наши деды за все это уже отработали». Я слышал, как священник увещевал их, что никакого такого манифеста нет. «Батюшка,— слышу, так тихо шепчет попу на ухо один хохол с сивыми усами.— Мы и сами добре знаем, що такого указа нема. Колы ж нам хочется, щоб вин був!»

Все рассмеялись.

— «Колы ж нам хочется, щоб вин був!» — повторял топограф Дальцев.— Нет, наши русаки посвирепей. Без объяснений ворчат. Да глухо так, аж мороз по коже. Я был давеча в своем уезде. Помещики, кто помельче, собираются с семьями по пять-по шесть в одну усадьбу. Страшатся ночами.

— А собственные планы каковы, господин поручик? — усмехнулся Нестеренко.— В смыслах имения.

— Мы однодворцы, от Петра служилые,— махнул рукой Дальцев.— Один у меня дворовый человек да бабка Агафья...

— Да уж...

Нестеренко в задумчивости покачал головой. Все примолкли.

— Ну а в Корсуни как все же у вас обошлось? — спросил учитель Алатырцев.

Нестеренко ничего не ответил. Глаза у него сделались какие-то мутные.

— Не в одной Корсуни, по всей Киевской губернии вводились войска,— заметил учитель Алатырцев.— По официальным данным, застрелено тридцать шесть крестьян.

— Побольше будет. Дома умирали, к писарям не ходили,— глухо сказал Нестренко.— А егерей потом сюда, в Оренбург, чтоб

перед глазами все это не стояло. Так обычно делается после усмирений...

Потом говорили о войне, что Севастополь как будто уже сдан, но только не объявляют, а в Новороссийске десант, и взят союзниками Кинбурн. На Кавказе же дела лучше: Карс турецкий окружен, а Омер-паша[1] заперт в Сухуме. Мюриды имама Шамиля тоже поутихли после того, как прошлым летом пытались задержать арьергард генерала Бебутова. Слышно, в Чечне идет война между самими горцами и есть готовые выдать Шамиля. Ведь так произошло и здесь с Кенисары[2], который десять лет тревожил линию и мирных киргизов. Живого его не выдали, но голову привезли...

Тут заговорили о делах на линии. Кокандцы не успокоились после отнятия у них Ак-Мечети[3]: всяческим образом вредят русской торговле. Следовало бы использовать их распри с эмиром. Неспокойно, как всегда, и с Хивой. Хан почуял, что русские заняты в злосчастной этой войне, и не позволяет флотилии плавать в Амударье. Хивинцы на деле никак не признали договоренную между ними и Россией границу. Сарбазы хана по-прежнему обирают аулы адаевцев и чумекеевцев, принявших русское покровительство. Из-за хивинских козней идет настоящая война между адаевцами и чумичлы-табынцами[4], а вместе у них — с туркменами.

— Все тут до чрезвычайности просто,— рассказывал капитан Андриевский, посланный летом с командой разбираться в этих делах.— Приезжают и берут по хивинскому закону, а это означает — все, что в юрте имеется у киргиза: кошму, одеяло, дочку, ну и скот. Да самого же еще принуждают гнать к ним этот скот. Я приезжаю на пост с толмачом, зову хивинского контрагента: так, мол, и так, онбаши-ага[5], такого-то дня ограблен такой-то киргиз, российский подданный, взято то-то и столько-то скота. «Ах, какое это преступление,— негодует хивинский законник.— Давайте поедем к пострадавшему брату!»

Едем. Я с казаками, он со своими сарбазами. Приезжаем. «Спросите его сами, какие хивинцы, мол, произвели у него грабеж»,— говорит онбаши, а при том сидит на коне с отвлеченным лицом, будто дело его и не касается.

Толмач спрашивает. И киргиз, который утром плакал и

---

[1] Турецкий полководец в период Крымской войны.

[2] Кенисары (Кенесары) Касымов — хан Среднего жуза, внук Аблая, возглавлял в 30—40 годы 19 в. антирусское феодальное движение в Казахстане.

[3] Ныне Кзыл-Орда.

[4] Казахские роды.

[5] Уважаемый сотник.

говорил на хивинцев, подтверждает, что они вовсе не грабили. И грабежа, мол, никакого даже не было.

«Разве позволит наш справедливый хан давать твориться подобному беззаконию!» — говорит на прощание онбаши и уезжает, пожелав мне тысячи благ.

Приступаю к киргизу, а он молчит и только смотрит на меня. Ах, как смотрит, как на последнего дурака да и бесчестного человека притом, который навел на него и детей его смертельную угрозу.

«Тот самый онбаши и громил их, ваше благородие! — разъясняет мне понимающий казак.— Хивинец, вишь, близко, а Оренбург вон он где. Пост от поста тут — полтыщи верст...»

Что же касаемо войны меж самими киргизами, то и того проще. Вражды между соседями при здешней кочевой жизни и так предостаточно. Ну а хивинцы опять-таки делают на свой лад. Набегают, скажем, на адаевский аул, угоняют лошадей. Часть их по дороге оставляют тем же табынцам. А тавро-то на лошадях чужое. Вот и войны. В другой раз наоборот: от табынцев часть лошадей оставляют адаевцам. Нет, тут в Азии честному человеку — гибель. Так и будешь весь век в Иванах-дураках ходить!..

— То-то же, капитан,— засмеялся Мирсалих-ага.— Предлагал я графу обучать линейных офицеров хивинскому наречию.

— И что же?

— Василий Алексеевич[1] выразил согласие. Естественно, по инстанции, в Азиатский департамент, оттуда в Министерство, там еще куда-то. Три раза оттуда запрашивали разъяснений. А дело-то копеечное. Докладывал, что готов безвозмездно, в приватном, так сказать, порядке. Тоже нельзя: как это — учить чему-то там офицеров без начальственного подтверждения.

— В приватном порядке лишь в карты играть да водку пить дозволяется на святой Руси!

— А что, господа, как наш бард крестьянский у вас тут лямку тянет? — спросил вдруг Нестеренко.

— Это кто же? — не понял Дальцев.

— Шевченко, в солдаты сосланный,— пояснил Андриевский.— Тут целая история. Прислан он был к нам, в пятый батальон, прямиком из крепости. С собственноручной всемилостивейшей припиской: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать». Ну, вы покойного орского коменданта Платона Семеновича помните: строг был, но справедлив. «Ежели сей солдат, говорит, будет рисовать у меня на посту или дежурстве — не спущу!» Через год лишь хватились, что не в одном

[1] Оренбургский генерал-губернатор.

Оренбургском корпусе, а по всей Великой и Малой России гуляют стихи этого Шевченко, да такие... Ну вы знаете. Автора, естественно, на цугундер, у Платона Семеновича — объяснение с начальством. Докладывает: так, мол, и так, на посту названный солдат в писании стихов, а также в рисовании не замечен. Что взять с полковника: служака, на груди кресты еще с двенадцатого года. Дураком его посчитали. Только ой какой не дурак он был и нам внушал: «Честь офицера российского, господа,— очень тонкое понятие. Это у французов офицеру лишь о службе да кокотках приходится думать. У нас же, как видите, и стихотворцы все больше из офицеров».

— А с Шевченко как же? — поинтересовался Дальцев.

— Да, вас тогда еще здесь не было, Владимир Андреевич... Вот капитан-лейтенант касательство к этому делу имели. Расскажите, Алексей Иванович!

Все время молчавший Бутаков постучал трубкой о медную подставку, выбивая пепел:

— Что же тут рассказывать, господа... У нас тогда в Раиме одна только шхуна была поставлена на воду. Берегов порядком не знаем. Слышу про это дело с Шевченко, предлагаю начальству, чтобы ко мне его рисовальщиком определили. Начальство и радо, куда бы его подальше...

— А насчет запрета на рисование?

— Говорили мне. Ну как же так, думаю, ежели он по службе обязан этим заниматься... Душевный, мягкий и пылкий человек этот Шевченко. Как загорится, начнет читать, голос гремит, в глазах слезы...

Штаб-ротмистр Нестеренко слушал, весь напряженный, пальцы его мяли что-то невидимое.

— Что делал он у вас?

— По своей воле, писал, рисовал. Только жизнь там несладкая, на Арале. Ну, и не все у нас офицеры — стихотворцы,— усмехнулся Бутаков.

— Что ж произошло?

— В Оренбурге, уже в пятидесятом, когда составляли доклад по экспедиции, вижу сизые шинели. И всё знают — где и что. Сундучок свой Шевченко у мичмана Максимовича держал, так они сразу туда. Оказалось, подпоручик Тертичный, прикомандированный к нам, рвение проявил. Сам вроде бы как брат с Шевченко, все по-малороссийски говорил. Ну, а тот — доверчивый, чистая душа...

Вызвал меня чин из известного учреждения: «Как же вы, говорит, господин капитан-лейтенант, будучи осведомлены о личном мнении его императорского величества, оказались столь

нерадивы. Да и прочие офицеры. Лишь господин подпоручик Тертичный, как истинный патриот, исполнил свой долг перед престолом».

— Что ж было вам за то?

— Куда посылать дальше Аральского моря,— умехнулся Бутаков.— Вот разве в капитан-лейтенантах по сие время. Зато Тертичный — майор и флигель-адъютант.

— А Шевченко?

— Того в Орский каземат, потом в Новопетровский форт. Тоже местечко — не дай господи,— стал рассказывать Андриевский.— Торограф — капитан Яковлев забрал его рисовальщиком, когда на Каратау ходил. И опять отыскались патриоты. У нас ведь знаете как: понятия «патриотизм» и «донос» соседствуют.

— В тот раз у мичмана Максимова так и не нашли ничего,— сказал Бутаков.

— Не нашли? — переспросил Нестеренко.

— Место такое у нас, открытое, все свои.— Андриевский переглянулся с Бутаковым, с другими офицерами.— Уж как-то загодя известно, если приходится ждать гостей. Все мы тут немного хивинцами сделались. И после Каратау ничего вещественного у солдата Шевченко не обнаружили. Но Якову Петровичу — внушение. Тоже до сих пор в капитанах.

— Где же он сейчас, Шевченко?

— А там же, в Новопетровском. Был я у них этим летом, так он мне акварель подарил.

— Значит, рисует?

— Как же. Комендант Усков там уж на что бурбон, а все же от общего офицерского мнения на сей счет не отходит.

Штаб-ротмистр Нестеренко сидел, закрыв глаза.

Когда шел он обратно, в соседнем доме распахнулась дверь. Послышался пьяный крик: «Смею заметить вам, что червоного валета вы спрятали в прибор... Кто спрятал?.. Вы, господин, штабс-капитан!.. Звенела разбиваемая посуда. Кто-то в белеющей из-под расстегнутого мундира рубашке выскочил на крыльцо, крикнул: «Сапожников... Спишь, скотина этакая!» Послышался удар по лицу, болезненный всхлип. Такое не раз уже он видел на плацу за школьным двором.

Продолжал звучать в ушах грустный, насмешливый голос:

Вид молдованина до финна
На всих язы́ках все мовчыть,
Бо благоденствуе...

Это к концу читал штаб-ротмистр Нестеренко. Язык был словно бы русский, но какой-то другой.

Все премешалось у него в голове: эти люди и рядом такие же, которые в кровь бьют по лицу солдат. И солдаты, которые даже не поднимают руки, чтобы закрыть лицо. Раньше, до последней поездки на вакацию, он не думал об этом.

Во флигеле у надзирателя Дынькова горел слабый свет. Загораживая все виденное и слышанное в этот вечер, представилась ему широкая рука с короткими пальцами и желтыми волосами, лезущими из-под твердого белого коленкора...

Тогда же или потом он заболел. Как сквозь сон чувствовал он холодное, твердое прикосновение к голому животу и знал, что это доктор, который приходил к учителю Алатырцеву. «Изолятор»,— слышалось ему. Это слово не отпускало его с самого начала: «изолятор... изолятор...»

— То есть тиф. Тиф от брюшина...— говорил доктор.— Но может случиться и холера. Здесь, на рубеж Азии возможно... Никого не пускать. Этот дядька его просит. Не пускать!..

— Слушаюсь, Карл Христофорович... Так точно... И один бульон птичий...

Голос был очень знакомый, слышанный им много раз. Он открыл глаза. Доктора уже не было. Господин Дыньков сидел на белом табурете и смотрел на него бесцветными глазами.

— Ничего, брат, ты спи. Дело такое — болезнь...

Казалось, это продолжалось вечно. Он открывал глаза и опять видел господина Дынькова. Тот давал ему бульон из большой ложки:

— Ешь, брат. Первое дело — еда...

Голова от слабости клонилась набок. Он выталкивал языком ложку, теплая, пахучая влага текла за шею. Но рука со светло-желтыми волосами возвращалась, настойчиво придвигала ложку к губами. Что-то просачивалось в рот, согревало бесчувственное горло.

— Петух молодой, кашей кормленный. Первостатейный бульон...

Плыли в тумане белые стены и потолок. Неизвестно было, день или ночь в окне. А человек, поивший его бульоном, казалось, никуда не уходил.

— Эх ты, горе луковое... Мне дед твой Балгожа рассказывал, как родню у тебя порезали... Я ведь тоже сирота. В Неплюевском воспитан, на государев счет. Верного слуги отечества отпрыск... Сироте надо умным быть, а то пропадешь...

Он смотрел на руку: большую, твердую, с задубелыми ко-

роткими пальцами, лежащую на скобе железной кровати. Светло-желтые волоски росли на запястье. «Вот так-то, господа киргизцы, извольте!» Ничего не значили эти слова. Главное было что-то другое. «Душу живу надо иметь, да-с!..»

Он сидел, закутанный в теплую серую шинель, на крыльце изолятора. Осеннее солнце пригревало плечи и грудь. По двору ходили куры — белые с желтыми гребешками, рылись в опавших листьях. Кричали, вытягивая головы, голенастые петухи. Из надзирательского флигеля вышла повязанная большим платком старуха, мать господина Дынькова.

— Цып, цып, цып...

Куры бросились со всех концов двора, а она сыпала им пригоршнями просо, не пуская к деревянному корыту. Там жадно клевали кашу молодые петушки с едва проросшими гребнями. Из них варили ему бульон.

Подошла девочка с куклой, строго посмотрела на него, села рядом на ступеньку.

— Тасинька устала, хочет на солнышке посидеть... Солнышко хорошее, теплое. Правда, Тасинька?

Кукла была глиняная, с крашеными щеками и голубыми глазами. Такие продавали цыгане на ярмарке. Он опять удивился: какая у девочки толстая светло-желтая коса.

— Он не обидит тебя, Тасинька,— рассказывала кукле девочка.— Видишь, мальчик болел, сделался совсем худым...

IV

Где-то звенели колокольчики. Будто упавшие с неба звезды, горели тоненькие свечки — красные, желтые, синие. Зайцы, белки и медведи висели на ветках. Пахло теплым, оттаявшим деревом, кружилась голова. Он почувствовал, как слезы потекли у него из глаз, и оглянулся, не увидел ли кто-нибудь этого.

Но все сидели на стульях и смотрели на елку: девочки шептались между собой. Рядом с ним Миргалей Бахтияров совсем как свой переталкивался локтями с неплюевскими кадетами. Их троих из школы позвали на елку к Генералу: Бахтиярова, Кулубекова и его. Бахтияров и Кулубеков были в городской одежде, только он — в школьной. Из знакомых ему здесь еще были три дочки господина Дынькова.

Заиграла музыка, и он оторопел. Генерал взял за руки маленькую девочку с бантами и начал с ней танцевать по гладко начищенному полу. Сразу же к девочкам подошли кадеты, а с

ними Бахтияров с Кулубековым, стали танцевать вслед за Генералом. Сделалось шумно, весело.

Две взрослые барышни, дочери Генерала, по очереди садились за фортепьяно, затевали танцы, прыгали и смеялись, совсем как маленькие. Генерал тоже смеялся и громко кричал, выстраивая пары.

Жанарал — так называли его казахи в отличие от военного губернатора Перовского, которого звали Губернат. Офицеры и подчиненные в Пограничной комиссии между собой, подражая казахам, тоже говорили «жанарал». Офицеры называли его еще «генералом от Московского университета». Ему не говорили «Ваше превосходительство», а «Василий Васильевич», однако боялись больше, чем самого губернатора. Всегда в мундире с начищенными пуговицами, с ровно уложенными завитками волос по обе стороны широкого лба, Генерал смотрел на всех строгим взглядом и не допускал упущений в службе. Дед Балгожа уважал его так же, как и предыдущего начальника Пограничной комиссии — настоящего военного генерала Ладыженского.

Сидя в Пограничной комиссии на месте толмача Фазылова, он видел, как втягивали голову в плечи чиновники, когда из-за двери слышался резкий выговаривающий голос. Даже приезжающие адъютанты губернатора, жившего где-то далеко за городом, поправлялись и осматривали себя, прежде чем зайти. А тут Генерал казался совсем обычным человеком.

Обе девочки остановились напротив и тихо говорили между собой. Одна из них, лет девяти, в розовых панталончиках с кружевами, все удивлялась:

— Киргиз... Мальчик-киргиз или так оделся?

— Настоящий киргиз! — ахнула другая.

Первая девочка подошла к нему и спросила:

— Вы умете танцевать?.. А почему вы в шапке? Да еще меховой, теплой, здесь так жарко...

Он покраснел и крепко взялся двумя руками за шапку. Ему казалось, что шапка сейчас упадет и все увидят его голову с синими шрамами от таза. А девочка не уходила и все говорила:

— Что же вы испугались? Будьте в шапке. Так даже интересней. Вы, наверно, не умеете танцевать? Идемте, я вас научу!..

Она протянула ему маленькую ручку. Он крепко, всей спиной прижался к стулу.

— Фи, какой вы скучный... Вот Мишенька — совсем другое дело!

Она повернулась к Бахтиярову, называвшему себя по-русски Мишей. Тот свободно взял ее за руку, и она встали в пару для следующего танца.

Все равно ему было здесь хорошо. Он сидел в углу и смотрел на елку, на танцующих, на ярко горящие в подставках большие свечи. Все это отражалось в широких стеклянных окнах, в начищенном до блеска полу и казалось сном.

— Вам нравится елка, молодой человек?

Он вздрогнул, ухватился за колени. Засмотревшись, он не увидел, как подошел Генерал и сел с ним рядом.

— Вы, помнится мне, внук войскового старшины Джанбурчина?

И вдруг Генерал сказал совсем просто по-казахски:

— Ты, джигит, никого не бойся. Будь молодцом!

— Хорошая елка! — тихо ответил он по-русски.

— Ну и слава богу.

Генерал стал спрашивать, бывает ли у кипчаков, что в юрту приносят хвойные ветки. Он сказал, что не знает. А вот сухую траву приносят. Генерал слушал внимательно, переспрашивал, и они долго разговаривали. Все знали, что Генерал — ученый человек и собирает старые украшения и другие вещи, имевшиеся у казахов. Непонятно было, зачем он это делает.

Потом Генерал отошел от него и подошла маленькая дочка Дынькова.

— Тасинька спит. Она не пришла на елку.

Девочка смотрела на него серьезно, ожидая ответа. И он погладил ее по туго заплетенным косичкам.

Продолжала играть музыка, хлопали хлопушки. Дети обсыпали друг друга цветными бумажками. Девочка сидела с ним рядом, чтобы он не был один. Она так и сказала ему:

— Ты не бойся тут. Я буду сидеть с тобой.

Пришел закутанный в вату человек, в ватной шапке и с ватными усами.

— Дед Мороз... дед Мороз...— закричали, запрыгали все.

У закутанного в вату человека, который старался говорить по-мужскому, был женский голос, и он узнал одну из дочерей Генерала. Из большого мешка она стала доставать бумажные мешочки и пакеты. На каждом было написано имя. Сначала их раздавали самым маленьким, потом старшим девочкам и подросткам. Дочка Дынькова взяла свой мешочек. В нем были пряники, орехи и кукла в красном сарафане.

— Тасинькина сестричка! — сказала она.

Дочка Дынькова пересчитала пряники и орехи, выложила часть из мешочка, протянула ему:

— Возьми, покушай.

Все вокруг рассматривали подарки, переговаривались, ели пряники.

— Ибрагим Алтынсарин!

Дед Мороз протягивал ему перевязанный красной ленточкой пакет. Он подошел, взял и сел на место. Сердце забилось у него, когда развязывал он ленточку. Такой красивой книги он никогда не видел. «Басни Крылова» — значилось синими буквами на золотом переплете, на каждой странице были цветные картинки. Некоторые из этих басен он знал наизусть. Ему всегда хотелось иметь свою книгу, большую, красивую, только ему принадлежащую.

Бахтияров получил роман про рыцаря Айвенго, Кулубеков — про путешествия, другие тоже перелистывали свои книги, рассматривали картинки, девочки примеряли ленты...

Снег шуршал за войлочной стеной. Он лежал с открытыми глазами и думал, как спят сейчас в своем зимовье дед Балгожа, мать, родичи, как спит Нурумбай, его мать. Спят лошади, овцы в кошарах. И приходил опять к нему Человек с саблей, пристально смотрел сквозь украшенную свечками елку. Все это пропадало, и оставалась ночь с красными полосами по черному небу, когда нельзя кричать. Дядька Жетыбай гладил ему плечи.

— Успокойся, бала, он не придет.

Книга лежала тут же, на сундучке. Он ухватился за нее, прижал к щеке.

V

Всю зиму ходил он вместе с Бахтияровым и Кулубековым в дом с белыми колоннами, который стоял на главной улице. Это было Дворянское собрание, где устраивались танцевальные вечера и представления. Взрослые дамы, учителя, офицеры играли пьесы, и он с замиранием сердца смотрел, как они надевали парики, становились королями, генералами или просто чиновниками, как в пьесе господина Гоголя. Бахтияров и Кулубеков были здесь свои. Вместе с кадетами они бегали за сценой, подавали вещи, суфлировали, иногда даже говорили что-нибудь на сцене. Он же сидел тихо сзади в своей шапке, но ему здесь очень нравилось. Строгий старый солдат с крестами и медалями, стоящий у входа, пропускал его, как артиста. Пьесы эти показывали за деньги, которые раздавали потом бедным людям и погорельцам.

Однако больше всего ему нравилось бывать у топографов. К ним он ходил теперь чаще, чем к учителю Алатырцеву. Как-то осенью его с Бахтияровым послали в корпус, чтобы помочь определить русские написания урочищ и других пунктов на карте. Они остались у топографов на весь день. Там был знакомый ему

поручик Дальцев и еще капитан Яковлев, тоже иногда заходивший к учителю Алатырцеву. После работы их позвали обедать со всеми.

— Не соглашаются в столице с нашими расчетами,— удивлялся за обедом Дальцев.— Два года уже.

— Все не так просто, поручик. Уж коли нанесено на карту, то какие тут могут быть допустимы изменения! — говорил приехавший из Петербурга офицер.

Разговор шел о городе Орске, который значился на картах на три версты западнее того места, где стоял. Топографы уточнили его местонахождение, но трогать что-нибудь на карте можно было только с высочайшего разрешения.

— А как обходятся астрономы? Комета, говорят, новая появилась, не учтенная в сенатских списках! — смеялись офицеры.

Эти крепкие, загорелые люди жили как-то по-особому слаженно. И начальство у них было хорошее — умный и добрый полковник Бларамберг, которого все любили в Оренбурге. Каждый из них уходил с тремя-четырьмя казаками на все лето за тысячи верст в степь. К зиме топографы возвращались и составляли донесения. Он знал, чем они занимаются,— в школе учили землемерному делу и съемке местности.

— Не хотите к нам в корпус, господа киргизские лицеисты? — предложил им капитан Яковлев, старший из топографов.— Вы уж, вижу, навострились у нас. Что же, подучим, а там и училище особое есть. Будете в Хиву, в Коканд ходить, съемки делать...

Бахтияров сразу загорелся, принялся расспрашивать, горячо обсуждать, как станет топографом, будет путешествовать по разным неизведанным местам. Лишь вчера он говорил, что хочет быть артистом. Офицеры слушали, посмеивались.

— А вы что же, господин Алтынсарин?

Яковлев смотрел на него, прищурившись, поглаживая чисто выбритый подбородок. Все топографы — даже старшие офицеры — брили лицо и не отпускали бакенбардов, только оставляли усы. Чем-то похож был капитан Яковлев на господина Дынькова, хоть по виду казался совсем другим — строгим, подтянутым, несмотря на возраст. Рассказывали, что Яковлев делал съемки у туркмен, в Самарканде и даже в Бухаре, когда ездил туда с посольством.

— Нет, не хочу топографом!

Глядя прямо в глаза Яковлеву, он помотал головой.

— Та-ак-с... По статской службе оно вернней, конечно. Чины и все прочее.

Идя домой, он все думал, почему так ответил топографам. Ему не представлялось до сих пор, кем же станет он после школы. И всю жизнь потом что будет делать.

Сразу же появился Варфоломей Воскобойников, который сказал о своей науке:

— Предмет сей, господа киргизские воспитанники, наиважнейший в истории человека от Ромула и Рэма до наших дней. И не прервется он до самого дня страшного суда, когда будет наложена окончательная резолюция. Вышеупомянутый предмет есть делопроизводство, сиречь составление деловых бумаг, входящих и исходящих, а также производство следствия с должным по сему поводу протоколированием. Ибо все исчезает, превращается в труху, меняются поколения, толпами появляются и исчезают с лика земли народы, а древо сие остается незыблемо и плодоносит всеблаго и неутомимо. Счастлив избранник, вкушающий хлеб от него, поскольку не зависит от урожаев и землетрясений, а лишь от милости начальства...

Варфоломей Егорович занимал особый стол в Пограничной комиссии и к нему сходились все бумаги для регистрации и продвижения к исполнению. Большой угреватый нос его всегда был в табаке, который он нюхал, выбивая ногтем из большой деревянной табакерки. Говорили, что он самый старый чиновник в комиссии и помнит еще дни губернатора Эссена, когда три года службы на линии позволяли умному человеку построить дом или приобрести деревеньку в России. Жил он один — снимал квартиру. Его и назначили к ним учителем.

— Не один холодный ум, а душу следует вкладывать в написание бумаги,— говорил Варфоломей Егорович, вытянув из рукава потертого мундира худую старческую руку.— Ибо одно дело написать: «Соблаговолите рассмотреть», а другое: «Уповаю на всемилостивейшее Вашего превосходительства рассмотрение». Оттенков сего столько же, сколько у радуги небесной, и как бряцающий на лире пиит, так исполняет свою песнь и составляющий отношение губернский секретарь. Чуткое ухо начальства всегда уловит в ней фальшивую ноту, а посему надлежит вступающему в службу знать все таинства столь удивительного феномена. В том же протоколе следствия можно в таких красках представить дело, что остается безотлагательно наградить человека, а тронь другую струну, и того же человека надлежит ни часу не медля — в рудник. Вот она, какова сила в сей слабой руке!..

По четыре часа в день писали они теперь всяческие письма, отношения, циркуляры, протоколы по поводу «обнаружения мер-

твого тела». Привстав на носки и закинув голову, Варфоломей Егорович диктовал молодым голосом: «Ваше превосходительство, милостивый государь мой Ксаверий Александрович... Всенижайше кланяюсь и остаюсь навеки благодарным и покорнейшим слугой Вашего превосходительства...»

Варфоломей Егорович Воскобойников водил дружбу с толмачом Фазыловым. Порой случалось, они вместе пропадали на два-три дня. По этой «слабости», как говорили, делопроизводитель не приобрел богатство и не достиг высоких чинов, несмотря на сорокалетнюю службу. Но если Фазылов после всего попадал на гауптвахту, то Фарфоломей Егорович приходил к ним словно бы помолодевший, очищенный, по его словам, «от скверны мудромыслия». В такие дни он говорил особенно много и цветисто:

— Великий пиит наш господин Пушкин Александр Сергеевич, которого я имел честь лицезреть здесь, в Оренбурге, допустил очевидную несправделивость. В своем сочинении «Дубровский» он односторонне отобразил преданнейших слуг отечества, коими во все времена являются чины разных классов. Крестьяне, при очевидном содействии дворянина Дубровского, пожалев кошку, заживо сжигают сих несчастных, исполняющих свой долг, а увлекшийся сочинитель как бы благословляет их на столь страшное дело.

Вместе с тем, посмотрите, господа, что есть Российская империя. Мы, чиновники, составляем суть и основу ее. Уберите приходящие и исходящие бумаги, отношения и протоколы, которые обучаю я вас составлять, и что от всего останется. Кучи бессмысленных людей, ходящих куда и как попало. Никакой России не будет без нас. Мы подобны древу животворящу. Пусть даже середина его выгнила и пуста — мы, составляющие кору и остов его, стоим недвижимо. И кажется всем, что древо высится как прежде, раскинув могучие ветви и осеняя побеги в благодатной своей тени. А там, глядишь, новые соки забродят в нем и мы, как птица Феникс, сохранившая свою красоту, примемся всемерно укреплять и наполнять обновленный ствол...

В эту зиму прикомандировали еще к ним военного фельдшера, который показывал, как делать прививки от оспы. Кроме того, унтер-офицер от егерей учил их распознавать лошадиные и скотские болезни, особенно сибирскую язву. Он прилежно учился всему, но не думал, что будет когда-нибудь этим заниматься...

— Христос воскрес!

Девочка с серьезным видом подошла к солдату Демину и протянула ему красное яйцо. Она каждый день приходила теперь

к ним в юрту и подолгу сидела, качая свою куклу. Но сегодня девочка надела нарядное платье с бантиком, шнурованные ботинки, в косу была вплетена синяя лента. Солдат Демин так же серьезно достал из платка покрашенное яйцо и дал его девочке. Потом они триджы поцеловались.

После этого девочка подошла к нему, протянула такое же яйцо. Он взял, растерянно посмотрел по сторонам. Солдат Демин развернул свой платок, дал по синему яйцу ему и дадьке Жетыбаю. Он отдал свое яйцо девочке. Встав на носки, она с серьезностью на лице трижды поцеловала его. Губы у нее были холодные и пахли молоком.

— Христос воскрес! — сказала девочка дядьке Жетыбаю.

— Ай, жаксы! — согласился тот, подставляя усы для поцелуя.

— Что же, давайте и мы похристосуемся по такому делу!

Солдат Демин поцеловался с ним и с дядькой. В городе звонили колокола. В этот вечер они ели сладкий хлеб-кулич, похожий на тот, который пекли к его приезду тетушки.

В который раз цепенел он весь и стоял, придавленный чужим и страшным. Даже день тогда делался черным. Они жались друг к другу у школьного забора и смотрели на другую сторону улицы.

— Каргызьё, мать твою душу!..

Тимофей Ильич из углового дома торговал мясом. На широком — во весь квартал — дворе стояли загоны, сараи, высокая скирда сена. Окрывались крепкие деревянные ворота, и было видно, как два работника разделывают под навесом темно-лиловые туши. Базарные мясники к утру увозили их в крытых рогожей повозках. И каждую неделю после конного базара на улице начинался крик. Пригнавшие овец казахи требовали деньги, а Тимофей Ильич стоял, оглаживая седеющую бороду, и говорил негромко, рассудительно, как и сейчас:

— Что ж ты, мил купец, кричишь, ежели сам нарядился по полтинничку. Вот и люди слышали. Так я говорю, Федор?

— Да уж точно, чего там,— подтверждал долговязый, с переломленным носом работник, хмуро поглядывая на старого казаха в лисьем малахае. Тот держал перед собой в горсти деньги, и горестное недоумение было в его глазах.

— Рубыль, говорил... Рубыль! — тонко закричал молодой, повязанный красным платком джигит, подскакивая к Тимофею Ильичу и махая руками.

— А то уж невежество — промеж старшими лезть. Рубель, говорил я, за пару. А за одну овчишку как раз и выходит полтинник. Все по закону.

— Рубыль, говорил... Назад овца давай!

Джигит бросился в ворота, к загону, где стояло с полсотни пригнанных ими овец. Долговязый Федор подбил его ногой, и джигит упал на землю. Работник приподнял его длинной рукой за пояс, лениво ударил кулаком в зубы. Кровь текла из разбитого рта и носа у джигита, а старик все стоял, держа в дрожащих руках деньги.

Соседи от других дворов молча наблюдали за этим. От угла неспешно, придерживая шашку, шел городовой.

— Что здесь за шум? — спросил он.

— Да вот азиатцы разбойничают, Семен Иваныч. Каждый раз это с ними,— принялся объяснять Тимофей Ильич.— По дикости своей счета правильного не понимают. Вырядятся, а потом назад товар желают возвернуть. Не по закону это. Нонче базар кончился, на неделе ничего уж не купишь. Прямой убыток мне получается.

Городовой посмотрел на старика, на джигита и закричал:

— Давай, очищай... Нечего тут!

Старик начал испуганно отходить, позвал джигита. И тут быстрым шагом подошел господин Дыньков. Никто не видел, как вышел он из школьных ворот.

— Сколько овец было у тебя, аксакал? — спросил господин Дыньков по-казахски у старика.

— Пятьдесят четыре,— тихо сказал старик.— Семь дней от Сарыкума гнали. На свадьбу деньги. Вот ему на свадьбу.

— Покажи, что тебе за овец дали?

Старик доверчиво протянул раскрытую горсть. Господин Дыньков взял, пересчитал деньги, повернулся к Тимофею Ильичу:

— Что ж ты, православный, людей варяжишь?

— Так они, ваше высокоблагородие, сами, по-доброму. Вот Федора спросите. А Арсений Егорыч был при том. Я всегда по совести, при свидетелях...

— Да самые вороватые и есть они, каргызьё! — Работник Федор стоял, расставив ноги в собранных гармошкой сапогах, на лице играла усмешка. Все боялись его в квартале и на других улицах. Бил он всех в драках, и говорили, от удара его бык падает. Господин Дыньков даже не посмотрел на него.

— Почему от большой отары овец не покупаешь, Толкунов?

— На что мне она, большая? Сотняшку-другую овечек на неделю, и в достаток по моим делам. Мы люди маленькие.

— По-волчьи делаешь, Тимофей Ильич. На большое клыков не хватает. Слабых прирезываешь, у кого защиты не имеется.

— Дело торговое,— спокойно возразил Тимофей Ильич.— Все по закону, по человечеству.

— Ну, вот что, любезный. Чтобы не было худого разговора, плати как рядился!

— Да так и рядились, по полтиннику.— Работник Федор, имевший свой интерес в деле, угрожающе шагнул вперед.— Ты не того, твое благородие. Учить надо каргызню, а не то, чтобы...

И вдруг маленький господин Дыньков легко подскочил вверх, белый кулак мелькнул в воздухе. Работник зашатался, стал отступать, неровно размахивая руками, пока не сел спиной под ворота. Голова его моталась из стороны в сторону, он что-то мычал, открывая и закрывая рот.

— Если убыточно платить, Тимофей Ильич, значит, овец надлежит вернуть.— Господин Дыньков говорил, как будто ничего не произошло.— Вот они, твои полтинники, в полном счете.

Тимофей Ильич посмотрел на деньги, покосился на сидящего под воротами работника:

— Почему же не заплатить. Можно и заплатить, коли по человечеству... А то дело торговое. На то и щука в море, чтобы карась опасно ходил.

Вынув из-под чуйки кошель, он отсчитал серебряные деньги, предал господину Дынькову. Тот пересчитал их и отдал старику.

— В городе, аксакал, надо деньги на месте получать,— сказал он строго.— Тут тебе не дикая степь.

Старик взял деньги, склонил неловко голову. Господин Дыньков махнул рукой:

— Иди... иди!..

Старик с джигитом пошли по улице, убыстряя шаг. Джигит все оглядывался.

Городовой кашлянул в кулак, поправил усы:

— Все чтобы, значит, по закону!

Господин Дыньков посмотрел на него насмешливо, повернулся и пошел в школу. Расступившись, они все пошли за ним, с восторгом глядя на широкую крепкую спину.

Всякий раз, проходя теперь мимо ворот Тимофея Ильича, они замедляли шаг, шли выпрямившись, без страха глядя на сидевшего у ворот работника Федора. Как и прежде, грыз тот семечки и смотрел на них тяжелым взглядом, но они уже не боялись его. В выходящих на улицу окнах господина Дынькова виднелись оклеенные розовой бумагой горшочки с цветами...

Домулло Усман-ходжа побаивался господина Дынькова — с тех пор, как пришедшие из татарской слободки ученые старики признали правоту надзирателя в толковании закона об уразе. Но ссоры между ними продолжались.

Раньше их по два и по три раза водили в мечеть: парами, через весь город — один унтер сзади, другой впереди. Когда они возвращались, времени на другие занятия уже не оставалось. Теперь господин Дыньков редко отпускал их. Приходящий за ними служитель от ахуна уходил, и тогда приезжал в своей коляске сам Усман-ходжа.

— Не такой уж важный это праздник, господин Мусин,— твердо говорил надзиратель.— Ни отцы, ни деды их в степи его не справляют, уж поверьте, я знаю лучше вашего... Коли бы еще им по духовной части идти, тогда дело. А действовать им предстоит по мирской части. Когда большая Пятница или Гаит[1], тогда я ничего не говорю. Богу, как говорится, богово...

Усман-ходжа увещевал его, грозил будет жаловаться самому губернатору, но уходил ни с чем.

— Без бога нельзя, господа воспитанники,— сказал им как-то господин Дыньков, зайдя вечером в спальню.— Бог у всякого народа, у каждого человека есть, отцом-матерью завещанный, и не может человек от совести своей отрекаться. Только ни к чему богу ежечасное человечье юление перед ним. По нашему если взять, то на рождество и пасху, ну еще престольный какой праздник — и достаточно. Вон она, Россия, какова: до океана. А коли бы все только и занимались, что свечки в церкви ставили, что бы получилось. Помыслите о том. А бог, что же, без бога никак невозможно.

Чего же хотел от него, от всех них господин Дыньков? И Генерал чего-то хотел, и другие...

VI

Все понятней становилось ему будущее. Это не оставляло его с того первого дня, когда осознал он себя в двух мирах одновременно. Частью мира узунских кипчаков был он от рождения. И другой мир — реальный, зримый, в котором жил он главную половину жизни, властно удерживал его в своих необъяснимых границах. Тот, узунский мир, был вечностью, которая выражалась видимым окоёмом степи. В этом мире окоемов не было, и вся безбрежная грандиозность его лишь угадывалась в каменных домах, окружающих людях, их поведении, разгово-

[1] Мусульманский праздник.

рах, книгах. Предстояло разрушать узкий окоём вечности и вывести узунских кипчаков за его зримые пределы.

Как это будет делаться, особой заботы для него не представляло. Всё было просто, и теплое колено деда, которое он почувствовал в прошлое свое возвращение, служило порукой успеха.

Да, всё он знает теперь и уверенной рукой начнет менять устоявшуюся вечность. То, что это необходимо делать, он уже не сомневался. Еще прямо не думалось об этом, но образы будущего складывались в одном направлении, устремляясь в сияющий, победный зенит...

Так получалось, что ни с кем он по-настоящему не дружил. Быстрый в движениях, красивый Миргалей Бахтияров и толстый покладистый Кулубеков были лишь приятели, бравшие его всегда с собой. Он терялся и не любил шума. Был еще маленький Идеге Айтокин, но с ним он водился по родству. Тот тоже временами приходил спать в юрту к дядьке Жетыбаю. И все другие в школе были друзья, с которыми он не ссорился, но никогда его не тянуло быть с ними вместе. Чаще хотелось ходить одному и думать.

В это последнее лето за ним не прислали тарантаса, только передали от деда Балгожи вяленое мясо — казы и пятнадцать рублей. Все ближние разъехались после экзаменов по домам, а он остался в городе. Так ему было даже лучше. С утра уходил он, взяв с собой гривенник серебром и лепешку, а возвращался на двор к дядьке Жетыбаю, когда на задние улицы города пригоняли стадо и в воздухе остро пахло пылью и молоком.

Раньше всего по утрам он шел туда, где пыль заканчивалась, и камень был уложен во всю ширину улицы. Как раз посередине улицы стоял большой белый дом с колоннами, внутри его были лестницы с черно-золотыми решетками, переходы, высокие залы. Там устраивали праздники, читали книги, говорили между собой, и всем было хорошо. Он подолгу смотрел на этот дом, а мысли его плыли в узунскую вечность. Все было такое же: белые колонны, отражающие солнце окна, львы у подъезда, даже ровная мостовая улицы. Но не здесь уже находилось это. Смутно проступал пологий берег Тобола, где в невысоких, взлохмаченных ветром тугаях помнилось, как во сне, кыстау — зимовье узунских кипчаков. Выпрямлялась земля, сами собой появились дома и улица, шли и ехали по ним одетые по-новому люди. Он узнавал их в лицо, потому что были это его родичи — ближние и дальние — те, что обитали в белых юртах на берегу озера,

и другие, которые жили в жуламейках по ту сторону выгона. Всех он сделает причастными к новому, большому миру.

Потом шел он на городской рынок. Каменные лавки стояли в ряд, и в каждом ряду сидели купцы в немецком платье, в хивинских, бухарских, персидских халатах. Тяжелые сукна, ситцы, атласные шелка свисали с полок, ковры лежали прямо на земле. Кажется, ничего не было в мире, чего нельзя было бы здесь купить. И опять он видел мать и всех своих тетушек, выбирающих наряды, джигитов, примеряющих удобные и красивые одежды, девочек с куклами.

Урал был синим. По широкому мосту переходил он на другой берег. Весной тут стояла вода. Сейчас она ушла, и среди бело-зеленых деревьев по посыпанным песком дорожкам гуляли люди: дамы с офицерами, чиновники, кадеты. В круглой, на деревянных столбах беседке играл оркестр. Солдаты в белых рубашках дули в блестящие медные трубы, а пожилой усатый офицер в мундире с эполетами красиво взмахивал палочкой.

А за рощей, прямо в открытом поле, был Меновой двор. Двое ворот вели туда — с юга и севера. Что ни день приходили караваны с шелком, шерстью, кожами. Деревянные изгороди сходились треугольником, куда загоняли овец. Надсадно блея, протискивались они одна за другой в узкий проход. Только так можно было их сосчитать.

Посредине двора находилась таможня, стояли рядом церковь и мечеть. Огромная, в полверсты, площадь тоже была окружена лавками, но торговали тут сундуками, сбруей, ружьями, рядами теснились повозки с мукой и сеном.

На Конном базаре самарские и саратовские купцы сидели на помосте и пили чай. Приказчики в красных рубаха подводили к помосту лошадей, и купцы торговались по-татарски с пригнавшими их на продажу казахами и башкирами. Объезженные аргамаки шли дороже всего. По сто и по двести рублей серебром платили за хорошую лошадь...

А потом он шел в другую сторону. Улица переходила в обсаженную ивами дорогу, в конце которой был Царский сад. Высокие, с чугунными пиками, ворота были всегда закрыты. С прошлой осени губернатор из-за болезни выехал отсюда и поселился в ста верстах от города, в казачьей станице. Каждый день скакали туда с докладами от штаба, от губернского правления, от Пограничной комиссии.

За Царским садом был госпиталь, а еще дальше, на отшибе,— караван-сараи с белой мечетью. Все это: городской сад с оркестром, Меновой двор, конный базар, мечеть с легкими, словно сахарными минаретами он переносил туда, на берег Тобола...

Встряхивая длинными черными волосами, Миргалей Бахтияров говорил высоким голосом:

— Самое лучшее — быть генералом. Сколько надо служить: пятнадцать, ну двадцать лет — и статский советник. Потом действительный статский. Все султаны-правители к тебе с поклоном. Только это дикость, зачем мне с ними водиться. Лучше совсем в городе жить. Тут тебе все, что нужно. А потом в Казань можно поехать, в Петербург...

— Ай, хорошо, правильно,— соглашался Кулубеков, хитро поблескивая глазами.— Только еще скот надо держать, как башкиры-офицеры. Пусть в степи себе ходит, пасется. Десять рублей лошадь стоит. Если тысячу или две тысячи лошадей в год продать, всё, что захочешь, будешь иметь. И еще скот у киргизов покупать, а тут продавать. Юсупов десять домов имеет, а приехал из Казани на линию, говорят, только каталку для мешков за спиной имел...

Между собой они разговаривали по-русски, а о казахах говорили, словно о посторонних людях. Даже по русскому обычаю называли их киргизами. С удивлением слушал он их, не одобряя и не осуждая. Почему-то никак не думалось ему о службе или скоте.

— Э-э, дяде Хасену буду бумаги торговые с орысами писать,— говорил по-казахски маленький серьезный Идиге Айтокин.— На почетном месте буду сидеть. Кому нужно прошение или жалобу, пусть деньги, скот дает...

Пыль не поднималась выше конских животов и, тяжело расплываясь, оседала на краях дороги. Молча смотрел он на едущих бесконечной чередой людей. Только двое из них были связаны по рукам и плечам веревками. Остальные сидели свободно на понурых усталых лошадях. По бокам и сзади, потряхивая на запястьях нагайками, ехали казаки башкиро-мерещякского войска. Третий день уже гнали из Западной степи родичей и туленгутов Исета Кутебарова[1].

Сначала на приречные луга пригнали захваченных у него лошадей. Потом целый день прогоняли овец. Людей из его аулов переселяли в Букеевскую орду и Восточную часть, к кипчакам и аргынам. Сам Исет-батыр, не подчинившийся властям, и на этот раз укрылся в Хиву. Говорили, что никуда он теперь не денется. Без скота и поддерживавших его родовых аулов много не навоюешь.

---

[1] Батыр, возглавлявший народное движение против царизма в 50-е годы XIX века.

Потом через слободку шли кочевья — с лошадьми, верблюдами, привязанными к поклаже детьми. С утра до ночи сидел он в Пограничной комиссии, помогая толмачам. Аульных аксакалов и биев приводили в большую комнату, где за накрытым зеленым сукном столом заседали члены комиссии в мундирах и при орденах.

— Киргизы аула номер пять, в количестве ста сорока восьми душ...— протяжно читал Варфоломей Воскобойников.— Из них пола мужеска восемьдесят три и пола женского шестьдесят пять. Старшие над ними аксакалы Бекбулатов Сабир и Джумагельдин Кадырбай, коим и объявляется решение о выселении сего аула из пределов Западной части Орды в пределы Тугаинова кочевья при колодце Яхбиль и в зимовье Чингельды... Основание на выселение: представление Его высокоблагородия султана — правителя Западной части полковника Айчувакова...

Два аксакала — один в желтой шубе до пят, другой в чапане — слушали, уставившись куда-то в стену за спиной комиссии. Тот, что был в чапане, время от времени вытирал платком слезящиеся глаза. Большая зеленая муха, залетевшая от казарменных отхожих мест, громко жужжала под потолком. Толмач, присланный из суда, переводил тихой, невнятной скороговоркой. Старики, видимо, не слушали, хоть говорилось по-казахски.

— Имеются ли отличные от сего мнения, господа?

Статский советник, который в доме попечителя Плотникова читал тайное письмо, смотрел перед собой бесцветными глазами. Бумага с гербом в его маленьких ручках казалась непомерно большой, тяжелой.

Капитан казачьей артиллерии Андриевский, сидевший с краю стола, просил всякий раз передать ему бумаги, но не читал, а лишь поглядывал на аксакалов.

— Неясно, господа, участвовал ли этот аул в волнениях.— Андриевский вдруг обернулся, нашел его глазами.— Спросите у них, Алтынсарин, принимали ли участие жители аула в набеге на семнадцатый пост в прошлом ноябре? И в каких отношениях состоят они с мятежным батыром Кутебаровым?

Капитан только раз или два видел его в доме учителя Алатырцева, но имя запомнил. Он в ответ поспешно кивнул головой и принялся расспрашивать аксакалов. Старики сразу же повернулись к нему, заговорили:

— Мы никому не причинили вреда. Исет-батыр овец у нас брал. Как не дать. Родственник он нам, и туленгуты у него... Аллах, почему такая напасть на нас?!

Капитан Андриевский отодвинул от себя бумаги:

— Могу засвидетельствовать, господа, что это мирный аул. В своих расследованиях на линии в прошлый год я бывал на дальних постах и знаю все аулы семнадцатой и восемнадцатой дистанций[1]. Не они разорили пост в ноябре.

Статский советник Красовский, не выпуская из коротких рук бумагу с гербом, заговорил, как бы не слыша возражений капитана:

— На основании представления султана-правителя полковника Айчувакова, предлагается утвердить...

— Но позвольте, Евграф Степанович. Для соблюдения авторитетности русского слова и Российского государства в киргизском обществе надлежит разобраться по справедливости. Спросите у них, Ибрагим, о причине нелестного мнения о них полковника Айчувакова.

— Ай, с Исет-батыром они враги. А Исет нашего рода,— пояснили аксакалы.

— Выходит, родовая вражда.— Капитан Андриевский приподнял плечо.— Приличествует ли нам поддерживать подобные устремления?

Статский советник еще крепче стиснул руками бумагу с гербом:

— Как известно вам, Иван Матвеевич, султан-правитель назначается на должность генерал-губернатора с утверждением по известному ведомству. В сей лишенной всякого понимания о праве среде, которую вы изволите именовать обществом, существуют свои правила и обычаи. Правительство находит полезным в обращении с киргизами поддерживать устоявшиеся правила, сколь бы ни были они противуестественны для европейского понимания законности.

— А не скатимся ли сами мы в конце концов к столь неевропейскому ее пониманию, ваше превосходительство?! — резко возразил Андриевский.

— Слово султана-правителя для нас превышает все остальные мнения, исходящие от киргизов. Коль находит тот неудобным пребыванием аула на подведомственной ему территории, мы неукоснительно будем поддерживать его решение. Только так утвердится авторитет власти.

— А люди?

— Какие люди?

Статский советник с недоумением посмотрел на аксакалов, словно впервые увидел их. Старики напряженно прислушивались к тому, что говорил Андриевский. Аксакал в чапане так же, как

---

[1] Промежутки между постами. Составляли административную единицу в степи в 50-е годы XIX века.

и капитан Андриевский, не стал обращаться к другим толмачам, а нашел глазами его:

— Что говорит орыс?

— Русский говорит, что неправильно всех переселять,— сказал он, и старик с надеждой уставился на капитана.

— На основании представления султана-правителя Западной части Орды полковника Айчувакова утверждается переселение аула номер пять семнадцатой дистанции в пределы Восточной части Орды, а именно...

Один за другим кивнули головами советники комиссии, согласно закивали казахи-заседатели в синих и малиновых бархатных штанах. Андриевский отвернулся к окну.

Заседание комиссии закончилось. На улице аксакалы из переселяемых аулов молча сидели на земле вдоль стены. Они словно бы ожидали еще чего-то. Как только вышел Андриевский, все они повернули к нему головы. Капитан остановился, постоял. Потом, не глядя по сторонам, сел в седло и поскакал в сопровождении казака вдоль улицы...

Что-то непонятное ему было в этом мире, чему никак не находилось объяснения. Одно и то же здесь имело разные значения. Помнились проводы, которые устроили офицеры-топографы своему командиру, любимому всеми полковнику Бларамбергу, только что сделавшемуся генералом. Узнав об этом, он с Бахтияровым побежал сначала в топографическую роту. Составленные в ряд столы были накрыты холщовыми скатертями. Солдаты сидели ровно, со строгими лицами. И у уезжавшего в Петербург немца-генерала лицо было строгое, важное. Старший унтер обтер платком седые усы, поправил погон и заговорил:

— Так что дозвольте, ваше превосходительство Иван Федорович, поблагодарить вас, что не побрезговали солдатским угощением и пришли отведать напоследок нашу хлеб соль.

— Спасибо, голубчик... Спасибо, братцы!..

Генерал привстал, но унтер властно повел рукой в его сторону:

— Как мы, значит, пятнадцать лет знаем вас как командира, достигающего до солдатской души. Потому как у солдата глаз остер и всегда видит, коль происходит от начальства бездушевность и небрежение. Сколько в этом разе не старайся, сердце солдата не зажжешь...

Сменяющий на посту генерала высокий полковник тоже с нерусской фамилией слегка побледнел и сгорбил плечи. Унтер

покосился в его сторону и, увидев, что слова дошли до цели, удовлетворенно кивнул головой.

— И особо желаем, ваше превосходительство, благодарить вас от лица тех российских воинов, что ходили с вами в пятьдесят втором под Ак-Мечеть. Каждый из нас скажет, что истинно русский вы человек. Потому как другой командир и носит случаем русское звание, а нет к нему солдатского расположения...

Сидя по-прежнему ровно, генерал плакал, утирая слезы. Солдаты подходили по очереди, и он целовался с ними. Потом выпили разлитую в кружки водку и молча ели обед: щи и кашу. Генерал и приглашенные офицеры съели все без остатка вместе с солдатами и так же, как они, отставили ложки. На прощанье трижды прокричали «ура»... Офицеры давали прощальный обед в Дворянском собрании. Там играл военный окрестр и на столах хрустальная посуда, которую всегда доставали в таких случаях: Вместе с другими праздными зрителями они с Бахтияровым стояли в дверях.

— Чины вверенного вам отдельного отряда корпуса топографов никогда не забудут пятнадцати лет трудной и счастливой службы Отечеству под вашим просвещенным командованием, Иван Федорович,— громко и четко, как всегда, говорил старший из офицеров капитан Яковлев.

Все вставали и говорили по-очереди, а генерал утирал платком свои большие голубые глаза. Потом он встал, плотный, высокий, с кубком в руке:

— В момент расставания, господа офицеры, не могу удержать слез. Тем не менее, считаю долгом своим, прежде чем благодарить вас за теплые чувства ко мне, почтить недавний уход от нас августейшего командира, чьи отцовские заботу и благорасположение мы ощущали в каждый час нашей службы на беспокойных азиатских рубежах. Как знаете вы, я был в то время в столице и мне выпала печальная честь присутствовать на высочайших похоронах. Когда в последний раз приложился я губами к холодной руке своего государя и благодетеля, я думал о вас, своих товарищах, вместе с которыми честно исполнял его монаршую волю и предначертания...

Словно некая тень упала на лица людей. Они сразу одеревенели, потеряли всякое выражение. Какая-то торжественная важность появилась на них, и все, что до сих пор было живое, искреннее, стало ненастоящим.

Генерал скорбно покачал головой:

— Расскажу вам, господа, как с шефом наших казаков графом Цуккато покидали мы траурный покой в Зимнем дворце. Нам встретился старый камердинер усопшего с заплаканным

лицом. Граф спросил у него: «Много ли страдал покойный царь перед смертью?» — «Ах, Ваше сиятельство,— ответил ему камердинер,— физически он мало страдал, но какие душевные мучения он перенес в последние месяцы своей жизни знают только бог и я».— «Как так?» — спросил граф. «Сколько ночей,— ответил камердинер,— я слышал, как Его величество часами ходил взад и вперед по своей спальне, вздыхал и громко молился. Судьба его армии, государства и особенно неблагодарность Австрии, которую он в сорок девятом году спас от гибели, подтачивали его здоровье. Но днем он всегда был бодр, и никто не видел, что происходило у него внутри и что он переживал...» Да! Усопший царь Николай Павлович был человеком в полном значении сего слова. Мир праху его!..

Офицеры торжественно склонили головы и выпили свои кубки. Все: и Дальцев, и Яковлев, и приглашенные Андриевский с Бутаковым. Он мало что понимал и, когда кончилось торжество, вслед за ними пошел на квартиру к учителю Алатырцеву. Там, как обычно, собралось много людей. С теплотой говорили об уезжающем генерале, чья жена — симферопольская гречанка — была первой в устройстве музыкальных вечеров и спектаклей в Дворянском собрании.

— Из каких он немцев: курляндский или наш, русский? — спросил Андриевский.

— Он из фламандцев,— сказал учитель Алатырцев.— Слышали про знаменитого собирателя древностей Бларамберга в Одессе? Это дядя ему.

— Немец и есть немец. Почившего в бозе императора к месту вспомнил,— усмехнулся Андриевский.

— Нет, тут сложнее дело,— задумчиво сказал Дальцев.— Бларамберг достойный и честный человек. Слыхали, как солдаты с ним прощались?..

— Чем уж так полюбился им этот Бларамберг?

— А тем, сударь мой, что добрую душу имеет,— громко сказал Яковлев.— Русский человек все за доброту сделает. И не смотрит: русский это или татарин. Раз добрый, считает он, значит истинно русский человек, кто бы он ни был. А злодея, будь он хоть распрорусский, тем же немцем, татарином или жидом определит.

— Но все ж отчего он такую верность памяти всероссийского погубителя имеет в сердце?

— Помимо всего, покойный царь лично благоволил к нему. Награды и прочее. Золотая табакерка с монограммой государя у Ивана Федоровича.

Учитель Алатырцев, внимательно следивший за разговором, покачал головой:

— Нет, господа, вы ошибаетесь. И вовсе не в немце здесь дело. Это уж наше, российское, со времен присной памяти Петра да Ивана, если не от самого Владимира Красное Солнышко. И пребудет оно до тех пор, пока не научимся различать слово «правительство» от слова «Отечество». Впрочем, и у немцев этого предостаточно...

Оля, дочка господина Дынькова, совсем по-хозяйски раскладывала лоскутные одеяльца, пеленала куклу. Для куклы стояла в юрте специальная кровать, которую вырезал ножом из дерева дядька Жетыбай. Они с солдатом всё делали, что говорила им девочка.

С ним она тоже разговаривала так, как будто он должен был ее слушаться.

— Помазай себе этим голову,— сказала она, принеся горшочек с какой-то клейкой кашей.— Не бойся, тут вар и зелынь-трава. Мамка говорит: от этого волосы растут. Она знает!

Он послушно снимал шапку, и она мазала ему шрамы на голове. Делала она это серьезно, с терпением, совсем как большая.

— Вырастут волосы,— приговаривала она, как со своей куклой.— Будет он у нас красивый, с кудрями...

Солдат Демин и вовсе переселился в юрту. Там, на правой стороне, стоял деревянный сундучок и на кереге[1] висела иконка: светлолицый человек с бородкой, чем-то похожий на учителя Алатырцева. Солдат становился перед ним на колени и крестился. Дядька Жетыбай, посмотрев на него, тоже расстилал коврик, выполнял ракат молитвы. И кончали молитву они вместе. Солдат уже понимал по-казахски, и говорили они с дядькой Жетыбаем на каком-то смешанном языке — не русском и не казахском, да еще с татарскими и башкирскими словами. Все так здесь объяснялись в слободках, на меновом дворе и конном базаре.

Снова, как при прощании с немцем-генералом, холодная тень лежала на лицах людей. Поэтому он смотрел на пятно от пролитых чернил. Оно расплывалось по зеленому сукну, принесенному из Пограничной комиссии. Сукном этим был накрыт большой школьный стол, поставленный поперек.

Посредине сидел Генерал, наклонив голову с жесткими завитками волос. И еще сидели статский советник Красовский с маленькими ручками, новый попечитель с пушистыми светлыми усами, Усман-ходжа, капитан Андриевский. Портрет нового го-

---

[1] Стойка юрты.

сударя был не в рост, а поясной, но так же, как и на старом портрете, отчетливо были выписаны ленты, ордена, брови, уши. И у сидящих за столом людей все было такое же, как на портрете. Лишь надзиратель Дыньков, сидящий в стороне, боком к столу, испуганно вслушивался в ответы воспитанников и всякий раз вытирал пот со лба.

Полмесяца ожидали приезда нового губернатора, чтобы при нем провести первые выпускные экзамены киргизской школы, но решили больше не ждать. Генерал не задавал вопросы, а только слушал. Отвечали сразу по всем дисциплинам. Громко вызванный унтером из коридора, он вошел и вдруг почувствовал, что лицо у него становится таким же, как и у людей за столом. Даже голос сделался не свой. Он складывал, умножал, рассказывал тихи, но говорил не так, как всегда, а словами из книжек. Усман-ходжа приказал прочитать ему суру из корана. Ее надо было выпевать, но он читал арабские слова все таким же голосом.

Лишь на миг нечто изменилось. Перечисляя известные ему книги, он назвал поэму господина Гоголя «Мертвые души». Генерал вскинул брови и лицо его сделалось вдруг таким, как на елке, когда танцевал там с детьми. Капитан Андриевский тоже повернул голову. Но в ту же минуту это прошло и все лица опять стали такими же, как на портрете у государя.

Новый попечитель барон Врангель читал громко, округляя периоды — совсем так, как учили их в школе:

— ...«За отличные успехи и благонравие награждаются похвальными листами воспитанники Кулубеков, Кусваков, Мунсызбаев, Алтынсарин, Кучербаев».

Им должны были выдать именные свидетельства об окончании школы с подписью нового губернатора, но он не мог уже больше ждать. В последний раз пробежал он по пустому прохладному коридору, вышел во двор. Невозмутимый Нурумбай дернул поводья, и тарантас поехал к воротам. Бросились с кудахтаньем в разные стороны куры и петухи господина Дынькова. Сам господин Дыньков с женой стояли на крыльце флигеля. Маленькая дочка его Оля держала на руках свою куклу. И солдат Демин молча стоял у ворот.

Что-то на мгновение защемило в груди, но иначе никак не могло быть. Он уезжал к узунским кипчакам.

VII

Пугающе-однотонное дребезжание отныне вошло в его жизнь. Оно представлялось ему днем и ночью. Напряженно прислушивался он, вспоминая, что делал вчера, позавчера, какое

неверное слово сказал или произвел движение. Был это не размеренный звон идущих к Троицкой таможне караванов, и не утренний перебор колоколов с той стороны Тобола. Холодное заливистое звяканье забиралось под одежду, так что начинали чесаться спина, руки, живот. И сразу возникало лицо имеющего присутствие в Новониколаевске Петра Модестовича Покотилова — с полоской усов, плотной шеей и снисходительной уверенностью в серых выкаченных глазах. Оно впервые явилось в день возвращения узунских кипчаков на свое зимовье-кыстау, и колокольчик продолжал биться в дуге, хоть лошади уже остановились.

Началось все в день его возвращения к Золотому Озеру, когда узунские кипчаки разбирали юрты и укладывали связки продымленных кереге вдоль верблюжьих горбов. Привезший его Нурумбай был позван к дяде Хасену. К вечеру с тремя джигитами Нурумбай скрылся в тугаях на том самом месте, где когда-то палка ударилась в ноги гнедому. Четверо всадников ехали так, будто не хотели, чтобы их видели, и у Нурумбая, а также у другого — большелицего, со сросшимися бровями джигита торчали ружья за спиной. Не заметив его, стоящего со стороны заходящего солнца, они пропали в синей тьме.

А через неделю, верстах уже в ста от Золотого Озера, когда кочевье медленно двигалось вдоль пересыхающей к осени речки-джара и овцы разбрелись по краям окоёма, где-то впереди люди заволновались. Послышался протяжный крик «ой, бо-о-ой!» и столб пыли стал приближаться откуда-то со стороны. Горестный крик подхватили, джигиты один за другим начали срываться с места и, смешавшись с облаком пыли, неслись вместе с ним обратно.

Неподвижно, на старом гнедом иноходце с хвостом до земли, сидел дед Балгожа. К нему прискакали, соскочили с лошадей и, удерживая за края, положили на землю черную кошму. Глядя открытыми глазами в небо, лежал на ней тот самый большеголовый джигит со сросшимися бровями, который уехал недавно через тугаи с Нурумбаем. На рубашке его запеклась кровь и ровный обломок дерева торчали в левой части груди.

— Ой, горе... Человек Хасена!

— Ой, беда.

— С Запада приехали они, от турайгырцев...

Люди вздыхали, тихо переговаривались между собой. Бий Балгожа продолжал смотреть поверх всех, куда-то в степь.

— Да, беда в доме. Нурлан разбился в Балтагульской роще, когда ловили отбившихся коней! — громко сказал аксакал Азербай. Люди заспешили, стали готовиться к похоронам. Неужто

никто не замечал гладко оструганного, крашенного в черный цвет обломка пики в груди покойного?

Мулла Рахматулла, воздевая худые руки, читал молитву. Когда обернутое в полотно тело бегом понесли к видневшемуся невдалеке мазару[1], прискакал откуда-то дядя Хасен, принялся яростно хлестать камчой Нурумбая и двух других джигитов, привезших мертвеца. Нурумбай не закрывался, только пригнул плечи и втянул голову.

Другой его дядя Кулубай смотрел сочувственно, сузив глаза и стянув брови в одну линию. На привале аксакал Азербай сказал:

— Запиши, Ибрай, в свою тетрадь все, что следует, о смерти Нурлана!

Дед его — бий и войсковой старшина Балгожа Джанбурчин кивнул головой, и он, достав из казенного сундучка толстую тетрадь с ровными линиями, записал: «Каирбаев Нурлан, киргиз того же Узунского рода, пола мужска, августа четвертого дня, года тысяча восемьсот пятьдесят седьмого, лишился жизни по причине неосторожности. Захоронен при мазаре Кожахмета с отправлением обряда».

Потом кочевье остановилось. Приехал высокий жилистый бий и два аксакала от турайгырских кипчаков. С утра сидели они на расшитой кошме с бием Балгожой, Азербаем и другими узунскими аксакалами. Никто близко не подходил, только подносили кумыс и угощения. У турайгырцев тоже произошло несчастье. Какие-то люди пытались ночью отбить табун кобылиц серой масти и в схватке с барымтачами застрелен из ружья табунщик Карсакпай. Четвертый день едут они по следам конокрадов. Видели свежую могилу при мазаре благословенного Кожахмета. Какая беда приключилась у родичей?

Азербай подробно рассказал, как родственники уважаемого Хасена, племянника бия Балгожи, поехали искать отбившихся коней. Несчастье произошло в Балтагульской роще. Сын Каирбая Нурлан упал с коня и напоролся на сук. Над ним прочитали молитву, и все записано в книге, как требуют власти. Что же касается несчастья с табунщиком Карсакпаем, то люди Узунского рода всегда приходят на помощь родичам и готовы принести в дар братьям погибшего девять кобылиц из племенного табуна, а также другие положенные предметы.

Аксакалы турайгырцев ответили, что поскольку несчастье уже произошло, то не следует привлекать к нему внимание властей.

---

[1] Могила святого, значительного человека, вокруг которой группируется кладбище.

Должны быть проявлены мудрость и здравомыслие, принятые в отношениях между родичами. Ибо все кипчаки от одного корня, а турайгырцы ближе других к узунскому роду. Однако покойный Карсакпай хоть и обычный табунщик, но не безродный туленгут, а родственник почтенного аксакала Демеубия, и девять кобылиц не успокоят горе его братьев. Как бывало уже в таких случаях, к месту дарить три раза по девять...

Дядя Хасен не принимал участия в споре, лишь нервно дергал локтем. Зато дядя Кулубай улыбался и щурил глаза.

— Да, да,— сказал ему потом наедине дядя Кулубай, когда турайгырцы уехали.— Главное, чтобы все улаживалось между своими. Незачем затруднять власти нашими делами. Надеюсь, ты правильно записал в книгу про смерть Нурлана?

При этом дядя Кулубай все заглядывал в тетрадь, где была русская запись. Он хотел спрятать тетрадь, но дядя не успокаивался:

— И подписано все как надо?

— Вот, видите, агай: «письмоводитель Узунского отделения кипчаков Ибрагим Алтынсарин в сем удостоверяет».

Дядя Кулубай зачем-то потрогал туго сшитые листы, посмотрел нумерацию записей и похвалил:

— Барекельды... молодец!

Через два месяца он пытливо смотрел на холодную рябь Тобола, на желтые тугаи и клонящиеся к воде голые ветви деревьев. Шестнадцать лет назад, как раз в этот день, родился он здесь. Трижды приезжал он на вакацию к деду, но не сюда, а к Золотому Озеру, на джайляу[1], за полтысячи верст отсюда. Теперь он останется здесь навечно, до конца своих дней.

У тама — зимнего дома деда Балгожи с пятью стеклянными окнами разгружали коней и верблюдов, рядом ставили большую восьмикрылую юрту. За пятьдесят саженей отсюда стоял его собственный, отцовский там — из плотного саманного кирпича с остекленным оконцем из гостевой комнаты. На откосе у приречного озера дверьми к солнцу теснились землянки родичей и туленгутов с поросшими жесткой травой крышами. Прямо за ними виднелись сараи и загоны для молодняка.

Вверх и вниз по реке стояли зимовья Хасена, Кулубая, Азербая, других родственников, и всё это на сто верст вокруг было кыстау рода узунских кипчаков, смутно помнившееся ему в снах того, другого мира. Сейчас всё было наяву и остро пахло

[1] Летние пастбища.

сырой глиной, камышом, стылой водой. И казалось грубее и меньше, чем во сне. Даже Тобол был не таким широким. Блеклые листья медленно плыли вдоль берега. Он набрал полную грудь воздуха, развел плечи, и вот тогда вдруг послышался колокольчик.

Петру Модестовичу Покотилову помогали вылезти из коляски, следом семенил мелким шагом маленький фиолетовый человек. На крыльце с непроницаемым лицом стоял дед Балгожа. Забегали люди, предсмертно заблеял баран.

Его позвали через полчаса, велели представить реестровые книги по отделению. На половине для русских гостей в доме бия Балгожи стоял стол с городскими креслами, два шкафа и большой кожаный диван — точно такой, как в кабинете у Генерала. На диване, вольно раскинув ноги, сидел новониколаевский пристав Покотилов и говорил, благодушно поглядывая на хозяина:

— Так что по долгу службы принужден. Вот, с Семеном Бекбулатовичем, как знатоком по сей части. Однако, движимый особым почтением и, смею сказать, дружбой с вами, любезный Балгожа, решился произвести дознание лишь по прибытию вашему на Тобол. Тем не менее, дело не ждет, вчера даже пришло напоминание из канцелярии его превосходительства. Все бы ничего, да сказано, что имеется собственноручная резолюция. Новый губернатор как-никак...

Маленький человек сразу вцепился руками в реестровую книгу, нашел страницу с записью о смерти Нурлана. Все у него было фиолетовое — лицо, нос, руки, даже потертый мундир фиолетово отсвечивал на локтях.

— Все точно-с, Петр Модестович. Извольте увидеть!

Целая неделя потом прошла как во сне. Его вызывали утром, днем и вечером, всякий раз приходилось писать объяснения. Фиолетовый человек спрашивал, кося взглядом в угол:

— Значит, не ведаете... э-э... господин Алтынсарин, о неких ста рублях...

К концу недели он видел, как Алим-ага, доверенный человек деда Балгожи, управлявший зимовьем в его отсутствие и ведущий счеты, передал приставу Покотилову толстый конверт. Петр Модестович удовлетворенно кивнул, как-то незаметно опустил конверт в карман — как раз там, где пристегивается сабля.

В тот же день его опять позвали к деду. В комнате были лишь пристав со своим помощником. Бий Балгожа сидел прямо, как на коне.

— Вот-с, извольте, самую бумагу посмотреть. Знакома ли сия рука?

Чиновник положил между ним и дедом желтоватый лист. Бисерные буквы расплывались и опять собирались в ровную линию... «Мертвое тело с насильственными следами, кое захоронено при мазаре Кожахмета... Означенный письмоводитель Алтынсарин Ибрахим, ему тоже дана взятка сто рублей... При попустительстве и укрывательстве бия Джанбурчина...» Почувствовав, что не хватает воздуха, он открыл рот. Петр Модестович Покотилов водил по ковру сапогом со шпорой, благодушно махал рукой:

— Что же, чистосердечно засвидетельствуем. Нет, так сказать, возможностей установить вероятие насильственной смерти.

— Так точно-с, нет возможности...— подтвердил чиновник.— По зимнему времени... пока.

Они уехали, и дядя Хасен говорил быстро, захлебываясь, приближаясь к самому лицу бия Балгожи:

— Кулубай, собака, Ерошке-приказному в Троицке двадцать рублей платит. Сам скот у танабугинцев ворует. Покотил помогает ему, свою долю имеет. Все мне известно про него!..

Он заболел после этого и десять дней слышался ему голос: «Означенный Ибрахим... взятка — сто рублей!» Когда жар прошел и вышел он из дома, в чистом осеннем воздухе как будто все еще дребезжал колокольчик. В испуге он приложил руки к голове. Уже не одна, а две коляски стояли у дедовского дома. Петр Модестович Покотилов со своим фиолетовым человеком помогали сойти на землю кому-то большому, грузному, в судейской шинели.

Опять его позвали в присутствие к деду, и он узнал надворного советника Котлярова, служившего в губернском надзоре. Некогда в доме попечителя Плотникова тот слушал чтение тайного письма про непорядки и злоупотребления в империи. С ним приехал толмач от султана-правителя Восточной части.

— Признаете ли вы, господин Алтынсарин, выданную вами справку по отделению? — строго спросил у него надворный советник Котляров.

Это было уже по другому делу. Два месяца назад на пути от Золотого Озера дядя Кулубай попросил его написать бумагу на продажу двухсот пятидесяти лошадей, которых отправлял на ярмарку. Он написал и приложил печать Узунского отделения. Дядя Хасен, озлобленный утратой отданных турайгырцам кобылиц, все дергал его за руку: «Какую бумагу Кулубаю выдал? Зачем?..»

Он подтвердил выдачу справки, и надворный советник Котляров стал еще строже лицом. Три дня писал он потом объяс-

нение: когда выдал справку, проверил ли родовой знак — тамгу на каждой предназначенной на продажу лошади, знает ли общее наличие лошадей гнедой масти в табуне киргиза Узунского отделения Кулубая Кадырбекова.

— Вот-с, уважаемый бий, что вам вменяется в вину по жалобе от неких киргизов подведомственного вам отделения...

Буквы в доносе уже были крупные, неровные... «Получив с согласия бия Балгожи сто рублей от киргиза Кадырбекова Кулубая, писарь Алтынсарин дал справку на двести пятьдесят гнедых лошадей, в то время как лошадей обозначенной масти на ярмарку было отогнано лишь сто двадцать, прочие же сто тридцать — разных мастей, с забитым тавром, и те лошади краденые из других отделений: Танабугинского и Устинского. Писарь же Абрашка Алтынсарин, приходящийся внуком бию, творит беззакония и разбой...»

Алим-ага, ведущий счеты, пересчитывал ассигнации, вкладывал в конверт. Не изменяя нисколько строгого выражения лица, надворный советник Котляров принял конверт, положил за отворот вицмундира.

— Я забыл, любезный бий, передать вам дружеские пожелания его превосходительства. Благодарит вас за лошадей к выезду. Признаюсь, я позавидовал. Отличные лошади-с!..

Вслед за коляской надворного советника послали в Троицк четверку серых с черными гривами лошадей. Дядя Кулубай удрученно качал головой, сводил в ниточку глаза и губы:

— Некоторые люди клевету, напраслину возводят на других. Писарей нанимают для этого, деньги платят. А сами у родственников лошадей уводят, на место бия метят. Ай, как нехорошо!..

Колокольчик гремел, не переставая. Пристав Покотилов вел дополнительное дознание: о сокрытии насильственной смерти киргиза Нурлана Каирбаева. И другой надворный советник с красными прожилками в глазах проверял, как велось следствие. Сразу трое чиновников приехали из губернской управы по делу о незаконной продаже лошадей. Каждый привозил бумагу с мелким убористым письмом или, наоборот, с крупными, неровными буквами. Но в той и другой обязательно говорилось о ста рублях и о нем, письмоводителе Алтынсарине.

Потом его стали вызывать в Троицк, а вместе с ним дядю Хасена, дядю Кулубая и самого бия Балгожу. Вместо бия по причине его преклонного возраста ездил ведущий счеты Узунского отделения Алим-ага, который вез с собой деньги. В Троицке снимал с него дознание приехавший с личным предписанием нового губернатора статский советник Евграф Степанович

Красовский. Цепко держа в маленьких ручках подшитые вместе бумаги, он говорил ровным высоким голосом:

— Извольте немедленно представить объяснение, почему в показании от ноября, четырнадцатого числа, не указали на мужеский пол преданного земле при мазаре Кожахмета киргиза Каирбаева. А также по поводу ста рублей, каковые, по подозрению, вручены вам за сокрытие причины смерти означенного киргиза. Объяснитесь также и в других ста рублях, за справку о незаконно допущенных к продаже лошадях!

Конверт с деньгами Алим-агай передал приехавшему вместе с ним из Оренбурга чиновнику Пальчинскому. Тот молча принял. И серых, с черными гривами лошадей припрягли к экипажу статского советника.

Когда выходили из судебного присутствия в Троицке, дядя Хасен ухватил его за руку, стал тыкать пальцем через коридор:

— Видишь, Ерошка-приказной. Пишет Кулубаю все на тебя. На место бия сесть хочет!

В большой, заставленной шкафами комнате дядя Кулубай, наклонившись, что-то тихо говорил старому человеку с мышиным лицом. На том выцветший мундир с грязным воротником и в руке обкусанное перо.

Вечером на постоялый двор купца Юмашева, где они остановились, пришел пьяный человек без шубы, в одной кацавейке, и стал громко по-татарски звать дядю Хасена. Тот выскочил, начал браниться. Они ушли в конюшню, и оттуда слышался дядин голос:

— Ты уже взял пятнадцать рублей. И пять рублей я вперед тебе дал. Зачем сюда пришел? Почему не написал про кульделянское тавро на кулубаевых лошадях. Про Ибрая-писаря мало написал. Пиши опять, что хабар Ибрагим берет: сто рублей!

— Ой-бой, совсем нехорошо делает наш уважаемый Хасен,— сказал дядя Кулубай.— Родственников порочит, место бия Балгожи предполагает заняты.

Когда вернулись из Троицка, у дома бия Балгожи все стояла тройка, и Петр Модестович Покотилов вылезал из нее, придерживая саблю. Следом приехали еще две тройки: от губернского надзора и с судейским предписанием. После их отъезда он вышел из дома и пошел прямо, ничего перед собой не видя.

Очнулся он над обрывом и с удивлением посмотрел вокруг. Оказывается, была уже зима и лежал снег. Замерзшая река ледяным полукругом обтекала берег. Редкая белая крупа сыпалась с неба. Вспомнилось вдруг, что сегодня Новый год — по другому, когда-то существовавшему для него счету.

Что-то знакомое проглядывало в пологом берегу, где чернел мерзлый камыш, в полузасыпанных снегом кошарах. Все еще не веря в то, полузабытое, он смотрел и вспоминал. Да, именно здесь предполагал он провести для узунских кипчаков широкую, с фонарями, улицу. На холме надо было построить белую мечеть. А кроме того еще — базар, меновой двор, сад для гуляния. И чтобы все имели красивую одежду...

Долго стоял он тут. А когда шел домой, к заметенному снегом таму, срезал по дороге веточку зеленой хвои.

VIII

Снилось ему, что он ловко кружится по гладкому сверкающему полу, а девочка в панталончиках и с бантиками все спрашивает его:

— А вы настоящий киргиз, Ибрагим?..

Встав поутру, он огляделся. Ровный ледяной свет лился в оконце. Стоял стол, и книги лежали на нем. Этот стол и стул с гнутой, обитой волосяной материей спинкой он принес от деда, а медный подсвечник купил в Троицке. Над сундуком с горой цветных одеял висело ружье, подаренное дедом, и в рамке из дерева — похвальный лист. Каллиграфические буквы различались издали: «За отличные успехи и благонравие... полная благодарность». Вверху двуглавый орел с короной, внизу оттиснутый тушью веночек с лентой. За листом и свидетельством он ездил с дедом в ставку султана-правителя. Полковник Джантюрин был пьян, и еле нашли тогда этот лист в одном из сундуков его канцелярии.

Вошел дядька Жетыбай, положил сухого хворосту в печку, раздул вчерашние угли. Оконце стало оттаивать, и струйка воды побежала на кошму. Слышно было, как дядька в прихожей наливает теплую воду в умывальник. Мать и тетушка Фатима возились на своей половине с едой, запахло пригорелым молоком.

Оконце почти оттаяло. В образовавшийся светлый круг видно было оголенное промерзшее дерево и часть озера, засыпанного снегом, с многочисленными следами овец и собак. Пахло горькой свежестью, и сон не выходил из головы. Он взял вчерашнюю ветку хвои, вставил в щель между досками стола. Сколько времени он уже здесь? Что делали в это время узунские кипчаки?

Одевшись, он вышел наружу. Снег был сероватый, лежалый, с желтыми промоинами от скота. Люди возились в кошаре, у скирды сена и возле дома деда Балгожи. Все это были родственники. Ему известны были правила уплаты. За все полагалась

пятерица. Пять овец прибавлялось ежегодно в отаре пасущего скот. И пять предметов полагалось ему: сапоги, штаны, рубашка, чапан и шапка, а шуба — раз в пять лет. И сто, и тысячу лет назад все было так, потому что скот здесь всегда имел одну и ту же цену. Родственнику никак нельзя было дать умереть.

Дядька Жетыбай, похлопывая запаренный круп впряженного в сани-волокушу старого мерина, вез от реки чистый лед для воды. Подобные ему не имели скота в отарах, а жили при доме, выполняя разные работы. Жетыбай оставил кусок льда у их тама, остальное повез к дому бия.

Почернелые бревна виднелись под ногами из-под снега, между ними пробивался дым. Бычий пузырь затыкал дыру на скате, где бревна сходились. Наверху сидела собака и смотрела на него равнодушным взглядом. Он спускался вниз, под землю, по посыпанным соломой ступеням. Солома вмерзла в лед, и сапоги все равно скользили.

Сначала ничего он не разобрал, только остро перехватило дыхание, заслезились глаза.

— Ой-бой, Абике... Заходите к нам, племянник!..

Они все называли его племянником, хоть родство было четвероюродное, а то и больше положенных семи степеней. Он начал различать людские фигуры — мужчину и двух женщин, возившихся возле большого пятиведерного казана. Вяло горел огонь, и дым от сырого хвороста расплывался под потолком. Женщины помешивали в котле деревянной лопаткой, выливали что-то в шайки, а мужчина уносил их в дымную темноту. Оттуда слышались вздохи, негромкое блеяние, и волнами приливало едкое кизячное тепло. Больные и слабые овцы содержались тут, а люди пользовались их живым теплом.

— Садись, садись, Ибрай-жан, покушай...

На расстеленной кошме спали дети, и совсем дряхлый старик в чапане прислонился спиной к поддерживающему крышу бревну. Мужчина оставил работу, сел с ним, и женщина подала им турсук с молоком. Потом из холодной, прорытой в стороне кладовки, принесли вяленое мясо. Оно пахло сыростью. Мужчина крошил ножом мясо в подогретое кислое молоко, и они ели его, вылавливая деревянной ложкой с длинной ручкой...

Он пошел к другому озеру. Тут тоже был вырытый в земле кора[1], где люди жили при скоте, и курился дымок из-под снега. Стояли вперемешку тамы со сложенным на крыше кизяком и сплетенные из хвороста остроконечные шошалы.

На следующий день он сел на лошадь и проехал верст на

---

[1] Зимнее помещение для скота и живущих при нем людей.

пятнадцать в степь. Там, на хасеновой стороне кыстау, он встретил Нурумбая. Тот с двумя джигитами пас табун. Гнедые кони разбивали копытами снег, выдергивали не тронутую с осени траву. Сухие мерзлые бодылья хрустели у них на зубах.

Он остался здесь на ночь, спал на снегу, завернувшись в тулуп, спиной к огню. Нурумбай и джигиты проверяли сбившихся вместе лошадей, привозили и подбрасывали в огонь жесткие кусты терескена. К утру кони чего-то испугались, принялись уходить в степь. Страшно было смотреть, как неслась, взрывая снег, живая стена. Он скакал сзади и видел, как Нурумбай обошел табун, стал уводить его за собой на нужное место. От ночного привала проскакали верст десять.

Через день, когда спал он уже дома, в теплом таме, послышались гулкие неровные удары в дверь. Весь дом вздрагивал. Он поднялся, зажег свечу. Пламя ее колебалось словно от чьего-то невидимого могучего дыхания.

— Опырмай[1], буран,— сказала мать.— Сильный ветер!

Четыре дня нельзя было даже приоткрыть дверь. А он лежал и думал, что делают сейчас в степи Нурумбай и джигиты, все другие кипчаки, которые пасут там лошадей, овец, верблюдов. Стало известно, что в племенном табуне бия Балгожи пропало сорок лошадей. Среди них были и его лошади, оставшиеся от отца его Алтынсары. Замерз табунщик у дяди Кулубая, и он записал в реестровую тетрадь: «пола мужеска, киргиз Тлевлесов Урман».

Уже и бревен не стало видно в том месте, где был кора, когда он шел из дома деда Балгожи. Лишь снежные сугробы высились тут и там. Где-то под землей обитали люди, согреваясь от скота. Он опять вспомнил придуманную им улицу и белый каменный дом посредине. Вспыхнули, загорелись фонари. Вышли из-под снега, заспешили, задвигались кипчаки. Он остановился, потер уставшие от холода глаза. И вдруг услышал посторонний звук...

Многоголосое бормотание слышалось тоже будто из-под земли, ослабевая и снова усиливаясь. Он подошел к сугробу, спустился по мерзлым ступеням. В таме не оказалось прихожей. Меж столбов, подпирающих крышу, лежала кошма, и ничего больше здесь не было. На кошме сидели мальчики, десятка полтора, и мерно раскачиваясь, пели:

— Клянусь небом, украшенным двенадцатью созвездиями и днем предвозвещенным...

Некогда Мирсалих-ага Бекчурин говорил им о поэтичности этих слов Корана, являющихся самой древней частью святой

---

[1] Восклицание, выражающее неудовольствие.

книги. Клятвы светилам были присущи людям, еще не познавшим бога.

— ...Клянусь свидетельствующим и тем, о чем он свидетельствует...

Невозможно было это слушать. Будто деревянные, выговаривались певучие, сладкозвучные слова. Они не понимали смысла того, что повторяли.

— Когда солнце обовьется мраком, когда звезды померкнут, когда горы с мест своих сдвинутся, когда звери столпятся, когда моря закипят...— завопил, увидя его, домулло Рахматулла, сидящий на возвышении с длинной тростью в руке.— Когда небо, как покров, сдвинется, когда ад разгорится и когда рай приблизится...

И домулло почти ничего не знал по-арабски. Ошибки периодов и сочетаний были в его речи. Трость коснулась головы самого маленького из учеников. Тот запел громче, перекрикивая общий хор.

Однако что-то еще было не так. Покосившись в его сторону, домулло Рахматулла подошел к мальчику, взял за щеки.

— Твой язык задубел в грубой повседневной речи и не может с должной сладостью произносить священные слова. Следует размять его! — сказал домулло и, вытащив язык мальчика, принялся старательно разминать его в желтых узловатых пальцах.

Ни слова не сказав, стал отступать он спиной к двери.

Светло и чисто было в мире. Снег слепил глаза.

Дома подошел он к столу, взял книжку в темно-зелёном переплете — сочинения господина Гоголя. Ее подарил ему учитель Алатырцев, когда уезжал он к узунским кипчакам. Тут же лежали басни Крылова — с золотым обрезом. Сон не прекращался. Третья книга «Описание Отечества». В ней говорилось о счастливых номадах, проводящих время свое в праздности.

Ветка хвои все стояла, воткнутая в стол. Иголки уже начали осыпаться, но зеленого цвета не теряли. В задумчивости, как случалось с ним, покачал он головой, раскрыл темно-зеленую книгу, начал читать...

IX

Кругами скакали джигиты. Буйно, подобно выпущенным к солнцу птицам, неслись они по всему окоёму, без повода задерживали коней, замирали на месте и вдруг устремлялись в противоположную сторону. Что-то означало это. Столько жиз-

ненной силы таилось в их непрерывном кружении, что тревожно, учащенно начинало биться сердце. У джигитов были напряженные, сосредоточенные лица.

Вместе с влажно раздувающими ноздри лошадьми, утерявшими спокойствие верблюдами, остро пахнущими к весне плотными массами овец двигались кочевья к тургайским озерам. Ехал на гнедом с хвостом до земли коне дед Балгожа. Ехала мать в теплой шубе и сапогах, придерживая уложенную в мешок посуду. Ехал дядька Жетыбай, держа в поводу груженного юртой верблюда. На много верст справа и слева вели свои табуны и отары аксакал Азербай, дядя Хасен, дядя Кулубай, другие родичи. А навстречу им от Сырдарьи и Улытау, от киргизских гор и хивинских рубежей, от самых крайних пределов, где степь перегораживает древняя стена, вместе с летящими в родные края дикими гусями двигались тысячи кочевий адаев, алшинов, аргынов, найманов, кереев, дулатов, уйсуней — всех, называющих себя казахами. Он помнил карту, висевшую в корпусе топографов и крашенное зеленью пространство на многие тысячи верст...

Кочевье уходило вперед, раскладывало юрты и ждало. Табуны и отары проходили, выедая траву вокруг, и юрты снова укладывали на лошадей и верблюдов. Все было неизменным от начала времен. Для каждой юрты определено было свое место на этой дороге, и окаменевшие кости валялись в сухой траве, брошенные здесь предками. Золотое озеро было концом и началом этого нескончаемого пути.

Все повторялось, не меняя очертаний. Так же, как и в прошлый раз, прихорашивались женщины в предвестии желанного человека-сала. Тот приезжал в сопровождении джигитов попроще, полный собственной неотразимости, садился за праздничное угощение. Толпились молодые мужчины, разглядывая, какие сапоги у сала, какой моды пояс и цвет бархата на отороченной соболем шапке. С открытыми ртами слушали, боясь пропустить какое-нибудь его слово. Ибо сал — образец изящества в речи и образе. Все теперь знали, как говорить, какие производить движения, и что надевать в это лето. Никто не определял его для такой роли, сам собой делался из человека сал, но и сто и тысячу лет назад ездил он по кочевьям, утверждая незыблемость общей для всех формы.

Больше всего взбудоражены были женщины. Благосклонность сала утверждала их первенство. Это разрешалось им, и они наряжались в самое яркое из одежды, поводили плечами, томно, призывно щурили глаза. Некоторые, совсем потерявшие голову, подходили, дергали его за расшитые рукава, шептали что-то

влажными полураскрытыми ртами. А сал сидел неприступный, привыкший к поклонению. Так полагалось ему себя вести.

Сал уезжал гордый, недосягаемый, но все знали, кому он отдал предпочтение. И долго, во все пребывание у озера, на обратном пути и длинными вечерами на кыстау говорили об этом, вспоминая каждое слово и движение благословенного сала, хранителя моды и хороших манер.

В круговращении времен были знаменитые салы, исполнявшие песни любви и песни страдания. Тысячекратно повторялись они слово в слово, с должными паузами, являя образец в выражении чувств. На все случаи жизни были они. Их шептали в ночи или громко выкрикивали в минуту горя, а кто делал иначе, считался невеждой.

Тень славы великих салов сопровождала прочих, обладавших лишь умением держать себя. Их порой испытывали, чтобы узнать, как следует поступать в трудных обстоятельствах. Рассказывали, как устинские родичи-кипчаки накормили приезжавшего к ним сала айраном с актепинской дыней, вызывающими брожение в желудке. Тот под всеобщими взглядами просидел весь день за дастарханом, не дрогнув и бровью, и чуть не умер потом от собственной сдержанности.

Приезжали еще в кочевье серэ — широкая душа, которому нипочем мнение толпы. Он делал все наоборот, совершая неожиданности, и молодые джигиты ходили за ним, слушая его высказывания и повторяя прибаутки. Это был установленный образец вольности и остроты суждений. Круг замыкался.

В должное время объезжал кочевья сопы — блюститель веры и родич святого Марал-ишана. С ним сидели аксакалы и говорили о таинствах бытия. Груженный дарами верблюд следовал сзади, высоко неся голову.

Было другое. В тугаях, на краю выгона, пылал огонь. Уста Калмакан, маленький, с круглой лысой головой, все подкладывал сухой тростник. Ровный жар распределялся по земле, не остывая всю неделю. Широким кетменем разбивалась потом окаменевшая корка. Из-под нее доставали длинные черные прутья, которые еще с прошлой осени были уложены полукружьями в прибрежном иле. Так проникались они от земли железной твердостью. Огонь укреплял насыщенную солью иву, делая ее легкой и недоступной для червей.

Но это было лишь начало. Прутья ивы очищались, принимали должную форму, пропитывались горьким соком степных трав и вновь прокаливались на огне. Потом они сглаживались до темного блеска железом, полировались сначала жесткой шкуркой

от шеи верблюда, потом кошмой и, наконец, мягким пухом озерного тростника. Бесконечно приятно было водить ладонью по гладкому теплому дереву, пропитанному всеми земными соками.

Готовая юрта лежала на обмазанной глиной площадке: небольшая стопка изящно изогнутых кереге, положенные друг на друга решетки, ровный круг шанырака. Все это легко и просто складывалось, словно сотворено было самой природой. Ему вспомнилось, как удивлялся топограф Дальцев: «Вы представляете, господа... Я измерил круг для воздуха и изгиб стойки. Оказалось, жилище киргиза до доли миллиметра построено по высочайшему инженерному расчету — впору строителям собора святого Марка. С тем лишь отклонением, что собор не разберешь в полчаса и не увезешь на одном верблюде!

К женским рукам гладко прилегали браслеты с вызывающими томительную радость узорами. Знаки мощи и гнева были на мужских поясах, стремительные птицы и звери виднелись на конских уздечках. Расшитая шапка — саукеле с волнующимися перьями на голове невесты говорила о чистой, высокой мечте. Все рвалось куда-то в неизведанное...

Еще на пути к Золотому озеру провалился он в овраг с только что стаявшим снегом. Пять дней продолжалась горячка, от которой осталась вялая ломота в теле. В жаркий солнечный день становилось вдруг холодно, и ничего не хотелось делать. Потом он притерпелся к такому состоянию и не думал об этом.

Возвращаясь как-то от Нурумбая из хасеновой стороны кочевья, увидел он горбатого старика с большим ртом и вывернутыми губами. Неторопливо ехал тот на маленькой лошадке, временами останавливался и выкапывал из песка какие-то коренья. Старик пробормотал ответное приветствие, остро из-под руки посмотрел на него. Как и полагалось со встреченными в дороге путниками, он пригласил старика к себе в юрту. Мать с тетушкой Фатимой готовили еду, а старик посматривал по сторонам своими острыми глазами.

— Месяц назад ты упал в холодную воду! — сказал вдруг ему старик.

Мать от удивления выронила деревянную ложку, которой раскладывала по блюду выловленное в казане мясо. Он тоже не знал что сказать. Все было правильно.

— Это я увидел по цвету твоего лица и воспалению в глазах,— объяснил старик.— Нужно приготовить горячую воду!..

Все почему-то слушались незнакомого старика. Мать с тетушкой Фатимой поставили на огонь казан с водой. Старик,

бормоча что-то и помешивая, стал сыпать туда щепочки и коренья из своего коржуна. Пахло чем-то непонятным, вызывающим кашель. Когда вода отстоялась, старик обхватил его сильными цепкими руками и ковшик за ковшиком стал вливать в него бурое варево. Он задыхался теплой горечью, пытался вырваться, но старик не отпускал его. Все кружилось перед глазами, жаркий пот заливал глаза.

Раздев его догола и не давая опомниться, старик принялся разминать его тело. Твердые, жесткие пальцы нащупывали каждую жилочку и хрящик, мяли, растирали их до изнеможения. На шее и затылке находили они бугорки и давили, пока горячая боль не пронизывала насквозь от головы к пальцам рук. Наступило забытье и, обессиленный, равнодушный ко всему, лежал он, не в состоянии даже приподнять веки.

— Теперь растопите масло!

Голос старика доносился откуда-то издали. Он пил из полной кесешки[1] теплый непосоленный жир, чувствуя, что и внутри уже не осталось сил, чтобы вытолкнуть его обратно. Гору одеял и подушек навалили на него. Горячие волны плыли кругами под куполом юрты, все убыстряя свое вращение...

Проснулся он утром от необыкновенной, давно уже не испытываемой легкости. Тело болело слегка, но боль была приятной. Дышалось свободно и радостно. Он сбросил с себя одеяла, сел. Старика нигде не было. Подумалось, что все это происходило с ним во сне.

Никто не видел, как уехал горбатый старик. Забыли даже спросить о его имени и роде. Только через день он услыхал, что через их кочевья проезжал знаменитый лекарь-кудесник Шоже-табиб из рода врачевателей, обладающих лунным камнем. Тот, кто владеет этим камнем, может распознать и вылечить любую болезнь. Рассказывали также, что предки Шоже-табиба ездили учиться искусству врачевания за Ханские горы в древнюю страну, расположенную выше облаков. Ханскими называли горы, окаймляющие степь с юга, а древняя страна была Тибет...

Пришлось ему этим летом познакомиться еще с одним необыкновенным человеком. С подаренным дедом ружьем уезжал он всякий раз к дальним озерам. Отъехав как-то верст на семьдесят от кочевья, охотился он в тугаях вдоль русла пересыхающей речки. Вода в ней проступала только местами, и там собиралась дичь, заполняя прибрежные камыши.

На зеленой, не выгоревшей еще от солнца лужайке совершенно свободно ходил ярко раскрашенный фазан. Самодовольно крутилась головка на подвижной шее, топорщилось цветными

---

[1] Большая пиала.

перьями разжиревшее тело. Он присвистнул и выстрелил в шумно взлетевшую птицу. В ту же минуту послышался второй выстрел.

Ничего не понимая, поднял он фазана в добрых два фунта весом. Явный след его картечи вспорол птичью грудь и брюшко. Но кто-то еще стрелял из тугаев. Раздвинув густой камыш, он увидел молча стоящего старика. Пожалуй, и не старик это был. Борода незнакомца не казалась белой, но столько скромной значительности было в его лице и осанке, что человек невольно представлялся аксакалом.

— Ассалямалейкум, агай.— Держа за крыло, он протянул незнакомцу подстреленного фазана.— Вот ваша птица...

Человек с интересом посмотрел на него, покачал птица...

— Нет, юноша, это вы ее подстрелили.

— Тогда разрешите подарить ее вам.

— Благодарю вас, юноша.— Человек без всяких отговорок взял у него фазана.— Пойдемте ко мне, отдохнете, наберетесь сил после охоты. Вам ведь предстоит длинный путь.

Сидя на кошме в небольшом саманном доме у колодца Кожаулы, он еще раз подивился какому-то особому благородству в поведении и всем облике хозяина. Этому не противоречили простой чистый чапан, аккуратно подштопанный на рукаве, скромность посуды и предложенного угощения. Вместе с Динахметом Кожаулы, хозяином дома, чьи предки поселились здесь и стали казахами еще в годы деяний халифов, ел он из простой деревянной чашки просяную кашу, сдобренную фазаном, пил шубат[1]. Оказалось, агай-кожа[2] учился в бухарском медресе, изучал священную книгу и хадисы[3].

— Почему же вы не живете при мазаре, как Марал-ишан? — вырвалось у него.— Люди приводят туда в уплату за благочестие баранов, да и сопы собирают каждый год подарки.

— Не обязательно у мазаров служить богу.— Агай-кожа в задумчивости перебирал нанизанные на нитку косточки джиды.— Если человек сердцем ощутил заповеди мудрого и милосердного бога, ему не обязательно все дни проводить в суетном славословии.

Почти то же самое говорил когда-то другой человек, и он удивился. «Только ни к чему богу ежечасное человечье юление перед ним». Так объяснял невозможность частой молитвы господин Дыньков, надзиратель киргизской школы.

---

[1] Напиток из верблюжьего молока.

[2] Кожа, ходжа — потомки осевших в Средней Азии и Казахстане ассимилировавшихся арабов.

[3] Рассказы о деяниях пророка, входящие в суннуманское священное писание.

— А могут ли неверные чувствовать сердцем истинного бога? — спросил он.

Агай-кожа посмотрел на него умными, все понимающими глазами, утвердительно кивнул головой:

— Каждый народ по-своему служит единому богу. Справедливости взыскует человек. А это и есть истинная вера, хоть, может, он и не ведает правила молитвы. Хуже лукавец, творящий молитву и думающий обвесить бога. Сказано у пророка: «Бог сильнее всех в ухищрении».

Здесь, у колодца, как и деды его, агай-кожа возделывал своими руками землю. Ровные арыки от проступающей из-под земли воды тянулись к огороду и просяному полю. Сливовые и яблоневые деревья росли у дома. Несколько верблюдов паслось невдалеке.

Отдыхая под навесом, видел он, как хозяин, закатав до колен белые полотняные штаны, мерно взмахивал тяжелым кетменем, отделяя и укладывая на обочину арыка жирные пласты глины. Солнце отражалось в грязи политого пола. Две женщины во дворе — средних лет и молодая — доили верблюдиц. Дети играли, бросая в ямки косточки.

Потом агай-кожа отложил кетмень, расстелил на сухом бугорке коврик. Повернувшись к юго-западу и воздев руки, упал он на колени и прижался лицом к земле. Теплый пар плыл в перегретом воздухе, размывая окоём.

Впервые за много дней ему тоже захотелось помолиться. Он встал на кошме, попытался отстраниться от мира. Звучные, печально-красивые слова сунны обрели вдруг некий подспудный смысл. Такого никогда не случалось с ним на пятничных молитвах с домулло Усман-ходжой или дома наедине. Очевидно, труд — высшее предназначение человека, и открывается ему смысл бытия...

Агай-кожа проводил его до самых тугаев, где они накануне встретились, дал две тяжелые желтые дыни в обвязке из сухой соломы. Надолго остались в душе мир и некое чувство гармонии.

И снова резко очертился окоём. У правой ноги деда он сидел, одетый в асессорский мундир с блестящими пуговицами. Для письмоводителя отделения не полагалось чина, но бий Балгожа сказал, чтобы такой мундир пошили в Троицке. Родичи смотрели на него с уважением, у дяди Хасена топорщились усы, у дяди Кулубая приветливо собирались в ниточку губы. Все продолжалось, и он уже знал, что опять будет написано про него «Губернату». Теперь пропал джигит из работников дяди

Кулубая, и дядя Хасен, наливаясь кровью, кричал, что ему известно о некоем деле с отбитием табуна лошадей у аргынов-актачинцев, только подлые люди не захотели похоронить по закону пострадавшего при этом человека и завалили его тело в овраге.

Что бы ни писалось, обязательно будет указано, что он, писарь Алтынсарин, покрыл это дело, приняв от виновного деньги. Сумма будет та же — сто рублей. Он сидел в широком кругу родичей, ощущая сходящиеся на нем взгляды. Помнилось, как сказал аксакал Азербай, сидя у деда в юрте: «Они не хотят увидеть бием твоего внука Ибрая. Каждый сам метит на твое место. Потому и пишут на него. Пусть ничего не подтверждается, но если повторять многократно, то его имя будет помниться начальству рядом с плохими делами. А этого достаточно».

На скачках в этом году кто-то в тугаях гулко выстрелил из старого мультука. Серый аргамак дяди Кулубая понес в сторону и по брюхо увяз в песке. На этот раз первым к холму, где сидели аксакалы, приехал Нурумбай на поджаром гнедом коне из табуна дяди Хасена. Нурумбая позвали к котлу, дали самый хороший кусок мяса и новую рубашку из розового ситца...

Часами сидел он на холме, глядя на монотонное, безостановочное кружение. Ни на миг не прекращалось оно. Как и в дороге, косые тени всадников неслись кругами по замкнутому окоёму. В какой-то точке джигиты задерживали коней, замирали на месте и тут же устремлялись в обратную сторону. И вдруг он все понял.

В застывшем лоне вечности кружились кипчаки, не в состоянии вырваться из него. Как петля аркана был для них окоём. Обреченное выражение застыло на лицах скачущих джигитов, старых и молодых. Так и предки его носились кругами, ожидая чьего-то клича.

В короткие ночи, когда горько пахнет выходящая в семя полынь и волнующий белый свет разлит по всему окоёму, рванулся он за джигитами, уносящимися вдаль, отпустившими поводья лошадей. Он тоже бросил поводья и скакал со всеми, не разбирая дороги, отдавшись теплому ночному ветру. Человек пятнадцать их устремилось прочь от кочевья, и такие же группы по десять-пятнадцать джигитов встречались им по пути. Как странные ночные видения проносились они мимо, не касаясь и не окликая друг друга. Слышно только было, как шуршала, потрескивала сухая степная трава.

Все дальше и дальше неслись они, останавливаясь ненадолго у дальних родственников, называя свое имя и имя предков. Их

кормили мясом жеребенка, поили шумно пенящимся в чаше кумысом, и вновь скакали они в белой тьме. Восторгом освобождения было переполнено сердце.

И вдруг увидел он, что несутся они всё по тому же кругу. Лошади сами выносили их по дуге в знакомые тысячелетиями кочевья. Сделав полный круг, вернулись они к Золотому озеру. Так и не касаясь поводьев, медленно слез он с коня, сел на землю, усталый, опустошенный, уставился перед собой остановившимся взглядом.

Всё оставалось внутри круга: доброе и злое. Объезжал лошадей Нурумбай, строил юрты по невидимому расчету Калмакан-уста, лечил людей Шоже-табиб, Динахмет Кожа-улы устремлялся к смыслу бытия, не выходя за окоём. От невозможности уйти из круга отбивал тот же Нурумбай табуны у соседей, палки бросали друг другу родичи под ноги лошадей и самозабвенно писали друг на друга доносительные письма дядя Хасен и дядя Кулубай. Напряженные, сосредоточенные были лица у скачущих кругами кипчаков.

В это время приехал Марабай, и песня его заполнила мир. Опять сидел он со своими многочисленными родичами и предками, качая головой в такт неутихаемому в веках плачу. Смертельным холодом веяло из-за линии окоёма. Многорукий бронзовый идол вставал со стороны солнца. Вечность кипчаков была призрачной.

А ночью пришел Человек с саблей, долго смотрел на него, притихшего. Впервые он не кричал от страха. Человек уходил, всё так же держа окровавленную саблю в руке, зовя за собой назад, в замкнутый круг вечности.

Он лежал, не шевелясь, глядя в расплывающийся звездный туман.

X

Все повторялось. Колокольчик звенел, не переставая, и пристав Петр Модестович Покотилов вылезал из саней, придерживая саблю. «Я, письмоводитель Узунского отделения кипчаков, имеющего вхождение в Восточную часть Орды, Алтынсарин Ибрагим, сим удостоверяю, что означенные в представленном мне Его высокоблагородием письме сто рублей от заинтересованных по сему делу лиц не принимал и запись в реестровую книгу об исчезновении упомянутого в нем киргиза сделал по долгу службы согласно инструкции его превосходительства Председателя Пограничной комиссии о записях в подобных случаях. Не принимал я также ста рублей и в прошлый год по делу о подозрении в

насильственном умерщвлении другого киргиза Каирбаева Нурлана, о чем имел честь письменно докладывать Его высокоблагородию надворному советнику Котлярову, Его превосходительству, ныне действительному статскому советнику Красовскому, а также всем прочим лицам, производившим следствие по сему делу...» Круг замыкался, и все начиналось заново.

Отклонения были лишь в пределах окоёма. В начале зимы арестовали Нурумбая. Приехавшие с приставом солдаты связали ему руки и бросили на солому в сани. Он лежал там в истертом, залатанном полушубке, и лицо его было равнодушно. Маленькая старая женщина стояла в стороне, боясь подойти к саням. Алим-ага говорил, что следовало дать Сеньке Бекбулатову, помощнику пристава, пятьдесят рублей, чтобы отпустил Нурумбая.

— Посидит в остроге — умнее будет! — зло ответил дядя Хасен.

Все знали, что дядя Хасен посылал Нурумбая красть лошадей. Но тот привез убитого в барымте джигита Нурлана в кочевье вместо того, чтобы скрыть тело в песках. Дядя Хасен не мог этого простить. Бий Балгожа молчал, ибо не полагалось вмешиваться в домашние дела самостоятельного владельца.

Под конец зимы случилось невероятное. В кора самого бия Балгожи была проломлена крыша над кладовкой с мясом. Подобное случалось раньше от забегающих на кыстау зверей, смелеющих к весне. Но тут казы[1] было аккуратно снято с крюка, и человеческий след остался на снегу.

Такого не происходило еще среди кипчаков. Достойно было угонять живых лошадей, но если скот забит, то мясо, как и прочие вещи в доме, считалось неприкосновенным. Никому не приходило в голову что-нибудь прятать от людей в степи, и кипчаки не знали замков.

След привел к землянке с черной крышей. Морозные наледи были там на стенах и сидели, прижавшись друг к другу, мужчина и мальчик. Байгуш — безродный казах это был, у которого осенью умерла жена. Так и в реестровой книге было записано: Байгушев Култук. Только кость валялась в землянке от украденного казы, и ничего больше там не находилось. Хоть был это тоже узунский кипчак, но и предки его считались байгуши.

Собрались бии и аксакалы и изгнали его насовсем. Кутаясь от ветра в старую, брошенную кем-то овчину и придерживая рукой мальчика, уходил этот человек по льду Тобола на ту сторону, где селились русские...

Стараясь не глядеть по сторонам, приходил он теперь в дом

[1] Особым образом приготовленная вяленая конина.

к деду, где всякий день собирались аксакалы. Привычным сделалось многоголосое бормотание из-под снега, где сидел домулло Рахматулла с длинной тростью в руке. Собаки лежали на крышах тамов, не поворачивая головы. Ничего не осталось от мощенной камнем улицы с фонарями, от белого дома с колоннами, от всего остального, что виделось ему в снах из другого мира.

Сидя у ноги деда в отведенной для совета большой утепленной юрте, стал он замечать, что уже вместе со всеми с азартом следит он за словесными ухищрениями дяди Хасена, дяди Кулубая, прочих родичей, принимающих ту или иную сторону. В подражание бию Балгоже и степенному Азербаю важно поворачивалась у него голова в сторону говорившего, ложилась на колено рука, властно очерчивались губы. Вместе с другими говорил он «дурус!» в знак согласия и поощрения. Дома, как бы просыпаясь, он хватался за книги, начинал читать. Круг отступал...

В конце второй зимы перешел он Тобол, медленно пошел по уставленной бревенчатыми домами улице. Возле церкви уже стояли три или четыре каменных дома с выложенными желтыми кирпичиками кругами и фронтонами. Пахло хвоей и печеным хлебом.

— Степушка, погляди: киргиз без лошади!

— С того берега, видать.

Катающие бабу из снега дети с интересом смотрели на него. Ближе всех стоял мальчик в легком зипунке со съехавшей на ухо заячьей шапкой.

— Ты чей будешь? — спросил он, радуясь выговариваемым словам.

— Мы Петровичевы, а она вот Алеська Гордиенкова, хохлушка. Вон их дом, синькой мазанный...

Еще что-то спрашивал он, а они отвечали. Потом смотрел, как брали бабы воду из оледенелого колодца, легко несли на коромыслах, переговариваясь на ходу. Будто льдинки ударялись друг о друга — звучали их голоса в морозном воздухе.

По оседающему к весне снегу ездил он с Алимом-ага в Троицк, покупал сукно, одеяло, красный и голубой бархат, бусы из янтаря. Из рода Инет-бия от некогда откочевавших к Сырдарье кипчаков ему предназначена была невеста. Отцу и родичам ее полагались подарки.

Говорили, что невеста по имени Айсара — из женщин, рожающих сыновей,— первая в семье. К тому же родилась она четырнадцать лет назад в день, когда прилетели гуси, а это хороший признак. У Анет-бия значительные родичи у танабу-

гинцев и турайгырцев, а по линии нагаши — родичей жены — даже среди аргынов-актачинцев и кереев Матакайского отделения. Всё это соседи узунских кипчаков, и такое родство к пользе.

Еще десять лет назад начались переговоры по этому поводу. Табуны Анет-бия приходят к тургайским озерам с юга, так что там и произойдет вручение первого подарка от имени жениха. Затем последует уплата положенной по закону доли выкупа и тайное посещение невесты. Он слушал эти разговоры, и все представлялось не имеющим к нему никакого отношения...

Стена пламени стояла в излучине Тобола. Чернел лишь узкий проход, и лошади всхрапывали, замедляли движение, теснясь к середине. Пройдя огонь, они заливисто ржали, вставали на дыбы и уносились к привычно отступающему окоёму. Вслед за лошадьми полдня шли овцы, проникаясь дымом горящего тальника. Потом, ведя в поводу лошадей и верблюдов с поклажей, между двумя очистительными огнями прошли люди. Все зимнее, недоброе, болезненное сгорало в пламени, и черные комья сажи падали на размокшую землю. Кочевье по обычаю предков начинало новый круг.

Ему казалось, что уже многие тысячи лет он проходит этот путь вместе с родичами. Ничего не менялось. Только бий Балгожа ехал в тарантасе. Водой набухало его огромное тело, и не мог он уже самостоятельно влезть на коня. Не было Нурумбая, сидящего в троицком остроге. И остался на кыстау дядька Жетыбай.

За месяц до откочевки пришел в зимовье солдат Демин с привязанным за спиной сундучком. Как уж они отыскали друг друга, неизвестно, но, по всей видимости, дядька Жетыбай ждал его прихода. В тот же день он вместе с солдатом таскал на волокушах бревна с той стороны Тобола, расширял свою крытую дерном времянку-шоналу, в которой жил последнее время. Все там было расставлено, как в юрте при киргизской школе, и над лежанкой солдата висела та же иконка. Днем солдат помогал дядьке Жетыбаю в делах у дома бия Балгожи, а вечером рубил, строгал, пилил прямо на улице, хоть стояли еще морозы. Когда же пришло тепло и стаял снег у реки, он принялся вместе с дядькой Жетыбаем вскапывать лопатой подсыхающую землю. Кипчаки смотрели искоса и ничего не говорили.

Так и не поехал дядька Жетыбай со всеми на джайляу, навсегда выйдя из круга. Это не удивило его. Что-то размывало кипчакскую вечность. Словно пытаясь укрыться в своем окоёме, кочевье уходило все дальше в степь.

Кругами носились всадники, замирали на месте и устремля-

лись в обратную сторону. Печально, с горьким надрывом кричали в небе дикие гуси. В день, когда пришли к Золотому озеру, он сказал бию Балгоже о своем желании.

Дед, оплывший, тяжело дышащий, посмотрел на него, молча кивнул головой. Мать, как и полагалось, тоже ничего не сказала, только задержала движение руки с иглой. Все вещи были при нем, и он быстро, боясь задержаться, собрался в дорогу.

Золотое озеро стало перемещаться от центра круга к его краю, пока не уплыло за окоём. В тарантасе с ним ехал Досмухамед, родственник муллы Рахматуллы, блюдущий уразу и правила молитвы, который должен был остаться у него в услужении. Этой нитью, по мысли родичей, привязывался он к тому, чем был от рождения. Но он и не собирался оставлять мир узунских кипчаков. Дело было в окоёме.

Тарантас катился, приминая, захватывая ободьями колес жесткую, горькую траву. Ровный сухой ветер дул в спину. Звуки, цвета, запахи не оставляли его.

Предстояло находить выход из круга. Вечность была ненадежной, лишь ограниченная призрачной линией. Человек с саблей расплывался в звездном тумане. Многорукий бронзовый идол мерно покачивал головой, ожидая своего часа, домулло Рахматулла разминал детский язык твердыми желтыми пальцами. Единственный путь был тот, которым он сейчас ехал. Качая головой в такт бегу лошадей, он думал сейчас о том, какие же они — русские.

Часть вторая

ДВА МИРА

I

— Отчего вы перестали читать, Ибрагим?..

Он смотрел на нее широко открытыми глазами. Сердце звонко стучало, и необыкновенным, светлым казалось тут все. Три дня уже происходило это с ним.

— Господин Алтынсарин, наверно, устал,— сказала сидящая в стороне Екатерина Степановна, не переставая вязать.— Ты, Дашенька, не неволь его.

— Нет, я не устал! — сказал он поспешно и начал снова читать, четко выговаривая каждое слово: «Однажды они вдвоем откуда-то возвращались лениво, и только стали переходить большую дорогу, навстречу им бежало облако пыли... Потом вдруг все

взглянули на него, один господин в лорнет.— Кто это? — тихо спросила Сонечка.— Илья Ильич Обломов! — представила его Олечка»...

Опять перестал он читать и уставился на Дарью Михайловну. Та опустила свое вязанье. Чуть удивленная улыбка была в ее глазах.

— Читайте... Что же дальше?

Когда ей было интересно, спицы начинали двигаться медленней. Глядя в книжку, продолжал он видеть изгиб ее руки. Ему становилось жарко.

Голос у нее был мягкий и ровный, полный ласковой силы, и чтобы услышать его, он задерживал чтение. Она говорила не так, как говорили в Троицке и Оренбурге, а как-то особенно растягивала «а-а-а». Слова становились главными, волнующими. И все получало тайный, особенный смысл.

— Агафья Матвеевна следует по-русски произносить «Агафья». Вот так,— поправила его Екатерина Степановна. Он говорил — Агапия, и нажим приходился на «я». Несколько раз повторял он, пока получалось правильно.

Дарья Михайловна улыбалась чему-то.

— У Володи вестовой — казак новочеркасский. Он говорит «хвонарь», а вместо «хватит» говорит «фатит»,— сказала она.

Пришли дети проститься перед сном.

Дарья Михайловна перекрестила пятилетнего Петю и поцеловала Машеньку, что-то пошептала ей.

Все вокруг нее сразу становилось необычным. Даже оставленные в кресле спицы имели какое-то значение, излучали некое тепло...

Возвращаясь, она брала вязанье, усаживалась плавным движением.

— Почитайте еще, Ибрагим, голубчик...

Он брал книгу журнала, продолжал чтение. О романе господина Гончарова говорили во всех домах. Сложившиеся в подписку, офицеры передавали книжки журнала в очередь друг другу. Дарья Михайловна бросила вязать, сидела грустная — слезинка покатилась по ее щеке, когда Ольга оставила Илью Ильича...

Приходил Николай Иванович, забирал его к себе. В кабинете висела большая икона, и молчаливо проступали на ней неподвижные скорбные лица.

— Сила любви к ближнему подобна слабой травинке, раздвигающей камни! — говорил Николай Иванович.

Горел лампион, светло-зеленые изразцы печи отражали покойный свет. Воодушевляясь по своему обыкновению и разма-

хивая рукой, рассказывал он Николаю Ивановичу, как в лютую зиму, подвергаясь холоду и всяческим опасностям, пасут лошадей киргизы. Он говорил по-русски и потому называл так казахов.

Все в этом доме было необыкновенно. Тут как-то сразу обнаружилось, что вовсе не молчалив он и не застенчив, как считалось от его болезни. Самое тайное, что думалось ему, высказывал он легко и прямо. И говорил громко, смеялся во весь голос. Лишь с Дарьей Михайловной, гостившей у Ильминских, замирал он, однако внутри все в нем наполнено было движением. Казалось, некий конь, и вправду перепрыгивая реки, уносил его все дальше.

Николай Иванович начинал ходить по комнате, мягкие бакенбарды его разлетались, глаза смотрели тепло и радостно.

— К неведомой нам цели ведет людей эта сила, даже злых и недобрых, которые в гордыне своей тщатся противостоять ей. В древности провозглашено было: «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ибо все вы одно!» Разве не величественна эта картина!

Теперь он слушал, а Николай Иванович рассказывал, как сила пара облегчает труд людей. Цивилизация победно шествует во все уголки земли, даже на далекие океанические острова, где люди не знают одежды и живут собиранием плодов и корней...

Все произошло от тетради, куда Генерал приказал записывать при чтении книг неизвестные ему слова. Но с Генералом случилось нечто, после чего тетрадь со словами стал брать себе Николай Иванович. На свободной части листа делались пометки, и коль слово представлялось значительным, писалось объяснение смысла. «Цивилизация» — всё, чего с божьей помощью достигает человеческая мысль во благо людям. Седло для лошади, печь для обогрева жилища, само жилище в гармоничном приспособлении к образу жизни — тоже цивилизация. Она идет в ногу со смягчением нравов, с облагораживанием чувств, с поиском высшей цели. Ибо что будет, если человек наконец станет сыт, одет, а душа его оскудеет. В чем же состоять тогда будет смысл сей жизни?..

Казалось, люди на иконах слушают, храня загадочное молчание. Он уходил, когда караульщик в крепостной части ударял полночь. Выйдя на улицу, он останавливался на другой стороне и смотрел на окно в мезонине. Ласковый свет лился из замерзших стекол, за которыми спала с детьми Дарья Михайловна.

Когда зашел он по приезде в знакомое присутствие Пограничной комиссии, то остановился в изумлении. В покойных

некогда коридорах всё было в беспорядке. Двигались шкафы, переносились связки бумаг, с озабоченным видом переходили из комнаты в комнату писари и вольные служащие. Варфоломей Егорович Воскобойников, к которому он обратился за разъяснением, значительно поднял вверх палец:

— Великие российские потрясения — не сокрушение Бастилий, а суть реформы, происходящие от начальства. Смысл оных в смене мундира при оставлении всего прочего в первобытном состоянии. Каковое событие и наблюдается в сей час. Поскольку киргизы Оренбургского ведомства из ведения Азиятского департамента, составив область, перечислены ныне в Министерство внутренних дел, Пограничная комиссия упраздняется, а на ее месте образуется Областное правление оренбургскими киргизами. Посему надлежит шкафы и прочие вместилища благопорядка поменять местами и рассадить жрецов его в соответствии с новым направлением правительственной мысли...

Генерал теперь заседал в зале, куда один ход был из новой его квартиры, и отнесся к нему так, словно знал заранее о его приезде.

— С вашим дедом полковником Джанбурчиным, господин Алтынсарин, мы старинные приятели. Если бы все киргизы имели таких здравомыслящих и способных к делу управителей, то многих несообразностей можно было бы избежать. Это высокая наука — руководить людьми, и следует упражняться в ней. Надеюсь, ваша служба здесь принесет пользу для будущей вашей деятельности среди одноплеменников.

Генерал никак не изменился, говорил сухо, и крупные завитки волос по обе стороны лба казались вылитыми из меди. В тон им бронзой отсвечивали книжные корешки в стеклянных шкафах вдоль стены.

— Ваше превосходительство,— заговорил он, желая узнать, в чем же будет состоять его служба.

— Извольте называть меня по отчеству! — прервал его Генерал.

Он не понимал — приказание это или разрешение.

— Ваше превосходительство, Василий Васильевич...— начал он через силу.

— Будете, голубчик, в присутственные часы докладывать мне о явившихся киргизах. А для полезного времяпровождения можете читать книги из этого вот шкапа...

С первого числа августа он вступил в службу младшим толмачом при областном правлении с представлением к чину зауряд-хорунжего. С утра сидел он в приемном зале и не знал, что ему делать. Казахи не приходили, и Генерала тоже не было.

Приоткрыв в кабинет дверь и просунув голову, он рассматривал ряды темных с золотым тиснением книг. Потом, сам не заметив как, оказался в кабинете и принялся смотреть первую с краю книгу, что лежала на подставке. Книга была русской, и он принялся стоя читать, перелистывая страницы. Некая бедная, но благородного происхождения девица любила одного господина и много страдала, потому что им нельзя было сойтись. Отец его, граф, не позволял жениться.

— Вам, голубчик, лучше что-нибудь практическое читать!

Он едва не уронил книгу, услышав знакомый голос. Генерал достал из шкафа другую книгу, поменьше:

— Станете не понимать чего-нибудь или какого-либо слова, записывайте в тетрадь. Как наберется лист, я вам объясню при случае.

Он взялся читать с девяти часов до трех, а также по вечерам и ночью при свече в татарском доме, где поселился вместе с Досмухамедом. Книга была барона Брамбеуса — «Рассказ Ресми-эфенди, оттоманского Министерства иностранных дел, о семилетней борьбе Турции с Россией в 1769—1776 годах». Все было понятно, и он выписал только двенадцать слов.

Генерал на другой день посмотрел, одобрительно кивнул головой:

— Коалиция означает сговор держав в чем-нибудь против другой, противоборствующей стороны,— объяснял он, быстрым почерком заполняя правую сторону листа.— Янычары — взятые в султанскую службу в детском возрасте выходцы из подвластных Порте народов. Не связанные узами родства с турками, служили для их укрощения... Ну-с, что еще? Вдругорядь — русское слово, означающее вторичное повторение какого-либо действия...

Чувствовалось, что Генералу доставляет удовольствие объяснять ему значение слов. Видя, как он вхож в кабинет, писари и прочие служащие правления стали выказывать ему почтение. А он ещё и ещё брал книги, читая подряд. Однажды, разгоревши себя, решил он в благодарность за внимание порадовать Генерала старанием и радивостью. Взяв тяжелую книгу экономического рассмотрения российской торговли с прилегающими к границам империи державами, он выписал за один присест полтысячи непонятных слов.

— Что это ты принес мне, братец? — тихо спросил Генерал и, ударив о стол ладонью, загремел: — Поди прочь отсюда!..

Пошатываясь, с тетрадью в руках, вышел он в приемный зал, сел на свое место. Писарь Мирошников, чье место было тут же, смотрел на него с сочувственным удовлетворением. Из коридора

заглядывали люди, чтобы узнать, кого это распекал Генерал.

На другой и на третий день Генерал проходил к себе, не видя его. В конце же недели подошел и строго спросил:

— Что же вы, голубчик, книг не берете?

Он опять начал брать из шкафа книги, и в это время неизвестно откуда появился Николай Иванович, легким шагом прошел через зал, и бакенбарды его разлетались от быстроты движения. Из генеральского кабинета донеслись взволнованные голоса. Минут через двадцать Генерал позвал его к себе. Когда он вошел, ему сделалось вдруг хорошо и покойно. Это чувство возникло от больших голубых глаз незнакомца, с интересом смотревших на него. Генерал тоже показался совсем другим, так как быстро вертел головой и смеялся.

— Вот, рекомендую тебе, Николай Иванович: прилежный и любознательнейший юноша. Внук бия Джанбурчина. Отец и родные тяжко пострадали от диверсии Кенесары Касымова. Будет тебе в помощь при изучении киргиз.

Этот день он находился уже вместе с Николаем Ивановичем Ильминским, пил из голубой чашки чай, представленный в кабинет Екатериной Степановной, и рассказывал о себе и своих родичах. Николай Иванович взволнованно ходил, глаза его сияли:

— Просвещение есть движитель человека к благоденствию. В соединении с чистой природой оно даст плоды, коих не достигнет самая изощренная администрация. Однако материал сей — люди не подчиняются одним естественным законам. Есть нечто высшее...

Удивительней всего было то, что он сразу же рассказал незнакомому человеку и про город, который как-то вознамерился строить для кипчаков на Тоболе, и про мучения свои из-за дядиных доносов и даже про Человека с саблей. Какая-то добрая сила исходила от большого человека с мягкими развевающимися волосами на щеках и теплыми крепкими руками.

— Это, Ибрагим, голубчик, им наказание, что они такие злые,— сказал Николай Иванович о дядях его Хасене и Кулубае.— Тебе и другим вокруг них тоже нелегко, но хуже всего им. Очень тяжело — быть плохим человеком. Так что пожалеть их следует. Не сами по себе и они такими сделались.

Это казалось удивительно для него — так смотреть на людей. И услыхав про город для кипчаков, не стал смеяться Николай Иванович. В голубых глазах его было понимание.

— Значит это, что сердце болит у тебя о нуждах своего племени. Даст бог, выстроишь еще свой город. Не обязательно

из камня должен он быть. Есть материалы невидимые, а более всего людям необходимые...

Так и говорили они в первый раз чуть не до трех часов ночи, и спать остался он в кабинете Николая Ивановича на кожаном диване. Екатерина Степановна принесла ему туда большую подушку, простыню и суконное одеяло. Словно отогрелся он в этом доме от всех волнений.

Отныне уже Николай Иванович делал ему в тетрадь объяснительные записи, а он помогал в составлении этнографического отчета о туркменах: переписывал и заполнял особые карточки. Из только что закончившейся поездки с экспедицией по съемке восточного берега Каспийского моря до Персии Николай Иванович привез две корзины записей. Как значилось в предписании, в видах дальнейшего освоения Россией этих пустынных берегов надлежало изучить обитавшие здесь туркменские племена, их обычаи и пристрастия. Кроме того, Николай Иванович учил язык степных казахов и хорошо уже все понимал, потому что, как и Генерал, досконально знал языки татарский и турецкий.

Генерал теперь и вовсе отпустил его из присутствия к Ильминским. Всякий день теперь был он в их доме, став даже обедать с ними.

В первый раз, как наступил обед, он ни за что не хотел выходить из кабинета, говорил, что ест лишь утром и вовсе не голоден.

— Экий ты спесивый! — даже с удивлением в голосе сказала Екатерина Степановна и, большая, спокойная, чуть толкнула его в спину.— А ну, марш к столу, молодец!

Он начал есть и больше никогда уже здесь не стеснялся.

Не замечая как, начал он разговаривать громко, вставал и быстро ходил по комнате, совсем как Николай Иванович. Екатерина Степановна с улыбкой смотрела на него.

Ночью он лежал в своем жилище с мазанным глиной полом и все думал о людях, которых он вовсе не знал еще месяц назад. Испугавшись наскучить им, он положил себе неделю не появляться в их доме. К вечеру второго дня послышался взволнованный разговор во дворе:

— Где же он? Ничего худого не случилось?!

Через минуту, пригнувши голову от низкой двери, в комнату вошел Николай Иванович:

— Что же ты, Ибрай, потерялся? Мы думали — болеешь или еще какая беда приключилась. Екатерина Степановна и вовсе обеспокоилась. Ну, слава богу, жив-здоров!..

Николай Иванович велел ехать с ним. На пыльной улице татарской слободки стояла генеральская коляска, которую тот

одолжил у своего начальника. Екатерина Степановна укоризненно пеняла ему:

— Негоже так: даже вести не подал. Насилу вот тебя отыскали.

Когда она говорила «ты», ему было особенно приятно. В прочих случаях Екатерина Степановна называла его «господин Алтынсарин». В доме у него определилось уже свое место — в кресле напротив стола, а в кабинете Николая Ивановича, среди книг и бумаг с записями он и вовсе не чувствовал никакого стеснения. Это было что-то большее, чем в доме учителя Алатырцева. Некая притягательная сила содержалась в них.

В нем же была великая настороженность жизни в окоёме. Дядя Хасен открыто источал ненависть, дядя Кулубай улыбался, в ниточку сводя глаза и губы. В городе он тоже весь собирался, когда заговаривали с ним писарь Мирошников и таящий великий яд в словах Варфоломей Егорович Воскобойников. Отношение к нему Генерала не выходило за предел книг в кабинете. Некий колокольчик дребезжал в ушах. В присутствии и на улице он недоверчиво оглядывался. И вдруг все это рухнуло, в один миг жизнь наполнилась почти ощутимым теплом. Сразу же и он переменился весь без остатка, сделался быстрым, порывистым, сам удивляясь порой, куда же девались прежние границы.

Потом приехала из России Дарья Михайловна...

Она приходилась племянницей Екатерине Степановне. Муж ее, поручик Дальцев, находился еще на съемках где-то в Улытау, и Дарья Михайловна с детьми жила пока у родственников.

Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де не только что в поварню:
Пускать не надо и на двор...

Подделываясь под голос повара, она надувала губы, укоризненно качала головой. Дети слушали, глядя в ее чистое лицо с ямочками на щеках. И он с ними слушал, словно впервые открывая, какой необыкновенный язык, на котором она говорит.

А Васька знай себе курчонка убира-ает...

Всякий день он теперь ждал, чтобы после обеда Дарья Михайловна читала детям. Она начинала: «Предлинной хворостиной Мужик Гусей гнал в город продавать», и сразу будто пригревало солнце. Каждое слово в отдельности вдруг преображалось, делалось необыкновенным. До тех пор он не ощущал русских слов — просто говорил, как все другие в присутствиии и на улице. Теперь ему казалось, что звуки этой речи жили в нем от рождения.

Всплескивая руками, ахая, рассказывала она:

— В уезде нашем такие хорошие бáлы устраиваются. У Якова Апполинарьевича и в Дворянском собрании. Оркестр летом от полка, а так — от инвалидной команды. Сейчас все замело-о-о у нас. А тут огни горят, санки едут к подъезду. Смеются, танцуют все, почитай, до утра самого. Маменька говорит: далеко ехать, от нас-то двенадцать верст. Да тоже хорошо, когда снег падает и чисто-чисто всё в поле...

Ничего особенного не говорила она, но такая же притягательная сила таилась в простоте слов. В ней все было просто: белое лицо с чуть вздернутым носóм, гладко зачесанные волосы, спокойные серо-голубые глаза.

— Душевные у нас уезды! — вздохнула Екатерина Степановна.

Это слово произносилось чаще других. Николай Иванович всегда говорил его, когда думал сказать о ком-нибудь хорошее. Даже о каком-нибудь решении, принятом в областном правлении, он говорил, если оно нравилось ему, «душевное решение». Вспоминалось из прошлого: «Душу живу надо иметь!»

Дарья Михайловна расчесывала Машеньке волосы, шила, гладила большим утюгом с углями, а он все смотрел, ощущая скрытую щедрость. Она взглядывала на него с ласковым удивлением, и ямочки на ее щеках делались заметней.

Приходил Человек с саблей, смотрел на него с недоумением. Он не боялся, лежал спокойно. Черно-красные полосы в небе стали терять резкость. В звездный туман уходил Человек с саблей, и показалось сейчас, что спина у него чуть горбится.

Лежа на жесткой, подстеленной кошмой койке, он повторял в памяти по порядку все пережитое за день. Слышались речи, виделись движения, являлись лица, глаза, улыбки. Все эти люди тоже как-то смотрели на него.

II

Полковник Дандевиль Виктор Дезидерьевич — человек сугубо практический, потому и торопит с отчетом. Ему просто — расставить вешки от Бузачи до Астрабада и дело сделано. Все у таких людей покоится на инженерии: столько-то батальонов обязаны уравновесить противника и выполнить намеченное действие. Остальное не имеет значения. Коли б так было в жизни, то и Севастополь следовало сдать в первые три дня, а держали вон два года. Однако, судя по разговору со штаб-офицером Тропининым, в Генеральном штабе тоньше понимают будущие действия. Потому и обращаются к науке.

— Вы, Николай Иванович, по долгу службы не обязаны заниматься посторонними изысканиями,— сказал подполковник Тропинин в особой от других беседе.— Предостаточно того, что добытые вами материалы языка прикаспийских туркменов помогут в совершенствовании военных переводчиков. Но, посудите сами, высадившийся отряд сдруживается с кочующими там туркменцами. Каждый обстоятельный командир обязан предусмотреть, в каком отношении состоят эти туркменцы с другими, что встретятся на дальнейшем пути отряда. Принято среди номадов, что когда воспользуешься помощью проводника от враждебного им племени, то сам делаешься врагом. Все это обязан держать в сведении предусмотрительный и образованный офицер. Не говорю уж о самых обычных поступках, на которые не обратит внимания русский человек. К примеру, среди туркменцев нельзя руки вытирать полотенцем, а лишь отряхивать от воды, или лепешку хлебную не класть подовой стороной вверх. Сколь будет полезно обстоятельное пособие, составленное опытным в этих делах человеком...

Радостно видеть таких людей в мундире российского офицера, и нетерпимы другие, подобные капитану Ершову, по злобе и невежеству портящие добрые отношения с теми же туркменцами. Когда этот офицер приказал выпороть проводника, то к Дандевилю пришлось обращаться, чтобы не допустить необдуманного поступка. Цивилизаторская миссия России в этих полуобитаемых пустынях суждена ей историей и должна вестись не так пушками, как природной русской способностью уживаться и сдруживаться с прочими народами. А за сим, привнесенное естественно, будет услышано ими и слово божье.

Вместе с тем, почва здесь немало приготовлена. Туркменцы издавна общаются с русскими. Разинские казаки находили себе место среди них, и в иомудском племени кият есть род урусов. Однако трудно в одно лето разобраться во всех родовых антагонизмах туркменцев, и в докладе надо особо указать на важность таких исследований. Этот отважный и неприхотливый народ, живущий ныне наполовину разбоем, может быстро сделаться добрым подданным и предоставить серьезную военную силу для исполнения главного исторического предначертания России.

Впрочем, доклад вчерне закончен, и назавтра можно отдать его в переписку. Однако, чему ж так смеется в гостиной Дарьюшка? Вот уж поистине счастье для Владимира Андреевича иметь такую милую и душевную супругу. Вся родня их, видно, такая.

Это опять Ибрай читает им что-то из журнала. Уморительная у него привычка вдруг смотреть прямо на человека пять и десять минут. Кто не знает, удивляется. Могут и нескромным посчитать. А все только застенчивость, проявляемая таким способом у природных, неиспорченных людей.

Больше всего мучается юноша за свою голову. Парик у него первейший, от мастера Краузе, и почти не виден глазу. Таз называют эту болезнь киргизы, что у русских — простой лишай. Огорчительное сходство, ибо от невозможности лечиться выпадают у детей волосы.

Сколь глубокое чувствование у юноши — даже слезы выступают на глазах, когда заволнуется. Истинно христианское у него направление души, а это во сто крат дороже заученного. Убедительней и прекрасней придумал ли что-нибудь человек? Какие экономические теории сравнятся с этим. Последний злодей легко приспособит себе самую обольстительную теорию, а перед чистотой души бессилен. Инквизиторы на протяжении веков старались заставить служить себе имя Христа, но, как струпья, отпадали они, идея же сияла с первозданной силой.

Так уж устроена человеческая натура, что взыскует добра. У народа киргизского от природы такое направление, и только не испортили бы его ретивые скудоумцы. Свойственные нашим порядкам казенные отношения живо могут расшатать природную нравственность киргизов, не нарушенную пока и магометанскими законниками. Скорей магометанство киргизы приспосабливают к себе, к своим первоосновам. Внедренные насильственно и без души европейские правила лишь вызовут неизлечимую болезнь.

Ибрай вот до сих пор не может успокоиться от кляуз родственников. Родовая вражда обязательно присуща номадам. Однако раньше человек брал меч и выезжал на поединок с противником, подставляя свою голову. Теперь же оружием их становится перо и бумага, прежде всего в кляузном направлении. Кто в этом разе становится среди них первейшим человеком? Сия российская беда прежде всего другого проникает в толщу инородцев. Стоит посмотреть на обычного писаря из киргизов — сколько в нем готовности к угнетению своих же одноплеменников. Суть народной души искажается, поставленная в искусственные правила.

Однако есть вот и Ибрай. Его не коснется скверна, хоть вращается в самом омуте канцелярского непотребства. Сколь необходимы такие люди киргизам. К слову, Ибрай зовет себя казахом и недоволен когда в доверительном разговоре называют их другим именем. Что ж тут поделаешь? Некогда вписанное в государственную ведомость обозначение никак не может быть

изменено. Измаил легче взять, чем заставить российского столоначальника переменить форму. В середине формы он тебе десять бастилий сокрушит, но чтобы сверху был порядок. К тому же и бардами навечно закреплено: «киргиз-кайсацкия орды...»

Следует прояснить с Ибраем топонимию слова «казах». Они говорят, что это происходит от дикого гуся — «каз» и «ак».

Скорей тут более древний знак, означающий способ жизни. Наши казаки не просто переняли от них имя, но и заключенный в нем смысл.

Юноша намерен посеять добро в своих кипчаках. Для этого, как он говорит, надо построить в каждом роду точно такую школу, как при правлении. Но кто же даст на то деньги, где возьмутся учителя? Только что махавший руками и окрыленный, он уже уронил голову и сидит потерянный. Однако же это ближе к реальному, чем рассказанное им вчера. Оказывается, по окончании школы, имея шестнадцать лет отроду. Ибрай намерился выстроить кипчакский город — точный Оренбург. При том нисколько не думал, как все это устроит, да и к чему именно Оренбург?

А школа, что же... Конечно, такого лицея, как при правлении, и в российском уезде не увидишь. Но если попроще, ближе к народным училищам, то можно найти образец хоть в той же Казани. О том и Василий Васильевич заговорил, да сколько препон на пути. Не говоря об экономии к делу просвещения, что проистекает по Министерству финансов, так нет ведь простой киргизской азбуки. Если делать ее, то какой буквенный строй употреблять: русский или магометанский? К тому ж, на всю Россию думают о киргизском просвещении генерал Григорьев да я. Вот еще Ибрай, строящий воздушные города. Кто ж всерьез смотрит на генеральство Василия Васильевича. Несерьезно для российского администратора науками заниматься. Тут голос надо иметь, шпоры...

Слава богу, отчет закончен, следует ускорять киргизский словарь. Ибраю тут найдется дело. Да и от школы это не так далеко...

III

Опять долго не мог он уснуть. За дощатым забором у соседей третий день играли свадьбу. Заливалась гармонь, и глухие удары сапог об пол сотрясали землю даже здесь, в другом от них доме.

Полмесяца назад переехал он из татарской слободки ближе к службе и Николаю Ивановичу. Снял он флигель с прихожей на Большой улице, как раз напротив киргизской школы, рядом

с каменным домом Тимофея Ильича Толкунова. Все у того было, как прежде: каждую неделю перед воротами стояли люди, требовали заплатить условленные за скот деньги. Выходил работник Федор, подкатывал рукав, шел на них с угрозами. Если сами они лезли в драку, от угла приходил городовой Семен Иванович, приказывал разойтись. Теперь им было свободно. Господин Дыньков с лета болел и не показывался на улице.

Идя к дому, он проходил всегда мимо толкуновского дома. Еще со школы это осталось, когда наперекор ходили они здесь. Сам Тимофей Ильич, стоя у ворот, ничего не говорил, лишь смотрел провожающим взглядом. Зато работник Федор старался так встать, чтобы прохожему пришлось наступить в грязь.

— Не для того дорогу чистим, чтобы всякие здесь ходили,— говорилось за спиной.— Ишь, какое благородие идет. Коли ты киргиз, то и будь киргиз. А то смотри — в мундире!..

По воскресеньям соседи, крепко позавтракав, сидели на скамье у ворот.

— Эй, малый, свиное ухо. Гляди: супонь лопнула, кобыла убегает! — кричал работник Федор водовозу-татарину, заезжавшему с бочкой в ворота школы. И хохотал на всю улицу, когда старик пугался и доверчиво шел смотреть упряжку.

Потом ловили собаку. Придавив ее коленом к земле, работник с помощью соседа привязал к хвосту жестяную банку. Стоящие вокруг с серьезностью подавали советы. Обезумевшая собака убегала по улице, а они смотрели вслед и даже не улыбались. Только степенно говорили между собой: «В слободку побежала... Да нет, Тимофей Ильич, в сад к немцу!»

Вошедший в дело к Толкунову работник Федор теперь женился на его дочери, сам делался хозяином. Оба они были из одной станицы, и оттуда наехала родня: бородатая, в приспущенных по казацкой моде сапогах, с собственным попом в такой же казацкой одежде под рясой. Были на свадьбе еще соседи — сидельцы по мясной торговле и квартальный Семен Иванович. Дребезжали бубенцы в раскрашенных конских сбруях, а к вечеру опять пели и плясали. Сдавший ему квартиру оренбургский мещанин Василий Петрович Прохоров сам гулял у соседей, и в доме остались они с Досмухамедом. Тот молился в своем углу, поворачивая к лампе круглое безбровое лицо. А он лежал, не в состоянии спать, слушал идущий от соседа грохот:

Ох-ти, ох-ти,
Девка в кофте,
Всех целуйте и милуйте,
А мою не трохьте!

Вернулся со съемки поручик Дальцев. На этого офицера он смотрел теперь с удивлением. Дарья Михайловна была его женой, а тот как будто и не знал этого — ел, ходил, говорил, как все другие люди.

Дальцевы сняли дом в городе и только по воскресеньям ходили к Ильминским. Он ждал каждого такого дня с беспокойством, а когда заболел Петя и Дарья Михайловна не пришла, ночью встал и пошел к ее дому.

— Экий ты сегодня рассеянный! Уж не захворал ли? — спрашивал его Николай Иванович.

Когда в следующую неделю Дарья Михайловна пришла, он уронил чашку от волнения. Николай Иванович ничего не понимал, лишь Екатерина Степановна смотрела на него с усмешкой.

Были у Ильминских еще гости: советник Алексей Александрович Бобровников, старинный друг Николая Ивановича по Казани. Дарья Михайловна рассказывала, опустив вязанье:

— Душ-то у нас с Володей сорок. Мое приданое. А Володя и вовсе из однодворцев. Так что имение наше малину да грибы только давало. Оставила я все, взяла Авдотью, что меня и матушку еще нянчила, и теперь насовсем сюда, к Володиной службе. Бог даст, проживем. Места здесь хорошие, дешевые...

Он слушал, про что бы она ни говорила, проникаясь весь ее голосом. Увидев его взгляд, Дарья Михайловна, как обычно, чуть покраснела.

— Дворянам представлены будут выкупные свидетельства на землю,— заметил Бобровников.

— Земли у нас бедные, лесные,— сказала она.— А люди хорошие, душевные. Чего с них брать-то? Нет уж, сами как-нибудь с Володинькой проживем службой. Не мы первые.

Потом она опять с ласковым любопытством взглянула на него. Ему сделалось хорошо.

Варфоломей Егорович Воскобойников, усмотревший непорядок в его отсутствование на службе, поручил ему разборку архива. Надлежало на всех папках заклеить слова «Оренбургская пограничная комиссия» и вписать каллиграфическими буквами: «Областное правление оренбургскими киргизами». Генерал сказал, что ему разрешено отсутствовать в виду работы с Николаем Ивановичем по киргизскому словарю, но Варфоломей Егорович только фыркал. Всякий раз, встречая его в правлении, делопроизводитель выказывал недовольство если не в словах, то в двусмысленности взгляда. При этом худое, идущее сине-розовыми пятнами лицо его принимало ядовитое выражение.

— Заходите, заходите, господин зауряд-хорунжий,— Варфоломей Егорович притворно вскакивал, делал руки по швам.— Сабит Михайлович, доложите по порядку господину зауряд-хорунжему о вашем недоумении.

Старший толмач Фазылов, которому он подчинялся по службе, и которого Варфоломей Егорович по старинной дружбе обычно называл Фазылкой, смотрел на него сонными глазами:

— Чего не был вчера?

Каждый день начинал он объяснять одно и то же, сбивался, сердился, а им того только было и нужно. Оба слушали с довольными лицами, находя в этом для себя удовольствие. Он и не обижался всерьез, чувствуя отсутствие злобности в их поведении. Просто от скуки это делалось.

К господину Дынькову он приходил обычно по утрам. Тот лежал в чистой рубашке на высокой кровати, исхудавший, ставший совсем маленьким.

— Так-то, брат,— говорил господин Дыньков.— Пора вот на пенсион. В расцвете, можно сказать, возраста. А ты давай, расскажи, как служба у тебя двигается.

Помнилась крепкая рука и ложка с бульоном, означающая возвращение к жизни. Когда-то этот человек говорил что-то о «киргизах». Сейчас рука у господина Дынькова сделалась безжизненно-белая, и только волосы были на ней прежние: густо-желтые. Он наклонился, как когда-то в изоляторе, прижался щекой к этой руке.

— Ну, ты, брат, не расстраивайся,— дрогнувшим голосом сказал господин Дыньков и погладил его по голове.— На все воля божья. Вот сирот только жалко...

Дочка господина Дынькова — Оля подросла, но по-прежнему ходила с куклой. Рыжие веснушки были у нее на носу и щеках. Она не отходила от отца.

Не он один — к заболевшему господину Дынькову приходили Кулубеков, Мунсызбаев, Кучербаев, оставленные практикантами при областном правлении, и еще Миргалей Бахтияров, служивший при губернской канцелярии. Они рассаживались по стульям и говорили о своих делах. Господин Дыньков слушал их со вниманием. Не было никого в городе у них ближе надзирателя школы...

И опять слышались ему в ночи, когда лежал он с открытыми глазами, обрывки разговоров, отдельные слова, восклицания. Все это выражалось на одном языке. По-русски говорили действи-

тельный статский советник Евграф Степанович Красовский, новониколаевский пристав Покотилов, чиновники правления. В книге о счастливой судьбе номадов повторялась их речь. С мертвой однозначностью гремел колокольчик. И в какой-то миг стиралось все, раздавались чистые, незамутненные звуки:

У лукоморья дуб зеленый...

С кем же предстояло жить узунским кипчакам?

Пробегали по потолку черно-желтые тени от толкуновских окон. Топот у соседей то стихал, то становился сильней, и пиалы дребезжали на полке:

Почему? Отчего?
По какому праву?
Распроклято каргызьё
Косит нашу траву!..

И тут явственно увиделся солдат Демин. Со спокойной уверенностью вез тот на волокуше с дядькой Жетыбаем бревна с той стороны Тобола. Как же так получилось? Значит, дядька Жетыбай понимает всё лучше его. Кипчаки тоже почему-то ничего не говорили солдату, когда начал тот строить себе жилье на этой стороне реки. Помимо него все делалось...

IV

Что ж, свадьба и без их благородия совершилась как положено. Одного масла лампадного за три дня гулянья не меньше как на пятерку выгорело. На лошадей, на попа, на вино сколько потрачено. Припасы, соленья там, это свое, да тоже вместо продажи на стол брошены: ешьте, пейте и веселитесь. Шестьдесят три души пребывали за столом: сватья да братья, всякие необходимые люди. Добро еще, станица далеко, за двести верст, а то бы вовсе разоренье. Ну, да ничего, Ксения вся сияет в монистах. Кто ж своему дитю враг? Да и Федька-злодей ублаготворен.

Давеча прихожу к их благородию, Ивану Матвеевичу Андриевскому. Так, мол, и так, играем свадьбу драгоценной и единственной своей дочери. Жених тоже свой. И как, значит, вы наш станичник, можно сказать, сродственник, то извольте оказать милость своим присутствием. Как-никак чин для нас немалый: капитан казачьей артиллерии и к начальству близок. Задумался Иван Матвеевич.

— Не изволь, говорю, беспокоиться, твое благородье. Тут из наших в городе Павел Ртищев или там Филимон Токарев

в таскальщиках на мальнице, так их не зовем. Все уважительный, настоящий народ будет. Чтобы, значит, без невежества.

— Не потому я, Тимофей Ильич, не пойду к тебе, что людей сторонюсь, говорит, а потому, мол, что ты есть мерзавец, а не казак.

— Как так,— спрашиваю,— за что такие обидные слова приходится от вас услышать. Что казаки мы, Толкуновы, еще в реестрах императрицы Анны Иоанновны записано. И после бунта дед мой Ефим Толкунов отмечен за верность престолу-отечеству. Не так, мол, как некоторые.

— Это мы осведомлены,— говорит.— Только вроде не казачье это дело — людей по базарам облапошивать. Да и Федька твой — разбойник и подлец.

— Когда же это я, Иван Матвеевич, людей обижал,— спокойно так говорю ему.— Побойся бога: с киргизами только одними дело имеем...

Так слушать больше не стал. Оно и понятно. Яблоко от ствола далеко не покатится. Дед-то его у Пугача был, у самого стремени, и ноздри ему рвали. С той поры и волчатся Андриевские на Толкуновых. Да отец, вишь, его грамоте научился, а сын и вовсе в офицеры вышел. Только слыхал я, что при покойном императоре было у них нечто в артиллерийских юнкерах, за что в солдаты на год угодил. Вот теперь новый государь послабление делает, так и вовсе таким раздолье. На что уж крепка была военная часть, так туда же. Взял это по весне у их благородия капитана Головлева «Военный вестник»[1] и поблагодушествовать вздумал, читаю: «Изнанка Крымской войны», а потом «Голос из армии». О том все, что чуть не государь Николай Павлович повинен в поражении, а до солдата унтер не смей и касаться, поскольку солдат русский есть герой. Так прямо и написано: «Горячее наше сочувствие должно быть обращено к этому сильному простому человеку, идущему против многих невзгод и лишений». А вот у нас в полку, когда поляк бунтовал, уж на что были герои. Кавалеры все, в крестах. Только как увидят меня — по струнке тянутся. Щелкнешь эт-та его разок-другой, так еще большим молодцом глядит. Потому что я есть вахмистр, от государя поставленный тебя, мерзавца, научить чувствовать службу. Тот тоже Филимон Токарев не раз был от меня ученый. Сейчас вот рожу воротит, когда на мельницу приезжаю за мукой.

Ну да обошлись без Его благородия Ваньки Андриевского. Капитана Ершова от соседей за стол позвали. Уж доподлинный

---

[1] Официальный военный журнал в конце 50-х годов, одним из редакторов которого был Н. Г. Чернышевский.

офицер. Как выпили, так даже ко мне ручку хотели приложить. «Как смотришь, сволочь,— говорит.— Ежели ты благородного человека за стол позвал, то изволь сам стоять при нем за денщика! Насилу успокоили: «Так, мол, и так, господин капитан, всегда рады стараться!»

Теперь уж Федьке поворачиваться, дело расширять. Оно, конечно, и здесь человеку с разумением прожить можно. Да все трудней приходится. Вот и Андриевский тюрьмой пугает. Потому все здесь на виду. Да и рвань российская набежала, хлеб перебивает. А как мужика освободят, то и совсем деваться будет некуда. К тому, видать, дело идет. Господа дворяне сами на себя петлю накидывают. Что за народ такой несуразный в России. На себя же и бунтует.

В самый раз теперь куда подальше в степь податься. Хотя б в укрепление — Оренбургское или Уральское. Там, говорят, на Тургае, киргизы овцу на иголку меняют. А сюда готовый скот можно пригонять. Те же киргизы наймутся. Деньги, скажем, есть на первый случай. Да у Федьки обстоятельности еще мало. С киргизом надо обращение знать. Такой это народ уж дикий, скрытого движения мысли совсем не чувствует. Скажешь ласковое слово, а он и верит. В самый раз его, как зайца, тогда обкрутить.

Большие дела тут можно делать: мясо само по себе, потом шерсть, кожи. А Федька хоть и знает киргизский разговор, да все одно сквернословие. Как волчился на них в станице из-за покосов, так до сих пор не может без лютости на киргиза смотреть.

Вот этот малый, что у Прохорова живет. Ничего, что молодой, с таким даже лучше. Василий Петрович говорит — из богатеющих он киргизов. Вроде, многие тысячи скота он сам и сродственники его имеют. Да уж всякого киргиза в чиновники не возьмут. И в школе он этой у Дынькова учился, так что непростой человек. У Генерала пограничного, говорят, в чести. Вот и надо бы подбиться к нему. По нашему делу оно очень-таки может к пользе послужить. Знакомство среди киргизов большую силу имеет.

Вот к Его высокоблагородию Дынькову ходит он, больного проведывает. Надо бы и нам к случаю зайти. По христианскому обычаю так следует, да и соседи мы столько лет. Там можно и с киргизенком общение иметь. Чтобы честь по чести...

V

Не один он думал об узунских кипчаках. Все менялось, становилось сложнее. Теперь с утра и до конца дня просиживал он в подвале, где пахло затхлостью — будто вперемешку с

деревом истлевало здесь живое тело. Бумаги не умирали, они оживали, вставали торчком. Варфоломей Егорович, заглядывая по временам, смотрел на него с удивленным вниманием.

Всякую папку архива он теперь развязывал и смотрел ее суть. Они были разные: про торговлю с Хивой, о холерной болезни в Мангышлаке, фискальные дела. И еще переписка по положению в губернии и на границах. Там жили и объяснялись люди, многие из которых еще недавно находились здесь, были даже знакомы ему. Всё это укладывалось ровными листами на полках. И язык был без музыки, шуршащий, всепроникающий.

«Рассмотрев во всей подробности внесенные ко мне Пограничной комиссией при донесении 13 апреля прошлого 1847 года за № 6205 проэкт устава для Киргизской Школы и смету потребным на первоначальное устройство ея расходам, я признаю проэкт устава во многих отношениях несообразным с *Высочайше* утвержденным 14 июня 1844 года положением о Киргизской Школе и целию ея учреждения, ибо цель эта, как сказано в § 2 положения о Школе, кроме распространения между киргизами знания русского языка и некоторой грамотности, состоит в приготовлении способных людей к занятию по пограничному управлению мест: письмоводителей при султанах-правителях и дистаночных начальниках, а также к исправлению и других должностей, в которыя исключительно назначаются киргизы, а в § 17-ом того же положения согласно с тою же целию, назначено преподавать в школе: русский язык, чистописание, арифметику и способ счисления на счетах, татарский язык, закон магометанский и составление деловых бумаг на русском языке. Между тем, в представленном Пограничною Комиссией проэкте устава о Школе предназначается, сверх этих предметов, преподавать еще: геометрию, топографию со съемкою и черчением планов и географию математическую, физическую и политическую, чтение коих в Киргизской Школе тем более излишне...»[1]

Писанный маслом портрет среди портретов прочих губернаторов висел в присутствии: серо-голубой взгляд, усы с подусниками, одинаковая с другими лента через плечо. Человек этот в его памяти не сохранился — только ровная вязь слов с покрытым закруглением осталась от него на бумаге, что лежала сейчас перед ним. Зато рядом, на свободном поле уходила вкось, разрушая чистописание, другая, размашистая запись: «Что здесь признано ненужным, тому обучаются мужичьи отроки в земледельческих школах и о том толкуется им в книжечках, издаваемых обществом для простонародного чтения. В положении XIX

[1] Здесь и далее подлинные документы.

века как-то странно встречаться с подобными предубеждениями противу просвещения. Легко сказать: русский язык! Составление деловых бумаг! Знание того и других свойственно ли необразованному? Не лучше ли бы сказать: научить грамоте русской? Спрашиваю: какую бумагу может составить писарь, век свой четко пишущий, без образования? Неужели семь лет только учить одной грамоте? Неужели и крестьянам не нужно и вредно знать, что такое север, юг и т. д., что есть другие реки кроме Урала и на них города кроме Оренбурга».

Как живой вдруг он возник: толстый, припадающий на ногу Генерал, тоже с лентой и подусниками. Однако что-то отличное от других было в его взгляде. Солдаты весело подтягивались, когда выходил он во двор комиссии. Будучи предшественником Василия Васильевича, не соглашался тот с самим губернатором.

Теперь он окончательно вспомнил этого человека с неровным почерком. Три года подряд сидел он у них на экзамене и отирал пот с багрового лица, терпеливо слушал, как путались они в русском склонении.

На заглавном листе дела значилось: «Переписка от Оренбургского Военного губернатора и Командира Отдельного Оренбургского корпуса, Его Высокопревосходительства генерала от инфантерии В. А. Обручева в Оренбургскую Пограничную Комиссию с собственноручными соображениями по поводу оной Председателя пограничной Комиссии, Его превосходительства генерал-майора М. В. Ладыженского, а также с последствием по сему делу». Два генерала — старший и младший — спорили между собой об узунских кипчаках.

Он продолжал читать приписку генерала Ладыженского на губернаторском письме. Это было о кипчаках... «Разве арифметика не математика? Напротив, все нужно, что может быть сообщено без излишнего затруднения и что может отвлечь от праздности, свойственной азиатцу вообще и киргизу в особенности. Образование только смягчает нравы, а не острог и шпицрутены...»

Опять это книжное суждение: «Номады проводят время в праздности и играх». Однако главное здесь было не в том. Русские слова начинали звучать в чистом своем значении. Чернильные брызги шли от пометок.

Нечто орлиное было во взгляде хромого русского генерала. В Петербурге, к министру писалось его собственноручное письмо: «Имея честь доложить об этом Вашему Превосходительству, я не могу отказать себе в побуждении представить просвещенному Вашему вниманию, в кратком очерке, как положения, не одобренные Его Высокопревосходительством Владимиром Афанась-

евичем, так и причины, на которых Комиссия основала полезность тех положений...»

Но поля оставались незамеченными. Посредине листа все тем же круглым почерком утверждалось оставление узунских кипчаков в прежнем их состоянии:

«Из предложения моего от 24-го минувшего Августа за № 1221 Пограничной Комиссии известно, что я входил в сношения с Господином Канцлером Иностранных Дел по предмету учреждаемой при Оренбургской Пограничной Комиссии Школы для киргизских детей, изъяснив при этом некоторые предположения как о самой Школе, так и об учиненных Комиссией расходах. В ответ на это Действительный Тайный Советник Граф Нессельроде ныне уведомил меня, что он совершенно соглашается с моим мнением, что некоторые предметы учения (географию, геометрию и т. п.) нет надобности включать в программу учения для киргизских детей... О таковом отзыве Господина Государственного Канцлера Иностранных Дел сообщая Пограничной Комиссии к надлежащему исполнению, я предлагаю ей поспешить доставлением мне проэкта о Киргизской Школе...»

Вечером, когда сидел он дома, неожиданно пришел Варфоломей Егорович Воскобойников.

— Тут, значит, ты и живешь... Та-ак!

Делопроизводитель, покачнувшись, сел на стул. Его друга — толмача Фазылова Генерал еще с утра посадил на гауптвахту, а Варфоломей Егорович куда-то пропал. Сейчас он был пьян и все прищуривал один глаз, грозя пальцем:

— Я тебя, Ибрашка, насквозь вижу. Какие там, в подвале, дела листаешь и прочее. Глаза у тебя наружу распахнуты, все на виду. С вопросом на русского человека смотришь? Изволь... Он ведь ой какой непростой, этот человек. Так, сверху, Иван-дурак, а таков тебе сотворит, что ахнешь. Душу выложит, живот за тебя положит, а там, глядишь, обругает ни за что, ни про что. Бывает и так: сверху бурбон, а в середине человек. Вот как генерал наш прежний Михаил Васильевич, чьи бумаги сегодня ты смотрел. Всего этого в нас — и от финнов, и от вашего брата — татарина. Одного, скажу я тебе, в настоящем русском человеке нет — это ненавистничества. Уж оно точно. Во всяком человека видит, хоть и обозвать может по-всякому...— Воскобойников махнул рукой.— На нас, мундирных, не смотри, мы — люди казенные, службой порченные. Ничего человеческого в нас, почитай, и не осталось. А душа и в нас все же русская, к пардону склонная... Так что ты не сомневайся за своих киргизов. Различай: чего от службы, а что от людей...

Делопроизводитель уснул на стуле. С Досмухамедом перенесли они его на кровать, прикрыли одеялом. Утром Варфоломей Егорович открыл глаза, мутно посмотрел:

— Чего это вы меня тут положили? Правильно, киргизам надлежит учиться почитать начальство. Даже такое, как я. Думаешь другому в школах будут учить? Тому же, что по всей России: «Рады стараться, вашество!» Нетронутые, непорочные вы еще: преполезнейших слуг отечеству можно из вас сотворить. За установленным порядком следить, остроги охранять. Кто лучше непорочного человека годится для такого дела.

И уже уходя, остановился в дверях:

— Нет, зауряд-хорунжий Алтынсарин. Ты душой прильни, тогда поймешь!

С начала его приезда говорилось об этих школах. Намечалось открыть их четыре: при укреплениях Оренбургском и Уральском, в форте Александровском и на Сырдарье. В третий раз переписывал он по поручению Генерала исходящую бумагу господину Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору от 9-го Октября 1859 года № 9602: «...Относительно условий приема киргизских детей Комиссия полагает, что должно принимать в оные желающих без различия происхождения и состояния родителей. Правительству следует, по мнению Комиссии, не поддерживать в Степи влияния, помимо его образовавшиеся и образующиеся, а создавать свои... Штат каждой школы Комиссия полагает ограничить на первый раз 25 воспитанниками и одним учителем, который вместе с тем будет и смотрителем школы».

В кабинете у Генерала сидели Николай Иванович, действительный статский советник Красовский, два советника правления и бий Нуралы Токашев от казахов.

В первый раз его позвали присутствовать. Он сидел чинно в углу и смотрел на говорящих. Помнились слова, сказанные вчера делопроизводителем Воскобойниковым. К чему-то следовало приглядеться.

— В прошлый раз, господа, мы слишком увлеклись антуражем будущего киргизского просвещения. У нас даже полы в школах предполагались деревянные. Я снесся с товарищем министра и получил соответствующие разъяснения, полностью меня удовлетворившие. Казна не может в такой степени печься о просвещении инородцев. Впрочем, как и о просвещении переселенческой части населения. Таковые заботы обязано принимать на себя общество, в данном случае сами киргизы.— Генерал Василий Васильевич посмотрел почему-то на него, положил руку на лежащую на столе бумагу.— Я, господа, не могу не согла-

ситься с теми глубокими и основательными доводами, которые приводятся в разъяснении Его высокопревосходительства. Надо ли сейчас ставить просвещение инородцев на фундаментальную основу? При нынешнем состоянии их не будет ли это подобно маниловским мечтаниям о том, что никому не принесет пользы. По зрелому размышлению и исходя из возможностей областного правления я предлагаю совсем иной облик школы, близкой к простоте и непритязательности всего уклада киргизской жизни. Это прежде всего разумно. Во-первых, само здание школы можно соорудить из дерна или битой глины, что знакомо киргизам и обойдется весьма дешево. В Оренбургском и Уральском укреплениях придется класть каменные печи, в то время как на Сырдарье и в форте Алексанровском достанет и азиатских каминов с выходом дыма наружу. Спать на полу киргизам не привыкать, но можно поставить и нары. Опять-таки несколько простых бухарских столиков для письма, к коим не надо стульев...

— Дурус! — громко сказал бий Нуралы Токашев, советник от Орды. Все вздрогнули, посмотрели на него. Тот, как всегда, сидел с выражением значительности на лице, поглаживая двумя руками оттопыренный на животе мундир. Ничего, кроме этого означающего согласие слова, советник никогда не говорил.

Николай Иванович только вздыхал, и добрые голубые глаза его смотрели беспомощно. Два месяца обговаривали они с Генералом устройство четырех школ с интернатом и европейским обиходом во всем. Николай Иванович все дни стремительно ходил, развевая бакенбарды, и даже Генерал Василий Васильевич, вставая из-за стола, гулял по кабинету. Но тут пришла эта бумага.

— Итак, господа, предлагается на первый раз ограничить штат каждой школы двадцатью пятью воспитанниками и одним учителем, который будет и смотрителем. К тому еще нанятый вольно киргиз для варения пищи...

Он знал уже эту особенность в службе: не всегда Василий Васильевич или другой генерал прямо скажет: «Я хочу!» или «Я думаю!» Следует говорить от неопределенного лица: «Предлагается» или «Есть такое мнение». И тогда прочие замолкают. Некую тайную силу имеет такой оборот речи.

— Больше ничего не нужно. Чем более будут школы наружностью походить на азиатские, тем лучше. Сообразно со штатом школьный дом должен заключать в себе учебную комнату и вместе с тем спальню — стоит лишь отодвинуть столы. Также угол для учителя и пристройку для варки пищи, где может

помещаться ночью работник-киргиз. В этих пределах нам позволят средства...

— Дурус! — сказал Нуралы-бий.

Все та же знакомая тень падала на лица, какую знал он по проводам немца-генерала. Офицеры-топографы тогда пили в память умершего царя, а дома звали его «погубителем России». Сами они как-то и не заметили этого перехода. Когда собирали этих людей вместе и были они в мундирах, то переставали они думать по-своему. Все никак не мог понять он этой тайной силы, вдруг изменяющей людей.

Генерал Василий Васильевич, который множество раз обосновывал необходимость кирпичных домов и европейского обихода для школ, теперь убежденно говорил противное. Николай Иванович вертел головой, пошаркивал ногами и тоже согласно подносил мысли для изменившегося мнения. В основе всего была бумага, лежащая на столе. От нее переменились сразу эти люди.

— Что относится к учебным пособиям, то тут во главу следует взять «Самоучитель русского языка для киргизов», что готовит Николай Иванович с зауряд-хорунжим Алтынсариным.— Генерал Василий Васильевич говорил обычным уверенным голосом.— Правда, не достигнуто общее мнение о буквенной форме...

Опять забегал Николай Иванович, заспорил горячо, по свойственной ему природе. Все эти месяцы убеждал он, что так как татары пользуются арабскими буквами, потому и казахам они ближе. Ведь и закон магометанский выражается арабской грамотой, и неразумно отрывать повседневное письмо от письма духовного. Генерал же Василий Васильевич вовсе не предполагал изучение в этих школах магометанского закона, а потому и стоял за линейный шрифт. На этот случай он не говорил, что «есть такое мнение», а только морщил губы:

— Помилуй, Николай Иванович, снова вы за свое. Какая же польза киргизам от сего сложного написания в будущем. Ведь примутся они когда-нибудь за универсальные науки. Где станут книги доставать? Чем поможет им знание шрифта первобытного, уходящего...

— Сим шрифтом до сих пор пользуется мировая математика! — возразил Николай Иванович.

— Дурус! — согласился Нуралы-бий.

Все опять посмотрели на него.

В споре о шрифтах он склонялся на сторону арабского написания букв. Непонятно почему, ибо сам он в жизни не писал этим шрифтом, кроме как когда-то на уроках домулло Усман-Ходжи.

Как-то принес он Фазылову исходящую в Орду бумагу, где, сам не зная почему, написал казахские слова русскими буквами. Тот выгнал его и так разволновался, что побежал жаловаться Генералу. Пришлось ту же бумагу переписывать по-татарски. В Орде, при султане-правителе, письмоводитель тоже был татарин. Канцелярия так и велась на татарском языке.

Но здесь дело было в другом. Должны были узунские кипчаки выделяться чем-то, им в особенности принадлежащим. Некое чувство противоречия ощущал он в себе, молча глядя то на Генерала, то на Николая Ивановича.

Советник правления от линейных войск капитан Андриевский решительно отодвинул от себя лежащую на столе папку с бумагами:

— Все ж не понимаю я, господа. В шрифтах ли дело. Россия, можно сказать, просыпается от векового сна. Просыпается вместе с вручившими ей свою судьбу другими народами. Государь непосредственно обращается к лучшим силам общества, ища поддержки в великих преобразованиях. Ужели отодвинется от этого общего порыва дело образованности инородцев? Разве они не та же Россия?!

Все снова посмотрели почему-то не на Нуралы Токашева, а на него, по-прежнему сидящего в углу. Только действительный статский советник Красовский сидел, не меняя вида. Бий Нуралы задвигался, не понимая, что произошло, но на всякий случай сказал негромко: «Дурус!»

— Речь должна идти, господа, о деле необходимом и неизбежном для киргизов. Ибо не может некая часть общества оставаться нетронутой общими веяниями.— Капитан Андриевский обвел всех недоумевающим взглядом.— Как же на огромную часть отечества, представляющую столь немалые богатства и сулящую еще большие в будущем, вовсе не отпускается средств для просвещения!

Действительный статский советник Красовский приподнял теперь от стола короткие ручки:

— Не так все просто в государственном управлении, как предполагает господин артиллерийский капитан. Предмет этот тонкий и требует зрелого подхода. Учиться сему следует у просвещенных наций, давно уж занимающихся колониальной деятельностью. Те же английские администраторы, к примеру, не вмешиваются во внутренние дела туземных народов, а лишь рассудливо подстраиваются к ним. Само собой разумеется, не опускаясь до общего с туземцами состояния...

Совершенно явственно вдруг представился ему этот человек,

быстро перебирающий в этих самых ручках ассигнации, прежде чем положить их в карман. Он не видел этого. Деньги от узунских кипчаков были переданы тогда статскому советнику через приехавшего с ним для ревизии по делу о краденых лошадях чиновника Пальчинского. Так делалось со всеми ревизорами в генеральских чинах. Деньги им передавали через подчиненных.

— В присутствии вот этого почтенного бия, избранника от народа, можно сказать,— маленькая ручка простерлась по направлению к Нуралы Токашеву,— я спрашиваю, господа, нужно ли вообще киргизам просвещение в нашем, европейском, чуждом для них понимании. Зачем мы будем принуждать их в образовании. Есть у них свои магометанские школы в удобном для них виде. Способнейшие от них ездят учиться в бухарские медресы и даже в Стамбул. Не будем же мешать им. Это прошлое правительство занималось принуждением подобного рода. Чего греха таить, находятся и в нынешнее время ретрограды, не дающие народам двигаться в естественном для них направлении.

В одно мгновение все сделалось ему понятным. Недоуменно оглянулся он на других. Генерал Василий Васильевич свел до побеления пальцы лежащей на столе руке. Николай Иванович морщился, будто от зубной боли. Капитан Андриевский, чуть склонив вперед крепкую голову, тяжело смотрел куда-то в подбородок действительному статскому советнику Красовскому. Он знал этот примеривающий взгляд, когда казаки рубят лозу на учении. Нет, природное русское чувство не принимало такого хитроумия.

— Дурус! — сказал бий Нуралы Токашев. Вот разве что этот одобрит оставление сородичей в пределах окоёма. А у него пропали сомнения. Конечно же, русским шрифтом надо писать самоучитель для узунских кипчаков. От того же окоёма оставалось в нем желание обособиться. И оно приходилось к пользе действительному статскому советнику Красовскому.

Не так легко было вырваться из окоёма. Он удерживал даже буквенной вязью, которую вот уже тысячу лет так и не смогли освоить кипчаки. Сам домулло Рахматулла читал ее на память с голоса. Было, правда, нечто еще. Благородный кожа Динахмед с достоинством поднимал руки к небу. Но это не противоречило новым шрифтам и даже господину Дынькову. Одинаковое говорили они оба. Бог не нуждается в вечном юлении перед ним.

Действительный статский советник Красовский развивал свое положение:

— Оставленные в природном своем кругу инородцы будут

благодарны за это престолу, и лучших из них можно будет использовать в службе. Первобытная чистота и отсутствие разрушительных европейских влияний позволит в широком правительственном смысле извлечь из того наивысшую пользу... На беду нашу, господа, у русского простолюдина нет этой британской разборчивости. Ему все едино. Надо ли еще и шрифтами сближать его с инородной массой. Здесь вижу источник будущих потрясений империи и с этим зову на борьбу. Сколь же опасны становятся подобные мысли о культурном единстве, исходящие от образованных классов. Вот в вашем, Василий Васильевич, ведомстве, например, надворный советник господин Дыньков развел в киргизской школе непонятное обновленчество во всем. Туземные дети желают совершать обряды и жить по-своему. Он же их даже мыться на европейский лад принуждает. Прямо франты какие-то, с длинными волосами ходят у него киргизы. Нет, все должно тут быть оставлено натурально. Смею вас заверить, что назначенные на то люди с вниманием следят за увлечениями такого рода, особенно в кругах административных и военных. Тем более, господа, надлежит быть непреклонным по этому поводу в связи с предстоящим решением государя по крестьянскому вопросу.

— Дурус! — подвел итог разговору бий Нуралы.

Никто не отвечал на речь советника Красовского. Снова как бы некая плита надвинулась на все. Когда закрылось заседание, Генерал Василий Васильевич сказал устало:

— Останьтесь, зауряд-хорунжий!

Он снова сел на свой стул в углу. Генерал, будто забав о нем, глядел куда-то в корешки книг в стеклянном шкафу.

— Ты говорил, у тебя есть среди друзей один акын,— заговорил, наконец, Генерал. Получалось у него чисто, но с татарской мягкостью. Так говорили по-казахски все русские, которые знали прежде татарский язык. Лишь господин Дыньков объяснялся, как природный казах.

— Его зовут Марабай, Василий Васильевич!

Генерал заговорил по-русски:

— Надо бы позвать сюда, в Оренбург, этого человека. Я слышал о необыкновенных его способностях.

Генерал словно бы еще что-то хотел сказать. О Марабае было все оговорено с Николаем Ивановичем, так что зачем бы повторять это с младшим толмачом. Ничего больше и не было сказано. Просто Генерал Василий Васильевич, как давно когда-то в Новый год, встал с места и положил вдруг руку ему на плечо:

— Идите, Алтынсарин!

VI

Неужто до конца все уразумел юный киргиз из того, что говорилось? Прежде всего со стороны Евграфа Степановича. Надо особенное направление души иметь, чтобы выражаться так прямо о... скажем, о вещах сомнительных. Впрочем, дело государственное, так что Евграф Степанович, можно сказать, герой, спаситель, жертвующий честью на потребу отечеству. Что честь отечества слагается из чести каждого его члена, тому лишь классическое воспитание учит. Мы же не римляне. А этот неосторожный капитан получается прямым противником России. Да и все мы к нему за компанию...

Глаза у зауряд-хорунжего неспокойны сделались, как заговорил прямо при нем Евграф Степанович о киргизском вопросе. Надо было все-таки спросить у него, к какому направлению склоняется — в шрифтах, да и прочем. Не спрашивать же в самом деле этого чурбана Токашева. Тому все «дурус», было бы брюхо ублажено. Как изучишь киргизскую душу по таким вот экспонатам? Тем не менее многие по ним учат.

Господи, кажется, числюсь первым знатоком киргиз-кайсаков во всей Европе. Язык, обиход знаю, все прочее, а понимаю ли душу? Вот Евграфу Степановичу оно и ни к чему, почему же мне так нужно? Благо тому, кто смолоду избавился от сей вредоносной склонности к чувствованию. Пользы все одно никакой. Да только и науки подлинной без этого быть не может. Впрочем, как и политики настоящей.

Славный этот юноша — внук Джанбурчина. Может статься, и образец для положительного каргизского характера. Природная скромность и пылкое до слез восприятие. Сколь несчастный вид был у него, когда Евграф Степанович высказывал свое кредо. И вопрос в глазах, к нам направленный. Как притрется он к службе? И что ждет его среди своих? Острое положение!..

Бий Балгожа, его дед, смог сохранить в неприкосновенности свой узунский род. Когда прочие кинулись к Кенесары, подполковник Джанбурчин угадал общее направление политики и твердо противостоял разбойнику. Подданство здесь покоится на вековом уме, а не на слепом желании выслужиться. Тем и надо привлекать киргизов, чтобы рассчитывали, где им в истории больше пользы предстоит приобрести. Ужели бояться при этом умеренного просвещения? Куда как крепче станут через него они привязаны к России, чем посредством тамбовского макиавеллизма...

Однако Евграф Степанович прямо сказал о политическом наблюдении. В третий раз уж произносится это. Не мешало б ему знать, что мой чин по Министерству внутренних дел старше его

временем и освобождает от подозрений. Неужто ему место мое приглянулось? Но для того, чтобы занять его, следует хотя бы уметь отличать палеолит от кухмистерской Додона.

Впрочем, в России все возможно. Вон как ловко объяснил он будущую восточную политику. Для исполнения того и вправду любой столоначальник подойдет. Ученость тут лишь станет вредить. Они так и смотрят в столицах на это с позиций покойного государя. «Генерал от Московского университета» — оттуда ведь моя кличка. Несмотря на то, что показал достаточную твердость руки. Корреспондентское членство в академии отнюдь не противоречит административной решительности.

Что же бы тогда значила настойчивость Евграфа Степановича? Имеется слух, что под вицмундиром есть у него еще и лазоревый[1]. Не отсюда ли ветер дует? Вроде бы вольно теперь стало и чуть не якобинцы все сделались. Вон как тот же Евграф Степанович ручками сучит, говоря о прежнем правительстве и нашем ретроградстве. Чуть Петропавловскую крепость не зовет за собою брать. Да не для меня сия воробьиная приманка. Хватило одесского примера...

Разве что с того времени потянулась нить. У них, как известно, свой архив. Но больно уж легковесною была одесская история, чтобы влиять теперь на послужной список. Да и пятнадцать лет службы по Министерству внутренних дел не состоялись бы, если б придавалось ей какое-то значение. Это тогда казалось, что помост подламывается, и виснет он в петле, судорожно упираясь в воздух ногами...

Навечно осталась с ним эта ночь, когда ртутным блеском среди черных скал отсвечивало море. Гетеристская[2] лодка качалась вместе с перекинутой на берег доской, и ноги скользили по мокрому дереву. Перед тем он с Соловьевым, тоже ментором Ришельевского лицея, и с уланским поручиком Кандыбой накупили пороху и тайно грузили его, теперь для стамбулских греков. Никак не понятно было, почему христианский государь запрещает помощь славным инсургентам, освободившим уж большую часть страдалицы Эллады. Однако говорили среди таможенных офицеров, что русские власти прозрачно смотрят на такую помощь от общества — не вышло бы только дипломатического скандала. А уж одесские греки со своими лодками и вовсе не считались с пограничной стражей.

Скрежет железа о камень прервал полоскание воды между

---

[1] Голубые мундиры носили офицеры корпуса жандармов.

[2] Этеристы (гетеристы) — борцы за свободу Греции против турецкого гнета.

камнями. Грубые руки взяли сзади за плечи, и фонарь загорелся из-под шинели. Так и не развязывали им рук четыре дня.

— Порох под престол изволите приготавливать!

Подполковник Первой экспедиции[1] Городецкий, стянутый в талии, сидел один на один с ним в комнате без окон. Они и в ту пору играли наружностью в гвардию. Даже одинаковые с ней лосиные перчатки носили. Медленно, палец за пальцем, освобождалась от них рука.

— Мы для греков это делали, господин подполковник. Все преподаватели лицея...

— А грекам порох против кого же?

Подполковник, как и все в этом южном, благоухающем рыбой и акациями городе говорил мягко: «грьеки».

— Так греки, они ж православные. На султана войну готовят.

— Та-ак... А султан кто ж по-вашему?

— Гонитель он, враг свободы, славянской и эллинской...

Два медленных шага сделал к нему подполковник Городецкий.

— Су-укин ты сын!..— заговорил он, как бы забивая в голову слова.— Султан — это Его Величество, августейший брат нашего государя, олицетворяющий необходимый порядок в магометанской части мира. Свободу же православные народы могут получить только из рук другого государя, придя под его высокое покровительство. Но не путем подкладывания пороховых снарядов под троны!

Освобожденная от перчатки рука вдруг пропала из поля зрения. Удар он услышал, а не почувствовал, и с недоумением тронул мокрую губу. Никто никогда не бил его. И невозможно это было.

— Возможно! — отвечал ему подполковник, аккуратно отирая руку.— Это там, в лицеях да в журналах, действуют ваши правила жизни. А я вот захочу — утоплю тебя сегодня же в той самой бухте, как кутенка!..

В то же мгновение он понял, что так это. Всё призрачное, ненастоящее: яростный Белинский, философические споры, тирады Грановского. Реальная жизнь есть вот эта рука в перчатке. И чести дворянской нет, и свободы никакой для эллинов и славян. Все связанное с совестью, душой, любовью к ближнему, рушится и обращается в пар. Стоит лишь сделать движение пальцем где-то в тайности мощного организма. Всем холодеющим существом почувствовал он свою беззащитность.

---

[1] Первая экспедиция Третьего отделения вела наблюдение за революционными и общественными организациями.

— Что же будет? — прошептал он.

— В прошлый раз перебегавших границу жидов государь самолично повелел прогнать через двенадцать тысяч палок. И по две тысячи пархатые не дотянули, кончились!

Подполковник смеялся натурально, без примеси злобы, и от этого обрывалось сердце. Да, они все могут. Таинственная сила дана им. Может быть, это и есть подлинная свобода, а Белинский с Грановским, все они в лицеях и университетах, учат лишь закрепощению, сдерживанию чистой натуры.

— Пойдем,— снисходительность была в голосе подполковника.— Вижу, ты почувствовал настоящий смысл вещей!

Влекомый магнетизмом, исходящим от спины с виднеющимся аксельбантом, шел он по сырому нескончаемому подвалу. Думалось лишь о том, откуда же длинный такой подвал. Желтый, ракушечный камень скрадывал шаги.

— Вот, смотри... Подпишешь бумагу, что они утонули при твоих глазах!

Даже сомнения в его послушании не слышалось в голосе подполковника. Четыре тела с синими лицами лежали в ряд на полу. В одном он узнал старшего с греческой лодки...

Что ж, теперь он сам уже генерал. Всё — университет, наука и даже Грановский остались при нем. Но холод катакомбы проник в него навсегда. Сейчас уж не поверит он прекраснодушным речам. Задача его — честно служить науке, как может он на своем месте. Большего не дано. И коль встретится ему жертвенное прекраснодушие, то будет прямо его выкорчевывать, как пагубное для общества. Каковы плоды человеку от так называемых идей, коль не соответствуют они реальности жизни. Мертвеет все внутри от такого столкновения.

Тогда его отпустили, может быть, потому, что у товарища его Кандыбы был дядя градоначальник. Но рана сохранилась в нем, и следует обезопасить от того другие поколения. Сей идеализм по отношению к реальной жизни — самая жестокая язва России. На волке лишь в сказках можно ездить. Не дай бог, еще бы удалась авантюра на Сенатской площади. Не большую ли еще власть получил бы тогда подполковник Городецкий?..

Однако же что надо иметь в душе, чтобы изъясняться вот так, как Евграф Степанович? Державный интерес блюдет, да только дом в три этажа не построишь на российское жалованье.

Впрочем, это уже не имеет прямого касательства к изучению киргизской души. Жизнь идет своими путями. Может быть, и пригодятся когда-нибудь его труды здесь, в аванпосте цивилизации...

VII

С ясной, как никогда, головой проснулся он в это утро и лежал недвижно, с открытыми глазами. Впервые в жизни ощущал он спокойную уверенность. Все окончательно определилось, встало на свои места.

Произошло это ночью, во время сна. Школьные задачи когда-то решались так — что не получалось весь день, приходило ночью, подсказанное какой-то таинственной силой. Сами собой являлись ответы на вопросы и ложились туда, где было им место.

Словно некая пелена спала с глаз. Что до сих пор виделось в тумане, обрело прямые, четкие очертания. Круг узунских кипчаков, откуда никогда он не уходил, стоял в середине вселенной. Они неслись всё по этому кругу, не находя выхода. Но вечность не могла более продолжаться. Многорукий бронзовый идол стоял за спиной, ожидая своего часа. Обязательный выбор предстоял им.

Этот мир, куда из них ему первому представилось войти, был безграничен. Тут били, мучили, плакали, смеялись, ненавидели, любили, но приход его принимали как само собой разумеющееся дело. Здесь и в мыслях не имели ставить его в чем-то иначе, чем себя. Чины и уровни начинались только внутри этого мира, однако было нечто большее...

Некая единая цель по отношению к нему намечалась у Николая Ивановича, у Генерала, у господина Дынькова, у других, составлявших служебный круг Пограничной комиссии, ставшей правлением городской круг и еще более широкий круг, охватывающий совсем уж незримые дали с вырисовывающимися шпилями и площадями. Цель эту провозглашали открыто, и она повторялась в словах, бумагах архива, военных командах на плацу. Первая услышанная им здесь речь была про то,что предстоит сделать из них верных престолу людей. Но когда Николай Иванович приступал к кипчакской грамматике, глаза его сияли, и было это уже в нарушение поставленной цели. А в доме Екатерина Степановна мягко поправляла его выговор и другая женщина читала, растягивая слова:

У лукомо-орья дуб зеле-еный...

Совсем уже шло это не от службы.

И Генерал вдруг забывался, когда разговаривал он с ним о песне про кипчака Кобланды. Казалось, ни к чему это Генералу, как и учителю Алатырцеву незачем было звать его к себе. А уж господин Дыньков и вовсе не различал своего от служебного. Все у него было свое, и бульоном отхаживал тот его так

же просто, как ел или спал. Скорей даже хитрым прикрытием была для господина Дынькова служба, когда докладывал начальству, как надлежит к пользе дела поступать с «киргизцами». А был еще солдат Дёмин...

Часто эти люди выделяли себя. Тот же господин Дыньков чуть ни при каждом шаге говорил: «Против русской силы кто найдется!» или «Матушка-Русь всему голова!» Но это никак не отделяло других. Когда господин Дыньков говорил так, они относили это к себе. Еще у учителя Алатырцева Мирсалих-ага изъяснялся «Мы, русские...»

Главное же то было, что внутри себя нисколько не таилось в них спеси. Вперемежку с восхвалением русской силы господин Дыньков махал рукой при очевидной нерадивости: «Чистый Иван-дурак!» У учителя Алатырцева говорили о холопстве и воровстве. Была еще книга в темно-зеленом переплете, где все больные характеры проступали в высоком очистительном свете. Здесь находилась тайна душевного соприкосновения с ними. Пока было так, узунским кипчакам не приходилось опасаться своего вступления в этот мир.

Бронзовый Идол определял другой путь. У него не было малейшего отклонения. Жизнь заключалась уже не в круге, а в единой точке посредине него. Оставалось лежать лицом вниз, представляя пыль без звука и движения. Все слова сходились в одно слово, беспрестанно повторяемое. Он помнил песню Марабая. Все, что не сливалось в однотонный, бессмысленный сплав, подлежало уничтожению.

Тень идола падала далеко, закрывая встающее солнце. В самих кипчаках, в соседях их и в соседях их соседей оставалось это от прошлых нашествий. Только слово согласия допускалось в отношении бия Балгожи. Полагалось громко провозглашать его мудрость, и это неукоснительно делали и дядя Хасен, и дядя Кулубай, и все прочие находящиеся в круге. Одни лишь кривые, изломанные линии могли здесь поместиться. Тот же бронзовый отсвет виделся на кокандских, бухарских, хивинских караванах, приходящих из-за дальних окоёмов в этот мир.

Нет, лишь один выбор был у кипчаков, и дядька Жетыбай сделал его, никого не спрашиваясь. Кипчаки и сам мудрый бий Балгожа молча соглашались с ним. Пути назад не было, и Человек с саблей уходил в глубоком, трагическом раздумье...

Встал он легко, умылся, оделся. Перед едой, памятуя правила, коснулся ладонями лица: «Бисмилля...» Закончив есть,

сделал то же: «Олло хаки бар»[1]. Досмухамед никогда ничего не говорил — лишь поворачивал к нему круглое безбровое лицо. Это означало, что всё он делает по закону. Когда утром родич его молился, то не смотрел на него, мирно спящего. Полагалось не видеть чужого небрежения, ибо уже само по себе это считалось грехом.

Надевая парик, он лишь на миг задержался перед зеркалом. Обычно он подолгу сидел на табурете, разглядывая следы болезни на голове. И парик примеривал долго — всё казалось, что вылезает из-под искусно пригнанных волос белая, не тронутая солнцем полоска. Сейчас он сделал всё быстро, не думая ни о чем.

Придя в правление, он спросил у Фазылова, нет ли для него на сегодня какой работы. Тот сонно посмотрел на него и ничего не ответил.

— Как же, господин зауряд-хорунжий. Его Превосходительство только самолично...— Варфоломей Егорович привстал с притворным подобострастием.— Как мы осмелимся утруждать вас!

И вдруг замолчал, с интересом глядя на него. Фазылов тоже поднял голову. Что ж заметили они в нем?

— Все ж не звали меня? — переспросил он, нисколько не тронутый на этот раз шутками делопроизводителя.

— Нет, все тихо, Алтынсарин,— совсем другим голосом сказал Варфоломей Егорович.— Что-то ты сегодня переменился. Али место в губернии получил?

— Еще нет,— безразлично ответил он.

— Ну вот,— удовлетворенно хмыкнул Варфоломей Егорович.— А то ходишь, как сайгак настороже. Ничем тебя не проймешь!

С переписанным набело проектом «Самоучителя русского языка для киргизов» пришел он к Генералу, принес бумагу:

— Кланялся вам Николай Иванович, просил принять на рассмотрение!

Генерал пробежал глазами лист, усмехнулся:

— Все же на магометанском шрифте настаиваете для киргизов?

— Таково мнение составителя, Василий Васильевич,— ответил он.

Генерал со вниманием посмотрел на него. Наверно, потому что в первый раз назвал он Генерала без чина: «Василий Васильевич». Само это у него сегодня получилось.

---

[1] Хвала богу.

— Каково же ваше собственное мнение, господин Алтынсарин?

— Считаю полезным для киргизов общепринятый в империи шрифт, Ваше Превосходительство.

Генерал опять поднял глаза, спросил по-казахски:

— Почему так думаешь, Ибрай?

— Ай, совсем нехорошо Короткорукий говорит!

И отвечая, он показал, как держит обычно свои ручки действительный статский советник Красовский.

— Это у него от белезни,— заметил Генерал.

— Нет, плохой человек. Бог метит! — сказал он твердо.

Никакого стеснения больше не чувствовал он здесь. Идя по коридору правления, видел он те же выставленные сюда от тесноты шкафы, тот же крашенный синькой потолок, скрипели под ногой знакомые доски пола. Но это имело уже прямую принадлежность к нему. Плохое и хорошее, оно не смотрелось со стороны, из какого-то круга, так как сделался он уже полной частью этого мира.

— Слушайте, господа, что возвещает России очистительный «Колокол»...

С прошлых лет знал он, что внизу шкафа с книгами в доме учителя Алатырцева был некий строго запираемый на ключ ящик. Там лежали бумаги и журнальные книжки с муаровым титулом, где обозначалось это слово — колокол. Когда в первый раз ненароком увидел он внутренность ящика, учитель Алатырцев принял значительный вид. Понятно стало, что не следует об этом кому-то рассказывать. Теперь же ящик был открыт, а книжки лежали на столе.

— «Ты победил, Галилеянин!» Сие признание величия намерений нового государя со стороны человека, олицетворяющего русскую совесть, победным звоном отдается во всех углах нашего пробуждающегося к новой жизни отечества!

Говорил Мятлин, недавно приехавший из Казани преподаватель Неплюевского училища, и белые руки его мягко двигались над столом. Многие люди за эти годы переменились в доме учителя Алатырцева, но разговоры были те же. Теперь все уже открыто говорили об ожидаемом рескрипте государя по делу крестьян. Даже сосед учителя Алатырцева коллежский советник Куров участвовал в разговоре.

— Каков еще будет этот рескрипт? — сказал учитель Алатырцев.— Все ли ждут его с таким самозабвением?

— На это отвечу вам воистину колокольными словами с берегов Темзы: «Что они могут противопоставить, когда против

них Власть и Свобода, образованное меньшинство и весь народ?»

Вдруг засмеялся топограф Дальцев:

— Помните, егерский ротмистр рассказывал: «Мы и сами добре знаем, що такого указа нема, колы ж нам хочется, щоб вин був!»

Да, совсем по-иному видел теперь он их всех. Раньше одно целое представлялось ему, на которое он смотрел как бы в приоткрытое окно. Сейчас он сам находился среди них, и каждый здесь был на свое лицо. Учитель Алатырцев, сдержанный как обычно, слушал внимательно, и непонятно было, одобряет ли он до конца сказанное. Капитан казачьей артиллерии Андриевский стал угрюмым, в волосах виделась седина, жесткая, ломаная складка появилась у губ. Молодой, с пухлыми щеками Мятлин говорил с певучей убежденностью, слова его мягко укладывались в душу. Особо от всех для него находился топограф Дальцев, всякое движение и улыбка которого окрашивались неким светом. Из всех лишь один Иван Анемподистович Куров в эти годы повысился в чине. Волосы вкруг лысой головы его были аккуратно припомажены. Каждый по-своему вели себя прочие люди, знакомые и незнакомые. Ему следовало определить здесь свое место.

Едва он вошел, учитель Алатырцев заметил новое его состояние.

— Садитесь к нам, Алтынсарин!

Тимофей, открывший буфет, чтобы достать специальную для него булку, недоуменно опустил руку. Он же сел к общему столу, а не на обычное место у шкафа. Никто и не обратил на это внимания.

— Всё так, господа, но кому поручается проведение в жизнь этих святых предначертаний.— Молчавший до сих пор капитан Андриевский говорил с отчужденным лицом.— Неужто вовсе не знакомы вам прописи нашей бюрократии, претензия ее быть первым классом общества. Меж тем именно она намечена служить судьей между крестьянином и землевладельцем. Как бы первый не остался без воли, а второй без земли. Слыхали, что делают уже во внутренних губерниях наши мундирные демулены[1]. Целые деревни переписывают на фабрики, а чистая земля остается владельцу. За что имеют свою половину от владельца, а другую от держателя фабрики. Не то ли предстоит для всей России?

---

[1] Демулен — один из вождей французской буржуазной революции 1789 года.

— Приглашенные в Петербург депутаты от просвещенного дворянства ясно высказали свое желание участвовать во всех стадиях дела.— Мятлин убеждающе повернул руку ладонью вперед.— Все должно происходить гласно и выборно. Кроме того, ставится вопрос об одновременном введении суда присяжных и свободе для печати по всем пунктам предстоящей реформы. Заявлено прямо, что «крестьянское дело не может решиться спокойно и правомерно иначе, как на изложенных основаниях». Замечу, господа, что слово «спокойно» было подчеркнуто при этом в адресе государю!

— После чего и последовал высочайший циркуляр с воспрещением в любых собраниях касаться крестьянского вопроса! — заметил учитель Алатырцев.

— Но господа тверские дворяне не приняли к сведению сей циркуляр как высочайший, а лишь подписанный господином Ланским[1],— не отступал Мятлин.— Господин Европеус от их лица прямо отвел главенствующую роль при этом деле бюрократии, как все угнетающей силы, преследующей лишь свои частные выгоды. Они, как мы знаем, прямо противоположны интересам общества и воле государя!

— Европеус, Унковский[2] — только и слышно на углах! — отмахнулся Андриевский.

Мятлин, не опускающий своих рук, напал на него.

— Вы, казачество, Иван Матвеевич, не понимаете в должной мере интересы коренной России.

— Мы, казачество, и впрямь что-то не так понимаем. Двести лет не сидели в рабах да своими трудами жили! — отрезал Андриевский.

От Мятлина пахло душисто, и он вдруг подумал, что так же пахло хорошим мылом от скупающего души чиновника из книги. Учитель Алатырцев молчал большей частью. Иван Анемподистович Куров, поправив рукава полудомашнего архалука, в котором перешел коридор к соседу, заговорил солидно, негромко, с внутренне принятым спокойствием. Так говорил нынешний губернатор, и за ним все другие чиновники. Наверно, и в Петербурге кто-то так говорил. При прежнем губернаторе все выражались по-иному — громко и резко.

— Уверен, господа, мы сойдемся в том, что главное в сем нелегком вопросе — польза отечества. Не столь уж беспомощна и неблаговидна наша правительственная машина...

— Хабарники все! — бросил Андриевский.

---

[1] Ланской С. С. — министр внутренних дел (1855—61 гг.), член Секретного Комитета по крестьянскому делу.

[2] Известные общественные деятели.

— Позвольте, Иван Матвеевич, заметить вам, что я тоже принадлежу к упомянутому сословию, однако...

— Эх, да знаем, что вы не берете, господин Куров, да толку что. Коль одна половина берет, а другая не берет, то достаточно ли этого. Впрочем, ответьте прямо, коль позовет вас к себе Евграф Степанович Красовский да скажет, что племянника следует в присутствие к вам пристроить или там кого в орденский список внести, то как вы в этом случае поступите?

— Ну, тут другое.

— Как же, по методе Ляпкина-Тяпкина, борзыми щенками...

Книжки в мягких переплетах с муаровым титулом лежали прямо перед ним. Он взял по привычке, начал смотреть. И забылся совсем... «Мы рабы, потому что мы господа... Или вовсе не будет России, и след ее, отмеченный ненужной кровью и дикими победами, исчезнет мало-помалу, как след татар, как второй неудачный слой северного населения после финнов. Государство, не умеющее отделаться от такого черного греха, так глубоко взошедшего во внутреннее строение его,— не имеет права ни на образование, ни на развитие, ни на участие в деле истории... Неужели грозные уроки былого всегда будут немы?..[1]»

Он поднял голову, вслушиваясь в разгоревшийся спор. Что бы ни говорилось здесь, имело прямую связь с узунскими кипчаками.

— Пути России, господа, возвышенны и необыкновенны,— провозглашал Мятлин, и руки его были сейчас подняты высоко вверх.— Восстановить доброе, светлое, что потоптано было нахлынувшей от Петра Европой. Оттуда надо строить проспект в будущее!

— Это от добрых князей, что глаза друг другу кололи? — спросил Андриевский.

— То прошлое, удельный период.

— Можно ближе по времени: ноздри рвать.

— Про великое славянское братство я говорю. Исторически предопределено России...

Это был нескончаемый спор. Он опять взялся листать... «Чтобы знать зло и средства его искоренить,— теперь не нужно ходить как Гарун-аль-Рашид, под окнами своих подданных. Для этого стоит снять позорную цепь цензуры, пятнающую слово прежде, нежели оно сказано. Пора расстаться с несчастной мыслью, что призвание России — служить опорой всякому насилью, всякому тиранству... Нет свободы для нас, пока проклятие крепостного состояния тяготит над нами, пока у нас будет

---

[1] Герцен А. И. Материалы «Полярной звезды» и «Колокола».

существовать гнусное, позорное, ничем не оправданное рабство крестьян[1]». И вдруг сердце остановилось в предчувствии. Он сидел выпрямившись, вовсе прекратив дыхание. И знал — этого не могло здесь не быть... «Со времен ветхозаветных войн или монгольских набегов ничего не было гнуснее в свирепости, как набег полковника Кузьмина и майора Дерышева, которым заправлял, сидя в своей канцелярии, бывший помощник Липранди-Григорьев...[2]»

Шли тогда через город переселяемые аулы. Батыр Исет Кутебаров ушел в Хиву, а вызванный с Кавказа полковник Кузьминский подряд жег аулы по его следу. Аксакалы в показаниях звали его Кузьмин. У всех русских сокращалось подобное окончание фамилии, так как по-казахски оно означает нехорошее слово. В следственные листы писалось — Кузьмин. Но откуда известно это стало в городе на Темзе?

Вдохнув воздух всей грудью, он поднял глаза. Учитель Алатырцев через стол смотрел в открытый им лист. Они встретились взглядами, и вдруг он понял, кто писал о казахах туда, где печатались эти книжки.

— Что ж будет, если сразу в один год перестроена станет вся экономическая система? — говорил Куров, значительно двигая бровями.— Потому и медлит правительство, чтоб не ввергнуть общество в губительный хаос. Горячность ума при подобных свершениях не к месту. Относящиеся серьезно к делу печатные органы сами указывают на опасность. Статистики подсчитали, что лишь в срединной России останутся без способа прокормить себя тысячи и тысячи крестьянских семейств. Пока еще воспрянет промышленность, приступят работать фабрики...

— Ну да, земли в России мало! — возражал Андриевский.

— Представьте себе, не так уж и много. Взять Орловскую или Курскую губернии, то с начала века еще рачительные помещики переселяли своих людей на дешевые заволжские земли. И у нас тут, как видите, все вырастает переселенческий элемент. Не обходится и без эксцессов. Что ж будет, когда двинется сюда плотная толпа малоимущих людей, не имеющих и одной овцы на обзаведение. Как примут еще их казаки и прежние русские поселенцы. Наконец, инородцы, те же киргизы...

— Что ж, киргизы примут их!

Он негромко сказал это. Все замолчали, глядя на него с недоумением. Они даже сразу не поняли, отчего говорит он с такой уверенностью.

---

[1] Герцен А. И. Материалы «Полярной звезды» и «Колокола».
[2] Там же.

— Так вы думаете, э-э... господин Алтынсарин, что киргизы... ваши киргизы с охотой примут переселенцев? — спросил Куров.

— Да, и есть тому пример. Следует только не проводить это административным способом, но пустить в естественное развитие.

— То есть как это?

— А так, по-видимому, хочет сказать молодой человек, что киргизы не доверяют канцелярской справедливости,— бросил Андриевский.

— Все ж, как вы себе это представляете? Притом говорите, есть и пример.— Куров развел руками.— В таком деле до сих пор имело успех лишь административное воздействие. Даже военные меры, как мы знаем, применялись в отдельных случаях.

Все теперь с интересом смотрели на него. Нимало не поколебавшись, взялся он объяснять:

— Коль естественно, сами по себе придут такие люди к киргизам, то земля им найдется. И в удобном для всех месте, где смогут обеспечивать киргизов хлебом. Киргизы в этом случае сами позовут их селиться в соседстве с зимовьем или с местами летнего своего пребывания. Вражда появлялась там, где власти без надлежащего рассуждения отводили землю. Старинные кочевые пути никак нельзя для того приспосабливать. Тут дело даже не в количестве земли, а в том, что табун ни за что не пойдет близко от того места, воду не станет пить там, где вспахана земля. Что же делать тогда киргизу?

Он не удивился собственной свободе речи. Круг для него был прорван без остатка. Оставалось позаботиться об узунских кипчаках.

— Так оно и есть,— подтвердил Андриевский.— Сайгак или кулан не придет на то место, где хоть раз поили домашний скот. Лошадь кайсацкая того ж нрава.

Куров недоверчиво качал головой:

— Сомневаюсь, господа, чтобы обошлось это натуральным образом, без административного вмешательства. Не знаю, где уж отыскан пример.

Как было лучше объяснить им это. Он обратился за помощью к учителю Алатырцеву:

— Помните, Арсений Михайлович, солдат служил тут при Комиссии, приходил в школу?

— Да, дрова рубил, помогал, домовитый такой,— подтвердил тот.

— Так и я его помню.— Демин это,— сказал Андриевский.— Прошлым летом по болезни списан в чистую.

— Сейчас солдат этот живет на Тоболе у родственника моего — войскового старшины Джанбурчина. И киргизы некоторые стали с ним вместе огородничать. Дядька мой Жетыбай, например, что жил тут при мне.

Все молчали, не зная, что на это сказать. Капитан Андриевский постучал по столу пальцами:

— Так-то вот, Иван Анемподистович. Оно, может, и способней — без административного участия, так сказать.

Уходил он последним. Учитель Алатырцев протянул ему руку.

В доме по левую сторону опять происходил шум. Знакомый офицерский голос кричал скверные слова, плакала женщина. Но дело было не в том...

Это был живой, движущийся мир. Сколько бы железных кругов ни наворачивали на него, природные свойства бурно прорастали сквозь ржавеющее железо. Он оглянулся на дом учителя Алатырцева. Скрытая жизнь таилась там. И словно горящие угли, лежали в нижнем ящике шкафа книжки с муаровым титулом. Даже звон оставался в ушах от их названия.

VIII

Как, однако, с чувством пожал его руку Алтынсарин. Впрочем, у всех них возраст мужания. Только блистающий своей султанской ослепительностью Бахтияров всю талантливость вложил в танцы. Этот же сильнее умом и чувствами. Явно читалось во взгляде, что узнал мое авторство о григорьевском походе на киргизов. В скромности его сомневаться не приходится. Но понимает ли, что сия литература к чтению не рекомендуется? Сейчас вроде и вольней сделалось, но все же...

Каков взгляд все же высказал он на русскую колонизацию. В виде натуральности отношений. Тут прямой видится социализм. Как же это, в благоустроенном государстве, и вдруг людям обходиться самим, без участия начальства. Да будь внутри самой России эта натуральность отношений, что б тогда оставалось делать администрации. На то ведь и поставлена она, чтобы быть на пути всякой натуральности. Кто ж тогда взятку понесет Евграфу Степановичу, если люди, не спрашиваясь, так прямо и будут входить во взаимные отношения. Нет, тут надобно в тупик поставить людей, чтобы самому выступить необходимой стороной. А для того и думать незачем, где поселенцам землю отвести. Как раз к месту на киргизских жизненных дорогах.

Все больше к Николаю Ивановичу Ильминскому склоняется молодой Алтынсарин — за два месяца в первый раз сюда пришел. Тот, слышно, рядом с миссионерством киргизским образованием занялся. Что ж, Ильминский — человек искренний, если б не его столь пламенная вера в христианские начала. Он и Ибрагима захочет в нее залучить.

А киргизское образование — дело похвальное. Куда только денется постигший грамоту киргиз в нынешнем раскладе российской жизни. Конечно же, потянется к первенствующему классу общества. Мундир и стол в присутствии закономерно видятся как вершина жизни. По естественности натуры своей киргизы живо оценивают эту российскую особенность, тем более, что по прямой линии она от батыева кодекса. Тут они, пожалуй, даже способней окажутся в восприятии. Стоит посмотреть на полковника Айчувакова, как распоряжается в своем ведомстве. Из беков обычно выходят отличные офицеры.

В глазах Алтынсарина какая-то неотступная пытливость. И слезы проступают от затаенной боли. Что-то заставило выделить тогда в школе юного киргиза. Это чувствование им языка русского. Не просто умение говорить — тут Бахтияров первый, а именно проникновение в характер.

Здесь лишь порог глубинной Азии, куда по физическому закону устремляется Россия. Киргизы с массой и пространством своим представляют для нее пробный камень истории в новые времена. В чем же крепче состоится их приближение к ней — в мундирной части или в этом взаимном проникновении? Если в одной мундирной, то лишь оторвет это от киргизов некую ничтожную часть, а остальных вдвойне сделает далекими. Сами носители мундиров, освоившись в своей роли, побегут в другую от России сторону. Лишь связанность сил духовных обеспечивает прочность отнощений исторических.

К счастью, Россия сама в естественном отрыве от своей мундирной части, и точно увидел это Алтынсарин. Солдат, про которого он говорил, замечен им именно в противность администраторскому действию. Тем и силен народный русский элемент, что не находится в законченном состоянии. Он еще движется, складывается, принимая в себя все новые формы и тем связываясь с примыкающими народами. Господин Мятлин, как выученик казанских патриотических миссионеров старомосковской формации, желает сохранить этот элемент в неподвижности. Он и крестьян для того думает освободить, чтобы вернуть к первоначалу, с которого и началось их рабство. Нет уж, судьба России шире и значительней в истории!..

Понял ли все здесь молодой киргиз, листая великого русского изгнанника? В том месте как раз читал он, где излагается кредо пришедшего к крымскому финишу российского управления:

«Продолжение петровского предания в внешней политике. Противодействие петровскому направлению в внутреннем развитии.

Расширение пределов и влияния в Европе и Азии, суживание всякой гражданственности в России. Все для государства, то есть для престола, ничего для людей[1]». Тут тоже было открыто... «Неужели вам не приходило в голову, глядя на великороссийского крестьянина, на его умный развязанный вид, на его мужественные красивые черты, на его крепкое сложение, что в нем таится какая-нибудь иная сила, чем одно долготерпение и безответная выносливость? Неужели вам не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что кроме официальной, правительственной России, есть другая, что, кроме Муравьева, который вешает, есть Муравьевы, которых вешают »[2]. А вот что-то и насчет проспекта в будущее... «История не барщина, на которую загоняют розгами крепостных крестьян; рабские руки могут только расчищать место, а не строить для веков»[3].

Генерал Василий Васильевич Григорьев весь потух, когда пришла невидимо в Оренбург книжка журнала с оценкой действий его при границе. Он, конечно, и виду не подал, да тем сильней расстройство. Как же, просвещенный человек, «генерал от университета», и на одной доске с держимордами. Все же неловко перед европейской наукой...

Тут любопытная раскладка ума, присущая российскому состоянию. Если б в петербургской или московской книжке изругали, то больше, кажется, надо стесняться. Но нет, своих не принимают в расчет — это домашние. А вот как из Лондона — другое дело. Кажется, все тут десять раз разоблачено — и «беглый барин», и фамилия Герцен не совсем русская и деньги-де чужие, однако боятся оттуда благовеста больше даже, чем сенатской ревизии. Значит, понимают свою ущербность. И то уже хорошо. Они все сейчас тайно этот журнал читают — от правительства до того же генерала Григорьева.

Лишь Евграф Степанович Красовский решился на опровержение. Как же, фамилию офицера не так назвали. Поджигатель-то был Кузьминский, а не Кузьмин, значит, и поджогов никаких не было, и киргизов никто не гнал. Тут не просто бессовестность, а расчет — объединить вкруг себя всех виновных,

---

[1] Герцен А. И.
[2] Там же.
[3] Там же.

придать им уверенность. Всю Россию связать с собой хотят. Для этого прежде всего — лишить ее нравственного чувства.

Какими ж глазами должен смотреть на все это молодой грамотный киргиз? Однако ж выказал он здравую мысль о натуральности отношений. Значит, верит в русскую нравственность, хоть дальше пограничного круга не виделся с ней. А тут один Евграф Степанович чего стоит. И линейные казаки, что за клок травы могут человека зарубить. Граница нигде еще не выдвигала эталонных людей.

Три года назад принес Алтынсарин возвратить ему зеленую книгу. И столько бережного дрожания было в руках, когда разворачивал ее из платка, что пришлось отдать навсегда ему «Мертвые души». Значит, тоже понимал всю любовную боль, с которой они написаны. Что же со стороны другого народа больше вызывает к себе доверия — такая вот очистительная сатира или громовая декламация: «О росс! О род непобедимый! О твердокаменная грудь!»

Не подходит к русской душе римская традиция. Тем более не подходит к будущей натуральности отношений с народами. Впрочем, к внутренней натуральности тоже. От крепостного состояния обычно лезут в римляне. Человеку с достоинством сатира всего ближе. Признак силы она, да и ума притом. Ведь по-русски говорится, что лишь дурак сам себя хвалит.

Выходит, и он дал нечто хотя бы одному Алтынсарину? О том ли думалось, когда пятнадцать лет назад оставлял университет. Они собирались в темной петербургской квартире, и неотмщенные тени взывали к ним из сибирских рудников, с петропавловского кронверка. О двух миллионах смертей, необходимых России, грозно говорили они, и когда взяли их, с радостной душой готов он был повторить многократно и рудник, и кронверк. Но не найдя в отношении его прямых подтверждений, послали его сюда. Как метался он тут, видя лишь мундиры да пыльную степь вокруг. А теперь так и самому ему некуда тронуться отсюда. Лишь русской словесности обучает он кадетов да этих вот пахнущих ковылем подростков от киргизской школы. Жизнь со всеми страстями минует его, оставляя в стороне от освещенной сиянием больших дел дороги.

Кто-то из тех подростков, кого учил он, дает надежду на будущее. Только что же сделает заметного один киргиз из миллиона?

IX

Уже полмесяца она не приходила. Все слышался ему скрип двери в прихожей и стук шнурованных ботинок по крашеному полу. Махая рукой, Николай Иванович говорил:

— В звуках придыхательных кайсацких слышна разница... Уж не случилось ли чего, Ибрай? Экий ты опять рассеянный.

Так и не получалось у Николая Ивановича природное слово «казах». Говорил он «кайсак» и писал «киргиз». Вместе они составляли «Самоучитель» и обдумывали метод занятий для школ, что должны быть основаны при степных укреплениях.

На этот раз дверь наяву заскрипела, послышался звонкий детский крик, и застучало у него сердце. Николай Иванович легко заспешил в залу:

— Дашенька... Екатерина Степановна к шляпнице поехала, велела сказать, как придешь. Вот Ибрай вас займет, чтоб не скучали...

Раздетые от шубок дети уже возились на диване. Она отнимала от волос белый пуховый платок, встряхивала от снега. Первый раз видел он ее в таком простом платке, какие все носили в Оренбурге, и даже руки прижал к груди одну к другой. Глаза ее лучились в узорном обрамлении, ямочки угадывались на щеках. Возникала сказка, которую учил он в школе: из темноты нависали лапы деревьев, и кто-то мчался на сером волке, бережно придерживая ее...

Она раскраснелась от мороза, и, когда сняла платок, сияющие капли остались в волосах. Пахло особенной свежестью — из той же сказки. Развесив платок у голландской печи, она обернулась к нему:

— Какой вы взрослый сделались, Ибрай, серьезный... Подайте мне, голубчик, вон ту чашку с буфета, я Машеньке молочка дам.

Передав ей чашку, он остался стоять и смотрел, как она налила из молочника, заставила выпить молоко закапризничавшую девочку. Потом села на свое обычное место.

— Что вас долго так не было, Дарья Михайловна?

Совсем не таким голосом, как всегда, спросил он, и уже без улыбки, с тревожным удивлением посмотрела она на него.

— Петенька краснушкой болел, а потом и Машенька... А вы беспокоились, Ибрай? Какой вы хороший.

— Долго я никак не могу вас не видеть, Дарья Михайловна!

Он говорил громко, даже с требовательностью к ней. Она чуть всплеснула руками:

— Что это вы говорите, Ибрай?!

Как это она не понимает, о чем он говорит? Он принялся объяснять ей, что уже в первый день, когда начал читать ей с Екатериной Степановной книжку господина Гончарова, ему было с ней очень хорошо. И когда она детям читает басни или стихи, не может он на нее не смотреть. Даже если просто

рассказывает она, как в ее уезде пекут калачи или катаются в санях. Про то еще он сказал, как выговаривает она слова: «У лукоморья дуб зеле-еный...» А когда в прошлый раз болел Петенька и вот сейчас тоже, он приходил к новой их квартире и там всегда стоял. Говорил он, глядя куда-то вверх, рассказывая про каждый случай, когда видел ее, и про то, что чувствовал при этом, о чем потом думал.

— Наверно, неприятно вам, что у меня от болезни следы на голове и вот этот парик?

Только теперь он испытующе посмотрел на нее. Она сидела, не двигаясь, опустив руки, и в глазах ее он вдруг увидел слезы. Это до того удивило его, что он замолчал. Вставши со стула, она сделала шаг к нему, взяла руками его голову, и он почувствовал на лбу у себя ее теплые губы.

— Голубчик вы мой... Сердешный...

Это переполнило его, и слезы хлынули из глаз. А она все гладила руками его голову. Потом она играла на фортепьянах, а он слушал. До сих пор не знал вовсе он, что она умеет играть...

Вошла с картонкой Екатерина Степановна, чуть улыбнулась. Она словно бы знала, что тут случилось. С Дарьей Михайловной они взялись примерять шляпу с длинным черным пером, а он смотрел, успокоенный и как бы поднятый над миром. Время от времени Дарья Михайловна улыбалась ему.

Пришел из кабинета Николай Иванович, сказал, потирая руки:

— Что ж, Ибрай, завтра и представим все Василию Васильевичу. Одна только загвоздка — учители. Жалованье меньше дворницкого. Придется на первой поре из отставных унтеров-татар находить.

— Я пойду в учители,— сказал он.

Все с удивлением посмотрели на него. Лишь Дарья Михайловна будто сразу поняла, о чем он говорит. А он и сам не знал, как это получилось у него. Все эти месяцы думал он о своем, и внутри все уже было решено, но сегодня впервые выговорил он это вслух и сам удивился. Да, конечно, у него один только путь. Оглядев этих ставших близкими ему людей серьезным взглядом, принялся он говорить о самом главном своем, об узунских кипчаках...

Вставала степь без конца и края, а посреди нее в узком кругу жили люди, частью которых состоял он сам. Многое умели они: объезжать диких лошадей, строить самые легкие на земле жилища, ткать шерсть, ковать железо, петь высокие песни. И по краям степи стоят крытые слепящей глазурью каменные строения, всем видом своим похожие на их нынешние жилища,

потому что были тоже их частью. Но вот уже из века в век движутся они все в одном кругу, не находя для себя выхода. От этого однообразного кружения искривляются их отношения между собой, закостеневают мышцы и перестает хватать дыхания...

Он говорил это другими словами, рассказывал о долгих зимних ночах на кыстау, о белых рассветах, в которых несутся мимо друг друга безмолвные группы всадников, о могиле безвестного человека Нурмана Каирбаева, погибшего по неосторожности, о бие Балгоже, о дяде Хасене и дяде Кулубае, о некоем джигите, сидящем в Троицком остроге, о всех них, живущих зимой на Тоболе и уходящих летом к Золотому озеру. И про Человека с саблей, который приходит к нему ночами, рассказывал он.

Как же может он оставить их на произвол судьбы? Кем сам тогда он сделается, отторгнутый от своих корней? Ничего ему не остается, как идти в учителя.

Она не отводила от него глаз, и ему легко было говорить. Он не ошибся в своем доверии. И твердо знал, что ту же ступень человеческого участия встретит у самых разных из этих людей: у господина Дынькова, у учителя Алатырцева и приходящих к нему офицеров, даже у генерала Василия Васильевича, обвиненного в тайном журнале за разгром аулов батыра Исета Кутебарова. В них это было — природное русское чувство.

Существовали, правда, Евграф Степанович Красовский, мясник Тимофей Ильич, пристав Покотилов. Но они для него были исключены из этого единства, как исключались им при оценке мира узунских кипчаков злобность дяди Хасена или хитрости дяди Кулубая. Здесь ничего не прощалось. Была книга в темно-зеленом переплете, которая все выводила из замкнутого круга. Даже сделанное по службе Генералом Василием Васильевичем тут же получало оценку. Сюда можно было идти без колебаний...

Пришел, как всегда, за ней и детьми от учителя Алатырцева топограф Дальцев, пожал ему руку:

— Вы, господин Алтынсарин, всех там натуральностью отношений смутили. Второй вечер спорят.

И принялся рассказывать про предмет спора, веселый, открытый, с широкой улыбкой. Он вдруг увидел, что муж с ней очень похожи: даже ямочки у топографа Дальцева были на щеках такие же, как у нее.

Когда уходили, она подошла к нему, взяла за руку:

— Вы хорошо решили, Ибрай, голубчик...

По морозному городу шел он. Падающий снег мягко оседал под сапогами. Запоздалые санки вдруг проносились мимо и слышался колокольчик. Он не боялся больше этого звона.

X

Господи, хорошо, что подвез Яков Петрович, Володинькин командир. Строгий, а душевный человек. А то бы идти с детьми три версты. Не очень-то на казенное жалованье раскатаешься. Ну, да бог даст, повысят Володиньку в чине. Так прямо Яков Петрович и сказал, что сделано представление. Сам он, гляди, только что майором сделался, мало что уже старик и пять лет топографической ротой командует. И служба-то какая нелегкая — все в степи да в степи, среди киргизов да кокандцев. Только и времени с семьей пожить, что зимой. Ну, и то хорошо...

А мороз какой нынче славный — так бы и побегала с детьми. Нельзя только, вон у Машеньки краснушка едва отшелушилась, не дай бог застудить. И Екатерина Степановна с Николаем Ивановичем заждались — в третий раз узнавать солдата посылают.

Однако же какая беда, разминулась с нами Екатерина Степановна. Вот придется с Ибраем посидеть. Какой-то нынче он серьезный, совсем за месяц взрослый сделался. И смотрит вовсе уж странно.

Екатерина Степановна все смеется: влюблен, мол, в тебя молодой киргиз. Где тут, совсем он мальчик, глядит, да и все. Даже странно как-то: уставился и не отводит глаз. Внимательно смотрит, словно на чудо какое. Без смущения совсем, как будто так и надо на женщину смотреть.

А сегодня и взгляд у него какой-то суровый: тревожно делается. Попрошу-ка я его достать чашку для Машенькиного молочка...

Нет, все так же он глядит. Спрашивает, почему это меня долго не было. А теперь громко говорит что-то. Да что же это с ним?

Сама я виновата, что допустила. Бог не простит. Такой чистый юноша. Не хотела я этого. Но только... только и не совсем это любовь, как бывает. В таком случае не признаются, смотрят тайком. А он прямо все рассказывает про то, что испытывает. Словно и не понимает, что это значит. Как же исстрадался он, бедненький. Чего же это я натворила!..

Думает, болезнь его на волосах причиной, что будто

неприятен мне. Да господи, самый милый он для меня человек. Вроде как к брату чувство к нему. Возьму да поцелую его. Бог видит, вовсе это не грех, ни перед людьми, ни перед Володинькой...

И расплакался, как дитя. Да ничего, отходит у него от сердца. Наболевшее так и должно слезами вылиться. Поиграю что-нибудь душевное, он и в себя придет.

Вот и Екатерина Степановна. Все усмехается она над Ибраевой влюбленностью, а оно вон как обернулось. Все ж спокойней он теперь глядит и в глазах у него светло. Может, и есть это подлинная любовь...

Что ж увидел он во мне такое? Будто говорю необыкновенно: «У лукомо-орья дуб зеле-еный». Обычно и говорю. Смешной какой. Или что движение руки особенное, когда Машеньке молока наливаю. Не может будто он не смотреть. Какое это такое движение? И глаза еще ласковые. Чего ж на всех букой глядеть...

Однако же хорошо, что Николай Иванович лишь теперь пришел, а то конфузно бы получилось. Как про это объяснишь. Лишь Екатерине Степановне можно рассказать...

В учители хочет пойти Ибрай, вернуться к своим киргизам. Да посерьезнел сразу. И взгляд такой возвышенный. Все на меня смотрит, когда говорит.

Неужто так трудно живут киргизы? Посмотришь, едет себе на лошади, заботы не знает. Так оно и на мужичка сверху поглядишь, так хорошо ему живется. Все само из земли растет — знай собирай. Только трудно мужичку. Уж она знает, в деревне росла. Мало что дворянка...

По Ибраю если посмотреть — славный народ киргизы. Так и Володинька их хвалит. Нигде, говорит, такой душевный покой не ощущал, как в юрте у киргиза. Хозяин голодный будет, а накормит всем, что есть. И спать можно спокойно, никто гостя не обидит.

Что ж, Ибрай, как посмотришь, настоящий учитель. Серьезный такой: даже и в чувствах. Ведь и киргизам надо учиться. Вон как о них душой болеет. И все на меня смотрит, понимаю ли его. Уж, конечно, понимаю. Да как же такое не понимать.

Сейчас и в России благородные люди в учители пошли. В их уезде сестры Прозоровские крестьянских детей учат. Никодим Павлович Шелгунов школу на свои средства открыл. Она бы и сама, если б не дети да Володинькина служба, учительством занялась. Чем-то служить надо людям.

Ну вот и Володинька. С открытостью Ибрай и на него смотрит. Уж доподлинно честный он и благородный человек.

И вовсе никаких претензий на нее не имеет — просто высказал свои чувства. Нет в том плохого.

Сказать ему только надо, что понимаю все. Вот так взять за руку и сказать...

XI

Теперь у него не хватало времени. Уже утром другого дня пришел он на час раньше начала занятий в присутствие и с нетерпением ждал Николая Ивановича. Когда вошли к Генералу, тот распекал за что-то Варфоломея Егоровича Воскобойникова.

— Никак нет-с... Так точно-с, Ваше превосходительство! — отвечал делопроизводитель, глядя с очевидной иронией на начальство. Он был опытен во всех делах правления и знал себе цену.

— Ох, и упрямы же вы, Варфоломей Егорович! — покачал головой Генерал, явно уступая.

— Не я, Василий Васильевич, дух службы,— скромно отвечал тот.— Это сильнее — с человеческих чувствований.

— Ладно уж, идите,— махнул рукой Генерал.— Только чтобы без крайностей.

— А это уж по-человечеству, в наших силах.

Наклонив большую голову с крупными, словно медными завитками волос, Генерал читал составленную ими подробную бумагу о киргизских школах при степных укреплениях. Этот же человек, с очевидной добротой относящийся к нему, некогда приказал изгонять с вековых мест обитания казахские аулы. Как бы смотрел он на Генерала, если бы узнал о том прежде?

Ведь и господин Дыньков был когда-то непонятен ему. Однако сделался перелом и мир предстал перед ним во всей сложности. Дух службы, сказал Варфоломей Егорович. Однако же есть тут другая половина, что противна этому духу. В самом Генерале содержится противоречивость. В том и глубина книги, подаренной ему учителем Алатырцевым. Никто не сделал ему большего подарка...

— Вот господин Алтынсарин изъявил желание сделаться учителем,— сказал Николай Иванович.

Брови Генерала удивленно поднялись, серые, с металлическим светом глаза остановились на нем. Впервые в них при взгляде на него было внимание. И все сразу приметил он в этих глазах — тайную усталость, тоску и еще некий интерес. Как бы пробудилось в них что-то спрятанное до поры.

— Ты хочешь быть учителем? — спросил Генерал по-казахски. Потом откинулся в кресле, помолчал и стал говорить по-русски.— Думалось, по службе вам предстоит идти, Алтын-

сарин. Аттестация у вас отличная и род хороший. Зачем же вам хочется в учители?

Он молчал, и Николай Иванович сказал за него:

— Тут потребность внутренняя, святой огонь. Будущее народа своего видит в просвещении господин Алтынсарин.

Снова Генерал со вниманием посмотрел на него. Все от областного правления по школам было приготовлено. Но было это лишь началом дела. Он помнил лежащую в подвале переписку по одной только школе, где на полях шла война между духом службы и природным чувством. Хромой русский генерал один бился тогда за узунских кипчаков. Но вот пришло его время.

Как же надо начать учить кипчаков? Все, что шло из этого мира, было понятно. Однако, попадая в круг узунской вечности, становилось вдруг посторонним и немыслимым. Даже лисица и ворона умолкали там, приходя в естественное свое состояние. Для тех, кто слушает сказки и смотрит рисованных зверей, они обретают душу. Но кто воочию видит их в своем окоёме, не понимает, как это они разговаривают подобно людям. Звери имеют только повадку, натуру, свои извечные знаки. И всякий отход от природной правды становится ложью. Можно ли сказать кому-то из детей, которые с домуллой Рахматуллой лишь учат непонятные им стихи, что лисица говорит с вороной человеческим языком. По-русски оно и возможно, но у кипчаков такого не бывает. Иначе не выжили бы они.

Самые знаки природы там совсем другие. Смелость и благородство у волка, освобожденного от людских слабостей. Может быть, и русская сказка, где в единственном случае волк помогает людям, пришла отсюда?..

Нет, это придет закономерно, а надобно находить у самих кипчаков основания их выхода из круга. Николай Иванович не понимает до конца трудности дела. Впустую будет заучиваться то, что не найдет встречи со стороны ребенка. Объясняться же с ним ближе всего привычными формами, идя от простого, природного.

— Кто ж в Восточной части Орды сейчас наиболее почитаемый из певцов?

Он не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Генерал и Николай Иванович с ожиданием смотрели на него. Они уже полчаса говорили о том, что следует от Географического общества записать песни киргиз-кайсаков.

— Больше других нравятся киргизам песни акына Марабая,— сказал он, подумав.— Я уже говорил о том.

— Не очень ли он стар? — Генерал постукивал пальцами по столу.— Сможет ли быть вызван в Оренбург этот человек?

— Он мне курдас.

— Курдас?.. Разве ж бывают в столь юном возрасте акыны?

— Бывают,— подтвердил он.

— Но нам больше кстати аксакалы, так сказать, хранители мудрости.

— Нет, нужен Марабай! — твердо сказал он.

Они записали, что позовут Марабая. Подумалось, что и в нем раздвоение. По службе он уже тоже именовал кипчаков киргизами. Голоса Генерала и Николая Ивановича опять уплыли из круга, в котором он сейчас находился. От чего же идти с детьми в самом первом положении?..

С того ли, что было у них в школе при Комиссии? Урочный распорядок, умывальники, постели с первых же шагов. И конечно всё от корней дуба при лукоморье до зеленой с черными углами книги в вершине. Однако нечто в этой школе затемняло природную часть. Миргалей Бахтияров высчитывал, сколько лет предстоит служить до статского советника, маленький Айтокин ждал прибылей от кипчаков. Как же перевесить дух службы в пользу природной части?

А еще мало средств, даже не хватит на умывальники. Тут ведь не город на Тоболе, который, представлялось беспрепятственно строить в мыслях. Перед ним стояла цена всякому предмету. Если для него станет хватать сорока копеек в день, то как проживет на жалованье человек, имеющий лишь этот достаток. Выхода не виделось. Каковы бы ни были эти школы, они тот путь, которым предстоит идти кипчакам.

Николай Иванович говорил с чувством:

— Христианство не посягает на народные особенности, не сглаживает их формальным или внешним уровнем, не обезличивает человека или народ, но соединяет народы и племена внутренним, искренним и прочным союзом любви. Она есть религия, в высшем и благороднейшем смысле общечеловеческая. Потому и стою за переводы писания не только на татарский, но на чувашский, алтайский, якутский, бурято-тунгусский, гольдский, мордовский, киргизский, на все без остатка языки России. Только так придут люди к прочному, незлобному общежитию...

Помнилось, как дядька Жетыбай с солдатом Деминым везли бревна через Тобол для своего жилища. Потом они обращались к богу: Жетыбай на коврике, а солдат в углу перед свечкой...

Генерал слушал Николая Ивановича с терпением, только углы рта были опущены книзу. А он видел уже школу наяву: дом с пятью окнами по фасаду, чисто беленые стены и себя перед

открытой книгой. С разных строн смотрели на него дети. Впереди всех почему-то сидел мальчик, которому домулло Рахматулла как-то разминал в пальцах язык для лучшего произношения стихов...

Это было в сочельник, и Генерал вдруг позвал его к себе на рождественскую елку, как много лет назад.

Весь день потом сидел он у Николая Ивановича, переписывал начисто записи для справок по просвещению инородцев... «Мышление народа и все его миросозерцание выражается в его родном языке. Полицейская строгость не властна проникнуть во внутреннее святилище мысли и совести... Простой человек мыслит и чувствует цельно, в одном органически последовательном направлении, и дорожит своими, какими ни на есть, религиозными убеждениями, потому что он живет ими. Станем ли смотреть на инородцев свысока и попирать их понятия?..»

Хозяин кабинета сидел за своим большим столом с круглыми ножками, как всегда, заваленный книгами. Мягкие бакенбарды вздрагивали от резких движений головы, глаза светились вдохновением.

— Ибрай, голубчик, есть ли у кайсаков такое понятие — прощение греха?

— Нет,— покачал он головой.— За все надо отвечать.

— Как в Старом Завете! — Николай Иванович встал, возбужденно заходил от стола к оконной приставке, где сидел он.— Возможно, что и переход сейчас идет от шатров и первоосновной морали к искуплению за всех!

Был в этом убежден Николай Иванович, словно бы и не понимая, что вовсе не от нарисованного человека на кресте шло его чувство. Живущий посреди степи Кожаулы Динахмет молился без свечи, стоя на коврике, а думал так же. Где-то в темной лесной сказке, где и волк делается другом человека, сходились их чувства. Человек на кресте, как и строгий всеведущий бог, к которому обращался благородный кожа, лишь соответствовали природной их совести.

Некая притягательная сила находилась в голубых, всегда радостных глазах Николая Ивановича. Трудно стало бы ему в чем-нибудь отказать. И не от мысли, как у учителя Алатырцева, а от души шло это.

— Ты всем известный либерал, Николай Иванович! — говорил всякий раз Генерал.

Думалось, что либерал — что-то доброе, большое, выходящее из самой природы у русских людей. Вовсе не досадно это было.

Он так и записал в свою тетрадь против слова либерал — «хороший, добрый человек».

Выйдя, он сразу же нашел глазами стул у стены, где когда-то сидел. К удивлению его, там сидел теперь точно такой мальчик тринадцати лет в школьном кафтане с твердым коленкоровым воротником и даже в теплой шапке на голове. Будто и не угасала сияющая елка с подарками. Посредине залы ходили девочки в панталончиках, с оборками, тянулись и щелкали каблуками неплюевские кадеты с проборами среди приглаженных маслом волос. Младшая дочка Генерала одна играла теперь на фортепьянах, старшая жила в Петербурге. Так и не понимал он, почему позвал Василий Васильевич его на детский праздник. Самого хозяина еще не было. Он встал в стороне и взялся наблюдать.

Еще два воспитанника киргизской школы ходили среди детей. Сапожки их блестели, а волосы были даже длиннее, чем у кадетов. Они держались легко и свободно. Один — племянник султана Айчувакова открывал танец, взяв за руку девочку с лентой в волосах.

Мальчик все сидел, недвижно глядя на елку черными блестящими глазами. В них ясно отражались свечи, метались цветные огни. Было для него здесь удивительно и приятно. Совсем маленькая девочка с бантиками подошла, стала что-то говорить, и тот совсем по-кипчакски схватился руками за колени.

— Как зовут тебя и откуда ты?

Мальчик назвался.

— Он никак не хочет танцевать! — недовольно сказала девочка.

— А тебя как зовут? — улыбнулся он.

— Меня зовут Катя Толоконникова,— серьезно ответила девочка.

Он развел руками:

— Этот мальчик не умеет танцевать. Надо нам его научить.

— Почему же не умеет? — удивилась она.

— Потому что вырос он в степи, а там негде танцевать такие танцы. И фортепьянов нет.

— А что же там?

— Там есть хорошие лошади, и все умеют ездить на них. Этот мальчик — Таукель очень хорошо ездит верхом. И, наверно, хорошо стреляет.— Он повернулся к мальчику: — Ты умеешь стрелять?

— Умеешь стрелять,— быстро по-русски ответил мальчик.— Лук умеешь стрелять, ружье стрелять. Караторгай попадаем!..

Мальчик оживился и оттого еще больше путался в русских спряжениях.

— Вот видишь, Катя,— обратился он к девочке.— Я тоже ездить умею верхом на лошади, а танцевать так и не научился.

— А как вас зовут? — спросила девочка.

— Меня зовут...— он остановился на мгновение и чуть улыбнулся.— Иван Алексеевич.

Девочка подумала, потом протянула мальчику руку:

— Идемте, Таукель, я вас буду учить танцевать.

Мальчик с готовностью пошел за ней.

— Тогда и я буду с вами учиться,— предложил он, отбирая попутно шапку у Таукеля.

— Вы уже большой! — возразила девочка.

— Все равно я хочу научиться танцевать.

— Хорошо, идемте.

Посмотрев в зал, он приметил девочку с рыжими косичками — Оленьку, младшую дочку господина Дынькова. Она сидела и смотрела в пол. Как видно, из-за веснушек на лице не подходили к ней кадеты.

— Вот и будешь ты мне пара. Правда, Оленька?

Дочка господина Дынькова грустно посмотрела на него, кивнула головой. У него сжалось сердце от детского взгляда. Он знал, что ее отец совсем уже не встает с постели.

— Сегодня праздник, Оленька. Даст бог, все будет хорошо...

Они отделили себе часть зала за елкой и взялись там учиться танцевать.

— Не так, не так, Таукель,— командовала Катя Толоконникова.— Ногу извольте по третьему счету ставить. Раз-два-три. И вы, Иван Алексеевич, поспевайте за музыкой!..

Таукель старательно топтался, даже пот выступил у него на лбу. В глазах его было нескрываемое удовольствие. Мальчик громко повторял: «Раз-два-три» и с силой топал ногой.

Скоро к ним пришли еще маленькие и постарше, кто не умел танцевать. Взявшись в пары, как он их поставил, они принялись старательно делать все, что показывала девочка с бантами. Начался веселый шум, крик, взвизгивания. Со всех сторон звали его:

— Иван Алексеевич, а я уже хорошо умею. Смотрите!

— Иван Алексеевич, со мной, со мной встаньте!

— Иван Алексеевич, а Болтин Гриша снег с окна ест!

Все прыгали как могли и смеялись над своим неумением танцевать. Наверно, потому, что и сам он в том им признался. На одной ноге полагали они себя с ним и нисколько не теснили своих чувств. Таукель и вовсе оставил свой степной вид, прыгал и смеялся со всеми, восторженно крича:

— Иван Алексеевич!

И вдруг что-то волнующее коснулось сердца. Снизу теребили

за ногу: «Иван Алексеевич!» Знакомые ямочки узнал он на щеках.

— Ты тоже здесь, Машенька?

Он взял девочку на руки и среди сидевших у елки родителей, приведших маленьких детей, увидел Дарью Михайловну. Тогда совсем уже просто почувствовал он себя здесь.

Умеющие танцевать теперь тоже переходили на их сторону. Его заставляли становиться в середину и ходили вокруг, приговаривая песню. Потом разделились на две партии и играли в гусей. Тот, кто оказывался серым волком, ловил громко кричащих разбегающихся птиц. Тут уж ловчее всех оказался Таукель.

Громким шепотом его звали из внутренних дверей:

— Ваше благородие... Иван Алексеевич!

Солдат-инвалид, прислуживающий в доме, делал ему знаки. Он вышел и увидел в задней комнате Генерала. Тот стоял в ватной шубе, с мешком в руке.

— У тебя, голубчик, прирожденное умение с детьми!

Что-то даже ревнивое послышалось ему в похвале Генерала. Но нет, тот всегда так говорил. И сейчас вдруг сказал по-кипчакски:

— Жарайсын... Молодец ты!

Он помог Генералу вынести мешок с подарками, вызывал к елке детей. Уходил он уже вместе с Николаем Ивановичем и Екатериной Степановной, заехавшими на дрожках за Дарьей Михайловной с детьми. И он поместился на дрожках.

— Иван Алексеевич, приезжайте к нам!

— Иван Алексеевич...

С разных сторон кричали ему дети, разъезжаясь и расходясь по домам. Машенька крепко держала его за руку. Сбоку от крыльца стоял Таукель, прижав двумя руками к животу полученную в подарок книгу.

— Хош бол[1], джигит! — негромко сказал он, и мальчик радостно помахал книгой.

— Что тебя, Ибрай, все Иваном Алексеевичем кличут? — спросила Екатерина Степановна.

Он засмеялся, пожал плечами. С чего назвал себя так, он и сам не мог сказать.

Они отвезли Дарью Михайловну с детьми. Машенька уснула в дрожках, не выпуская его руки. Он отнес девочку в дом. Она открыла глаза, улыбнулась совсем как мать:

— Иван Алексеевич... Иван...

Ильминские звали его к себе, но он пошел домой.

---

[1] До свидания, прощай.

На круглом, без бровей, лице Досмухамеда читалось неодобрение. Все дни этот парень сидел в углу возле печки или спал. В обязанности его входило покупать продовольствие на базаре и варить сурпу. Однако же в мясном ряду его обсчитывали и давали плохое мясо, так что покупкой раз в неделю приходилось заниматься самому.

Зато Досмухамед аккуратно посещал пятничную молитву в мечети и приходил оттуда важный, полный веры, даже сапоги и русскую одежду старался не трогать руками. Они как бы не мешали друг другу, и порой забывалось, что есть еще кто-то в доме.

XII

Опять чужие запахи исходят от уклоняющегося с пути родственника. Их несколько сразу. Так пахнет от служащих орысов с золотыми пуговицами — кожей, сукном и тем, чем мажут они головы. И другой запах вплетается — едва слышный, как от цветущей верблюжьей колючки, запах греха. От женщин орысских чувствуется он, когда идут, разряженные, в свою церковь или едут в санях с бубенчиками. Опять, значит, был среди них. Ахун Усман-ходжа сегодня сказал: рождение пророка Исы празднуют неверные, оттого и звонят их колокола.

Сурпа готова — теплая стоит у трубы, лепешки свежие, только взял от разносчика. Свое дело он сделал, пусть родственник ест. Ну вот, хоть «бисмилля» сказал перед принятием еды и места бороды коснулся. В другой раз и простого не исполнит.

Дядя Рахматулла в присутствии самого бия ему сказал: «Ты воспитан в моем доме и не собьешься с пути, Досмухамед. Твой родственник молод и долго жил среди орысов. Следует, чтобы примером своим напоминал ты ему о правой вере, о всем нашем роде. Чтобы не ушел от нас, как случилось с некоторыми людьми». Все так он и делает, как поручено ему.

Отбившийся от табуна плохой трехлеток его родственник. Что находит тот у орысов? Сама суть их неправильна: они никак не сидят на месте, громко говорят, ходят и ездят вкось и вкривь, в одну и другую сторону. И в степь уже пришли, наполняя все шумом и беспокойством. От них сделался будто отравленный маковым соком внук бия.

Для того ли рождается человек, чтобы бессмысленно метаться из конца в конец. Все рассчитано для него и должен он не сбиваться на сторону. Ест он хлеб, сурпу, спит спокойно, и должен благодарить за это бога. Есть же такой человек, который ест предоставленное ему, а думает о втором, о третьем.

И когда спит, продолжается его беспокойство, так что кричит и плачет во сне. Всё потому, что считает возможным что-нибудь сделать самому, помимо бога.

Не вправе человек изменять сотворенное и наказывается за это желудочными болями и плохим сном. Лишь спокойствие позволяет познать истину. Не спать, а лишь дремать нужно при этом, сидя на холме посреди степи, пригреваемому солнцем.

Если все будут спокойны, то весьма хорошо сделается в мире. Лучше всего постигается это в степи. Человек там родится, живет и умирает, никуда не отлучаясь. Посылаемые там ему несчастья понятны: голод, джут, бескормица. Сам он ничего не добавляет к этому.

Не случайно именно его послали с внуком бия для укрепления у того правильного понимания жизни. С самого детства он определен для исправления людей. К семье домулло Рахматуллы он принадлежит, и не дело его пасти лошадей или стричь овец. При детях, которых учит домулло, состоит он в качестве примера. Помалу в медресе помогает, а главная его задача — жить по закону. Спокойно ест и спит он, не пропускает молитвы, и всем видно его душевное равновесие. Люди, глядя на него, тоже успокаиваются.

И здесь, в городе, не теряет он себя. Куда тут ни пойдешь — стена или ров, так что разрушается плавность жизни. Поэтому лишь одну постоянную дорогу определил он для себя — на пятничную молитву. Есть еще одно отвлечение от правильного течения жизни — приходится варить сурпу и сходить с порога, чтобы купить лепешку у разносчика-татарина. В остальное время он все делает, как надлежит ему от рождения: молится пять раз в день, спокойно ест сурпу и строго по закону исполняет все другие положенные человеку действия.

Постоянное присутствие его благотворно действует на внука бия. Когда приходит тот, наполненный суетой мира, и начинает говорить, то нужно молчать. Пусть видит его удовлетворенность в духе и плоти и сам убеждается в тщете своих намерений. Так оно и получается: родственник его замолкает и ложится спать...

XIII

Умер господин Дыньков. С неба сыпала мерзлая твердая крупа. Люди наполняли школьный двор, стояли молча на улице. Их так много пришло, что он даже удивился. Совсем разные они были: в горнице надзирательской квартиры стояли без шапок два неизвестных генерала — военный и статский, а в коридоре и снаружи толпились какие-то купцы, мещане, солдаты. Среди них

были башкиры, татары, даже кокандцы в цветастых халатах. Притихшие воспитанники школы теснились на казенной половине, и растерянные детские лица выглядывали из полутьмы. Вдова сидела у гроба в черном платке, держа за руку Оленьку. Рядом стояли старшие дочери — одна уже большая, почти невеста. У Оленьки было совсем отцовское лицо: плосковатое, с выдающимися скулами, и она все моргала короткими светлыми ресницами.

Господин Дыньков лежал в гробу маленький, с чистым спокойным лицом, словно отдыхающий. Священник Рымаревский из соборной церкви читал вполголоса заупокойную молитву. Люди крестились, негромко вздыхали.

В дверях он увидел Миргалея Бахтиярова, Кулубекова и Мунсызбаева. С ними были еще двое более позднего выпуска. Он кивнул своим, и они четверо встали рядом, ближе к гробу. В глазах Миргалея увидел он слезы.

Вошел Генерал Василий Васильевич, поцеловал в лоб покойника, остановился у изголовья. Шептались между собой, что пора выносить гроб, да ждут представителя от губернии. Наконец он приехал. То был Евграф Степанович Красовский.

Священник повысил голос, замахал кадилом. Вдова беззвучно задрожала под платком, заплакала и Оленька. Какие-то люди с разных сторон взяли гроб. Он тронул под руку Миргалея. Тот недоуменно посмотрел на него, потом понял. Вместе пошли они, подставили плечи. У дверей зашептались, заговорили. Советник областного правления Алексей Александрович Бобровников, распоряжавшийся похоронами, одобрительно кивнул им:

— Что ж, господа, как бывшие питомцы покойного Алексея Николаевича...

Они тоже несли гроб, и все нынешние воспитанники школы высыпали из коридора и шли, плотной кучкой держась рядом с ними. Среди негромких голосов явственно прозвучали слова:

— Допустимо ли участие магометанского элемента? В столь выпирающей форме...

— Это благодарные ученики, Ваше превосходительство! — объяснял Бобровников.

— Сему может быть дано превратное истолкование,— строго настаивал действительный статский советник Красовский.— И коль дело коснется синода...

Послышался медленный голос Генерала:

— Стыдитесь, господин Красовский. При отверзтом гробе!..

Евграф Степанович Красовский вскинул головой, как взнузданная лошадь, и сжал побелевшие губы:

— Однако же тут делается кощунство. При виде иноверцев...

— Кощунствуете вы, Ваше превосходительство, со своими странными для русского слуха правилами!

Они говорили между собой негромко, но все их слышали.

Гроб поставили в крытые бухарскими коврами сани, впереди понесли на подушке ордена: Анны двух степеней и Владимира. Башкиры, татары, кокандцы шли отдельной группой. Они же с Миргалеем продолжали быть у самого гроба. Так с непокрытыми головами вошли они в церковь и слушали всю службу, скорбно глядя в лицо своему надзирателю господину Дынькову.

Когда уже присыпáли могилу и ставили деревянный крест, отошел он к группе инородцев. Почтенные старики из татарской слободы стояли там кружком и говорили между собой.

— Тот, что ушел из жизни, хоть и неверный, но понимал закон,— услышал он.— Даже в основах веры разбирался.

— Не просто хорошо, а досконально знал Книгу, и хадисы, и все правила веры!

К своему удивлению узнал он в говорившем Усман-ходжу Мусина, ахуна соборной мечети. Вечная вражда была у старика с покойником, и всякий раз он жаловался начальству на самоуправства господина Дынькова. Сейчас у ахуна были красные глаза, и он с вызовом оглядывал других знатоков учения. Но те были согласны с ним.

Тут же в стороне старики пошептали молитвы, словно как бы умер правоверный человек, и пошли с кладбища, осторожно обходя кресты. За ними шли прочие мусульмане, говоря как полагается о покойном.

— Вовсе удивительный был этот орыс. Денег не брал. Все брали в таможне, а он не брал! — говорил кокандец в дорогом зеленом халате с меховой подстежкой.

— Как же это, в таможне не брать денег? — удивился собеседник.

— Только что в бумаге значилось, брал. А для себя не брал. И подарки назад отдавал.

— Может быть, чем-нибудь болел этот человек? — выразил кто-то предположение.

— Нет, среди орысов встречаются такие непонятные люди.

У ворот кладбища, придерживаясь за толмача Фазылова, стоял совсем пьяный Варфоломей Егорович Воскобойников.

— Во, слышал, Фазылка: хабару Алешка не брал. А что, думаешь, Россия уж совсем в твою поганую Азию перевернулась? Накося, выкуси!

— Э-э, пойдем! — тянул его Фазылов.

— Алешку жалко... Вишь, народы хоронят его, честь воздают. Потому подлинно русский был человек!..

У ворот стояли сани с коврами, привезенными для похорон

с менового двора и из слободки. Кокандцы и торговые люди укладывали их вместе, носили в сани еще какие-то узлы. Чернобородый купец-сарт с умными глазами подошел к нему: — Все это пусть от нас останется женщине и детям ее.

Вместе с Миргалеем сидел он в осиротелом доме, ел вареную пшеницу — кутью, слушал негромкие разговоры о господине Дынькове. У начала стола поместились Генерал, Николай Иванович, Алексей Александрович Бобровников, учитель Алатырцев. По подписке накануне были собраны для вдовы деньги: Генерал дал сто рублей, они с Миргалеем по двадцать пять. Возле дверей на сундуке лежали свернутые ковры, подаренные мусульманскими знакомыми покойного. Варвара Семеновна, вдова, как села, так все и сидела со спокойным, словно недоумевающим лицом. До этих пор он не принимал ее никогда во внимание, такой она была незаметной. Видел только, как какая-то женщина в одной и той же кофте выходила кормить кур. И еще в черном салопе шла по воскресеньям с дочерьми в церковь. Две старшие дочери шли впереди, а она с Оленькой сзади. Обе эти дочки и женщины-соседки теперь переменяли на столе посуду, разливали бульон, а она все беспокоилась, спрашивала, не забыли ли чего-нибудь. Такой деловитый голос у нее был, что дрогнуло сердце. Это она себя так успокаивала.

С самого начала он позвал Оленьку, посадил возле себя. До боли захотелось ему погладить девочку по светло-желтым соломенным косичкам, но не стал он этого делать, а принялся подробно спрашивать, как она учится. Девочка ходила три раза в неделю к мадам Лещинской, содержавшей пансион, а также школу грамоты и музыки для приходящих девочек. Два месяца Оленька уже не ходила туда по болезни отца, а теперь и вовсе не пойдет, потому что нет денег для уплаты за уроки. Девочка рассказывала все обстоятельно и как будто забыла о беде. Только временами начинал дрожать у нее голос. А ему все виделся господин Дыньков на взбитых подушках и слышались слова: «На все воля божья. Вот сирот только жалко».

Все стали понемногу расходиться. Ушел и Миргалей. А он остался и сидел со вдовой и девочками при свече, льющей желтый расплывающийся свет. Нет, не все только ему. Надо было самому становиться ответственным за этот мир.

— Что ж, Варвара Семеновна, как говорится, бог взял,— заговорил он сам не зная откуда взявшимися словами.— Только Оленьке надо продолжать учиться. Алексей Николаевич того хотел. Никак нельзя оставлять этого дела.

Он узнал, что девяносто рублей в полгода, исключая летнее время и праздники, платят они мадам Лещинской за Оленькины уроки.

— Завтра же я и заплачу все, вы не беспокойтесь,— сказал он.— И впредь буду это делать, пока Оленька курса не окончит. Даже если и отъеду по службе из города.

Уходя, он теперь погладил по головке девочку, смотревшую на него серьезными глазами. И такое тепло почувствовал от своей руки, что даже горло у него перехв ило.

Во тьме школьного двора ходили какие-то люди в форменных шинелях. Они открывали, замыкали хозяйственные помещения, вешали замки и пломбы. Воспитанники шли за ними с недоумевающими лицами. И в надзирательскую квартиру они прошли, стали молча пробовать окна и двери. Варвара Семеновна и девочки с испугом смотрели на них.

— Что это тут делают? — спросил он отставного унтера Валиева, ведавшего хозяйственной частью школы.

— Да так что по приказанию Их превосходительства советника Красовского от губернского надзора,— отвечал тот, приглушив голос.— Значит, какие есть тут нарушения и расхищения, так чтоб ревизию произвести...

Сначала он бегом побежал на квартиру к Генералу, но того не было дома. Взяв на углу Большой улицы извозчика с дрожками, он поскакал в середину города, где жил действительный статский советник Красовский. Все знали этот недавно купленный им на фамилию жены трехэтажный дом, один из немногих в городе. В ряду с Дворянским собранием стоял этот дом, и его тоже вместе с фонарем при входе, переносил он когда-то в мечтах на низкий берег Тобола.

Фонарь горел, шестью углами отбрасывая свет на очищенный от снега тротуар. Взбежав с дрожек к парадной двери, он потянул ее к себе, толкнул другую, внутреннюю дверь и остановился перед бородатым стариком с медалью на сером сюртуке.

— Чего изволите? — спросил старик важным густым голосом, отставив щетку для обметания пыли.

— Мне срочно требуется видеть Его превосходительство! — сказал он.

Старик недоуменно оглядел его от ног к голове.

— Ежели пакет, то извольте оставить.

— Нет, мне лично и немедленно. Доложите: чиновник из Областного правления оренбургскими киргизами!

Что-то необычное было в его лице и голосе. Старик пожевал губами и пошел в другую, расположенную напротив входа дверь. Где-то наверху музицировали и женский голос пел: «Ах, не смущайте души покоя...» Что-то не получалось с фортепьянами, и всякий раз пение начиналось снова.

Без звука раскрылась дверь, и встал там Евграф Степанович, строго глядя на него. Он знал этот остановленный взгляд, выражающий как бы неживую природу. Так все учились смотреть в службе. И хоть была на хозяине дома мягкая домашняя куртка с шелковой оторочкой, положение тела сохранялось отдельно от одежды, словно бы тело было не из костей и мяса.

— Я вынужден был прийти к вам, Ваше превосходительство,— начал говорить он, не дожидаясь вопроса.

— От кого же вы?

Было понятно, что действительный статский советник Красовский сразу узнал его, поскольку утром еще видел у гроба господина Дынькова.

— От себя, Ваше превосходительство, ибо Василия Васильевича не оказалось дома.

— От се-бя! — словно пробуя на слух, повторил это слово хозяин.— Позвольте полюбопытствовать о вашем чине и звании.

— Зауряд-хорунжий Алтынсарин, младший толмач правления, Ваше превосходительство.

— Но я ж тебя не звал,— возвысил голос Красовский.— Как посмели вы!..

Все сразу вдруг возникло перед ним в ответ на этот голос: лица людей за столом у учителя Алатырцева, книжки журнала в муаровой обложке, почему-то солдат Демин. Явственно зазвучали слова: «У лукоморья дуб зеленый...» Сделав шаг к хозяину дома, он заговорил ровно и спокойно.

— Я посчитал для себя уместным, Ваше превосходительство, явиться к вам, чтобы донести, что по всем человеческим законам, в их числе христианским, не принято нарушать покой вдовы и осиротелых детей. Тем более над еще не остывшим прахом. Прошу убедительно Ваше превосходительство — от лица киргизских воспитанников господина надворного советника Дынькова — отозвать чиновников из школы и самого дома покойного!..

Они смотрели в глаза друг другу. И взгляд стоящего перед ним человека начал вдруг терять остекленелость, становился все водянистей, неопределенней, судорога пробежала через его лицо.

— Ладно, езжайте...

Он продолжал стоять, не сходя с места.

— Я... распоряжусь.

Действительный статский советник с трудом сказал это.

XIV

Однако ж какой это значительный чиновник из пограничного правления мог пожаловать к нему во внеурочные часы? Надеть вицмундир? Нет, не следует. Судя по всему — курьер: спешная

депеша с линии. Хивинцы поразбойничали или где произошел пожар...

Но что ж это? Тот самый киргиз из правления стоит в передней, что в панихиду утром замешался, даже в храм божий ступил.

Сколько помнится, это внук войскового старшины Джанбурчина, преданного киргиза. И все же нельзя в угоду магометанской лояльности приносить одну из триединых основ народного духа. В непререкаемом православии первая его опора. А подрывающее авторитет высшей власти замечание Его превосходительства Василия Васильевича Григорьева, утверждающего в своем правлении дух пренебрежения к христианским святыням у инородцев, должно получить соответствующее освещение при особом донесении. Уж не случайно зовут сего умника «генералом от Московского университета». Много бед произошло от этого рассадника подрывающих общество идей, и покойный государь справедливо применял по отношению к нему строгость. Вот и здесь, вместо того, чтобы всеми возможными мерами, включая экономические и административные, приводить иногородцев к принятию православной истины, сам управляющий пограничной областью допускает умаление веры. Только через веру могут соединяться инородцы с Россией. В противном разе следует поддерживать присущую им азиатскую замкнутость. Намерение правления путем самоучителей и школ ввести туранских киргизов в русскую современность — несвоевременно и опасно. Тому лишь подтверждение — утренний случай на похоронах...

Что-то, однако, говорит киргизский визитер. Да так непринужденно, словно находится с ним на одной ноге. Впрочем, сей либерализм принят в местном офицерском собрании, как и в самом правлении. Надлежит сразу же поставить все в должные границы. Тон должен быть соответствующий.

— От кого же вы?

Говорит, что от себя. Вот они, плоды неверной внутренней политики, проводимой самомнительным человеком. И парик у киргиза вовсе на русский лад.

— От се-ебя!.. Позвольте полюбопытствовать о чине и звании.

Нисколько не поняв ироничности вопроса, представляется киргиз. Зауряд-хорунжий, по существу и должности настоящий не исполняющий!

— Но я же тебя не звал.— Сказано так, чтобы колени дрогнули у наглеца и на всю жизнь определил для себя место.— Ка-ак посмели вы!

Бронза зазвенела в лампе и даже вытянулся во фрунт привратник Семен. Именно этот тон надлежит с ними держать...

Но что же это такое: киргиз не изменяется в лице и спокойное упорство в черных, источающих зеркальный блеск глазах. Даже шаг вперед делает.

Что же он говорит?.. Это о чинах губернского надзора, посланных для запечатывания помещений киргизской школы. Пришлось распорядиться, дабы пресечь могущие произойти хищения. Тем более, что дух школы, как выявилось при похоронах, способствует к этому. Но киргиз требует отменить распоряжение, ссылаясь прямо на христианский закон. И действует будто бы от лица всех воспитанников покойного. Такой все может предпринять вплоть до синода. Это бы ничего, да от войскового старшины Джанбурчина пришлось нечто получать, то как бы оно сюда не приплыло. Говорить нужно неопределенно, со снисхождением в тоне.

— Ладно, езжайте...

По-прежнему стоит киргиз и глаз даже не опускает. Какая-то в них уверенность, не свойственная азиатскому взгляду. Как бы не вышла история.

— Я... распоряжусь.

Поклонился теперь и пошел. Для вежливости хоть шага назад не сделал, прямо повернулся. Что ж такое произошло, отчего осталась неуверенность?..

Семен, старый дурак, этакую пыль тут развел, что и совсем дышать невозможно. Лампа горит во всю мочь: петроли[1] не напасешься. Сказано ведь было не пускать никого, кроме как от губернатора.

И лестница порядком не выметена, в кабинете шторы не спущены. Видно ли с улицы тебя, когда смотришь отсюда? Даже головы к окнам не поднял этот киргиз в парике. Прямо сел в дрожки и уехал. Зауряд-хорунжий Алтынсарин, изволите видеть...

Да, с этим духом предстоит особливая борьба. Все постепенно становится на своё место, и правительство твердой, умудренной опытом рукой притягивает вожжи. Кто надеялся, что оздоровление России можно будет использовать для потрясения основ, получают исторический урок. Пусть не думают всякие умничающие господа , хоть бы и от Московского университета, что рядом с реформой можно разваливать краеугольные камни, на коих покоится здание. Все определенней становится видно, откуда сии ветры дуют. Каждый истинный патриот должен быть начеку в ответственное время. Нет-с, господа, не получится. Россия это... это Суворов!

Да что все одно и то же играет Надежда Евграфовна? Второй

---

[1] Керосин.

год француз к ней ходит. Деньги немалые, а все не приучится никак. Теперь вот такой же белый рояль, как у губернаторской дочки, из Самары от немца Кепмана выписал, так что снова расход. А только и предстоит до лета поступления, что от землевладельцев. Петр Федорович Звенигородский еще намеревается завод винный на картофели пустить, так губернский надзор имеет тут свое положение. В пятьдесят тысяч предвидится от него благодарность, но не все к месту. Пятнадцать тысяч к Пальчинскому отойдет, да на всякий мелкий расход полицейским чинам. Тридцать тысяч вкруг останется. К ним прибавить положение от землевладельцев, так и можно тот присмотренный дом в столице приобрести. Тут верное дело, и доход чистый. Есть, правда, предположение, что как реформа вступит в действие, то ни започем станут продаваться дворянские имения. Об этом тоже надлежит подумать для надежного помещения капитала.

Ну, да все это: винные заводы, землевладельцы — невысокое дело. К таможне бы умную руку приложить — вот они где, миллионы. Из Кашгарии, Бухары, из самой Индии все проходит тут. Это тебе не фрисляндское мыло. Не говоря уже про обороты с лошадьми да с кожами от киргизов. Ну и российское купечество, что в Бухару тянется. Однако не подступишься, там этот ученый генерал. Даже от киргизов при нем опасно что по мелочи брать...

Теперь и по чину, не по одному послужному списку подходит он вместо Григорьева для занятия этой должности. Но вот извольте — ученость требуется. Мол, виды России в Азии предполагают особливое знание нравов и глубинных течений у аборигенов. Поэтому сидит тут умник, киргизов да сартов развращает. Думается, у простого линейного урядника больше знания местной политики в нагайке, чем в какой бы ни было университетской голове. Впрочем, осведомлять о том нужно умно, не преступая государственных видов, а как бы в их оправдание. Тем не менее, приуготовляя начальство к мысли, кому способней всего занять ответственный пост при границе. Поддержка тут ему будет не от одного губернатора. Не нужно говорить об этом, но есть в столице Лицо...

В самый разгар гонения это произошло, когда покойный государь в очередной раз почти как якобинцев преследовал неосторожных администраторов, даже Гоголя ставить на театре приказал. Однако же особая, не министерская ревизия, неожиданно наехавшая в ревельскую таможню, не могла ничего найти. Все от прибыли вручалось Пальчинскому, а фрисляндское мыло и кружева выгружались на не подведомственной территории. Все же нашелся некий обиженный человек из складских смотрителей.

На квартире у того ревизоры вышли из-за занавески, как раз когда Пальчинский отсчитывал ему в руки деньги. Так, с поличными, и повезли их на перекладных в столицу. Кандалов ждал он, потому что одной Сибирью кончались в то время такие дела. Странно только было, что нашли им помещение не в крепости, а на приватной квартире, и охрана была любезной. От того еще тягостней становилось на душе. Когда все идет не по правилу, так оно хуже воздействует на мысли. Петля стала даже мерещиться. И вот тогда обозначилось Лицо...

Карета со шторами заехала с задней стороны ряда домов, проехал один и другой подъезд. В сопровождении принявшего его чиновника в статском платье поднялся он в третий этаж обычного кирпичного дома. В длинной, со столом и диваном комнате сидел в простом вицмундире без знаков и орденов человек. Все столь обычное было в нем, что даже трудно делалось что-нибудь выделить. Но когда человек заговорил негромким голосом, он сразу понял, что это и есть Лицо.

— Извольте садиться, господин коллежский советник,— сказали ему.

Он сел, ошеломленный, ибо считал уже себя вне табели о рангах. Но голос продолжал звучать: ровный, благожелательно-бесстрастный.

— Мы осведомлены о благонамеренном образе ваших мыслей. Достоинства вашего характера, умение сойтись со всякими людьми позволяют надеяться, что вы в силах приносить бо́льшую пользу престолу, нежели в настоящей вашей службе...

И словно бы не было пятнадцати тысяч рублей, изъятых прямо из рук его ревизорами. Не было помертвелого лица Пальчинского, дрожания красных волосатых рук ревельского негоцианта Кульберга, везущего пахучие ящики с мылом мимо таможни, а также плачущей жены с дочкой Наденькой при заставе. Представилось даже, что все это сон. Но Лицо говорило вещи осязаемые, доступные чувствам.

— О том не будет знать никто в губернии, даже высшая администрация. Состоять будете в губернском надзоре, что при вашей опытности позволит проникать в разные слои жизни, способствуя патриотическому направлению в мыслях общества. Ибо губерния эта разнородная, подверженная всяческим влияниям, не говоря уж о ссыльном элементе.

Вы подберете для себя десять-двенадцать человек... патриотов. Не сразу, а присмотревшись опытным глазом. Тут надлежит мыслить по-государственному. Лучше всего привлекать людей, застигнутых на чем-то вещественном, коим впереди мыслится острог. Такой человек непременно имеет живой, наблю-

дательский ум, и к тому же готов служить. В награду вы со снисхождением будете смотреть на некоторые слабости в службе, хоть бы на известные благодарности от обывателей. В допустимых, разумеется, пределах. Патриотизму это не мешает. Я бы сказал, наоборот. Некий публицист, желая укорить нас, отметил: «Люди, берущие взятки, никогда не бунтуют». Согласившись с этим, мы идем дальше. Пусть человек имеет известную слабость, но если он активный патриот, то ближе нам заблуждающегося идеалиста...

Именно это он всегда и чувствовал. Да, патриотизм и... и умение обходиться в жизни, не пропускать даваемых ею возможностей. Всегда во всякую минуту он ощущал себя достойным сыном отечества.

— Ах, ваше высокопревосходительство! — в голосе своем он услышал слезы.

Лицо сделало легкое движение рукой:

— Не называйте меня... никак...

Он увидел уже, что нашел здесь понимание. И так как до конца представлял свою преданность, то счел возможным уже с этой минуты начать свою новую службу.

— Позвольте всемилостивейше вас просить...— Что такое? — Лицо как бы замкнулось.

— О служащем при мне чиновнике — Антоне Станиславовиче Пальчинском. Весьма обстоятельный, необходимый человек и патриот. Коль мыслить по-государственному...

— А, это который с вами...— Лицо благосклонно кивнуло.— Что ж, он придется там кстати.

Со дня, как прибыл в губернию, каждый месяц пишется и отправляется особой почтой его донесение, а раз в году он выезжает для личного доклада. Всеми необходимыми данными об интересующих его людях снабжают его там. И на лучшем счету он, о чем свидетельствуют достигнутый им чин и очередной Владимир в петлицу.

Лишь накануне был он в столице, прошел, как водится, с задней стороны ставшие ему знакомыми подъезды и был встречен тем же, что десять лет назад, молчаливым чиновником. Лицо уже сменилось, но как-то и незаметно это было, настолько все сохранялось по-прежнему. Даже запах — восковый, с различимой примесью духов и легкого мышиного присутствия от картотеки, наполнял воздух. У него было тонкое чутье еще по прошлой службе в таможне: приходилось различать подлинные французские парфюмерии от подделки. В вагоне Николаевской дороги или на улице он легко определял по этому запаху

имеющих касательство к тайной службе лиц. Что удивительно — даже от подобранных им в губернии людей начинало пахнуть теми же духами.

Лицо излагало ближайшие задачи в службе, как бы поднимая его над мелкими делами, давая размах... В той губернии, где ведет он столь полезную отечеству работу, находится материальная и духовная основа для естественного движения России во внешнем направлении. Цивилизаторская миссия ее в Азии призывает к новым действиям. А посему надлежит быть готовым. Следует в преддверии колонизации огромного края до Гиндукуша и, можно прямо сказать, до самой Индии, определить единую русскую политику среди инородцев. Сей элемент требует пристальнейшего к себе внимания.

Здесь предстоит действовать твердо и решительно, не допуская либерализма, но и не доводя дело до скандала. Особая задача, наряду со всемерной христианизацией, всеми способами отделять инородцев от приливающей туда русской массы и прежде всего от образованного, вольномысленного слоя. Ни к чему способствовать созданию возможностей письменного языка для инородцев, тем более переложению его на русский шрифт. Мысли по этому поводу, изложенные им в соответствующих донесениях, признаны правильными. Что ж касается генерала Григорьева, то сообщения о его действиях приняты к сведению...

Что ж, разве не подтверждает хоть этот случай с явившимся к нему сейчас киргизом правоту представленного им мнения. Следовало бы на гауптвахту мерзавца, в острог. Но не напрасно предупреждают его об осторожности. Тем более, тут и принятые через Пальчинского деньги у киргизов. Что-то было это в связи с мертвым телом. Там как-будто и эта фамилия упоминалась — Алтынсарин...

Вся неприятность идет от ученого генерала, занимающего не свойственный ему пост. В государственных видах все делается, а посему надо ускорить дело. Присланы ему и выписки из генеральского формуляра. Вовсе не к Московскому университету имел тот отношение, ибо закончил университет в Санкт-Петербурге. А при Московском университете лишь защищал диссертацию «О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству». Накануне назначения в губернию выбран членом-корреспондентом Российской Академии наук. Во всем чисто. Правда, с увлечением занимался работой «Еврейские религиозные секты в России». Уж не в связи ли Генерал с жидами?

Есть еще некая тайность в генеральском послужном списке, совпадающая с молодыми годами в Одессе. Что-то произошло там в Ришельевском лицее. Однако, когда заговорил он об этом, имеющее власть Лицо сделало рукой запретительный знак. Неужели что-нибудь вроде его дела с ревельской таможней, и генерал Василий Васильевич тоже... в патриотическом направлении? Не может того быть. По всему видно, что денег не берет. Разве что четверку лошадей взял в подарок, так оно в видах политики и принято. За ту четверку Григорьев в ответ одарил бия Джанбурчина ружьем с серебряной насечкой, что не меньше по цене. Это проверено после письма, поступившего из узунского киргизского рода...

Значит, придется строить все на вредящих отечеству действиях генерала Григорьева в отношении киргизской эмансипации. Здесь уж, исходя из последней инструкции, можно привести дерзость служащих в областном правлении чиновников-киргизов и осквернение ими православных святынь. Пусть сам генерал поглубже впутается в это дело.

Но почему ж уступил он сегодня этому мальчишке-киргизу? Даже во рту остается какой-то нехороший вкус...

XV

Марабая он даже сразу не узнал. Тонкий, высокий, с узкими скулами на нервном, подвижном лице, тот быстро переводил взгляд с предмета на предмет, и ноздри его вздрагивали. Черные небольшие усы оттеняли бледность кожи. Как будто видел в людях Марабай нечто скрытое и тут же принимал или отвергал их по своему какому-то счету.

И на него посмотрел Марабай пытливым, быстрым взглядом и вдруг стал совсем тем же мальчиком, который играл в асыки и рассказывал о коне, перепрыгивающем реки. Разговор у него был о пустяках: про то, как ехали сюда и как хорошо угощали их в кочевьях. Бешмет новый с серебряной оторочкой подарили ему ишимские аргыны, а алшины дали за его игру иомудского коня, на каких ездят хивинцы. Все разворачивал Мартабай подарки и чуткие пальцы его перебирали украшения со стеклом и камнями, гладили узорную вышивку.

Вместо с дядькой своим Ерназаром-ага поселился у него Марабай. Из киргизской школы принесли плотные аульные кошмы, и гости спали на них, укрываясь одеялами. По приезду Досмухамед повел почтенного Ерназар-ага в мечеть. Марабай же не захотел с ними и сразу же пожелал видеть самого «Жанарала».

Пришлось идти с ним в присутствие. Марабай ничему не

удивлялся и смотрел на проезжающие экипажи, на людей, на идущих строем солдат, словно много раз уже это видел. На нем был вышитый по груди и рукавам казахский полушубок и синяя, с меховой оторочкой шапка.

Генерал оказался в правлении и нужно было предварительно доложить о приезде акына, но Марабай вдруг зашел вперед него и быстро подошел к самому столу Василий Васильевича. Вглядевшись пристально в него, даже наклонившись для этого чуть вперед, Марабай удовлетворенно кивнул:

— Хороший Генерал!..

Василий Васильевич и не улыбнулся даже.

— Это я тебя позвал сюда, Марабай.

То, что Генерал говорит по-казахски, нисколько не удивило акына. Марабай отвечал на все вопросы и обещал, когда нужно, спеть известные ему песни. Нисколько не церемонясь, выбирал он с принесенного из школы блюда баурсаки[1], запивал чаем с молоком. Они с Генералом явно понравились друг другу.

В кабинет вошел с бумагами советник правления от штаба корпуса капитан Андриевский, удивленно посмотрел на расположившегося как дома молодого киргиза. И тут опять Марабай, бросив есть, наклонился вперед, не отводя взгляда от вошедшего. Какое-то напряжение было в его лице, даже пот проступил на лбу. Лишь мгновение продолжалось это. Повернувшись уже к Генералу, Марабай сказал:

— Это хороший человек.

— Наш гость из степи, Иван Матвеевич,— пояснил Генерал — Аттестует вас в положительном смысле.

— Я немного понимаю киргизов,— сказал капитан.

Уходя, Андриевский еще раз обернулся к акыну, но тот уже не обращал ни на что внимания.

Когда вышли от Генерала, Марабай, не слушая его, пошел по коридору, заходя во все двери правления. На него смотрели с недоумением, а он оглядывал шкафы, столы, людей. Иногда даже подходил и трогал что-нибудь руками.

Варфоломей Егорович Воскобойников сразу оживился, когда вошел к нему акын, но ничего не говорил.

— Кто это, Ибрагим? — наконец обратился к нему делопроизводитель.

— Певец из степи, что Василий Васильевич приглашал.

Марабай между тем с интересом вертел в руках бронзового льва из письменного прибора. Варфоломей Егорович все наблюдал за ним.

— Пальцы-то у него. Сразу понятно — музыкант.

---

[1] Запеченные в масле шарики из теста.

Марабай и на делопроизводителя взглянул было внимательно и тут же улыбнулся. Варфоломей Егорович тоже почему-то не пустился в свой язвительный тон. Непонятное происходило между Марабаем и другими людьми.

Больше другого беспокоился он за эту встречу. Но Марабай, как увидел Николая Ивановича, так будто все сразу узнал про него. Переведя взгляд с благодушного лица хозяина на висящую в углу икону, он спросил:

— Это русский бог?

Глаза на иконе и вправду были совсем русские. Николай Ивановича, ни слова не говоря, притянул Марабая к себе.

Как в своей, стал ходить тот в комнате, разглядывая на шкафах и стульях казахские седла, уздечки, праздничные саукеле[1] Потом пошел в спальную, осмотрел другие комнаты.

И на Екатерину Степановну Марабай смотрел, словно она ему аульная тетушка, даже послал ее заваривать для себя чай.

— Говорит, чтобы ты чай ему заварила! — перевел ей Николай Иванович, в восхищении наблюдавший за гостем.

Екатерина Степановна улыбнулась и даже чуть покраснела. Никогда он ее такой не видел. Принеся чай в кабинет, чего не позволяла Николаю Ивановичу, она осталась и слушала непонятный разговор, не сводя с Марабая глаз.

У него забилось сердце. За окном послышались детские голоса, застучали в уличную дверь. Екатерина Степановна поспешила туда. В гостиной разговаривали. Марабай вдруг начал прислушиваться. Екатерина Степановна позвала их к обеду.

— Иван Алексеевич! — побежала к нему Машенька.— Иван Алексеевич, а дед Мороз тоже пришел?

Неожиданно Марабай повернулся к нему. Что-то было во взгляде однолетки-акына, от чего даже сделалось жарко. Неужто тот может все угадывать о человеке? Говорят, среди казахов есть такие люди. Дарья Михайловна смотрела, как обычно, ясно и ласково.

— В то Рождество придет дед Мороз, как станет Машеньке четыре года,— сказала она девочке, по-своему растягивая слова.

Марабай беспокойно слушал ее. Всякий раз, как она говорила, акын удивленно вытягивал шею.

Нисколько не потерялся Марабай за городским столом. Даже вилку держал, выгнул тонкую руку. Как бы от природы получалось это у него.

---

[1] Девичий головной убор.

— Ибрагим, голубчик,— обратилась к нему Екатерина Степановна с видимым смущением.— Ты уж в нашем доме, так мы и знаем, что ты ешь. Будет ли твой товарищ кушать свиную котлету? Как бы не вышло неприятности для него.

— Что говорит апай? — спросил Марабай.

— Орысы едят свинью,— объяснил он.

— Скажи: казахи тоже едят. Когда на охоте убивают.

Уже вечером ушли они от Ильминских. Марабай вдруг остановился и произнес по-русски, совсем так, как она говорила:

— Дед Ма-ароз... Ма-ашенька...

Он, как пойманный на месте, смущенно опустил голову. Акын засмеялся и дернул его за рукав:

— Э-э, курдас, куда еще ты тут ходишь?

Марабай словно угадывал его мысли. Для чего-то ему было необходимо показать акыну всех людей, с которыми знается в городе.

У учителя Алатырцева, как всегда в субботний вечер, сидели гости: Дальцев, доктор Майдель, Андриевский, еще офицеры. Марабай из сеней быстро прошел вперед и принялся переводить взгляд с одного лица на другое. Осмотрев всех, он потянулся к висевшей на стене гитаре. Все замолчали, не понимая, откуда взялся неизвестный киргиз.

— Мой родственник, господа,— сказал он.— Музыкант, что Василий Васильевич позвал из степи.

Учитель Алатырцев пожал ему руку:

— Все еще, Алтынсарин, стоите за натуральность отношений?

Опять все заговорили, лишь временами поглядывая на Марабая, который возился со снятой со стены гитарой. Прежде всего акын недоуменно повертел повязанный на нее бант, развязал и бросил в сторону. Потом, мягко проведя три-четыре раза пальцами по струнам, прислушался и толкнул гитару в руки капитану Андриевскому:

— Скажи, пусть поиграет!

— А и правда, только капитан умеет из нас играть,— удивился учитель Алатырцев, когда произнес он просьбу акына.

Капитан Андриевский подстроил струны, подумал и заиграл что-то, видно, испанское. Марабай остановившимся взглядом смотрел на его руки. Потом, когда тот закончил играть, быстро потянул к себе гитару и вдруг заиграл то же самое.

Совершенно точно повторял акын серенаду, лишь удары тонких пальцев по струнам были легкими, невидимыми, как при игре на домбре. От этого серенада звучала как-то странно,

волнующе и почему-то стало казаться, что так и игралась когда-то у мавров в Гренаде такая музыка...

Снова — уже русскую песню — играл Андриевский, и Марабай тут же повторял все на свой лад. Офицеры с интересом смотрели на акына. А тот невозмутимо пил чай и играл теперь степную мелодию, бесконечную и печальную. Притихшие гости как в седле покачивались телом, не замечая этого.

— Как же определил он, что именно капитан из нас умеет играть? — поинтересовался поручик Дальцев.

Марабай удивленно посмотрел на него, пожал плечами:

— Я знаю.

Утром он открыл глаза и сел на кровати, не понимая, что случилось. Досмухамед и Ерназар-ага спали, зарывшись в одеяла, а Марабая не было. Ручка домбры торчала из прислоненного к стене коржуна. Подождав немного, он принялся быстро одеваться.

На улице было оживленно, ехали сани с сеном, мукой, мороженой рыбой, шли люди к заутрене. Звон плыл в синем утреннем небе. Он пошел на губернскую площадь. И вдруг где-то в середине улицы увидел знакомую фигуру. Закинув голову, Марабай смотрел на белое здание Дворянского собрания. Увидев его, акын не сказал ничего, будто так и нужно было им здесь встретиться.

Они пришли на базар, и Марабай ходил из лавки в лавку, трогая одежды, ковры, самовары. В этот день они побывали на рынке, на меновом дворе, в саду у реки, где скатывались в санках с горы взрослые и дети. Марабай вдруг останавливался на улице и смотрел на кого-нибудь своим непонятным взглядом.

Три дня ходили они так с утра до позднего вечера. Даже во дворы заходил акын, если были открыты ворота, и смотрел внимательно, как там рубили дрова, поили коров, занимались кузнечным или столярным делом. В одном дворе, куда они зашли, кто-то крикнул из флигеля:

— Эй, любезный, смотри, собака порвет!

Акын шел, не обращая никакого внимания на громадного черного пса, позванивающего тяжелой цепью.

— Барбос, а ну покажь ему! — раздался тот же голос.

Пес, зарычавший было, вдруг лег и положил голову на лапы. Марабай даже задел его штаниной, проходя в глубь двора. Из того же флигеля вышла старушка, стала близоруко приглядываться к молча стоявшему акыну. Потом вернулась и вынесла серебряный гривенник. Марабай взял монету, не отводя глаз от старого сморщенного лица.

— На калачик тебе,— сказала старушка.— Небось, чужой здесь ты. Вишь, и не смыслишь по-нашему...

В другом дворе кухарка дала Марабаю кусок пирога с начинкой. Тот взял и съел, подав и ему половину. Пирог был свежий, с мясом. Он тоже съел свою часть, однако все ж боялся, не увидят ли какие-нибудь знакомые.

Сколько ни упрашивал он дома Марабая поиграть что-нибудь, тот равнодушно отмахивался. Домбра лежала, забытая в коржуне. Только в день, когда нужно было идти к Генералу, акын не глядя вытащил ее, взял под мышку...

На кожаном диване были разложены подушки. Деревянная чаша с привезенным из слободки кумысом стояла на генеральском столе. Марабай сидел посредине дивана с серьезным, сосредоточенным лицом. Николай Иванович раскладывал на приставке листы, готовясь писать. Кроме того, у Генерала сидели еще Алексей Александрович Бобровников, капитан Андриевский и бий Нуралы Токашев. К удивлению, в углу примостился и делопроизводитель Воскобойников.

И тут случилось неожиданное. В приемной раздались шаги, послышался уверенный голос. Марабай сразу весь напрягся, вытянул шею по направлению к двери. Она открылась, и вошел Евграф Стёпанович Красовский.

— Желаю здравствовать, господа.— Красовский прошел, уселся в кресло, стоявшее у стола.— Услыхал я приватно, что тут некое народное представление намечается. Что ж, думаю, не предупредили? Как советник правления над Областью оренбургских киргизов решил все же принять участие...

Едва вошел Красовский, Марабай уставился в лицо ему недвижным пристальным взглядом. Тот беспокойно перебрал плечами, оглянулся, но акын уже отвернулся и сидел с опущенными руками. Глаза у него были закрыты.

Генерал молчал. Чувствовалось некое неудобство. В городе говорили о расстройстве отношений между управляющим Областью орунбургских киргизов Генералом Григорьевым и новым губернатором. Знали, что Евграф Степанович Красовский особо враждебно настраивает губернатора против Генерала. В последний раз стычка произошла в день похорон надзиравшего за киргизской школой надворного советника Дынькова. Даже от Синода пришло замечание, а от губернатора последовал Генералу прямой выговор.

Молчание все тянулось. Беспокойно подвигавшись, Николай Иванович сделал знак приступать.

Он дотронулся до локтя Марабая:

— Э, курдас...

Акын открыл глаза и протянул руку к Красовскому:

— Пусть он уйдет... Не буду петь!

Евграф Степанович Красовский выпрямился, дернул ногой:

— Что он сказал?

Действительный статский советник спрашивал это у него, ожидая перевода. Но он даже не сделал вида, что вопрос обращен к нему.

— Что... что он сказал? — Красовский, потерявшись, вертел головой от него к Генералу и вдруг остановил взгляд на бие Нуралы.— Извольте перевести, господин Токашев!

Бий испуганно застыл на своем месте, глаза его сделались совсем круглыми.

— Ай, не знаю, что он сказал. Совсем темный киргиз.

— Говорите же! — настаивал Евграф Степанович.

— Пошел вон, тебе сказал,— выпалил бий Нуралы Токашев.— Песню не хочет при тебе петь!

У Красовского открылся рот, и он никак не мог его закрыть. Всем телом наконец повернувшись к Генералу, Евграф Степанович крикнул срывающимся голосом:

— Извольте распорядиться сейчас же, Ваше превосходительство... Сейчас же!

Генерал сидел, глядя перед собой ничего не выражающим взглядом. Медью отливали тяжелые завитки волос вкруг лба. Действительный статский советник рванулся со стула и, все убыстряя движение, пошел к двери. В приемной, потом в коридоре еще слышались его бегущие шаги. На улице закричал кучер, скрипнули, удаляясь, полозья...

Когда совсем все стихло, Марабай невидимым движением пальцев ударил по струнам. И будто отмело сразу все злое, мелочное, случайное в жизни. У Николая Ивановича сошло с лица мучительное выражение, глаза стали совсем голубыми. Что-то дрогнуло даже в лице Генерала, мягче сделались складки у рта. Со вниманием слушал игру акына капитан Андриевский. И не сводил глаз с тонких, как бы не касавшихся струн пальцев акына делопроизводитель Воскобойников. Лишь Нуралы Токашев, незаметно посмотрев по сторонам, потянулся к баурсаку.

А Марабай все играл стремительно, безостановочно, меняя временами тембр — как бы трогая всякий раз другую струну в душах людей. Акын и не собирался петь. Но и без слов исчез куда-то молодой человек в бешмете и синей аульной шапке. Кто-то другой, владеющий некой горестной тайной, что важна всем людям на земле, рассказывал ее неприкрыто, будто кожу срывал с раны. Бесчисленное количество лет было этому человеку.

Неизвестно уже стало, сколько времени играет акын, все подчинилось обнаженному, имеющему глубокий смысл ритму. Казалось, вот-вот откроется что-то недоступное человеческому пониманию и придет тогда успокоение в людские души.

С силой оторвав себя от этого наваждения, он оглянулся и понял, что и другие люди чувствуют то же самое. Мятущаяся в окоёме музыка рождала ясновидение. Только в том месте, где сидел Нуралы Токашев, виделась темнота. Служащий бий мерно жевал крутое, пропитанное маслом тесто.

Акын все играл. Никогда, казалось, не вырваться уже никому из этого завораживающего ритма. И вдруг словно из бездны времен обрушилось что-то огромное, трагическое, разрушая гармонию вечности. Почти зримо ворвались в замкнутый окоём ширококостые приземистые всадники, заходили в небе черные и красные полосы. Холодный, безжизненный звон рздался в мире. Там, где должно было взойти солнце, встал многорукий бронзовый идол с рубиновыми глазами. «Зарзаман» — время Великой Скорби пел акын Марабай.

Теперь не из одной песни знал он про Нашествие, когда из каждых пяти казахов были убиты трое на земле. Далеко за Поднебесными горами был свой окоём, бесконечной каменной стеной огороженный от остального мира. Оттуда исходили мертвящие излучения на все другие окоёмы вблизи и вдали, парализуя и не давая вырваться из замкнутого круга. Давно умер, превратился в гниющий труп идол, но пустое бронзовое обрамление его сияло, убивая все живое еще в материнском чреве. Дерево набивали там на живое тело, не позволяя ему расти.

И на весь прочий мир упорно, из века в век, протягивались полые бронзовые руки, выдавливая живую кровь. Лишь недавно повторилось это, о чем помнят столетние люди из аргынов, найманов, кереев, кипчаков. Теснимые и направляемые желтым идолом, пронеслись из края в край степи джунгарские хунтайчи[1], превращая тысячи малых окоёмов в единый окоём смерти.

Кровь сочилась из туч. Оскалившие зубы лошади рвали живое тело. Руки акына бились в неразличимые струны, и голос приносил в комнату со стенами и потолком сразу все умолкнувшие некогда стоны:

О, что за время пришло — время скорби великой!
И нет просвета в безбрежности времен...

Внизу под этой комнатой лежали в шкафах сшитые и пронумерованные бумаги о джунгарском нашествии. Среди хо-

[1] Владыки.

лодных четких строк о выгоде от того империи живыми разрозненными всплесками прорывались донесения из линейных крепостей; «а тако уж устроили при фортеции девяносто семейств киргизов-кайсаков с малолетками, не разрешив джунгарцам лишить их живота», «И еще послан был в ставку к хунтайчи подъесаул Зыков с десятью казаками, дабы предупредить того о недопущении воровства и разбоя оных джунгарцев противу мирных киргизов, изъявивших прийти в российское подданство. Для того усилены караулы на постах, а для удержания джунгарцев в отдалении на валы выкачены пушки».

Одинаково, как и сто лет назад в безвестной линейной фортеции, воспринимали человеческое горе эти люди. Но ничего не понимал бий Нуралы, как ничего не услышал бы в песне акына действительный статский советник Красовский. Мир расслаивался совсем в другой плоскости.

Приготовленная бумага лежала нетронутой перед Николаем Ивановичем. Закончив песню скорби, Марабай долго еще держал одну и ту же ноту, словно никак не отпускали его бесчисленные тени. И вдруг властно переменил тембр: понесся сквозь время, могучими взмахами перепрыгивая реки, конь Тайбурыл. Копыта коня оставляли следы-озера, и ехал на нем связанный с ним воедино, с каждой травинкой в степи батыр Кобланды. Потом мерно и неутомимо скакали сорок батыров в помощь осажденной капырыми Казани, шли вдоль поросшего камышом моря в Крым ногайлинские дружины. И нисколько не беспокоился Генерал, что это с русскими, осаждавшими Казань, ехали когда-то мериться силами степные батыры.

Безостановочно, лишь провожая всякий сюжет установленной для него музыкой, играл акын. В одном лице шло теперь присущее степи состязание двух сторон. Айтыс следовал за айтысом: с прямой, не уклоняющейся от назначенной мысли образностью говорили друг с другом сказители-жырау, ханы, батыры, акыны. Реальный спор, происходивший сто и тысячу лет назад, не прекращался, и до предела напряжено было действие. Слушатель попеременно становился на ту и другую сторону, как бы копьем разя противника в самое незащищенное место. В том была естественная справедливость. Никакого прикрытия не полагалось в таком поединке, и победа в нем становилась на века правилом жизни.

Синяя ночь пришла в окна комнаты, расширились стены, уплыл потолок, и оттого еще резче и обнаженней звучала музыка. Едва угадываемые тени людей были недвижны, только где-то посредине билась, словно от ударов крови, тонкая синяя полоска. Вдруг наставшая тишина представилась концом жизни. Как в

уходящем сознании, продолжали еще слышаться голоса, обрывки мелодии, запевные кличи.

— Сейчас внесут свет, Ваше превосходительство!

Голос Варфоломея Егоровича Воскобойникова выражал тревогу. От принесенной свечи зажгли большую висячую лампу под потолком. В побелевшем лице акына не было жизни. Ахнув, бросился к дивану Николай Иванович, стал щупать руки, голову Марабая. Все толпились, не зная, что делать.

— Может, Майделя позвать? — спросил Варфоломей Егорович.

Но тут шевельнулся акын Марабай. Глаза его открылись, с серьезным вниманием оглядел комнату, стоящих вокруг людей. Варфоломей Егорович налил в пиалку кумыса, подал ему, но Марабай отрицательно покачал головой. Когда-то, много лет назад, мальчик-курдас тоже не стал ни есть ни пить после своего пения... Дома Марабай тихо лежал на спине, с закрытыми глазами, и непонятно было, спит ли он. Варфоломей Егорович проводил их до самого дома. С недоверчивым удивлением разглядывал делопроизводитель домбру, хотел даже тронуть струны. Не решившись на то, положил ее рядом с изголовьем акына.

Заслонив от Марабая лампу, он придвинул лист бумаги. Некая мысль явилась ему. Еще когда пел Марабай, стала она выступать из тумана. Теперь же, в тишине ночи, мысль сделалась очевидной.

Узнав от Николая Ивановича, что есть особые книги про то, как обходиться с детьми, он уже с осени отыскивал их. Они были переводные с немецкого языка, имелась и русская книга. Ему интересно было читать, как надлежит объяснить ребенку явления природы, развивать его ум, приучать к благородным движениям души. Отдельные имелись наставления по арифметике — каким путем способнее научить дитя быстро считать в уме; по пению, где говорилось, сколь полезна человеку музыкальность. Даже у эллинских мудрецов вычитал он, что относилось к искусству педагогии.

Однако же все было не то. В книгах говорилось про детей, которые росли в одном со взрослыми состоянии, лишь переходя из возраста в возраст. Это тоже было необходимо. Но ни в одной книге не объяснялось про детей, которым предстояло из-за окоёма прийти в новый, неизвестный им мир. Как сделать, чтобы обошлось это с наибольшей натуральностью, а не искривило и оттолкнуло их души? Какие способы есть для того, чтобы соединить устоявшуюся вечность с движением остального мира? Никто, сам Генерал и Николай Иванович, при всей их душевной

готовности, не могли этого сделать. Предстояло приступить к делу одному. Первый и единственный пока он был.

Сегодня, слушая Марабая, увидел он, от чего надо исходить в начале этого пути. Только так, как бы продолжая вечность, можно привлечь внимание детей в окоёме. Если прямо обратиться к ним с призывом, то будет это явным нарушением правила. Но айтыс с его соревнованием сторон войдет закономерным элементом в устойчивую линию мышления.

И обязательно должны участвовать известные всем лица. Первым таким лицом у узунских кипчаков является бий Балгожа, определяющий единство степи на стыке двух жузов[1]. Пусть же от него происходит начало. Другой стороной станет он сам, усыновленный внук бия. Так же, как в айтысе, должен звучать родительский монолог — обращение:

Свет очей моих! Сын мой! Надежда моя!
Я пишу тебе, мыслей своих не тая...

«К тебе обращаюсь, дочка, чтобы золовка услышала». Такова мудрость окоёма. Он не заметил, как исписал до конца лист. Ничего тут не было постороннего, уходящего в сторону от принятой мысли. Содержание, враждебное окоёму, укладывалось в привычную ему форму поучения:

Ты, наверно, скучаешь и рвешься домой...
Поприлежней учись, грусть пройдет стороной,
Станешь грамотным — будешь опорою нам,
Нам, к закату идущим седым старикам.
Если неучем ты возвратишься в свой дом,
Упрекать себя с горечью будешь потом...[2]

Что же, все правильно. Мудрый бий Балгожа некогда сам предвосхитил свое участие в началах этой педагогии, отправив его в оренбургскую школу. Мать его Айман никак не хотела отпускать его к капирам и жаловалась на бия старшему в семье Кангоже. Через прочих кипчаков и через неисчислимых родичей матери — аргынов вся степь знала про такое противостояние. О нём и рассказывали в лицах: пелись речитативом отдельные посылки Айман-апы и Кангожи, и ответы на них деда. Существовала даже версия, что потому отпущен был он Балгожой к русским, что вовсе и не родным внуком приходится бию. Тут уж дядя Кулубай с дядей Хасеном постарались. Теперь же письмо бия точно ложилось в принятую схему. Как тысячелетней давности айтыс, оно становилось правилом.

---

[1] Племенные объединения казахов — Младший, Средний и Старший.
[2] Алтынсарин И. «Письмо Балгожи к сыну». Здесь и далее подлинники.

Буквы, которыми записал он все, были русские. Так делал он для себя уже давно, со школьных времен. Но как же поступить пока с написанным поучением? Он засунул его в бумаги, сохраняемые все до одной с первого дня, как научился писать. Это было в нем от кипчакской вечности, где всякая исписанная бумага приобретала некое таинственное значение. С незапамятных хазарских времен хранились в кочевьях книги с непонятными уже письменами, и никогда еще не было случая, чтобы в самые тяжелые времена хоть листок был выброшен из особого сундучка, имевшегося в каждом роде. Отдельный свежий конь всегда полагался для него.

Пришел день отъезда Марабая. Как-то быстро и естественно сделался акын своим в городе. Не только в правлении, куда вызвали его, но даже на улице, на базаре и меновом дворе у него появились знакомые, с которыми тот здоровался и находил какой-то свой, особенный язык.

Вместе с Николаем Ивановичем полмесяца записывали они песни и айтысы. Акын терпеливо наговаривал их, а потом убегал куда-то по своим делам. В доме Ильминских он вел себя как бы кипчакским родичем, и Екатерина Степановна, совсем как аульная апай, исполняла его прихоти. Дарью Михайловну он заставлял играть и не отходил от фортепьяно, точно повторяя элегии и романсы. От ударов его тонких, нервных пальцев по клавишам все получалось как-то иначе, музыке передавалась кипчакская порывистость. Она особым образом соединялась с русской мелодией и получалось нечто новое, необычное.

Ему пришлось уехать по поручению Генерала на десять дней в ставку султана Западной части Орды, и тогда Кулубеков помогал Николаю Ивановичу записывать песни Марабая. Акын уже начал скучать.

В последний день они поехали по знакомым. Учитель Алатырцев, отвязав бант, дал акыну гитару:

— Мне она без нужды. Пусть будет памятью об удовольствии общения.

У Ильминских Марабай, не спрашиваясь, сам снял со стены часы с кукушкой. Николай Иванович еще дал ему немецкую музыкальную шкатулку, а Екатерина Степановна — расшитую петухами рубашку. От областного правления акыну подарили самовар с серебряной подставкой. Даже Варфоломей Егорович отдал ему бронзового льва со своей чернильницы. Подарков получилось столько, что пришлось вьючить еще одну лошадь.

— Буду каждую осень приезжать,— пообещал Марабай.

Он провожал курдаса верхом до первых линейных постов и долго стоял, пока не скрылась из виду тонкая фигура всадника в круглой, опушенной мехом шапке. Только эта шапка и осталась на акыне из одежды, в которой тот приехал. На ногах у него были оренбургской моды сапоги. А еще суконные городские штаны, сшитое на заказ пальто на меху, и под ним — рубашка с веселыми красными петухами.

А он ехал назад и все думал, почему так легко случилось у Марабая то, на что самому ему понадобилось десять лет жизни. И вдруг остановил коня посреди дороги, уставившись в точку перед собой. И в нем самом что-то изменил приезд акына. Он понял, что впервые не отделяется в мыслях у него этот мир от мира узунских кипчаков.

Он оглянулся, посмотрел туда, где линия окоёма полукружьем отделяла небо от земли. Тот же мир продолжался там, за линией, куда скрылся Марабай.

XVI

Когда отпускает он поводья, радостный кюй[1] начинает звучать громче. Будто вырвавшаяся из пальцев птица, музыка взмывает вверх, обгоняет скачущего коня, и поёт уже потеплевшая, с проталинами земля, дрожит пропитанный паром воздух, стремительно несутся в небе белые хлопья облаков. Однако, не пропадают и иные мелодии. Их бесчисленное множество — новых, неожиданных для него, и они теснятся, звучат сразу все, вплетаясь время от времени в кюй, живущий в нем от рождения.

Не только мелодии, но запахи из города остались с ним. По-особому пахнет черная глянцевая кожа сапог, сукно орысского чапана-пальто, петушиная рубашка, даже самовар имеет другой запах. Медь, плавленная в степи, пахнет резче, и кисловатый привкус остается от нее на губах.

Въехав на пригорок, оборачивается он назад. Провожавшего его курдаса уже не видно. Все боялся чего-то внук узунского бия и смотрел на него с настороженным вниманием. Но как только увидели они друг друга, то вспомнили, как играли в асыки на берегу Алтын-коля. До сих пор должен тот ему двенадцать проигранных костей...

Сразу понял он, отчего волнуется курдас. И пройдя в дом, побыстрее посмотрел в лицо человека с большим лбом и закрученными возле ушей волосами. Какая-то тяжесть значилась в серых спокойных глазах, но лицо было светлое. И кюй продолжал звучать, не прерываясь.

---

[1] Жанр казахской музыки.

От рождения это было в нем. В пять лет начал он беспокоиться и кричать, показывая руками в сторону. И когда поехали туда, увидели за холмами раненого джигита. В день, когда умер его отец, он вместе с дядькой Ерназаром находился на тое у танабугинцев, в девяти днях пути от своего кочевья. И вдруг бросил играть, закрыл лицо руками. Как раз в это время дня умер отец. Если пропадала лошадь, приходили к нему, и он рассказывал, где она сейчас. Как это получалось у него, он сам не знал. Просто думал, не видя и не слыша ничего вокруг, а потом начинал говорить.

С людьми не приходилось даже думать. Тоже пять лет было ему, когда в кочевье заехал длиннорукий человек с редкой бородкой и тихим, журчащим голосом. Едва гость повернул лицо в его сторону, он громко закричал:

— Кара-бет... Кара-бет![1]

Длиннорукий, дернулся, стал спиной отступать к нерасседланному коню. За ним погнались и сшибли соилом на землю где-то за озером. Оказался это известный хивинский разбойник Девлетбай, который в ту ночь зарезал трех людей, едущих на ярмарку.

Так оно и было. Когда смотрел он на нехорошего человека, лицо у того начинало чернеть. Никто, кроме него, не видел этого. И еще игравшая всегда в нем музыка вдруг прерывалась, нарушался такт, слышался какой-то скрежет.

Он удивился, увидев курдаса в темной, с блестящими пуговицами одежде и чужими волосами на голове. Что-то еще переменилось в лице внука узунского бия. Но было оно, как вода в Золотом озере, когда играли они в асыки. Музыка зазвучала громче. Лишь некое волнение прочитал он в глазах друга.

И лицо человека с широким лбом не потемнело. Чуть-чуть улыбнулись серые холодные глаза. Только ему дано было это увидеть, и, повернувшись к курдасу, он сказал:

— Жаксы Жанарал[2]!

Он сразу понял, что внук узунского бия показывал ему людей и ждал оценки. Как только вошел крепким шагом еще один русский человек — высокий, с резкими движениями рук, он и на него начал смотреть. Тот удивленно оглянулся. Открытым было твердое скуластое лицо. Даже места там не было, чтобы таиться чему-то недоброму.

— Жаксы адам[3]! — сказал он уверенно.

За спиной у Генерала висел нарисованный краской человек с усами и тоже закрученными по краям лба волосами. Расшитые золотом шнуры тянулись через всю грудь, кругами укладывались

[1] Черное лицо.
[2] Хороший генерал.
[3] Хороший человек.

на плечах. На шее и груди было навешано у него много золота, только лица у этого человека совсем не было. Он пожал плечами.

Из этого большого, сложенного из камней дома, как сказал курдас, управляли казахами в степи. Он пошел, заглядывая во все комнаты. Там сидели люди в темных с пуговицами одеждах, но лиц у них не было. Будто и они были нарисованы, так что ничего нельзя было разглядеть. Пахло деревом и чем-то едким, знакомым. Так пахнет весной от сурчиных нор.

Лишь в одной комнате сразу увидел он старика с большим синим носом и опущенными книзу краями рта. В худом, подвижном лице была застарелая злость, но он засмеялся, потому что понятен был ему этот человек. Нисколько не был тот злым, а лишь вид такой напускал на себя. Старик даже растерялся, застигнутый его взглядом. Он подошел, погладил рукой заляпанного синими пятнами медного льва-ширгази на столе.

Кюй продолжал непрерывно звучать. У хозяина дома, в который они потом пришли, глаза были как теплые голубые камни, которые оберегают от злых духов. А между стенами в углу висел русский бог, про которого рассказывали ему. Не бог это был, а пророк Иса, признаваемый правоверными. Ясно виделась снизу темная доска, лицо и руки казались ненастоящими, но был это совсем живой человек. Зачем же сделали орысы из него бога?

Какая-то связь была между хозяином и нарисованным на доске богом. Он сразу ее увидел и когда спросил об этом, хозяин дома привлек его к груди. Потом явилась апай с таким же ясным лицом и стала смотреть на него, как все другие женщины в аулах.

Здесь ему все было понятно. Он осмотрел дом: как живут и где спят русские, какие у них подушки, одеяла. В комнате у хозяина все было казахское: седла, уздечки, даже курук[1] стоял в углу. Он понял, что человек с голубыми глазами собирает это, чтобы показать другим русским, как живут казахи. Это ему больше всего понравилось.

На улице послышался звучный женский голос, сразу выделившийся из других голосов. Он все прислушивался к нему, и когда апай позвала их в комнату для гостей, увидел круглолицую, с чуть вздернутым носом женщину с приглаженными на две стороны светлыми волосами. Ему даже захотелось подойти и потрогать ее шею, откуда выходили такие певучие звуки. Он перестал вдруг слышать дыхание курдаса, оглянулся, потом посмотрел на женщину, которая возилась с детьми, и рассмеялся.

---

[1] Шест с петлей для отлова лошадей из табуна.

Ничего не сказал он сыну узунского бия. Лишь когда вышли на улицу, остановился и протянул:

— Дед Ма-ароз... Ма-ашенька.

Курдас смешно втянул голову в плечи.

В следующем доме, куда они пришли, сидели за столом семь человек. Одного — с резким движением рук, он уже видел у Генерала. Ни у кого из них не было плохого лица.

На стене висела орысская домбра и почему-то ленточка была привязана к ней, как над могилой святого человека. Он отвязал ленточку и дал домбру в руки сидящему напротив орысу. Еще тогда, у Генерала, различил он, что этот человек занимается музыкой. Не на уши для этого надо смотреть, а чуть повыше глаз.

Русский, медленно трогая струны тяжелыми пальцами, начал играть. Хоть никогда не слышал он такой музыки, все было понятно. Кто-то звал девушку прийти к нему. Взяв назад орысскую домбру, он сыграл то же самое. Струн было больше, но это не мешало ему.

Опять и опять играл он вслед за орысом, и все понятней делались эти люди. Потом он заиграл кюй. Они слушали сначала с недоумением, но лица оставались светлыми. Совсем как казахи закачались они из стороны в сторону. А он вдруг включил в кюй мотив услышанной только что русской песни. Совсем ошеломленные сидели они, не догадываясь ни о чем. Курдас тоже так ничего и не понял. Это была уже его тайна музыканта...

Сначала вместе с внуком узунского бия ходили они по городу. Что-то произошло с курдасом, и не такой он стал, каким был у озера. В домах, куда они заходили, давали им деньги или хлеб, а внук бия отворачивался или опускал глаза. Орысы, особенно старые люди и женщины, делали это так же, как и казахи. Между тем в ауле курдас взял бы еду из руки любого человека. Это происходило, наверно, от одежды с блестящими пуговицами, и он стал ходить по городу один.

Теперь он знал все на базаре, на меновом дворе, на конном рынке, все дома и улицы. Нисколько не чувствовал он себя стесненным среди орысов. Были они обыкновенные, и злость, жадность, хитрость, доброта виделись сразу. В разговор вступали они, даже не спрашивая предварительно, как здоровье и как идут дела.

На второй день он подрался на конном рынке с приказчиком. Тот сорвал у него с головы шапку и бросил в сторону. Тогда

ногой сделал он палуанскую[1] подсечку. Приказчик вскочил на ноги и схватил деревянный кол, но другие орысы не позволили драться дальше.

— Он тебя по-честному, Егор Васильевич. Сам малого зацепил,— говорили вокруг и смеялись.— Вон какой щуплый, а самого Гундарева повалил!

Он все понимал. А через день приказчик подошел к нему, похлопал по плечу:

— Ну, ты не серчай. Давай по-новой!

Они опять боролись, и он показал орысу, как, приседая вдруг, делать такую подсечку. Даже верблюда можно так свалить на землю. С того времени он совсем свой сделался на рынке. Да и в других местах его знали. Был он в слободской мечети, ходил в русскую церковь. На него смотрели благожелательно. Орысы пели хором плавные, успокаивающие песни. Бог Иса и женщина с ребенком печально смотрели на людей.

Даже на большой двор к солдатам он заходил. Его не хотели пускать, но потом вышел старший из них, с седыми усами:

— Да это ж киргиз странной, что ходит кругом. Пусти его, Вальчук, нехай посмотрит.

Он понимал, не зная слов. Солдаты учились длинными ружьями колоть травяные чучела. Точно так джигиты в кочевьях кололи пиками подвешенные к шестам камышовые жгуты. На солдат кричали, подталкивали в спину. У них были усталые лица, и без злости втыкали они в траву отточенное железо.

Он не знал, о чем будет петь Генералу. Может быть, праздничные песни или айтысы, где перепираются между собой известные в степи люди. Так объяснил ему курдас, но было видно, что тот чего-то не договаривает. Настоящий акын сам видит, о чем следует петь людям, которые собрались его слушать. Внук узунского бия понимал это и ни о чем не просил.

Почти все собравшиеся у Генерала были ему знакомы. Из новых людей сидел в углу грузный казах в малиновых штанах, с важностью приветствовавший его. Принесли блюдо с баурсаками и кумыс. Он без всякого чувства взял в руки домбру, ощутил холодное гладкое дерево. Все еще не знал он, что будет играть.

И вдруг будто лопнули невидимые струны. Непрерывно звучащий в нем кюй оборвался на лету, послышался жесткий звук. Чей-то недобрый голос появился за стеной. Весь охваченный тревогой, не отводил он глаз от двери.

Вошел орыс в такой же точно одежде, как у Генерала. Даже

---

[1] Силач, борец.

серебряный крест на шее у них был одинаковый. Ничего нельзя было разглядеть в лице вошедшего. Орыс сел с правой стороны, начал говорить, и тут лицо его стало быстро чернеть, превращаться в сухой холодный уголь. Никто, кроме него, не видел этого. И тогда, показав рукой на вошедшего Кара-бета, он крикнул, что не будет петь.

Потом он закрыл глаза, но все видел. Лицо у Генерала сделалось совсем светлым, и такие же твердые светлые лица были у других орысов. Они молчали, а Кара-бет кричал, пока не рассыпался в прах. Бегущие шаги его слышались за стеной, скрипело железо о снег. И когда все стихло, опять в нем заиграл кюй. Он схватил горячую ручку домбры, дрожь в пальцах передалась струнам.

Он уже знал, что им все можно петь. Самый тайный разговор с предками, который игрался лишь наедине, беспрепятственно звучал в каменном орысском доме. В лице курдаса он увидел радость.

Песню горя — «Зарзаман» он пел, которую лишь раз в году полагалось исполнять акыну. И еще любимую свою песню — о Кобланды. Потом он пел, не останавливаясь, айтысы известных акынов, послания живших в разные времена жирау[1], праздничные песни...

Привстав на стременах, он пытался разглядеть что-нибудь за полукруглой линией, где небо сходится с землей. Но курдаса уже не было видно. Однако линия не мешала ему. И он видел за ней внука узунского бия, едущего назад на серой лошадке. Различал он дома улицы, лица людей. Там, где однажды он пел, считалась его земля. Такое было правило среди акынов.

XVII

— Вот, кстати, господин Алтынсарин!

Учитель Алатырцев называл его по-разному, но всегда на «вы», с первого класса школы. Это нравилось ему. Только в коротких случаях, между очень близкими людьми, говорилось «ты». В доме Ильминских так его звали — Ибрай...

Здесь, как во всем городе, говорили о курдасе его — акыне Марабае. Вчера только слышал он, что озверелый киргиз не одним словом, но и действием оскорбил действительного статского советника Красовского, Евграф Степанович едва спасся, когда тот приступил к нему с кривым ножом. А генерал Гри-

[1] Сказители.

горьев укрыл разбойника, желающего по методу Шамиля объявить России священную войну.

— Все это, надо полагать, досужая болтовня, господа,— сказал сосед учителя Алатырцева коллежский советник Куров.— Однако же достоверно известно, что призванный из степи киргиз с потворствования и даже одобрения генерала Григорьева исполнял в его присутствии превратные песни. Так, в одной из них говорилось о призыве к защите Казани против русских, когда осадил ее государь Иоанн Васильевич. Перечислялись поименно киргизские батыры, поспешившие туда на этот призыв. Согласитесь, господа, что в сей ответственный момент, когда России предстоит продвинуть свои границы в глубь Азии...

— Кто ж это так подробно доложил? — спросил капитан Андриевский, хмуро почесывая щеку.— Вовсе немного нас там присутствовало.

— Имеется свидетельство члена пограничного правления господина Токашева. К тому еще Евграф Степанович обратился с письменным вердиктом об оскорблении и непринятия должных мер со стороны Василия Васильевича в защиту русской чести.

— Сожрать Василия Всильевича этот мухомор давно желает и место прибыльное при том приобрести,— резким, простуженным голосом сказал командир топографической роты майор Яковлев.

— Что ж там прибыльного, в управлении киргизами? — удивился поручик Дальцев.

— Наивная душа ты, Владимир Андреевич. Да одни таможни сколько дадут ловкому человеку. Не говоря про киргизов, что друг с другом никак мира не поимеют. Уж Красовский на сей счет промаху не даст. А сила за ним определенная имеется. Все про то знают.

— Какая такая сила?

Яковлев промолчал и еще больше нахмурился. Другие за столом под недоуменным взглядом Дальцева тоже отводили глаза. Знакомая тень прошла по лицам.

Капитан Андриевский сцепил перед собой на столе пальцы рук, так что они хрустнули:

— Только не представляю, к чему же тут Казань. Обычная, как понял я, историческая песня о батырской лихости. Вроде наших казачьих былей. Коль думаем принудить татар с собой вместе взятие Казани праздновать, то пустое это дело. Естественно, татары поют про это свои песни. Главная задача — дать понять им, что все то прошлое, быльем поросло, и вместе идти нам в грядущую цивилизацию. Но ежели запрещать им свои естественные былины петь да еще про Мамаево побоище всякий день напоминать, то как раз другого результата достигнем.

— Думаете, капитан, того Евграфу Степановичу хочется, чтобы истинная русская честь соблюдалась? — Яковлев с привычной для него строгостью смотрел на Андриевского.— Нет, тут именно удобный момент бесчестному человеку воду замутить. Вот, мол, она, крамола — лови, хватай! Легче всего на русском чувстве общество остервенить. При этом так и смотри: кто больше об отечестве кричит, тот, значит, из кормушки больший кусок своровать хочет. Навидались мы тут на границе таких патриотов. Мы, старожилы, почему-то и с башкирами, и с киргизами, и с татарами хорошо живем. Ну бывает кое-что, так то между соседями. А тут явится этакий честеблюститель, и давай зудить. Нет, господа, я так думаю, что отечество, как и женщину, порядочные люди молча любят. На всех углах о том не кричат.

— Отечество... Понятие скорей духовное, чем политическое.— Учитель Алатырцев в задумчивости развел руки по столу.— Незабвенный гений наш, провидя свою роль в сем будущем процессе, сказал: «и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Думается, господа, будущая нация русская продолжает еще складываться, природно приближая к себе исторически близкие народности. Вне зависимости от расы или сходства в корнях. В том сила русская. А славянофилы наши, особенно их крайняя, московская часть, все в колокола звонят: даже слова татарские хотят из русского языка выбросить. Впрочем, также и малороссийские. Можно ли тащить Россию назад, в Московское княжество. Да и так ли там все благостно было? Дыба — она ведь не из Испании привезена.

Куров, который все ерзал по стулу, начал возражать:

— Почему же так однозначно, Арсений Михайлович. Славянофильское мировоззрение суть достижение русской души.

— Ну какой же вы, господин Куров, славянофил? — Андриевский, не терпевший соседа учителя Алатырцева, с откровенной насмешкой смотрел ему в лицо.

— Почему же... Мое мнение определенное в этом вопросе.

— Вы просто-напросто коллежский советник Куров, и все этим сказано. А начальство хоть и журит порой старомосковских патриотов за излишнее галдение, все ж благоволит к ним. Как-никак дыба — вещь основательная, не то что превратные мечтания об общей сытости. Как-то так и случается, что славянофилы обычно у естественного пирога обретаются. Почему-то движение души всегда совпадает у них с видами начальства. Придут завтра какой ни есть породы якобинцы к власти, так вы опять при них славянофилами станете. От пирога вы не отойдете, это уж точно.

— Помилуйте, какой такой пирог... Извольте объясниться, господин Андриевский!

— Что тут объясняться. Слышно, вас в статские готовят. Именно вас, а не кого другого. И орден во благовремение. Всякие пироги имеются в благоустроенном государстве. Да сами вы между собой особливые привилегии для себя корытом именуете. Значит, понимаете, кто вы есть в глазах отечества.

— Это беспорочная служба, сударь. Служить надо без всяких замечаний. Да-ас!

У Курова побагровела шея, он откинулся на спинку стула. Такие споры всякий раз происходили здесь. Но сегодня все кружилось вокруг дела с Марабаем. В день, когда произошла история, действительный статский советник Красовский потребовал ареста акына, будто бы оскорбившего его. Потом прибавился донос бия Токашева о подстрекательских песнях, тоже по инициативе Красовского. Управляющий Областью оренбургских киргизов генерал Григорьев категорически воспротивился применению каких-либо мер к призванному им акыну. Потому и послал Алтынсарина сопровождать Марабая до линейных постов, чтобы не вышло какой провокации.

Учитель Алатырцев развивал свою мысль:

— Можно ли созидать будущую Россию идеями Калиты? Мономахова шапка ведь не просто предмет одежды. Двухголовый имперский орел подразумевает слияние в одно целое самых широких и разнородных элементов Востока и Запада. Увидев, что демонстрационно вычеркивают их слова из языка русского, не станут ли те же татары замыкаться в свое казанское прошлое. И коль придавать современную политическую оценку их поведению в туманах истории, то значит самих их провоцировать к подобной оценке. Тот молодой киргиз и в помине не имел нас, сегодняшних русских, когда пел о своих батырах, едущих в помощь Казани. Уж одно то следует сообразить, что нам он это и пел. А вот как посадить его в острог за эту песню, то сразу всю степь подтолкнуть на лукавый взгляд в сторону прошлого. Какой еще больший вред можно причинить России, предназначенной ей историей функции соединения народов. В ответ на старомосковские крики о Мамаевом побоище они тут же Калку представят.

— Так за душой больше ничего нет, оттого и кричат,— мрачно пояснил Андриевский.— Весь капитал-то у них — любовь к отечеству. Как у женщин известного поведения. Построчно берут за эту любовь. Хуже не то, а что тема святая. Тут и честный человек слушает-слушает, да очумеет от их криков, туда же бросится. Что лучше для вора, когда все кричат и никто ничего не понимает.

— Вот, может быть, господин Алтынсарин скажет что-нибудь по этому поводу,— предложил поручик Дальцев.

На него смотрели с интересом. Учитель Алатырцев положил перед собой на стол руки, как всегда это делал в школе. Капитан Андриевский, еще не остывший от спора, по-казачьи держал тело чуть боком, будто готовясь к рубке лозы. Коллежский советник Куров, в общем-то неплохой человек, обиженно моргал ресницами. Майор Яковлев, с седыми висками, строго, в упор смотрел на него. Да, он скажет все, что думает. Им он должен сказать. Уставившись в точку по своему обыкновению, он помолчал и поднял голову:

— Думаю, господа, все пойдет натуральным путем. Киргизы, как и все прочие народы, сами по себе лишены чувства исторической злобы. Такое чувство обычно навязывается, вынуждается сторонними действиями. Единственный возможный путь у киргизов в будущее соединен с Россией. Сама природа русского характера такова, что способствует этому приближению. При том важно лишь одно обстоятельство. Пока у России есть вот такие книжки и журналы, как у вас в ящике, Арсений Михайлович, пока Гоголь есть, все прочие народы, включая киргиз, с доверием приходят к вам. И еще пока все вы, господа, говорите с неудовлетворением о себе, видите себя с различных сторон. Покуда есть это, и порыв исторический России в помощь другим народам оправдан... Если же вот такие, как Евграф Степанович, возьмут верх... Не его только имею в виду. Такие люди, как вы знаете, и в обществе, и в литературе есть. В одних лишь превосходительных степенях про Россию пишут, да волком при том во все стороны глядят... Вот если они возьмут верх, да вас всех заставят молчать, то естественно начнут отходить от России народы...

У нас таких людей называют «Кара-бет» — человек с черным лицом. Что же может дать киргизам такой Кара-бет? Взятки, лизоблюдничанье, ползание на животе с обязательным возвеличиванием того, кто на троне, без малейшего права наблюдать недостатки и даже говорить о том. Да еще патриотическим делом считать столь несвойственное человеку поведение. Так у нас самих от времен Чингисхана такого наследства предостаточно. Зачем на стороне учиться... В том же, чем живет подлинная Россия, господа, киргизы всегда будут с ней вместе.

Сыроватый, пахнущий весной ветер обдувал разгоряченное лицо. Глаза быстро привыкли к сумраку. В соседнем офицерском доме громко стукнула дверь, матерная ругань выплеснулась в пустую, грязную от стаявшего снега улицу. Плакала, как всегда, женщина.

— Безобразничают-то ингульцы! — сказал в темноте простуженный голос.

Он обернулся и увидел майора Яковлева, по-видимому, вслед за ним ушедшего от учителя Алатырцева. Тот стоял чуть в стороне, и табачный запах от трубки доносило ветром. В доме учителя, страдающего грудью, курить воздерживались.

— Тоже жизнь пехотная у них.— Яковлев хотел что-то объяснить.— С седьмого часу утра на плацу. Кричит весь день, руками машет. Затемно вернется, примет очищенной — и до ночи в карты. Собачья, можно сказать, жизнь. Какой может быть у него человеческий разговор. С солдатом и с женщиной — одинаково он...

В офицерском доме утихомирились, в окнах погас свет. Командир топографов медленно пошел по краю сухой дорожки, уступая ему другую половину.

— Вы, Иван Алексеевич, давеча правильно говорили. Природа русская не злая. Самая простая и душевная она, можно сказать. Только лихости, беззастенчивости порой в ней слишком уж достаточно. Многие за хорошее это принимают, гордятся даже буйством своим. А выходит одна только беспорядочность. Думает: вот, мол, любо-хорошо все от природы как получится, а дело беспременно слезами кончается. Я, например, думаю, что великий наш государь Петр правильно сделал, надев узду на эту природную лихость. Однако и сам он той же лихостью был обуреваем. И под уздой, под законным мундиром все та же безоглядная натура у нас играет. Нет, тут человека надлежит взять во внимание, в нем самом следует божий вид находить. Основа-то хорошая. А тогда, от человека, и к правде можно приступать. У нас же все норовят от правды к человеку. Любому эскадронному командиру все тут ясно представляется. Это еще недоброй памяти граф Алексей Андреевич Аракчеев инженерным гением человеческого счастья в этом смысле выступил...

С рождественской елки у Генерала многие и взрослые, кто мало знал его раньше, стали звать его Иваном Алексеевичем. Майора Яковлева в городе уважали, и ему приятно было слышать, как тот принял его слова. Они вышли на Большую улицу, встали на углу. Командир топографов смотрел в южную сторону, откуда ветер порывами приносил тепло.

— В позапрошлогоднее лето, если изволите знать, был я в Бухаре. С миссией полковника Игнатьева[1].— Яковлев разжег потухшую было трубку, попыхал ею.— Примечательная история как раз при нас там произошла. Я-то по службе своей не впервой

[1] Игнатьев Н. П. (1832—1908) — русский дипломат и государственный деятель.

там. Еще в сорок первом с Николаем Владимировичем Ханыковым[1], в посольстве Бутенева[2] участвовал, так что бухарское общественное устройство было мне отчасти известно. Почти при мне там двух англичан освежевали и на стену вывесили. А вот командир мой Николай Павлович Игнатьев, человек вовсе молодой, только Академию Генерального штаба закончил. Да и веяния последние годы пошли у нас такие, что все больше закон во главу угла ставят. Так оно и несколько необычно для него показалось...

Обитали мы там как раз возле дворца тамошнего мирзы — губернатора, на подворье. Вельможа первостепенный по бухарской табели. Ну, вроде петербургского генерал-губернатора. К тому ж заслуги большие. Однако ж не угодил вдруг чем-то Насрулле-эмиру. Писари их стороной сказывали, что взгляд того утром не понравился. Это на Востоке принято. «А ну-ка, посмотри мне в глаза!» — сказал эмир, а тот возьми и моргни не ко времени. Взяли любезного, халат сорвали, и палками. После чего — в волчью яму.

Едва позавтракали мы, слышим шум, вопль. Выходим на подворье, а со стены дворца мирзы отрубленные головы как арбузы катятся. Всех родичей его, охрану и прислугу порешили. В доме же у мирзы поселили другого вельможу, показавшегося Насрулле лучше прежнего. И двух часов не заняло. Вот Николай Павлович и расстроился. Да как же с ними, говорит, какой-нибудь договор подписывать, если внутри у них полная свобода перед законом. Они и договор ни за что посчитают.

Даже у законника ихнего — факиха — полковник справился: как, мол, так, без суда и расследования важного человека жизни лишили. «Наш эмир,— отвечал факих,— не просто государь, а еще блюститель веры. Какой человеческий закон может считаться крепким перед верой. Слово эмира потому выше всякого суда».

Он не знал, где живет майор Яковлев, и шел с ним медленно по Большой улице, потом вместе с ним повернул обратно. По-видимому, тому не спалось.

— И про бахвальство правильно вы изволили сказать. Есть то в простоте души... Да и пословица русская о том: «Дурак сам себя хвалит». Только, доложу я вам, совсем не простое это дело. Был в Торжке, откуда родом я, когда-то Елисей блаженненький. На паперти, как всякий божий дурачок, обретался. Так вот, мерзавцы тамошние, из нищей братии, слабость его использовали. «Ах, какой ты умный, красивый, лучше всех в целом све-

---

[1] Ханыков Н. В. (1819—1878) — русский ученый-востоковед.
[2] Бутенев К. Ф. — горный инженер и дипломат.

те!» — говорили ему. И повторять принуждали: «Я, мол, самый умный, самый великий, любуйтесь на меня!» Дурак и рад. А пока он говорил, закрыв глаза в самозабвении, те суму его очищали, что по крохам добыл.

Так и с народом поступают: Как, говорили вы, таких людей среди киргизов называют: кара-бет? Вот они самые у нас этим и занимаются. А дурак себя хвалит, да-с!

У майора Яковлева к концу всякой речи слышалась раздражительная строгость в голосе, будто спор какой опровергал. Несмотря на ворчливый характер, подчиненные уважали его. Знали еще, что ни грамма от солдатского довольствия не уходило в сторону в топографической роте. Между тем, несмотря на выслугу лет, только недавно получил тот майорский чин.

Они подошли, наконец, к дому при палисаднике в боковой улице.

— Благодарствую за то, что проводили, Иван Алексеевич.— Майор Яковлев спрятал потухшую уже трубку, сказал отрывисто: — А про то не сомневайтесь. Русская душевность не позволит себе исчезнуть. Уж кто ни старался...

С улицы видно было, как зажглась свеча за ставней крыльца. Наверно, проснулся денщик. Командир топографов жил один. Жена его уже несколько лет как умерла, сыновья находились в кадетском корпусе.

Что же сказал ему в конце Яковлев?.. Да, действительно. «У лукоморья дуб зеленый...» Какая же сила таится в этом?

XVIII

Опять Семенов натопил, хоть хлебы пеки. В сенях уже жарко. В который раз дураку говорил, чтоб не топил до помрачнения. Одно отвечает: «Так что, Ваше высокоблагородье, все в пустынях службу проводите — к человечьему жилью сделались непривычны». Грубит, каналья. Впрочем, от доброго ко мне отношения. Грех на него жаловаться. За десять лет при мне совсем освоился. Хуже было бы, когда б искательно объяснялся и воровал при том. Искательные люди обязательно воры. Для чего же и искать им тогда у другого человека...

Знаменательный сей молодой киргиз. Уж двадцать лет среди них обретаюсь, да и подальше ездил, а тут нечто выходящее из ряда. Вот и мундир статский на нем, чисто по-русски изъясняется даже и Иван Алексеевич, а до самого дому довел. И выслушивал все беспрекословно. Подлинные киргизы с трогающей предупредительностью к старшим людям относятся. Именно не по службе, но от истинного воспитания души.

А то сколько ни видал их в службе: в статской или в военной, так в сторону своих уж и не смотрят. Даже говорить о том не хотят. Этот же, напротив, все к киргизам свёл. Сразу видна истинная честность. И к России в высоком смысле хочет быть привержен, а не... в карабетовском. Вот уж точное слово, лучше не определишь.

Эти все, что у учителя Арсения Михайловича собираются, больше философию разводят. Славянофилы там, немецкое влияние, эмансипация. Отсюда и на Россию смотрят. А вот скажи дураку Семенову такие слова, так он и рот откроет. Еще в ухо съездит, ежели кто со стороны произнесет. А вместе с тем в нем, Семенове, и коренится, быть может, подлинное русское чувство, про которое разговор был. Для нас оно привычное, само собой разумеющееся, а киргиз его глубже увидел. Он и с недостатками принимает его, не в идеальном виде. Готов в одном строю за то сражаться. Тем более, что недостатки и темные углы, как видно, родственные, что касается карабетов. С достоинством киргиз. Это лучше, чем другой какой, который прямо так-таки Иваном себя назовет и ждет оттого похвалы от исправника.

Покуда господа начинают удивляться, Семеновы уж двести лет с инородцами язык находят. В том и состоит его чувство, что своим карабетам не поддается. Сколько ни будут они искушать его, что, мол, самый великий он из прочих людей, ничего у них не выйдет. Все одно в Семенове правда перед богом о всех людях одна живет. Он и кричит, может быть, как его учат, а внутри твердо лукавство от правды различает. Вот и киргизы это тонко чувствуют.

Там, куда Россия сейчас вступает, все наглядно. Бухарским карабетам и лукавить-то ни к чему. Раз вера над законом, то темным людям раздолье. Всякий мирза, каждый будочник у ворот закон преступает. В пользу веры объясняет он такое поведение. Какой последний злодей и душегуб не считает себя правым в своих действиях. Вера-то — вещь эфирная, ее для себя куда захочешь можно повернуть.

Вовсе от людского образа отучает таких жизненная практика. Даже вида не делается — прямо лицом в пыль бросается человек. Никаких других человеческих чувств, только деньги и кнут имеют силу. В России-то хоть вера над законом не стоит. Это уж бухарское достижение. Самое тяжелое положение, коли так случается. Вовсе конец приходит тогда стране и людям.

В том и состоит предначертание России, чтобы законность ввести в азиатский обиход. Хорошее там или плохое Российское государство, а все ж государство. Нельзя ни с того ни с сего человека зарезать со всеми близкими, как того мирзу. Случались,

правда, и в нем всякие истории, так то в минувшие времена. Бухарство к нам уж никак не вернется.

А люди, чо ж, везде они люди...

Словно от далекого детства явилась уходящая к горам долина, даже сладким дымом запахло. С возвышения видно было, как женщины во дворах затапливали очаги. Солнце уже ушло, и дым вместе с пылью от стад вплетался в теплый, все больше синеющий воздух. Явственно доносился за много верст скрип запоздавшей арбы да козьи колокольцы. Мир был на земле. Матушка читала про это из детских лет Спасителя...

Когда молодым еще офицером, стоя на рукотворном холме под Самаркандом, увидел он сады, глиняные переплетения заборов, кизячный дым с пылью в темнеющем воздухе, то сразу узнал все. И люди в узких улицах и на базарах будто бы явились из божьей книги.

А потом приходил он к синему Гур-Эмиру, где посредине этой мирной долины, среди садов и звуков козьих колокольцев успокоился буйный Тамерлан. Детские голоса звенели совсем рядом. Босоногие мальчики и девочки в ситцевых шароварчиках с тысячами косичек на голове бегали за большим домашним бараном. Видно, выросший вместе с ними, тот бежал то в одни, то в другие ворота, убегал за поставленную вверх дышлами арбу с огромными колесами или вдруг останавливался, делая угрожающий маневр рогами в их сторону. Они визгом отступали и снова со всех ног принимались бегать за ним, поднимая теплую пыль. Седобородые старики в белых одеждах молча смотрели за их играми. Казалось, стоит войти в одни из этих ворот, и в полутьме двора увидишь в яслях младенца...

Потом после кокандского набега увидел он сгоревшие и порубленные сады. Черный прах вился над долиной, и одичалые псы бродили стаями, выискивая что живое. Лишь Гур-Эмир сиял посредине нетронутой голубизной...

Но больше от Авраамовых времен стоит в глазах вид ровной степи с теряющейся в камыше речкой и круглой войлочной юртой при ней. Старик с дубленым на солнце лицом несет ягненка. Верблюд невдалеке мерно жует что-то, глядя в плывущую волнами даль.

Тут провел он свою жизнь, принеся с собой измерение в бесконечность божьего покоя. По всей степи стоят теперь его трехногие знаки, уже почернелые за двадцать лет. Когда сидел он у киргизского костра и лишь небо с землёй были вокруг, то казалось нет никакого другого мира. Только снились ему рубленые избы, хвойный дух от подступившего леса и видные

надо всем маковки церквей. Он и понимал киргизов, хоть по-ихнему редко говорил. Да и они привыкли к нему, считая таким же атрибутом степи, как ближайший курган со стоящим при нем балбалом[1]. Еще много лет назад разбойники от Кенесары не тронули ни одного поставленного им знака. Да и его с солдатами не трогали, хоть проезжали мимо...

Трудновато стало в поле работать. Пока молод, то только к радости выездка в степь. Теперь что-то и солнце невыносимей палит. Ноги уставать стали. В топографической службе у офицера, что у солдата, одинаково должны в порядке находиться ноги. Видать, полевой сезон впереди для него последний.

Только что же предстоит потом делать? В отставку уходить да уезжать в Торжок? Так там, почитай, не осталось ничего. Сестра-девица при доме живет, но прошлым летом писала, что валиться все начало. Ей, бедняжке, тоже при ком-то жить надо. Да и Гришу с Левушкой на первый случай придется содержать, как выйдут в офицеры. Чтобы Лизаньке на небесах было за них спокойно.

И от России он вовсе отвык. Как бы и родился тут, в кайсацкой степи. Что же, одно остается — подавать рапорт о переводе из топографов в отдельный корпус. За выслугой лет приищут ему место. Пусть на линии, не в Оренбурге. Оно еще и лучше — подальше от начальства...

XIX

Они ничего еще не говорили, а он все понял. Слезы вдруг подступили к глазам. Но плакать ему было нельзя. Азербай и еще два аксакала от узунских кипчаков сидели с замкнутыми скорбными лицами. Было тихо, и лишь кони, на которых они приехали, всхрапывали на городской улице, привязанные к дереву. Два сопровождающих стариков джигита сидели на корточках у порога. Одного из них он узнал — это был сын погибшего в барымте Нурлана Каирбаева. Тогда тот был мальчиком, а теперь раздался в плечах и со сросшимися бровями на широком лице стал похож на отца...

Бий Балгожа умер к вечеру от всю жизнь мучившей его водянки. В последние дни он и говорить не мог. Со всей степи съехались люди на поминальный той. Были также родичи-аргыны. Лишь добром поминали покойного. Внуку узунского бия, которого тот держал у своего колена, следует возвратиться в родной дом. Как там дальше будет — знает бог, но место ему

[1] Древнее каменное изваяние.

обозначено. Тем более, что, как и старый бий, носит он царскую одежду с серебряными пуговицами и знает все орунбургское начальство...

Вместе с аксакалами ходил он в соборную мечеть, молился в память покойного деда, соблюдал траур. Генерал выказал ему соболезнование. Видя, как уважительно говорит с ним сам Генерал, старики со значительностью переглядывались, еще больше укрепляясь в своем мнении. Надо было прямо сказать им обо всем.

Нет, не может он сейчас поселиться среди своих родичей — узунских кипчаков, тем более претендовать в будущем на место бия. Нет в нем особых качеств, необходимых для управления людьми. К тому же выбрал он для себя другой путь. Предстоит ему учить детей в одной из школ, что должны открыться осенью. Будет эта школа в русском укреплении на Тургае, та, что ближе всего расположена от летнего местонахождения узунских кипчаков. Пусть же выделят от себя пять мальчиков не старше десяти лет и отправят, когда позовет он, в эту школу. Мальчики будут жить при нем и кушать с ним. Простой и крепкой одеждой пусть снабдят их родственники.

Теперь ему нельзя еще ехать, чтобы побывать на могиле бия Балгожи, а также распорядиться домом и оставленной ему частью скота. Приедет он, как только решит здесь все дела. Мать и бабушку заберет с собой на Тургай.

Аксакалы молча слушали. Не принято было в чем-то разубеждать или уговаривать взрослого человека. Вместе с ними генерал отправил на Тобол двух чиновников для присутствия при избрании нового бия — управляющего родом узунских кипчаков.

Дело с утверждением его и трех других учителей в киргизские школы рассматривалось, а он не хотел уж возвращаться назад с Тобола и ждал договоренного с Генералом назначения. Николай Иванович, так и не знающий об его скором отъезде, был где-то на Уральской пойме по делам службы.

Все усложнялось. Еще месяц назад, перед тем как ехать на линию, горел он мечтой увидеть Петербург. Всякий год ездила туда депутация биев и значительных людей от разных казахских родов, смотрела столичные диковины, представлялась царю и министрам. Вполне и он мог поехать при ней толмачом. Прежде всего почему-то виделось ему лукоморье и громадный зеленый дуб. Он понимал, что все не так, но никак не мог избежать этой впитанной им еще в школе мысли.

Николай Иванович научил его просить Генерала о рекомен-

дательном письме в Петербург к другу того — Вельяминову-Зернову, изучавшему кайсаков. Тот покажет все ему и сведет с такими людьми, от которых многому можно поучиться. Теперь же дело менялось. Нужно было ехать на Тобол, а оттуда к Тургаю. Николая Ивановича он обязательно должен был повидать перед своим отъездом.

К Генералу он пришел, не зная что говорить. Тот был строг в отношении службы. И когда спросил, зачем ему нужно вдруг ехать в Западную часть Орды, он сказал невнятно, что по испортившемуся здоровью, чтобы попить кумысу. Никак не мог он поднять глаза, но Генерал, видно, все понял.

— Ладно, езжай на Жаик[1], раз тебе надо.

На другой же день и выехал он, сопровождаемый Досмухамедом. Перед отъездом в правлении, отдавая ему подписанную Генералом подорожную, Варфоломей Егорович сказал:

— Смотри, Ибрагим, не очень там свободно разговаривай у Айбасова. Дело политическое.

Он удивился, но расспрашивать не стал. Было известно с начала года, что тысяче киргизских юрт из Букеевской орды за Уралом разрешено перейти на левый берег реки и поселиться на землях Западной части. Всякий год от канцелярии Уральского казачьего войска приходили жалобы, что кочующие между Волгой и Уралом букеевцы травят посевы и угоняют скот, так что надо их выселить оттуда. Дело, как всегда, было в вольных выпасах, споры о которых улаживала обычно смешанная комиссия от областного правления и войска. Теперь же киргизы сами просились перейти на этот берег. Говорили даже, что уже две тысячи юрт просятся сюда. Однако все дело с самого начала было почему-то изъято из ведения правления Областью оренбургских киргизов и по предписанию из Петербурга, а также с санкции генерал-губернатора Катенина, поручено особой комиссии под председательством действительного статского советника Красовского. Областному правлению лишь предписывалось выделить чиновников в комиссию по расселению прибывающих с того берега киргизов. Для того и поехали туда Николай Иванович с бием Токашевым и еще одним заседателем.

По наезженной дороге через Илецкий городок и Затонную станицу он на шестой день добрался до ставки султана-правителя Западной части Тяукина. Здесь ему сказали, что киргизская комиссия под председательством помощника султана Чулака Айбасова заседает в его ауле, определяя, как расселить прибывающих букеевцев.

— Э-э, все казахи бегут от Жаика к нам... Зачем так? —

[1] Казахское название реки Урал.

полувопросительно, но с пониманием в голосе сказал ему по-русски старший писарь при ставке Магзомов. И добавил невинно: — Что-то Генерал совсем не хочет этим заниматься.

Магзомов, которого он знал, был умный человек и явно чего-то не договаривал.

— Почему же вдруг поднялись букеевцы? Все годы не хотели, а теперь решились? — спросил он.

— Совсем пустой народ эти букеевцы,— отвечал писарь.— Округ-мокруг, чего тут бояться?

Букеевская орда была недавно поделена на округа и там шла перепись. Ничего плохого в этом не было. Что-то другое случилось там, на берегах Урала.

В ауле Айбасова тоже никого не оказалось. Сказали, что помощник султана с комиссией поехал к Уралу. Еще три дня разыскивал он Николая Ивановича. Наконец, к вечеру приехал к переправе, где ходил паром. Здесь, в ауле старшины Байбактинского рода Казыева обосновалась комиссия. Ему показали на большую юрту с флажком, как видно, недавно разбитую на пригорке. Странная мысль пришла ему в голову. Он снял с Досмухамеда чапан и малахай, надел их на себя поверх служебного платья. Сейчас войдет он в юрту и сядет у порога, как делают это просители-казахи. По закону старший должен заговорить первым. Узнает или нет его Николай Иванович?

Но едва вошел он в юрту и увидел склонившиеся над книгой пушистые бакенбарды, как словно что-то обрушилось в нем.

— Никола-а-ай! Ива-а-анович! — бросился он вперед, закрыв глаза. Все вылилось в этом крике: долгая дорога, одиночество последних дней, смерть деда. Как всегда, прижал его к груди Николай Иванович, и долго сдерживаемые слезы полились из глаз.

— Ничего, ничего, Ибрай. Будет тебе, голубчик!..

Николай Иванович гладил его плечи, и совсем вдруг легко стало ему.

— Что ж ты так вдруг. И не ожидал тебя вовсе здесь увидеть! — говорил Николай Иванович, а он, торопливо перебивая сам себя, рассказывал обо всем, вынимал из саквояжа и раскладывал гостинцы и вещи, отправленные через него Екатериной Степановной, передавал приветы.

Видно, и Николай Иванович здесь соскучился. Как и в городе, весь вечер говорили они при свете петрольной лампы, и лишь Досмухамед сладко спал на кошме.

— Суть первые маяки цивилизации в азиатской степи эти школы, и счастлив тот, кто стоит у начала пути к свету собственного народа! — возвышенно говорил Николай Иванович, а тени от его рук летали в светлом потолке юрты.— От них

зажгутся другие маяки, от тех — третьи, и вся древняя эта страна озарится огнями. Как же назовем мы с тобой эту страну, голубчик Ибрай? Видать, наверно, Киргизляндия.

Они смеялись вместе этой шутке. Так всегда бывало в их разговорах, что один ораторствовал, видя полное согласие в душе другого. И Николай Иванович продолжал говорить о будущем его поприще:

— Учительская должность, как я докладывал уж тебе, есть не служба, а богом данное призвание. Кто лишь служить желает, тот не приобретает богатства морального, ни тем более материального. Во все времена ходили учителя в рубище. Высокую душу для того следует иметь, способную отдавать свой пламень другим людям, ничего не требуя взамен. Великий подарок это от бога!

Только однажды словно запинка произошла в их разговоре.

— Идее спасения близка душа твоя, Ибрай. За грехи всех людей на земле пошел на крестную муку великий Учитель.— Николай Иванович в волнении остановился перед ним.— Не думал ты о том, чтобы в сердце свое принять Христа?

Он знал, что когда-нибудь будет у него этот разговор с Николаем Ивановичем. Однако теперь даже растерялся, не зная, как ответить. В хороших русских людях вдруг проявлялась убежденность в единственной правоте их жизнеощущения. В правильности даже самой малой своей привычки нисколько не сомневались они. Такие качества, как прочел он в книгах по педагогии, присущи детям. Как же Николай Иванович, умнейший и добрейший человек из всех, кого знал он в своей жизни, не чувствует тут нравственной двусмыслицы?

— Ты ж совсем как будто не привержен магометанским правилам. Хоть бы тот раз с пельменями,— говорил Николай Иванович.

Да, со смехом рассказывал он как-то у Ильминских, что виноват остался в уразу перед набожным Досмухамедом. Пришел домой он голодный и услышал запах пельменей. Поискавши, нашел их в горшочке за кроватью, где поставил их Досмухамед, надеясь разговеться после дневного поста. Он и решил тогда взять себе немного, да не заметил, как умял их все. Уж больно растерянная была потом физиономия у его родича: и на потолок тот глядел, и в пустой горшочек, и в сени выглядывал, не догадываясь, кто бы мог унести столь надежно спрятанные пельмени. Он же делал вид, что не известно ему ни о чем...

Нет, здесь следует все объяснить. В глубине степи благородный Динахмет с высокой и чистой верой протягивал перед собой руки. Совесть естественно сочеталась с формой служения

богу. Определил это бесчисленный ряд поколений. Господин Дыньков понимал все в ясности своей души. В одном доме молились дядька Жетыбай и солдат Демин, никак не мешая друг другу. И мысли не приходили к ним предлагать один другому своего бога.

Это было совсем другое, чем заученная суетность лукавого душой Досмухамеда. Извечная человеческая совесть особый вид принимала в каждом народе. Можно ли вдруг переменить ее?

Как-то Николай Иванович расспрашивал про то, как по закону Востока человек берет в жены от умершего брата вдову. В кочевании по пустыне, как водилось то у арабов, движением совести было не бросить на произвол диких зверей беспомощную женщину с детьми. Кому, кроме брата надлежало принять их в свой шатер. Благодеянием было то. В каждом слове веры являлось понимание реальной жизни. К суровой сдержанности шло оно здесь. Так же, как от Христа, приходило к покойному и щедрому лукоморью. Не значит ли глядеть назад, изменяя зачем-то веру?..

Он смотрел, как слушает его объяснение Николай Иванович, и боялся увидеть разочарование на его лице. Но нет, тот как само собой разумеющееся принял его ответ и продолжал говорить, будто и не важно все это было. Не от расчетливости ума делалось ему предложение.

В том была русская особенность. Вспомнились проводы топографами немца-генерала. Старый унтер говорил речь: «Каждый из нас считает, что истинно русский вы человек». Обязательно им хотелось, чтобы каждый хороший человек был русским. Они и числили его таким, будь он хоть арап. Потому и русское отчество обязательно приставляли. Для того, собственно, и хочет Николай Иванович всех христианами видеть...

Утром разбудил его многоголосый шум. Блеяли овцы, ржали лошади, человеческие крики раздавались вблизи и вдали. Николая Ивановича не было в юрте.

Он вышел наружу и посмотрел вверх по реке. В полуверсте от паромной переправы стоял почти утонувший в воде мост, не замеченный им вчера. На связанных между собой лодках настланы были доски, укрепленные по краям надутыми скотскими шкурами. По мосту, раскачивая его и втаптывая в воду, сплошной массой текли овцы. Между ними, словно влекомые этой живой рекой, двигались лошади и верблюды со сложенными юртами. Порой какая-то овца оступалась и жалобно кричала, уносимая водой, но никто не ловил ее. Пыль до горизонта стояла на другой, высокой стороне Урала.

Он увидел Николая Ивановича и пошел к нему. Тот широко открытыми глазами смотрел на эту картину. Подъехал высокий рябой человек в чекмене — помощник султана, правителя Западной части, Айбасов, соскочил с коня:

— Эй, советник, что будем делать? У нас уже только две тысячи прошло!..

— Надо уговорить, объяснить букеевским киргизам, что ничего не грозит им от нового закона! — Николай Иванович был непохож на себя, говорил нервно, громким голосом.

— Э, как объяснишь, все идут и идут.— Айбасов махнул камчой.— Совсем не знаю, где им место давать. Колодцев мало, своим не хватает.

Лишь теперь увидев его, Николай Иванович повернулся в его сторону:

— Кто-то подлый слух распространяет среди букеевских киргизов. Будто закон об округах имеет в виду в военную службу их брать.

Люди Айбасова на лошадях принимали по эту сторону приходящее стадо. Не давая оседать на берегу, с гиканьем и свистом гнали они лошадей и овец далеко в степь. За ними, ругаясь, скакали букеевцы. Люди, как видно, сильно устали. Один старик, как переехал на эту сторону, так слез с коня и сел неподвижно на песок. Другой человек помоложе, как видно, сын, встал рядом, бесстрастно глядя в пыльное облако на том берегу.

Он подошел к ним, поздоровался:

— Хочу узнать, агай, почему букеевские люди уходят со своей земли?

Старик не отвечал. Его сын вздохнул:

— Орысы всех детей к попу будут забирать, кресты на шею вешать.

— Кто вам сказал об этом? — спросил он.

— Люди знают.

Он опять обратился к старику:

— Неправда это, агай. Я у самого Генерала служу. Нет у него такой бумаги!

— Орысами всех делать будут и в солдаты забирать. Люди знают! — твердо повторял другой букеевец.

Николай Иванович, слушавший разговор, беспомощно развел руками. Старик поднялся, подсаженный сыном, влез в седло и поехал дальше, даже не посмотрев в их сторону. С того берега напирали все сильней, и мост уже вовсе ушел под воду. Овцы поднимали вверх из воды морды. Запах спекшегося пота шел от помутневшей реки.

Со стороны дороги подъехала черная лаковая коляска. Ее

сопровождали казаки. Кто-то в статском мундире сошел, встал на берегу, глядя на поспешно убегающих с того берега букеевцев. То был действительный статский советник Красовский. Все вдруг сделалось ясно.

Между тем людей на том берегу прибавлялось. Казалось, вся Букеевская Орда тронулась в путь. Лошадей уже просто загоняли в реку, и они плыли, оставляя в воде длинные темные полосы. «Ой-бой!» — причитали женщины. Плакали дети. Красовский, постояв, сел опять в коляску и поехал вдоль реки, как видно, к другой переправе. Ссора его с Генералом обострилась до крайности. Евграф Степанович словно бы и не увидел их.

Всю дорогу от Урала стоял в ушах этот крик «Ой-бо-ой!» и Евграф Степанович все находился перед глазами. Понятно было, откуда шли панические разговоры среди букеевцев. Для того и забрали дело от Генерала. В правлении тихо говорили, что от особой службы состоит в доверенности действительный статский советник Красовский. Даже и к слухам эта служба имеет отношение...

Генерал, когда пришел он прощаться, встал. Недолго постоял так, молча пожал ему руку. У Варфоломея Егоровича, который был при том, брови удивленно полезли вверх.

— Ведь то высшая милость в российском обиходе, коли старший в виду младшего с места встает,— сказал уже в коридоре делопроизводитель, задумчиво качая головой.— Я же тебе, Ибрагим... Одним словом, давай поцелую тебя!

Голос у старика дрогнул. И он тоже, упираясь щекой в вытертое, знакомо пахнущее пылью и чернилами сукно на груди Варфоломея Егоровича, почувствовал в глазах влажность. Каким-то образом стал близким ему и этот человек...

У учителя Алатырцева сидел лишь сосед Куров и капитан Андриевский. Видно, опять перессорились они. Капитан саркастически кривил губы, а коллежский советник мелко постукивал пальцами по столу.

— Что ж, желаю вам, Ибрагим э-э... Алексеевич, полезной службы отечеству.— Иван Анемподистович Куров прощался, как и говорил всегда, официально, как бы не от себя, а от некоей невидимой множественности.— Надеемся, что не посрамите доверия в новом поприще.

Капитан Андриевский ограничился лишь крепким пожатием, так что рука на миг занемела:

— Всего доброго вам, господин Алтынсарин. Думаю, что свидимся. По службе бываю в линейных укреплениях.

— Вот мы и товарищи с вами, Алтынсарин.— Арсений Ми-

хайлович Алатырцев вздохнул.— Не знаю, дает ли полное удовлетворение роль учителя в жизни. Не о том я думал, когда вступал в нее. И сейчас сомневаюсь, достиг ли чего замечательного в сей роли.

Он молчал, слишком взволнованный, чтобы говорить. Не некий неизвестный, кто «оказывает ему доверие», а этот слабый грудью человек с тонким красивым лицом ждал от него чего-то необычного.

Еще два дня прощался он со всеми знакомыми. Усман-ходжа Мусин из соборной мечети, тоже бывший его учитель, погладил ему щеки в знак доброго напутствия. Командир топографической роты Яковлев потянулся, приставив вместе каблуки: «Желаю счастливой дороги, Иван Алексеевич!» Неожиданно сосед Тимофей Ильич Толкунов пришел к нему: «Вот, пирог вам на дорогу, хозяйка испекла... Слыхал, в Оренбургское укрепление получили направление, ваше благородие. Там зять мой Федька торговлишку по малому делу открыл. Федор Ксенофонтович Ермолаев, стало быть...»

На краю города пришел он в небольшой дом с мезонином. Белые куры ходили по мокрому от дождя двору, доставали в первый раз появившихся червяков. В чистой, недавно побеленной горнице госпожа Дынькова говорила тихим голосом:

— Что ж, кое-что было у нас. Вот и пенсия за Алексея Николаевича с учетом малолетства детей. Снимаем недорого квартиру. Две комнаты да сени. И сараюшка со двором — за все сто рублей в год. Ну и мясом помогают киргизы, что по службе его знали, да и от учеников...

В прихожей перед оконцем висело вяленое мясо. Он знал, что если кто из бывших учеников господина Дынькова приезжал по делам в город, то обязательно привозил для них мясной гостинец. Даже когда сами не ехали, то передавали через знакомых. Это было уж чисто казахское правило.

— А Оленька очень благодарна вам за музыку. И сейчас вот на занятии у госпожи Лещинской. Играет все уже, что барышне нужно...

Пришла Оленька. Вовсе вытянулась девочка в этот год и еще больше посерьезнела после смерти отца. Она говорила «Иван Алексеевич». Он, как всегда, погладил ее и поцеловал в голову.

— Раздумываю вот, что делать,— рассказывала Варвара Семеновна Дынькова.— Письмо от сестры получила. В Новониколаевское жить зовет. Там и народу больше наезжего из России. Старшие-то у меня уж невесты. Да и жизнь дешевле, чем в городе...

Новониколаевское было как раз напротив родового зимовья узунских кипчаков. Солдат Демин с дядькой Жетыбаем через

замерзший Тобол волокли оттуда бревна для дома. И он заходил туда как-то в ясный морозный день.

С Екатериной Степановной на извозчике поехал он к Дальцевым. Дарья Михайловна и не предполагала об его скором отъезде.

— Ибрай, родной вы мой! — Она держала его руки в своих.— Вы уж помните нас, не забывайте.

Машенька все тянула его за полу: «Иван Алексевич!» Стоял Дальцев, чуть смущенно улыбаясь, большой, крепкий. В открытое окно ломилась из палисадника сирень.

Дарья Михайловна обняла его и трижды с ним поцеловалась по-русски.

В самом углу хозяйственного ряда на базаре была эта лавка. На полке стояли и висели на шнурах различные звонки и колокольчики. Он долго, со вниманием рассматривал их. Выбрал самый большой — медный, с полустертой вязью на боку. Непонятно даже, для чего предназначался этот колокол: для конской дуги или верблюду под шею был он слишком тяжел. Велик он также был для служебного или школьного звонка и в то же время не был и церковным атрибутом. Тем не менее, именно такой ему показался нужен. Видя это, хозяин лавки , маленький человек с хитроватыми глазами, спросил с него пять рублей. Он дал, не торгуясь, хоть денег на дорогу почти не оставалось.

XX

Уезжавший с Евграфом Степановичем Айбасов вернулся лишь вечером. Николай Иванович Ильминский сидел при лампе, читая привезенную из Оренбурга почту. Помощник султана повесил камчу, снял и повесил ремень, взялся пить чай из разогретого стражником самовара. И все поглядывал на занятого чтением советника правления. Когда тот на минуту оторвался от писем, спросил:

— Что это Балгожин внук приезжал?

— Уезжает совсем из Оренбурга, так прощаться наведался,— объяснил Ильминский, не придавая вопросу значения.

— Приехал, посмотрел, опять уехал,— с сомнением в голосе продолжал говорить Айбасов.

Ильминский поднял голову:

— Вас кто-то спрашивал о том?

— Красовский спрашивал... С Нуралышкой Токашевым что-то еще говорил.

— Что же Его превосходительство сам у Алтынсарина не осведомился?

— Ай, не знаю.— Айбасов выплеснул остатки чая из пиалы на глиняный пол.— Только спрашивал: зачем, мол, чиновник-киргиз из правления приезжал...

В кабинете у Генерала делопроизводитель Воскобойников подвигал одну за другой бумаги на подпись.

— Вот еще что, Ваше превосходительств. Кого-то надлежит принять к Фазылову на место Алтынсаривна. Или остается тот в службе?

— Санкции на открытие киргизских школ пока еще не получено,— с сомнением сказал Генерал.

— В таком случае зауряд-хорунжий Алтынсарин лишь передвигается в распоряжение коменданта укрепления. С оставлением при должности толмача.

Генерал кивнул, подписал бумагу:

— Все?

— Все.— Воскобойников почему-то задержался и стоял у стола, держа у груди папку с исходящими.— Думаю, Василий Васильевич, не приживется там Алтынсарин.

— Это почему ж?

— Там барон этот вовсе несостоятельный человек. Сказывают, даже коров, что при их хозяйстве, строем велит перед собой проводить. А киргизам так лишь в дневное время разрешает к укреплению приближаться. Ну, а Алтынсарин, сами изволите его хорошо понимать...

Когда ушел приходивший прощаться Алтынсарин, капитан Андриевский с привычной неприязненностью посмотрел через стол на соседа:

— Что вы, господин коллежский советник, так неловко с человеком обошлись?

— Это почему же? — отозвался тот.

— Ну, как же, Ибрагимом Алексеевичем почему-то назвали. С юных лет сюда он заходит, могли бы и запомнить имя.

— Так я как будто правильно. Алексеевичем называют его.

— Ну и называйте тогда совсем по-русски — Иваном Алексеевичем. А коль Ибрагимом, так Алтынсарычем, что ли, как татары городские поступают. У киргиз принято: Ибрагим, мол, сын такого-то, улы.

— Что уж там принято, не знаю, но только ничего, по-моему, обидного в том нет. Они и сами любят себя по-русски называть.

— Сами, господин коллежский советник. Это вы точно заметили. И вы бы того за них не делали.

— И гордый внук славян, и финн... и друг степей калмык,— в задумчивости проговорил учитель Алатырцев.

— Что же мадам Лещинская сказала на то, что ты уже и концерты играешь? — спросила у младшей дочери Варвара Семеновна Дынькова, чтобы развлечь ее. Та все смотрела в дверь и не отвечала.

Мать подошла, взяла от нее сумку с нотами, поставила в этажерку:

— Ничего, Оленька: бог даст, свидимся. Иван Алексеевич сказывал, что родня у него в Новониколаевском. Мы вот тоже туда собираемся...

Когда остались они одни с Екатериной Степановной, Дарья Михайловна вдруг сказала:

— А ведь Ибрай мне в чувствах объяснился.

— Как так? — спросила Екатерина Степановна, не сильно, впрочем, удивившись.

— Да вот дома у вас, после того, как дети болели.

— Ну и что же?

— Да нет, ничего более: сказал, что любит, и все... И не это точно даже, а что без того не может, чтобы не видеть меня и голосу не слышать... Я и Володиньке про то сказала.

— Что же он?

— Все понял как нужно. Вы же знаете Володиньку.

И Дарья Михайловна почему-то заплакала.

Часть третья

КОЛОКОЛ

I

С утра немец расстраивался. В укреплении никогда не говорили, что комендант сердится,— гневается или делает нагоняй. Все это почему-то не подходило к тому, что случалось без исключения всякое утро.

Подполковник фон Менгден кричал высоким сухим голосом, выкатив светло-синие глаза и держа по швам руки. Кадык его дергался в жестком воротнике, и светлые ровные волосы, опущенные на лоб, слегка шевелились. Крик этот был слышен во

всех углах укреплении, так что даже невоенные люди поднимали плечи. С еще не замерзшей промоины на Тургае испуганно поднимались утки.

— В роте вашей, господин поручик, упало чувство дисциплины. Русский солдат всегда есть бравый молодец. Они же при сдаче дежурства стояли в строю со слипшимися глазами, чуть не зевали при этом... Не извольте возражать, что ночь они провели в карауле. Пусть пять, пусть десять ночей в карауле, а строй есть как церковь для солдата!..

Барон закалял себя, и потому все окна в его служебной комнате были открыты настежь. Находящиеся здесь люди постукивали ногами, незаметно дули в посинелые руки. Но тот как бы не замечал этого.

— Снова обед нижним чинам подавался не по форме, господин Кушнарев,— пронзительным голосом обращался он к следующему подчиненному.— Считаю необходимым напомнить, что проживающие в линейном укреплении обыватели, имеющие отношение к службе, подчиняются военным правилам. За упущение судить их должно военным судом. Ничего нет более святого, чем забота о солдате. Поданный не по форме суп есть нарушение устава. Что?.. Молчать!

— Так ежели миски все покрали, Ваше высокоблагородие,— лениво отвечал служащий от интендантской части по вольному найму мещанин Кушнарев.— Как, значит, привезут заявленные от штаба миски, так и будет все по форме.

— Воду, что солдатам льют вместо супа, из манерки хлебать достаточно! — вполголоса заметил прапорщик Горбунов.

Приземистый, с бабьим лицом Кушнарев обкрадывал солдат и ничего не боялся. Во всякий приход обоза в укрепление специально для коменданта привозились любимые им сардины в коробках и шоколад. Что нужно, отвозилось и на городскую квартиру барона в Оренбурге, так как жил тот здесь без семьи.

— Было строго размечено, в каком расстоянии разрешено находиться от редутов! — кричал между тем комендант на лохматого мужика из приречного поселка.

— Так она же корова, Ваше высокое благородие. И трава при валах не вся еще пожухла,— оправдывался мужик.— Уж сделайте милость — выпустите. Третий день скотина не доена.

Со двора при гауптвахте слышалось истошное мычание. Туда загоняли скот, перешедший размеченную колышками линию, и держали от трех до семи суток в зависимости от личного приказа коменданта. На утреннюю поверку коров выгоняли на плац вместе с арестованными солдатами.

Следующая очередь была отца Василия. Барон фон Менгден в прапорщиках принял православие и с радостью следил за исполнением церковной службы. В храме он своим резким голосом делал замечания солдатам и обывателям, строго смотрел на священника. Отец Василий Бирюков, тихий, теряющийся от крика человек, беспомощно моргал ресницами и не знал, куда девать руки, вылезающие из короткой, севшей от времени рясы.

— Православный русский воин обязан неукоснительно исполнять положенные праздники. Так же и люди прочего чина, живущие при крепости. Вы же, отец Василий, позволили себе как-то пропустить Варвару-великомученицу!..

— Ежели во благовремение, господин фон Менгден, тогда только богу потребно,— пытался оправдаться священник.— Не имеется поименованной Варвары среди нижних чинов и господ офицеров. Также и среди мирян, имеющих ко храму принадлежность. Все больше староверы да молоканы к нам в степь оседают.

Все с нетерпением поглядывали на стоящего у двери зауряд-хорунжего Алтынсарина, прибывшего летом в Оренбургское укрепление[1]. Тогда же и начались его пререкания с комендантом. Удивительно было то, что как раз от зауряд-хорунжего, по существу статского чина исходила инициатива. Комендант начинал заранее беспокоиться, видя у двери подтянутую фигуру в мундире с начищенными пуговицами и аккуратно подшитым коленкоровым воротником. Интендантский офицер, квартир-мейстер Краманенков настораживался и доставал из кармана черную клеенчатую тетрадь.

— Вынужден снова беспокоить вас, господин подполковник, ввиду отсутствия должных распоряжений по поводу киргизской школы.— Алтынсарин, сделав шаг вперед, говорил с ровным спокойствием.— Идет шестой месяц моего бесполезного пребывания здесь, между тем как решение предусматривает именно в текущем году открыть означенную школу. Почтительнейше прошу со своей стороны напомнить командованию о создавшемся положении. Надлежит, как я имел честь уже информировать вас, заранее принять меры к приобретению школьного дома с хозяйственным помещением, а также к вызову киргизских детей по представленному мной списку.

Подполковник фон Менгден начинал быстро двигать кадыком, но слова почему-то выговаривались у него разрозненно, без очевидной связи друг с другом. Связно он умел только кричать, и потому речь его делалась беспомощной и не подходящей к начальственному виду:

---

[1] Потом г. Тургай.

— Как имел уже честь объяснить... Никак нет... точного распоряжения... О чем ставил в известность...

Именно этого момента все ожидали. Чиновник киргиз имел непонятную способность выбивать коменданта из зудливого тона. Барон как будто даже боялся зауряд-хорунжего, с настойчивостью предлагавшего свои резоны. В такие дни он больше уже не кричал ни на кого и до вечера запирался в своей служебной комнате.

У Алтынсарина тоже белело лицо, но нисколько не переменялся вид. Сегодня оно у него было даже белее обычного. Выслушав до конца коменданта, зауряд-хорунжий поклонился и вышел.

Холодное буйство нашло на него. Раз за разом стрелял он между маленьких злобных глаз, и последний кабан упал у самой ноги, коснувшись длинным желтым клыком сапога. Тугаи шевелились от свиней, поедавших опавшие к зиме орехи и коренья. То здесь, то там поднималась среди кустов бурая волосатая спина и слышалось сытое чавканье. Говорили тургайские кипчаки, что по весне сюда от Сырдарьи приходят тигры.

Он посмотрел назад. Гребнев и родич его Мамажан волокли по тонкому снегу убитую им у входа в рощу свинью. Кенес — сосед Мамажана нес за задние ноги связанных поросят. Восемь свиней, среди них секач да три поросенка — пожалуй, и не вывезут всего лошади. Он не стал больше заряжать ружье, и сразу пропал интерес к охоте.

Мамажан звал его остаться на Акколе, где жил еще с двумя семействами, но он теперь торопился домой, в укрепление. Сорок верст туда они сделали с Гребневым за день и к вечеру въехали мимо военного поста на широкую, спускающуюся к реке улицу. Как и в прошлый раз, он развез битых свиней по знакомым домам.

— Вас, Алтынсарин, зачем-то барон спрашивал,— сказал ему прапорщик Горбунов, наиболее симпатичный из здешних офицеров.

— Не знаете причины?

— Как будто бумага некоторая пришла.

Оставив Гребнева с лошадьми на улице, он подошел к комендантскому дому, но так и не стал стучать. Серыми прямоугольниками виднелись во тьме глухие ставни. Поземкой обдувало ему ноги, и скоро носки ушли в быстро прибывающий снег. Необходимо было ожидать завтрашнего дня.

Все трое мальчиков, среди них Черкеш, младший сын Мамажана, выбежали во двор помогать распрягать лошадей. Они

радовались его возвращению. Еще с осени приехали в укрепление двое из них, кого родители по его настоянию записали в школу: один с верхнего Тургая, другой от кочевавших к Сырдарье кипчакских семейств. Три месяца объезжал он кочевья на двести верст вокруг, объясняя, в чем будет состоять учеба в школе. Расчет был на двадцать пять учеников. Родичи должны были привезти их, когда даст он знать об открытии школы.

То ли не поняли его, то ли не хотели ехать в зиму, но этих двух привезли еще в октябре. Потом к ним добавился младший сын Мамажана. Хорошо, что по приезде сюда на вырученные от тобольского имущества деньги он сразу купил себе дом в укреплении. Дети жили теперь у него, ожидая открытия школы...

Мать и тетушка Фатима забеспокоились, стали разогревать ужин. До сих пор они, особенно мать, были недовольны своим отъездом от тобольских родственников. Даже бабушка меньше их говорила об оставленных местах. Прямо не показывали ему своей тоски, но он все знал.

— Эй, солдат приходил к тебе, спрашивал, где находишься! — сказала Фатима.

Он молча кивнул головой. Со двора пахло паленым. Мишар[1] Нигмат, служащий при доме по хозяйству, смолил привезенную с охоты свинью. Местные татары, как и казахи в кочевьях, ели при случае такое мясо.

Окна во двор не задвигались ставнями. На стене в его комнате бегали блики от костра. Нигмат переговаривался с помогавшим ему Гребневым. Тот рассказывал об охоте. Мишар все удивлялся, что так много кабанов на Акколе.

— Тыща никак их там ходит! — подтверждал Гребнев.

Никто, да и сам Гребнев, не знал, как его звать. Был это сирота, оставшийся от умерших в оспу родителей-поселенцев. Кормился он при солдатах, помогал кашеварам. Там его и звали все — Гребнев...

Ночью вдруг пришел к нему Человек с саблей, но не подходил, а стоял невдалеке, чего-то ожидая. Давно уже не повторялся этот сон. До утра лежал он с открытыми глазами. Перекликались на постах часовые, играли зорю...

Происходила еще передача караула, когда пришел он к комендантскому правлению. Барон шел от плаца подпрыгивающей походкой, и длинные, тонкие ноги в высоких сапогах скользили по утоптанному снегу. Увидев его, барон дернулся и быстро побежал вверх по деревянным ступеням.

---

[1] Оренбургский татарин.

Никак не боялся он таких людей. Они казались ему словно бы пустыми внутри. От всего настоящего эти люди начинали терять свою искусственную уверенность, и ничего не оставалось на ее месте. В день похорон господина Дынькова статский генерал Красовский уступил его справедливому настоянию и отозвал чиновников из киргизской школы. Они сами всегда чего-то боялись. Нужно было только знать, что делаешь правильно.

Подполковник фон Менгден теребил в руках бумагу с подклеенным книзу конвертом:

— Вот... Без губернаторского решения... Нельзя... Также по Министерству просвещения... Пока в должности переводчика...

Несмотря на тот же неровный тон по отношению к нему, во всем виде коменданта читалась ликующая удовлетворенность.

— Пообождать надлежит с киргизской школой, господин Алтынсарин,— увещевательно поддержал коменданта сидящий тут же интендантский офицер Крамаренков.— Министерство изучит этот вопрос, после того департамент скажет свое слово. Средства же пока не предусмотрены: как от правления, так по части кибиточного сбора. Извольте убедиться...

Он взял от барона бумагу с губернаторским титулом, внимательно прочитал. Комендант с Крамаренковым молча ждали. Присутствующие офицеры и обыватели также ожидали, чем все закончится.

— Значит, и от кибиточного сбора что-либо нельзя отчислить?— спросил он все так же спокойно.

— Извольте сами видеть,— подтвердил Крамаренко, нехорошо кривя губы.

Даже на узком лице у коменданта появилось нечто вроде улыбки.

Он поклонился и ушел.

Нигмат и все умеющий Гребнев строгали доски, сбивали вместе, прибивали накрест ножки. Получился длинный стол и отдельно скамья при нем. Их покрасили серой краской, которую взял он на рубль в лавочке у татарина Файзуллы. Другого цвета не было, и той же краской пришлось красить наглядную доску со стояком.

К вечеру за домом, на высоком месте, вкопали два столба, соединили перекладиной. Он сам подвязал посредине купленный им в Оренбурге колокол.

Утром он поднял детей тут же после солдатской зори. Они умылись теплой водой под умывальником, поели. Пришел еще четвертый — Ринат, сын Нигмата. Стало светать. Он прошел на

пригорок за домом, вынул серебряные часы с крышкой, подаренные некогда деду Балгоже генералом Ладыженским. До девяти оставалось еще десять минут.

Все укрепление было видно отсюда — от кирпичной казармы наверху до находящихся уже за валом домов и землянок обывательского поселка. На самом краю его стояла юрта. Тургай, петляя между холмами, терялся в побелевшей дали. Вокруг было пусто, и неясная линия окоёма очерчивала круг.

Большая, с фигурным вырезом стрелка придвинулась к девяти. Он взялся рукой за веревочку, и чистый высокий звон покатился во все стороны. В ту же минуту все изменилось. Идущий к себе комендант остался на ступенях с поднятой ногой, солдаты на постах все повернулись в его сторону, из домов на горе и у самой речки стали появляться люди. И он вдруг с ясностью понял, что это первый школьный звонок в степи...

Когда переступил он свой порог, ему подумалось, что не напрасно купил он чуть не самый большой дом в укреплении. Ему такой не был нужен, и почти все наличные деньги пошли на него. Все же что-то подсказывало ему, что это нужно сделать.

В большой комнате пахло краской. Четверо мальчиков сидели в ряд за столом, положив перед собой розданные им тетради. Большая медная чернильница стояла посредине. Гребнев, топивший печку, опустил руки и встал в стороне.

Он прошел, остановился с другой стороны стола, еще не зная что будет делать. Дети ждали, глядя на него. Рука его потянулась к книге, открыла ее, хоть ему и не надо было туда смотреть.

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Он читал, зная, что не понимают они слов. Четыре пары черных блестящих глаз смотрели на него, и далеко вверх были вытянуты тонкие детские шеи.

Там русский дух... там Русью пахнет!

Он задержался на мгновенье, глядя через головы детей на что-то ясно видное ему.

В последний урок, поручив детям списывать в тетради нарисованные на доске палочки и оставив Гребневу часы, он уехал за пять верст в степь. Вовсе и не видно уже стало укрепления. Пустая степь, ограниченная линией окоёма, была вокруг. И вдруг звон раздался в воздухе. Слышалось так, как будто и не было

никакого расстояния. Он правильно выбрал этот колокол в оренбургской лавке...

«18 ноября 1860 года. Укрепление Оренбургское. Доброжелательнейший Николай Иванович... С мыслью, нет ли каких писем из Оренбурга от моих товарищей и от вас, поспешно протянул руку казаку, который тотчас вручил мне книгу, в которой вижу, к негодованию моему, конверт казенный. С каким-то стесненным и отвлеченным сердцем бросил пакет на стол и, подписавшись в книгу о получении, преравнодушно принялся опять слушать пение. На другой уже день распечатал конверт — и боже, какое диво! — вижу Ваш почерк, и первыми бросились в глаза начальные слова: «Душа моя Ибраш». Я был тут, поверьте, вне себя от радости...[1]»

Да, как раз находились у него султан Сейдалин, второй Мамажан и еще казахи из степи. С ними приехал местный акын. Весь вечер слушали они казахское пение. Рассказывали, что раньше комендант не пускал в укрепление казахов. С его же поселением здесь люди говорили, что едут к нему...

Что еще можно написать Николаю Ивановичу? Про то, как Краманенков всякий раз ходит вокруг его дома, стремясь что-то увидеть. Особая клеенчатая тетрадь имеется у квартирмейстера, куда пишет тот замечаемые у других провинности. Все боятся этой тетради, и офицеры тут не ходят друг к другу в гости. Разговор у них лишь о том, кому предстоит повышение в чине. И еще что при разводе пьяный сотник Носков упал посреди плаца с лошади.

Тот же Краманенков подошел к нему осенью со своей медовой улыбкой:

— Не замечали вы, господин Алтынсарин, некую странность в прапорщике Горбунове? На девке своей женился и в Оренбург привез. Граф Перовский его сюда и прислал подальше от глаз.

В Оренбурге он слышал эту историю и сейчас пожал плечами.

— И подпоручик Петлин, доложу я вам.— Краманенков придвинулся к самому его уху, зашептал: — Держитесь подальше от него. В клинике лечился от расстройства сознания. Мало что ему в голову попадет!..

Он отодвинулся, а интендантский офицер взял его мягко за рукав:

— Извольте заходить ко мне на огонек. Чайку попить, то да се...

---

[1] Письма И. Алтынсарина.

«С самого приезда моего в укрепление я был зрителем одних неприятностей, подлостей, кляуз. Но меня, сколько бы ни втирали в них, бог до сих пор спасает. Училища здесь нет, его не будет до следующей весны. Я формально просил Барона, чтобы он отвел квартиру какую-нибудь для обучающихся до осуществления школы, чтобы не остудить на первое время горячих желаний здешних киргизов отдавать мне для обучения детей своих. Но, к сожалению, просьба моя не имела от Барона хорошего результата... Впрочем, у меня теперь трое учеников, которые живут со мною вместе...

Екатерине Степановне мое нижайшее почтение и поклон. Товарищам моим не кланяйтесь, они не люди, а скоты. Это им передайте...»

Что же, могли бы Миргалей Бахтияров или Кулубеков написать ему хоть короткое письмо. Он представил, как обиженно хлопает Бахтияров своими красивыми глазами, услышав это мнение от Николая Ивановича, и улыбнулся.

Ночью ему снилось лукоморье и огромный зеленый дуб с цепью, перекинутой с одной ветки на другую. Он и не знал, что это такое — лукоморье, и только много чистой светлой воды было кругом...

II

Люди стояли кучкой напротив дома: перевязанные платками бабы из поселка и отдельно офицерские жены. Жена прапорщика Горбунова стояла несколько в стороне. Проходящие мимо солдаты и обыватели останавливались, смотрели с удивлением в окна. Там, как в церкви, горели свечи и видна была елка, увешенная всякими игрушками. Слышалась гармонь и детское пение: «Станьте, детки, станьте в круг».

Мужик в сурчиной шапке и чистом праздничном полушубке задержался, покрутил головой:

— Чтой-то киргиз напридумал!

— Загодя ходил: у кого, мол, дети есть, на елку звал,— объясняла словоохотливая баба.

— Какое же у кыргызов рождество? Татарская у них вера.

— Не рождество, а так, мол, для детишек забава...

— Гляди, и елку вроде раздобыл!

— Так то арча, на взгорье за Алаколем ее целый лес...

На крытое железом крыльцо вышел хозяин дома без шапки, в мундирном пальто с отворотами:

— Заходите в дом, господа, чьи тут дети. Милости просим!..

Жена лекаря Кульчевского неуверенно шагнула к крыльцу.

— Идите, идите, Ксения Сергеевна.— Алтынсарин подал

ей руку, повернулся к жене прапорщика.— И вы, Евдокия Матвеевна, прошу покорно...

Обе вошли в дом. Лишь третья — жена квартирмейстера Краманенкова — осталась стоять на крыльце.

— Прошу и вас, что же вы!

Алтынсарин, отступив в сторону, звал в дом толпившихся баб. Те, чьи дети были внутри, стали робко входить на крыльцо. За ними потянулись и другие. Некоторые смотрели в окна, прижавшись лицами к оттаявшему стеклу.

В большой, занимающей половину дома комнате было тепло. С подоконников бежала стаявшая со стекол вода. Укрепленная в кресле елка стояла как раз посредине, упираясь золоченой звездой в беленый потолок. На стуле у стены сидел приказчик Кухнер, из бывших кантонистов, выполняющий в укреплении также роль парикмахера, и играл на саратовской гармонии. Человек пятнадцать детей разного возраста, взявшись за руки, ходили вокруг елки.

— Меня, дети, называйте Иван Алексеевич,— объявил Алтынсарин.— Теперь станем учиться танцевать!

Сбросив пальто, он принялся расставлять пары. Девочек было четыре. В первой паре он поставил двенадцатилетнего сына Краманенкова в гимназической куртке и дочку сотника Чернова — совсем уже барышню. За ними встал мальчик из поселка в армячке и больших, не по росту, сапогах. В паре с ним была бойкая маленькая девочка в цветастых шароварчиках и со множеством косичек на голове — дочка лавочника Файзуллы. Черкеша — сына Мамажана он поставил с другой девочкой из поселка, в валенках и сарафане, надетом прямо поверх теплой, как видно, материнской, кофты. Остальные разобрались сами и стояли в ожидании, глядя на него с открытыми ртами. Кухнер заиграл кадриль. Алтынсарин вдруг повернулся к жене лекаря Кульчевского:

— Вы бы руководили мной, Ксения Сергеевна. Я ведь не совсем ловок в танцах.

Кульчевская — средних лет высокая, строгая дама — опустила глаза, потом вдруг решительно сняла шубку, бросила на стол у стены. И сразу помолодела, сделалась стройной, на щеках взялся румянец. Протянув руку хозяину дома, она уверенно повела его в ритурнели. Потом деловито показывала детям, как надлежит ставить ногу, на каком счете возвращаться. Все, как могли, повторяли за ней. Скоро сделалось шумно и весело.

Потом устроили игру для маленьких. Те бегали и ловили друг друга. Взявшись за бока, ходили под музыку цепочкой. Раздавался сигнал, и все поспешно бросались к своим стульям.

Оставшийся без места должен был ловить других с завязанными глазами.

Вовсе уж все освоились, когда началась борьба. Хозяин дома показывал, как борются киргизы, берясь за пояса. Сильнее оказался самый невидный из киргизских мальчиков — Кабыл. На голову ниже других, он ловко валил на пол рослого, здорового Черкеша и поселкового Егорку в больших сапогах. Лишь с сыном Краманенкова никак не мог он управиться. Тот сам знал какой-то гимнастический секрет и никак не уступал. С улицы напирали зрители. Задержавшийся накануне возле дома мужик в полушубке притоптывал в дверях:

— Так, под стегно его теперь бери... Ну, и ты, слышь, не поддавайся, коленом делай упор!

Но сын Краманенкова, серьезный лобастый мальчик, почему-то опустил руки и отошел в сторону. Все притихли. Сам Краманенков стоял на пороге, глядя каким-то темным, болезненным взглядом на происходящее. Жена его, развеселившаяся со всеми, как-то потухла, торопливо стала доставать с вешалки гимназическое пальтишко с башлыком.

— Изволите рождеству радоваться? — мягко, как всегда, заговорил интендантский офицер. Рот у него дергался. Быстро взглянул он на елку, на Кухнера, задержался на придвинутой к стене учебной доске. Там мелом были размечены линии и написано разбитое на слоги слово «адам». Краманенков поднял брови.— Это кто же, позвольте вас спросить? Прародитель?

— У киргизов, Виталий Никифорович, таким образом обозначается слово «человек»,— сказал ему Алтынсарин.

— Так-с... Весьма, весьма любопытно!

Краманенков повернулся и пошел. Жена взяла уже одетого мальчика за руку и пошла следом. В дверях мальчик виновато оглянулся.

— Ты еще приходи, Алексей! — сказал ему Алтынсарин.

Праздник продолжался. Хозяин дома ушел, а вместо него пришел Дед Мороз с мешком. Каждого он вызывал громким голосом и давал из мешка кулек с подарком. Маленькие грызли орехи и курагу, играли бумажными мячиками на резинке, дули в глиняные свистульки. Старшим вдобавок дали книжки с картинками.

Потом танцевали с Дедом Морозом, и дети громко кричали:

— Иван Алексеевич, я уже умею!

— Смотрите, Иван Алексеевич...

Под конец Алтынсарин сказал, подавая шубку жене лекаря Кульчевского:

— Благодарю вас от лица детей, Ксения Сергевна, за помощь!

Вид у него был строгий и торжественный. Она удивленно посмотрела на него, поклонилась:

— Это вас надо благодарить за доброе сердце.

Маленький сын прапорщицы Горбуновой все не хотел уходить и тянул мать назад, к елке.

— Спасибо вам, Иван Алексеевич,— чуть слышно сказала и та, покраснев от смущения.

— Идемте, Евдокия Матвеевна! — позвала ее Кульчевская, надевающая башлык на голову доверенной ей дочери сотника Чернова. Держа детей за руки, они вместе пошли к офицерским квартирам.

«19 января 1861 года. Укрепление Оренбургское... Краманенков вывез с собой на обратный путь немалое количество возов кляуз и нечистот для представления их к глазам...»

Вспомнился взгляд мальчика в гимназической куртке перед тем, как пошел тот от елки за отцом. И жена словно бы дышать перестает при муже. Еще когда пришел он звать на елку, она всплеснула руками:

— Нет, не надо это, господин Алтынсарин. Уж поверьте, не надо!

Но тут сын с какой-то взрослой тоской посмотрел на нее, и она опустила глаза:

— Да, может быть, придем, Виталий Никифорович как будто уезжает...

Уже к концу первого урока, когда открыл он при своем доме школу, Краманенков стоял напротив и заглядывал в окно. Совсем никакого касательства не имело это к его прямой службе, и служба интендантского офицера была обеспечивать квартирами, продовольствием и фуражом укрепление и принадлежащие к нему линейные посты. Всякий раз, когда звонил он с урока и на урок, видел Краманенкова то через дорогу от школы, то на комендантском крыльце.

Через два дня после того, как открыл он у себя на дому школу, солдат позвал его к коменданту.

— Поскольку... Отсутствие распоряжения... Надлежащий порядок...

— Господин барон изволит высказать свое недоумение по поводу непредусмотренных в гарнизоне звонков,— пояснил слова коменданта сидящий там всегда Краманенков.— Ввиду того, что указание по школе не поступило... Неизвестно также, какие там преподаются науки и внушаются мысли.

— Господин барон в любой час может посетить нашу школу,— твердо ответил он.— Что касается звонков, то они произ-

водятся строго с регламентацией Министерства просвещения, принятой как для казенных, так и частых гимназий и училищ.

— Есть еще ваша служба переводчика,— напомнил Краманенков.

— Согласно формуляру, служба моя делится на две части.— Он говорил в сторону барона фон Менгдена, как бы не видя интендантского офицера.— Вторая часть по переводу с языка киргизского на встречах с населением мной выполняется в каждом необходимом случае. Впрочем, по вашему желанию могу освободить себя от исполнения этой части, оставшись только при учительской должности...

Каждый день в точно назначенное время звенел звонок при школе. Даже часы в гарнизоне сверяли по нему. Поручая Гребневу звонить, он уезжал еще несколько раз далеко в степь. Звонок слышался, где бы он ни находился.

В один из дней Гребнев прибежал к нему взволнованный и положил на стол новенький двугривенный:

— Виталий Никифорович дали... Смотри, говорит, Гребнев, как и что там у киргиза. Мол, не все чисто это, со школой. Так ты слушай, что он говорит киргизятам, и мне приноси. Тем более, язык ихний разбираешь...

— Ну и что ты? — спросил он у подростка.

Гребнев засмеялся, и острый природный ум вдруг выступил в простодушном лице:

— Все ему повысказал. Что, значит, цепь на дубе золотая, и ученый кот заместо сторожа туда-сюда ходит. Уж не фармазон ли, говорю, Ваше благородие, этот самый Алтынсарин. Ну, вроде капитана Копейкина[1]. Так и остались в раздумье Виталий Никифорович...

Все знали про клеенчатую тетрадь у Краманенкова, и что тот заносит туда замечания о поведении офицеров и обывателей. Какое-то особое начальство, помимо интендантского, было у него. Говорили, под судом состоял квартирмейстер в Саратове по казенному делу и грозила ему каторга. Но только где-то вступились за него и ограничились переводом в степь. Сейчас Краманенков с зимним обозом поехал в Оренбург...

Про что еще писать Николаю Ивановичу? Коль речь о Краманенкове, то нисколько он того не боится. Так или иначе, а открытая правда на его стороне, как и в случае с Красовским. Даже здесь разве имеет подлинную силу Краманенков. Потому и принужден скрываться от дневного света с каким-то своим тайным начальством. Вот и Гребнев это точно чувствует. Так, прямо, не могут эти люди выступить против школы для казахов.

---

[1] Странствующий сюжет о знаменитом разбойнике.

Другие дело, как на самих казахов станут влиять они. Еще в Оренбурге ощущалось это противоречие. Корни уходили глубоко, еще к хромому генералу, вступившему в спор с генерал-губернатором и министром.

«Спрашивается, какая из того польза, если я выучу их переписать что-нибудь, сам не умея сочинять, читать, не понимая... Научу наизусть формальным фразам, как, например: по предписанию Областного правления за № таким-то... Не вынеся с собой из учения в школе ни порядочного образования, ни хорошего понятия, они гордо выступят в степь, и, показывая себя многознающим человеком, больше законщиком, в чем не будут сомневаться киргизы, они употребят во зло свое маленькое знание, станут безжалостными обидниками киргизов же...»

Некому, кроме Николая Ивановича, написать про обиходную жизнь, что запуталась у него. Мать, бабушка да тетушка Фатима здесь с ним. А хозяйство все на Тоболе. И не смотрят хорошо за скотом нанятые со стороны люди. Из лучшего табуна, оставленного дедом, уже пало, как сообщили ему, семьдесят голов. Сюда переводить — так нужны зимовье и выпаса. Полсотни его лошадей пасет тут со своими конями родич и друг его Мамажан, больше не сможет. Хоть знал он, что нелегко вести хозяйство, да все равно голова кругом идет.

И не всё ли одно, на Тургае или в другом месте будет его домашняя школа, раз не думают ее открывать от правительства. Накануне рождества шел он от коменданта и остановился, удивленный. Несмотря на мороз, солдаты сметали снег с комендантского дома и офицерских казарм, красили крыши теплой маслянистой краской. Другие старательно белили стены. Только осенью тут производили ремонт, и дома стояли как новые. К чему было это повторное крашение?

— Средства, господин Алтынсарин, неиспользованные остались,— мягко заговорил появившийся рядом Краманенков.— Изволите видеть, школа все одно не открывается. А средства надо куда-то девать.

Квартирмейстер улыбался, глядя прямо ему в глаза.

Он написал попечителю Плотникову о своем желании перевести укрепления в степь, ближе к Золотому озеру. Там и с хозяйством можно будет лучше распорядиться. Пусть же, коль не оставил еще Оренбурга Николай Иванович, поспошествует за него перед Плотниковым, да еще с попечителем Алексеем Александровичем Бобровниковым поговорит...

Неужто и взаправду, как писал ему, уедет Николай Иванович? Как же тогда будет все остальное?..

III

Все стояли на плацу. Бабы и дети из поселка пришли от речки и глядели, защищаясь руками от слепящего глаза горячего ветра. Солдаты в долгом ожидании нарушили ровность рядов. Унтер Цыбин ругался подлыми словами, выстраивая их заново. Лошади мотали мордами, и казаки сидели в седлах с ленивым, скучным видом, как принято у них в линейной службе. Отдельно стояли статские чиновники в мокрых от жары полотняных мундирах и с ними отец Василий Бирюков с пономарем Гришкой.

Линейный с вышки замахал флажком.

— Едет! — выдохнули в толпе.

Отличающийся звучным голосом сотник Носков, выделяемый обычно в торжественное дежурство, привстал в стременах:

— Гар-рни-зон!..

Пропела труба, пробил барабан. Три коляски, одна за другой, съехали с дороги, покатили по взбрызнутому водой песку. Полусотня конвоя по трое в ряд выехала следом из пыли, стала устраиваться на краю плаца.

Генерал с чуть косящим глазом принял рапорт коменданта Оренбургского укрепления барона фон Менгдена, повернулся к строю:

— Здорово, братцы!

— Здравия желаем, Ваше превосходительство! — с точностью ответили солдаты.

— Здорово, казаки! — сказал генерал, пройдя и встав напротив линейного эскадрона.

Те ответили, как водилось у них, вразнобой.

— Здравь... лай... ва... ва... ства!

Все было известно: и генерал, много раз до того приезжавший в укрепление, и прибывшие с ним офицеры, и даже то, что приехал новый комендант.

— Гляди, так и верно Яков Петрович,— заговорили среди обывателей.— Он, значит, и будет начальник.

— А ты почем знаешь?

— Так писарь комендантский говорил.

С рождества шли разговоры о новом коменданте и говорили по-всякому. Называли майора Худякова, бывшего комендантом в соседнем Уральском укреплении на Иргизе, потом какого-то вовсе незнакомого офицера из штаба корпуса. С десяток их сменилось за пятнадцать лет, что стоит укрепление.

Генерал с офицерами и бароном прошли между тем в комендантское правление. Конвойные казаки по команде спешились, повели поить лошадей. То же сделали и ездовые с колясок.

Остальные стояли по-прежнему, обдуваемые сухим ветром из степи.

Минут через тридцать генерал и офицеры вышли на крыльцо. Сотник Носков скомандовал «смирно», запела труба. Генерал шагнул к строю, расставил ноги:

— Представляю вам, братцы, нового вашего командира, капитана, э... капитана...— Генерал запнулся и как бы в недоумении развел руками.— Впрочем, так или иначе, уже майора Яковлева.

Новый комендант смотрел ровно, лишь чуть дернулась у него бровь.

— Ура новому командиру! — скомандовал сотник Носков.

— Ур-ра-а! — протяжно закричали солдаты и казаки. Кричали и обыватели. Яковлева знали тут, поскольку он всякий год приезжал с топографами. Да и наемных рабочих брал для своей роты из поселка, так что тоже многих знал в лицо.

Тем не менее Яковлев вместе с генералом подходил к каждой роте и представлялся офицерам. Последними рекомендовались ему статские чины и волнонаемный состав.

— Весьма доволен... Весьма доволен! — повторял новый комендант, резко протягивая руку.

Напротив зауряд-хорунжего Алтынсарина он задержался:

— А, вы здесь... Очень рад тому, Иван Алексеевич!

Говорил Яковлев громко, со строгим видом, но никто не впадал от того в растерянность. Знали его такую манеру. Однако же хмур был Яковлев всерьез. Когда генерал ушел на отдых, он принялся распекать ездового с последней, нагруженной вещами коляски:

— Говорил тебе, мерзавцу: не тыкать узлы как попало. Вон лампу разбил!

Посреди узлов в коляске терпеливо сидела лет тридцати женщина с добрым широким лицом, очень похожая на майора. В толпе уже знали, что это сестра его Дарья Петровна, приехавшая из Тверской губернии.

— В девках задержалась! — пояснил кто-то.

— Это почему же?

— Да кто ведает?

Знали также причину плохого расположения духа нового коменданта. Два года уже носил он майорские погоны, а все числился в капитанах. Где-то не утверждали представление отдельного Оренбургского корпуса. Связано это было, как говорили, с послаблением, что делал он ссыльным солдатам. История с Шевченко попала даже в газеты.

Толпа продолжала стоять, наблюдая, как солдаты вносят в комендантскую квартиру узлы и корзины с коляски. Вещи пре-

жнего коменданта стояли уже уложенные. Там и был-то всего один чемодан и вешалка для шинели. Гребнев по указанию Дарьи Петровны раскладывал вещи, помогал развешивать картины и иконы.

— Где же ты обитаешь сейчас? Все у солдат? — спросил у подростка Яковлев.

— При школе мы теперь, Яков Петрович.

— Так разве есть тут школа? — удивился новый комендант. В этот момент зазвенел резкий, высокий звонок. Никто не обратил на это внимания, лишь новый комендант повернул голову. Сразу после развода он мерным, расчетливым шагом, какой держат старые топографы, пошел вдоль улицы. Дойдя до дома с крыльцом в начале порядка, комендант поднялся по ступеням, толкнул дверь.

В правой стороне дома слышались голоса.

— Аким ушел на реку ку-па-ца...

Это говорил, стоя с мелком в руке возле серой почему-то доски, киргизенок в широких штанах и выпущенной поверх штанов рубашке. В усердии мальчик таращил черные глаза, и было видно, как трудно дается ему последнее слово. За длинным и таким же серым столом сидели трое других детей. А в стороне боком стоял другой стол, при котором находились Гребнев и громадный великовозрастный киргиз с плечами в добрую сажень. Так же, как и мальчики, держали они в пальцах перья, выводя что-то в тетрадях.

— Купать-ся... так оно пишется, уктын ба[1]? А также производить другие действия.— Зауряд-хорунжий Алтынсарин протянул руку к другому ученику.— Скажи, Черкеш, какие ты знаешь действия?

Тот подскочил, заговорил быстро, упирая всякий раз на последний слог.

— Одевать-ся, умывать-ся...

Алтынсарин чуть наклонил голову в сторону нового коменданта и продолжал говорить — медленно, выделяя каждое слово:

— Теперь запишем. Я буду диктовать: «А-ким по-шел на ре-ку ку-па-ца...»

Яковлев сделал шаг назад и остался в сенях. Минут через десять Гребнев взял со стола большие серебряные часы, вышел из дома. На коменданта он и не поглядел при этом. Какой-то особенный, высокий и чистый звонок раздался на улице.

— Доброе утро, Яков Петрович!

Алтынсарин смотрел на коменданта с серьезностью.

— Что же, и Гребнев у вас учится? — спросил Яковлев.

---

[1] Понимаешь?

— Это так, отдельно от детей. У них свои задания...

Они вышли на крыльцо. Ровно дул степной ветер. Где-то хрипло и нестройно пели солдаты. Баба несла от реки полные ведра с водой. Корова посреди улицы выедала проросшие между колеями жесткие бодылья.

— Да-с, со школой не решается дело.— Майор Яковлев говорил все с той же отрывистой строгостью в голосе.— Имел честь перед отъездом беседовать о сем предмете с Их превосходительством Василием Васильевичем. Только не в генерале Григорьеве суть. Он, видите, желает, чтобы в школах инородческих практические науки преподавались. Не обращать их в рассадники чиновничества. От того ведь и в России пошла беда. Да некоторые люди при губернаторе хотят как раз одних писарей получить из киргизов. К тому примешивается и давняя неприятность Василия Васильевича с этими людьми. Помните: кара беты. Не в одних только школах дело.

Несвойственная ожесточенность послышалась в голосе Яковлева. У него дернулась бровь, как на плацу, когда приехавший генерал назвал вдруг его капитаном.

«26 января 1862 года. Укрепление Оренбургское... Дорогой наш Николай Иванович!.. Четыре ученика имею у себя, ими и занимаюсь. «Самоучитель русского языка для киргизов» — их наставник, вполне достигающий той доброй цели, которую Вы имели при сочинении его. В «Самоучителе» в особенности порядок постепенного учения детей русскому языку изложен превосходно. Мы, понимающие, по крайней мере, всю выгоду знания киргизами русского языка, воссылаем Вам искреннее спасибо. Правда, есть некоторые ошибки в киргизском переводе, но они ничего не значат при толковом разъяснении детям преподавателя. Присланные Вами ко мне для продажи восемь книг я распродал давно...»

Беспокоить или нет Николая Ивановича всем, что происходит вкруг него? Да и до него ли тому в Казани, когда сам только устраивается. О Василии Васильевиче он и там, верно, знает. При прошлом губернаторе уже было неладно. А уж при новом — Безаке всю власть забрал Красовский. Одним из противоречий его с Генералом как раз и состоят киргизские школы. Приезжавший капитан Андриевский говорил, что и формально Василий Васильевич уже отстранен от должности.

Ему-то здесь, на Тургае, думалось, что и вовсе не имеет это к нему прямого отношения, кроме задержки с открытием школы. Однако же лишь вчера вызвал его к себе Яков Петрович. Не глядя ему в глаза, заговорил:

— Имею необходимость формально выяснить у вас, Иван

Алексеевич, при каких обстоятельствах был принуждаем вами в магометанской вере живущий при укреплении недоросль?

У него дух перехватило:

— Извольте объясниться, Яков Петрович!

Яковлев молча придвинул к нему бумагу. Он взялся читать, но четко написанные слова прыгали перед глазами. Отстранившись, он посмотрел на все так же ровно стоящего коменданта и снова возвратился к чтению... «По донесению осведомленных лиц упомянутый недоросль по имени Гребнев, родом из поселенцев, проходит в означенной школе магометанский уклад и, как видно, принуждается к обрядам. Также и прочие ученики незаконной школы воспитываются в духе превратного вольномыслия, никак не ограниченные утвержденными правительством правилами. Зауряд-хорунжий Ибрагим Алтынсарин, и в предыдущей службе отличившийся строптивостью...» Подпись был прямая: действительный статский советник Красовский.

Упершись взглядом в одну точку, сидел он у коменданта, и мысли, как лошади в скачке, обгоняли друг друга... Николай Иванович зовет его к себе в Казань, где тот теперь профессором в университете. Продолжить образование можно с помощью друзей, да и есть кому на Тоболе присмотреть за матерью. Семинария для инородцев должна также открыться. Только как же тогда купленный им колокол?..

Еще в прошлый год писал он через барона просьбу об откомандировании его в степь, подальше от укрепления. И при этом коменданте, когда опять отдалилось открытие школы, подтвердил он свой рапорт. Даже Алексея Александровича Бобровникова просил о поддержке. Что еще, кроме школы, держит его здесь?..

Комендант сделал шаг к столу, дал ему линованный лист бумаги с печатью укрепления в левом углу:

— Пишите!

Он взял перо, обдумывая объяснение. Следовало только найти нужный тон. Ясно, что бумагу из губернского присутствия ему никак не должны были показывать. Здесь уж доверительность к нему Якова Петровича. Отвечать приходилось по форме лишь на устный вопрос командира укрепления, которому по службе он подчиняется. «В связи с устным представлением Вашего высокоблагородия о якобы имеющем место принуждении недоросля Гребнева...»

— Что вы там пишете?!

Он удивленно поднял голову. Холодное, всеотметающее бешенство было в светло-голубых, выкаченных глазах майора Яковлева. Руки держались строго по швам.

— ...Я русский офицер, милостивый государь, а не исполнитель интриг. Извольте раз и навсегда это запомнить!

Стекло дрожало в окне. Рука с жестким мундирным обшлагом сорвала со стола исписанный им лист, бросила вместо него другой:

— Извольте помнить также о вашем ко мне подчинении в службе. Пишите не свое, а что я вам скажу...— Яковлев диктовал, словно выкрикивал команду: — «Начальнику штаба Отдельного Оренбургского укрепления. Рапорт... Ввиду получения мной письма от Его превосходительства действительного статского советника господина Красовского по делу находящейся во вверенном мне укреплении киргизской школы, считаю себя обязанным сообщить Вам следующее. Школа, ныне действующая в пределах укрепления при бескорыстном и доброхотном участии зауряд-хорунжего Алтынсарина, является как бы приготовительной к имеющей открыться здесь одной из четырех киргизских школ, предусмотренных Министерством народного просвещения. Зауряд-хорунжий Алтынсарин формально утвержден в должности учителя лишь с попутным исполнением переводческой службы. Мной лично проверено состояние дела в школе, каковое ведется господином Алтынсариным достойно и с похвальными намерениями. Что касается обучения грамоте при школе великовозрастных поселенца Гребнева и киргиза Дауранбека Смагулова, то не вижу в том проступка, как и в совместном их учении. Все касающееся якобы имевшего место принуждения Гребнева к мацометанству со стороны Алтынсарина является злостным наветом на благородного человека, имеющим цель остановить его в полезной и необходимой для Отечества деятельности...»

Ему даже жарко стало от своего минутного сомнения в человеке. Совсем как мальчик в школе поднял он глаза.

— А вашему рапорту тогдашнему, Иван Алексеевич, касательно оставления службы, я не дал ходу,— уже спокойно сказал Яковлев.— А терпение тут русское нужно иметь...

«Печатные слова некоторых умнейших, что киргиз — колотырник, киргиз кровожаден, останутся навсегда только безжизненным печатным словом. А Вы, Николай Иванович, три года скитавшийся по Ордынской степи, я уверен, что скажете: киргизы — народ сметливый, умный, способный, но необразованный. Об образовании киргизов начальство так заботится, что предпочитает лучше красить крыши и без того красные, белить стены и без того белые, нежели приступить к постройке училищ при укреплениях. Но бог с ними, мне ли критиковать начальство...

Яков Петрович, мой начальник, Вам кланяется, а также

Дарья Петровна Яковлева просит меня передавать Вам и Екатерине Степановне их нижайшее почтение... Весь Ваш Алтынсарин».

IV

Труба играла большой сбор. Вольно сидя в седлах, ехали казаки с флажками на пиках. Солдаты стояли на плацу без оружия, в свободном построении. А за верхними постами и по ту сторону Тургая скакали киргизы. Видимо-невидимо наехало их в одну ночь. По своей манере они носились кругами, не приближаясь и не отдаляясь от укрепления.

Комендант Яков Петрович с офицерами и статскими чинами прошли к новому, в шесть окон по фасаду, дому посредине укрепления. Зауряд-хорунжий Алтынсарин со строгим лицом показывал там солдатам, куда относить загромождавшие проход доски. Был третий день рождества, и празднично одетые люди со всего поселка находились на улице.

По знаку коменданта поднялись шлагбаумы. В ту же минуту киргизы со всей степи устремились в укрепление. Улица наполнилась скачущими с разных сторон всадниками. Потом они сбились в плотную массу, вперед выехали почтенные старики. Поддерживая под руки, помогали им слезать с лошадей. Такого еще не видывали в укреплении.

По команде дежурного офицера сюда привели солдат, поставили фронтом к новому делу. Сзади выстроились в линию казаки. Опять заиграла труба. Комендант встал на приступку дома. Рядом находился Алтынсарин.

— Якуб Петрович... Жилистый Якуб,— заговорили между собой киргизы, называвшие так Яковлева.— И внук Балгожи с ним из узунского рода...

Несмотря на холод, Яковлев снял шапку. Густые седеющие волосы с короткой офицерской стрижкой были зачесаны ровно, без помощи помады.

— Господа киргизские аксакалы. И вы, господа офицеры и обыватели...

Все знали, что Яковлев может объясняться с киргизами, но он говорил по-русски. Алтынсарин же повторял его речь по-киргизски.

— Перед вашим лицом, перед лицом сих солдат и перед лицом всего народа казахского, обитающего в этой степи, мы формально открываем первую школу...

Старики и почетные люди задвигались. Комендант назвал киргизов, как сами они себя считали,— казахами, с особым горловым звуком в конце.

— Сегодня Россия приходит сюда с новым знаком.— Яковлев говорил громко, и голос его слышался за валами.— Сей знак будут не прошлые битвы и победы, сколь бы блистательны ни были они, сей знак будут школы...

Почетные люди и офицеры зашли в школу. Смотрели со вниманием на стоящие в ряд свежевыкрашенные столы, привешенную к стене доску, на учительский стол со сложенными на нем книгами. В другой стороне дома стояли вдоль стены лавки, на полу лежала кошма. Толстые солдатские одеяла и суровое постельное белье были сложены кипами. В сенях висел умывальник с пятью кольцами и шла дверь в пристройку со стороны двора, где стояли вмазанный в печь казан и большой полутораведерный самовар. Жестяные миски были сложены одна в другую на полке, ложки лежали в ряд.

Заходили еще разные люди, киргизы и обыватели, с интересом все осматривали. Потом Алтынсарин позвал всех опять на улицу. Встав на приступку, он заговорил по-киргизски обыденным голосом:

— Как водится среди казахов, у нас сегодня праздник. Будут той и скачки, о чем была договоренность. Пусть готовятся к нему в надлежащем месте. Детям же казахским нужно учиться. Мы слишком много потеряли времени...

Дети выходили из толпы, становились перед школой. Делали они это по-разному. Одни прямо шли к двери, другие — неуверенно, оглядывались на родичей. И одеты были разно: кто в расшитом лисьем малахае, кто попроще — в обычной круглой шапке с мехом. В руках держали курджуны, торбы, просто узелки. Алтынсарин пересчитал: их было четырнадцать. Он посмотрел на молча стоящих людей: больше никто не выходил из толпы.

Раздался звонок, громкий, требовательный. О нем знали уже во всей степи. Дети, теснясь, пошли за Алтынсариным в дом...

Солдаты нестройно закричали «ура».

— Прекратить... Не видите: школа! — прикрикнул Яковлев.

Солдатам приказали разойтись, но некоторые остались, продолжали стоять возле школы с киргизами и обывателями.

Каждый час дважды звенел звонок. Дети выходили, шли к своим родичам. Но как только раздавался он вторично, спешили назад. Совсем уже не было в них страха или смущения. В школу они бежали теперь не оглядываясь.

Любопытствующие привставали на носки, смотрели в окна. Была видна доска, и палочки, что рисовал на ней учитель.

— Пишет чевой-то...

— Что ж пишет-то?

— А кто его знает!..

В поселке, да и среди солдат, немного было грамотных.

С полудня до вечера проходил той, на выгоне за шлагбаумом состоялись скачки. На валу палила пушка. Детей Алтынсарин не пустил на праздник: они делали уроки.

Он посмотрел на себя в зеркало, стоящее в углу его комнаты, слегка отодвинулся. Так же, как у учителя Алатырцева, были у него небольшая борода с усами, расчесанные в стороны волосы. И простой форменный сюртук был такой же. Не специально он это сделал, все само по себе произошло. С такой прической и в сюртуке с отворотами ходили земские чины, лекари, учителя,— и все, находящиеся в административной службе. И писатели в журнальных портретах были такого же вида, как бы мужицкого, без бакенбардов и с достоинством в лице...

Что же, третий месяц уже работала школа. А все определилось лишь в конце лета. Был возвращен к должности в Оренбурге Василий Васильевич, а исполнять дела губернатора вместо уехавшего Безака стал вдруг старый хромой генерал, тот самый, что двадцать лет назад писал на полях свое мнение по просвещению. И быстро решилось дело с киргизскими школами...

Летом ездил он по устройству своих дел на Тобол. Гребнев управлялся с лошадьми и дедовским тарантасом. У Золотого озера гостил он у родственников. Аксакал Азербай сидел на месте деда Балгожи. Все так же боком к нему и друг к другу сидели дядя Хасен и дядя Кулубай. Оба чуть ссутулились, зато расцвели сыновья их — молодые джигиты Жунус и Жумагул. Вежливо приветствовали они его, как старшего брата, но в глазах у обоих была скрытая настороженность. Он специально уселся в круге как бы отдельно от всех, там, где надлежит сидеть только гостю. И сразу разгладились при обращении к нему лица родичей. Наперебой старались они заслужить его расположение. Он сделался для них посторонней силой и следовало иметь его в друзьях.

На кыстау стало многолюдно не по времени года. Раньше лишь больные и сторожа оставались здесь, когда уходило в свой путь кочевье. Теперь полосами до реки здесь темнела перекопанная земля. Поверху стояло шесть или семь одинаковых изб — из тесаных бревен с резными наличниками на окнах и воротах. Как раз там это было, где думал он когда-то проводить главную городскую улицу.

В огородах росли репа, огурцы, капуста, за сараями зеленела рожь. При каждом доме были посажены деревья, и ягода

краснела между редких листочков. По памяти он вошел в дом, где стояла раньше шошала дядьки Жетыбая. Замызганный мальчуган возился во дворе с щенком. Увидев чужого человека, мальчик уставился на него, положив палец в рот.

— Ты чей? — спросил он по-казахски.

— Жетыбай мой отец.

Он удивился. Мальчику было года четыре. Как-то не узнавал он о жизни дадьки Жетыбая у приезжавших навещать его родственников.

— А мамка в доме уху варит. Дядя Гриша во какого сома вчера поймал!..

Малыш разводил руки и таращил глаза. Из дома вышла немолодая женщина, по виду мерещачка, но в русском сарафане.

— Сейчас в степи они. Там у нас и просо, и пашеница,— сказала она певуче, совсем по-русски.

Вечером он пришел к дядьке Жетыбаю. Тот сидел на лавке, все такой же, как и раньше: то ли сорок лет ему было, то ли пятьдесят. Лишь в глазах стало больше движения, особенно когда придвинул к колену сына. Салима — жена его — была из-за Тобола, нанималась там у людей при огородах. Жетыбай приглядел ее на ярмарке, что устраивалась теперь в Николаевской, и привел жить к себе.

Окна были открыты. Заходящее солнце красило край неба за излучиной Тобола. Пришли солдат Демин, Нурлан, еще какой-то мужик в казахских меховых штанах. Нурлан, прошлым летом освободившийся из острога, не стал уходить с кочевьем. Сейчас он строил дом, и дядька Жетыбай с Деминым помогали ему. К солдату Демину приехала родня из России: сестры, двоюродные братья. Двое их тоже поставили здесь избы.

Салима выхватывала из большой печи чугун, разливала уху по мискам. Ели деревянными ложками, какие продавались на ярмарке.

— Знатных сомов Григорий Петрович приносит. Видно, место для них такое! — говорил мужик в козьих штанах.

Демина называли по имени-отчеству. Это он вчера отловил десятка полтора сомов и другой рыбы.

— Места тут изобильные,— продолжал говорить мужик.— Потому и народ сюда тронулся. Как манифест вышел царский, так все и произошло. Год-второй протянул мужик, что полагалось по реформе, глядь, а земли у него с гулькин нос, суглинок али болото... Страсть сколько народу сюда валит!

Так оно и было. На другой стороне реки, в Николаевской, стояли возы. Большие, послушливые лошади, махая хвостами, паслись у дороги, мычали привязанные к возам коровы. На возах

сидели ребятишки, прикрытые от дождя армяками и попонами. Они любопытно смотрели на казаха, ведущего в поводу большого двугорбого верблюда. Десятки таких возов останавливались тут на ночлег и утром трогались дальше. Кто оседал при постах и укреплениях, начинал сеять хлеб. Другие, как родичи солдата Демина, нанимались работать на кыстау у казахов.

Николаевский поселок сделался шире и выше. Большая каменная церковь стояла на площади. Три улицы тянулись уже от нее к реке. Дома строились как в городе, ровными порядками.

Жители не говорили Николаевская или Новониколаевск, а как и первые поселенцы — Кустанай. Когда двадцать лет назад стали селиться здесь, было это просто урочище.

В парадном крыльце большого каменного дома повернул он рукоятку звонка.

— Господин Алтынсарин!..

Знакомая женщина с чуть расплывшимся лицом отступила в радостном изумлении. Другая женщина, молодая, дебелая, смотрела из-за плеча:

— Иван Алексеевич!

Он смотрел и никак не мог представить, что это и есть Оленька с веснушками и соломенными косичками, которую он знал. И сюда, куда переехали Дыньковы, всякие полгода посылал он через ведущего счеты Алим-ага деньги. Только на второй год он получил от Варвары Семеновны письмо с великой благодарностью и сообщением, что они устроены и не имеют больше нужды. Потом, еще через год, получил он Оленькино письмо, что она собирается замуж...

Он сидел за праздничным столом и слушал, что говорил Оленькин муж, молодой представительный негоциант:

— Мы, Курылевы, старая торговая фамилия. Батюшка меня в Англию посылал, и даже работал я там несколько времени от фирмы. Шерстяное дело у англичан находится в большом развитии. Даже в парламенте председатель у них на мешке с шерстью сидит. На стекляшки да зеркальца продукт у туземцев обменивать — давно у них в прошлое отошло. Все на твердой, разумной основе. Не от обмера или обвеса также идет прибыль, а от научной системы. Гниль всучить или обмануть в чем-либо покупателя, так ни в коем разе. Самому невыгодно, так как не возьмут в другой раз его товара. За работу ума, за экономический труд берет предприниматель свой законный процент. И не беспокоиться делать лучше никак не может, вмиг его другие обойдут.

Теперь возьмите нашу российскую, азиатскую торговлю. Впрочем, может быть, и от варягов она к нам пришла. Даже

и слово такое у купцов есть — варяжить. Это означает в самом прямом смысле поставщика ободрать и покупателя объегорить. В обмане ищет свой процент коренной российский прибыльщик. Ума тут много не надо, да и трудов больших не требуется. Условился и за работу что следует не заплатил. А то и прямо отобрал принадлежащее человеку. Дураков, мол, учат. Тоже и с покупателями: сукно гнилое продаст или сапоги на картоне. В Севастопольскую войну все сразу себя показало.

Нет, в новом осмыслении следует жизнь строить. Вон в степи овца полтинник стоит. Можно, конечно, по темному делу враз ободрать киргиза и процент бешеный от того получить. Только серьезный негоциант никогда так не сделает. На промышленную почву он все поставит. Изучали мы это дело. По всему выходит именно тут, в Кустанае, удобный выход скоту из степи. Так чтобы не гнать его живьем, дальше, а на месте обрабатывать. То есть капитал вложить, умение свое проявить. А в таком разе и киргиза нельзя диким порядком обдирать. Самому выгодно где и поддержать его в трудное время. Тут такой случай, что обеим сторонам от того получателя польза. Взаимно зависимы в экономическом деле становятся они, а что может быть крепче этого...

Оленька была в положении. По тому, как смотрел на нее Василий Анисимович Курылев, было видно, что муж ее любит. Она играла на фортепьяно, а они слушали.

За обедом положили ему на тарелку вяленое казахское мясо.

— Айтокин прислал,— сказала Варвара Семеновна.— И здесь все шлют, не забывают Алексея Николаевича, царство ему небесное. И не брать невозможно — обидятся...

По делам он еще съездил в Троицк. На обратном пути снова остановились на кыстау. Ночевал он в каменном доме у Азербая, опять ходил к дядьке Жетыбаю и солдату Демину. Жена Демина, из его же деревни, крепкая, уверенная в себе женщина, как ни отказывались, постирала ему и Гребневу исподнее и рубашки. Когда он уезжал, солдат Демин сидел на коньке крыши дома Нурлана, прилаживал деревянные кружева с петухом, как на других домах. Внизу с подоткнутыми платьями ходили женщины, носили глину в тащилках, дядька Жетыбай и Нурлан лепили из серых кирпичей сарай во дворе.

Так и не сказал Нурлан за это время ни одного слова, только шрам на лице становился белее всякий раз, когда спрашивали его что-нибудь о прошлом...

Не так все было просто со школой. Опять приходила бумага из губернии о том, что он противодействует распространению

слова божьего среди учеников. Потом вдруг перед самым открытием школы пришло отношение о согласии с его рапортом о переводе на службу в степь, написанными два года назад. Это случилось, когда и хозяйство все уже перевел он сюда с Тобола. Даже новый учитель назначался — Мангысов, только что окончивший Оренбургскую киргизскую школу. Яков Петрович собственноручно писал возражение.

Было видно, откуда все идет. Краманенков, несмотря на двухкратные представления майора Яковлева, оставался в гарнизоне. На квартиру к интендантскому офицеру ходили сотник Носков и Федор Ксенофонтович Ермолаев.

Уже вскоре после его переезда в укрепление пришел к нему Ермолаев.

— Так что свидетельствуем свое почтение. Как земляку, можно сказать...

Он с недоумением смотрел на работника Федора, бывшего в Оренбурге на хлебах у торгующего мясом соседа Толкунова. Вовсе рассудительный вид сделался у того. Как и тесть его Тимофей Ильич, благостно щурил Ермолаев глаза, только голос был резче.

— Чем могу служить? — спросил он.

— Как, значит, промышленники мы по мясному делу. Ну и шерсть там, кожа... А вы как близкий человек киргизам. Так можно и договорчик нам с вами учинить. Чтобы скот подешевле с них брать. Вам-то они запросто поверят...

В подобных случаях неожиданное спокойствие приходило к нему.

— Извольте оставить мой дом!

— Как знаете-с... Наше дело предложить.

Ермолаев тоже был спокоен. Лишь уходя, метнул взгляд куда-то в пол, и сразу встал перед глазами оренбургский день, старик с джигитом перед высокими воротами и размахнувшийся для удара кулак. Господин Дыньков тогда его укоротил...

Однако этого всего, в том числе доносительных писем, так и следовало ожидать. Другое беспокоило его при взгляде на детей. Только сегодня остановился он среди урока и стал вдруг смотреть им в глаза. Как будто одинаковые были они: пытливые, чистые. И вместе с тем знал он, что большая половина их родителей — дистаночные старшины, казенные бии, даже родичи обедневших султанов. С одной только целью послали их сюда отцы — выучиться, чтобы сесть посредине круга в роде. Помнилось значение мундира с начищенными пуговицами при сидении у колена бия Балгожи. Жадность к власти дяди Хасена и дяди Кулубая, умноженная в тысячу раз, представилась ему. Не надо будет нанимать приказных. Все сами научатся писать, и тысячи

заявительных писем потекут со всех сторон, ядовитой массой устилая степь.

Открывая этому дорогу, лежала перед ним тусклая бумага. За два года до школы пришла она, и было на ней личное утверждение оренбургского и самарского генерал-губернатора генерал-адъютанта Безака в споре того с «генералом от Московского университета» Григорьевым. Василий Васильевич желал, чтобы не администрации учились киргизские дети, а практическим наукам. Железную дорогу начинали строить через Волгу к Оренбургу. Так с чем встречать ее узунским кипчакам?

«Курс учения в степных школах полагается следующий: а) чтение и письмо на киргизском и русском языках; б) первые четыре правила арифметики и в) переводы с киргизского на русский и обратно с объяснением при этом грамматических форм обоих языков». И ничего больше — даже того, что есть город Оренбург. Всё должно было оставаться в окоёме.

Зато в остальном «Правила о школах, учрежденных при Оренбургском и Уральском укреплениях и при фортах № 1 и Перовском» составляли полных четыре части в тридцать один параграф. Забор рос по окоёму, вылущивая содержание... «Классная и спальная мебель каждой школы должна заключаться в нарах (с матрацами из грубого холста, набиваемыми соломой или сеном), столах, скамейках и большой учебной доске — все плотнической работы; а кухонная посуда — в железных ведрах и чайниках... Ножи для резания мяса воспитанники должны иметь свои... подсвечники и щипцы для свеч употребляются железные...»[1] Природное буйство порывов дяди Хасена и дяди Кулубая укладывалось в строгие административные рамки, обретало государственный смысл.

Ведомость по предметам, необходимым в школе, лежала перед ним... «Аспидные доски — 3... Счеты большие — 2... Доска с козлами для арифметических упражнений — 1... Чернильницы — 2... Перочинные ножи — 3... Карандаши — 1/2 дюжины... Мел комовой — 10 фунтов». И шнуровая книга, в которую записывается по каждому пункту расход. Ежемесячно составляется о том обязательный отчет, где каждый параграф получает обстоятельное освещение. В свою очередь, от лица коменданта укрепления идет в областное правление соответствующее донесение о деятельности школы, составляемое, естественно, тем же смотрителем и учителем школы в одном лице, только уже с контрольной позиции.

---

[1] Алтынсарин И. Том II. Алма-Ата, АН Казахской ССР, 1976.

Имеется в том особый смысл, чтобы не оставалось учителю времени для широкого дела. Сам воздух школы должен быть пропитан встречным духом к дяде Хасену и дяде Кулубаю. Фигура Евграфа Степановича Красовского вставала во всей значимости. Только ведь был еще русский язык, которого никак им невозможно было отменить.

Он сознательно не стал собирать детей в школу поодиночке. В таких случаях есть обычай везти подарки и устраивать особо своего человека. В один и тот же час прямо из толпы позвал он их в школу, чтобы не имели никаких преимуществ друг перед другом.

И не отпустил он их также на той, что происходил в день открытия школы. Не с праздника надлежало начинать дело, и узунским кипчакам следовало впитать это с первого школьного звонка. Он вырывал их из окоёма сразу, с первого дня...

«16 марта 1864 года. Укрепление Оренбургское... Добрейший Николай Иванович!.. 8 генваря совершилось давно ожидаемое мной открытие школы, и поступили в нее 14 киргизских мальчиков, мальчиков славных, смыслящих. Как голодный волк за барана, взялся я горячо за учение детей, к крайнему моему удовольствию, мальчики эти в течение каких-нибудь трех месяцев выучились читать и даже писать по-русски и по-татарски. Методу учения я занял у Вас; даю им сперва названия предметов, исключительно слова, относящиеся к имени существительному; потом названия качества предметов — имени прилагательному; потом соединения названий предметов с их качествами, далее — глаголы, а потом спряжения и склонения слов, род и число, далее — примерными тому разговорными переводами из «Самоучителя». Два воспитанника, прежние еще мои питомцы, почти выучили уже эти правила: занимаются разговорными переводами и читают «Детский мир», из которого также делают переводы. Когда воспитанники мои начнут немножко говорить по-русски, я смешаю с ними и русских мальчиков, детей здешних поселян, на что имею законное уже право... Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще на их нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками. Посмейтесь надо мною, я иногда являюсь к детям в пустое от занятий время официально муллой и рассказываю, что знаю, из духовной истории, прибавляя к тому и другие полезные удобопонятные рассказы.

Если Вас не затруднит, то просил бы выслать мне пять или шесть «Самоучителей» и еще других таких книг, которые почтете

для детей полезными... Мое постоянное стремление душевное клонилось к тому, чтобы непременно быть полезным человеком, а теперь мысль, что достигаю этого,— утешение мне во всем... Я прошу Вас как прежнего доброго Николая Ивановича, не забывайте только меня... Весь, весь, весь Ваш Ибраш...»

V

Теперя все соседи скажут:
«Кот Васька плут! Кот Васька вор!..»

Маленький и ширококостый мальчик-киргиз читал без книги с необычной серьезностью: расставлял руки, представляя добродушного пьяного повара, хитровато щурился и урчал, показывая блудливого кота, убирающего курчонка. Вовсе чисто по-русски изъяснялся он. Сидящие за экзаменаторским столом офицеры смотрели с удивлением. Только подполковник Яковлев с новыми двухпросветными погонами на плечах был официален и невозмутим.

— Так как, говорите, имя этого молодца? — комендант от дальнозоркости откидывал все голову назад от лежащего перед ним листа.

— Это, как я уже докладывал вам, из тех двух, что учились при мне раньше.— Алтынсарин говорил негромко.— Потому отсутствуют в формулярном списке. Полагаю их готовыми по всей программе. Вы ж о том знаете, Яков Петрович.

Яковлев крякнул. Ставши подполковником, он сделался еще больше придирчивым. Однако к школе был у него особенный интерес. Весь гарнизон был выстроен на ее открытие. Теперь вот на проходной экзамен учредил он комиссию, хоть и не предписывалось то правилами. По бокам от коменданта сидели у крытого сукном стола скоро уж тридцатилетний прапорщик Горбунов, подпоручик Петлин второй, сотник Чернов, лекарь Кульчевский, есаул Краснов. В стороне, как бы свидетельствуя в чем-то, расположился отец Василий Бирюков.

— Значит, в общем списке они обозначаться не станут?

— Так точно, Яков Петрович.— Алтынсарину одному позволялось в службе называть не по чину начальника укрепления.— Однако же свидетельства дадим им как кончившим учение.

— Ну-с, тогда приступим к дальнейшему экзамену.— Яковлев на минуту как бы задумался.— Скажем так. Коли вам, Ержанов, предстоит произвести измерение поля в горизонталь-

ном счислении, то какой инструмент употребляется в таком деле?..

Маленький Ержанов, ни секунды не думая, умножал и делил данные ему числа, производил триангуляцию[1]. Яковлев со скрытой снисходительностью посматривал на подчиненных. Он самолично водил киргизских воспитанников на съемку местности.

Лекарь Кульчевский, болезненный худой человек, расспрашивал по своей части. По содействию коменданта он объяснял в школе, как распознавать болезни и что делать в первой поре при их обнаружении.

Петлин второй покраснел и, щипая пробившийся ус, спросил:

— Позвольте узнать у вас, господин... воспитанник, каковые вам известны города и страны помимо России.

Ержанов отвечал бойко и не смущаясь:

— Ежели называть сопредельные с кайсацкой степью, то на юге это Хива, Бухара и Коканд с расположенными позади них Персией да Кашгарией, а дальше еще Индией. На востоке же Китайская империя с завоеванными ойратами и прочими племенами. Большое государство в мире еще Великобританское королевство. Кроме него в части света Европа состоит также Французская империя, где главный город Париж...

Все спрашивали по очереди, что хотели. Отец Василий со всегдашней своей робостью неслышно двигал по стулу своим большим телом. Знали, что из-за каких-то писем, посланных в Оренбург из укрепления, пригласили также его на испытания в киргизскую школу.

— Дозвольте и мне осведомиться,— покашляв, решился спросить он наконец.— Как вы, молодой человек, предполагаете понимать веру? В общем смысле, ежели сказать...

Наступила тишина. Но воспитанник не смутился вопросом.

— Хоть праотец общий у всех, земные народы имеют различные верования. Так, иудеи чтят одного только, единого бога, христианские народы, кроме того, чтят как сына божьего пророка Ису и матерь его Мариам, народы же магометанские считают, что божье откровение открылось людям через пророка Мухамеда. Есть еще индийская и китайская веры. Всякая вера в своем народе учит не лгать, почитать родителей, быть добрым к людям. Так что благодаря ей общежительствуют они. В вере выражают люди свою совесть и дают в наследство детям.

— Так... Все так,— соглашался отец Василий, посматривая на других и словно бы призывая порадоваться с ним вместе. Офицеры переглядывались.

---

[1] Метод измерений при геодезических работах.

Четверо или пятеро воспитанников из поступивших в школу ко дню ее открытия тоже изрядно разговаривали по-русски, читали на память истории, спрягали и склоняли. Другие путались, но смысл понимали. Яковлев говорил с ними по-киргизски, и они бойко отвечали ему. У начальника укрепления был победный вид, словно это он их всему выучил.

К концу предложено было свободное чтение. Вызывались теперь по собственной воле. Тонкошеий мальчик со смуглым красивым лицом читал, призакрыв глаза:

«Ни зашелохнет, ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла...»

Проверяя себя, слушал он ответы на экзамене. С маленьким Кабылом Ержановым все было ясно с самого начала. Когда он еще в первый год приехал к управляющему дистанций служащему бию Ержану Есмагамбетову, тот сказал:

— Ладно, Кабыл пойдет к тебе. Он у меня одиннадцатый. Пусть этот по-русски учится.

— Учеба принесет пользу вашему сыну, агай,— объяснял он.

— Да, один сын — Абдильда у меня в Бухаре постигает истинную веру в медресе. А этот пусть дистанцией правит. Русские бумаги станет читать. А то мне их все писарь-мишар читает, а проверить не могу.

— Есть и другие у вас дети, агай,— заметил он.

— Пусть казахским делом занимаются, от скота прибыль получают,— отрезал бий.

Пока они говорили, совсем маленький круглоголовый мальчик с большими ушами сидел у входа в юрту, и только черные глаза не отрывались от гостя. Когда собирался он уезжать, тот стоял у стремени. И потом все смотрел ему вслед.

Через неделю в ворота постучали ручкой камчи. Большой добродушный казах, не слезая с лошади, заглядывал во двор. На другой лошади сидел этот самый Кабыл Ержанов, придерживая руками мешок с казы[1], больше его самого.

— Ай, не ест, не пьет, совсем, учиться хочет,— объяснил словоохотливый казах.— Ержан-ага сказал: отвези его к мугалиму, который приезжал. Покоя с ним никакого нет...

Тут сразу было видно, что не думает о приготовленном ему месте Кабыл Ержанов. Домой на вакацию мальчик не поехал, и в первый год прошел все, чему мог выучиться в школе. С одинаковой серьезностью относился Ержанов ко всему: к счету

[1] Особо приготовленное конское мясо.

или к словесности — и прочитал все, что было в доме и в комендантском шкафу.

— Кабылу надлежит дальше учиться,— объяснял он приехавшему весной бию Ержану.— В Оренбурге есть кадетское училище, имеются и другие...

— Зачем это ему? — спросил Ержан-ага.

Как было ответить? Он отвел глаза и заговорил о том, что вот ученые люди становятся большими начальниками, даже генералами. Должность султана-правителя тоже может в будущем исполнять такой человек.

Ержан-бий остро посмотрел на него:

— Ладно, пусть учится!

С Черкешем Мамажановым было проще. Тот принадлежал к числу семейств, пострадавших от Кенесары Касымова, и мог быть принят на казенный кошт в любое заведение. Два года уже Черкеш не отходил от Яковлева, даже на съемки с солдатами ездил по его ходатайству. Яков Петрович уж и письмо написал своему товарищу в Топографическую школу прапорщиков с рекомендацией. И на Кабыла Ержанова готово было представление...

Когда Кабыл Ержанов стал рассказывать о вере, офицеры задвигались. Есаул Краснов даже оглянулся два раза на отца Василия. Тот согласно кивал головой.

Что ж, ему и вправду, как писал о том Николаю Ивановичу, необходимо было исполнять роль муллы в школе. В кочевье на Акколе, откуда хотел он позвать муллу для знакомства детей с сунной, тот оказался неграмотным человеком: где-то в Туркестане прислуживал раньше при мазаре и арабского языка вовсе не понимал. Тогда сам он взялся разъяснять смысл поучения пророка — о сиротах, путешествующих, об отношении людей друг к другу. При этом рассказал о других верованиях, их смысле и значении для разных народов.

Как раз тогда это было, когда приехал благородный кожа Динахмет...

Уже второй месяц шли занятия, как вдруг утром увидел он в школе постороннего человека. Тот стоял и смотрел, как умывались дети, с шумом хватали миски, куда Нигмат, служивший теперь в кухне, накладывал им каши с мясом, пили молоко от содержавшейся при школе коровы. Что-то знакомое показалось ему в стоящем у порога человеке, но лишь когда гость заговорил, узнал он агай-кожу.

— Ассалямалейкум... Все ли в порядке у вас?

Почтенный Кожаулы Динахмет говорил с ним так, словно вчера только расстались они на далеком степном урочище, где вместе выстрелили в одного фазана. Все такая же скромная

одежда была на агае-кожа, и рукав у ношеного, но чистого полушубка был аккуратно подштопан. И никаких вещей почему-то при госте не было.

— Как вы доехали? Где устроились? Пойдемте в дом ко мне, многоуважаемый Ахмет-ага!..

Он услышал, что собственный голос его дрожит от волнения. Мало кому обрадовался бы он так в это время.

— Я живу здесь у одного знакомого, а к вам обязательно приду домой,— говорил агай-кожа.— Делайте свое дело, учитель Ибраим. Я лишь немного побуду у вас.

Давно еще где-то в глубине души соизмерял он свои действия с тем, что сказал бы о них этот человек. По часам звенел звонок, он объяснял детям правила сложения и вычитания, заставлял рассказывать быль о двух людях, которые вместе строили себе дом и вели хозяйство, писал на доске и произносил с ними вслух обиходные русские слова. Ни в чем не изменил он распорядка учебы, только в конце прочитал на память «У лукоморья дуб зеленый».

Кожа Динахмет сидел в стороне у двери все четыре урока. Потом пошли к нему домой, вместе обедали. К вечеру он пошел проводить гостя, так и не решившись спросить, у кого тот остановился. Очевидно, у жувущих неподалеку казахов или у кого-нибудь из имеющих лавки при укреплении татар. Но агай-кожа попрощался и пошел в крепостную часть, к офицерским домам. Ничего не понимая, смотрел он вслед.

Вечером, проходя мимо комендантского дома, увидел он через окно, что кожа Динахмет сидит вместе с Яковлевым. Комендантский денщик Семенов бегал во двор, сапогом раздувал самовар. Тут он вспомнил, как Яков Петрович говорил как-то, что с Сырдарьинской линии есть у него старинный знакомец.

Дней через десять снова появился в школе кожа Динахмет. С ним был мальчик — смуглый, с умными глазами, тонкая шея высоко поднималась из жесткого кожушка.

— Это мой сын, учитель Ибраим,— сказал агай-кожа.— Пусть учится у вас.

Весь вечер потом они разговаривали. Благородный агай-кожа задумчиво смотрел в огонь лампы:

— Так получилось, что у правоверных народов кожа служит примером в понимании жизни. В деле мира он является мостом между врагами, потому что кожа есть в каждом народе, а между собой они родственники. Так что среди людей кожа должен быть источником рассудительности. Когда круто меняется жизнь, ему первому приходится думать о том...

Мальчик сидел на скамеечке в стороне и внимательно слушал. У него были отцовские глаза: достоинство и какая-то особенная мягкость души отражались в них. Мухамеджан Ахметжанов, как

оказалось, понимал по-русски. Уже двадцать лет в их урочище разбивали лагерь военные топографы. Потому, наверно, особое отношение было у окрестных казахов именно к топографам.

Сегодня в экзамен мальчик прочитал отрывок из черной с зелеными углами книги. Не в пример другим тот был равнодушен к счету или естествознанию. Зато в три месяца выучился писать по-русски и читал на память. По Ланкастерской системе[1] он прикреплял этого мальчика к тем, кому плохо давался язык. Мухамеджан Ахметжанов с необыкновенным старанием относился к своей обязанности. Это тоже, наверно, было от кожи — способность к учительству...

Весь день наблюдал он сидящих за столом людей. В комендантском клубе, за картами, даже в рождественскую елку, куда ходили и взрослые, нельзя было сразу увидеть человека. Разве только если, как акын Марабай, уметь распознавать людей.

Прапорщик Горбунов задавал вопросы строго, в замкнутом лице его читалась подчеркнутая независимость. Собственно, и не прапорщиком он был к свим двадцати восьми годам, а уже полгода подпоручиком, но не подтвержденным еще годовым высочайшим повелением. В таком случае офицеры надевали присвоенные по чину погоны, да и жалованье получали соответствующее. Горбунов из гордости не хотел того делать. Еще безусым мальчишкой, не спросясь разрешения начальства, женился он на своей крепостной. Два раза обошли его чином и послали в службу сюда, на Тургай.

Лишь однажды по лицу Горбунова прошла улыбка.

— Какие недостатки примечаете вы в людях? — спросил он у Абдибека Беримжанова второго, не в пример своему брату Беримжанову первому не очень успевающего в учебе.

— Недостатки... Что такое? — переспросил Абдибек.

— В себе, например, вам все нравится?

Абдибеку пересказали вопрос по-казахски.

— Я хороший! — твердо заявил тот.

— Каждый из нас, господа, думает о себе то же самое,— усмехнулся Горбунов.

Петлин второй увлекся ролью учителя и сбросил свою застенчивость. Размахивая руками, подходил он к доске и показывал, как надо правильно писать и считать. Когда его понимали, глаза подпоручика радостно вспыхивали. Лекарь Кульчевский,

---

[1] Педагогический метод, по которому более сильные ученики занимаются со слабыми. Был распространен в XIX веке.

человек самомнительный, подпускал иронию в вопросы, однако же знаниям, им самим сообщенным ученикам, несомненно, тоже радовался. Есаул Краснов задавал вопросы по уходу за лошадьми и вдруг заспорил с тем же Абдибеком Беримжановым вторым, надо или не надо коня подковывать.

— Не надо! — говорил Абдибек.

— А коль по камням случится вам ехать? — строго спрашивал есаул, раздраженно отирая лоб платком.

— Не надо ехать по камням! — упрямо твердил Абдибек.

Отец Василий, услышав ответ Кабыла о значении веры в народной жизни, повеселел. Еще накануне прибежал священник к коменданту. Лицо у него было растерянное, руки дрожали.

— Вот, опять письмо из епархии, Яков Петрович, извольте посмотреть.

Яковлев взял письмо с лиловыми сургучными печатями, молча прочитал, и на лбу у него сдвинулись морщины:

— Ну и что?

— Так в том мне опять пеняют, что новообращенных в приходе у нас не имеется. Акромя Кубреевой, что за унтера русского замуж пошла. Особо, видите, за школу киргизскую укоряют. Будто бы не допускают меня туда господин Алтынсарин.

— Извольте, батюшка, твердо ответить им, что никакого принуждения в вере на подотчетной мне территории допущено не будет. Не христианское то дело, да и не к чести государственной. Вот в экзамен школьный вы пойдете!

Как ни удивительно, но больше всех волновался на экзамене сам Яковлев. Внешне это было не видно, но при каждом выходе ученика у старика краснела шея и начинала подрагивать нога. Чем-то на господина Дынькова похож был начальник укрепления, когда тот волновался за всех них на экзамене в Оренбурге. Но господин Дыньков был школьный надзиратель, а полковник Яков Петрович имел лишь общее касательство к этому делу. Что-то более важное как будто бы сошлось для него на киргизской школе...

Пожалуй, из всех здесь только с сотником Черновым определилась у него личная дружба. На того, как и на него, находили часы меланхолии и вместе тогда ходили они за Тургай в степь. Просто шли рядом, рассеивая мысли. Чернов тяготился службой и не знал, что ему в жизни делать.

— У вас, Алтынсарин, хоть дело есть, которому служите, а у меня...— и сотник махал рукой.

Однако образован Чернов был хорошо, с чувством читал стихи и все переписывался с какой-то девицей в Симбирске.

О том сотник говорил лишь намеком, что есть у него единственно понимающая его душа, да обстоятельства враждебны их счастью.

Чернов как будто ожил на экзамене: с живым интересом слушал ответы по всем дисциплинам, но сам вопросы не задавал — только вглядывался в лица учеников. Когда ответ был удачным, сотник утвердительно кивал головой.

Лишь в самом конце экзамена Чернов вдруг задал общий вопрос:

— Как думаете вы поступать в жизни, если мнение ваше правильное, но идет наперекор мнению окружающих вас людей?

Чтобы понятно было для тех, кто еще не понимал хорошо по-русски, он растолковал им вопрос Чернова по-казахски. Мальчики притихли, сразу ушли в себя.

— Когда люди боятся, они всегда говорят одинаково.

Круг сломался. Это сказал Нургали Авезов. Так и должно было произойти...

Не все в порядке было со школой с самого начала. Еще осенью, объезжая причисленные к укреплению дистанции, ощутил он некий посторонний холод. Ему смотрели в глаза, соглашались со всем, но он-то знал, что это означает. В окоёме исключалось прямое отрицание.

В ауле правящего султана Джангера, дальнего его родича, стояла знакомая бричка-двуколка. Федор Ксенофонтович Ермолаев, тургайский скотопромышленник, сидел в тени за дастарханом. Дела были у того с ага-султаном. Несколько человек в дырявых чапанах и вовсе в каких-то лохмотьях сидели на солнце невдалеке.

— Эй, чего сидите. Деньги, что дал Ермолла, берите!

Ага-султан даже не смотрел на землю, где сидели люди. И те тоже не поднимали головы. По очереди, согнувшись, подходили они и подбирали с земли брошенные им деньги. Здесь не было крика или драки, как на оренбургской улице. Было светло и тихо. Федька Ермолаев сидел в тени, ровно прихлебывая из пиалки чай с молоком.

Это был самый центр окоёма. Но его это не касалось. С первого дня дал он себе зарок не вмешиваться в дела родичей. Его дело — школа, и через нее проложен будет выход из круга.

Султан Джангер увидел его, пошел навстречу:

— Э-э, как доехал, как твои дела, уважаемый родственник!..

— Желаю здравствовать, господин Алтынсарин! — с холодной насмешкой в тоне приветствовал его Ермолаев.

Потом, когда Ермолаев уехал в своей бричке, подошли Аманжол, управляющий всеми делами у ага-султана, и какой-то благообразный аксакал в плюшевой тюбе на голове и с четками в руках. Вчетвером сидели и разговаривали они, попивая кумыс.

Он приехал, чтобы окончательно договориться об учениках. Пока что из шести аулов, принадлежащих роду султана Джангера, лишь один человек дал согласие отправить своего сына в школу. Что-то было не так, и не мог уловить он причину.

Султан Джангер, один из многих тюре[1], последние два года приобрел большой вес в Орде. Говорили, что десятками тысяч продает он скот, и числили его миллионщиком. В укреплении на Тургае стояли два каменных дома и конюшня, принадлежащие ага-султану. Совсем открыто забирал он себе половину за проданный скот в своих аулах и у соседей. Его боялись и молчали. Ни одной жалобы не приходило на него.

— Так, говоришь, не хотят детей отпускать в твою школу, племянник. Ай-ай, какой нехороший народ. Учености не желают знать,— султан Джангер сокрушенно качал головой.— Совсем непутевые люди!..

— Да, ага-султан, лишь один Авез Бердибаев обещал прислать в школу сына,— подтвердил он.

— Авез Бердибай, говоришь... Что же, позовем его, похвалим!

Пришел Бердибаев, рослый крепкий табунщик, который месяц назад пообещал учить в школе сына своего Нургали.

— Вот, уважаемый внук бия Балгожи говорит, что ты решил отдать сына в школу к орысам,— султан Джангер пристально смотрел на табунщика.— Это хорошее дело...

Авез Бердибаев стоял молча, как бы не слыша слов султана.

— Хорошее, говорю, это дело! — со значением в голосе повторил ага-султан.

Аксакал перебирал четки, управляющий Аманжол почему-то усмехнулся. Молчание затянулось, и он посчитал нужным вмешаться:

— Вы, Авез-ага, сами сказали мне об этом.

Табунщик повернулся к нему, спокойно подтвердил:

— Нургали приедет к тебе в школу, мугалим!

Будто ручка от камчи хрустнула в кулаке у султана Джангера, и в тот же миг уловил он ненавидящий взгляд, брошенный в его сторону. Он не мог понять, чем же вызвал эту неприязнь. Но уже доброжелательная улыбка появилась на породистом лице ага-султана:

---

[1] Наследственная знать, потомки чингизидов.

— Видишь, как хорошо решил все наш человек Авез!

Табунщик повернулся и, не сказав ни слова, пошел от дома.

За неделю до открытия школы чья-то юрта появилась в трех верстах от укрепления, вниз по Тургаю. Зимой не принято было кочевать, и он поехал посмотреть, кто же это приехал из степи. В юрте горел огонь, десятка полтора лошадей ходили в тугаях. Войдя, он увидел Авеза Бердибаева. Жена возилась с едой, пятеро детей сидели рядышком у котла. Самый старший — Нургали встал, освобождая ему место.

— Здесь буду жить! — сказал Авез Бердибаев.

И сколько он ни пытался узнать, почему тот ушел от родичей из аула, табунщик ничего не говорил. Так или иначе это было связано со школой.

Нургали Авезов учился хорошо: по двенадцати баллов за все предметы поставила ему комиссия. Таких было еще трое: Беримжанов первый, Жальмухамед Жангожин и Мухамеджан Ахметжанов. О том, что люди всегда говорят одинаково, если боятся, Нургали Авезов сказал по-русски.

Он задержался после экзамена в школе: наставлял детей, что собирались уезжать на вакацию в свои кочевья. Когда шел он к комендантскому управлению, то увидел пьяного сотника Носкова. Пошатываясь, тот загораживал ему дорогу:

— Экзаменат, значит... Хор-рошо!

В голосе сотника была злоба. Что-то важное сходилось на его школе.

VI

— В наличии имеется двадцать семь офицерских и штабофицерских чинов... Двести сорок два нижних чина при тридцати четырех унтер-офицерах. Также в отдельном казачьем эскадроне состоит... Двое больных в лазаретном содержании... Никаких происшествий на постах не случилось!..

Есаул Краснов опустил шашку. Яков Петрович утренние и вечерние доклады дежурного офицера принимал с неукоснительностью. Разве что двойное гарнизонное построение отменил, которое было при бароне. Лекарь Кульчевский сидел при комендантском столе, и Алтынсарин что-то делал возле шкафов.

Золотой с синим портрет государя висел на побеленной стене, а в углу икона победоносного Георгия. Через дверь видны были плуги, косилки, веялка, сложенные в передней. Их привезли с осенним обозом для ознакомления инородцев с европейскими методами хлебопашества.

— Рапорт принял комендант Оренбургского укрепления подполковник Яковлев...

Есаул вложил шашку в ножны, зевнул и, сев на скамью, стал смотреть, как Алтынсарин складывает на полку в шкафу книги. С приездом Яковлева, на манер топографов в Оренбурге, офицеры вскладчину выписывали журнальные книжки, а также газеты из Петербурга и Казани. Алтынсарин наблюдал за ними, выдавая по очереди. Только квартирмейстер Краманенков по скупости да сотник Носков по темноте души не участвовали в подписке.

— Не могу что-то я понять, Иван Алексеевич...— Краснов всякий разговор на книжную тему начинал такими словами.— В достойных журналах ругают графа Толстого, что про казаков больно гладко все описал. Я ведь сам ставропольский казак, сюда за историю перевели. Так очень даже проникновенно он про нашу жизнь пишет. Можно сказать, сокровенное увидел.

— Господа, не желаете ли в карты?.. Эй, Семенов, подать колоду!

Есаул пошел к столу. Алтынсарин будто не слышал слов коменданта и продолжал возиться у шкафа.

— Ладно, мирза, уж не обижайтесь на старое! — настаивал Яковлев.— Садитесь ко мне в пару!

Алтынсарин нехотя сел за стол. Первую партию выиграли, и Яковлев удовлетворенно тер руки. То была старая болезнь топографов — карты. Все начиналось с второго робера.

— Ну куда... куда вы валета крестового несете, садовая голова! — начинал ворчать комендант.

— Я докладывал вам, Яков Петрович, что не талантлив в игре,— спокойно отвечал Алтынсарин.

— Да кой черт тебе талант... Ворон считаете! — взорвался Яковлев.

Алтынсарин вдруг опустил карты, сильно побледнел.

— Чего... Что это с вами, Иван Алексеевич?

Яковлев озадаченно опустил карты. Алтынсарин всегда с полным спокойствием относился к карточным разносам коменданта. Однако теперь он даже отвернулся к окну. И вдруг все услышали дальнее металлическое звяканье. Оно приближалось, и ясно обозначился звук колокольца.

— Кто бы мог в эту пору?

Все встали из-за стола. Лишь Алтынсарин все сидел, не отводя от окна взгляда. Ржанье и звон оружия раздавались на улице. Дверь распахнулась и вошли сразу три человека. Один, в сизо-голубой шинели, шагнул к коменданту:

— По-видимому, честь имею видеть перед собой подполковника Яковлева?

Тот молча наклонил голову.

— Подполковник Пальчинский с особым поручением... Надеюсь, господа поймут...

В худом тонкогубом лице приезжего была значительность. Тем не менее, было видно, что он не из строевых офицеров. Даже руки держал в постоянном движении, не прижимая к бокам.

— Дозвольте представить офицеров и чинов укрепления.— Яковлев явно не замечал высказанного приезжим желания остаться наедине.— Лекарь Кульчевский... Есаул Краснов... Учитель здешней киргизской школы Алтынсарин...

— Весьма рад.— Пальчевский скользнул взглядом только по Алтынсарину и махнул рукой на приехавших с ним ротмистра и другого — в статском платье.— Это мои люди.

В следующий день уже с утра все трое сидели в комендантском правлении, а на улице, рядом с постом, стоял еще солдат из их сопровождения. Всякий раз бегал туда к ним интендантский офицер Краманенков, вызывались разные люди. Подполковник Яковлев ушел на весь день с солдатами на учения.

Потом на три дня подполковник по особым делам Пальчинский уезжал в степь, возвратился с каким-то киргизом, которого казахи везли под конвоем. Остановился он в доме султана Джангера, и туда тоже приезжали какие-то киргизы.

Во второй день пребывания в укреплении Пальчинский собрал к себе четырех старших офицеров гарнизона. Говорил он, сняв перчатку с одной руки и слегка ею играя:

— В это время, господа, когда Россия двинулась в Азию, с особенной бдительностью следует наблюдать за состоянием патриотического духа в войсках, а также за направлением умов в инородческой массе. Тут надлежит опереться на благонамеренные, традиционные элементы. И в таком случае недальновидно будет разрушать вековой уклад киргизской жизни. Наши цели здесь совпадают с патриотическими желаниями главенствующего в степи слоя. Тем более с учетом того, что с продвижением наших войск к Ташкенту мы становимся внутренней губернией... Следует знать, господа, также урок известных казанских событий. Там начиналось, можно сказать, с безобидных вещей, с библиотеки...[1]

Вызывались некоторые люди из укрепления. При этом случилась неловкость с зауряд-хорунжим Алтынсариным. Когда тот пришел по вызову, приехавший с Пальчинским ротмистр пере-

---

[1] Казанские волнения 1863 года среди студентов и в войсках («Казанский заговор»).

бирал как раз вынутые из шкафа журналы. Алтынсарин встал на пороге, не понимая:

— А как же... ключ?

— Ничего, мы обошлись.— Подполковник Пальчинский, сидевший за комендантским столом, указал ему на стул.— Вам, господин Алтынсарин, надлежит написать объяснение.

— В чем... объяснение?

Алтынсарин говорил, будто деревянный, не отводя взгляда от перебирающего книги офицера. Пальчинский внимательно посмотрел на него, взял из лежащего на столе дела лист, стал читать, четко выговаривая слова:

«От 28 сентября, года 1864-го... Я, Айгелев Сандыбай, на заданный мне Вашим высокоблагородием вопрос показываю, что прошение, порочащее доброе имя и преданность престолу султана Омара Мухамедова, меня подтолкнули написать братья Казбек и Беримжан Чегеневы, а также учитель киргизской школы Ибрагим Алтынсарин, внук узунского бия Балгожи. Он же составил означенное прошение...»

Алтынсарин продолжал сидеть с прежним видом, словно глухой. Кончив читать, Пальчинский тихим движением передвинул папку:

— У нас имеются некоторые старые дела, господин Алтынсарин. Например, об укрывательстве мертвого тела. Также о незаконной справке, касающейся краденых лошадей. Угадывается некое направление...

Пальчинский, давая ему подумать, встал, подошел к шкафу, где занимался ротмистр, не снимая перчатки, взял журнальную книгу. Пальцы его медленно поворачивали страницы. Потом он взял другую книжку, третью будто ощупывая их. Осторожно положив потом их на окно, он возвратился к столу.

— Все может быть оставлено без внимания, господин Алтынсарин. Лишь небольшая справка нужна от вас о том, что читают с наибольшим одушевлением в гарнизоне, какие мысли одобряют,— на тонких губах Пальчинского теперь была улыбка.— Опять же и среди киргизов известно ваше влияние...

Алтынсарин молчал. Подполковник Пальчинский перегнулся через стол, заглянул ему в лицо и вдруг сразу потерял свой уверенный тон.

— Что ж, идите!

Через двор в школе кричали дети.

Он лежал одетый и смотрел в потолок, лишенный всяких сил. Такое случалось с ним от давней детской болезни. Человек с саблей тогда приходил к нему...

Виделись все пальцы в перчатке, щупающие книги. С такой же цепкостью ощупывали они когда-то пачку денег в Троицке. Но там это было естественно.

Все определялось в круге. Лишь несколько слов сказал он как-то на улице в укреплении с человеком, назвавшим себя сыном Айгеля. Тот говорил что-то сумбурное о своих врагах. Потом этот человек зашел с задней стороны в дом ага-султана. Сам Айгель арестован был за перепродажу краденого скота.

И опять приходил этот Айгелев к султану Джангеру, когда в доме у того находился офицер по особым делам Пальчинский. А Беримжан Чегенов, упоминаемый в доносе, первый — лучший ученик.

С другой стороны, интендант Краманенков ходит все к Пальчинскому. И еще Федька Ермолаев, приятель Краманенкова, имеет дела с ага-султаном. Может быть, кажется ему, что все кружится вокруг школы?..

Черные и красные полосы заходили по потолку. В висках стучало, и горло уже перехватывало криком. Вот-вот должен был явиться Человек с саблей.

— Эй, отступи, моя очередь.

— Нет, моя...

— Отступи!

Послышался шум драки, плач. С усилием встал он, пошел во двор.

— Ай, учитель, Клычбай первый ударил!

— Нет, это Конуркульджа...

В голове все кружилось, поташнивало. Он принялся разбирать ссору, строго выговаривал виновному. Потом повел всех в класс, велел клеить фонарики к елке. Сам нарезал полосы красной и желтой бумаги, разводил клей из муки. Два мальчика из поселка уже ходили в школу. Один из них — Клягин Иван имел способность к рисованию. Крейдовой краской разрисовал тот зверей на стене: лису, медведя, зайца с барабаном. До ночи занимался он с детьми и еле доволок ноги до кровати.

Стоял у ножки кровати кувшинчик с молоком, как всегда приготовленный матерью, лежал хлеб на столе, что брали они из военной пекарни. К хлебу он не притронулся, жадно выпил молоко и повалился спать. Даже забыл он, что говорил сегодня о чем-то с приезжим офицером. Лишь помнил пальцы, щупающие книжки. Не имело это отношения к жизни. Человек с саблей тоже не приходил, отодвинутый делом.

На второй и третий день продолжала стоять посредине класса елка-арча, обвитая бумажными лентами. Дети приходили со

всего поселка. Во дворе с шумом и криками лепили снежного балбала: даже глиняную плошку прилаживали на животе. Старая аксакальская шуба бия Балгожи, в которую рядился он накануне, лежала в углу. Четвертый раз устраивал он детский бал...

Звон раздавался с колокольни, хрустел снег под ногами гуляющих в праздник людей. Но хруст сделался ближе, застучали на пороге ногами, сбивая снег. Слышался женский разговор. Он встал со стула, шагнул к двери.

— Как хотите, а принимайте визит!

Яков Петрович был в праздничном виде, даже офицерский пояс расслабил. И Дарья Петровна, сестра коменданта, расцвела сразу: румянец играл на ее широком лице. С ними вошли еще лекарь Кульчевский с женой Ксенией Сергеевной. Позавчера она опять помогала налаживать на елке детские танцы.

— По-русскому обычаю у всякого обязан быть свой именинный день. Так что принимайте наше поздравление!..

Яковлев широко расставил руки. Не понимая всего до конца, он трижды расцеловался с комендантом и Дарьей Петровной, потом с Кульчевскими.

— Входите, входите, господа. Весьма рад!

Он растерянно принимал шубки от женщин, вешал их на узкую деревянную, вешалку.

— Так вот, Иван Алексеевич, ваш святой день выходит как раз сегодня. Поскольку годовщина школы, так и ваши именины надлежит на нее праздновать. У нас с собой шампанское... Эй, Семенов!

Денщик коменданта Семенов вносил корзину с бутылками. С зимним обозом всегда привозили шампанское. Он поспешил к Нигмату сказать, чтобы зарезали барана...

Пришел Чернов, потом Краснов с супругой — огромной женщиной, рядом с которой рослый, увесистый есаул гляделся малюткой. Явились еще офицеры. Дети таскали стулья из школы.

После службы в церкви зашел и отец Василий Бирюков.

— Мир дому сему, хозяину с чады и домочадцы. А также как и пастырю младых умов...

Весь гарнизон сидел за составленным столом, помимо только Краманенкова да сотника Носкова. Женщины говорили о своем.

— Представьте, граф еще издали увидел меня. Какая приятная для меня неожиданность, говорит. Позвольте, Поликсена Авдеевна, вас ангажировать. И весь вечер все возле себя держал, как не пыталась я избегнуть того. Даже удивлялись все тогда, зная неприступность Василия Алексеевича. Но особое его ко мне отношение... антр ну суади[1]. Между нами говоря...

---

[1] Между нами *(франц.)*.

Жена военного ветеринара Куницына рассказывала о покойном губернаторе Перовском, щурила глаза, играла улыбкой. Другие женщины ахали, поднимали брови, понимающе переглядываясь между собой.

Между мужчинами тоже шли знакомые разговоры.

— Извольте по такому случаю, говорю, выйти со мной на два слова,— рассказывал в какой уж раз свою историю Краснов.— Ежели вы тотчас же не принесете по всей форме извинения за облитое вином платье...

— В отряде у Черняева[1], сказывают, так пушки на верблюдов ставят: прямо промеж горбов. Так и в Ташкент въехал. Знаю по оренбургскому штабу Михаила Григорьевича: на выдумки горазд. Однако же, коли до серьезного дела дойдет...

— Оно положено к очередному чину представлять в пять лет. Да с учетом льготы по линейной службе и ежели без замечаний...

Все было старое и не очень мудрое: дамы со своими ужимками, недалекий Краснов, другого разговора не знающий, как о лошадях да своей дуэли, за которую переведен был на линию. И еще постоянный офицерский разговор о присвоении очередного звания. При этом обязательные «Никак нет!» и «Почту за честь!» при каждом слове. Но все они пришли сегодня к нему, понимая какую-то его правоту. То самое это было, что витало вкруг дуба при лукоморье...

VII

Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит...

Пятеро учеников из шестнадцати отлично говорили и писали по-русски, все знали арифметику, решали задачи, бойко рассказывали из истории и географии. Вопреки учителю школы, не щедрому на похвалы, комиссия единодушно выставила большинству двенадцатибалльные отметки. В конце предполагалось свободное чтение. Неулыбчивый подросток с черными, запавшими глазами читал с каким-то особенным выражением. В третий раз уж принимающие экзамен офицеры вдруг затихли, перестали двигаться. Алтынсарин сидел со всегдашним своим спокойным учительским видом.

За окнами видны были речной косогор и степь, уходящая на тысячи верст. И в другую сторону она также тянулась на тысячи верст. Никак не соотносилось это с железной дорогой, да и в

[1] Черняев М. Г. — русский генерал.

содержании не было соответствия. Тем не менее, убедительное чувство слышалось в отчетливом чтении подростка-киргиза.

Не все и из офицеров еще сами видели железную дорогу. Теперь она вдруг возникла вплотную с болотами, голодом, смертной стужей. Слышен был в словах даже воющий звук от невыносимого горя. И удивительно было, что в киргизской школе они слышат это.

Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...

Являлись сразу дыра в земле под снегом, где люди с выеденными дымом глазами живут вместе с овцами, бурые жилы на женских руках, покорность увозимого в острог Нурлана. Нургали Авезов громко читал, и выражение лица у него было такое же, как у отца, когда тот повернулся и пошел прочь от ага-султана Джангера...

Пальцы в перчатках щупали журнальную книжку в обыденной серой обложке. Теперь он понял, какое выражали они чувство. То был страх. Сам этот язык, на котором писались журналы, был смертельным их врагом. Не обязательно про железную дорогу, пусть про лукоморье, даже про кота Ваську, но это противоречило самому присутствию в жизни этих людей. Даже другой, особый язык придумали они вопреки тому, живому: «Имею честь довести до сведения Вашего превосходительства», «Благодаря неустанной заботе правительства и лично Его Императорского Величества», «Солгасно с постановлением правительствующего Сената от числа такого-то». И книжки на этом бескровном языке стали уже писать для читающих Петрушек. Грамотный лакей у скупщика мертвых душ читал не ради смысла, но для самого процесса чтения. Весь мир хотели бы они превратить в петрушек для своей безопасности.

Только был язык, который не позволял им этого. Не имело значения звучание имен, в мокром ли болоте или в горячем песке лежали кости. Нургали Авезов широко повел рукой в воздухе:

С разных концов государства великого —
Это все братья твои...

Нет, даже не плуги и сеялки, что складывались в передней у коменданта, а нечто высшее, идеальное размывало окоём. Оно таилось в языке. Не случайно было противодействие школе султана Джангера.

Незаметно взглянул он на офицеров. Лица у них были просветленные, сурово-торжественные. Сотник Чернов даже при-

встал от волнения. У Якова Петровича повлажнели глаза, и с каким-то вызовом поглядывал тот в стороны.

Но тут увидел он, что у большинства учеников такие же лица, и подумал, какое же лицо сейчас у него самого.

VIII

Дом был как бы приватный, и караульный чин находился внутри, при входе. Его превосходительство Евграф Степанович Красовский проходил сюда из губернаторского присутствия через задний двор. Каждодневно в десять часов утра принимался им конфиденциальный доклад. Полковник Пальчинский держался в рамках формы, однако же чувствовалось старинное их знакомство с шефом.

— Так же из находящихся под особым наблюдением ста тридцати семи лиц, из них по казанским делам шестьдесят девятого года — сорок один, ссыльных из Западного края по делам Шестьдесят третьего года — тридцать четыре, офицеров и рядовых — двадцать семь, лиц прочих чинов и званий — тридцать пять, все находятся в наличии. Среди офицерских чинов, посещающих общественные чтения при публичной библиотеке прибавились инженерный поручик Жаворонков и штабс-капитан Рокассовский, сын прежнего начальника штаба. Оба имеют вхождение в дом подполковника Андриевского... Агент от поляков докладывает, что намечается бегство одного из них. Для того приехала из Лодзи жена его с крупной суммой денег... Из Уральска с делом тяжбы по промыслованию рыбы прибыл письмоводитель войсковой канцелярии Матвеев, из Тургая явился с отчетом помощник начальника уезда Алтынсарин...

Его превосходительство при этом имени чуть шевельнул плечом. Маленькие ручки его были, как обычно, спрятаны под столом. Пальчинский уловил это движение.

— Ежели помните, Алтынсарин сразу и смотритель киргизской школы на Тургае. Я доносил как-то о подписной библиотеке у тамошних офицеров...

Подробный отчет сделал также полковник Пальчинский по таможенному контролю, о большом пожаре, случившемся в пределах Иргизского уезда, отчего сгорело до трех тысяч закупленного в казну скота, о действиях приверженного к расколу купца Перстнева, переправляющего на Сырдарью своих одноверцев.

Его превосходительство молча выслушал доклад, сделал распоряжение о поляках, долго разбирался с пожаром и староверами. Полковник Пальчинский даже несколько погорячился, два

раза вставал с места и громко убеждал своего начальника. Но тот лишь делал твердый знак маленькой ручкой.

— Там этот киргиз, про которого вы говорили, Антон Станиславович...

— Алтынсарина имеете в виду?

— Вы это... приставьте к нему агента. На время, пока он тут, в Оренбурге.

Оставшись один, Евграф Степанович Красовский встал из-за стола, поджав за спиной руки, медленно подошел к стоявшим у стены деловым шкафам... Как будто где-то недавно видел он эту фамилию. Достав копию переписки учебного ведомства в последний год, он взялся листать. Заинтересовавшись, отошел с папкой, сел назад к столу. Коротенькие пальцы крепко зажимали листы... «С тех пор прошло три года, в течение которых, по распоряжению г-на Министра Народного Просвещения шла деятельная работа по вопросу об образовании инородцев, в том числе магометан, в Казанском учебном округе и в Крыму; само Министерство, кроме того, собирало точные и подробные сведения об английских и французских заведениях для образования туземцев Индии и Алжирии. В тех же годах, в Оренбургском ведомстве, вводилось новое положение об управлении киргизами на началах русских, возбудившее в степи недоразумения и волнения, улаженные не без употребления военной силы. Само собой понятно, что этих работ и этих опытов Оренбургское Начальство не могло иметь в виду в 1866 году, когда составляло свои соображения. И однако же основная мысль их — верна, это именно ясно поставленный русский элемент для народного образования...»[1]

Что же, господин профессор Казанского университета Ильминский действует из лучших побуждений. Когда жил тут он, то состоял в окружении честолюбца Григорьева. Правительственное влияние полагали они вводить в Азию посредством внедрения всего без исключения русского. По первому впечатлению весьма похвальная цель. Однако государственный взгляд на дело рисует все с иной стороны.

Что Индия и Алжирия? Они через море от метрополии, да и отношения там происходят преимущественно на деловой основе. Декабристов-то в Англии и даже в Париже не случалось. Вон профессор, статский советник, всех инородцев хочет поднять до себя. Вечное русское благодушие!

Да и рядом у нас все: степь никак не огородишь. Так пусть бы и была внутренней оградой для тех же киргизов их вековая старина. Тем более, что сами они цепко держатся за нее.

---

[1] Из материалов Ильминского Н. И.

Пятнадцать лет внедряет он надлежащему начальству правильность этой политики, и ответственные лица склоняются к тому же мнению. Только непреоборимый русский идеализм от генерала до черного мужика, устраивающегося жить в степи, выпустит в конце концов орду из ее границ.

Нет, и в правительстве не чувствуется твердой руки. Что же, мало им польского бунта и даже каракозовского[1] выстрела? К тому же последнее известие из Франции: парижская чернь у власти, а Бисмарк молчит. Ему на руку окончательно обескровить векового врага. Покойный государь Николай Павлович, когда в Европе что нарушалось, говорил: «Господа, пора седлать коней!»

А как еще придется французская коммуна на распущенные умы. Петрольщиц[2] и у нас достаточно. Циркулярами, что идут из Министерства, тут не защитишься. Вожжи ослаблены, и только отдельные государственные люди понимают положение. А здесь еще инородцев предлагают впустить в эту кашу.

Это ж не просто, а на всю русскую Азию придумали распространить опыт. Слава богу, киргизские школы приказали долго жить. А то и полы деревянные намеревался им сооружать ученейший Василий Васильевич. Одна лишь осталась школа на Тургае, и там этот киргиз...

С каким, однако, упорством стоит на своем господин Ильминский. «Если я настаиваю на киргизском языке для киргизских школ, как и вообще я стою за родные языки для обучения инородцев, то не как за образовательное средство, а как за орудие самое естественное и удобное для сообщения инородцам новых понятий и научных фактов».

Если уж учить по-русски, то пусть бы и забыли все тогда киргизское. С таким направлением можно бы и согласиться. Так нет, предполагается при русском образовании оставить их еще и природными киргизами. Называется прямо и имя подходящего для того человека. «Из них особенно отличался деловитостью, здравомыслием, любознательностью и самым живым сочувствием к русским книгам и к русскому образованию, а к киргизскому языку питал уважение и предпочитал его... Ибрагим Алтынсарин».

За образование особой учительской школы для киргизов даже ратует господин Ильминский. Все грозится, что иначе благодушные ныне к делам веры киргизы к татарским муллам на выучку пойдут, фанатиками сделаются. Так и пусть себе. Это покойней для правительства, чем если рядом с Каракозовым пистолет возьмут в руку.

---

[1] Каракозов Д. В. 4 апреля 1866 года неудачно стрелял в Александра II.

[2] Поджигательниц.

И как на подбор: только образовалась по положению Тургайская область, как ее губернатор с истинно русским упрямством берется за просвещение киргиз, а в советники зовет казанского профессора. Будто и делать больше нечего генералу в степи. А тут уж прямое лукавство господина Ильминского, когда в мыслях по сему поводу успокаивает в одном и пугает в другом... «Русский народ по природе несовратимо благонадежен, хотя, быть может, прост или неразвит, и потому сельские русские школы хотя бы были бедно и плохо поставлены, не могли бы принести положительного, существенного вреда... Совсем другое дело быть в чуждом и притом пограничном населении киргизском». Как же, школы здесь, видите ли, орудие, флаг русского правительства. «Безуспешность правительственных школ в таких деликатных обстоятельствах и с такими трудными запросами — почти будет равняться упадку русского влияния».

Нет, господа, мыслить следует по-государственному, а не в угоду русскому слабодушию. В том состоит наш патриотический долг. К тому же и для самих киргизов это лучше. Природное их дело — пасти скот, и вовсе не стремятся они куда-нибудь уйти от того. К чему же и принуждать их...

Тут все было ясно, однако же не проходило почему-то неприятное чувство. Любезный Антон Станиславович опять зарвался. Это в департамент можно писать, что три тысячи скота за один раз в степи сгорело. При том скот все купленный в казну, для войскового довольствия. Зачем же так прямо в глаза про то говорить. Уговор с Пальчинским был с Ревеля — половина ему. Век благодарить должен Антошка-фармазон, что вытащил тогда его из острога, в настоящую службу определил. Будто не известно мне, какие в скрытности от меня дела в степи обделывает с тем же Джангеркой да с этим, как его... Ермолаевым. Половина киргиз от них уже с Тургая убежала. А по степи за тот год от Пальчинского и пятнадцати тысяч не пришлось увидеть, и те частями.

С таможней тоже начал мудрить Антон Станиславович. Вовсе уж беспардонно ведет себя. Что с бухарца Абдурахманова тридцать тысяч сорвал, о том мне ни слова. И с раскольников сорок тысяч взял, мне же сказал, что двадцать пять. Не приличествует так вести себя между благородными людьми...

Но не проходит неприятный привкус во рту. Так было когда-то, когда мальчишка-киргиз принудил его распорядиться об отмене приказа. С тех пор и помнит его. Даже Пальчинскому давал распоряжение, когда ездил тот в Тургай. Так, может, личное то у него?

Нет, взгляд тогда такой был у этого Алтынсарина, что никак

не соотносится с принятым порядком вещей. Будто силу какую-то за собой знал.

И Пальчинскому он из служебного интереса сказал последить за киргизом. Фигура невелика, да что-то много всяких линий тут сошлось. К месту здесь и присмотреться. Только почему все уже уступил он, когда десять лет назад приехал этот киргиз без вызова к нему в дом?..

— Извольте сесть, господин Алтынсарин!

В том самом кресле, где сидел когда-то Василий Васильевич, теперь находился человек с усами и подусниками, как на военных портретах. Шпоры звякали под стеклом, а при входе встречал адъютант с зеркально начищенными сапогами.

— Мне похвально говорил о вашем усердии начальник уезда Яковлев. Особенно в части помощи в спокойном переходе киргизов к новому положению...

— Роль моя, Ваше превосходительство, заключалась в деловом и внятном объяснении людям новой формы организации жизни в степи.

— Однако в других уездах происходили волнения,— в генеральском баритоне отразилось искреннее недоумение.— Команду случалось направлять.

— Смею думать, кому-то даже были положительно нужны такие волнения.

— По чьей-то инициативе всякий раз распространяются среди киргизов не имеющие почвы слухи. Часть их бросает тогда все и уходит в глубину степи. Скот падает в цене, и кто-то получает барыш...

Генерал знал про это:

— В Иргизе и в Актюбе ловили подстрекателей. Твердят одно: ничего, мол, не знаем, ни о чем не ведаем. На базаре слыхали.

— Следовало, как думаю, ближе около себя посмотреть, Ваше превосходительство...

Все повторялось. Слухи появились еще до того, как высочайше было утверждено новое «Положение». Вместо трех частей с султанами-правителями Орда делилась на области с уездами. Опять приезжал Пальчинский, остановился у султана Джангера, и в тот же день пошли слухи. Даже и в частностях повторялись они: детей станут крестить, а джигитов поголовно возьмут в солдаты. Мелкий скот продавался за бесценок, а ага-султан выделил туленгутов в помощь Ермолаеву для отгона овец.

Целыми родами собирались уходить люди на Улытау. Бросив в первый раз за пять лет занятия в школе, два месяца ездил он

с Мамажаном и другом своим Тлеу Сейдалиным по дистанциям, объяснял аксакалам неразумность такого шага.

Военный губернатор новой Тургайской области был не лучше и не хуже других. Он знал таких русских людей. В пределах своей службы они со всей энергией приступают делать добро. Став начальником над каким-то делом, всецело отдаются ему и защищают своих людей, как когда-то вверенных им солдат. И на казахов так же смотрит этот генерал. Даже школы в каждой волости в один день думает открыть.

Господин профессор Ильминский писал мне про вас, что преданы делу просвещения.— Генерал, позвякивая шпорами, сделал несколько шагов по кабинету.— Со своей стороны рассчитываю на ваше дальнейшее участие...

В коридоре и комнатах были переставлены столы, но он узнавал их. На папках и на бумагах в верхнем левом углу стояло: «Тургайское областное правление». Люди в большинстве сидели за столами новые, однако это не имело значения. Из-под пола все так же пахло бумажной прелью.

Он долго сидел потом в бывшей комнате Варфоломея Егоровича, уточняя общий доклад от уезда. Простуженный секретарь с важным выражением на лице значительно поднимал перо:

— На основании «Положения» и согласно инструкции военного губернатора уездному правлению надлежит информировать по каждому пункту в полном объеме. И слог у вас в некотором роде простодушный. Извольте видеть: «Во всех волостях Тургайского уезда люди совершенно здоровы; скотина перезимовала благополучно и болезней никаких не имеет, хотя часть ее и в худом теле... Ордынцы, выкочевавши из зимовых стойбищ, направляются на обычные свои летние кочевья, а земледельцы, при совершенном спокойствии в уезде, свободно принимаются за свои работы, надеясь труд свой вознаградить урожаем хлеба, несмотря на свои недостаточные земледельческие инструменты».

— Что же, это не так говорится по-русски? — спросил он.

— Так разве же можно тут чувства допускать? — секретарь в волнении обтер платком нос.— Бумагу надлежит писать государственным языком. Ежели господин подполковник Яковлев того не знает, так вы, господин Алтынсарин, человек ученый. Сколько помню, в казенной школе науку проходили...

Так и сидел он еще два дня, исправляя и уточняя пункты отчета. Третий год уже переписывал он из старой бумаги в новую: «Кроме кочевого населения в Тургайском уезде числится поселенных казаков Оренбургского казачьего войска 20 семейств, живущих в городе Тургае. О числе душ этого населения прилагается особая ведомость № 1. Кроме того, проживает в городе Тургае отставных один писарь, один унтер-офицер, один рядовой

временного отпуска, и в Наурзумской волости — один бессрочно отпущенный писарь. Все поименованные чины к обществам приписаны. Кроме них временно проживают в городе Тургае с торговой целью: почетный гражданин — один, мещанин — трое и отставной канцелярский служитель — один...»

Чем только не пришлось ему заниматься в эти десять лет. Всю гражданскую часть взвалил на него Яков Петрович... «Урожай хлебов, орошаемых водой, был весьма удовлетворительным... Единственное богатство и лучший из промыслов ордынцев Тургайского уезда есть скотоводство. О количестве скота хотя нет положительных сведений, но эта единственная отрасль ордынского благосостояния в Тургайском уезде находится в цветущем состоянии... Фабрик и заводов в Тургайском уезде не имеется... Выданы на право торговли в Тургайском уезде следующие свидетельства: на табачные лавки — пять купеческих по второй гильдии...

Всего при городе Тургае имеется постоянных торговых заведений шесть, а со спиртными напитками — три...»

Еще и судебным следователем определил его Яков Петрович. Когда он от всего было отказался, старик невероятно раскричался:

— Что же, извольте, тогда я мерзавца Краманенкова пошлю киргизов ваших судить между собой. Уж он покажет им кузькину мать. К тому же вторая часть вашей службы — администраторская. Так и выполняйте ее без разговору!

Он выезжал уже в степь по случаю обнаружения мертвого тела, по пожарам и наводнениям. Остальное решали аксакальские суды... «Народная нравственность. В истекшем году в Тургайском уезде преступлений, подсудных уголовным законам, случилось 20. К 1 января арестантов под стражей состоял один человек... Арестанты содержатся на гауптвахте города Тургая, где имеется одно только отделение, общее для военных и гражданских арестантов. Для пересылки арестантов в зимнее время имеются при уездном управлении два овчинных тулупа..»

Благо еще, можно слово в слово переписывать доклады. Лишь цифры менять в случае надобности. Что ж, наверно, и пригодится когда-нибудь узнать, что два овчинных тулупа было при тургайской гауптвахте. Отчет клеился и укладывался по годам, как и донесения прошлого века из безвестной фортеции.

«Народное просвещение. В Тургайском уезде состоит одно учебное заведение, а именно школа для киргизских мальчиков... К текущему году состоит воспитанников девять киргизских мальчиков, исключены по домашним обстоятельствам трое. Успехи их следующие: большая часть из мальчиков порядочно читают,

пишут по-татарски и по русски, изучают первоначальные правила арифметики и грамматики....

Хотя масса населения Тургайского уезда, находясь еще в грубом состоянии, относится весьма равнодушно к образованию, но у некоторых существуют убеждения и сознание пользы науки и охотно жаждут просвещения юному поколению...

Прикусив зубами перо, сидел он один в комнате. Царапина на белой стене была перед глазами, куда смотрел он. Все та же оставалась школа, и девять учеников в ней. Одна она была только на всю степь. Начатый тут десятилетний круг замкнулся. Ему уже тоже тридцать лет...

Неужто и со школой происходит то, что с причудливым городом на берегу Тобола, который думал он строить пятнадцать лет назад? Всякий раз надвигалось что-то, бросая невидимую тень. Живая вода из сказки замерзала и делалась льдом.

Когда пять лет назад захотел он бросить школу в укреплении и уехать от всего к себе на Тобол, Яковлев вдруг оставил свой крикливый тон. Даже рот тогда у старика стянулся от ядовитости.

— Эка вы, киргизы, ненадежный народ. Чуть что: пиф-паф. А там, где осаду по всем правилам требуется выдержать, вас и не хватает.

Как-то плечи опустились у коменданта и постарел тогда сразу на десять лет. Все и раньше он понимал, но только тут сделалось ему ясно, что киргизская школа для старика-топографа непросто каприз. Все свое мироощущение утверждал тот на ней. И теперь даже прибегнул к оскорбительной ноте, чтобы принудить его продолжать дело. Ему сделалось стыдно, и никогда больше не говорил он о своей тоске...

Царапина на стене стала теряться из вида. За окном совсем уже потемнело. Да, всего девять учеников осталось в школе. Но и в этом году будет звенеть в степи колокол. К нему уж привыкли. И на тысячу верст вокруг знают, зачем он звонит.

Как будто даже тут послышался ему звон. Завтра надо отдать отдельный отчет по школе: за пятьсот рублей годового расхода на учеников и триста пятьдесят рублей учительского жалованья. Еще и нужных книг здесь нет. О «Детском мире» Ушинского да о Паульсоне[1] придется просить Николая Ивановича в Казани. Вот ему-то можно поплакаться на судьбу...

Когда вышел он из правления, какой-то человек в ополченке едва не задел его плечом.

---

[1] Ушинский К. Д., Паульсон И. И. — известные русские педагоги XIX века.

Будто и всегда он знал Юрия Николаевича Померанцева. Высокий чистый лоб, худое лицо и красивые тонкие руки, вылезающие из потертых до невозможности рукавов. Сразу делалось ясно, что еда, питье, одежда вовсе ничего не значат для этого человека.

— Тут прямо-таки чудо, Иван Алексеевич. Ведь кто в Европе знает что-то жизненное про наш Оренбургский край. Так, есть какая-то дикая земля меж Китаем и Россией, по которой гоги и магоги мечутся. Даже и умные, знающие люди все одно лишь сверху смотрят. И город какой-то там на краю стоит, где Пугачев бунтовал. А тут вдруг есть, оказывается, Оренбургский отдел Императорского Русского Географического Общества, и в первом выпуске записок выступает с научными статьями природный киргиз. Пишет он про сватовство и похороны, про простую человеческую жизнь, такую же, что идет у всех народов земли. А самодовольные люди, думающие с высока своей расы, приходят в растерянность...

Под лестницей в старом присутствии находилось место для Юрия Николаевича. Сверху скрипели ступени, и все до потолка загромождено было книгами, атласами, картинами. Висели по стенам седла и уздечки, как когда-то в доме у Николая Ивановича, стоял прислоненный к половинке двери натуральный балбал. Тут же, на деревянной лежанке, и спал секретарь Общества.

Обычная, с серым переплетом, книга лежала на шатком столе, в ней были печатными буквами расположены слова, которые писал он в долгие зимние вечера у себя в Тургае. Потом он приворачивал фитиль петрольной лампы и долго не мог спать. Все думалось, серьезная или нет эта работа и надо ли кому-нибудь знать про узунских кипчаков. Также загадки и меткие слова записывал он в тетрадку, делая по возможности точный их перевод.

— Три года назад еще отправили мы ваши очерки в Петербург. А тут как раз и свои записки решили издавать. Так Лев Николаевич настоял в первом томе их представить. Даже и вступление написал...

В который уже раз он удивился. Давний день сидел в памяти, когда попечитель Оренбургской школы говорил перед ними казенные, возвышенные слова. Даже лицо у советника Плотникова было как бы из глины. С Евграфом Степановичем Красовским сидел однажды тот в одном доме и вместе со всеми не видел его, хоть прямо глядели они в его сторону. А тут, в комнате под лестницей, явился другой человек, служебная плавность пропала в движениях, рука быстро и точно черкала в тетради с загадками.

— Вы, господин Алтынсарин, имеете обязанность перед

наукой писать о своем народе. Мне и Николай Иванович говорил о таком направлении ваших мыслей...

Рука в мундирном рукаве перестала вдруг двигаться:

— «Среди многих баурсаков один калач...» Доподлинная ли это киргизская загадка, господин Алтынсарин? Сколько мне помнится, киргизы русский хлеб не пекут.

— Пекут уже некоторые. Записана мной на Тоболе, среди узунского рода.

— Что ж, звезды и месяц. Придется лишь примечание делать для читателя.

— Так оренбургские казаки всегда в дорогу жарят баурсаки,— возразил он.

— Не для одних только оренбургских казаков ваш труд, молодой человек.

Словно просвет для себя находил этот чиновник в географических занятиях. И язык у него становился другой.

— Какая истинно философская классификация огня: «Бездушное у бездушного душу берет».

Лев Николаевич Плотников задумался, опустив перо.

Когда с секретарем Общества Юрием Николаевичем Померанцевым пошел он обедать в кухмистерскую, то вслед за ними явился и сел за стол человек в ополченке: тот самый, что попался ему вчера по выходу из правления. Дворянский картуз с околышком был на том совсем новый, но ополченка лоснилась от пятен. Такие полувоенные куртки с карманами носили еще с Крымской войны, когда покойный государь решил двинуть на выручку к Севастополю всенародное войско. Только уж на втором переходе у них стали отваливаться закрашенные под кожу подметки сапог.

— Василий Петрович Ильюнин, смею рекомендовать,— тихо сказал Померанцев.— Знаменательный экземпляр пореформенного русского человека. Выгнан из полка за нечестную игру. Проявлял свои способности семь лет назад в Польше. Теперь вот хлеб патриотической службой добывает.

— Как это? — не понял он.

Померанцев усмехнулся:

— Патриотическое направление у нас в городе идет от господина Пальчинского.

За другим столом Ильюнин, не глядя в их сторону, проглотил рюмку водки и стал жадно есть селянку.

— Господин Алтынсарин!..

Розовые круги были на щеках у учителя Алатырцева. Что-то знакомое, много раз виденное четко проступало в потемневшем

лице. В остальном ничего не изменилось. Радость и боль отдались в груди, когда пожал он сухую холодную руку. Несколько человек обязательно сидели за столом. Лишь одного он помнил из них — Мятлина с белым лицом и пухлыми руками. На месте соседа Курова тот сидел. Да еще географ Померанцев был из знакомых.

— Я, господа, не отношусь, как знаете вы, к филистерам, но так... нельзя.— Мятлин даже белые кулаки поднял в воздух.— Да, господа, есть то, перед чем следует остановиться самому язвительному человеку. Это святое для все нас Отечество. И как только до этой черты доходит дело, я говорю: так... нельзя!

— Но почему же, позвольте вас спросить, Аскольд Родионович, нельзя касаться до национальной болезни? — спрашивал молодой инженерный поручик.— Даже если и оставила на народе свои жесткие следы история. Что ж, думаете, и не отразились вовсе в нашем характере татарское иго или двести лет всеобщего рабства? Собакевичи да Ноздревы не от одной природы рождаются, а от самого течения жизни. Так уж и не называть их по имени? Вот если бы писатель утверждал, что от одной природы мы таковы, можно было бы и протестовать. Нет, чтобы лечить болезнь, нужно прежде всего назвать ее. А замалчиванием да заговариванием лишь одни шаманы якутские лечат!

На столе лежали журнальные книжки. Спорили о недавней сатире господина Щедрина, где история некоего сказочного города перекликалась в характерах с событиями русской истории. Уродливейшей карикатурой на отечество определил ее сразу по выходе скрытый за сокращением букв критик. В обществе все не охладевали разговоры об этом.

Мятлин всплескивал руками:

— Но позвольте, какие монстры ходят в сем городе: тупые, блудливые с фаршированной головой. И это... Россия. Нет, так нельзя-с!

— Не Россия то, а шрамы на ее нравственном теле.— Инженер говорил с молодой, спокойной убежденностью.— Как же не чувствуете вы кровоточащей боли в каждом слове господина Щедрина! Да возьмите хоть пожар в городе, когда даже сам литератор уходит от сатиры. Как безудержный всхлип сочувствия, вырвавшийся из наболевшего сердца. И она делит по отношению к ней людей: на тех, кто хотел бы оставить отечество в старом состоянии, и тех, кто не желает этого.

Учитель Алатырцев, как всегда, смотрел на всех с задумчивостью, словно проверяя высказываемую мысль:

— В России литература на особом положении. Неумное правительство видит в ней врага, потому и жертв столько в ее

рядах. Что ни говорите, а второй ногой мы в Азии. Шах персидский, сказывают, до сих пор убивает вестника какого-нибудь несчастья или недостатка. Великий наш писатель так и поставил эпиграфом к своей пьесе русскую мудрость: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!»

— Как раз по-глуповски — бить доктора, объявляющего болезнь,— засмеялся поручик.

— Булку и чаю господину Ержанову!..

Он и не удивился, увидев, как Кабыл Ержанов прошел, сел рядом с инженерным поручиком. Усы пробивались у юноши и шеврон выпускного кадета был на рукаве. К учителю Алатырцеву он писал пять лет назад о своем ученике. Шаркая ногами, Тимофей прошел и поставил перед кадетом хлеб и чашку.

— Лада, моя лада... Никак не приживается слово, значит срок ему отошел. Лишь в стихах иронических... Язык русский сам по себе умнее нас...

На другом конце стола спорили о словах, насильно притягиваемых от прошлого. Здесь продолжался тот же разговор.

— Литературу с погонами и со звездами хочет противопоставить правительство подлинно живому слову. Только невозможно уже читать эти полуграмотные, блудливые славословия. Да никак не хотел царь реформы, и если бы не народ, доведенный до отчаяния...

— Великий народ не боится смотреть на себя сатирическим взглядом. Пышность и славословие — признак рабства. Неужто станем похожи на дикаря с перьями...

Мятлин продолжал все твердить:

— Мы от патриотической, так сказать, части общества и протест в редакцию составили. Извольте, бичуйте смело, вскрывайте недостатки. Но так... нельзя!

Кабыл Ержанов провожал его с казахской почтительностью к старшему. От юноши, намеревавшегося идти в инженерное училище, веяло уверенностью. На углу, сдвинув каблуки, кадет по-русски сказал:

— Позвольте, агай, мне попрощаться с вами. В ночное время надлежит находиться в корпусе!

— Конечно... Иди, голубчик,— разрешил он дрогнувшим голосом.

Потом долго ходил по теплой, с шестиугольными фонарями, оренбургской улице, думал... Оттиснутые печатью казахские слова, наверно, и есть литература. Что же, будет она когда-то лишь славословить окоём или станет беспощадным народным зеркалом? За хорошую весть суюнши — подарок ведь дают. Так как сделать, чтобы не перешел тот закон в литературу. «Шрамы на

нравственном теле народа». Не меньше их история оставила в узунских кипчаках...

Кто-то все ходил по другой стороне улицы, не приближаясь к фонарям. Он повернулся и пошел в гостиный двор, где остановился.

Коляска мягко катила по камню, приседала на рессорах. Подполковник Дальцев подвез их к городскому саду и поехал в топографический отряд, которым теперь командовал. В белой каменной беседке с колоннами играла военная музыка. Парами и группами в такт ее плавно шли навстречу друг другу гуляющие. Знакомые дамы, отнимая вееры от лица, говорили любезности, офицеры галантно наклоняли головы.

Это было неслыханное наслаждение идти так рядом по чистому теплому песку, слушая музыку и не имея дум в голове. Дарья Михайловна смотрела прямо перед собой, и радостно-удивленное выражение было на ее помолодевшем лице. Оно вдруг явилось, когда увидела она его. Теперь уже не из сказки о сером волке, а волнующе-прекрасная женщина шла рядом с ним теплым летним днем.

— Иван Алексеевич, а в Тургае есть городской сад?

Машенька, почти уж барышня, помнила это его имя. Всякий раз она заходила вперед, заговаривая с ним или с матерью.

— Ой, маменька, какой смешной вид у офицера!...

Девочка прыснула, но по взгляду матери сделала строгое лицо и опять пошла рядом, стараясь не двигать плечами. Так учила ходить девочек в своей школе мадам Лещинская. Интендантский капитан, с театральностью сидящий в одиночестве на скамейке, недоуменно посмотрел в их сторону.

Лишь на четвертый день, когда готово было у портного Шильмана его новое платье, пошел он к Дальцевым. Каждый день с тех пор гулял он с ними здесь. Дальцев приезжал опять за ними, звал его к ним домой, и он отказывался службой.

Всякий раз здесь в саду он видел Ильюнина. Тот садился на скамью у входа и все сидел в своей ополченке, пока они гуляли.

Коротко стриженная барышня в застегнутом под шею платье с белым воротничком как-то странно посмотрела на него. Она помогала пожилому, с седыми длинными волосами библиотекарю выдавать книги. Чиновник с серьезным лицом, пожилая дама, несколько молодых людей, сидя на стульях, ожидали своей очереди. Он прошел мимо них дальше.

В читальной комнате было много людей. Среди них увидел он инженерного поручика Жаворонкова, который ходил к учителю Алатырцеву. Было еще двое офицеров: высокий красивый штабс-капитан артиллерии и пехотный подпоручик. В большинстве здесь были молодые люди в мундирах, сюртуках, даже рубашках с пояском, какие носят приказчики на ярмарках. Пришла стриженая барышня, села возле стола. Он встречал уже трех или четырех подстриженных так девиц в городе. На них смотрели с неодобрением. Молодые люди, наоборот, почти все были длинноволосые. Они громко говорили между собой. Один из них, в студенческой тужурке, с удивительно открытым выражением в серых глазах, прошел к стоящему отдельно столу, положил на него тетрадь:

— Сегодня мы, господа, продолжим общественное чтение писем господина Миртова[1]...

«Березовский... Это Березовский из Казани!» зашептали в комнате. Стриженая барышня не отрываясь смотрела в лицо говорившему. На столах и на коленях некоторые держали раскрытые тетради, что-то помечали в них.

— «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости». Таков постулат. С доисторических еще времен, господа, наблюдаем мы среди людей критически мыслящую личность, поднимающую голову к небу. Ставшая обычаем необходимость, будничное течение жизни не являются для нее неизменными. Человек же так устроен в отличие от животного мира, что, возвысившись по уму над средой, чувствует обязательную потребность поднять эту среду до себя, сделать необходимым ее движение к цивилизации. Этот долг перед другими заложен в человеке, составляет главную, определяющую его сущность. Подлинно мыслящий человек ощущает вину перед бесчисленным рядом поколений, которые трудились и умирали, чтобы он появился... Мы, образованный слой России, не станем исключением в этом ряду. Разве не трудились в веках бесчисленные тьмы нашего народа, чтобы появился даже один из нас. То не батюшка с матушкой, благодушествовавшие в имениях, отправляющие требу в церквах или пишущие бумаги по департаментам, то они, безвестные труженики, кормили и растили нас, дав своим святым трудом возможность прийти вам к нынешнему состоянию. Станем ли задерживать путь вперед Отечеству или, протянув друг другу руки, пойдем отдавать себя народу...

Однако не прельщайтесь легкостью пути, господа, так как

---

[1] Миртов — псевдоним Лаврова П. Л. — теоретик революционного народничества.

враги ваши тоже знают, в чем сила народа. Она именно в нравственности того образованного класса, который вы представляете. При отсутствии отдельной нравственной личности народ не может продолжительный срок существовать в истории. Это тот плодотворящий слой, что накапливается тысячелетиями, и развеяв который по ветру, самый тучный чернозем можно превратить в пустыню. Атиллы и Чингисханы не случайно прежде всего уничтожали в захваченной стране образованных людей, верхний почвенный слой народа. Но в прах рассыпались они, ибо прежде всего в собственном народе убили эту нравственную личность. Так бойтесь же больше всего своих Атилл и Чингисханов, ибо, обещая мишурный блеск державного величия, они на наших глазах ударяют по всему, где может таиться такая личность: по литературе, по университетам, по любому движению мысли...

Оглянувшись, он вдруг заметил, что в углу сидит Кабыл Ержанов. Вместе со всеми тот делал пометки в тетради. Однако, когда чтения закончились, он нигде не увидел кадета.

Стриженая барышня прямо подошла к нему:

— Здравствуйте, Иван Алексеевич!

Нечто знакомое было в ее серьезном, даже как бы учительском виде. Тем не менее, он потерялся, не зная что говорить.

— Я Катя Толоконникова...

Так сказала она это, что сразу вспомнил он елку у Генерала и маленькую девочку в панталончиках, покрикивающую на него, когда допускал неправильность в танце.

— Позвольте познакомить вас с моим другом!

Читавший реферат студент протянул ему руку:

— Иван Березовский.

— Вы будете из Казани? — спросил он.

— Да, сюда я высланный под надзор,— умные серые глаза смотрели на него в упор.— Вы же, судя по всему, киргизский учитель.

— Как же это видно? — удивился он.

— Так о вас все знают в Оренбурге. Впрочем, и в Казани я слыхал о вашей школе. От Гребнева...

Гребнев жил в Казани. Ильминский помогал ему, а студенты приняли на свой кошт, как делалось в университетах с вольными слушателями из народа.

Он пожал плечами. В Оренбурге его как будто действительно многие знали, хоть десять лет не было его здесь. На улице различные люди здоровались с ним, и он удивлялся этому.

Березовский усмехнулся:

— Если уж господин Пальчинский проявляет к вам интерес, значит, вы фигура общественно значительная.

Студент пальцем открыто показал на ожидающего у двери господина Ильюнина.

Первую могилу он сразу нашел. Постоял перед деревянной оградкой, густо поросшей вьюном. Пчелы летали вкруг маленьких белых цветочков. Стояла табличка при кресте: «Раб божий Дыньков Алексей Николаевич, надворный советник». В середине было прибрано и аккуратно посыпано песком. Кто-то приходил сюда, хоть вдова с дочерью жила на Тоболе.

Другую могилу пришлось ему долго искать. Лишь с трудом смог различить он нацарапанные на кресте буквы: «Р. б. Варфоломей Воскобойников». Расчистив могилу от бурьяна, постоял он и здесь.

Потом зашел в церковь при кладбище, купил две свечи, зажег и поставил в притворе.

— Про кого же поминовение? — спросил старенький батюшка, принимая пять рублей.

— Рабы божии Алексей и Варфоломей,— сказал он.

Впервые в глазах господина Ильюнина увидел он какое-то чувство. Тот стоял при паперти, недоуменно расставив руки. Даже и в сторону не стал отходить, как делал это всегда.

Остановившись возле ангела, он помолчал, вздохнул:

— Так-то... Все там будем.

— Совершенно точно, господин Алтынсарин! — надорванным голосом отозвался тот.

Как повезло ему! Султан Сейдалин второй, хороший его друг, тоже приезжал по делам в Оренбург, и вместе сейчас они ехали к Тоболу...

Не в пример родичу своему Джангеру совсем другие люди были братья Сейдалины. Младший, Тлеу, закончил Неплюевский корпус и не остался в военной службе. Не имея богатства, тоже сделался помощником начальника Николаевского уезда. Всякое лето тюре наезжал к нему в Тургай и они охотились, ездили по гостям. Веселый, умный, Тлеу Сейдалин одним своим видом разгонял его болезненную тоску.

То в его тарантасе, то пересаживаясь в коляску Тлеу, по хорошо накатанной дороге в семь дней доехали они до родных мест.

Два ряда домов стояло теперь вдоль Тобола, и у всех были резные ворота. Их так и стали называть здесь: деминские. И поселок назывался — Деминский. Даже и возле старого балго-

жинского скотного двора стояла изба Люди теперь жили наверху и лишь спускались под землю к овцам. Деревья высоко выросли возле первых домов и закрывали ветками маленькие окна.

Он зашел в дом к Нурлану. По стенам стояли лавки, маленький образок висел в углу. Анастасия, жена Нурлана, с хозяйской твердостью ходила по горнице: ставила на стол хлеб, миски, принесла из погреба айран[1].

— Как же вы поженились? — спросил он.

— Ай, к Демину пришел: сестра, говорю, есть у тебя, дядя Гриша. А у меня дом есть, деньги тоже заработал...

Нурлан неплохо говорил по-русски. Да и вообще сделался разговорчивей.

— Ну, а дальше что?

— К Рахматулле пошли, подарки понесли... Потом к николаевскому попу пошли, тоже деньги дали... Ай, ладно, говорит, живите!

Покосившись на него, Нурлан перед едой сделал руками «Бисмилля». Видно было, что это для ученого гостя. И Анастасия оглянулась на иконку. Он же стал сразу есть, и они успокоились...

В Тургай он уже ехал один по пути древнего кочевья. Нигмат, полулежа на облучке, подергивал вожжи, тарантас мягко уходил колесами в проросшую корнями землю. Серые от времени кости валялись по краям дороги и вся степь в окоёме была изрыта миллионами копыт.

Словно какой-то перевал осилил он в жизни. Это хорошее было решение — поехать в город, к началу своей судьбы. Как бы проверилось то, чем жил он эти десять лет.

Да, все делалось правильно. Заново повторял он для себя свои недавние оренбургские действия, мысли, чувства. Ничего не изменилось в людях, в движении жизни. Словно живой ветер приносил откуда-то неудовлетворенность и нетерпение. Этому можно было верить...

В последний день играла в беседке музыка, и все шли мимо гуляющие. Они сидели на скамейке, и Машенька стояла в стороне у розовой клумбы.

— Ибрай, голубчик... Вам надобно жениться. Отыщите себе славную душевную девицу. Я знаю, ей хорошо будет с вами!

Он серьезно кивнул головой. У Дарьи Михайловны стояли в глазах непонятные слезы...

---

[1] Кислое молоко.

IX

Первый раз в жизни ощутил он полный покой. Ничего не надо было делать, ни о чем не думать. Просыпаясь ночью, он видел над собой черную глубину неба с близкими звездами. И ни одного постороннего звука не было на земле. Утром, не поднимая головы от прохладной подушки, он видел, как всходит солнце. Потом смотрел, как женщины доят скот, сливают молоко в большой кувшин. Или брал ружье и уходил на малую охоту, чтобы обязательно вернуться к вечеру. Айганым с каким-то удивлением смотрела на него, совсем по-детски наклоняя к плечу голову...

Второй месяц после свадьбы жил он у Динахмета Кожаулы. Тот сказал, когда закончились торжества: «Ваш дом далеко отсюда, учитель Ибраим, а в такой момент жизни следует быть на земле отцов». Вечерами, придя с поля и помолившись, агай-кожа говорил с ним о мудрости мира. Мухамеджан Ахметжанов, кадет с шевроном, сидел в полной форме и слушал отца. Тонкая, как и в детстве, шея высоко поднималась у него из жесткого стоячего воротника. По окончании корпуса юноша хотел идти в университет. Отец соглашался с этим.

Айганым все никак не могла прийти в себя, так быстро все произошло. Не было долгих самолюбивых переговоров, как писал он о том в очерке обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства. Просто, когда ехал он как-то в Перовск улаживать неподсудные биям дела между двумя уездами, то по дороге остановился в ауле Анет-бия, у старых друзей своего деда Балгожи. Когда-то ему намеревались сватать невесту из этого дома, но дело расстроилось, и в тот же год Айсара утонула в большое наводнение.

Жил он там три дня и видел, как стройная, с пугливым блеском в глазах девушка помогала в доме по хозяйству. Всякий раз проходила она по двору, так что он удивлялся какой-то особенной легкости ее шага. На правах почетного гостя он заговорил с ней. Айганым остановилась и вдруг смело, даже с каким-то задором посмотрела на него. Наверняка знала она, что когда-то он считался женихом ее сестры. И на вопросы его Айганым отвечала просто, не опуская глаз.

На обратном пути он уже больше времени провел в ауле Анет-бия: делал заметки о быте сырдарьинских казахов с приходом русских войск, оседающих на приречные земли. Девушка теперь краснела всякий раз при виде его, но по-прежнему смело смотрела в глаза. Когда он уезжал, то увидел, что она стоит на пригорке в стороне от дома.

Он поехал тогда же к Динахмету Кожаулы и все ему

рассказал. В следующую весну от Золотого озера приезжал сам аксакал Азербай, вел переговоры. Агай-кожа ездил вместе с ним на Сырдарью, договаривался об упрощении обычая. Так и случилось, что не нужно было подолгу обмениваться подарками, соблюдать утомительные правила. В кудачах[1] у него помимо приехавших от узунского рода гостей были начальник уезда Яковлев и молодой прапорщик-топограф с наблюдательного поста, что находился возле дома агай-кожи. С ним-то и случилась история. Уж больно хорош был прапорщик: высокий, статный, с вьющимися темными волосами. Хоть и уславливались, что не станут трогать кудачей, аульные девушки все же с разных сторон намазали прапорщика кашей, а увидев, что тот смеется, надели на него ремни, напялили, как водится, женский платок и втянули на верх юрты. Тот отбивался как мог, только девушки не отставали...

На той к нему приехал из степи Марабай. По правилам проходил айтыс со скачками и другие забавы, только все закончилось в три дня. Агай-кожа прочитал венчальную молитву и на другой уже день они поехали в урочище Кожаулы.

В аулах говорили, что не совсем по обычаю прошла свадьба, такие дела совершаются основательно, в год или два, с многократными поездками от жениха в дом к невесте и обратно. Здесь же ограничились тем, что лишь растопленное масло вылила на очаг будущая жена. Динахмет Кожаулы был негласным устроителем свадьбы, и никто не мог говорить что-нибудь против. Все же Айганым, наверно, ожидала, что свадьба продолжится дольше. И то, что остались они сразу после свадьбы одни, в тихом доме агай-кожи, тоже удивляло ее...

Возвратился уехавший после свадьбы в сырдарьинские аулы акын Марабай, и он теперь изо дня в день записывал новые песни. Все таким же неугомонным остался курдас и больше двух недель никак не мог находиться на одном месте. Но и тот как-то успокаивался, когда сидели они втроем на тахте перед домом агай-кожи и слушали, как тихо движется вода в текущем рядом арыке.

Юноша-кадет уехал назад в город, соседи-топографы ушли на лето к Туркестану, и никого, кроме них, не осталось вокруг. Едва слышно шелестел ветер верхушками деревьев, посаженных посредине степи многие столетия назад предками кожи, принесшими сюда семена со своей далекой родины. Где-то за домом тихо переговаривались между собой женщины, и это больше усиливало чувство покоя.

---

[1] Сваты.

— Доброе дело есть само по себе служение богу,— говорил агай-кожа.

Марабай брал домбру и начинал играть негромко, безостановочно, и резкая морщина появлялась у него поперек лба...

Уже перед концом его пребывания у агай-кожи произошел случай, сразу вернувший его к действительности. Древняя караванная тропа проходила здесь, срезающая путь к Оренбургу. Для путешествующих людей было в урочище Кожаулы особое помещение, тоже построенное в давние времена. В один из дней там остановился едущий от эмирской службы раис[1] из Бухары. Его провожали полтора десятка слуг и восемь казаков, приданных для охраны в Перовске. Бухарцы вели с собой лошадей на подарки русским сановникам — тонконогих, поджарых ахалтекинцев. Один конь захромал, и раис принялся разбирать, чья в этом вина.

Более глупого и злобного лица, чем у этого раиса, он не встречал еще в жизни. Пятеро взрослых бородатых мужчин сидели на пятках коленями к земли, а тот в тяжелом, расшитом халате по очереди ставил ногу в грязной кожаной галоше каждому на лицо. Человек что-то говорил в свое оправдание. Раис, все так же, держа ногу на лице, выслушивал его и пинал с силой, так что тот скатывался к арыку. Всякий раз, не произнеся ни звука, люди подползали и принимали прежнее положение.

Выяснив, наконец, виновника, раис что-то резко крикнул. Человека повалили, сорвали с него халат и сапоги и принялись бить палками по голым ступням. Человек плакал, кричал, возя по земле вымазанной в грязи бородой...

Вбежав в дом, он надел мундир и направился к раису:

— Я требую прекратить эту расправу, господин посланник!

Он понимал бухарцев и они бы его поняли. Но тут он говорил по-русски, и щербатый, с бабьим лицом переводчик пересказывал его слова раису. Тот стоял, выпучив глазаю и не понимал, что это за человек вмешивается в его распоряжения.

Казаки вместе с пожилым вахмистром сидели в стороне под деревом и хмуро наблюдали за происходящим.

— Эй, вахмистр, сейчас же остановите истязание!

Вахмистр подошел, посмотрел с полминуты:

— Слушаюсь, ваше благородие... Эй, Щабрин, Буханцев, а ну!..

---

[1] Начальник.

Двое казаков подошли вразвалку, отстранили палочников, подняли избитого.

— Извольте перевести господину эмирскому посланнику, что по русским законам воспрещено наказание без суда, тем более изуверское действие,— он холодно смотрел в желтоватые глаза раиса.— Ежели это будет повторено на российской территории, то по закону виновный подлежит русскому суду, кто бы такой он ни был...

Совсем как когда-то у действительного статского советника Красовского, у раиса стала вдруг пропадать остекленелость во взгляде, растерянные складки явились по краям рта. А он повернулся к вахмистру:

— Проследите за этим на пути, а я донесу о том начальству!

— Так точно, последим, ваше благородие! — сказал вахмистр.

Он вдруг вспомнил темную оренбургскую улицу. «Хорошее или плохое, а все ж государство». Так сказал ему когда-то Яков Петрович на темной оренбургской улице, когда вышли вместе от учителя Алатырцева. О бухарских нравах шла как раз речь.

«20 марта 1873 года. Тургай. Милостивый государь, добрейший Николай Иванович!. К решимости беспокоить Вас этим посланием побудило недавно полученное сведение, что по предложению министра народного просвещения я командировываюсь нашим военным губернатором быть участником при составлении в Казани русского алфавитного учебника для киргизов. Зная из писем Ваших, что об этом хлопотали Вы, я полагаю, что и означенное предложение министра о назначении меня Вам небезызвестно. Таким образом, если это состоится, то я был бы очень счастлив и мог бы надеяться на то, что давнишнее желание мое — побывать в Казани, увидеть добрых людей, послушать их и поучиться — наконец-то осуществится; равно пользуясь этим временем, привести в порядок и издать свои киргизские песни с переводом и примечаниями, что уже у меня наготове...

Я нахожусь все еще в Тургае делопроизводителем уездного управления, но по изменяющимся обстоятельствам, почти не занимаюсь по этой должности, занимая должности то старшего помощника начальника уезда, то уездного судьи... Службой моей начальство весьма довольно, но мне же обязательная служба начинает сильненько надоедать, и во мне во всей силе возбуждается старая любовь моя к наукам и обществу вне круга официальностей...

Не откажитесь передать мое искреннее почтение Екатерине

Степановне. Душою преданный и покорнейший слуга Ваш И. Алтынсарин.

Адрес мне: через Оренбург в г. Тургай. Знакомый Вам старик, наш добрейший уездный начальник полковник Яковлев, узнав, что я пишу к Вам письмо, просил написать Вам от него искреннейший коп салям»[1]

X

Так всякий раз происходило. То приезжал флигель-адъютант самого государя, известный светский лев, то иомудский принц проездом выходил гулять — в европейском платье и белоснежной, с длинными космами, папахе. И тогда гуляющие в городском саду обязательно проходили мимо скамейки, где в небрежной позе сидел гвардеец с аксельбантом, или обтекали беседку, откуда принц черными живыми глазами глядел на публику. Не так на него смотрели, как на телохранителя — громадного, свирепого вида янычарина в краснополосатом халате.

В этот раз все обязательно прошли мимо полковницы Дальцевой. С ней и дочерью сидела рядом в русском платье натуральная киргизка — даже и браслеты с рук не снимала, какие носят они в аулах. Два-три офицера из киргизов тоже смотрели с удивлением. Да еще такая интересная была киргизка: как будто и внимания не обращала на то, что пользуется успехом. На дам даже не глядела, а все говорила о чем-то с Дарье Михайловной. На другой день рядом с ней явился знакомый здесь многим господин Алтынсарин — помощник начальника уезда из Тургая, и поняли все, что то его жена. Тогда и перестали на них смотреть...

В тот же миг, как вошли к Дальцевым, Айганым отвела взгляд от Дарьи Михайловны и прямо посмотрела на него...

За полгода в Тургае стала она свободно говорить по-русски, а через год свободно читала и писала. И платья начала носить, что шила на жен офицеров в укреплении вдова-советница Шишмарева. Вдруг сделалось ясно, что женщины живее чувствуют новую необходимость во всем. И с особенной настойчивостью хотела она ехать в Оренбург. А он обязательно должен был повезти ее туда.

Никогда не говорил он ей про Дарью Михайловну, но как будто что-то знала она. По приближению к Оренбургу начал он волноваться и все замечал на себе ее внимательный взгляд.

---

[1] Письма И. Алтынсарина. Коп салям — огромный привет.

Теперь он это прочел в ее глазах. Неужто у женщин, как у акына Марабая, способность все угадывать?

И вдруг, к его удивлению, женщины сразу начали говорить между собой, будто много лет были знакомы. Про него словно даже забыли. Чего-то он не понимал тут. Дарья Михайловна уводила к себе Айганым, и целыми днями занимались они известными лишь им делами.

Когда ненадолго остались они одни, Дарья Михайловна сказала ему с улыбкой:

— У вас ой какая умная жена, Ибрай...

Когда подошло время уезжать ему в Петербург, Дальцевы, будто это так разумелось, взяли Айганым к себе.

В Казани словно распахнулось что-то в нем. Молодые серьезные лица сплошь и рядом встречались на улице. Люди двигались быстрей, чем в Оренбурге. В доме у Николая Ивановича толпился всякий народ: рядом с молодыми людьми в студенческих тужурках приходили долговолосые священники с мягкими покойными движениями — миссионеры из общества святого Гурия. В учительской семинарии, где был теперь ректором Николай Иванович, стояли вольные нравы. Не все из инородцев, поступая туда, принимали православие, и Николай Иванович обосновывал перед духовными властями их право на то.

Лишь волосы сделались белые у Николая Ивановича, но так же раздувались они на щеках при ходьбе. Даже еще быстрее, пожалуй, стал он бегать по квартире. Благо, было в ней здесь шесть комнат. Екатерина Степановна осталась вовсе прежней, хоть целых шестнадцать лет не видались они. Николай Иванович прижал его к теплой груди, и слезы выступили на глазах у старика. Екатерина Степановна не знала где его посадить, потом выбрали главный диван в гостиной комнате. Все те же вещи были в доме, те же иконы висели в углу. Как в молодости, пил он чай из знакомого самовара и разговаривал ночь напролет. Все же нигде он так себя хорошо не чувствовал, как среди этих людей, и еще в доме благородного кожи Динахмета. Некая нравственная сила была в них.

Екатерина Степановна, вспоминая про оренбургскую жизнь, спросила:

— А что же ваш друг, Ибрай... который песни пел? — И почему-то зарделась при том.

Всю неделю, что пробыл он в Казани, они с Николаем Ивановичем обсуждали привезенные им записи по удобному усвоению казахами русского строя языка. Пятнадцать лет он их вел и скопил целую корзину. Отдельно были у него составлены

наподобие «Детского мира» Ушинского и «Книги для чтения» Паульсона казахские рассказы, что сочинял он для своих учеников. Все больше это были истории из жизни или понятные детям переложения из русского языка. Он взял с собой наиболее интересные из них. Как и было оговорено в учебном округе с попечителем Лавровским, из того должна была произойти первая часть «Киргизской хрестоматии». Во второй части он думал собрать статьи серьезного содержания из географии, истории технических предметов, естественных и прочих наук. Что же относится к быстрейшему усвоению русского языка взрослыми и детьми, то думáл он издать особую книжку.

Николай Иванович затихал, слушая казахское чтение. Простая сюжетная игра, как для городских детей, здесь не подходила. Все бралось из жизни, и тогда дети делались внимательными, как объезжающий лошадь табунщик. Всем опытом окоёма знали они, что промахиваться нельзя... Кипчак Сеиткул с бедными людьми оседал на землю и начинал сеять пшеницу, от чего приходили достаток и уважение. В то же время брат его, продолжавший заниматься барымтой, погибал где-то в чуждых пределах... Два мальчика оставались одни в пустыне: избалованный сын богатого человека Асан и сын бедняка Усен. И второй оказывался во всем умнее: добывал огонь, охотился, ловил рыбу не хуже, чем английский Робинзон и в конце концов находил путь к своему кочевью... Человек выбегал ночью из дома, крича по невежеству, что сам черт упал на него с неба: с рогами и бородой. Оказалось, коза провалилась через гнилую крышу...

Совсем по-новому слушали дети в школе известные с детства истории про хитроумного мальчика со шрамами на голове от тазовой болезни, сумевшего провести злого человека; про доброго мудреца Байаулы, ставшего основателем могучего рода; про красноречивого Шешена и хлебопашца Каракылыша[1]. И как только добавлялись знакомые приметы: такыр, речка в тугаях, еремшик[2], как лисица начинала совершенно естественно говорить человеческим языком и никто не удивлялся этому. Когда-то был он не совсем прав, считая, что степные дети не поймут басни. Однако в начальную книгу их, по-видимому, вставлять не годилось. Это придет потом...

Каждый год писали они под его диктовку: «Заботливые и покровительствующие мне папа и мама, шлю Вам от всей души свой привет. Благодаря Вашим молитвам, я пребываю в полном благополучии и здравии... Вы, отец, писали, что Хасен болел оспой. Я очень рад тому, что он выздоровел. Нам учитель

---

[1] Герои народных сказок.
[2] Сухое молоко.

говорил, что если ребенку прививалась оспа, то он оспой не болеет, а если заболеет, то легко переносит. Если представится возможность, то, памятуя эти слова, хорошо было бы повести к ближайшему лекарю моих братишек и привить им оспу...» «Друг мой, Муратбай, ведь я уже перешел в следующий класс и теперь через одну-две недели собираюсь ехать в аул. Надеюсь, в непродолжительном времени увидеть всех вас. Уже сейчас перед моими глазами встает картина, как аул расположился на зеленом лугу и кругом колышется высокая трава, в которой бродят многочисленные стада...[1] Потом по этой форме они сами писали домой первые казахские письма.

И обязательно войдет в хрестоматию то начальное письмо, что будто бы направлялось к нему от лица мудрого деда:

Ты, наверное, скучаешь и рвешься домой...
Поприлежней учись, грусть пройдет стороной,
Станешь грамотным — будешь опорою нам,
Нам, к закату идущим седым старикам.

Отдельно записанные песни Марабая, пословицы и меткие слова составят свою часть книги...

Николай Иванович крепко брал его руку:

— Все, что надо, вы сделали, голубчик... И никто бы больше этого не сделал. Никто, кроме вас!

В Казани ждали одного из видных сановников России, графа Дмитрия Андреевича Толстого. Как член государственного совета и министр народного просвещения, тот намеревался обозреть Оренбургский учебный округ. В городе чистили улицы, на пути от пристани красили дома.

Николай Иванович, ездивший встречать графа, вернулся возбужденный и счастливый. По приказанию министра, после того, как тот посетит Пермскую губернию, ему надлежало присоединиться к поездке и сопровождать графа до Уфы и, возможно, до Оренбурга.

— Ибрай, душа моя...— Николай Иванович словно бы смутился чем-то.— Если Его сиятельство наведет разговор на киргизов... Ну, коль спросит, знаю ли подходящих людей для руководства просвещением в степи, то можно ли назвать тебя? Как-никак, теперь ты уездное начальство, а обеспеченность, сам знаешь, какая в школьном деле...

Никак не мог добрейший Николай Иванович скрывать своих чувств. Не просто дело было в уходе с уездной службы. Сама личность графа ставила людей в особое положение. Свирепейшим гонителем всего нового выступал министр народного просвеще-

[1] Алтынсарин И. Том I, 1975.

ния, и господин Щедрин даже особо вывел его в своей сатире. Считалось неприличным в чем-то иметь к нему отношение...

— Вы же знаете, Николай Иванович, сколь не подхожу я для административной деятельности,— ответил он, не раздумывая.— И вся моя жизнь состоит в просвещении для киргизов. Если Его сиятельство найдет меня подходящим для такого дела, то с охотой примусь за него. Но в том только направлении, которое вам известно.

Последние слова он сказал с твердостью, и Николай Иванович согласно закивал головой:

— Так вы уж скорей возвращайтесь из Петербурга, голубчик!

—

Удивительно радостное чувство не уходило от него. То была не просто приподнятость от незнакомого места, от красивых четырех и пятиэтажных домов или невиданного им до сих пор уличного движения. Наоборот, он все тут как будто хорошо знал: Невский проспект с клодтовыми конями на мосту, Дворцовую площадь, памятники, медленно текущую Неву с береговым гранитом. Но даже и не там, а заходя в узкие каменные дворы на боковых улицах, он узнавал чахлую зелень в газонах, темные, ведущие до чердаков лестницы, чиновников, женщин в капотах, идущих с корзинками за провизией. Только потом он сообразил, что читал уже про все это.

Однако чувство было щире. На Невском ли, перед Исаакием или на площади перед вздыбленным конем он ощущал некое гордое состояние духа. Какими-то путями он сам и все узунские кипчаки имели сюда прямое отношение. Здесь все устремлялось вперед, из окоёма. В Москве, когда стоял он у Лобного места или ходил по Охотному ряду, такое чувство к нему не приходило, но здесь проявилось вдруг со всей ясностью. Наверное, это и было то, что в спорах у учителя Алатырцева или тургайских застольях называлось словом Отечество...

По широкой, белого мрамора лестнице прошел он во второй этаж, в большой квадратной приемной сказал молодому, с поджатыми губами чиновнику:

— Член-сотрудник Императорского общества Алтансарин из Оренбурга.

Чиновник вернулся, поклонился слегка: «Извольте подождать!» В высокую двойную дверь заходили люди с длинными волосами, еще чиновники. Вышел оттуда раскрасневшийся полный человек с бородкой на знакомом лице. В руке были растрепанные журнальные листы без обложки.

— Это уж прямое скудоумство, господа!..

Сказав это как бы в воздух и обведя невидящим взглядом его и секретаря, человек почти выбежал на лестницу. А он вспомнил и привстал от волнения. То был известный в России литератор.

Через некоторое время звякнул звонок, и его позвали за дверь. Он сразу устремил взгляд на сидящего в высоком кресло человека. Когда-то бронзовые завитки волос по краям лба сделались у того совсем серыми, и глаза были такого же ровного цвета.

— Рад весьма старинному, можно сказать, знакомцу... В конгрессе о киргизах сообщение... Попрошу господина Беринга озаботиться вами для лучшего ознакомления со столицей. Питаю надежду, что будете посещать меня в период пребывания...

— Посчитаю долгом своим, Ваше высокопревосходительство...— у него сдавило горло.— Василий Васильевич...

Генерал как будто ничего не слышал. Поданная ему рука была неосязаемая. Корректурные листы стопами лежали на огромном, с зеленым сукном столе...

Господин Беринг, секретарь Третьего международного конгресса востоковедов, принял его тепло. Так здесь все говорили в Петербурге, с какой-то особой воспитанностью:

— Имел честь быть знакомым с вашим земляком Валихановым. Человек высокого долга!

Он не раз слышал о султане Валиханове, служившем некогда при Западно-Сибирском генерал-губернаторстве. Во всех трудах о киргизах обязательно упоминалось его имя. Умер тот совсем молодым.

Беринг внес его в одну из групп, что после заседаний ездили смотреть Петербург и окрестности. Даже в Лицейском саду он был, который воспел поэт. На конгрессе он сидел в относящейся к российской части ложе между почтенным генералом и молодым моряком-исследователем южных островов.

— Так вы, как доложили мне, из Оренбурга? — заговорил с ним в перерыве генерал.

— Да, Ваше превосходительство, и помню даже, как провожали вас оттуда подчиненные вам военные топографы. Один из них, полковник Яковлев, ныне начальствует в нашем уезде.

— Как же, Яков Петрович, исправнейший офицер. Подлинно русская честность души! — Немец-генерал растроганно вытирал глаза.— Так вы с ним в Тургае служите... Ведь я их закладывал, Тургай и Иргиз. Помню, место выбирал, чтобы удобней жить было... Искренний мой поклон передайте старому товарищу. А я вот сейчас в Симферополе обитаю, в имении жены. На склоне

лет воспоминания написал: как в Персии и в Оренбурге служил отечеству.

— Вас помнят с благодарностью и киргизы, Ваше превосходительство. Особливо сырдарьинские, поскольку от кокандских поборов их избавили.

Посреди авансцены, на председательском месте Третьего мирового конгресса востоковедов, сидел Василий Васильевич с орденами во всю грудь — российскими и иностранными. Как бы жизнь остановилась в широколобом породистом лице. Накануне купил он книжку Генерала «Россия и Азия». Все там было на месте: факты, события, отточенный стиль. Одного не было: той улыбки, с которой когда-то подошел к нему этот человек на устроенной им елке...

Петр Николаевич Беринг предупредил его, что назавтра всех гостей повезут на Излеровские минеральные воды[1]. Как-то не решался он спросить у обходительного секретаря, не потомок ли тот знаменитого мореплавателя. К Излеру на воды он не поехал. У него в этот день было другое дело.

Рано утром уйдя из нумеров, он нанял извозчика и поехал на ту сторону Невы. Когда называл он адрес, извозчик в суконной синей поддевке покосился на него, однако ничего не сказал. У длинной высокой стены даже и лошадь как-то притихла, перестала звякать бубенцами.

Расплатившись с извозчиком, с корзинкой в руке, прошел он в ворота и стал ждать в кордегардии. На второй уже день приезда договорился он об этом свидании.

Еще в Оренбурге к нему пришла Катя Толоконникова:

— Вы, как я знаю, едете в Петербург. Следует передать Ивану Никитичу посылку...

Иван Березовский, сосланный под надзор на родину, самовольно возвратился в Казань и был арестован по какому-то тайному делу. Содержался студент в Петербурге.

— Тут тетради, свечи, все, про что писал он в письме. И фунтов пять от матери его Матрены Павловны Березовской. Ваня ведь из казаков...

Девушка резким сухим движением поправляла стриженые волосы и говорила с ним так, словно и не могло быть, чтобы не взял он посылку. Как будто в том была его обязанность.

— И еще, Иван Алексеевич, как увидите его, то скажите... скажите...

Другую, совсем маленькую девочку на елке увидел он. Прогоняя детскую слабость, передернула она плечами:

— Я ведь тут под надзором, сама не могу поехать!

---

[1] Увеселительное заведение.

Всю дорогу до Самары, качаясь в тарантасе, думал он, почему же они числят его в сообщниках. Не только эти молодые люди, но и другие в Оренбурге. Каким-то образом все это было связано с небольшим домом посредине затерянного в степи Тургая, где всего лишь пять мальчиков учились грамоте. Да, только пять в этом году...

Иван Березовский даже и не удивился нисколько, увидев его:

— А, Иван Алексеевич... что же там в посылке: тетради, свечи? Теперь можно будет серьезно заниматься. А то время зря проходит!..

Как будто не было на нем арестантского халата, Березовский радовался присланным вещам. Приведший его смотритель, пожилой уже человек с медалями, даже улыбался в усы. Тетради все же пересмотрел.

— А это, Финагеич, толокно матушка изготовила,— объяснял студент смотрителю, показывая мешочек.— Мука пополам с маслом жарится. Казачья еда в походе. Заварил кипятком, и скачи весь день... Ну, а Катя как там?

Такое чистое молодое чувство прозвучало в голосе вдруг повернувшегося к нему студента, что он не знал, что говорить.

— Она любит вас, Иван Никитич,— сказал он серьезно.

— Да, это так,— просто согласился Березовский.— Я тоже ее люблю.

Березовский и попрощался, словно на оренбургской улице, до ближайшей встречи. Рука заболела от сильного пожатия.

— Важное их дело: в каторгу, видать, пойдут! — равнодушно сказал сидевший у входа унтер.

Опять пришлось ехать мимо Зимнего дворца. Здесь дважды был он уже в Публичном музеуме. Человек с саблей, который приходил к нему по ночам, имел сюда отношение. В степи неясно говорили, что представленная манапами[1] голова его находится где-то здесь в подвалах. И написано, что это известный центральноазиатский разбойник. Только не стал он спрашивать об этом у эрмитажных служителей...

И все же заставил он себя опять зайти в дом с мраморной лестницей. Не приходил он сюда ни разу за время пребывания в столице, хоть и звал его к себе начальник Главного управления по делам печати действительный тайный советник Григорьев. Как бы его лично касались слепые белые полосы в журналах, незаконченные печатанием романы, пропущенные номера газет. Не-

[1] Киргизские феодалы.

ким убийством пахло в этом доме, и сразу вспоминалось здесь о смерти того слова, что уводило из окоёма.

Показалось, что даже не уходит никуда отсюда сидящий Генерал, и в конгрессе был другой человек. Ему вдруг сделалось жутко. Серое лицо и грудь с орденами как в гробу писались в темной высокой спинке кресла.

— Господин Беринг похвально докладывал в отношении вас... Рад был присутствию... Полезность участия...

Совсем как механическая кукла у господина Щедрина, говорил слова Генерал. Неживая ладонь опять коснулась его ладони.

— Жолын болсын, жигитим![1]

Он подумал, что ослышался. Глаза у Василия Васильевича моргнули два раза, и старческая слеза показалась в них. На лестнице он заметил за собой, что даже до перил не хочет здесь прикасаться.

Выйдя на улицу, как можно быстрее прошел он к памятнику, где медный человек на вздыбленном коне протянул вперед руку, и долго стоял там, овеваемый свежим ветром.

В день отъезда взял он коляску и поехал на берег моря. Открылась серая свинцовая даль, но он все не останавливал кучера. Где-то здесь должно было находиться то, к чему он ехал. И вправду, из-за поворота показался мысок с одиноким деревом на краю. То был дуб.

Сойдя на сырой песок, он прошел к самому берегу. В рваной серой мгле вода смешивалась с небом, и не видно было окоёма. Волны равномерно ударяли в каменные валуны. Необычный тугой ветер нес с собой холодные брызги. Дуб стоял, раздвинув корнями камни, и ветки от вершины до самой земли нисколько не сгибались в сторону. Так и должно было быть у лукоморья...

Была тут невидимая цепь, и ходил по ней кот ученый.

Он улыбнулся...

В поезде, как и по дороге сюда, он не спал и все смотрел, придвинув лоб к окну. Брызги секли с другой стороны темное стекло, стучали колеса:

С разных концов государства великого...

---

[1] Доброго пути, джигит!

XI

Пароход Бельской компании «Михаил» второй день задерживался в Набережных Челнах. Публика не роптала и, сидя на веранде трактира, с ожиданием поглядывала на идущий от Мензелинска тракт. Еще в Казани всех предупредили, что пароходом до самой Уфы поедет обер-прокурор святейшего Синода граф Дмитрий Андреевич Толстой. Как член Государственного совета и Министр народного просвещения, он обозревал учебные заведения Пермской губернии. Рассказывали, что двое градоначальников были уже отстранены им от должности за медлительность при устройстве классических гимназий, поставленных графом в основу российского просвещения. Сам воспитанник Царскосельского лицея, министр во всем следовал римской неуклонности. Даже и либерализм его в прошлом, питаемый в окружении великого князя Константина Николаевича, носил классический характер.

Конечно, для государственного сановника предпочтительней было бы взять отдельный пароход, но сам граф был категорически против такого выделения себя из публики. Тут тоже, очевидно, играли роль античные примеры, где лишь выскочки из рабов предпочитали особливую пышность и славословие. В Казани помнили прошлую поездку графа, когда десять лет назад проплыл тот от самой Астрахани вверх по Волге, никак не заботясь о достойных его удобствах в пути. Лишь отдельная каюта и тишина во время работы, которой обязательно занимался он и в пути, были необходимым условием. Поэтому в Казани сняли с парохода купеческого сына Хромова, невоздержанного в питье, и еще двух ненадежных пассажиров.

Среди ожидавшей публики был известный своими статьями в «Православном обозрении» и деятельностью в «Братстве святителя Гурия» по просвещению инородцев, профессор университета и директор Казанской семинарии Ильминский. В крытом от дождя английской резиновой тканью пальто и резиновых галошах он все прохаживался по берегу, нетерпеливо щурясь близорукими голубыми глазами в сторону дороги. Свежий ветер с реки трепал его необыкновенно пышные бакенбарды, и он всякий раз приглаживал их к месту. Когда показался, наконец, экипаж министра, Ильминский быстрыми шагами прошел к пароходному трапу и встал возле капитана. Граф протянул ему руку и даже слегка приобнял за плечи. С другими он поздоровался коротким кивком головы и таким же кивком распрощался с провожавшими его от Мензелинска полицейскими чинами. После этого сразу ушел к себе в каюту, и пароход отвалил от берега.

Вместе с министром ехали сопровождавшие его чиновники и попечитель Оренбургского учебного округа Лавровский. С Ильминским тот был знаком только по переписке, и теперь они с увлечением беседовали, стоя на крытой от дождя пароходной палубе. Граф так и не показывался наружу, лишь камердинер его Григорий Савельевич все ходил в салун и обратно. Любопытная публика постепенно разошлась по каютам.

С утра засияло солнце и словно потеплевшая вода весело играла на колесных плицах. Все население парохода высыпало наверх, разглядывая лесные обрывистые берега, но министр не показывался. Шесть утренних часов неукоснительно посвящалось им работе. Только молодой чиновник со строгим непроницаемым лицом заходил в салун и выносил оттуда листы для переписки. Во всем ощущалось присутствие государственного человека. Лишь после обеда чиновник пригласил к графу Ильминского с Лавровским.

— Особенность России состоит в том, господа, что болотисто-лесные и степные просторы ее предрасполагают к лени, сей матери пороков. Отсюда происходит тяготение в нигилизм, в анархию и разбой. Не свидетельствуют ли о том и отечественные песни наши. По щучьему велению предполагает всего достичь для себя наш русский человек, и коль позволить ему, то и будет спать беспробудно. Даже и за водой на печи захочет ездить. Такова сказочная мечта нашего народа в отличие от народов, достигших высшей ступени цивилизации. Лишь твердое администраторское внедрение государственного элемента придает историческую форму такому расхлябанному состоянию духа. Должна утвердиться античная стройность жизни, переходящая в поколения, а для того выбрана соответствующая задаче образовательная система...

Граф Дмитрий Андреевич говорил смело, и ощущалась крупность масштабов его мышления. С державной скалы виднее горизонты. Как и в прошлый его приезд, разговор происходил вокруг исторически предначертанного для России пути.

— Плох тот администратор, который судит по докладам. Все надо увидеть самому, выслушать мнения и тогда уже распорядиться... Да, господа, я беру на себя смелость сказать, что истинно знаю положение. Тут прежде всего личный опыт, полученный в известную мою поездку. Каких племен не видел я в продолжение кратковременного моего путешествия: и калмыков, и киргизов, и мордву, и черемис, и татар; все это дико и множественно, все это еще не тронуто просвещением, все это непочатый материал для науки и цивилизации. Я знаю, что скорых успехов здесь ждать невозможно, но была бы большая заслуга положить начало просвещения этих восточных племен,

а за ними и дальнейшего Востока. Вот достойные России завоевания на Востоке, завоевания цивилизации, самые прочные и притом самые дешевые из всех завоеваний. Пусть православная церковь проложит путь евангелием, а за ним последует наука со своим светом. Это совокупное действие веры и науки несомненно рассеет восточную темь. Конечно, не нам, а нашим преемникам возможно будет разрешить эту нелегкую задачу; по крайней мере, положим ей начало...

Николай Иванович Ильминский почему-то забеспокоился. В прошлый свой приезд граф Дмитрий Андреевич говорил как будто то же самое. Дело даже не в смысле, а в тех же точно словах. И, кажется, печаталось это в «Православном вестнике». Что же, оно так, очевидно, и соответствует государственной линии поведения: с упорством твердить раз и навсегда сказанные истины, пока не укрепятся в сознании общества.

Извинительная слабость чувствовалась еще у Дмитрия Андреевича: обязательно сказать о личном и всегда правильном участии в каком-нибудь деле. В таком-то городе пять лет никак гимназия не строилась за отсутствием средств. А как приехал министр, то сразу все и разрешилось. Получалось, что от одной лишь графской мудрости сделалось дело. Как будто градоначальник полный дурак и совсем ничего в том не понимал... Этак не трудно быть умным с полномочиями министра. А вон в семинарии дров не хватает, и половину зимы мерзнут студенты. Сколько тут ни умничай, а дров не изобретешь...

Так ли уж видит все реально граф Дмитрий Андреевич, когда с сопровождением из шести экипажей ездит по градам и весям. Там уж за месяц, небось, заборы ставят и ненадежных к ногтю прибирают. И все остается по-прежнему, будто и не существовало на свете никакого графа. Вряд ли имеет отношение к действительной жизни такой правительственный стиль...

В наступившей тишине Николай Иванович увидел немного удивленный взгляд министра. Тот кончил говорить и уже две минуты ждал его мнения по поводу просвещения инородцев, в чем считал себя авторитетом.

— В данном вопросе, Дмитрий Андреевич, направление нашей семинарии, как и общества, совпадает с высочайше утвержденным положением о прочном сближении инородцев путем просвещения с коренным русским населением. Также принимаются во внимание и мнения Ученого комитета министерства, в какой мере допустимы при образовании инородцев их родные языки. Я, как то известно Вашему сиятельству, решительный их сторонник, о чем неоднократно высказывался как в печати, так и в комитете.

— Однако же не перестают присутствовать и противоположные мнения, причем со стороны политически опытных людей.

— Все то, я считаю, недостойно российского имени, не говоря уж о вреде иметь внутри себя консолидированное фанатичное магометанство. Оно, как я уже не раз говорил, явилось и усилилось в степи с приходом русских войск именно потому, что с первых же шагов не было поддержано там свое, природное просвещение. Нелишне вспомнить, с каким трудом при покойном государе Николае Павловиче церковная служба для старокрещенных татар была переведена на народный татарский язык. А живостью и образностью, уж поверьте мне, он ни в чем не уступает всем другим языкам. То же могу сказать о языках башкирском, киргизском и прочих, на которых говорят многочисленные племена Туркестана. Восприняв на своем родном языке из наших рук основные понятия культуры и цивилизации, инородцы естественным путем отдалятся от магометанского понимания вещей. Ни в коем случае нельзя тут действовать администраторски, ибо только усилит это противоположный элемент. Что же касается хитроумных теорий, чтобы оставить эти народы во тьме магометанского средневековья и даже по-русски их не учить, то не подходит то иезуитство нашему народному характеру. Все равно, не спрашиваясь ни у кого, идет историческое их приближение к России.

— Что же тогда предпринять с алфавитом? — спросил граф.

— Здесь я, Дмитрий Андреевич, сам долгое время придерживался мнения, что следует оставить общевосточную его форму. Ведь и в Европе взяли арабские цифры. Однако с течением времени и под влиянием опыта мнение мое переменилось. Тем более, что сами передовые люди из инородцев, хоть бы заезжавший на прошлой неделе ко мне в Казань киргизский учитель, предпочитают алфавит линейный, русский. Этот учитель, по согласованию вот с Петром Алексеевичем, даже приступил к составлению «Киргизской хрестоматии» русским шрифтом, притом на живом киргизском языке. Еще пособие по изучению русской грамоты думает он издать.

— Его фамилия — Алтынсарин, Ваше сиятельство, чиновник в Тургае и одновременно смотритель школы,— подсказал Лавровский.

— Как я слышал, просвещенные люди в Турции тоже предлагают ввести линейный шрифт,— продолжал Ильминский.— Это дверь к новейшей цивилизации. У нас еще в сороковых годах Лебедев в Астрахани проектировал издание татарских книг русским шрифтом. Затем Казем-Бек, Саблуков[1] и прочие. Мы в

[1] Ученые-востоковеды.

Казани, как известно, издали так букварь и книжки со статьями христианского содержания. Однако Алтынсарин для киргизов предполагает более широкую книгу с использованием чисто народных элементов. Естественно входит туда и переводный русский материал. Во второй же части будут статьи по основам различных наук.

— Вы сказали, что и администраторский опыт есть у этого Алтынсарина? — переспросил Министр.

— Я предполагал сам заговорить с Вами о нем, Ваше сиятельство.— Ильминский говорил с вежливой доверительностью.— Ибрагим Алтынсарин — питомец оренбургской киргизской школы, открытой в царствование Николая Павловича. Как вы знаете, туда брали детей чем-то отличившихся киргиз. Отец и родичи его пострадали в набег Кенесары Касымова. Весьма честный и достойный человек, с особой способностью к русскому языку. Знаю это по собственному опыту и многолетней с ним переписке. Очень дружен с начальником уезда полковником Яковлевым и много лет исполняет должность первого помощника, замещая порой его самого. Думаю, Ваше сиятельство, что в той стройной системе общего российского просвещения, которую предполагается распространить на инородцев, такой человек окажется полезным. Предвидя направление Вашего разговора со мной, я позволил себе спросить у Алтынсарина, согласится ли тот при необходимости оставить уездную службу и полностью отдать себя народному просвещению.

— Так что же он? — спросил министр.

— Принял это с большой радостью, Ваше сиятельство.

Николай Иванович взялся рассказывать об Оренбурге пятидесятых годов и том же Алтынсарине, как поначалу стеснялся в его доме и не хотел даже ничего там есть, но дальше сделался совсем своим человеком. И очень рассмешила графа история про то, как юноша в уразу съел пельмени, приготовленные на разговленье его квартирантом — правоверным мусульманином.

— Так в коридор, говорите, выходил и в небо смотрел: кто мог прибрать эти пельмени! — повторял, вытирая от смеха слезы, граф Дмитрий Андреевич.

— Совершенно так, Ваше сиятельство, — подтверждал Ильминский.

Приняв опять свой постоянный вид, министр говорил в обоснование своего просветительского плана:

— Строгое единообразие в науке — само по себе воспитательно, господа. В том мы полностью согласны с Победоносцевым[1]. Лишь останавливает у Константина Петровича враждебное

[1] Победоносцев К. П. — реакционнейший деятель, воспитатель Александра III и Николая II.

его отношение к европеизму как разлагающему примеру. Так с водой можно выплеснуть ребенка. Тот же пароход, на котором мы плывем, не построишь одной лишь православной молитвой. Но мы оставили нетронутыми великие русские народные начала: послушание, христианское терпение, спасительную благонадежность, лишь стянем все это римскими обручами, не допустив щелей для вытекания сих драгоценных качеств.

Наше дело — это юношество и дети, господа, то есть само будущее России. От Финляндии до Туркестана должна быть утверждена единая школа с точным перечислением преподаваемых дисциплин и под строгим наблюдением инспекторов. Таковы училища начальные, волостные, включая всех без исключения инородцев, затем уездные и, наконец, высшая форма — классические гимназии, куда, естественно, будут приходить выходцы из благородных и наиболее деятельных слоев общества. Затем в университетах вместе с формой одежды для студентов следует предписать обязательное единообразие в преподавании наук, с рассмотрением циклов лекций в особых комитетах при министерстве. Не так, как ныне, когда каждый профессор говорит что захочет.

Но то, господа, пока в идеальном будущем. Слишком много есть противников у такого плана. Сегодняшняя наша забота — ввести дисциплинирующее начало в детское образование. Согласитесь, что заучиваемые, так сказать, с младых ногтей языки латинский и греческий воспитывают особую, величественную систему мышления. Там никак уже нельзя изменить глагола или переставить слово. Все рационально и лишено мелкого личного чувствования...

— Также и русский язык, Ваше сиятельство, надлежит ввести в классические рамки. Не во всем еще присутствуют твердые правила,— заметил в тон министру Петр Алексеевич Лавровский.

— Да, действительно, русский язык...

Министр народного просвещения задумался, глядя на бегущую за окном воду. Лесистые берега с мысами и уступами все не кончались, и Кама-река с плавной мощью текла между ними куда-то в Волгу...

Всякий день собирались они в салуне у министра для таких бесед. Медленно проплывали мимо берега уже Белой реки с русскими, татарскими, удмуртскими, башкирскими селениями по берегам. В Уфе граф Дмитрий Андреевич нашел непорядок. Пристройка к гимназии делалась красным кирпичом, в то время как здание имело желтый вид. Собрав сюда чиновников вплоть до губернатора, он строго ворошил палкой застывающую в корыте известку, объясняя, что следует добавить песку. Стро-

ительный артельщик, здоровенный малый с густой бородой, опустив перепачканный мастерок, слушал с ошалелым видом. Когда министр уехал, каменщики снова взялись за свою работу, и никто им больше ничего не говорил.

Граф предложил Ильминскому ехать с ним дальше до Оренбурга. Выпадали осенние дожди, и дорога была тяжелой. Однако доехали все же быстро.

В Оренбурге министр с присущей ему энергией принялся за разрешение вопросов просвещения. Уже в первый день он спросил у Ильминского:

— Где же этот киргизский чиновник, про которого вы рассказывали?

Память у графа была превосходная. Николай Иванович тут же бросился разыскивать Алтынсарина, но оказалось, что тот еще не вернулся из Петербурга. Лишь молодая жена Ибрая жила у родственников Екатерины Степановны — Дальцевых. Всякий день теперь граф Дмитрий Андреевич с нетерпением спрашивал:

— Не приехал еще Алтынсарин?..

Министр устроил даже особое совещание у генерал-губернатора по киргизскому алфавиту, и там уже с требовательным укором смотрел в его сторону.

Едва не потеряв сапоги в самарской осенней грязи, нашел он в слободке на постоялом дворе Нигмата с тарантасом, оставленного им тут полтора месяца назад. Тарантас здесь починили, и на новых рессорах покатил он по знакомому тракту. Слева, то отдаляясь, то приближаясь, виделась насыпь железной дороги. Она была почти закончена и только на станциях кое-где достраивали путейные сараи и башни для воды. В ста верстах от Оренбурга тарантас сломался, и пришлось ехать на перекладных.

Отбыв с последней станции ночью, он уже к десяти часам утра был в Оренбурге. Дарья Михайловна с Айганым взволнованно встретили его, так как вот уже три дня звали его к самому министру. Едва переодевшись, поехал он разыскивать Николая Ивановича. Тот, ухватив его за руку, повел в губернаторскую приемную. Однако назавтра граф Дмитрий Андреевич уезжал и назначил ему прийти к семи часам вечера на квартиру, где остановился.

В условленное время они были там вместе с Николаем Ивановичем. За десять минут до семи в большую, с хрустальной люстрой под потолком, комнату, где они сидели, вошел граф при ленте и орденах в сопровождении Петра Алексеевича Лавров-

ского. Они прибыли прямо с обеда, что давал в честь министра генерал-губернатор в Дворянском собрании.

Николай Иванович чуть наклонил голову:

— Имею честь представить Вашему сиятельству помощника начальника Тургайского уезда господина Алтынсарина...

Без всякого волнения смотрел он на дородного, с энергичным лицом и строгими глазами человека, что остановился перед ним. Нисколько не замечалось настроение обеда, с которого тот только что приехал. Некое недоумение лишь проявилось в сдержанном движении руки, когда министр посмотрел на него.

— Прошу подождать меня, господа!

Куранты на улице сделали последний удар, и граф снова вышел к ним уже в сером непарадном сюртуке. И опять бросил на него удивленный взгляд, даже оглянулся зачем-то на Николая Ивановича. Видимо, министр предполагал увидеть какого-то другого человека. Может быть, даже с киргизским малахаем на голове.

— Как мне доложили, господин Алтынсарин, вы составили хрестоматию для обучения киргиз.

Он почтительно наклонил голову:

— Да, Ваше сиятельство, я сторонник просвещения киргизов.

— Почему же кажется вам удобным русский шрифт для киргизского письма?

— Потому что киргизы хотят войти в систему полноправного образования, Ваше сиятельство!

Он отвечал, ни минуты не задумываясь.

— Пусть молитвы наши остаются в том языке, на каком они составлены, но общая жизнь в одном отечестве предполагает и общность цивилизирующих начал. Киргизы и свое нечто доброе принесут в общий дом. У народов России перед глазами пример Петра, что не боялся привлекать и делать своим все полезное от Европы.

У графа Дмитрия Андреевича самодовольно осветилось лицо. Как видно, все тому казалось соответственным его мыслям. Что есть независящая от них жизнь, стоящий перед ним человек и представить не мог. От неоправданной власти вырабатывается такое состояние души...

Все споры шли в журналах, что правительство и отечество — различные в природе своей понятия. Так и государство вовсе не одно и то же, что правительство. С ясностью понял он это, когда стоял на площади у вздыбленного коня.

Нет, не станет он говорить этому человеку о дубе у лукоморья. Так же, как о господине Дынькове или солдате Демине. Те имели прямое отношение к отечеству и государству. И студент

Березовский закономерная их часть. Не может быть ни государства, ни отечества без таких людей...

От слова «система» был перекинут мост. Граф Дмитрий Андреевич говорил с очевидной к нему благосклонностью:

— Как только утверждено будет положение, мы призовем вас, господин Алтынсарин!..

Утром вместе с Дальцевым и Айганым он на краю города провожал Николая Ивановича. Тот уезжал с министром. Ни подъездного пути, ни вокзала еще не стояло здесь, но строители железной дороги составили специально для графа поезд из двух вагонов первого и второго класса, а также багажных вагонов, где ехали вещи министра и разогревался самовар. Граф Дмитрий Андреевич прощался с генерал-губернатором, военными и статскими чинами. Потом, проходя уже в свой вагон мимо места, где они стояли с Николаем Ивановичем, вдруг остановился и сказал с чувством:

— Надеюсь на вашу преданность делу, господин Алтынсарин!

Розовые пятна на щеках у учителя Алатырцева сделались больше, и скулы остро выпирали из-под истончавшей кожи. Почему-то, раскрыв шкафы и ящики, все показывал ему свои книги учитель. Журналы за двадцать пять лет с муаровыми и серыми обложками аккуратными связками лежали в темноте ящиков.

— Вы же тут все знаете, Ибрагим!

Опять, как в детстве, называл тот его. Потом он долго рассказывал учителю Алатырцеву про свою поездку. Хозяин дома жадно слушал, интересуясь самыми незначительными петербургскими подробностями. Когда он передавал свидание с Березовским, учитель опустил голову:

— Там все стоит в углу ведро в кордегардии?

— Да, стоит,— подтвердил он.

Учитель Алатырцев долго и глухо кашлял:

— Нева там близко, у самой стены...

Пришел Андриевский в штатском платье, так как вышел в отставку, потом поручик Жаворонков и один из тех длинноволосых молодых людей, которых видел он на общественных чтениях в публичной библиотеке. Учитель все никак не хотел ложиться в постель, и совсем уже согнутый от старости Тимофей смотрел из угла страдательным взглядом.

— Почему же хорошие люди в России долго не живут? — с болью сказал Андриевский, когда прощались на улице.— Да возьмите одних писателей. Век начался с того, что Радищев взял себе яду. Потом Рылеев и десяток еще пошли по декабризму.

Пушкин и Лермонтов от подлых рук, Белинский с Добролюбовым — от чахотки. Кто в больнице, кто в бегах, кто в желтом доме. Неужто и вперед все так будет?!

— Язык русский не терпит неправды. Оттого и писатели первые жертвы.

— Как же это: язык? — не понял отставной артиллерист.

— Ведь язык несет в себе народную душу, всякий язык,— пробовал он объяснить.

Наверно, ему, который пришел из круга кипчакской вечности, это было видней.

Что-то будто бы раскрылось в Айганым — резко и ярко. Плавнее сделались движения, и так непринужденно села она, войдя в комнату, что сам он невольно подобрался и развел плечи. Двое молодых офицеров и какой-то статский знакомый, находившиеся в гостях у Дальцевых, тоже сделали общее движение. Топографический поручик незаметно поправил ус и ровно прижал по швам руки. Что-то даже тревожное почувствовалось в груди...

Теперь и говорила она как-то иначе.

— Машенька выйдет сейчас, просила ее извинить.

Айганым обращалась к младшему из офицеров, который считался женихом дочери Дальцевых. Не совсем еще четко все было, но так протянула она «Ма-ашенька», что еще большее волнение охватило его. Какая-то другая, будто незнакомая ему женщина сидела в кресле. Дарья Михайловна улыбалась ласково, глядя на Айганым.

И когда прибыл его сломавшийся в дороге тарантас, и прощались перед отъездом, то больше с ней шепталась про что-то Дарья Михайловна, с ним лишь поцеловалась по-русски.

«3 декабря 1876 года. Тургай. Добрейший Николай Иванович! Я в Тургае уже с 11 ноября. Путь из Оренбурга был для меня не совсем приятный; выпал там снег, дни были холодные; и я, отправившись сначала в тарантасе, с трудом доехал по снегу до Орска, где и оставил свой многострадальный тарантас. Отсюда поехал уже на санях; около Верхнеуральска не стало снега, а с Троицка опять начался снег; ближе к Тургаю вновь пришлось ехать по тележному пути. Таким образом то на санях, то на тележках едва-едва добрался до своего Тургая. Быстрые переходы от тепла к холоду и обратно подействовали-таки на мое здоровье, несмотря на мою киргизскую натуру, незнакомую до сих пор с простудными болезнями. Только теперь поправляюсь и, чувствуя себя лучше, первым своим долгом счел дать Вам весть о себе...

Для первой книжки думаю придерживаться того порядка, по которому составлена книга Паульсона, с приспособлениями для киргизских мальчиков. Басен не желаю вносить, так как киргизская натура, развивающаяся посреди суровой жизни, требует вообще предметов посерьезнее. Я по опыту знаю, с какою насмешкою и неохотно читают киргизские мальчики басни, а родители их бывали даже недовольны тем, что детей их учат, например, таким нелепостям, что будто бы сорока говорит с вороною и т. п. Для киргизских мальчиков, по мнению моему, более идут остроумные анекдоты, загадки, рассказы наставительного характера или о чем-нибудь таком, которое возбудило бы любопытство, например, вроде превращений шелковичных червей, бабочек, устройства себе жилищ бобрами и т. п. Песни я буду брать, если можно будет, из киргизских...

Свидетельствую глубокое почтение Екатерине Степановне... Вам преданный всею душою И. Алтынсарин».

XII

В приемном зале перед кабинетом генерал-губернатора чувствовалась обстановка важного дела. Ни минуты не проходило напрасно. Трое находящихся тут людей: военный адъютант, статский чиновник за особым столом и у третьего стола за барьером начальник экспедиции — со строгими, непроницаемыми лицами сидели с записями и бумагами. В назначенное время кто-то из них вставал, приносил в кабинет необходимые сведения или приглашал вызванных на прием чинов. Присутствовала особая тишина, и лишь время от времени сквозь высокую двойную дверь доносился густой, рокочущий голос. Часто проходили совещания, и тогда в приемной вовсе прекращалось движение. Сегодня как раз и был такой день.

Его высокопревосходительство, тайный советник Петр Алексеевич Лавровский, попечительствующий над учебным округом, кивнув по дороге адъютанту, неспешно прошел в губернаторский кабинет. В его чине позволялось заходить без доклада. Прибывший с ним правитель канцелярии Орлов остался сидеть на жестком диване для ожидающих, придерживая на коленях коленкоровую папку.

Также и генерал-майор Константинович, тургайский военный губернатор, твердо прошел прямо в кабинет, а областной советник Давыдов да делопроизводитель Гадзевич остались в приемной. У них тоже были на коленях одинаковые папки. Явились еще какие-то люди. Только инспектор киргизских школ Алтынсарин пришел вовсе без папки. Чиновники сидели молча, с достоинством глядя перед собой. Орлов все вытягивал длинную

шею и поворачивал голову ухом к двери, пытаясь по привычке услышать что-нибудь из кабинета. Но там было тихо.

Минут через двадцать за дверью звякнул колокольчик. Статский секретарь генерал-губернатора, который сейчас находился в кабинете, вышел и позвал шепотом:

— Ваше высокоблагородие, господин советник Давыдов, и вас, господин Орлов!

Однако вскоре Давыдов и Орлов снова вышли, уже без папок, и сели на прежнее место. Чиновники время от времени двигались, разминая руки и ноги. Лишь школьный инспектор сидел прямо, с киргизской невозмутимостью глядя перед собой.

Внутри, в громадном кабинете с отделанными дубом панелями и портретом в рост от потолка до пола государя Александра Второго, сидел начальник губернии генерал-адъютант Крыжановский. К массивному дубовому столу с императорскими вензелями примыкал поперек другой, необъятных размеров стол, и с двух сторон его в креслах находились Лавровский и Константинович. Тяжелые гардины на окнах заслоняли кабинет от солнечного света и уличного шума.

Лавровский негромко и размеренно читал из взятой в папке бумаги:

— Исполняющий дела инспектора инородческих школ Оренбургского учебного округа статский советник Катаринский по возбужденному вопросу об устройстве киргизских школ в упомянутой области донес мне, что, находя устройство предполагаемых волостных киргизских школ пока преждевременным, он признает необходимым предварительно иметь по одному двухклассному русско-киргизскому училищу в каждом уезде области: в Иргизе, Тургае, Актюбе и Урдабай-Тугае с ремесленными классами при них и обучением оспопрививанию, с тем, чтобы после этих училиш выходили хорошие учителя для волостных школ...

Для двухклассных училищ на 50 человек пансионеров-киргизов при двух учителях необходимы довольно большие здания, состоящие приблизительно из следующих комнат: двух классных, комнаты для спальни 50 ученикам, кухни, столовой, комнаты для склада вещей и библиотеки, двух квартир для учителей — по две комнаты каждому, а также нужны погреб и надворные строения...

Массивный, склонный к полноте Крыжановский хмурил густые сарматские брови. Черный как смоль Константинович, из русских сербов, нетерпеливо постукивал пальцами.

Потом сам Константинович читал свое мнение:

— По соображениям обстоятельств переписки по вопросу об устройстве в области четырех двухклассных училищ я нахожу,

что для ежегодного содержания каждой школы исчислять 4500 рублей, часть которых, а именно 2000 рублей, может быть покрыта из сметы народного просвещения, а следовательно, местные средства для этой цели должны заключаться — 2500 рублей...

Долго и обстоятельно говорили о наличии кирпича и необходимого леса на возведение учебных зданий, о русских шрифтах для киргизского просвещения и о преподавании религиозных начал в названных училищах. Здесь генерал-майор Константинович вступил даже в спор с попечителем Лавровским, прямо предложившим не дозволять муллам преподавать киргизским детям магометанский закон.

— Помилуйте, Ваше высокопревосходительство,— с военной резкостью Константинович слегка стучал ребром ладони в такт словам.— Как же это: уходить всякий раз куда-то на молитву из школы. Непорядок! К тому же подобное запрещение очень дурно отразилось бы в нравственном отношении на киргизах, возбудило в них подозрение о желании правительства отстранить детей от изучения их религии. Это не только не содействовало бы распространению просвещения среди киргизов, но скорее отвратило бы их от посылки детей в школу!

Генерал-губернатор Крыжановский заключил совещание:

— Обозревая в семьдесят шестом году Оренбургский учебный округ, граф Дмитрий Андреевич лично интересовался киргизским просвещением. Общее направление правительственной политики в этом вопросе и приславный им циркуляр свидетельствуют о том, что Его сиятельство внимательно следит за проведением в жизнь предложенной им системы. Однако же имеется ряд неясностей, о коих следует запросить разъяснений. По высказанной графом мысли русско-киргизские училища должны как бы составить единство с российскими уездными училищами. Однако же строительные средства, да и содержание выделяются, как вы видите, половинные. Не прояснен статус выпущенных из таких школ учеников. Посему надлежит обратиться к товарищу министра...

Чиновник за своим столом в стороне неслышно записывал.

Теперь, когда двадцать лет службы находилось за спиной, в полном спокойствии сидел он, глядя на верх фонаря за окном на площади. Там за дверью, да и здесь, в приемном зале, ему нечего было делать. Ведь это он с инспектором всех инородческих школ губернии и другом своим Катаринским составлял подробную бумагу для попечителя Лавровского. Петр Алексеевич с этой бумагой обратился к губернатору Константиновичу. И

тогда он опять, уже по просьбе генерал-майора, также являющегося его начальством, писал ответные соображения на первую свою бумагу. Там, в кабинете, теперь и читали их друг другу. Василий Владимирович Катаринский с милой и любезной Евпраксией Васильевной конечно же гуляют себе где-то в родном имении, и потому тут приходится сидеть ему. Между тем сто забот еще у него в оставшиеся до отъезда дни. Согласие свое на службу инспектором он обусловил постоянным жительством в степи, что и в смысле работы полезнее. Зная личное участие графа Дмитрия Андреевича в его назначении, с этим невольно согласились. Вот и надо всякий раз в приезд свой сюда все успевать сделать.

Главная забота идет к концу. Хрестоматия сверстана, остается только переплести. Руководство к обучению русскому языку тоже набрано и считано. С трудом, благодаря доверию старых знакомых, заказано двадцать пять железных кроватей для Иргизского училища, да у общества Красного креста по случаю куплены холщовые и полотняные вещи на белье и постели. Их хватит на Актюбе, да еще надо дополнить тургайское школьное хозяйство. Столовую и кухонную мебель кругом надо новую: простую и удобную. Так же ложки, вилки и ножи. Так что написать еще нужно в Иргиз, чтобы поспешили с высылкой семисот рублей от местных средств на училище. Подполковник тамошний тянет, как бы растраты не сделалось. В географическое отделение к Померанцеву нужно зайти и навестить еще в госпитале учителя Алатырцева перед отъездом...

А это совещание меж военными и попечителем — что ж, тем закончится оно, что новый запрос к министру его же заставят писать как от лица губернатора, так и от попечителя, благо он в двойном подчинении. Еще и общий проект от генерал-губернатора тоже ему в конце концов придется составлять. Да ничего, у него на все уже есть заготовка. Они ведь не замечают, что дословно повторяют друг друга. И не сомневаются, что это они делают все дело. Как и граф Дмитрий Андреевич убежден, что, как лошадью, управляет государством.

Только не так это. Все большое и главное идет помимо них, от того рвущегося из окоёма всадника, что стоит перед Невой. Он разглядел эту разницу. Они, даже не желая, исполняют государственное предназначение, тормозя, упираясь, арканами удерживая того медного коня, пока не сбросит их. С их ли стареющей силой сидеть в таком седле.

Вот и училища сейчас в каждом из четырех уездов, о которых уже три года идет разговор. Они будут все же построены, хоть нет сейчас ничего на том месте. Есть только сохраненная им

почти двадцать лет школа в Тургае, и звонит каждый день там колокол. Надо уметь быть крепким в осаде...

Вышли, беседуя между собой, Лавровский с Константиновичем. Встали, уходя за начальством, позванные для справок чиновники. Статский советник, коллежский да два надворных советника, не считая полдесятка секретарей, пробыли тут с утра до обеда, и будто бы надо это для дела.

А к смене им готовятся войти новые люди: хмурый, с поджатыми губами действительный статский советник из губернского надзора, тюремный попечитель, жандармский полковник с аксельбантом, заместивший Пальчинского. Того забрал с собой на работу в Петербург тайный советник Евграф Степанович Красовский. В приемном зале остаются ждать пять секретарей да ротмистров. Тут уж дело более близкое, нежели школы...

В складе у купца Забалуева смотрел он доски, что могли пойти на школьные столы. Ходил в общество Красного креста, где сидела Катя Толоконникова, заверял распорядителей, что деньги из Иргиза вскорости придут. Потом у Юрия Николаевича Померанцева читал очередные ученые записки, доставленные из Петербурга. Среди них был перевод с английского с отчетом известного путешественника, что проехал шестьсот верст через малолюдную пустыню. Померанцев внимательно стал смотреть на карту, висящую между решетчатым окном и лестницей.

— Вы же сколько верст, Алтынсарин, проехали сюда от Тургая да через Троицк? — спросил вдруг секретарь общества.

— Да тысячу верст будет, однако.

— Так и напишите про свое путешествие книгу. Тот англичанин в пампасах, верно, лучшие удобства имел!

Он подумал, что в этом году приезжает в Оренбург уже в третий раз, и засмеялся. Пожалуй, всякий узунский кипчак, только родившись, мог бы уже претендовать на должность путешественника.

Вместе с Померанцевым пошли через дорогу в «Оренбургский листок». Редактор в пенсне и крылатке-размахайке, так как в комнате было холодно, все уговаривал его написать к нему о быте и нуждах кочующих киргизов. Он пообещал, думая, что неоткуда брать времени.

Ходил он еще в гимназию, где учились жившие на хлебах в татарской слободке двое его питомцев из Тургая. Трое находились в Неплюевском училище, один — Мухамеджан Ахметжанов, сын агай-кожи, занимался в Казанском университете. И еще инженерный подпоручик Кабыл Ержанов, раненный под Шипкой, писал ему письма из Киева. Другие, закончившие его школу,

состояли кто письмоводителем в волости, кто при торговых домах. Сотник Султан Бабин, из неплюевских кадетов, был сейчас вместо него в Тургае учителем...

С Дарьей Михайловной ездил он по модным магазинам, выбирал ленты и кружева по поручению Айганым. Это забрало весь почти день. Дарья Михайловна одну лишь шляпку у немца Кригеля выбирала два часа с самым серьезным выражением на лице. Потом с удовлетворением подала ему картонку:

— У вашей жены, Ибрай, лицо овальное и с матовым отливом. К нему как раз пойдет италийский вид...

А он в этот момент думал, как уладить дело с Николаевским уездным начальником Сипайловым в Троицке. Одноклассная школа, что была недавно лишь на бумаге, собрала все же двенадцать учеников. Новый учитель Воскобойников мог бы наладить дело, да не хватает места. Подполковник Сипайлов за триста рублей в год сдает под школу свой старый дом, в то время как за такие деньги можно снять втрое большее помещение. Если же отказаться от арендования, то Сипайлов обидится. А от него зависит строительство нового училища в Кустанайском урочище. И так уже говорил Тлеу Сейдалин, что Сипайлов недоволен учителем.

Также и из Иргиза не шлют деньги. Дом, снятый пока под училище, там хороший, да только начальник уезда занял половину его под свою канцелярию. Без губернаторского участия его оттуда никак не выдворишь. В Илецком уезде решено строить училище в укреплении Актюбе, а пока что предлагается снять дом где-то при старом медресе. Лишь в Тургае благодаря Якову Петровичу уже половина дома построена и есть где заниматься.

В книжном магазине выбирал он хоть какие-нибудь подходящие для дела книги. Отложил «Учебную книгу географии» Смирнова, русскую хрестоматию Водовозова, «Элементарный курс всеобщей и русской истории» Белярминова и еще для учителей руководство по преподаванию истории Иловайского. Руководство не понравилось ему — одни только даты для заучивания, да другого не было. Придется обо всем подробнее списаться с Николаем Ивановичем. И еще в отношении учителей напомнить...

Медленно катил он в новом уже тарантасе по усаженной деревьями дороге. Тарантас, почти такой же, как у деда, был сделан на заказ из инспекторского содержания. Мудрый бий Балгожа знал, как лучше ездить по степной целине. Лишь немного поменьше был экипаж, да рессоры мягче. Кучер Нигмат

тоже из уездной службы перешел в ведомство народного просвещения и даже получал теперь жалованья на рубль больше.

Впереди в сыром, ветреном небе белели будто прозрачные минареты башкирской мечети. Когда-то, в школьные годы, любил он гулять по этой дороге, и мечеть тоже переносил на Тобол.

Показался «Царский сад», еще при Перовском отданный под военный госпиталь. Тарантас проехал высокие чугунные ворота с золоченными пиками, свернул на аллею к офицерскому корпусу...

Высоко на подушках лежал Арсений Михайлович Алатырцев, и в руке у него была раскрытая книга.

— Всё, знаете, старое перечитываю. Это позволяет думать о себе...

Учителю принесли пить лекарство, а он машинально переворачивал страницы журнала, что дал ему из-под подушки больной. Глаза остановились на знакомой фамилии... «Григорьев издевается над твоим словом, русское общество, кастрирует твою мысль; всякую попытку высказать то, что ты думаешь, запретитель книг считает личным оскорблением для себя... Глядя на то, как нагло издевается над русским человеком шайка грабителей и правителей, можно, пожалуй, подумать: вот смелые негодяи! Вот уже записные герои бесстыдства! И бога не боятся, и людей не стыдятся. Хоть они разбойники, а, должно быть, люди железного характера и воли. Ничуть не бывало! Ты сам, конечно, знаешь, читатель, что мозгливее, трусливее, бесхарактернее нашего правительства трудно подыскать. Отчего же оно так смело и решительно душит тебя? Душит и при этом нагло попирает как писаные законы, так и неписаные, естественные права гражданина и человека?.. Мудрено ему уважать свободную мысль, когда миллионы его подданных вовсе не заинтересованы в ее существовании»[1].

Пришел врач, и по знаку учителя Алатырцева он спрятал запрещенный журнал, принялся листать другой... «Спрашивается: если я люблю свое отечество, то люблю ли и должен любить все, что в нем живет, летает и пресмыкается, всех птиц и гадов, его населяющих?.. Ясно, следовательно, что, любя отечество, можно и должно многое в нем ненавидеть, презирать, гнать, клеймить, позорить. И если бы (беру случай теоретической возможности) мрачные исторические условия обратили хищение и неправду даже в «народную святыню», так и то она должна быть низвергнута, как был низвергнут идол Перуна (тоже народная святыня того времени)...»[2]

---

[1] «Русский фельетон», М., Государственное издательство политической литературы, 1958, 261.

[2] Там же, 275—277.

Со всеми подробностями рассказывал он учителю про свои дела: как договаривается о лесе и кирпиче на строительство в уездах, достает белье и кухонные казаны, читает гранки для своих книг. Тот слушал с лихорадочной заинтересованностью, переспрашивал самые обычные вещи.

— Страшно бывает прожить жизнь впустую... Так вы не забудьте, Ибрагим, где что лежит!

Опять учитель Алатырцев зачем-то говорил ему об этом.

Евфимовский-Мировицкий, с громадной черной бородой, пил чай, прихлебывая из толстой фаянсовой чашки и наливая сам себе всякий раз из самовара, что стоял рядом на табурете. Чашка находилась в правой руке, а левая прижимала гранки набора, что дыбились на столе. Читал хозяин типографии быстро и как-то одним глазом. Человек с бородой наливал и ему чай, придвигая лежащие тут же баранки. Внизу, в полуподвале, стучала машина, и деревянный дом чуть вздрагивал от ее грохота.

— От генерал-губернатора несут: срочно, не медля ни часа. От вице-губернаторов несут — тоже немедленно. Так тут еще от тургайского военного губернатора приносят. Что за город такой Оренбург — полно губернаторов!

Глаза у Евфимовского-Мировицкого смеялись. Борода наползала на набор, мешая чтению, но тот все равно успевал еще сделать жест рукой.

— У нас в школе военных кантонистов было правило: чем больше начальства, тем удобнее избежать порки... А вот и ваша книга, господин Алтынсарин!

Рабочий в косоворотке внес снизу ровную пачку книжек.

— Двадцать штук переплели, как обещали вам, Иван Алексеевич.

Печатник был из тех, кто приходил на общественные чтения с Березовским. Книги лежали недвижно на столе. Настала тишина. Он подошел, взял верхнюю книгу из пачки. Подержав в руке, раскрыл где-то на середине... «Один плотник, сколько бы он ни зарабатывал, довольствовался малым...» Это из сюжетов графа Льва Толстого, где царь Петр встречается с мужиком. И тут же лондонская собака, что вбежала в горящий дом за куклой. Все на своих местах: батыр Кобланды, айтысы, стихи, загадки. Он возвратился к первой странице.

Знаний увидев свет,
Дети, в школу идите!
В памяти крепко, навек
Прочитанное сохраните...

Только теперь он посмотрел на обложку: «Киргизская хрестоматия». Первое слово располагалось полукругом, второе — ровно. И внизу уже обыкновенно: «Составил И. Алтынсарин».

Хозяин типографии и печатник как-то странно смотрели на него. Как видно, давно уже он держит в руке книгу. И люди еще появились в комнате: пожилой наборщик с синими нарукавниками, подросток в фартуке и измазанной черной краской рубашке. Даже унтер без ноги, сидящий у входа, оказался здесь.

Другое, чем обычно, лицо было сейчас у Евфимовского-Мировицкого: серьезное, значительное.

— Вот и сделана ваша книга, господин Алтынсарин!

Он обвел всех глазами и вдруг с ясностью понял, как трудно было им набирать эту книгу, в которой слова из другого для них языка. Хозяин типографии протянул ему руку, за ним печатник и наборщик. Унтер внес и поставил на стол корзинку с шампанским и бокалы.

— Я сам, позвольте... Я распоряжусь, господа...

Он хотел достать деньги, попросить всех пойти с собой в буфет, но хозяин типографии отвел его руку:

— Нет, господин Алтынсарин, то от нас. В честь киргизского просвещения!

Печатник поднял бокал:

— Сейте разумное, доброе, вечное...

Он вдруг вспомнил, как Яков Петрович выстраивал когда-то гарнизон на открытие школы. Глаза сделались мокрыми, и он выпил вино...

Все стояло перед глазами лицо, как бы вправленное в гробовую крышку. И другое, медное, когда сидел этот человек в знакомом кресле, а Марабай пел песни. Евграф Степанович Красовский убегал тогда по коридору...

«25 ноября 1879 года. Оренбург. Ваше Высокопревосходительство, Василий Васильевич! Находясь под Вашим покровительством и пользуясь нравственным Вашим влиянием, мы, несколько киргизских офицеров, начали свою служебную деятельность. Доброе влияние Ваше глубоко вкоренилось в нас и, идя по указанному Вами направлению, мы стали впоследствии не бесполезными, как полагают, людьми для родного нам народа.

Примите, Ваше Высокопревосходительство, настоящую первую книгу на киргизском языке, составленную одним из питомцев Ваших как живой признак нашей вообще и моей в особенности глубокой признательности и беспредельного уважения.

С глубоким уважением и искреннею преданностью имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою И. Алтынсарин».

XIII

Почти столетний Жарылгап эсепши[1] еще три года назад сказал:

— Будут эти годы сухие, а потом выпадет снег по верблюжье брюхо и произойдет джут. Я знаю, так уже было!

Так оно и случилось. Три лета подряд дули горячие ветры, а в зиму не выпадало даже снежной крупы. Тургай совсем перестал течь, и дно тысяч озер сделалось сухим и твердым, как железо. Даже под черной коркой в них не было воды.

В третий год начались пожары. Желтый камыш скрежетал под ветром и вдруг вспыхивал ярким, как солнце, огнем. С тугаев то здесь, то там пламя перекидывалось на едва проросшую, высохшую траву, и мчалось по степи, лишая скот последнего корма. Потом небо сделалось сине-черным, ветер круто переменился, и уже не с неба, а откуда-то сбоку пошел снег. Даже не падал он, а двигался сплошной стеной, опрокидывая и ломая все на пути. Он шел неделю, другую, третью, пока не достиг брюха у верблюдов. Но и тут буран не остановился. Нижний снег, упавший на не остывшую еще землю, оседал и превращался в лед. Никакому коню не было по силам пробить копытом его саженную толщу. А сверху все сыпал новый снег.

Уже в первый месяц зимы стал падать скот. Отбившиеся от людей табуны, пущенные с осени на тебеневку[2], пробивались сквозь снег к приречным тугаям, чтобы укрыться хоть от ветра, но там встречали их острые обгоревшие пеньки. Овцы и вовсе никуда не двигались, а сбившись в плотную непробиваемую массу, блеяли, потом лишь чуть слышно плакали и затихали, заметенные снегом. Люди, уходя проведать свой скот, не возвращались.

Лекарь Кульчевский, старый тургаец, каждый день приходил к нему. Жар не спадал, и он слышал сквозь тугую, нескончаемую боль в голове, как тот в другой комнате говорил плакавшей Айганым:

— Это горячка и все прочее, голубушка. Также и рана ревматическая на ноге. Как можно в такую зиму пускаться в путь. Раньше нужно было выбираться ему из Оренбурга.

— Он книгу свою ждал. Да и служба,— объясняла Айганым.

— Ничего, дай бог, оправится. А что маслом горячим он

---

[1] Знаток расположения звезд и предсказатель погоды.

[2] Зимний выпас на подножном корму.

думает лечиться, так это можно разрешить, вреда от того не будет...

Айганым все сделала, как когда-то делал ему горбатый Шоже-табиб, даже и травок разных у женщин достала. Фельдшер Федорчук вдобавок ставил ему банки, и он почувствовал себя лучше. Снег подмел уже под самые окна, и он решил, пока лежит в постели, написать «Киргизскую газету». Генерал-майор Константинович, когда он заговорил о том, тут же прямо и приказал ему:

— Чтобы к следующему году была у нас газета. Извольте, господин Алтынсарин, представить проект!

Аккуратным, ровным почерком писал он листы в две колонки — на казахском и русском языке, стараясь в переводе, чтобы совпадали даже размеры. Разные газеты, что получали в Тургае, принесли к нему, и он подбирал разделы, составлял предполагаемые статьи... «Киргизская пословица говорит: «Ученый плывет и в гору». Так в настоящее время счастье, богатство и сила у тех только народов, которые не забывали этой пословицы... Все племена, подведомственные Белому Царю, могут по крайней мере непосредственно передавать начальству о своих нуждах через своих же единомышленников или устно, или письменно; а мы, лишь только встретится надобность, разыскиваем сначала какого-нибудь человека, знающего киргизский и русский языки... Опыт и нужда год от года ощутимее указывают нам на необходимость постройки для зимы домов, и вот, как только приступаем к этому делу, опять натыкаемся на непреодолимые препятствия: у нас нет ни порядочных печников, ни стекольщиков и ни плотников... Вот на такие-то вопиющие нужды народа и обратило внимание высшее начальство. Оно признало, что киргизы от природы — весьма способный и умный народ, и чтобы эти способности не пропадали даром, сделано, как слышно, распоряжение учредить в каждом киргизском уезде по одному хорошему училищу, где будут основательно обучать киргизских детей русскому языку и грамоте, и разным искусствам...»[1]

В нерусской части он кругом писал «казахском уезде», «казахских детей» и называлось все «Казахская газета». Он увлекся и уже, как в подлинно существующей газете, разнообразил местные новости: младший помощник начальник Иргизского уезда такой-то за бездействие власти и неисправности по службе удален от должности и на место его определен такой-то, награждены за усердие в службе такие-то волостные управители и бии, а именно: золотой медалью, кафтаном с галуном, тюбетейкой. Перечислялись происшедшие в различных уездах

[1] Алтынсарин И. Том II.

происшествия: пожары, разливы рек, появившаяся оспа, сообщались цены на хлеб и скот на Оренбургском меновом дворе. Для раздела «Иностранные известия» он взял движение английских войск на Кабул в ответ на происшедшее там убийство посланника и действия русских войск по защите прилинейных казахов в Мангышлаке от нападений текинцев. Были еще любопытные народные рассказы, объяснение различных слов и обычаев. Целую полосу отвел он старому налогу «ушур», который собирался от лица халифа и шел на охрану жителей от неприятеля. С приходом русских войск такая надобность отпала, и ушур — десятина от скота и урожая, остается теперь у людей.

Писал он до поздней ночи при свете поставленной к кровати лампы, а в сердце не проходила тревога. Два года назад перевел он сюда с Тобола принадлежащий ему табун гнедых коней от оставленного ему дедом Балгожой племенного хозяйства. Каждый год он вкладывал деньги в племенное дело и все его состояние было в этом. Сводный брат Оспан, который следил за хозяйством, никогда ничего не делал без него. Да и постаревший Мамажан не мог уже помогать в полную силу. А он задержался в Оренбурге, и сено в этом году почти не было заготовлено. Как там сейчас на Акколе зимуют триста его лошадей?..

Снег уже подмело под крышу. Каждый день Нигмат отгребал его от двери и окон широкой деревянной лопатой, и узкие глубокие рвы образовались от дома к дому. Такие же проходы посредине улицы копали солдаты. Лишь ветер свистел поверху, когда приходилось идти между ровными снежными стенами. Сани ездили где-то наравне с печными трубами, вокруг которых образовались желтые наледи.

В один из нескончаемых, наполненных снежной слепотой дней дверь отворилась и в дом ввалился широкий смерзшийся ком. Ничего не говоривший человек сбил с шубы лед, с трудом снял большую лисью шапку и повалился на пол.

— Ой-бой.— Оспан качался на корточках у открытой голландской печки.— Ой-бой, горе какое!..

Племенного табуна больше не было. Лишь гнедой жеребец-вожак привел неделю назад полтора десятка истощавших, с окровавленными копытами, лошадей к озеру, где находилось зимовье Мамажана. Один из табунщиков погиб, другой отморозил пальцы. Но и уцелевшим лошадям нечего есть, негде укрыться от ветра в выгоревших тугаях.

Он чувствовал себя лучше, и на следующее утро в санках-волокушах с широким, подминающим снег передом, поехал с Нигметом и Оспаном к Акколю. Ветер бил то в лицо, то с одного боку, то с другого, неся снег кругами по окоёму. Вскоре не

сделалось слышно ударявшего время от времени колокола в тургайской церкви. Спустившаяся ночь ничем не отличалась от дня. Они ехали уже, не зная куда, чтобы не стоять на месте.

Давно уже пора было быть Акколю или хоть соседним озерам, но ни зимовья, ни реки все не было видно. Может быть, так и проехали они сверху по засыпанным снегом озерам? Лошади в санях, хоть и содержались перед тем в теплой конюшне, стали выбиваться из сил. Они теперь надолго останавливались, мотая головами, потом сами трогались дальше, неизвестно в какую сторону.

На третий день лошади уже стояли по брюхо в сугробе, а они лежали в санях, прижавшись друг к другу и даже не отбрасывая с натянутой сверху кошмы падавший снег. Буран все не кончался...

Первыми встрепенулись лошади, задвигались, приминая боками сугроб, и одна голосисто заржала. Где-то в белой тьме раздалось, едва доносимое ветром ответное ржание. Потом уже послышался человеческий голос.

— Так то вы, Ваше высокоблагородие!

Тургайский сотник Серебряков стоял над ними, держа коня в поводу. Из снега показались еще люди в бурках и полушубках. Оказалось, Яков Петрович разослал команды к зимовьям во все четыре стороны, чтобы проверить, не терпят ли там крайнее бедствие.

— На Акколь? — хмыкнул один из казаков.— Так то верст семьдесят отсюда, совсем в другой стороне!

Часа через два приехали вместе с командой на зимовье Джакаемова рода. С десяток кое-как прикрытых камышом юрт стояли посреди жидких тугаев. Даже и ложбины, чтобы укрыться от ветра, здесь нигде не было. Остатки собранной с осени травы лежали под смерзшимся снегом.

Они расположились в лучшей юрте. На одной стороне помещалось семейство хозяина: старая мать, жена и четверо малолетних детей. Сзади стоял ларь для муки и припасов. Все остальное свободное место занимали два верблюжонка и теленок. Ветер свирепо врывался в невидимые глазу щели и гулял в середине. Люди и животные жалобными глазами смотрели в едва горевший посредине огонь. Его то и дело задувало ветром, слышался треск ломаемого камыша. Все жилище вздрагивало и вот-вот могло быть разбросанным и унесенным бурей.

— Ой, Кудаяй![1] — испуганно приговаривала старуха при каждом сильном порыве ветра.

Они молча сели у огня.

---

[1] О господи!

— Так без нас ты уж не трогайся с места, Ваше высокоблагородие! — сурово сказал ему Серебряков.

Казаки и солдаты поехали дальше. Он заснул под вой ветра и причитания старухи. Под утро он проснулся от женского плача. жена уговаривала хозяина не идти искать скот, засыпанный в степи снегом. Тот с черным от горя лицом ничего не отвечал и потуже стягивал свой кушак.

— Эй, ага, не ходите,— стал и он говорить.— Из-за скота жизни лишитесь!

Тот посмотрел на него невидящим взглядом и продолжал одеваться. Проверив, крепко ли сидят ноги в сапогах, хозяин пошел к двери и сказал, не поворачиваясь лицом к жене:

— Я должен Алтыбаю двадцать рублей, больше никому...

Через два дня возвратился сотник Серебряков. Солдаты везли с собой в санях голодных, обмороженных людей, найденных в дальних зимовьях. Рассказывали, что там погибло до пятнадцати человек, а оставшиеся страдают от голода, так как весь скот пропал.

Хозяин юрты, так и не нашедший своих овец, сидел у огня, не поднимая головы, старуха все причитала в закутке: «Ой, Кудаяй!» Они поехали с командой обратно в Тургай...

В укреплении освобождены были все помещения. Даже в старой казарме селили людей, женщин с детьми. Школа и половина его собственного дома были заняты пострадавшими. А солдаты все привозили с дальних зимовий новые жертвы джута. Некоторые приходили сами. Каждые пятнадцать минут раздавался звон с колокольни, чтобы заблудившиеся в степи нашли дорогу.

Но больше людей оставались на своих местах и умирали от голода, заносимые снегом. Каждый день варил Нигмат по полному котлу каши, и школьные запасы были на исходе. Ученики разносили горячую еду в мисочках для находящихся здесь детей, и те ели, обжигаясь. Мука в ермолаевских лавках достигла в цене шести рублей за пуд, и стали голодать уже и в городе.

Яков Петрович кричал в эти дни на всех, кто подворачивался ему на пути: на жителей, на солдат, на голодных детей, что теснились кучками на устроенных для них нарах. И, странное дело, дети нисколько не боялись грозного старика-полковника. Из уезда в четвертый раз отправили рапорт о бедствии, но ничего не приходило в ответ. Даже почта третью неделю не доставлялась в Тургай.

К началу января начальник уезда вскрыл военные склады с особым запасом. Квартирмейстер выдавал муку для голодающих зимовий из мешков сурового полотна с двуглавым орлом

и интендантским номером на боку. Это дозволялось только на случай военной осады...

Теперь Яков Петрович приходил к нему, не снимая шинели, садился к печке и молча сидел два-три часа, опустив плечи. Слышно было из школы, как тихо плакали на руках у матерей дети. Каши им раздавали теперь только по полмисочки на день. И в городе уже тоже умирали от голода. Посидев, начальник уезда вставал и уходил. И снова слышался с улицы его громкий крик.

— Апа, нан... нан...[1]

Мальчик лет четырех тянулся полными ручками к матери. Он даже удивился, как при плохой еде могут быть у мальчика такие толстые ручки. И у держащей ребенка женщины выпирали из-под платья огромные ноги. Он подошел ближе и остановился, не в силах отвести глаз. У людей пухли руки и ноги. Только теперь он вспомнил, что так и бывает от голода.

Айганым, днем помогавшая матерям, приходила и плакала, по-казахски причитая:

— Ой-бой, не могу, Ибрай... Не могу...

Яков Петрович сидел, опираясь локтями в колени и выставив из рукавов красные жилистые руки. Ветер выл с неослабевающей силой и снежные вихри с твердым стуком ударяли в окно. Протяжный крик и звук команды послышались на улице. Звякали колокольцы.

Начальник уезда теперь недвижно стоял, шевеля губами. Потом твердым шагом пошел на улицу. Натянув полушубок, он бросился следом.

Слышно было, как за горами снега выходили из домов люди. Ряд оледенелых, залепленным бураном саней двигался вверх от Тургая. С первых соскочил высокий человек в полушубке. Полковник Яковлев приложил руку к шапке:

— Ваше превосходительство, в уезде, согласно с инвентарным списком...

Начальник области генерал-майор Константинович с обмерзшим лицом и красными от ветра глазами принял рапорт, потом повернулся к обозу. Месяц пробиваясь от Троицка и Николаевска, четыреста саней с мукой прибыли в Тургай. На Тоболе формировались также два частных обоза...

---

[1] Мама, хлеб... хлеб...

Не от известного ему графа с властной уверенностью во взгляде, не от происходящих за дверью совещаний, даже не от генерал-майора Константиновича, приведшего обоз через буран, произошло это. От того всадника, что вздыбил коня из болотного, заливаемого морем берега, шла созидающая сила.

Отложив пока «Киргизскую газету», писал он в «Оренбургский листок» о переживаемом степью бедствии. Страшную быль рисовал он с натуральным чувством участника. Впервые это сделается известным миру. Плач старой женщины в засыпаемом снегом зимовье шел к людям из Тургая: «Ой, Кудаяй!»

И был один только путь... «Каждый народ, развиваясь прогрессивно, непременно должен в конце концов перейти от кочевого быта к оседлости, с которой тесно соединено просвещение. Мы заметили уже, что киргизский народ сам на пути к оседлости, что такое стремление его проявляется на деле весьма быстрыми переменами векового быта, так что и понудительные меры едва ли бы довели их до цели скорее, нежели дело идет теперь естественным путем...

Такому естественному сближению русского и киргизского простонародья содействует, нам кажется, прежде всего некоторая сходственность нравственного их строя. И те и другие отличаются безыскусственностью в житейском быту, здравым, практическим умом, не развращенным религиозными или национальными предрассудками, добрым сердцем и полной веротерпимостью, которая основана на простом рассуждении, что всякому-де своя вера хороша...

И так, по нашему убеждению, киргизы дойдут до оседлости сами и сами же сольются, рано или поздно, с русскими. Остается сберечь для них землю, на которой рядом со скотоводством появится и земледелие, хотя и скотоводство само по себе должно поощряться не меньше земледелия в интересах общегосударственной экономии. Если Россия справедливо гордится тем, что юго-восточные губернии ее служат житницей даже Европы, то Киргизская степь не меньшую службу сослужит... Никакие премии, никакие сельскохозяйственные академии не сделают такого пастуха, каков есть киргиз. Этот пастух составляет предмет тайной зависти для европейской дипломатии, сознающей силу России именно в том, что в ней есть и воин хороший, и земледелец искусный, и пастух природный.

Поддержите же киргиза на пути его естественного стремления; оберегайте его благовременными заботами от случайных хозяйственных потрясений, какие испытывает он теперь; развивайте среди киргизов влияние русского образования, действуйте на юный, даровитый и поэтически впечатлительный народ мерами нравственного сближения, и киргизский народ скоро сольется

с государством русским, сам увидит счастье свое в этом сближении и будет не только скотоводом, но и земледельцем и даже воином под дорогим для него знаменем России, которым он уже и теперь гордится»[1]

XIV

С утра звонили колокола. Народ крестился, переглядывался. По улицам спешной походкой ходили какие-то люди, заворачивали в открывающиеся лавки и магазины, договаривались с владельцами. На базаре городовые не ругались, как обычно, и сдержанными голосами поощряли раскладывающих мясные туши хозяев:

— Оно и приказчик пока справится, Григорий Трифоныч. А то твой мальчик пусть посидит. Все будет в целости, не сумлевайтесь...

Сам полицмейстер Якубовский объезжал улицы. Из собора доносилось пение:

«...Государю-Освободителю, Александру... от безбожныя руки... Ве-ечная па-амять!»

К обеду от начала Большой улицы двинулась толпа человек в тридцать. Несли портрет покойного государя, обвитый большими бумажными розами. Впереди шел с крестом известный своими суровыми проповедями священник Никольской слободской церкви отец Владимир. От магазинов и с базара присоединялись еще люди. Среди чуек и весенних пальто виделись чиновничьи шинели, от городского сада подошло с полдесятка гимназистов. Сзади, наблюдая порядок, ехал в дрожках полицмейстер.

Народ стоял кучками на углах, провожая глазами процессию.

— Слышно, уже всех переловили, кто бомбу на государя делал,— говорил какой-то приезжий, которого раньше не видели в Оренбурге.— Всё нерусский народ: поляки да жиды!

— Как же, Русаков, Желябов,— железнодорожный служащий с газетой в руке с сомнением покачал головой.

— Там баба какая-то всем верховодила. Стриженная! — говорили в толпе.

— Не баба, а графская дочь. Как раз племянница нашего прежнего губернатора. Город Перовск знаешь?..

— Еще говорят, граф Лорис-Меликов царя предупреждал. Не езжай, мол, в манеж, Ваше величество!

— Лорис-Меликов, он из армян будет?..

---

[1] Алтынсарин И. Том II.

Известный всем господин Ильюнин, уже в новом сером пальто вместо недавней ополченки, подошел и сказал:

— Что же вы, господа, к патриотической манифестации не присоединяетесь?

На него посмотрели с безразличием, стали молча расходиться в разные стороны.

Возле Тургайского областного правления коллежский советник Мятлин, когда-то преподававший в Неплюевском училище, говорил среди стоящих чиновников:

— Победоносцев прямо заявил новому государю в части представленной Лорис-Меликовым конституции: «В такое ужасное время надобно думать не об учреждении новой говорильни в которой произносили бы новые растлевающие речи, а о деле... Нужно действовать!» Граф Дмитрий Андреевич поддержал это мнение.

И согласитесь, господа, что русский дух в народе ничем лучше не выражается, как этими патриотическими шествиями, что проходят по городам России. Славянская степенная натура всегда имеет в виду авторитет государя. И надо его постоянно воздвигать, какие бы человеческие недостатки ни были присущи держащему скипетр лицу. В том якорь нашей государственности. Славянство и в центре — Русь. Объединяющее знамя Москвы должны мы очистить от чуждых наслоений.— Мятлин, по своей преподавательской привычке, широко разводил в воздухе руками, чуть не задевая рядом стоящих.— Нас хотят соблазнить всякими мудромысленными теориями с Запада, и вот во что они претворяются. Бомба в государя подвела черту. Нет, у России свой путь, и на страже должны мы быть как против разлагающего воздействия Европы, так и киргизской дикости...

Стоящий рядом советник правления Давыдов кашлянул:

— Однако же, Аскольд Родионович...

Тот оглянулся и увидел, что здесь же стоит инспектор киргизских школ Алтынсарин. Мятлин слегка покраснел и завозился, доставая платок. Лицо у Алтынсарина ровным счетом ничего не выражало.

Ему сделалось смешно от того, как потерялся Мятлин. Будто замеченный на нечестной игре в карты. Они все такие, возвеличители патриотического духа. Видно и вправду непреодолима для них сила пирога, от которого кусок хотят иметь. А тот же Мятлин в молодости Герцена хвалил...

Манифестация дошла до конца улицы, повернула назад. Люди начали расходиться. Мимо пронесли хоругви. Приземистый сиделец скобяной лавки Полуянова, в поддевке и заляпанных

грязью сапогах, нес на плече, лицом книзу, портрет государя. Слышалась степенная речь:

— Никита Васильевич ни за что не спустит Дергачеву, что товар у него перебил.

— Так и Дергачев за свою выгоду старается...

Больше уже и не говорили о покойном царе. Он вспомнил, что четверть века назад бегали они из школы на улицу смотреть, как волновался город по поводу смерти Николая Павловича. Казалось тогда людям, что рушится все. И будто свежим ветром подуло откуда-то. Теперь же больше в администраторском плане принимаются меры. По приезду он услышал, что в городе арестовали нескольких людей: Катю Толоконникову, печатника из типографии, двух знакомых офицеров. Он пошел узнавать что-нибудь о Толоконниковой, но его к ней не допустили...

Господин Ильюнин прошел мимо, почтительно поклонился ему. Он вернулся назад в правление, к бумагам, что горой лежали на столе. К его приезду выделялась особая комната и даже молодого чиновника для переписки представляли в его распоряжение...

«При обсуждении в особом совещании под моим председательством... тайный советник Лавровский представил, что издание газеты на киргизском наречии русским шрифтом принесло бы истинную пользу киргизскому населению и в сильной степени содействовало бы успешному проведению предложений правительства в киргизский народ». Это переданное ему для оформления письмо генерал-губернатора к Министру внутренних дел. Рукой управляющего канцелярией с пометкой: «С личных слов Его высокопревосходительства» было вписано: «В недавнее время даровитым киргизом Алтынсариным составлена киргизская хрестоматия русским алфавитом».

А это уже его заготовки, сделанные еще в Тургае, от лица нового попечителя Даля: «А потому он, г-н инспектор Алтынсарин, просит моего ходатайства перед Вашим превосходительством о снабжении Клычбаева надлежащим разрешением на вырубку в Аракарагайском бору 500 бревен для постройки училища».

Следующая бумага уже от военного губернатора почетному блюстителю Тургайского училища, Беримжанову: «При степных киргизских школах, как известно мне, не имеется библиотек, ни ученических и не учительских, а между тем потребность в них, как заявил инспектор киргизских школ Алтынсарин, уже сказывается. Обращаюсь поэтому к Вам, милостивый государь, как лицу, близко стоящему к народному образованию, с предложением оказать всякое возможное содействие к устройству означенных библиотек». Кургамбек Беримжанов — лучший его уче-

ник из тургайского выпуска. Можно было бы обойтись с ним без губернатора, да не для того пишется такое письмо. Пусть прочитают Сипайлов в Троицке да вельможные казахи в Илецком и Иргизском уездах, чтобы знали, что самое высокое начальство за тем следит. Как говорится: «ругаю дочку, а ты, сноха, слушай». С благодарностью следует помнить Варфоломея Егоровича Воскобойникова, научившего его с блеском писать бумаги.

Важное дело в этот приезд — ремесленная школа. Пусть пока будет она при одном тургайском училище. Это составит по десять копеек в год покибиточного сбора. Деньги небольшие, зато польза несомненная. Хоть топоры да сундуки не придется из Троицка возить, сами научатся делать. Да и столы пошли в ход там, где люди оседают на землю. В плотники да кузнецы не дети дистаночных начальников пойдут, а черная кость. И рядом с ремеслом научатся грамоте.

Однако совсем уже тайная мысль на уме у него. Ведь, и рукоделие есть ремесло. Также и выделка ковров. Может быть, и девочек когда-то можно будет привлечь к учебе. Пусть утвердится только за школой доброе мнение...

Перед самым отъездом сюда собрались вдруг у него в доме все прежние ученики. Он удивился, потому что не звал их. Даже за триста верст приехали волостной управитель Жангожин и Ибрагим Ташенов. Курамбек Беримжанов, с которым, как с самым значительным лицом уезда, обговаривал он содержание ремесленной школы, явно волновался.

— Простите, агай, что побеспокоили вас,— и вдруг перешел на русский официальный язык.— Мы, собравшиеся здесь тургайцы, господин инспектор, от лица народа выражаем пожелание о том, чтобы дать имя ремесленной школе... Поскольку господин начальник уезда столько лет, и все мы видим его... В бедствии, в заботах о просвещении... Так желаем назвать школу Яковлевской!

Это было неожиданно для него. Некоторую вину почувствовал он, что сам не подумал о чем-то таком. Яков Петрович, крикливый старик-полковник, собирался уходить от дел. Однако даже и представить себе было невозможно без него жизни уезда. Те, кто сами сделались уже стариками, помнили ходившего по степи топографа.

С собой в Оренбург привез он эту просьбу. Новый попечитель — тайный советник Даль тоже был тронут ею.

— И все ж, господин Алтынсарин, в законах Российского государства присутствует строгое правило: не присваивать чему-либо имен ныне здравствующих людей, сколько бы пользы они не принесли отечеству. Тем более, находящихся при служебной должности,— на умном, тонком лице попечителя мелькнула

улыбка.— Вспомните, что даже Петербург назван только в честь святого апостола Петра...

Приходилось придумывать, как выйти из положения.

Всякий раз, сидя по полмесяца в правлении над бесчисленными бумагами, он заново радовался, что выбрал себе место в степи. Находись он здесь, то и всего года не хватило бы на переписку. Смертельная угроза исходила отсюда школьному делу. Все шло к тому, чтобы заставить учителя от утра до вечера составлять отчеты, высушивая самую душу.

Господин Даль, родственник знаменитого этнографа, некогда тоже служившего в Оренбурге, пролистал сданный им пятифунтовый отчет о тургайском просвещении, пожал плечами на его сетования:

— Педагогика консервативна по сути своей, господин Алтынсарин.

Все повторялось. Опять писал он письма за разрешением на бревна, известь, кирпич для строящихся школ, разыскивал учителей. Никто из дельных людей не решался ехать в степь на место с рублевым жалованьем в день. Только двоих пока учителей направил к нему из Казани Николай Иванович. Не было кем заменить Воскобойникова, убежавшего из Троицка от гнева господина Сипайлова, в Илецком уезде пустовало старшее место при училище, а дела шли совсем дурно. Помощник начальника уезда Баядиль Кейкин никак не принимал к сердцу школу с русским учителем.

Опять приходилось думать с губернаторским инспектором Катаринским, как выходить из положения. Еще ступая на крыльцо к Василию Владимировичу Катаринскому, начинал он улыбаться. Помнился первый день, когда пришел он в их дом. Сам Катеринский был даже помладше его, а Евпраксия Васильевна так вовсе казалась девочкой. Услышав, что он упомянул в разговоре своих родичей — узунских кипчаков, она удивилась:

— Так вы, Иван Алексеевич, кипчак?!

— Да, уж так вышло.

— Самый настоящий? — всплеснула она руками.

— Что ни на есть «идолище поганое!» — засмеялся он, и с того времени они стали близкие друзья. Только и знала Евпраксия Васильевна из истории, что говорили ей в институте благородных девиц да из патриотической оперы.

— Кто б подумал, что вы кипчак, из тех, кто нападал на Русь! — простодушно удивлялась она.

Катаринский, вдумчивый, серьезный чиновник, с настойчивостью вел дело, и вместе они преодолевали как бы специально устроенные барьеры для просвещения. Всякая бумага от него

шла через губернию, а это уже было прямым начальством для уездов!

И свои дела не оставляли его. Даже мыла лицевого не всегда можно было купить в Тургае, и приходилось все везти ящиками на год. Дарья Михайловна в этот раз не очень одолевала его поездками в магазин. Уже в конце, когда пришел он прощаться, она вынесла из своей комнаты узел, перевязанный красной лентой.

— Думаю, мальчик у вас будет, Ибрай. Так это от нас с Володинькой... И поцелуйте от меня Аннушку!

Так она звала Айганым. Полковник Дальцев улыбался чуть извиняющейся улыбкой. Дарья Михайловна складывала все в особый мешок:

— Мне уже привычно на детей шить. Осенью вот Машеньке в Самарканд пеленки да распашонки переправила...

До сих пор она говорила, растягивая «а» — «перепра-авила». Машенька состояла замужем за инженером по землепользованию, служившим при Туркестанском генерал-губернаторстве, Петя был морской лейтенант где-то во Владивостоке.

Арсений Михайлович умер два месяца назад, и комната стояла запечатанная. Слуга Тимофей лежал с ним вместе на оренбургском военном кладбище, при самой стене. Бывшие ученики, оренбургские офицеры и друзья Алатырцева делали сбор на памятник.

Ему пришлось явиться с понятыми: офицером от Неплюевского корпуса и секретарем правления. Нотариальный чиновник в их присутствии вскрыл печать, зачитал касающийся пункт из завещания:

«Всю библиотеку мою, также и находящиеся в шкафах журнальные книги и рукописные бумаги оставляю Алтынсарину Ибрагиму, ныне помощнику начальника Тургайского уезда и тамошнему учителю киргизской школы...»

Завещание было составлено за четыре года до смерти. Он помнил, как учитель Алатырцев настойчиво говорил ему, где что лежит. И больше ничего не было к нему написано...

Штабс-капитан Ержанов и служащий при областном правлении коллежский секретарь Мухамеджан Ахметжанов, приехавший сюда из Казани по окончании университета, помогали ему связывать книги в пачки. Как и он когда-то, много раз сидели они тут на стуле между шкафом и буфетом. И книги в шкафу большей частью были им знакомы.

С неопределенным чувством брал он в руки одну книгу, другую, третью, задерживался чтением, словно надеясь найти тут

ответ на вопрос, почему именно ему оставил их учитель Алатырцев. В журнале попалось ему вдруг стихотворение, которого он не читал, хоть состоял подписчиком. Оно было написано недавно умершим известным поэтом и поразило его.

Приведенные Ержановым солдаты выносили книжные пакеты и укладывали в тарантас. Он заметил, как ловкий молодой солдат тоже все засматривал в книги. И товарищ его, постарше, был, по-видимому, грамотным.

Для него уже в тарантасе не оставалось места, и приходилось ехать на облучке, вместе с Нигматом. Кабыл Ержанов и Мухамеджан Ахметжанов, сын агай-кожи Динахмета, остались стоять возле дома, где снимал квартиру учитель Арсений Михайлович Алатырцев. Оба солдата, помогавшие носить книги, стояли с ними рядом. По всему было видно, что у них с Ержановым особые отношения. Он замечал уже раньше такие отношения между образованными офицерами и нижними чинами: спокойные, сдержанно-уважительные. От Дальцева он знал, что некоторые офицеры гарнизона в воскресных школах учат солдат грамоте. Незримая цепь связывала учителя Алатырцева, его самого, Кабыла с Мухамеджаном, этих солдат...

Медленней обычного ехал тяжело нагруженный тарантас. Крепкие кипчакские лошади осторожно объезжали рытвины и ухабы. Все думал он над завещанием учителя Алатырцева.

Унылая, грязная от нескончаемого дождя дорога извивалась между холмами, никак не уходила за окоём. Прочитанное один раз стихотворение настойчиво повторялось в памяти вместе с движением облучка.

Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? Слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!..

Что-то необыкновенное было в этих словах, идущее от самой сути языка, на котором они были написаны. И хоть печален был тон, упругая внутренняя сила готова была распрямиться, стать во весь рост.

Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?..

«4 октября 1881 г. Оренбург. Неизменно добрейший Николай Иванович! Я получил письмо и бумаги Ваши относительно учи-

телей, посланных в нашу область: только очень поздно, в конце сентября. Да я же, впрочем, был во все прошлое лето неуловим, переезжая из уезда в уезд, из волости в волость... На своих учителей я вообще смотрю как на братьев, с которыми все у нас должно быть общее: и мысли, и желания, и материальные силы...

Всего тяжелее, оказывается, создавать школы, не имея никаких готовых материальных сил. Вот и таскаюсь я по степям, выпрашивая деньги у обществ и разных общественных, уездных и областных властей. Дело в том, что крепко задался мыслью учредить как можно скорее по центральному двухклассному училищу в среде самого киргизского уезда, поставить его на прочное основание; обстановить его прилично и опрятно, так чтобы задуманное воспитание киргизских детей не встречало в нем таких препятствий, как грязь, сырость, теснота, угар, голод, холод, недостаток учебников и неграмотные еще учителя...

Но как ни трудно было, добиваемся-таки и мы своего. В Тургае и Иргизе школьные здания готовы, в Илецком и Николаевском уездах суммы уже имеются; ждут только весны... Внутренняя обстановка почти такая же, как была, вероятно, помните, в школе при Областном управлении. Теперь устраиваем библиотеки ученические и учительские, ремесленные отделения, а в скором будущем, между прочим, примемся и за садоводство и огородничество. Кроме того, в Тургае задумали мы устроить особенную ремесленную школу и наименовать ее, в честь обожаемого дедушки нашего, Яковлевской. На эту школу охотно жертвуют деньги богатые киргизы, и начальство соглашается на устройство ее. В марте будущего года будет пятидесятилетие службы Якова Петровича...

Передайте глубочайшее почтение и сердечный салем Екатерине Степановне.

Выданные Вами в ссуду деньги учителям будут в скором времени высланы. Преданный душою и телом Ваш И. Алтынсарин».

XV

Перед алтынсаринским домом стояли экипажи: коляска господина Курылева, архитекторская бричка, двуколка лесничего Петрова. И еще дорожный шарабан, как видно, из губернии. Мужик из Деминского поселка, служащий при доме инспектора, носил лошадям сено. Уездный врач Константин Дмитриевич Кодрянский и свою коляску поставил там же.

На веранде кипел самовар. Из открытых окон слышен был шум голосов:

— Да помилуйте: русский Чикаго, русский Чикаго!.. Что с

таким обилием мяса вы будете делать? Пусть даже и проведут железную дорогу...

— Дешевая промышленная пшеница, дешевое промышленное мясо. Это миллионы освобождающихся рук. Потому и шагнула далеко Америка, что получила эти руки...

Русский Чикаго! Все никак права города ему не дадут, хоть строительство по всем меркам идет городское. Даже архитектор настоящий сюда из столицы выслан. На чистом месте из всех этих Николаевских, Новониколаевских да еще при десятке Николаевок в Николаевском же уезде строится каменный город Кустанай, как зовут его старожилы. И Василий Анисимович Курылев пророчит его мировую будущность. Даже не едет никуда отсюда, несмотря на миллионное наследство и дело в пяти русских губерниях...

Вот и инспектор Алтынсарин приехал сюда недавно, но поселился зачем-то на другом берегу Тобола, в четырех верстах от города. Тут как будто его родовое гнездо. В молодом еще саду при новом просторном доме Ольга Алексеевна Курылева сидит с женой Алтынсарина, и дети бегают тут же. Старинная дружба у них между семействами. Как сама Ольга Алексеевна говорит, Алтынсарин чуть ли не заменил ей отца, помогая дать образование. Это такая особенность у киргизов — считать как бы родственником близко знакомого человека. А Иван Алексеевич, несмотря на европейский вид, все одно киргиз. Даже половина дома устроена на азиатский лад: с коврами на полу, одеялами при сундуках. Юрта сзади стоит у него, и киргизы со всей степи постоянно гостят.

Уездный врач прошел с веранды направо. В знакомом кабинете с книжными шкафами и гитарой над диваном кроме промышленника Курылева и спорившего с ним архитектора Никольского сидели помощник начальника уезда Сейдалин, земский лесничий Петров, учитель Данилов, телеграфист Правоторов и молодой чиновник — киргиз с тонким, удивительно красивым лицом. Как всегда, тут же был кто-то из старших учеников. Хозяин, не смутившись врача, показал глазами на стул, который тот обычно занимал. У всякого было тут свое место. Лишь синяя атласная подушка за спиной Алтынсарина говорила о болезни.

Врач Кодрянский через минуту забыл свою обязанность и с бессарабской запальчивостью уже спорил с неким невидимым противником. По всей России теперь говорили так, будто отвечая на газетные сообщения об очередных действиях правительства.

— Мы ли, Кантемиры, не патриоты России!..

Константин Дмитриевич гордился тем, что по какой-то линии является потомком знаменитого поэта и сподвижника Петра. Правда, в доверительную минуту врач рассказывал, что чуть

не половина Бессарабии состоит в кантемировских родственниках. В разговоре он не знал полутонов:

— Герой Карса и Эрзерума, генерал-аншеф Лорис-Меликов говорил при воцарении государю: «Ваше Величество, под знамя Москвы не соберете всех деятельных сил, обязательно будут недовольные. Разверните завещанный Петром штандарт империи, и всем под ним найдется место!» Но испуганный венценосец бросился в привычную с детских лет опеку Победоносцева. И граф Дмитрий Андреевич сыграл свою роль, став тут же министром внутренних дел, шефом жандармов и одновременно президентом Академии наук. Проповедуется оскорбительное для ста народов России их уничижение с обязательным восхвалением чуть ни дыбы царя Иоанна... Найдутся ли для такого правительства Лазаревы и Багратионы? Пойдет ли с охотой для их дела в глубь Азии князь Бекович-Черкасский?[1] Не говоря уж о тысячах немецких, датских, голландских и прочих офицеров и деятелей, привлеченных в Россию великим царем, в детях и внуках считающих себя природными русскими. И даже тут, в Кустанае, какой-то негодяй Ермолаев, чтобы удобней ему было украсть, начинает отлучать их от отечества. И не он один: вон в литературе уже целая стая их заливается, начиная с присяжных историков и кончая господином Катковым,[2] разжигают вражду и человеконенавистничество. А правительство поощряет это расшатывающее течение, считая его за благонадежность. Кто же больший враг России, чем эти люди?

— Вы, любезный доктор, видите только часть вопроса.— Курылев говорил с обдуманной убежденностью.— В государствах и народах, где столь велик разрыв между первобытным почти состоянием значительного большинства, родившегося крепостными, и той необходимостью развития, которую требует от великой страны история, обязательно должно происходить нечто подобное. Что половина Россий состоит из инородцев, лишь дополняет проблему. После смерти задержавшего ее на сто лет Николая Павловича...

— Палача всея Руси! — твердо сказал архитектор Никольский.

— Не боитесь, Андрей Григорьевич, так про царя говорить? — засмеялся Сейдалин второй.— Я же лицо официальное.

---

[1] Лазаревы — известная дворянская семья армянского происхождения, сыгравшая большую роль в деле присоединения Армении к России.

Багратион — русский генерал грузинского происхождения.

Бекович-Черкасский — кабардинский князь на русской службе. Погиб в 1717 г. в Хиве.

[2] Катков М. Н. (1818—1887) — известный русский публицист шовинистического, черносотенного направления.

Или дальше Кустаная, думаете, не пошлют? Есть еще Пишпек, Верный...

Бескровное лицо Никольского с длинными волосами от шестидесятых годов, еще больше побледнело:

— Кажется, и в правительстве еще не решаются обелять пред потомством палочного мастера. Уж слишком много всего доброго погубил он в России. Царя Ивана ведь никто еще не посмел взять себе в пример.

— Что же, и тогда государство Московское росло помимо царя Ивана и вопреки ему,— возразил Курылев.— Кто знает только, на сколько веков задержал его рост этот царь, лишившись поддержки людей типа Курбского. И поставлено государство было в конце концов на край гибели. Смутное время — оно ведь от Ивана. Беда не в том.

— В чем же она, Василий Анисимович? — спросил Алтынсарин, со вниманием переводивший взгляд с одного на другого говорившего.

— В том, что родившиеся в крепостном праве думать не умеют иначе, да и потомству то передают. Как снизу, так и сверху. Уж как душа наверху не лежала к тому, да рухнуло рабство. Но люди-то те же остались. И других методов никак не знают, как вернуться к палке. Посмотрите-ка кто в правительстве. Те же, кто и тридцать лет назад, при Николае Павловиче, вселенную уловлял.

Уж в России ли нет умных людей, что видят и понимают к чему все идет. И коли ругают что-то, то лишь от мучительной боли, от желания помочь обескровленному, доведенному до состояния кипящего котла отечеству. В Европе, где правители поумней, спрашивают таких людей, стараются получить их в союзники. У нас же их травят чуть ни собаками. Кто говорит не так, как уездный пристав, тот враг. Чтобы хоть как-то нащупать мнение общества, мнение народное, так нет. Никакого мнения вообще не должно быть. Так бывает, когда у правительства, у представляющих его людей, свои частные интересы, свои привилегии, которые не хотят они терять. Да по-своему и правы они: кому станут нужны такие болваны, если общество само начнет влиять на выбор себе правительства. Уж господина Сквозника-Дмухановского никак для себя не выберет.

С другой стороны и революционеры наши, следуя крепостному завету, идут в разбойники. Ведь как поступал обиженный барином смерд: выходил на большую дорогу и без разбора людей резал!

— То уже мистика, Василий Анисимович,— телеграфист Правоторов из исключенных студентов резко придвинул стул.— Думаете, так уж глупо правительство, что не хочет иметь

диалога с передовыми, мыслящими слоями общества. Свой талант у господина Победоносцева, какого нам с вами не дано. Даже чтобы отечество двигалось вперед, он тоже хочет. Но при одном только условии: чтобы он был всегда у власти. Тут вы правы. Какой же ему резон привлекать людей заведомо способней себя. И раздор между народами такому правительству нужен. Что же касается революционеров, то есть людей, видящих дальше обеденного стола и экипажа, то тут вы не вправе так говорить!

Курылев, нисколько не поколебленный в своем мнении, покачал головой:

— Как-то чересчур практически вы смотрите на это, господин Правоторов. И это, скажу вам, тоже издержки нашего общего крепостного состояния. Людей мерим глазами буфетчика из барского дома и думаем, что это и есть существо вопроса. Не думаю, чтобы Победоносцев или граф Дмитрий Андреевич так уж за свою министерскую карету готовы были отечество погубить. Дело тут сложней, и тем оно хуже. Народ русский они принимают за тех, кто каждый день на глаза им попадается: подхалимов-чиновников, кучеров с их экипажей, льстивых газетчиков, пропойц, которых видят из окна кареты валяющимися возле кабаков. А потому считают, что нельзя этому народу и крупицы власти давать. Нас же с вами почитают опасными мечтателями.

— Что же, получается, и конца этому не будет? — спросил Кодрянский.

— Нет, жизнь все равно идет, как шла она при том же Николае Павловиче. Пушкин был и Белинский. Только на сколько лет опять остановит Константин Петрович Победоносцев Россию и сколько это потребует жертв за такое состояние государства через двадцать или тридцать лет, сказать трудно. В новом времени покруче начнут случаться повороты истории, а мы вступаем в него все с тем же крепостным багажом. Даже, как видите, и в революционерах. Все имеет свой конец. Предок ведь не случайно нас предупреждал о некоем сильном народе, как раз и занимавшем наше пространство «погибоша аки обра».

Какой-то дух был в этой комнате у Алтынсарина, что вечно не прекращались тут споры...

Внесли киргизское угощение: деревянную чашку с кумысом, копченое мясо, жаренное в масле тесто, крепкий чай с молоком. Алтынсарин жаловался на врача:

— Константин Дмитриевич меня чуть не чахоткой пугает, да я не сдаюсь!

— Все же рано, Иван Алексеевич, ехать вам куда-нибудь,— настаивал врач.

Кодрянский играл на гитаре с большим чувством, пел молдаванские песни.

— Зачем у вас гитара висит, если сами не играете? — спрашивал Никольский, проектировавший и этот дом.

— Как видите, только для гостей,— серьезно ответил хозяин.

Сидящий между шкафом и буфетом подросток лет тринадцати ел булку и со вниманием слушал взрослый разговор.

Утром он чувствовал себя совсем уже бодро, хоть в груди по-прежнему свистело. Так было и в прошлый, и в позапрошлый год, но когда выезжал он в весеннюю степь, дышать становилось свободней, боль проходила. С того страшного тургайского года это началось, когда пробивался он, больной, в зимний буран к Акколю, где гибли его лошади. Полтора десятка все же осталось их, и теперь опять у него племенной табун выведенной дедом породы. Тут же, в наследственном зимовье — кыстау, при Деминском поселке, где поставил он себе дом, стоит и теплая конюшня для лошадей с приготовленным к зиме сеном. Солдат Демин с Нурланом строили ее.

Солнце коснулось лишь верхушки растущей у озера липы. Все еще спали, даже коров еще не выгоняли в степь, только в поселке бабы чуть слышно стучали ведрами. Казахи так и называли теперь озеро «Инспекторским». Пройдя вокруг него по тропинке и перейдя перемычку, отгородившую озеро от обмелевшего Тобола, вошел он тихо на веранду.

Кто-то был в его кабинете. Стараясь не шуметь, встал он на пороге. Мухамеджан Ахметжанов стоял у шкафа с книгами и листал одну из них. Чуть задумчивое лицо было у молодого человека и совсем был похож тот сейчас на агай-кожу. Вчера вечером говорил ему Ахметжанов о степной казахской газете, что думают они с Ержановым издавать в Оренбурге. Евфимовский-Мировицкий во всем их подозревает, но, как водится, пройдет несколько лет до реального дела. К тому же и время сейчас тяжелое для нового издания, тем более инородческого. Не имеет значения, что среди зачинателей чиновник и офицер, все теперь под подозрением...

«Погибоша аки обра». Он усмехнулся. Что перед этим книжным шкафом неистовство Победоносцева или кажущаяся власть графа Дмитрия Андреевича. Черно-золотым кубом стоял за стеклом другой граф Толстой. Это не «обра».

Шкаф стоял точно так же, как в доме у учителя Алатырцева. Буфет и стулья с креслами он расставил тем же образом, даже гитару на стену в Оренбурге купил. Когда строили дом, он предупредил Никольского, чтобы была там такая комната.

Вспомнился доклад, что читал когда-то молодой человек в студенческой тужурке. Про культурный слой в каждом народе, подобный тонкому плодоносящему слою землю, откуда вырастает все живое и доброе. Под ним застывшая в недвижности, спрессованная глина, и лишь оплодотворенная теплом тысяч живших раньше поколений, становится она землей. Придется ведь и ему передавать кому-то эти книги...

— Хорошо ли вы спали, агай?

Увидевший его Мухамеджан протянул по-казахски обе руки, как следовало по отношению к учителю. Стоявшие в шкафу книги не претендовали на ограничение кипчакской вечности. Они не знали окоёмов.

Проездом из степи гостивший у него сын агай-кожа сегодня уезжал и подвез их с учителем Даниловым до города. Сидя втроем в казенном шарабане, они проехали Деминский поселок, железные шины застучали по доскам построенного весной моста. Круглолицый, неулыбчивый Данилов рассказывал, как четыре года назад приехал сюда:

— От Орска до Троицка, сказали мне, пятьсот верст, по четыре копейки за версту. Ну, из прогонных денег, выданных Николаем Ивановичем Ильминским, я уже в Оренбурге сапоги купил, чтобы обутым на место прибыть. Как-никак, учитель. А в Орске ахнул. Смотритель на станции говорит, что на восемьдесят верст дальше от Троицка, и по восемь копеек за версту. Денег у меня осталось тридцать девять рублей. Если даже положить четыре дня на дорогу, то на еду остается пять копеек в день. К моему счастью попутчик до Великопетровской станицы нашелся, так что разделили бремя. А там уж сто двадцать верст до Троицка... Приехал — сорок копеек в кармане. В школе заперто, и говорят: господин инспектор только два дня, как уехал. Сел я на пороге и не знаю, что делать. Вдруг идет чиновник с почты: «Вы будете учитель Данилов из Казани?» Да, говорю. «Велено передать вам пятьдесят рублей!» И тут же вручает. Эти деньги спасли меня тогда, Иван Алексеевич. И отчета даже за них потом не потребовали. Видно, в казенную часть их записали?..

— Да, в казенную,— согласился он, сам точно не зная, что это значит. Хорошо еще, оказались у него тогда от продажи лошадей остатки. Хоть по пятидесяти рублей смог выделить учителям. Иван Григорьевич в Тургай вовсе босиком пришел. Неужели всегда так будут содержать учителей, что месячного жалованья на сапоги не хватит?..

— Сейчас каково жить вам, Сергей Петрович? — спросил Ахметжанов.

— Что же, жалованья на круг по двадцать восемь рублей

и тридцать три копейки в месяц. В Троицке прежде — дрожишь один на квартире, да и по два раза на день, холод ли, буран, в казенном пиджаке в школу бежишь. И базар там дорогой, едва на еду хватало. Тут же, в Кустанае, все дешевле. Квартира при школе с отоплением. Киргизы в питании помогают: мясом и куртом. Это у них хорошее правило — учителю помогать...

Данилов говорил с ним и Ахметжановым, как бы не считая их казахами. Без всякого умысла это выходило.

На мосту догнали учеников. Семеро их шли тесной группкой: четверо из Деминского поселка, трое из узунского зимовья. Мальчики держали в руках сумки из дерюжки, какие ввел он во всех школах, и деревянные пеналы выпирали из них. «Инспектор, инспектор... Иван Алексеевич едет!» — они прижались в ряд к перилам моста, поклонились, пропуская экипаж. Казахские дети тоже звали его «Иван Алексеевич», как на елке в Новый год. Младший сын Нурлана, прячась за пыль, побежал следом, желая уцепиться сзади. Кто-то из старших задержал его...

— На киргизское дело денег давать не станем. Твердое наше слово!

Он держал себя. Глядя в знакомое с детства лицо с помутненными злыми глазами, продолжал он видеть оренбургскую улицу и растерянного старика с жалкими деньгами в ладонях: «Рубыль, говорил!»

— Господин Ермолаев, как видно, не хочет понимать, что речь идет о строительстве второй школы, исключительно для детей русских поселенцев. Разумеется, также татар, башкир, киргизов, что живут в черте города, перемешавшись с поселенцами. Одного русско-киргизского училища явно недостаточно. Кустанай со старыми поселками насчитывает уже до десяти тысяч душ. Двадцатикопеечный сбор не будет для них обременителен. Таким образом был произведен сбор с киргизского населения уезда на постройку училища.

— Знаем, все одно на киргизов пойдет. Если начальство киргизское...

— Грамоте пусть дети у батюшки учатся! — загудел из-за спины Ермолаева поддерживающий голос.

В третий раз уже собирались начальник уезда Караулов, городской архитектор Никольский, он как инспектор от лица губернатора и волостные представители: среди них был Ермолаев, переехавший из Тургая и открывший здесь контору. Лютая злоба была у того на Курылева, перебивающего его торговлю в степи. Промышленник Курылев платил больше за скот, и дело происходило без обмана. С двоюродным братом его Жумагулом —

сыном дяди Кулубая — имел общие дела в степи Федька Ермолаев. И вопреки Курылёву, поддержавшему строительство городской школы, не давал на это согласия.

Дело было в том, что формально не становился городом Кустанай. На школу от казны выделялась только тысяча рублей. Василий Анисимович Курылев сам готов был оплатить строительство, но требовалось постановление схода. И Ермолаев становился поперек. Его слепо поддерживали разбогатевшие на «варяжной» торговле обыватели. Среди них было много староверов.

— Неча нам детишек баловать. Блуд да неверие от этих школ. Вон в газетах даже про то пишут!

Когда выходил он из волостного правления, то слышал, как Ермолаев громко говорил среди своей партии:

— Лучше б каргызов вообще отделить. И в город чтоб не пускать!

Вопль «святая Русь» не сходил со страниц правительственной печати. Тем самым уповалось, что в царей перестанут стрелять. Что же тогда граф Дмитрий Андреевич с кипчаками думает делать?

— Мы призовем вас, господин Алтынсарин!

Так сказал ему государственный человек, прощаясь в Оренбурге. Это по какой же линии думают звать его: по министерству внутренних дел или по академии?..

Никак нельзя было ему больше оставаться в стороне. Две недели, по строго установленному им порядку, проверял он Кустанайское училище. Потом выехал в степь.

Едва съехал тарантас с дороги и покатил по целине, как боль в груди отпустила. Она не прошла совсем, но отступила куда-то далеко, подавленная чистым весенним ветром и теплом солнцем, описывающим круг за кругом где-то над Золотым озером...

Уже светло-серый, с темными хвостом и гривой, конь двоюродного брата его Жумагула прискакал первым, обогнув озеро. Джигит с запыленным лицом, что ехал на нем, никак не мог отдышаться и все трогал холодными пальцами кровавые рубцы на плечах от нагаек соперников. Где-то по ту сторону озера издыхали в тугаях три или четыре лошади, покалеченные нанятыми людьми. Словно вставший из могилы дяд Кулубай был Жумагул: в тонкую линию приветливо собирались глаза и губы. И только совсем новый городской костюм был на нем и в руках палка с набалдашником, как носили в уезде. А в стороне, у большой белой юрты, стояла бричка Федьки Ермолаева. И говорил Жумагул почти так же, как дядя Кулубай, только чуть косноязычно, с жалобной невинностью в голосе:

— Совсем распоясались нехорошие люди. Травят меня за

мою честность. Вот и дорогой родственник, всеми уважаемый внук незабвенного бия Балгожи, почтивший нас своим присутствием, может подтвердить...

До сих пор он сидел с опущенной головой. Так уж повелось за много лет, что все говорившие тут ссылались на него. Но теперь он поднял глаза. Все было, как много лет назад. Полукругом сидели уважаемые люди нескольких родов, аксакалы. Почти столетний Азербай находился посредине, на подушках, где сам он сидел когда-то у колена деда и пророчилось это место ему самому. Теперь же его место было среди почетных гостей, вместе с начальником уезда Карауловым, Тлеу Сейдалиным, исправником.

И котлы с мясом стояли там же. За спинами имеющих свои хозяйства людей теснились те, кто жил на выгоне, в жуламейках и юртах с квадратами нашитого войлока на прохудившихся местах. С каждым годом по нескольку таких юрт отпадали от кочевья, оставаясь на Тоболе и продолжая улицу Деминского поселка. От этого их не становилось меньше, и темная масса людей колебалась, отливая и приливая к подножию холма, где проходили выборы волостного управителя. Кругами носились джигиты.

На мгновение встретился он взглядом с волостным писарем Нургали Авезовым, одним из первых своих тургайских учеников. Когда-то тот в экзамены читал «Железную дорогу». Нургали сидел рядом со своим отцом, могучим аксакалом с твердым, словно выделанным из карагача, лицом. Такое же лицо было у Авеза Бердибаева и много лет назад, когда тот повернулся и ушел от дастархана ага-султана Джангера. По годам ему следовало находиться в первом ряду, но старик сидел там, где лица людей начинали сливаться в одно общее лицо. Нургали смотрел с удивлением, видимо не понимая, почему на этот раз учитель не остановился у них...

Теперь говорил Жунус, сын дяди Хасена. Плотный, тяжелый, тоже в костюме и в меховой шапке, он яростно стискивал рукоять камчи:

— Кто лишь о себе думает, мы знаем. И какие деньги некоторые платят, чтобы склонить начальство в свою сторону. Под меня подкапываются, чтобы самим мошенничать. Всеми уважаемый наш родственник Ибрай пусть свидетельствует нашу честность!..

— Жунуса оставить волостным... Жунуса! — слышалось из-за спины волостного.

— Пусть Жумагул будет волостным! — кричали другие.— Жунус по три раза налог берет, своим тавром чужой скот метит...

И вдруг все замолчали. Он увидел обращенные к нему недоуменные лица. Двадцать лет он ничего не говорил, лишь сидел, приезжая сюда, на почетном месте. В озере плеснула рыба и люди оглянулись.

— Я ведь тоже узунский кипчак и приписан к волости, плачу, как и другие, налог,— он слышал тяжелое дыхание людей и старался говорить как в школе, когда приходилось объяснять нелегкий урок.— Уважаемые братья мои Жунус и Жумагул много лет спорят из-за этой должности, от чего происходят беспокойство и большие убытки остальным людям. Такая трудная должность совсем расстроила их чувства. Наверно, им нужно немножко отдохнуть. Между тем, среди нас есть и другие достойные люди, аксакалы, которые всю жизнь прожили честно и пользуются нашим уважением. Я говорю об известном вам Авез-ага...

Все головы повернулись в сторону аксакала. Тот сидел, не пошевелив бровью. Тяжелые, темные руки лежали на коленях. Растерянный Нургали искоса посматривал на отца, не зная как себя вести.

— Каково дерево, таков и росток от него. Вы знаете и того, кому Авез-ага приходится отцом. Все разумные дела в волости ведет Нургали: не берет взяток, вовремя и по закону пишет бумаги, помогает неграмотным людям уберечься от ошибок. Во всем он сможет помогать аксакалу. Поблагодарим же за долгую службу уважаемых братьев моих Жунуса и Жумагула, а волостным пусть станет Авез Бердибаев. И да будет над ним божье благословение...

Тишина стояла еще некоторое время, но где-то сзади, из-за первого ряда явился и начал нарастать как бы идущий от земли гул. Начальник уезда Караулов растерянно вертел головой, исправник приподнялся с места. Видно было, как из белой юрты поспешно вышел Ермолаев, встал на бричку, чтобы рассмотреть, что же произошло.

— А-а-а... Правильно, Ибрай!

— Пусть будет Авез...

А он уже собирался уезжать, не дожидаясь выборов. Тлеу Сейдалин сказал ему, пожимая руку:

— Эй, Ибрай, что сделал... Теперь жди из Оренбурга вестей!

Это он знал хорошо и без Сейдалина.

Кони легко бежали к югу по обрызганной грозовыми дождями земле. Дышалось легко, во всю грудь. Еще через четыре дня услышал он посреди степи школьный звонок. То был Тургай...

Первую неделю, как обычно, посещал он уроки. Ученики читали «У лукоморья дуб зеленый». Во всех школах знали, что инспектор любит слушать эти стихи. Пятьдесят детей было в училище, из них уже треть своекоштных. Места больше не было. Родители сами оплачивали их содержание, и только учение было бесплатным. Двенадцать русских учеников посещали занятия.

Потом проверил он учебную часть. Обучение русскому языку шло по общероссийской азбуке «Первинка» в сочетании с его «Руководством» и «Киргизской хрестоматией». Затем использовалась общая «Книга для чтения» Бунакова, грамматические упражнения делались по грамматике Тихомирова, учение счету — по арифметике Лубенца.

В старшем классе, как было разработано им совместно с Катаринским, учили географию Пуцковича, краткую историю Острогорского, арифметику по Лубенцу и Евтушевскому. Для устных бесед употреблялись «Зоология» Сент-Илера, «Минералогия» Герда, «Физика» по Крюгеру.

Вечером, оставаясь один в учебном классе, он писал справку для предварительного отчета: «Кроме разных книг и руководств выписаны, как учебные пособия при наглядных устных беседах, техническая коллекция Гастермана, т. е. образцы производства и употребления льна, хлопка, шерсти, кожи, писчей бумаги, стекла, пчелиного и красильного производства, недорогие барометры, термометры, микроскопы, компасы, электромагнит, телеграф, оборудование для физического и химического кабинетов, волшебные фонари, отечественная история в картинках Рождественского, коллекция мер длины, веса, теллурии и проч. Большая часть этих пособий выписана на деньги, пожертвованные почетными блюстителями киргизских школ в количестве 669 рублей, а часть — на казенные средства»[1].

Непонятный настойчивый писк все мешал ему. Он вышел в коридор. Звук доносился из другого класса, и он заглянул туда. Совсем еще малыш с вытянутой шеей и оттопыренными ушами, один на всю школу, увлеченно стучал на электрическом телеграфе. Стараясь ступать неслышно, вернулся он к себе, дописал, что следует запросить книжный магазин Фену в Санкт-Петербурге о высылке счета на три учебных телеграфа, и вышел, тихо притворив за собой двери школы. В теплой тургайской ночи все слышался телеграфный стук...

В Яковлевской ремесленной школе смотрел он, как подростки делали оконные рамы, красили ткани и чисто, как в городе, выделывали кожи. Во вторую часть дня они учились в классах читать и писать. Заботой смотрителя училища Бабина было то,

---

[1] Алтынсарин И. Том II.

что уехал из Тургая врач Орлов, учивший прививке оспы и лечению простых болезней.

Вторую неделю он сам давал уроки на месте старшего учителя. Это был его отдых. Точно в назначенное время звенел звонок, и он уходил от всего на свете: от препирательств с начальствующими лицами, хозяйственных забот, газетных статей, бесчисленных отчетов, от своей болезни. Дети смотрели пытливо, как и двадцать лет назад. Откинув руку с книгой, он звучно читал: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои...»

На задней парте сидели старший неплюевец Султан Бабин и молодой учитель Иван Григорьев, казанский питомец Николая Ивановича. Будучи еще в Тургае, он женил Григорьева на дочке покойного отца Василия, и был при том посаженым отцом. Учителей надо было оставлять здесь накрепко.

Жил он, приезжая сюда два или три раза в год, у Якова Петровича. После того, как умерла сестра, старик остался совсем один. Дети звали его в Россию, но никак не хотел тот уезжать.

— Я, милостивый государь, старый тургаец, да-с. Вот и школа, как видите, здесь моя! — говорил полковник хриплым, резким голосом, переходя с ним почему-то вдруг на официальный тон. А вечерами дулся в шашки с «мерзавцем» Семеновым, который, уйдя в чистую отставку, так и остался служить при командире, хоть имел неплохое гусиное хозяйство внизу на Тургае.

— Как ходишь, дубина? — слышался из гостиной крик.— Али не видишь, что дамкой тебя бью!

— Так мы и дамку у твоего высокоблагородия схрямкаем. Чтобы не очень форсу себе позволяла,— спокойно отвечал Семенов.

Всякий день то тут, то там в Тургае слышал распекающий голос «деда», как звали его здесь. Регулярно являлся он в училище и ремесленную школу своего имени, наводил порядок:

— Какая нерадивая бестия лопаты во дворе бросила? Где дежурный? Эй, Бабин!

И ругался по-казахски. Ученики говорили ему «агай» и вели с ним точно так же себя, как с суматошным привередливым дедом где-нибудь в ауле. Если и был человек, чье имя следовало бы навечно оставить на тургайской школе, то именно Яков Петрович Яковлев.

Однако, когда шли занятия и звенел звонок, начальник уезда и на улице не позволял никому кричать близко к школе. Два раза видел он, как заглядывал полковник в окна, когда вел он уроки, и, не решившись помешать, уходил.

— Стар, батюшка, сделался, ноги болят! — как-то жалобно

сказал Яковлев, когда прощались утром на крыльце его дома. Они обнялись, и старик всплакнул.

Когда уехали уже полверсты от Тургая, услышал он звонок: слабый, дребезжащий. Султан Бабин все спрашивал, зачем ему необходим старый школьный колокол, что провисел здесь больше двадцати лет. Он так и не сказал Бабину в чем дело, обещал только колокол в школу возвратить.

В Иргизе он тоже одну неделю проверял училище, а другую сам давал уроки. Кроме того, говорил со своими бывшими учениками, которые сделались значительными людьми в уезде, о возможности открытия рукодельной школы для девочек. В училище все было в порядке, только построенный из плохого воздушного кирпича дом оседал, прохудилась часть азиатской крыши. Следовало начинать разговор с начальством о новом здании...

Еще через неделю был он в Актюбе. Школа недавно только переехала сюда, и руководил ею самый толковый из его учителей — казанец Арсений Мозохин. Три года тот управлялся в старом городище, где в одном доме со школой обретало медресе. Вовсе неграмотный мулла-ишан Хуббунияз строил всякие козни. Но и доверенное лицо губернатора — помощник начальника уезда Баядиль Кейкин тоже в душе не хотел школы. Однако учитель повел дело вроде господина Дынькова. Сначала пресек ежедневные пятикратные отлучки учеников на молитву, перенеся их в школу. Такое предусматривалось правилами веры. Потом Мозохин выдворил служителя, что приходил с палкой гнать учеников на молитву. Пришлось помогать ему во всем, переписываться самому с Баядилем, с ретивым муллой.

Даже и теперь, в Актюбе, Баядиль Кейкин не отходил от школы, все стремясь к чему-нибудь придраться.

— Этот сарыорыс хочет обычай казахский изжить, всех русскими сделать! — зло бросил ему Баядиль, когда учитель зачем-то вышел.

Так, «желто-русыми», называли русских людей, стремясь причинить обиду. Между тем Мозохин, хорошо уже говоривший по-казахски, никак не делал того, что приписывал ему Кейкин.

— Опять, Баеке[1], Музаффар Чокин и Айбасов не хотят русскую книгу читать. Кто их учит этому? — простодушно удивлялся Мозохин.

— Ай, господин Мозохин, от невежества все происходит,—

[1] Доверительно-уважительное от Баядиля.

отвечал с ласковостью в глазах Баядиль, поддерживая за рукав молодого учителя.

Оставшись наедине с Мозохиным, он сказал:

— Вы Арсений Андреевич, при Кейкине не очень откровенно говорите. Он не из наших друзей.

Две недели, ни дня меньше, находился он в Актюбинском уезде. Проведя установленную проверку и дав показательные уроки, он поехал дальше. Законченный круг в две тысячи верст составляла его инспекторская поездка. Близко уже был Оренбург. Сухой раскаленный ветер ровно дул в спину. Он знал, что его ждет...

— Да как осмелились вы, милостивый государь, вмешиваться в дела правительства? Влиять в неизвестных целях на выбор гражданской власти... У меня в области!

Шпоры царапали пол. Глядя в круглые бессмысленные глаза, он думал, как легко Баядилю Кейкину или брату его Жумагулу обходиться с такими людьми. Тысячелетний опыт окоёма у них за спиной. И вот уже, набросив невидимый курук на такого человека со всеми его лентами и орденами, ведут в необходимую им сторону.

...Данной мне властью... Куда Макар телят не гонял!..

Но за спиной у него было нечто большее, чем двадцать пять лет назад.

— Позвольте мне, Ваше превосходительство, напомнить вам, что сто пятьдесят моих учеников служат отечеству у нас и в Туркестанском генерал-губернаторстве. Среди них офицеры, чиновники, партикулярные лица... Не знаю, почему бы образованному слою не влиять на жизнь моего народа!

Новый губернатор стоял с незакрытым ртом. Господин Мятлин сидел в стороне с видом оскорбленного незнакомства. Однако пришлось писать: «На представленные мне Вашим превосходительством обвинения в корыстном вмешательстве в политику волостных выборов, злоупотреблении авторитетом власти и вымогательстве, заключенном в получении будто бы мною тысячи рублей и угощения от противной партии, считаю себя вынужденным дать следующие разъяснения...»

Но было хуже. Опять смотрел он на перчатки, в которых прятались руки. Все остальное было лишь приложением.

— Э-э, потрудитесь вспомнить, господин Алтынсарин, не приходилось ли вам слышать мнение власти о предложенном вами на должность киргизе Авезе Бердибаеве? О его, так сказать, независимом поведении и дерзости по отношению к уважаемым людям. Была даже какая-то ссора с господином султаном Джангером. Согласитесь, что в столь тревожные времена не таких людей желательно было бы видеть во главе общества...

— Я держусь другого мнения, господин полковник. Честные люди всегда желательны.

— Что же, это дела, можно сказать, преходящие. Однако и более близкие к просвещению вопросы. С некоторым удивлением узнали сочувствующие вам люди о желании вашем издать особый школьный учебник по исламу...

— Я не склонен думать, господин полковник, что магометанским народам следует вдруг отказаться от тысячелетней культурной своей истории. К тому же лучшим способом борьбы с невежественным фанатизмом как раз и является спокойное разъяснение религиозных корней...

— Позвольте также спросить вас, господин Алтынсарин, с какою целью был введен вами в школе русский шрифт?

— Есть много других причин, которые... которые, наверно, не будут вам понятны, господин полковник. Поэтому скажу лишь одну: это наиболее удобный путь для киргизов в общее движение мировой цивилизации.

Пронзительный искусственный запах исходил от этих людей. Он вспомнил, что это духи. И пальцы в перчатках все как бы листали книгу. Господин Щедрин написал об этих людях, которым начальством назначено читать в сердцах степень любви к отечеству. Прочтет одну страницу у человека в сердце, помуслит палец в перчатке и перевернет. В той самой перчатке, в которой вчера проверял на заднем дворе чистоту бачков для помоев. Одно же министерство этим ведает, одни и те же люди. Потому они, как видно, и опрыскиваются духами.

...Не встречали ли вы в степи некоего Ивана Березовского? Вы как будто были с ним знакомы?

Лицо у полковника вдруг стало быстро темнеть, сделалось вовсе черным. Он даже дыхание перевел. Неужто, как у курдаса Марабая, появилась у него возможность различать карабетов?

•

В прокопченном дворе литейной мастерской рабочие выносили обернутые в промасленную бумагу колокола, укладывали их по двенадцати штук в ящик. Стояло восемь ящиков, а четыре колокола связали вместе. Все положили в тарантас, и тот осел под тяжестью меди. Опять приходилось ехать на облучке с Нигматом. Перед отъездом он все же заехал на почту, отправил в Тургай Бабину взятый там для образца колокол...

«14 сентября 1884 года. Добрейший Николай Иванович! Простите, что не писал к Вам так долго. Это простит мне разве только такое неисчерпаемое великодушие, как Ваше. Не потому

я не писал к Вам, что плоха стала память, а потому, что в последнее время большею частью находился в самом грустном настроении. С весны 1883 года почти до конца этого года я был болен и чуть не отправился туда, откуда более не возвращаются, а с начала этого года невольным образом затеялась у меня борьба с многолетним злом, посеянным между моими ближайшими родными... Здесь лет десять находились в ссоре двое моих двоюродных братьев из-за должности волостного управителя, и ссора эта, разделившая волость на две партии, дошла до такой ожесточенной войны, что почти разорила эту несчастную волость. Мой приезд вселил в простом народе надежду, что помирю родных, о чем неотступно и стали просить меня. На мой совет помириться эти глупцы не согласились, а потому пришлось советовать народу оставить ссорящихся просто в стороне и избирать волостным управителем третье лицо. Согласно этому, большинство и избрало одного почтенного старика. И вот один из означенных братьев, подстрекаемый разными доброжелателями, стал осаждать и попечителя, и губернатора, и даже министра внутренних дел прошениями о вмешательстве моем в выборы должностных лиц. Дело дошло до заявления даже, выдуманного, конечно, не киргизами, что я, должно полагать, СОЦИАЛИСТ, замышляющий что-либо противу правительства, так как иной причины к моему вмешательству они не видят. Приходилось давать неприятные объяснения... Начальство вызвало меня в Оренбург, как оказалось, для благовидной ссылки куда-либо на время производства в Николаевском уезде выборов... Вспоминайте иногда Вашего преданнейшего И. Алтынсарина».

XVI

«С кем из мужей древности сравнить почившего в славе Михаила Никифоровича Каткова? Лишь с витязями святорусскими, побивающими поганых татар. Ибо перо его, подобно копью святого Георгия, всегда было победоносно направлено против гидры мятежа, неверия и нигилизма. Где бы ни поднимала голову сия гидра: в лондонском ли «колокольном» тумане, в так званном «новом» ли суде, где оправдывают стреляющих в полицмейстеров стриженных «девиц», в варшавских ли «освободительных» притонах, на улицах ли «белокаменной» матушки-Москвы, где молодцы-патриоты дали славный урок «невинным» университетским башибузукам, в недавних ли орехово-зуевских стачечных безобразиях или во всемирной жидовско-масонской «Интернационалке», откуда направляются все эти подтачивающие крепость России действия, повсюду вставал на ее пути «Илья

Муромец» нашей здоровой публицистики, и перед его разящим словом в страхе отступали враги...»

Господин Сейдалин, читавший вслух, оторвался от газеты, вопросительно посмотрел на хозяина дома:

— Кто-же теперь «Московские ведомости» будет редактировать?

Алтынсарин молчал, думая о чем-то своем.

— Смотри: весь правительствующий Сенат, Победоносцев и министры выражают соболезнования. Это писателю-то. Венки от царской семьи. Ну да, он же учитель государя... А вот еще: «Русские патриоты не позволят низкопоклонствующим перед Европой, родства не помнящим Иванам да всяким инородцам затушить святое пламя любви к русскому монарху. Пусть помнят господа инородцы свое место...»

Сейдалин придвинулся, заговорил по-казахски:

— Ай, Ермолаев что кричит. Собираться всем русским и с крестом идти, татар да киргизов из города вышибать. Как раз «Московские ведомости» он читает и приказчиков своих заставляет. Скажу тебе, Ибрай, не знаю как себя теперь вести. Наше казахское дело отдельно получается...

Сейдалин вдруг резко отодвинулся от Алтынсарина, оба посмотрели на незакрытую дверь. Там стоял лесничий Петров. Хозяин дома сильно побледнел.

— Тебе нехорошо, Ибрай?!

Сейдалин поддержал его за руку. Петров растерянно топтался на месте, думая, что пришел невовремя.

— Ничего, садитесь, Платон Матвеевич...— Однако разговор не клеился. Как видно, Алтынсарину было вовсе худо.

— Может быть, Константина Дмитриевича позвать? — спросил Сейдалин.— А Караулову я доложу, чтобы в губернию написал. Больной ты, не можешь ехать.

Алтынсарин отрицательно покачал головой. Посидев недолго, гости удались.

Будто ударило по лицу, когда Сейдалин отпрянул от него. Перед тем тот придвинулся и заговорил вдруг по-казахски, притушенным голосом. Потом вошел Петров, старый его знакомый. Оттого и замолчали они, словно застигнутые воры.

Что же произошло? Он почему-то в глаза не мог смотреть лесничему. «Наше казахское дело отдельно получается»,— сказал Сейдалин. На столе осталась лежать газета.

Впервые в жизни некая раздвоенность проникла во все его существо. Откуда же появилась она? Он взял со стола оставленную помощником начальника уезда газету, начал читать.

Какие-то токи ненависти исходили оттуда, все больше расширяя наметившуюся трещину...

Ночью вдруг пришел Человек с саблей, не являвшийся уже много лет. Но теперь тот виделся ясно и стоял в двух шагах с ожиданием в глазах...

Едва дождавшись утра, встал и пошел он по Деминскому поселку. Полторы версты реки тянулись избы с резными наличниками на окнах. Подросток со светло-русыми волосами, как у матери, и матово-смуглым лицом от Нурлана, пошел к реке с ведрами. С подворья раздался женский голос:

— Булат... Телушку-то у речки отвяжи-и. Чай, запуталась!

— Жаксы... отвя-ажу!

Их все больше будет становиться, таких людей — с каждым годом, десятилетием. Что ждет их в будущем? Неужели у каждого пройдет через душу эта трещина?..

Может быть, и дуб у лукоморья был лишь миражем, явившимся в голой, бесприютной степи?..

В очередной раз разболелся он. Однако опять сменился губернатор, и надо было ехать.

Что-то произошло с ним. Остановившись на день в Орске, он кричал на директора казахской учительской школы Бессонова:

— Извольте объяснить, милостивый государь, кто позволил вам запрещать студентам уходить на молитву? Что же вы хотите, чтобы вовсе забыли дети киргизскую жизнь?

Директор смотрел на него изумленным, непонимающим взглядом. Во рту было горько, а рука все сжимала оставленную Сейдалиным в доме у него газету.

Сменивший генерал-майора Проценко новый тургайский военный губернатор генерал-майор Барабаш, покряхтывая, заглядывал ему в глаза:

— Та нехай им бис... Не нужно мне ничего от вас, Иван Алексеевич. Да вот не хотят, чтобы опять вы при выборах там были, в том Кустанае.

Плотный, приземистый, с длинными усами на благодушном лице, губернатор проводил его до двери:

— Пренебрегите тем делом, отдохните в городе, погуляйте. В Дворянском собрании театр как раз сейчас хороший.

Он ни к кому в этот раз не пошел, а все ходил по городу, не замечая домов и людей. Шум экипажей, отдельные обрывки разговоров донеслись до его сознания. Было одиноко и пусто.

— Иван Алексеевич!..

Во второй раз позвали его из окна дома, и он поднял голову. Это была типография. Печатник, что делал когда-то его хрестоматию, звал зайти.

Все так же громыхала внизу машина. Он поднялся по деревянным ступеням. Знакомый печатник и еще двое молодых людей были в комнате. За столом Ефимовский-Мировицкий, бывший также шефом-редактором «Оренбургского листка», быстро читал гранки, участвуя одновременно в общем разговоре. Чуть в стороне сидел бородатый мужик в картузе и больших смазных сапогах. Что-то знакомое показалось в светлых серых глазах.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич! — сказал мужик.

Он ответил, недоумевая. Печатник говорил:

— Что не заходите к нам, господин Алтынсарин? А я смотрю в окно: стоит человек, на дом смотрит, и как будто бы не видит.

Владелец типографии, придерживая листы, подал ему большую руку. Молодой человек, даже еще без усов, в застегнутой мелкими пуговичками под горло рубашке что-то громко рассказывал. Он почти не слушал, о чем шел разговор. Кажется о каких-то студентах, что переезжали зачем-то Финский залив по льду. Потом говорили про формулу газетной полемики:

— Глядите, господа, опять у них восемнадцать слов в одной статье в кавычки взяты. Это уж точно Тряпичкин, приятель господина Хлестакова, в политическую публицистику пустился. Так кажется ему неотразимей. Вместо доказательств, фактов, взял слово в кавычки, и все. А дальше пусть уж полиция принимает меры. Кавычками ей прямо и подсказано, что плохо.

И вдруг словно какая-то стена рухнула, он все стал видеть и слышать.

— Знаете, господа, уже в день похорон какие стихи обошли столицу...

Молодой человек резко, гневно опустил правую руку:

Убогого царя наставник и учитель,
Архистратиг седой шпионов и попов,
И всякой подлости достойный покровитель,
Скончался Михаил Никифорыч Катков.

Над свежей падалью отребий олимпийских
Слился со всех сторон в гармонию одну
Немолчный вопль и плач мерзавцев всероссийских,
Гнетущих нищую, насчастную страну!

Никакой больше трещины не было в мире. У мужика смеялись глаза. Чуть прищурив их в знак прощания, Иван Бере-

зовский взял в руку дерюжный мешок и пошел к двери. Узнать его было нельзя.

А он продолжал сидеть час, другой и третий, все слушал их разговоры. Пришел вдруг Мухамеджан Ахметжанов, аккуратный, подтянутый. Поклонившись ему, поговорил о чем-то тихо с печатником, ушел. Приходили и уходили еще люди, чем-то похожие на Березовского. И каждый здоровался с ним.

Выйдя потом на улицу, он увидел, что еще из Кустаная носит с собой газету, оставленную Сейдалиным. Сначала тут же захотел он ее бросить. Но потом вошел во двор, обошел с задней стороны дом и там бросил ее в помойницу.

Он обедал у Дальцевых. Машенька приехала из Туркестана с детьми, и Дарья Михайловна не отпускала их от себя. Младший внук возился у нее на руках и все тянулся к генеральским эполетам дедушки. Старшая девочка, тоже Машенька, сидела со всеми за столом.

— А у вас, Иван Алексеевич, дочка совсем маленькая? — спрашивала она.

— Нет, она уже на ножки становится,— серьезно, как всегда, когда говорил с детьми, отвечал он.— Зато сын Абдрахман у меня настоящий разбойник. Как-то уехал с табунщиками в степь и целую неделю домой не являлся!

Девочка замирала и делала большие глаза. Другая — старшая Машенька рассказывала о своем муже:

— В старом Мерве, куда войска лишь пришли, проектируется государственное имение. Хотят представить текинцам научное землепользование в пустыне. Даже водяную электрическую станцию думают строить. Так Виктор Георгиевич и не мог приехать. За всем там необходимо своим глазом смотреть.

— Слышал я, что у вас происходили неприятности с начальством,— говорил генерал Дальцев.— Теперь губернатором Барабаш у вас, человек искренний и добросердечный. С Гурко[1] на Балканы ходил...

На обратном пути он снова задержался в Орске, провел инспекторские уроки.

— Правильно то, что вы не отпускаете по пять раз в день с занятий студентов. Хотя бы и на молитву,— сказал он директору Бессонову.— Нужно только тактичней это делать. Врагов

[1] Гурко И. В. — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

у нас с вами сами знаете сколько... А на тот раз вы уж не обижайтесь!

«Сентябрь 1888 г. Многоуважаемый Николай Иванович! Вы, вероятно, уже знаете, что представленная через Вас записка помогла нашему учебному вопросу. Тот же губернатор, который ранее упорно признавал бесполезным открытие для киргизов школ, стал торопить меня к устройству сразу шести волостных школ в области и я не замедлил исполнением... Затем обстоятельства изменились: губернатора Проценко уволили от должности, и на место его поступил генерал Барабаш, человек умный, ученый и сочувствующий вообще киргизам и их жизненным вопросам. Я ожил, дорогой Николай Иванович, и продолжаю действовать: ныне открываю женский пансион при Иргизском женском училище для киргизских девочек, открыл уже русскую школу для кустанаевских поселян, женское училище в Актюбе и еще две волостные школы в Тургайском и Илецком уездах, в реальном Красноуфимском училище открыли четыре стипендии для обучения киргизов техническим наукам и в сельскохозяйственной школе — пять стипендий для обучения сельскому хозяйству под руководством славного дельного и глубоко любящего свое дело Соковнина. В этой сельскохозяйственной школе, поставленной совершенно на практических началах, обучаются кожевенному, мыловаренному, маслодельному, гончарному делам, столярно-токарному, кузнечно-слесарному ремеслам и из сельского хозяйства — огородничеству, садоводству, скотоводству, земледелию с ознакомлением с новейшими машинами и их устройствами, со способами лечения скота и борьбы с вредными насекомыми для хлебов. Внес я ныне проект об устройстве сельскохозяйственной школы для киргизов в самой области на тех же началах...

Слышал, что не совсем Вы здоровы, но мы — вся Киргизляндия — молим бога, чтобы он сохранил Ваше здоровье, и надеемся, что он, по неисчерпаемому милосердию своему, услышит наши молитвы.

Здравствуйте, дорогая Екатерина Степановна! Желал я непременно побывать у Вас, но не пришлось; буду жив — непременно приеду в будущем году. С истинным почтением и глубокою преданностью Ваш слуга И. Алтынсарин.

XVII

На старом зимовье — кыстау рода узунских кипчаков был сегодня праздник. За тридцать и за сорок верст съехавшиеся люди сидели прямо на траве и на сваленных в кучу бревнах.

Джигиты скакали вокруг на лошадях. И весь Деминский поселок был тут же: мужики негромко разговаривали между собой, бабы лузгали семечки. Подсолнух рос тут же в огородах и в поле на пашенных землях, вдоль полосок ржи и пшеницы.

Ровная площадка была укатана в том месте, где раньше старый мулла Рахматулла учил ребят. Теперь там стоял новый дом из красного кустанайского кирпича. Деминские мужики и строили его весь прошлый и этот год на собранные с волости деньги.

Из города наехало начальство. Все были те же, которые ездили сюда к инспектору Алтынсарину: уездный начальник Караулов, оба брата Сейдалины, владелец скотобоен и почетный школьный блюститель Василий Анисимович Курылев, врач Кодрянский, учителя из русско-киргизского училища и начальной русской школы. Молодой учитель будущей волостной школы Нурланов из местных, деминских «суржиков»[1], как дразнили их кустанайцы, волновался, но держался уверенно. Притихшие, построенные по двое дети, во всем слушались его.

Гости стояли отдельной группой. Всегда всем распоряжающийся при общественных мероприятиях в уезде заседатель Зайнчковский подбежал к Алтынсарину:

— Позвольте начинать, Ваше превосходительство?

Инспектор кивнул головой. Всю весну он болел и встал с постели ради сегодняшнего дня. Стоящий рядом врач говорил ему, чтобы шел к себе, но Алтынсарин не соглашался.

Сначала деминский мулла Затулин, содержавший здесь торговлю, читал разрешающую молитву на пороге. Потом поп из Николаевской церкви за Тоболом обошел вокруг дома, освящая школу. В торжественной тишине слышно было, как вздыхали бабы, люди говорили «аминь» сначала мулле, потом попу. Инспектор подозвал учителя Нурланова, дал ему в руки крупный медный колоколец. Тот принялся подвешивать его к специально врытому на дворе столбу с железным навесом от дождя.

Когда все было готово, сам Алтынсарин подошел, слабой белой рукой взялся за веревку. Сильный высокий звон раздался в воздухе, перелетел Тобол, укатился в степь...

Этот день вспомнился ему летом, когда лежал он в своем кабинете, укутанный одеялом по шею. Холодно было ему: болели грудь, голова, ноги. И все же встал он с постели, с трудом ступая, подошел к углу, где лежали колокола. Их стало уже меньше,

[1] Смесь пшеницы с рожью.

потому что в каждую школу, открытую им, передавался такой звонок. Он хорошо выбрал его когда-то в Оренбурге...

Долго смотрел он на книги. Сдвинул толстое стекло и осторожно, как всегда, тронул их руками. Он любил так делать, еще когда пришел в первый раз к учителю Алатырцеву...

Потом он выдвинул верхний ящик в шкафу и достал шитую шелком коробку. Его награды и ордена находились в ней. На красном шифоне лежали звезды: Святыя Анны третьей и второй степени и Святого Станислава. Да, он уже «Ваше превосходительство». Что же, все это непросто. Всадник на медном коне, возле которого стоял он когда-то, не был случайностью в его жизни...

Он пошел и лег. Боль вдруг прошла, стало легко и просто. Уже не в комнате и в постели он был, а ехал в свою инспекторскую поездку в степи без всяких окоёмов. Ровно и покойно бежали лошади, и со всех сторон, тут и там, слышался ему школьный звонок.

Алма-Ата, 1977—1981

ПАДЕНИЕ
Ханабада

Люблю Отчизну я, но странною любовью...

М. Ю. Лермонтов

ПРОЛОГ

— Наш самолет прибывает в солнечный Ханабад. Просьба к пассажирам пристегнуть привязные ремни и выпрямить спинки кресел. Температура воздуха в аэропорту...

Сердце сжимается в некоем сладком предчувствии. И дело не в том, родился ты в Ханабаде или только ел хлеб, впитывал солнце, в каждую пору твоего организма проникла тончайшая, почти космическая пыль, из которой, собственно, и состоит Вселенная, а вместе с ней и Ханабад. И ты уже часть Ханабада, какие бы ни пытался строить иллюзии. Они будут лишь сродни знаменитым ханабадским миражам, когда среди раскаленной пустыни вдруг привидится колхоз с новой школой, Домом культуры с мраморными колоннами, детским садом с елковыми одеяльцами, парком для гуляний колхозников, где вдоль аллеи расставлены картины ханабадских художников, славящие счастливый и радостный труд. И посередине бюст. Одним словом, тот самый ханабадский колхоз, о котором ты когда-то так образно писал в своей газете. Ах, «Ханабадская правда», времена непорочной молодости!..

Все здесь естественно, логично. Слепящее ханабадское солнце и миражи составляют нерасторжимое ееединство. Чем безвозвратнее прокаливает оно почву, лишая органической жизни и заставляя сверкать мириады кристаллов проступившей со дна древних морей соли, тем ярче и отчетливей миражи. Они — непреходящая здешняя особенность, и без этого не поймешь характер истинного ханабадца, его историю, философию, этику, эстетику и многое, многое другое. «Солнечный Ханабад» — это не просто подтверждение очевидной реалии. Само сочетание этих слов составляет некий пароль, по которому ханабадская критика безошибочно определяет художественное произведение в отличие от обычной деловой бумаги. Как «соловей и роза» или обязательная хрустящая корочка у хлеба, это верный признак ханабадского реализма. Следует сказать, что Закон Миража (назовем его так) присутствует не только в литературе или покорении

природы, но и во всех других проявлениях мятежного ханабадского духа. Возьмем, к примеру, ханабадское право. Впрочем, это уже особая статья...

А самолет между тем ложится на крыло. Воспетое поколениями поэтов солнце делает полный круг по салону, высвечивая отклеившийся с потолка угол обшивки, мятые покрывала кресел, деловито летающих мух (говорят, ханабадские мухи летают с пересадкой даже до Таймыра). Машина подрагивает, звякают где-то стаканы, падает из сетки над головой палка московской копченой колбасы.

— Канал! — говорит кто-то.

Два или три человека приникают к окнам, и всем ясно, что это не истинные ханабадцы. Они между тем ищут среди песчаных волн четкую ровную линию — ту самую, которую, по словам поэта, планировалось увидеть с Марса. Но там, внизу, лишь расползаются бурые, подернутые по краям изумрудной зеленью пятна. Кое-где они и вправду соединены едва намеченными черточками. Я бросаю туда лишь мимолетный взгляд. Все это было для меня вполне очевидно тридцать лет назад. Почему же я тогда не кричал, не негодовал, не писал, наконец? Больше того, все делал наоборот. Ах!..

Нет, для того, чтобы понять это, нужно начать с самого начала. И без исторического очерка здесь не обойдешься. Что же это такое — Ханабад? Тогда, тридцать лет назад, я написал впервые об этом явлении, так что время от времени буду ссылаться на ту свою давнюю повесть, привлекая из нее необходимые объяснения. Итак...

«Было это или не было. А если и было, то так давно, что все равно кажется сказкой. Говорят, правда, что где-то есть подлинный Ханабад со своей старой крепостью, речкой, сельсоветом и многим другим, о чем упоминается здесь. Но разве мало на свете селений со старой крепостью, речкой и сельсоветом? Возможны даже совпадения в именах, но тут уж ничего не поделает: слишком много людей носят зачастую одно имя и даже фамилию. Так что заранее извинимся перед гражданами настоящего Ханабада. Они ничего общего не имеют с теми ханабадцами, о которых мы пишем.

Только оговорив все это, приступим к правдивому рассказу о событиях, которые развернулись в Ханабаде много веков назад. В многочисленных легендах, освещающих этот период ханабадской истории, явственно видны попытки объяснить происшедшее политическими мотивами. Во всяком случае, на эти легенды ссылается ряд крупных ученых-историков. Само собой разумеет-

ся, угол зрения ученого зависит от того, на легенду какой ориентации — правобережной или левобережной — опирается он в своих исследованиях. Если правобережной, то строго научный анализ собранных материалов неминуемо приводит к выводу, что Мамед-хан, один из самых передовых исторических деятелей Ханабада, стремился к централизации власти, а это в период феодальной раздробленности является, как известно, глубоко прогрессивным явлением. А жестокий Назар-бек, который стоял на его пути к объединению Ханабада, предстает фигурой безусловно отрицательной.

Разнообразные исторические исследования подтверждают в этом случае мудрость и дальновидность великого Мамед-хана, его гуманизм, любовь к простому народу и т. п.

Если же исследователь придерживается левобережной ориентации, то историческая картина резко меняется. Прогрессивным деятелем выступает как раз великий Назар-бек, а мелкий политический авантюрист и интриган Мамед-хан лишь мешает объединению Ханабада. Все это подтверждается неоспоримыми историческими документами[1].

Ученые, таким образом, расходятся не только во взглядах на историческую роль Мамед-хана и Назар-бека, но и по-разному определяют время, когда произошли события, так глубоко отразившиеся на всей истории Ханабада.

Тех, кого интересуют эти серьезные проблемы, нам остается отослать к признанным авторитетам в области ханабадоведения.

---

[1] Насколько далеко продвинулось исследование этого вопроса, свидетельствуют еще довоенные научные труды, многочисленные газетные и журнальные статьи. Нам не раз приходилось читать, что Мамед-хан, намного опередив философские взгляды своего времени, прямо указывал на то, что «все течет, все изменяется»:

Сегодня — весел и доволен, Мамед-хан сказал:
А завтра — грустен и печален, он сказал...

(Записано 27 января 1953 года в селе Ханабад I со слов девяностосемилетнего колхозника Мамеда Ханова. Научные труды института языка, литературы, истории, этнографии и археологии Академии наук, том 32: «Философские течения в Ханабаде в первой четверти IX века»).

Что же касается Назар-бека, то уже в то далекое историческое время он предвидел гибель общества, основанного на эксплуатации, и с нетерпением ждал этого:

И мудрый Назар-бек сказал, что будет,
Луна как солнце, он сказал, что будет...

(Записано 28 января 1953 года в селе Ханабад II со слов сточетырехлетнего колхозника Назара Бекова. Научные труды института, литературы, истории, этнографии и археологии Академии наук, том 33: «Общественно-политическая мысль Ханабада во второй половине XI века»).

В нашу задачу входит лишь точное изложение фактов. А они свидетельствуют, что на самом деле все началось с того, что мудрый и всемогущий, великий и непобедимый Мамед-хан[1] поехал на базар...

Удивляться тут нечему. И сейчас базар занимает не последнее место в жизни ханабадца. А в те далекие мрачные времена где еще можно было настоящему ханабадцу показать себя людям!..

Показать Мамед-хану было что! Туфли на этот раз он надел еще более модные, чем носят сейчас. Носки их были значительно острее и красиво загибались кверху. Штаны у Мамед-хана были узкие[2]. А халат!.. Почти два пуда чистейшего серебра пошло на его отделку, и он весь был расшит от пят до воротника самыми что ни на есть абстрактнейшими узорами![3]

День был жарким, дорога — пыльной, но в душе Мамед-хана цвели розы. Он уже видел себя на праздничном базаре, слышал почтительный шепот торговцев шелком, кожами, халвой, персиками. Чутким ухом ловил он восторженные восклицания из поэтического ряда, но как всякий авторитетный ханабадец, ни на кого не смотрел. Гордо и прямо проезжал он к чайхане, едва заметно кивал чайханщику и проходил на забронированное место. Там, на почетном, «ханском» помосте уже сидели те, кто... Впрочем, знаменитый ханабадский базар с его чайханой так всесторонне освещен мировой литературой, что нам просто нечего прибавить. Проследим лишь за направлением мыслей Мамед-хана... В прохладной полутьме чайханы он видел уже взгляд

---

[1] По отношению к исторческим личностям мы пользуемся исключительно теми эпитетами, которые употребляли средневековые ханабадские поэты и мыслители.

[2] Штаны представляют особую гордость ханабадцев. Дело в том, что по данным исторической науки, именно Ханабад является родиной штанов. И это неоспоримо, как и то, что в бескрайних ханабадских степях и пустынях человек впервые приручил лошадь (см. миф о кентаврах). Штаны для кавалериста, как известно, являются первой необходимостью.

В остальной мир штаны из Ханабада проникли благодаря завоевательным походам Александра Македонского. И кто знает, не соберись вовремя этот великий полководец в поход на Ханабад, как бы выглядели сейчас европейские модники...

Следует также отметить постоянство и хороший вкус ханабадцев. Сколько раз за эти два с половиной тысячелетия менялась в мире мода на штаны. Еще совсем недавно, например, ширина их доходила до сорока четырех сантиметров. Но со времен Александра Македонского ханабадцы были верны ультрасовременной моде и носили только узкие брюки... Кстати, и женщины в Ханабаде испокон веков носят брюки, в то время как в других местах это только начинает входить в моду.

[3] Мы бы посоветовали ханабадским искусствоведам заняться этим вопросом.

достойного Назар-бека. Что может быть приятней, чем мягко прижатые к сердцу руки, теплая дружеская улыбка и яростная, всепожирающая ненависть в глазах соседа. Это поймет только настоящий ханабадец!..

Очнувшись от своих дум, мудрый и всемогущий, великий и непобедимый Мамед-хан увидел перед собой узкие базарные ворота. Мы забыли сказать, что ханабадский базар размещался там же, где и теперь — за высокими стенами полуразрушенной крепости, построенной когда-то тем самым Александром Македонским, который перенял у ханабадцев моду на штаны. И крепостные ворота между двумя массивными каменными башнями были такими же узкими, как и сейчас.

О, если бы ворота были шире!.. Все, что случилось, лишний раз доказывает существующую в мире таинственную взаимосвязь людей и событий. Построй Александр Македонский эти ворота на локоть шире, не произошло бы роковой встречи Мамед-хана с Назар-беком. А не будь этой встречи, о чем бы тогда мы писали? Но Александр Македонский не сделал этого, и нам придется продолжать...

Все дело в том, что в тот же день и час к этим воротам подъезжал с другой стороны мудрый и всемогущий, великий и непобедимый Назар-бек. Он тоже пошил себе новый халат, и серебряные узоры на нем были лишены всякого реального содержания. Ничего и говорить, что штаны у Назар-бека были узкие, а носки туфель — еще острее, чем у Мамед-хана.

И вот они увидели друг друга!.. Даже лошади их, почувствовав историческую значимость минуты, словно окаменели. Это были чистокровные ханабадские скакуны!..

Сколько стояли так друг против друга Мамед-хан с Назар-беком, никто не может точно определить. Но вот руки их потянулись к сердцу, лица свела приветливая улыбка, в глазах засветились влажные огоньки. Они с достоинством обменялись ханабадскими приветствиями. И все же собравшийся вокруг народ не расходился. Люди ждали чего-то...

Вперед, как установлено в Ханабаде, должен был проехать мудрый и всемогущий, великий и непобедимый. Но ведь оба они были всемогущими, великими, непобедимыми, и вне всякого сомнения, мудрыми. Ничего нет удивительного, что каждый из них двинулся к воротам. Ближе... ближе... Исторический момент наступил, когда два великих ханабадца застряли, стиснутые каменными воротами...

Как уж получилось, что рука Мамед-хана потянулась к усам Назар-бека, а рука Назар-бека — к бороде Мамед-хана, сейчас трудно установить. Дальше события, как и следует им на крутых поворотах истории, стали разворачиваться с неудержимой стре-

мительностью. Миг, и оба ханадабца оказались на земле. Теплая, жирная, пахучая базарная пыль заволокла исторические горизонты... И пусть какую угодно политико-экономическую базу подводят ученые под старинную вражду левобережных ханабадцев с правобережными, истоки ее берут начало в этой пыли...

А теперь пришло время ближе познакомиться с прославленным Ханабадом. Мы уже знаем, что еще Александр Македонский застал там более высокую и древнюю культуру, чем в оставленной им Элладе. Завоевав после долгой и упорной осады Ханабад, он построил там свою крепость, оставил в ней гарнизон и пошел дальше. Каково же было удивление Александра Македонского, когда на обратном пути он увидел, что его солдаты стали самыми настоящими ханабадцами. Все они уже носили узкие штаны и по-ханабадски цветистые абстрактные рубашки; язык, на котором они говорили, уже не был тем чистым классическим языком, которому их учили в школе. Но, самое главное, они переняли традиционные ханабадские нравы. Мы уже познакомились с ними на примере Мамед-хана с Назар-беком...

Далее история Ханабада развивается все по той же простейшей схеме. Ни один великий завоеватель Юга, Севера, Запада и Востока не миновал Ханабада. Такое уж у него удобное месторасположение: посередине Земли. Завоеватели приходили, проламывали крепостные стены, ремонтировали их, оставляли своих солдат и шли дальше. А солдаты вместо родных напитков начинали пить зеленй чай и через каких-нибудь полвека ничем не отличались от подлинных ханабадцев. Самые различные мысли появляются в связи с этим: о силе ханабадского духа, о путях неисповедимых, но, конечно, прежде всего — о производительных силых и производственных отношениях. Впрочем, сами ханабадцы причиной этого удивительного явления считают зеленый чай.[1]

Откуда произошло название «Ханабад»? Историки в ответ лишь пожимают плечами. Ниоткуда! Ханабад был всегда. И действительно, о нем подробно рассказывается уже в известной наскальной надписи Дария I Гистаспа, который сам был почти легендарным царем. Не будем, однако, углубляться в такие дебри. Скажем только, что совсем недавно рядом с Ханабадом учеными найдена стоянка самого первобытного человека на Земле.

Так что историки правы. Ханабад воспринимается уже не как историко-географическое понятие. И не стоит удивляться в связи с этим, что из века в век чуть ли не каждый второй его житель прибавляет к своему имени слово «хан». «Ханский» — самая

[1] «Если чай не пить, откуда сила возьмется!» — ханабадская крылатая фраза.

высокая похвала в Ханабаде. Так есть «ханский» рис, «ханская» посуда, «ханский» урюк и т. д. Само собой разумеется, что развалины старинной крепости на холме носят имя Хан-тепе, а речка, которая протекает через Ханабад, называется Хандарьей...

Но вернемся к трагическому событию, которое навеки разделило Ханабад... Вернувшись с базара, мудрый и всемогущий, великий и непобедимый Мамед-хан тут же приказал поджечь мост, который соединял правобережную часть Ханабада с левобережной. Когда слуги с охапками сухой верблюжьей колючки подошли к мосту, то увидели на той стороне уже приготовленные связки саксаула. Мудрый и всемогущий, великий и непобедимый Назар-бек тоже решил проучить подлого Мамед-хана. Мост, построенный все тем же Александром Македонским, запылал с обоих концов.

Ханабадцы с интересом смотрели на горящий мост. Они им мало пользовались. Когда нужно было перейти Хандарью, молодые с разбегу перепрыгивали на другой берег, а те, кто старше, переходили по камушкам. Мост здесь был ни к чему. Просто увлечение монументальностью у Александра Македонского взяло верх над экономической целесообразностью. В ханабадской истории бывали такие отдельные примера.

Но мост был только началом. Когда пришла ночь, люди Мамед-хана перешли на другой берег... Женский вопль в ночи, треск сухого горящего дерева, растоптанный копытами ребенок. Нет, это не для шуточной повести!..

Вряд ли правобережные ханабадцы наделали бы столько бед, если бы левобережные сидели в эту ночь дома. Но их не было. Все они по приказу Назар-бека находились на другом берегу. И там кричали женщины, плакали дети, горели дома. Когда затронута честь ханабадца, без этого не обойтись!..

С тех пор и начали в Ханабаде строить вокруг домов высокие толстые стены без окон. Основным занятием жителей стало восстановление этих стен. Так и жили они век за веком. Давно уже забылись причины ссоры. Но если правнука тех, исторических, ханабадцев спрашивали о соседях, он презрительно кривил губы:

— Разве это ханабадцы там, на том берегу?! Так, проходимцы...

И даже когда наступили новые времена и не нужно уже было строить стены вокруг жилищ, здесь было организовано два сельсовета: «Ханабад-I» и «Ханабад-II».

По их решению вскоре был восстановлен сожженный в незапамятные времена мост, благо быки его были каменные и строились до нашей эры. Были проведены совместные работы по

орошению, сделано сообща еще много хорошего. Но что греха таить: когда встречались на новом мосту левобережный ханабадец с правобережной, то частенько делали вид, что не видят друг друга...»

Грохот и толчок от выброшенного шасси возвращает к сегодняшней реальности. Все происходит обычным порядком. Самолет садится, подается трап, пассажиров ведут в аэровокзал. Знакомые звуки, движения мысли и чувств. Я... дома, то есть в Ханабаде, где не живу уже четверть века, но куда тянет меня необъяснимо и куда прилетаю чуть ли не каждый год.

Пока привозят вещи, обдумываю такое странное состояние собственной души. Да, конечно, Ханабад не просто географическое понятие. Он куда шире, объемней во всех отношениях, и влияние его на нашу жизнь бесспорно. Не обязательно быть прописанным в Ханабаде. Можно родиться и жить на том же Таймыре или в Клинцах, никогда не видеть этих холмистых песков и быть образцовым ханабадцем. Возможно, что мухи как раз разносят этот слабо изученный до сих пор вирус вместе с бурным развитием транспорта. Впрочем, радио, телевидение, литература — откуда в них было взяться этому вирусу?

Дело здесь в другом. Централизация всегда была основополагающим фактором ханабадского государственного мышления даже в те времена, когда от Ханабада до другой ближайшей цивилизации можно было добираться и год, и два, и даже дольше. Что же тогда удивляться нашему времени, когда стоит в Ханабаде снять телефонную трубку, и в одно мгновение всю его ойкумену пронизывает одна и та же мысль. Разумеется, речь идет не о всяком телефоне. Для этого используется «ВЧ», даже спутниковая связь. Словом, любой ханабадец поймет, о чем идет речь.

Из вышесказанного становится ясно, что автор и не пытается сузить Ханабад до какой-то территориальной или этнической общности. Прописка — это великое достижение ханабадской государственности — не имеет в данном случае значения. Чтобы не было никаких кривотолков, он прямо говорит, что производит свое исследование не на пустом месте. Ханабадом интересовались многие историки, литераторы, социологи, этнографы, но есть один классический труд, досконально осветивший родословную ханабадства. «Господа ташкентцы», подвергнутые в этом труде всестороннему исследованию, тоже ведь не имеют отношения к какому-то конкретному городу или региону. Они возникают везде, где появляется особый питательный бульон для ханабадства. Автор даже думал поначалу назвать свой роман «Товарищи

ханабадцы». Действительно, кто они такие: ханабадцы? Разве не те же господа ташкентцы, наблюдаемые, так сказать, в своем историческом развитии?..

Однако, в отличие от названного классического труда, автор, рассматривая Ханабад как широкое общественное политическое явление, вместе с тем всякий раз возвращается к конкретному Ханабаду, давшему такое множество идей для эпохи всеобщего ханабадства. И тут возникает вопрос: а что следует понимать под идеей в ханабадском смысле этого слова? Ответим сразу, что всякая идея тут всегда воспринималась диалектически, как способ жизни. Ханабадцы всегда были реалистами. Ведь что такое идея сама по себе? Дым, мечтание, нечто неосязаемое. И ханабадский способ жизни совершенно естественно, без всяких усилий, преобразует ее в свой образ и подобие. Идея как бы жива, все в ней на месте. Она вознесена на пьедестал, подсвечена с разных сторон, но это все тот же мираж. Для пояснения можно привести многочисленные примеры из ханабадской истории. Там, в частности, практиковался следующий метод. С живого человека снимали кожу, аккуратно выделывали ее, набивали соломой и ставили на видное место во дворце или на площади. Человек выглядел как живой еще много-много лет...

Таким образом, основное действие нашего полностью документированного повествования будет происходить в конкретном Ханабаде, лишь с необходимыми всякий раз экскурсами в область всеобщего ханабадства. Но и конкретный Ханабад достаточно обширен. Даже на политических картах он раскрашен разными красками, многие реки и горы разделяют его. Поэтому для удобства читателей мы условно обозначим его цифрами: Ханабад I, II, III и так далее, что приблизительно и соответствует сложившемуся ныне административно-территориальному делению.

Далее условимся о форме. И здесь автор пребывает в затруднении. С одной стороны его произведение — достоверная летопись, рассказывающая об очевидных фактах истории, с другой стороны, по объему и исторической значимости всего происходившего в Ханабаде, это роман. Но при всем том, по героическому наполнению, в чем читатель сам убедился, это в то же самое время поэма. Так что автор после длительных раздумий счел необходимым обратиться к истокам ханабадской литературной традиции. И здесь ему видится дестан. Да, именно этот проверенный историей жанр наиболее подходит для всего того, что сошлось вместе в нашем повествовании. Так что пусть не удивляется читатель, встречая в сугубо современных общественных и политических структурах эпитеты и метафоры

времен легендарных ханабадских сатрапов, чье имя выбито на знаменитой Бехистунской скале. Форма в этом случае будет соответствовать содержанию, а это главное условие при обращении к методу ханабадского реализма.

Остается лишь напомнить не вполне компетентному читателю, как строится дестан. Все очень просто, как в любом классическом произведении. Дестан разбивается на главы в соответствии с имеющимся матерьялом. Каждая глава предполагает соответствующую тему (Любовь, Верность, Дружба и т. п.). Повествование ведется свободно, с обширными отступлениями, с привлечениями побочных литературных жанров: стихов, песен, мемуаров, публицистики. То есть автор делает все, что хочет. И тут вдруг обнаруживается, что это и есть самая современная форма построения романа. Новое в Ханабаде это всегда — забытое старое. Разве что в дестане все же обязательны знаки препинания.

И, наконец, последнее. Сейчас в Ханабаде торжествует гласность, так что не станем, как делали это прежде, рассказывать сказки, ходить вокруг да около. Будем приводить одни лишь факты, пусть и окрашенные дымкой воспоминаний, но никак не теряющие своей свежести. А факты — упрямая вещь, как любил говорить самый великий ханабадец всех времен и народов. Здесь, уже не скажешь, что «свежо предание, а верится с трудом». Верится, и еще как!..

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Как я впервые соприкоснулся с Ханабадом?.. Собственно говоря, здесь употреблено не то слово. Ведь Ханабад есть нечто неосязаемое, неопределенное, вроде метафизического пара. С ним не сталкиваешься, не соприкасаешься, а словно бы проникаешься его манящим, властным излучением. И если душа у тебя отзывчивая на ханабадские призывы, то вмиг ощутишь радостное чувство причастности к великому, к самой истории. То самое, шестое, а может быть, и седьмое чувство...

Нельзя сказать, чтобы я был невинен в этом смысле, подобно весталке. Родился я уже в период очевидной ханабадской величественности, ходил в школу, пел соответствующие песни, прошел войну, сам учительствовал, написал пьесу согласно законам ханабадского реализма, закончил факультет журналистики, многое видел, слышал, да вроде бы и не полный дурак. Все дело в том, что особое ханабадское излучение, о котором идет речь, лишает человека как бы самого себя. Он видит и одновременно не видит, слышит и не слышит, и факты уже без чьего бы то

даже давления сам поворачивает к себе той стороной, которая отвечает ханабадскому взгляду на мир. Одним словом, происходит вполне осознанное раздвоение сознания, как в театре. С той лишь разницей, что явно сценическое действо представляется реальной жизнью, а то, что происходит за стенами театра, не имеет ровно никакого значения. Убедить себя, что мираж это и есть жизнь — таков основной закон ханабадской диалектики. Это мировоззрение.

А столкнулся я с Ханабадом на третий день после утверждения меня собственным корреспондентом «Ханабадской правды» по Ханабадской области. В этот день, как было заранее известно, один из районов этой области, и именно Ханабадский район первым в республике выполнил план сева хлопка. Это была очередная победа на пути к великой цели. Накануне вечерним поездом в помощь мне, начинающему журналисту, прибыл Михаил Семенович Бубновый[1] и молодой, но уже набивший руку практик Женька Каримов. Следовала д а т ь п о л о с у.

— Ты поедешь в Ханабад-I, а ты в Ханабад-II,— сказал нам с Женькой Михаил Семенович, бодрый сухощавый ветеран пера.— Я тут пока в обкоме пошурую!..

Через час я уже одиноко сидел в полупустом пассажирском вагоне с поперечными скамейками и буквой «ять» в подписи у тормозного крана. Вагон раскачивало, мелкая пыль клубами поднималась от пола. Поезд небыстро шел среди расчерченных бороздами полей, в ряд торчащих обрубков тутовых деревьев, домов с кучками кизяка на плоских крышах и круглыми печами-тамдырами на ничем не огороженных подворьях. Ехал я по направлению к границе, туда, где находится самая южная точка страны, составляющая особую гордость области. Все было как и везде на бескрайних ханабадских просторах. Поезд подолгу стоял на каждой станции, потом задумчиво трогался. Мимо проплывал один и тот же золотой бюст, соответствующие лозунги на беленой стене, затем долго тянулся пристанционный пустырь. Виделась на нем деревянная будка общего пользования, почему-то обязательно без дверей. В конце пустыря стоял ишак и жевал что-то колючее.

Я же смотрел на все это и обдумывал свой журналистский дебют, ибо учился заочно и знаком был до сих пор с работой газетчика лишь по пьесе «Дорога в Нью-Йорк», которую сразу после войны быстро убрали из репертуара. Задание для меня

[1] Ханабад живет, борется за перестройку и гласность. Те же лица, что и тридцать пять лет назад, участвуют в этом живительном процессе. Если не сами они, то их сыновья или внуки, родственники по жене и т. д. Так что автор посчитал необходимым несколько изменить имена и фамилии в этом правдивом повествовании.

лично было — организовать в Ханабаде выступления секретаря райкома, председателя райисполкома, передового тракториста, агитатора и женщины-депутата Верховного Совета. Попутно предстояло собрать материал для очерка. Приезжал я в Ханабад рано утром, а вечером тем же поездом должен был выехать обратно.

Все виделось мне в некоем тумане, но никаких сомнений я не испытывал. Слово организовать мне было знакомо из военной жизни, когда я был еще лихим сержантом. Командир роты — лейтенант Логвинов вызывал меня и коротко приказывал: «Сержант Тираспольский,возьмите трех людей и организуйте дрова для кухни!» — «Есть!» — отвечал я, не дрогнув ни одним мускулом лица. А когда уходил, то с удовлетворением слышал, как лейтенант говорил старшине, беспокоившемуся о топливе на утро: «Тираспольского послал, этот не подведет!» Армейская гордость играла во мне. К утру перед кухней, прикрытые брезентом, лежали аккуратно порубленные сухие дрова, в то время, как на десять километров вокруг не было не то что захудалого деревца, но и трава не росла. Мне с солдатами разрешали спать до обеда, и из кухни приносили нам по полному котелку каши с мясом. На меня смотрели с уважением.

А в двенадцати верстах от нас завхоз какого-нибудь учреждения чесал затылок и раздумывал, как это могли пропасть у него ворота да еще с частью забора.

В этом и заключался смысл слова «организовать». Лейтенант приказывал и ни о чем не спрашивал. Он был не виноват, да и роту следовало кормить. Обеспечивать дровами воинские части и в голову тогда никому не приходило. Вместе с тем, время было военное, и если бы мы попались, то в лучшем случае дело для меня закончилось бы штрафной. Что же, как свидетельствует пресса, ханабадская действительность на каждом шагу ставил перед человеком такие жизненные дилема, и не только в военное время.

Вот такие аналогии вызвал у меня вполне невинный ханабадский политический термин. Весь смысл ханабадства в организации. Впрочем, здоровая ханабадская закваска была заложена во мне с детства. В самые трудные минуты жизни я твердо знал, что нет тех преград, которых не смогли бы преодолеть ханабадцы. Поэтому, бросив раздумья, положил голову на кулак и крепко уснул на жесткой вагонной скамье...

Это оказалось совсем простым делом. Секратерь райкома, полный ханабадской значительности, сказал одно только слово некоему молодому человеку с большой, еще довоенной самопи-

шущей ручкой в кармане пиджака. Тот провел меня в отдельную комнату, положил передо мной стопку чистой бумаги, принес большую папку. Это были ежедневные сводки о ходе сева в районе. Здесь же находился прошлогодний доклад на пленуме райкома по тому же вопросу.

— Это же за прошлый год! — сказал я неуверенно.

— Ай, все там правильно! — сказал мне молодой человек с истинно ханабадской доверительностью. Он показал уже наполовину написанный доклад секретаря райкома за этот год. Все там было из прежнего доклада, слово в слово. И цифры совпадали.

— А недостатки? — спросил я.

— Буденный отстает и агитаторы недостаточно у Молотова работают. Тут про все есть!

Я поинтересовался, когда же секретарь райкома станет писать свою статью в газету, но, взглянув на безмятежное лицо молодого человека, вдруг все понял. Статью предстояло о р г а н и з о в а т ь. Знакомые чувства нахлынули на меня. Я совершенно явственно увидел ту давнюю ночь, когда мы бесшумно снимали ворота с петель и тащили их в предутреннем тумане.

— Быстрее надо. Секретарь на обед уезжает! — озабоченно предупредил молодой человек, оказавшийся инструктором райкома.

Я взял ручку и... Все оказалось действительно просто. Я писал, как умело и инициативно райком партии руководил севом, как о р г а н и з о в а л социалистическое соревнование, наладил работу агитаторов, мобилизовал коммунистов и комсомольцев на выполнение решений соответствующих пленумов ЦК, обкома и райкома, правильно расставил кадры, подготовил технику. Рука моя обретала уверенность с каждой строчкой. Были, конечно, и отдельные недостатки в работе. Так, в колхозе имени Буденного не вовремя подвезли семена, а в колхозе имени Молотова не был организован выпуск «Боевых листов»...

Секретарь райкома, вернувшись с обеда, все с тем же бесстрастием на лице поводил глазами по строкам, взял ручку и крупно расписался. Молодой человек приложил печать...

Мы вышли на абсолютно круглую площадь с чахлой ханабадской растительностью, пересекли ее по точно посередине протоптанной тропинке и вошли в такой же дом колониальной кладки из плоского кирпича. Я даже оглянулся при входе: райком и райисполком были одного цвета, с одинаковым полукруглым крыльцом и недавно пристроенными эллинскими колоннами. Стояли они напротив друг друга, будто отражения в ханабадском хаузе. Когда же мы зашли в главный кабинет, мне и вовсе показалось, что это происходит во сне. Все здесь было

такое же, как в доме напротив: столы — один вдоль, с двумя огромными тумбами, другой поперек, с приставленными стульями, на столе — чернильница с бронзовой крышкой, на полу — ханабадский ковер, на стене — портрет. Но самое удивительное — хозяин кабинета. Это был тот же самый человек: с опущенными книзу углами губ, особенной решительностью во взгляде и почему-то совсем без подбородка. То есть подбородок был, но какай-то крошечный, теряющийся, как бы вовсе детский.

Одинаковой была и одежда: китель в виде гимнастерки с отложным воротником, брюки-галифе и сапоги. Все было как бы военное, но опытный глаз сразу определял, что хозяин кабинета к армии, тем более действующей, не имел отношения. Портрет на стене к тому времени, о котором идет речь, был уже с золотым шнуром и бриллиантовыми пуговицами, что, по-видимому, ставило в тупик истинных ханабадцев. Они не знали пока, что носить...

Здесь все пошло уже совсем просто. Без всякого даже легкого напряжения мысли я писал, как умело и инициативно руководил севом райисполком. Была проведена сессия районного Совета, организовано социалистическое соревнование, налажена работа агитаторов, все депутаты были нацелены на выполнение постановлений соответствующих сессий Верховного, областного и районного Советов, правильно расставлены кадры, подготовлена техника. Отмечались и недостатки, которые, благодаря депутатскому контролю, были своевременно устранены. Так, в колхозе имени Буденного был случай несвоевременной доставки семян к посевным агрегатам, в колхозе имени Молотова не каждый день выпускались «Боевые листки». Я писал и даже не заглядывал в доклад председателя райисполкома...

Все во мне пело. Мы ехали в передовой колхоз на присланной оттуда машине, и я со значительным видом смотрел по сторонам, стараясь угадать среди проклюнувшихся зеленых кустиков, где здесь хлопок, а где свекла. А еще в этих местах, я слышал, произрастают фисташки. Спросить об этом значило уронить свой авторитет. Я учился ханабадской солидности...

В передовом колхозе все было, как я уже писал, рассуждая о миражах: Дом культуры с эллинскими колоннами, очевидно в память об Александре Македонском, сад для гуляний колхозников, картины и диаграммы, крашенный бронзовый бюст. Когда мы проходили в кабинет председателя колхоза, то в прихожей я заметил женщину. Она сидела в углу на полу, и лица ее не было видно: лишь высокий, с золотым ободом головной убор и закрывающий рот платок. Ярко-зеленый шелковый халат был накинут поверх головы, под ним виднелись ханабадские серебряные, с бирюзою, украшения...

Все было готово к нашему приезду. Председатель колхоза

в кителе, галифе и сапогах кивнул малому лет пятнадцати, и тот повел нас с инструктором райкома в колхозный детский сад. Это было новое здание со свежевыкрашенными окнами и дверью, которая долго не открывалась от налипшей краски. На полу не было видно ни единой царапины. В ряд стояли никелированные детские кроватки, застеленные новыми простынками и стегаными шелковыми одеяльцами, в углу была сложена горка игрушек. Чистое солнце светило в схваченные окаменелой замазкой окна.

Какое-то странное чувство нереальности происходящего охватило меня. Я поднял одеяльце на крайней кроватке и увидел неспоротый товарный ярлычок. На игрушках, на белых простынках виделся слой сероватой ханабадской пыли. И еще я никак не мог найти здесь печки.

— А где дети? — спросил я.

— Ай, гуляют! — ответил за малого сопровождающий меня инструктор райкома.

— А ясли где?

— Тоже здесь.

В глазах у него читалось явно недоумение по поводу моих вопросов. Действительно: мне нужно написать про детский сад и ясли в колхозном ауле — вот они. Все, что необходимо для этого, тут о р г а н и з о в а н о. Ведь я приехал из «Ханабадской правды», все правильно написал от имени секретаря райкома и от председателя райисполкома. Так что же мне еще надо? Я опустил глаза.

К нам присоединился здесь фотокорреспондент Гулам Мурлоев, и мы поехали в передовую бригаду. Десятка полтора женщин работали в поле. Лица их были закрыты «платком молчания». Они поднимали высоко над головой большой лунообразный кетмень и с силой опускали его в междурядья, среди проступающих кое-где зеленых ростков. На других полях вокруг было пусто.

— Гель-гель! — закричал Гулам Мурлоев, настраивая свой объектив. Он остановил одну из женщин, деловито приспустил с ее лица платок и поставил с поднятым кетменем лицом к объективу.— Гель-гель!

Это значило: «Засмейся!» Женщина стояла, держа над головой свое тяжкое орудие. Она была красива, и никакого чувства не отражалось в ее лице. Оно было спокойным, как на древних ханабадских фресках.

— Гель-гель! — надрывался фотокорреспондент, но все было бесполезно.

— Ладно, потом ретушнем! — сказал Гулам Мурлоев, щелкнул затвором и заспешил к другому объективу. Я взял у

женщины кетмень с налипшей землей, приподнял: в нем было не меньше полупуда.

— Ай, агитпункт нужно смотреть! — напомнил инструктор райкома, не понимавший моих действий. Я отдал в маленькие руки женщины кетмень, оглянулся. Нас, по ханабадскому обычаю, сопровождала большая группа мужчин: бригадир, его помощники, учетчик, звеньевые, агитаторы, парторг, секретарь сельсовета, еще какие-то широкоплечие фигуры. Но мы уже шли к полевому стану. Там тоже сидели мужчины, пили чай. Они встали при нашем приближении. Мы тоже долго пили чай, в глубокомысленном молчании разглядывая небо, поля, деревья. Женщины продолжали методично взмахивать кетменями, по восемь взмахов каждую минуту...

Агитпункт, расположенный в единственном здесь строении, оказался закрыт. На двери висел старый, «николаевский» замок. Парторг долго о чем-то узнавал у бригадира, у агитатора, у звеньевых. Потом приставленный к нам малый побежал назад в правление, еще куда-то. Наконец он вернулся с большим бронзовым ключом. Минут пятнадцать открывали замок, после чего все, толпясь, вошли внутрь. В небольшой прямоугольной комнате виднелось запыленное окно, на полу лежала кошма, на стене висела раскрашенная выцветшей акварелью стенгазета. Выделялись лишь водяные разводы на желтой пересохшей бумаге.

— Вот, он — редактор!

Парторг с некоторой гордостью показал на громадного, с запухшими глазами человека, с трудом поворачивающего шею в своем необъятном кителе.

— Раньше председатель был, теперь газету выпускает,— объяснил мне инструктор райкома.

Я подошел поближе, присмотрелся. Газета была мечена Восьмым марта прошлого года и посвящалась женскому празднику. Заметив мой взгляд, парторг что-то сказал редактору. Тот вынул самопишущую ручку и невозмутимо переделал дату на нынешний год. По чернильной плотности в этим месте было очевидно, что дата правилась не в первый раз.

В комнате не было ни стола, ни стула. Я встал к окну, сдул пыль с подоконника и тут же о р г а н и з о в а л выступление редактора колхозной стенной газеты.

— Он, очевидно, и агитатор? — спросил я для порядка у инструктора райкома.

— Да, да, агитатор! — обрадованно закивал он головой, видя, что я до конца проникся ханабадским свободомыслием. Редактор стенгазеты вынул свою ручку и расписался. Рука у него была

чудовищных размеров, так что массивная «союзная» ручка довоенных времен казалась в ней тростинкой...

Рядом с полевым станом нас уже ждал трактор в борозде. На капоте развевался красный флажок.

— Соревнование! — с гордостью сказал мне парторг, показав пальцем на флажок. Тракторист сидел в будке и смотрел куда-то вдаль. Вокруг ходил Гулам Мурлоев, снимая трактор с разных позиций, но так, чтобы обязательно был виден флажок. Уже никуда не отходя, я тут же о р г а н и з о в а л выступление тракториста...

Возвратившись в правление, я вновь увидел в углу женщину с наброшенным на голову халатом. Казалось, она не пошевелилась с тех пор, как мы ездили в бригаду, смотрели полевой стан, стенгазету, фотографировали трактор. Инструктор райкома куда-то подевался, разошлись и остальные. Председателя колхоза тоже не было, со мной оставался все тот же малый. Он вопросительно смотрел на меня.

— Осталась только депутат Верхавного Совета! — деловито сказал я, заглянув в свой блокнот. Малый открыл дверь в коридор:

— Кель!

И в кабинет, все так же кутаясь в халат и прикрывая лицо платком, вошла женщина из прихожей. Она и тут сразу прошла в угол и присела на пол. Я смотрел с недоумением.

— Отур! — резко сказал малый, указав на стул. Женщина послушно присела на стул. Я недоуменно смотрел на деловитого подроска, на женщину. А они смотрели на меня. Женщина без всякого выражения, а малый — с ожиданием.

— Сколько трудодней заработала она в прошлом году? — спросил я, не зная о чем говорить.

— Ай, пиши пятьсот! — сказал малый.

Я записал ее имя, фамилию, количество трудодней, сколько у нее детей. Указал со слов малого, что она победитель в социалистическом соревновании, раскрыл опыт ее депутатской работы, упомянул про животворную силу примера. Разумеется, делалось все это от ее имени и излагалось живой ханабадской речью, известной мне по художественной литературе. Женщина молчала, малый с детской непосредственностью следил за моей работой. Когда я закончил, он с готовностью взял ручку, желая расписаться внизу листа.

— А она? — спросил я.

— Ай, я все пищу за нее! — сказал он.

Я все же настоял на том, чтобы подписалась она. Женщина выставила руку из халата. Она у нее была маленькая и белая, без многолетнего загара, который я видел на руках у женщин,

работавших в поле. Малый что-то сказал, и она вывела на бумаге неровный кружок с хвостиком.

— Можно ей идти? — спросил он.

Я молча кивнул:

— Кыт! — бросил подросток, и женщина исчезла, будто здесь ее и не было.

Некоторое время я сидел в задумчивости. Потом поинтересовался, ездит ли эта женщина на сессии Верховного Совета республики.

— Ай, ездит,— подтвердил малый.

— Сама?

— Я с ней.

— Ты ей родственник?

— Ай, брат... Мужа ее брат! — поправился он.

— А в каком ты классе учишься?

— В восьмом. Трудодни мне за это пишут! — похвастался он.

Далее в моей памяти происходит смещение, некий светлый провал. Речь идет о прославленном ханабадском гостеприимстве. Все происходит как бы в полумираже, и одновременно вполне ощутимой реальности. Это дощатый тахт под не распустившей еще листьев чинарой. Во всю свою ширь покрыт он огромным ханабадским ковром. Сверху — клеенчатая скатерть. На нее ставят круглые чайники, пиалы, рассыпают конфеты, отдельно в тарелочках устанавливают колотый сахар-наубат, курагу, кишмиш. Носят это знакомый малый и какой-то черный худой мужчина в полотняных штанах. Женщин не видно.

— Что, чай будем пить? — спрашиваю я.

— Да, чай,— отвечает словоохотливый малый.— Чай-пай...

Я не придаю значения пока еще неясной для меня игре слов и согласно киваю головой. Все они уже здесь, кто ходил со мной по полям: председатель колхоза, парторг, бригадир, редактор стенгазеты, заведующий полевым станом, заведующий библиотекой и многие-многие другие. В сосредоточенном молчании пьют чай, вздыхая с достоинством и глядя прямо перед собой. Находимся мы во дворе у председателя сельсовета, и я начинаю понимать, что такова его здесь служебная обязанность — принимать гостей. Учусь я также тому, что не следует обтирать полотенцем руки, а нужно лишь промокнуть. А еще нельзя класть лепешку подовой стороной вверх.

Зато что такое «чай-пай» я сразу понимаю. Это обычная водка — «мама» областного розлива. Так зовут ее понимающие люди за особую ласковость во вкусе и запахе. Впрочем, подлинные, коренные ханабадцы зовут ее «Ак-Мамед», что значит Белый или Сумасшедший Мамед. Ее наливают, как чай, в

большую пиалу-кесешку, подносят ко рту, слегка вдыхают аромат, и...

Но ханабадское гостеприимство достойно отдельной главы, мы к нему еще вернемся.

Все остальное происходило будто в полете на ковре-самолете. Скатерть-самобранка не иссякала. Если накануне заползали в неискушенную душу некоторые сомнения, то щедрое, идущее от полноты души угощение развеяло их все без остатка. Они растаяли подобно миражу, исчезающему под благостными лучами ханабадского солнца. Очищенная от всяческих угрызений совесть — не это ли идеал истинного ханабадства!..

В таком вот радостном состоянии духа я опять сидел в поезде и ждал, когда же он тронется в обратную сторону. Но поезд все стоял. Несколько раз уже выходил с жезлом на перрон дежурный по станции. Сам начальник в красной фуражке прохаживался взад и вперед, озабоченно поглядывая куда-то вдаль. Часы показывали уже значительное опоздание, но сигнала к отправлению все не давалось.

И вот далеко на дороге закружилась пыль, стала приближаться. Полтора десятка машин, все новые «Победы», одна за другой подъехали к станции, и огромный, без каких-либо суженностей в фигуре человек в двубортном костюме стального цвета неспешно проследовал к отдельному, инкрустированному лаковым деревом вагону. Может быть, он и не был так уж велик ростом. Просто все остальные каким-то образом были ниже его. Оптические обманы обрели твердую реальность, и меня это уже не удивляло. В сумке при мне находились организованные мною статьи и выступления.

Провожающие выстроились вдоль вагона и смотрели в его окна. На них были одинаковые кители, галифе и сапоги. Краем глаза увидел я, как от крайней машины отделилась небольшая группа. Двое или трое подсаживали в мой плацкартный вагон какого-то человека в плаще и кепке. Тот высокомерно отвел их руки и, хоть с некоторым трудом, но самостоятельно забрался наверх. Он вошел в вагон и тяжело сел на ближайшее к выходу место, как раз напротив меня. На локте у него висела громадная ханабадская дыня, обмотанная соломенным жгутом. Человек небрежно закатил дыню под скамью и в упор посмотрел на меня:

— С кем имею честь?

Тронувшийся с места поезд не развил еще ход, но человека заметно покачивало.

— Журналист! — определил он, не услышав ответа.— Все силы на досрочное окончание сева!

Он был вдвое старше меня, и что-то было притягательное в его пьяном кураже. Ханабадское гостеприимство уравнивало нас, и мы начали разговаривать.

— Да, тут уже закончили сеять. Первыми в республике! — сказал я, подтверждая свою информированность.

— Вы так думаете?

Я назвал цифры и факты о количестве засеянных в районе площадей.

— Ерунда! — сказал он, брезгливо поджав губы.

— Почему? — опешил я.

— Потому что засеяли только пять процентов. И правильно сделали!

— Как так? — растерялся я.

— Хлопок не овес. Рано сеять до новруза.

— Какого новруза?

— Он посмотрел на меня более внимательно.

— Это персидский Новый год — новруз. Случается он двадцать второго марта. В день весеннего равноденствия, если помните.

Сказав это, он потерял ко мне всякий интерес и теперь хмуро смотрел в окно.

— Так у меня сводка...

В голосе моем была неуверенность. Он оторвался от окна:

— Вы что, и вправду в первый раз?

Таким тоном спрашивают девушек об их невинности, и я вдруг почувствовал, что краснею. А он смотрел на меня уже с искренней симпатией. Я принялся сбивчиво рассказывать, что сам видел засеянные хлопком поля.

— Пишите, пишите, это ваш хлеб.

— А вы от какой организации? — спросил я у него.

— Областной агроном.

Так я познакомился с Костей Веденеевым. А накануне из окна вагона я впервые увидел первого секретаря обкома партии товарища Атабаева...

Мой дебют завершался блестяще. Бубнового с Женькой я нашел в лучшем, на три кровати, номере гостиницы. Михаил Семенович спал, навернув на голову одеяло, а Женька со свинцовой твердостью в глазах писал, не останавливаясь. На столе, рядом с чернильницой, стояла пустая бутылка из-под водки, граненый стакан и лежал кусочек черстого хлеба. Графин с водой стоял на окне. На третьей — свободной — кровати были разложены бумаги и подшивка местной областной «Правды». На стене висела картина «Утро нашей родины».

Едва я вошел, Михаил Семенович Бубновый размотал с головы одеяло, встал и спросил:

— Привез?

Деловито подсчитав количество моих материалов, он удовлетворенно кивнул головой. Потом посмотрел на пустую бутылку на столе, еще на одну такую же, что лежала у ножки кровати, и сделал Женьке знак скрещенными руками. В авиации это означало «Глуши мотор!» Женька оставил строчку недописанной, взял молча деньги и ушел. Минут через пятнадцать он вернулся еще с двумя бутылками «мамы», кирпичиком хлеба и промокшим кулечком с «веселыми ребятами». Так здесь звали кильку, что обильно ловится на свет в омывающем Ханабад море.

Бубновый налил себе водки в стакан на две трети, выпил, бросил в рот корочку хлеба, а бутылку поставил на самое видное место перед окном.

— Сначала дело! — сказал он веско.

Женька сел продолжать статью председателя облисполкома. Михаил Семенович, кряхтя и покашливая, принялся что-то черкать в привезенных мной материалах, а мне, как имеющему художественный опыт (пьеса), поручен был очерк...

И опять я удивился заложенным во мне способностям. Рука моя сама, без всяких усилий скользила по бумаге. Снова явилось ощущение полета, душа и тело как бы освободились от неких невидимых пут, довлеющих над человеком. Это и вправду была не просто свобода, а уже воля. Все было подвластно мне. Казалось, черкни я в необходимом направлении пером, и покорятся миры...

А писал я все, что видел собственными глазами. Разве мираж это был: замечательный клуб с эллинскими колоннами, сад для гуляний колхозников, картины и диаграммы, золотой бюст. И детали были правдивы: добротный полевой стан, детский сад с игрушками и аккуратно застеленными кроватками, прекрасно налаженная агитационная работа, свежий номер стенгазеты. И в поле с каждым часом ширилось соревнование: трактористы боролись за право водрузить красный вымпел на свой трактор, женщины-колхозницы, соблюдая качество работы, стремились первыми в районе завершить окучивание всходов. При этом все они улыбались: «Гель-гель!..» Я писал и сам искренне верил в это. Сердце билось учащенно и радостно. Это было то особое, святое чувство, которое испытывает каждый ханабадец, скажем, на демонстрации или при голосовании.

С понятным волнением и гордостью вручил я свой первый в жизни газетный материал Михаилу Семеновичу Бубнову. Тот взял его у меня из рук, пробежал глазами первые строки и

передал Женьке Каримову. Женька читал уже внимательно, вникая.

— Обобщить надо. И отстающих разделать! — сказал он и как бы взмахнул невидимым топором.

В начале очерка Женька что-то приписал, а в конце добавил, что не все еще здесь следует примеру передового района, и в целом область еще не закончила сев. А сев, как и уборка, «дело сезонное: убрал вовремя — выиграл, не убрал — проиграл!» Слова эти — вершина ханабадской мудрости — теперь венчали мой очерк. Я невольно посмотрел за окно. Там, в скверике, стоял золотой бюст.

Теперь Женькина учительская рука передвинулась к заголовку, и сердце мое дрогнуло. «Улыбка в поле» стояло там замечательное, по моему мнению, название очерка. Женька твердо перечеркнул его и сверху написал: «В Ханабаде раскачиваются»... Треть века прошло с тех пор, но и сегодня, в очередной раз читая в газете этот истинно ханабадский заголовок, я невольно представляю себе такую картину: в Хабаровске ли, в Ярославле, или в Виннице какие-то непонятные люди стоят, обняв друг друга за плечи, и мерно, молчаливо раскачиваются. Туда и обратно, туда и обратно...

Мы пронумеровали материал, сложили в единый пакет и понесли к вечернему поезду для передачи в редакцию. Потом вернулись в гостиницу, выпили водку и пошли в ресторан.

— Это главное: не пить все сразу,— объяснял мне Михаил Семенович Бубновый специфику корреспондентской работы.— Для затравки стакан можно. Остальное поставить перед глазами и видеть все время, пока работаешь. Дело как по маслу идет!..

Поучение

Кто же такой — герой нашего дестана? Ведь сам о себе он говорит, что вроде бы и не дурак. Неужели не понимал он, что нехорошо лгать, даже в печати. Как видим, образование у него высшее и член партии, очевидно, иначе корреспондентом бы не работал. Наконец, в школе учился, Белинского, Герцена, Тургенева проходил, «Песню о Соколе» заучивал. Не мог же не понимать, что творит. Значит, это просто непорядочный человек? Нет, и это не так. Все значительно хуже...

Попытаюсь объясниться от имени моего героя, с которым близко знаком. Был бы это обыкновенный мерзавец, каких сотни и тысячи присутствуют во всяком стремящемся к добру обществе, все происходило бы как-то человечней, светлее, что ли. Ведь

что нужно мерзавцу: насытить брюхо, ублажить какую-нибудь страстишку, потешить самолюбие. Правда, что для этого он и подлости сделает, и хорошего человека от жизни оттолкнет, и солжет — недорого возьмет. Но, получив желаемое, отстанет, сделается добрее. К тому же цель его всякому ясна, есть возможность — отодвинуться в сторону, чтобы не испачкаться. Здесь совсем другой случай...

Герой наш — честный человек, заявляю это со всей определенностью. И не думайте, что плохими, недостойными людьми были Михаил Бубновый, Женька Каримов, Гулам Мурлоев и все прочие ханабадцы, с которыми мы уже знакомы и еще познакомимся в дальнейшем. Люди как люди. В конце концов, абсолютно плохих людей не так уж много на свете.

Но была идея. И даже не в идее дело. Все сколько-нибудь значительные идеи, даже идущие от первобытных костров, так или иначе предполагают пользу соплеменников, а в перспективе — пользу всего человечества. Суть состояла в способе ее воплощения. Идея была закономерно выпестована тысячелетиями зримой человеческой истории, а способ воплощения исходит прямо оттуда, из пещер. Помните, как это там делалось: шаман брал бубен и, воздействуя на зону подсознания, растравляя инстинкты, принуждал все племя в такт качать головами, подергиваться, выделывать одинаковые нелепые прыжки и фигуры. В таком трансе можно ходить по горячим углям, не ощущая боли, совершать многие другие героические подвиги. Разумеется, для закрепления такого состояния общественного сознания необходимы человеческие жертвоприношения. И возникала всеобщая вера: если многократно, тысячу, миллион раз повторять одно и то же — например, что все хорошо и сами мы молодцы, то в конце концов люди проникнутся этой идеей и станут счастливыми.

Да что пещеры, шаманство. Там было все на должном месте, в свое время. А вот у нас в Ханабаде давно ли мы соскоблили со стены лозунг: «Социалистическое сельское хозяйство — самое производительное в мире!» И на чем, в конце-концов, покоится известный всему миру метод ханабадского реализма в литературе? «Каждый советский человек на две головы выше любого зарубежного чинуши, влачащего на своих плечах ярмо капиталистического рабства!» Истинный ханабадец при этих словах вздергивал голову и уже без всяких сомнений ступал на уголья. Такое состояние общества наиболее полно и образно выражают ханабадские песни того времени. «Посмотри, поет и пляшет вся Советская страна». Или «Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». И как апофеоз всеобщего ханабадства звучит в наших ушах величественная, размеренная симфония:

Нам даны сияющие крылья.
Радость нам великая дана,
Песнями любви и изобилья
Славится Советская Страна...

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая,
Весь народ за Сталиным идет!

Как видите, я увлекся. И ведь не заглядываю в первоисточники, все по памяти!..

Впрочем, и молодые ханабадцы, порой совсем юные, откуда-то знают эти мотивы. Что это, генетический ряд, или, может быть, прав был великий ханабадский селекционер, выводивший в свое время ветвистую пшеницу? То, что вместо нее получался овсюг, не имело значения. Овсюг-то и был нужен. Скорее всего, действовал старый ханабадский закон: пока суть да дело, или эмир почиет, или ишак сдохнет, а дивиденды можно пока что приобретать. Как видим, жизнь красноречивей даже старых ханабадских анекдотов. Эмир почил, два поколения сменились, а вышеозначенный светоч ханабадскиой науки до конца дней своих пребывал в довольстве и почете. Говорят в Ханабаде, что и ишак преуспел: в создавшихся исторических условиях сам сделался учителем...

Нет, отнюдь не мерзавец и даже не слегка непорядочный человек наш автор. Он просто обыкновенный убежденный ханабадец, такой же как все, как мы с вами. И если в какое-то мгновение заговорило в нем чувство сомнения (помните: когда показывали ему детский сад и стенгазету, или когда писал за депутата Верховного Совета ее мысли по случаю досрочного завершения сева), то он тут же одергивал себя. Торжествовал великий ханабадский принцип. Он искреннее верил в то, что если прочтут, как где-то в самой южной точке страны, в данном случае в Ханабаде-I есть действительно колхоз, в котором имеется Дом культуры с колоннами, сад для гуляний и замечательный детский сад; где хорошо поставлена агитационная работа, где колхозники соревнуются наперебой и при этом улыбаются (Гулам Мурлоев подретуширует где надо!), то же самое, но уже наяву, произойдет в Ханабаде II, III, IV и так далее. Опять-таки, узнав из «Ханабадской правды», что в этом колхозе еще зимой провели сев, все бросятся сеять озимый хлопок. То, что это чушь собачья, не имеет значения, ибо «нет таких преград, которые не смогли бы» и прочее. Поскольку же в действительности всего этого не существует в действительности, то это следует о р г а н и з о в а т ь. Чем с чистым сердцем и занимался наш герой.

Как видим, и сами ханабадцы великолепно поняли свою роль в этом великом воспитательном процессе. Во всяком случае, в каждом ханабадском колхозе имелся такой же показательный Дом культуры, полевой стан, детский сад, так же активно велась агитационная работа, действовали депутаты, кипело соревнование и делалось все остальное. Все знали, как это должно быть. Вопрос об обычной человеческой совести, как внеклассовой категории, здесь и не возникал.

Признаюсь, автор рассказал мне, что в первые недели его работы не раз и не два являлась к нему мысль, что, может быть, и то, чему его учили в школе, тоже являло собой некий мираж. Разве не мог тот же Бубновый, установив на окне бутылку, писать про Павлика Морозова? Впрочем, и сам Павлик учил наизусть, что пионер — всем ребятам пример. Но тут ханабадский патриотизм немедленно брал у автора верх над постыдными интеллигентскими копаниями и выворачиваниями души. На память ему приходили недавно заученные на факультете журналистики слова, что если в критической статье есть пять процентов правды, то значит там все правда. О статье положительной вообще никаких указаний не было. Само название газеты снимало всякие вопросы.

Ну, а как исконные ханабадцы относились к печатному слову, мы уже видели. Они искренне верили в полезную силу камлания и, по возможности, только старались пройти по краю углей. За спиной у них, как мы помним, был долгий и многообразный исторический опыт...

И все же есть нечто главное, так сказать, основополагающее в общественном состоянии духа, без чего несостоятельны все другие прекрасные порывы ханабадского характера. Эта исходная доманинта — страх. Да, обыкновенный и вполне естественный человеческий страх. Вспомним, что способ камлания в политике обязательно предполагает массовые человеческие жертвоприношения. Если к этому добавить ханабадские юридические принципы (процентная норма правды здесь уже не имеет никакого значения и действует, так сказать, голый Закон Миража), то станет понятным значение этой доминанты в ханабадской истории. Таким образом, социологам не надо долго задумываться над проблемами пресловутой загадочности ханабадской души. Загадки-то никакой нет.

Собственно, сам феномен ханабадства вырос из тысячелетнего страха. Начало ему было положено у тех самых первобытных костров, где занимался пропагандой и агитацией пока еще обычный, не претендующий на уловление Вселенной шаман с

бубном. Однако угли уже были, как и оксидиановый нож для вырезания сердца из живой человеческой плоти. Ну, а потом наступили исторические времена с выкалыванием глаз, четвертованием, ломанием позвоничника, сажанием на заостренные колья, сдиранием кожи с живого тела, топтанием слонами младенцев и прочими необходимыми действиями ханабадской классической государственности. Однако все делалось честно и прямо. Самому свирепому ханабадскому сатрапу не приходило в голову утверждать, что ломание позвоничника производится для всеобщего счастья.

Новые времена, как уже говорилось, явили великую идею. В Ханабаде же эта идея была провозглашена прямо посредине повседневных упражнений с кольями, четвертованием и прочим, вызвав вполне оправданный шок у закаленных историей ханабадцев. Здесь и проявился подлинный ханабадский гений. На стыке великой идеи и освященного тысячелетиями страха как некое олицетворение такой неестественной политико-философской мутации и возник перед изумленным миром Величайший Ханабадец всех времен и народов. Весь пропитанный классическим ханабадством от скошенного лба до сверкающих сапог, он быстро разглядел невидимую для других сторону дела. Началась эра всеобщего ханабадства.

Роль страха в этом пока еще мало изученным процессе безусловно определяющая. Да и сам Величайший Ханабадец со всеми своими очевидными комплексами — его исторический продукт. Однако к обычному страху ханабадцы привыкли, справедливо считая его неотъемлемым компонентом человеческой души. Лишь привнесение в этот сложившийся организм противоестественной для него идеи превратило этот страх в мистический ужас. Предстояло или открытое отторжение, или торжество Великого Миража. Нечего и говорить, каким путем пошли ханабадцы. Пошли вовсе не по злому умыслу, а в силу исторической закономерности, входящей составной частью в ту самую великую идею, которая, будучи применена не к месту и не ко времени, воззвала к жизни всеобщее ликующее ханабадство...

ВТОРАЯ ГЛАВА

А теперь отбросим на какое-то время законы жанра и, перестроившись, заговорим естественным голосом, без всяких там экивоков и околичностей. Скажем прямо, по-партийному, что и кого имели в виду... Господи, опять затесалось нечто ханабадское. Вроде бы все правильно, а почему-то слегка тошнит...

А что если попросту соберемся со здравым смыслом и

объясним свою задачу и метод. Повторим на всякий случай, что под ханабадством разумеем не какой-то определенный историко-географический, а тем более культурный и этнический элемент. Имеется в виду всеобщее состояние духа, приведшее к моральному, политическому и экономическому оцепенению вполне цивилизованное и единое в своей историко-социальной сущности общество. Все общество, вне зависимости от того, «старший брат» или «младший», или государственная Золушка. Все мы сделались ханабадцами, без всякого исключения. Страдающие и торжествующие (некая разница тут, как мы понимаем, все же есть), но все равно ханабадцы. А то, что какая-то этническая и языковая общность дала название столь непрезентабельному явлению, то это всегда происходило в истории на всех параллелях и меридианах. Откройте умные словари: все языки восходят к праязыку, и миф об Адаме и Еве не столь уж и миф. В большинстве языков и наречий мира «адам» и означает человек. Такие понятия, как «испанские сапоги», «русский кнут» или «турецкий кол» отнюдь не признаки местной культуры, а имеют, так сказать, отвлеченное, общечеловеческое звучание. Принадлежность здесь свидетельствует лишь об определенной государственной моде в ту или иную героическую эпоху. То же и с ханабадством.

А в реальности описанный регион избран автором лишь потому, что связан с самыми живыми и непосредственными его воспоминаниями. Однако его не покидала уверенность, что каждое описываемое здесь явление, каждый прорисованный образ, каждое событие так или иначе напомнит читателю аналог из любого другого региона нашего единого монолитного и сплоченного, как никогда... Ну вот, опять!

Итак, все, по-видимому, ясно. Автору много лет пришлось работать собственным корреспондентом разных газет по республикам Средней Азии и Казахстану. Причем именно в переломные и наиболее интересные для любознательного человека годы конца культа личности и начала предшествующей застою оттепели. Собственно таковому непредвзятому мыслителю и отдается на суд эта книга. Но что же такое на самом деле представляет из себя этот... регион?

Здесь автор перейдет к чувствам. Слишком много соли он тут съел, чтобы судить высокомерно и лениво с позиции Ивана не помнящего всечеловеческого родства и даже происхождения собственного имени. Одна за другой в его памяти вспыхивают картины, сопоставляемые с тем нашим общим путем, который называется и с т о р и е й...

Средних мужских лет туркмен-текинец прилаживает на верблюда поклажу, чтобы идти верст за четыреста в пустыню. Там колодец и колхозные отары — древнее, вот уже тысячу, даже две или три тысячи лет постоянное кочевье его рода. Эта долгая двухнедельная дорога через сыпучие, меняющиеся всякий раз от постоянного жгучего ветра-гармсиля барханы величиной в десятиэтажный дом, где нет воды, и красноватые каракумские волки пьют вместо нее овечью кровь. Еще и сегодня как великий нравственный подвиг справедливо представляют переход через эту пустыню хорошо подготовленных и экипированных спортсменов. А здесь постоянно, обыденно живут люди, не ведая о своем подвиге, и именно в этих песках считающие себя счастливыми.

Я второй час уже сижу и смотрю, завороженный этой самой простой и умной, как мир, работой: укладкой поклажи на верблюда. А туркмен не спешит, он долго и расчетливо приторочивает неперетирающейся шерстяной веревкой два бочонка с водой на обе стороны верблюжьего горба. И бочонки особенной формы: плоские и продолговатые, из легких, прочнее железа тутовых досок. Размеренные, предельно точные движения рук человека, и ничего лишнего, как и в природе вокруг. Я все смотрю, и приходит понимание гениальности происходящей на моих глазах работы. Если хоть одно движение человека будет неверным и какой-то узел ослабнет во время сорвавшегося с дальних гор бешеного и ослепляющего ветра-афганца, то человек погибнет, и погибнут с ним будущие поколения. И я понимаю, что наблюдаю самое сокровенное, определяющее — то, что выражается емким и бесконечно многозначным словом к у л ь т у р а.

Да, именно в этом подлинная, не поражающая взор и слух, но тем не менее истинная культура. Она основание всему остальному. Это потом уже могут быть построены пирамиды или собор святого Петра, или написан «Фауст», расщеплен атом и так далее. Все это уже производное, а основа — вот эти правильно уложенные на верблюда бочонки с водой. Впрочем, как и миллионы других действий разных обликом и обычаями людей на этом и на всех других континентах. Лучше всего эту мысль выразил, может быть, самый великий поэт нашего столетия, вдруг написавший непритязательный прозаический рассказ о печниках. Да, да, о самых обыкновенных людях, ставивших печи в бывшей Смоленской губернии...

Что же, в Каракумах, которые с легкой руки автора стали повсеместно, к месту и не к месту именоваться «Черными Песками», нет пирамид, и парфянская Венера, как явление вторичное, уступает в грации Венере Медицейской. Но не великая ли и вполне современная наука генетика две с половиной тысячи

лет назад позволила этому народу вывести воистину сказочную породу лошадей? Это про него миф о кентаврах. И не замирают ли люди в глубоком философском раздумье перед таинственным орнаментом и красками древних ковров, что под разными именами и во все времена были известны в мире. Так что культура — понятие исторически обусловленное, и вряд ли высота и комфортность жилища или стремительный рост техники могут служить шкалой при ее измерении. Мы в этом уже веке узнали людей, ездивших в лимузинах и говоривших правильные речи, но в абсолютном показателе этой шкалы — нравственности стоящих на уровне собакоголовых обязьян.

А не видели ли вы, как мастер-устад где-нибудь в Самарканде склеивает, точнее склепывает старую разбитую пиалу? Как пальцы его чутко, любовно касаются простого обиходного фарфора, скрепляя его мягким металлом через просверленные в черепках дырочки? После войны не хватало посуды, но и много позже я видел устадов, чинивших расколотые чайники и пиалы. Человек не мог пройти мимо разломанного труда другого человека. Это ли не культура, может быть, высшая ее форма? А потом уже Регистан, минареты Бухары, росписи древнего Пенджикента. Как и ритоны Нисы или сокровища древней Гаяур-калы, найденные вдруг где-то под Пермью. И Великий Шелковый путь — это потом.

А в основе все то же: посмотрите полупудовые гроздья янтарно-розового «санолу» на виноградных деревьях-патриархах у Исфары и Кафирнигана. «Солнце» и «Бог» соединяются в слове «виноград» на языке дари. Но то лишь высокий поэтический образ. Эти именно *виноградные деревья* со стелющейся на целый квартал кроной — производное высочайшей многотысячелетней культуры. Как и двухпудовые дыни гарры-кыз, а с ними гуляби, доньер, абдуляхон, сарык, бахрман, от запаха и красок которых кружится голова — они от единого культурного очага народов, населяющих сердце Азии. Все это уже было здесь, когда пришли фаланги Александра Македонского.

И жилища уже были, соответствующие способу жизни. Русский военный инженер в прошлом веке изумился микронной точности расчета *уя* — многокрылой казахской юрты, что заставило его сравнить это лишь с расчетами римского собора. Идеальный подбор и выверенность многочисленных деталей свидетельствовали о древнем безвестном гении. От себя добавлю, что неизвестно, труднее ли было построить недвижный каменный собор ли эту юрту, вмещавшую порой до полутысячи человек и могущую в полчаса быть разобранной и уложенной на верблюдов. И опять же выведение и объездка другой породы лошадей, способных делать двухсоткилометровые пробеги и до-

бывать себе корм из-под снега. Не так все это легко, как показывается в кинохронике: на ласковом ветерке, под теплым солнышком пасутся овцы, и чабан с транзистором на шее от нечего делать читает стихи. Как и напоенные оранжевым солнцем курага или кроваво-красные гранаты, которые мы в понятном, ввиду их цены, изобилии видим на прилавках базаров от Магадана до Калининграда, тоже не растут сами по себе. За ними — культура и труд бесчисленных поколений, не прерывающийся и поныне, хотя, кажется, все было сделано для того, чтобы его прервать. От чего, впрочем, и цены...

А главное — лица людей. Прежде бесчисленных поколений, не прерывающийся и поныне, хотя, кажется, все было сделано для того, чтобы его прервать. От чего, впрочем, и цены...

А главное — лица людей. Прежде всего, мудрое спокойствие труда у человека, укладывающего поклажу на верблюда. Как далеко оно от всяческого камлания, лозунгов, недобрых обезьяньих страстей. Человек наедине с пустыней, и он не покоряет ее, а живет в ней. Кто видел, сможет ли забыть лица самаркандских мастеров, ферганских кузнецов, хорезмских резчиков по дереву, текинских ковровщиц. Некий свет источают их лица, руки — древний, благородный. И дети, которые стайками бегают среди старых крепостных стен с бараном, позолотив ему рога. Точно такая же картина на фресках полуторатысячелетней давности, на совсем уже древних гигантских ритонах...

И лица эти от всех возможных на земле этносов, все цвета глаз, оттенки кожи, завитки волос. Это естественно посередине самого большого континента. К сакской, эфталитской, кушанской, иран-туранской основе непрерывно, подобно кровообращению в вечном молодом организме, прибавлялись все новые элементы. Это происходило регулярно, подобно муссонам, со всех четырех сторон света. Здесь находятся истоки индийских Вед. Сюда ссылались библейские колена. Здесь, после казни каждого третьего, оставил навечно свои взбунтовавшиеся фаланги великий македонец. Пленные легионера Марка Красса строили тут плотины, что до сих пор дают воду пригиндукушским оазисам. Караханиды и согдийские владыки селили здесь мастеров с Хуанхэ, хорезмшахи составляли свою гвардию из черных рабов, привезенных из далекой Африки. Век за веками вливались сюда гуннские, тюркские, монгольские волны, с другой стороны стремительным вихрем неслись аравийские всадники. И все так или иначе оседали в горах и долинах, в безбрежных степях и пустынях, образуя, несмотря на разность этнических типов, языков и наречий, единую великую культуру — непреходящее звено в культуре всего человечества. И когда я вижу, как превосходительно кривятся губы у некоего представителя «вы-

сшей культуры» лишь потому, что тут пренебрегают квасом, предпочитая ему чай или кумыс, то от удивления перед столь очевидной нравственной неполноценностью лишь пожимаю плечами...

Гений русской сатиры был по-русски крут и нелицеприятен. Своих мерзавцев он не выделял из общего хора. Все те же «господа ташкентцы»: российская накипь, вся непереваренная собственным нутром масса, изрыгнутая неправедным, изжившим себя к тому времени государственным организмом, устремилась в только что завоеванный край с единым кличем: «Бар-ранина!» Промотавшиеся «благородные люди», спившиеся чиновники, уволенные от службы «за правду»; безродные авантюристы всех мастей, кормящиеся «от патриотизма», просто картежные шулеры ехали отъесться, поправить свои дела, урвать кусок от российского имперского благополучия. Баснословно дешевая баранина была символом будущего успеха, некоей жар-птицей, манящей и доступной в общем хищническом карнавале молодого бесшабашного русского капитализма, желающего лишь хватать, но ничего не давать, даже о собственных подпорках не думать. Это был все тот же комплекс выработанного крепостным строем, прижимистого кабатчика и прасола, не способного к пониманию законов свободного рынка даже через двести лет после Петра Великого. Ленин был прав, говоря о слабости этого российского звена, и все, что произошло и происходило в дальнейшем, было исторической закономерностью...

Но как же так получилось, что баранина оставалась дешевой и через полвека после прихода русских в Среднюю Азию? Автор самолично рассматривал прекрасно исполненные и отпечатанные книги — бюллетени Закаспийского российского торгового общества с подобными оптовыми и розничными ценами на хлопок, кожи, шерсть, каракуль, ковры, кошмы, изюм, курагу, арахис и многое-многое другое за 1907-й, 1908-й, 1909-й и т.д. годы (выпущенные в свое время без всякого опоздания). Баран в городе Ашхабаде стоил один рубль, в городах Чарджуе и Мерве — восемьдесят копеек, в заштатных населенных пунктах — не выше полтинника. Стоит заметить, что не какая-нибудь басенная овечка у ручья, а громадный каракумский баран, у которого один сальный курдюк на повозочке тянул порой до пуда. И это сало, тут господа ташкентцы не ошиблись, действительно обладало целительными свойствами. Месячное жалованье фельдшера составляло здесь пятьдесят рублей, а паровозного машиниста — восемьдесят, и выдавалось в конверте, без налогов.

Нет, не «господа ташкенцы» могут вписать себе заслугой, что

полвека оставался Ташкент городом хлебным и даже достигнул процветания. А причиной тому — здравомысленная политика, исполненная для данных исторических условий определенной политической нравственности. И опять-таки, не царствующие Романовы — так сказать, генеральные «господа ташкентцы» — ее авторы. Речь идет... о русской интеллигенции, к которой с таким пренебрежением относилась наша классово нацеленная наука, что и место ей нашла вроде ветошной прокладки среди основополагающих механизмов истории. В силу тех же исторических условий так случилось, что во второй половине Девятнадцатого века именно интеллигенция номинально встала у руля восточной политики России в лице Русского географического общества и российского востоковедения. И со всей допустимой возможностью смягчала и цивилизовала традиционный кулачный размах. Как-никак члены Географического общества носили генеральские эполеты, и это вызывало недоумение у ординарных «ташкентцев». А недоумевающий «ташкентец» уже не опасен. Этой неумирающей породы люди сильны именно своей младенческой безоглядностью.

Разумеется, понятие «интеллигенция» не употребляется здесь в том узкополитическом смысле, какой придается ему в философских и прочих словарях. Рожденное в России, оно впитало в себя и часть национального характера с его аввакумовской непримиримостью ко всякой лжи и подлости, в том числе и к варварски-убогому, холуйскому высокомерию по отношению к прочим народам, которое именуют шовинизмом. Здесь также и постоянная высокая революционность — вопреки душевной и нравственной нищете, которую несут в себе и активно культивируют «господа ташкентцы». Сегодня это делается все яснее...

Неоднозначную политическую роль великого русского востоковедения, давшего плеяду блестящих научных имен, предстоит еще изучить энтузиастам отечественной истории. Эта роль просматривается с самого начала процесса завоевания и освоения Средней Азии. А принципом при этом было обоюдно обеспеченное экономическими, и постепенно, многими прочими интересами сосуществование.

Когда русский батальон высаживался на косе Кизыл-Су у будущего городка Красноводска, то командир батальона точно знал, с каким прибрежным иомудским родом вести ему переговоры о проводнике через пески, сколько в роду кибиток, каковы пристрастия и привычки того или иного сердара и аксакала этого рода, как другие иомудские, соудурские или текинские роды будут в этом случае относиться к нему — очевидному союзнику этого рода, сколько ведер воды в сутки и какого качества можно взять в том или ином колодце на всех вариантных путях через

пустыню, и многое другое. Не говоря уж о том, что при батальоне были квалифицированные толмачи и сам командир досконально знал местные обычаи, мог объясняться по-туркменски, по-персидски и даже по-английски в случае незапланированной встречи на неисповедимых путях колониальной войны.

Об этой войне, следует сказать, у поколений советских людей весьма смутное и как бы сказочное впечатление. Если русская пресса прошлого да и начала нынешнего века, как правительственная так и демократическая, с русской прямотой писала именно о колониальном захвате, то наши хитроумные учебники истории повествуют что-то прямо противоположное, исторически несусветное. Но это уже впрямую относится к свеобщему ханабадству, так что оставим развитие этой темы для следующих глав.

Само же завоевание происходило без каких-либо крупных сражений, малыми силами и с повсеместным успехом именно благодаря высокому уровню русского востоковедения в самом широком смысле этого слова. (Не дай бог, тогдашние деятели этого процесса учились бы по нашим учебникам!) С первого же дня практика русского прихода в Среднюю Азию дала ясно понять всем ее народам и социальным группам, что Россия не будет без ума вмешиваться в их внутреннюю жизнь, верования, исторически сложившиеся обычаи, а в политическом смысле станет гарантом мира и стабильности. Это очень важно было здесь, где межфеодальные, межродовые, межклассовые, аламанские войны насчитывали до двухсот и более в году. И было это всегда, от сотворения мира. В прекращении перманентного насилия и заключалась р е в о л ю ц и я, которой должно было здесь хватить на все исторически обозримое будущее. Для эволюции осталось работы на целую эпоху. Это понимал Ленин, говоря об особой восточной политике в период строительства социализма.

Собственно, лишь в отдельных пунктах русские военные экспедиции встречали вооруженное противодействие. Так, в крепости Геок-тепе, оснащенной пушками и имеющей значительный гарнизон с иностранными советниками, русским было дано сражение. После быстрого поражения, сражавшиеся ушли в ближайшие горы и в пустыню. Однако через три дня они вернулись и вместе с военачальниками-сердарами вступили в русскую службу. Хивинский хан, эмир Бухары и более мелкие владетели, со вниманием присмотревшись, посчитали удобным для своих государственных образований, родов и племен такой обоюдновыгодный союз с российским государством. На тысячелетних торговых путях, рядом со старыми и, не мешая им, стали быстро расти новые города, строиться железные дороги, речные и морские порты. Все те продукты, что дехканину приходилось втри-

дешева сбывать старозаветным купцам, теперь скупались по более достойным ценам. На древних базарах появились в избытке дешевые ситцы, самовары и глубокие «азиатские» галоши.

Все это делалось не само собой. Два батальона русских солдат за небольшое количество лет без шума и вдохновляющих лозунгов построили трансазиатскую железную магистраль через две мировых пустыни с сыпучими песками, меняющими русла реками, зонами катастрофических землетрясений. И еще отводы от этой главной магистрали в глубину гор, к самому порогу Индии. Мосты ее стоят на месте и ни один кирпич не выпал из акведуков. А генералы из русской администрации, под воздействием той же интеллигенции, ведущей прямое духовное родство от декабристов и разночинцев, от целого великого периода русской культуры, где имена Льва Толстого и мучеников «Народной воли» — лишь вершина огромной, уходящей в глубину русского характера пирамиды, сами будучи с ней кровно и нравственно связаны, первым и непреложным законом для колониальных чиновников ввели обязательное знание местного языка. За это прибавляли жалование. Неприменение любых форм насилия по отношению к сложившимся здесь постулатам нравственности стало законом. Пресловутой российской административной отваге, которую слабые умы принимают за революционность, был поставлен серьезный заслон. Нетерпение — главный враг всякого подлинного прогресса...

Не следует думать, что господа ташкентцы так уж были стеснены в своих действиях. Если единомысленная родня присутствует на самом верху государства, то внизу все тысячекратно повторяется. Тотальный государственный организм в таком случае представляет некое членистоногое и размножается простым делением. Здесь, как и во всей России, исправники ретиво брали взятки, офицеры пьянствовали и били солдат по зубам, казачьи урядники за бочонок водки пропускали через кордоны караваны с рабами, хоть рабство — тысячелетний бич Средней Азии — было решительно запрещено русским законодательством.

Колониальная жизнь текла своим чередом. Некоторым образом о смысле и духе ее рассказывают тронутые желтизной плотные листы документов. Вот один из них, заверенный собственноручной подписью начальника Закаспийской области генерала Куропаткина и членами особой военной комиссии при наместнике Туркестана... Граф Чернышев, разжалованный за провинности из гвардейской артиллерии в простые поручики и отправленный командовать батареей в крепость Кушку (Это оттуда: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют!»), продолжал там свои буйства и кутежи. В результате произошло следующее. В Кушку с гастролями из Ташкента для увеселения

г. г. офицеров провинциальных гарнизонов прибыл дамский оркестр мадам Скрежевской. Поручик граф Чернышев, войдя в интимную связь с одной из скрипачек из этого оркестра девицей Н., на четвертый день поутру обнаружил у себя очевидные признаки известной болезни. Придя от того в крайнее возбуждение, граф и поручик развернул свою батарею и прямой наводкой расстрелял дом, где обитали участницы оркестра. К счастью, дамы успели разбежаться из этого дома. Дело, в ряду других, передавалось на прямое рассмотрение наместника...

А наряду с этим совершалась подлинная история. В древнем Мерве, легендарной Александрии — Антиохии, где среди холмов из человеческих черепов прошел плугом Чингисхан, чтобы никогда больше здесь ничего не росло и не строилось, с помощью европейских фирм было сооружено образцовое водополивное хозяйство с современной плотиной и первой в Азии гидроэлектростанцией. Она до сих пор дает ток не в пример «Колхозбенту», где который десяток лет все что-то достраивается. Хозяйство, основанное для передачи многообразного агротехнического опыта местному земледельческому населению, было в честь императора названо Александровским. Но то была инициатива, упорный и благородный труд именно той нравственной элиты русского общества, для которой не нашлось полноправной графы в последующей революционно-административной табели о рангах. Элита — это вовсе не ругательство, и тонкий слой ее, как и чернозем создается веками и тысячелетиями. А составляли эту элиту разные люди, от великого князя-наместника до земского врача родом из крепостных крестьян. Здесь не следует путать понятия: ведь и «господа ташкентцы» почитали себя интеллигенцией — оттого только, что ели с вилки ту же баранину.

Так или иначе, а не одно хозяйственно-культурное строительство и связанное с ним практическое просвещение неминуемо содействовали общероссийскому сближению «народов и языцей». Здесь можно было бы много сказать об опытных станциях в тех же Каракумских песках, Фергане, на отрогах Памира, в Голодной степи, о библиотеках и Среднеазиатском университете. Это делалось искренне и с той природной русской щедростью души, которую до сих пор не могут понять некоторые исследователи, скажем, в том же порыве декабристов. Как только не называют это качество: «загадкой русской души», «русским идеализмом» и прочими лишь затуманивающими суть определениями. Вовсе не одно только русское это качество, ибо в разных формах и выражениях присутствует во всех народах. И поэтому навстречу ему так естественно раскрылась придавленная тяжкой плитой тысячелетий нравственная элита древних и великих этносов Востока. Я знал прямых потомков воинственных ханов

Текинских и Иомудских. И не о генералах и офицерах я говорю, что учились в пажеских корпусах рядом с царями, а о крупных и светлых талантом инженерах, о художнике-передвижнике, который пренебрег своим «классом» и умер, подобно многим российским талантам, в бедности от чахотки. Такие примеры имеются здесь в каждом народе, и есть нечто выше канцелярского «революционного» деления людей по упомянутой выше «табели о классах». Впрочем, речь, конечно, не об одних только ханах и сердарах, как и не об одних дехканах, ибо знак подлинной интеллигенции, несмотря на все достижения науки, ставится не по эвклидовым правилам.

Опять-таки по закону равновесия, к «господам ташкентцам» российским живо потянулись местные «ташкентцы», столь же быстро и естественно образовав с ними единую нравственную среду. Это те самые, что пошли в исправники и урядники, сделались волостными, охранниками на тюремных вышках, а то и генералами личной охраны императора всея Руси. И это было тем более знакомо, поскольку многотысячелетний опят был за спиной. Деспотии привлекают для собственной охраны иноязычных рабов или наемников. Так было с потомками Чингисхана в Ханбалыке и с персидскими шахами-каджарами. Первых охраняли русские копьеносцы, а вторых — гуламы-самсоновцы.

Забегая вперед, уточним, что в следующей революции, а также ее издержках, обе нравственные группы — интеллигенция и «господа ташкентцы» — принимали соответствующее своему историческому предназначению участие. Великий русский писатель предупреждал, обращаясь к правительству и революционерам, что всякое насилие неминуемо привлекает к себе морально неполноценных. Но правительство составляли те же «господа ташкентцы», которые по природе своей не способны утвердить себя в человечестве без насилия. Именно бездумное и длительное насилие привело страну к войне, Распутину и общему взрыву. Однако «господа ташкентцы» в результате не исчезли с лица земли, они лишь видоизменились. Все усилия интеллигенции в революции не дать сделаться вооруженному насилию постоянным фактором жизни успеха не принесли. «Господа ташкентцы» кричали революционные лозунги, но в мыслях и сердце у них было одно: «Бар-ранина!» Интеллигенция, а следовательно, сама революция издыхала на лесоповале, корчилась в крови на полу в Лефортове и на Лубянке, а уже тысячи, миллионы распутиных отделывали дубом свои кабинеты, соревновались в цвете персональных машин и ширине бедер своих «секретуток», скупали на валюту бельгийские ружья для персональной охоты в огороженных заповедных лесах, а некоторые уже открывали валютные счета в Швейцарии на себя и своих

детей. Они теперь не писали в суд полуграмотные записки, как делал это пьяный сибирский конокрад, а лишь снимали телефонную трубку — и Фемида с выколотыми глазами послушно прижимала рукой чашку с чугунной гирей. Неслыханный до сих пор пароксизм истории: они, «господа ташкентцы», объявили себя интеллигенцией и революцией. Впрочем, также *наукой, литературой и нравственностью*. «Ум, честь и совесть нашей эпохи» — это они тоже приписали себе. Да мало ли что они приписывают: от поголовья овец до народного счастья. Наступила эра всеобщего ханабадства...

Здесь прямо следует сказать о том, что же позволило этим в общем-то бесталанным людям так ужасающе развернуться, сделаться «солью земли», «господа ташкентцы» обычно не блистают ни в науках, ни в литературе, ни в строительстве дорог. Зато в области управления — ого-го! Кто еще может перегородить Волгу, повернуть в сторону реки всего континента, переселить пять, а понадобится им, так и пятнадцать народов с гор в тундру? Всё — они. На заре еще прошлого века разгадал другой великий русский писатель эту угрозу Отечетству. Помните у Пушкина: Дубровский посылает кузнеца Архипа проверить, не заперта ли дверь в горящем доме, где пируют тогдашние «ташкентцы», учинившие очередное «мероприятие». «Как не так, отопри!» — сказал кузнец и наглухо запер дверь...

Но откуда вдруг в нашем веке произошла их чудовищная сила, подобная гуннскому нашествию? Не сама она явилась. Вернемся в ту же Закаспийскую область начала века, которая состояла в границах, примерно, нынешней Туркмении. Войск там стояло вовсе немного, меньше нынешней полнокомплектной дивизии. Еще меньше было пограничной охраны, поскольку граница была открыта, и курды из Персии перегоняли всякий год в Каракумы на сезонные пастбища стотысячные стада. В свою очередь, туркмены-сарыки перегоняли своих овец на афганскую сторону, к Гундукушу, и обратно. Границу, по существу, сторожили редкие казачьи разъезды, а три или четыре таможни обслуживались каждая пятью-шестью чиновниками. В остальном аппарат управления состоял из канцелярии при начальнике области и шести приставов на местах со штатом из одного-двух писарей и трех-четырех стражников. Все вместе это составило бы в пересчете на нынешнее штатное расписание едва ли треть руководящего аппарата самого маленького из сорока районов республики. А ведь есть областное и республиканское руководство. Руководство по всем линиям: от Союза композиторов до банно-прачечнего треста. Невозможно подсчитать, но думаю, что этот «аппарат» по сравнению с тем, дореволюционным, вырос не менее, чем в тысячу раз. А может быть, в десять тысяч

раз. Чудовищный количественный рост породил качество в виде неслыханного в человеческой природе мутанта. Кое-как контролируемое и сдерживаемое «ташкентство» переросло в бесконтрольное «ханабадство».

Вот каково воспользовались революцией «господа ташкентцы», сделавшись вдруг главной и единственной политически активой силой страны. И опять-таки Ленин с величайшей государственной тревогой предупреждал об этой возможности. Я не хочу бросать тень на всех больших и малых администраторов края как в дореволюционное, так и наше время. Тогда был генерал Кауфман — тот самый, который требовал от своих чиновников обязательного уважения к нравам и обычаям народов края, вступивших в исторический контакт с широким и многообразным российским этносом. В этом смысле о нем оставалась добрая память, и даже Салтыков-Щедрин, мало кого даривший благоположением, нашел для него уважительные слова. Или генерал Колпаковский, засадивший лесами алатауские предгорья и крепко державший в узде великодержавшую «ташкентскую» вольницу, нахлынувшую за добычей в Талас, Пишпек и форпост Верный. Немало было других, в том числе рядовых администраторов, сажавших леса, рывших колодцы, бесстрашно работавших в чуму. О них много лет спустя с уважением отзывались местные аксакалы, и имена их кое-где сохранились на карте края. Также и в «ханабадский» период оставались еще какое-то время люди пламенных революционных лет, пока не пришло время сплошного, оголтелого «ханабадства», когда малейшая человечность и хотя бы понимание национального разнообразия человеческой природы объявлялись святотатством и заканчивались — за экономией дров для миллионов костров — вечной мерзлотой Колыми...

Третья, так сказать, страдательная сторона, к которой, помимо правительства и революционеров, обращался великий русский мыслитель, предупреждая о тщете пути к человеческому счастью способом постоянного вооруженного насилия был НАРОД.

«Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!» Эти слова британского национального гимна, подкрепленные семью веками с момента провозглашения «Великой хартии вольностей», сыграли вдруг недобрую роль. Ливерпульский матрос или лондонский извозчик в колониях никак не желал держать себя на равных хоть бы и с индийским раджой. А это чутко воспринимается народами на любой стадии развития, тем более насчитывающими многие тысячелетия высочайшей культуры. Контакта

глубинного, нравственного тогда не получалось. Как и всякое естественное историческое действие, («ханабадские» мутации — ненормальное течение истории, подобное перерождению клеток в организме) колониальные завоеваяния, наряду с очевидной негативной стороной явления, имеют и свои положительные моменты. Не станем здесь приводить классические примеры, хотя бы древнегреческие колонии в Причерномерье. Но и грубый колониальный захват периода расцвета капитализма, а вместе — расцвета науки, техники, культуры, социальных учений, независимо от собственных хищнических целей, приносит все это и в колонии. Прямолинейная ханабадская философия старательно закрывает на это глаза, когда дело касается «их», и объявляет благостным светочем в ночи даже русский царизм с его крепостнической сущностью. В этом следует разобраться со всей внимательностью.

Дело в том, что история полна парадоксов, так или иначе ведущих человечество к единой цели. Колонии в большинстве случаев не отозвались на этнический призыв английского, французского, немецкого, голландского и т. д. передового по тому времени общества. Они переняли у него в процессе двух или трехвекового общения многие его институты, культурные и технические навыки, иногда даже религию и способ жизни, но нравственно, на уровне души, не сблизились. Результат в этом был прямо противоположным.

Вместе с тем, крепостническая Россия, независимо от своих империалистических устремлений, направила в свои вплотную примыкающие к ней колонии (это тоже немаловажный фактор) десятки и сотни тысяч только что формально переставших быть крепостными солдат и переселенцев. Эти не пели горделивых гимнов и нанимались в батраки к беднейшим дехканам. Вместе работали, ели вместе, учили обоюдно язык. Свой своя познаша. И когда такой российсий человек (а это был русский, украинец, белорус, мордвин, татарин и любой другой) начинал рядом сеять хлеб и строить собственный дом, это было в древнем порядке вещей. Исправник тоже не ведал разницы между двумя соседями, и «своему» даже чаще доставалось по зубам. Вот почему в гражданскую войну в Средней Азии не происходило глубинного разделения по национальному признаку. С той и другой стороны были «мусульманские» воинские части, но почти никогда не страдало русское население. Точнее, страдало, как и во ввсякую гражданскую войну, но больше от «своих», разделившихся на лагери сородичей. Следует прямо сказать, что «национализм» как явление, с которым столкнулось общество в сороковые — восьмидесятые годы — производное все того же ханабадства. К этому мы еще вернемся.

Не только сугубо российская, но и другие этнические волны приливали сюда. Вслед за русскими войсками, высадившимися на Кизыл-су, с другого берега Каспия двигались кавказские переселенцы, в первую очередь армянские каменщики из перенаселенного Карабаха, которые вместе с русскими солдатами строили станции, пакгаузы, вокзалы, Красноводский порт, Ашхабад, Новый Мерв, Чарджуй, составив значительную часть новогородского населения. Нет, не одни «господа ташкентцы» устремлялись в этот древний край, но и люди современно мыслящие, инициативные, не могущие в родных местах найти применения своим способностям. Неспокойные люди, на которых и зиждется прогресс. Не говоря уж о молодом российском предпринимательском капитализме и купечестве, пролагавших пути к Китаю и Индии. Именно сюда они направили своих наиболее способных представителей. И еще энтузиасты — земские врачи, учителя, агрономы, геологи, топографы, шахтные маркшейдеры, художники, литераторы — все те, для которых дешевая баранина лишь счастливо сопутствовала их деятельности. Такова была общая политическая, этническая и культурная картина молодого и одновременно древнего края в преддверии революции.

Мировая война и революция внесли в нее свои естественные изменения, краски и оттенки. Сюда откатились и задержались здесь остатки белых и других движений, причем именно та их часть, которая не пожелала и при поражении расставаться с родиной. Границы тут долгое время оставались открытыми, что накладывало определенный отпечаток на местную жизнь. Как бы продолжив традицию и взяв за основу позиции русского востоковедения, революция первые годы не применяла жестокого, административного насилия по отношению к местным особенностям, давая место и время эволюции. Ленинский завет оставался в силе, несмотря на издержки военного коммунизма. Но уже крутился, стремительно набирая силу, зловещий тайфун ханабадства. На бескрайней центральноазиатской равнине на десятки и сотни километров огораживались «зоны», воздвигались вышки с прожекторами и пулеметами, натаскивались на людей собаки. Люди друг на друга к тому времени уже достаточно были натасканы. В каждом народе, наряду с Мамлякат и Джамбулами, искали собственных Павликов Морозовых. И народов в крае прибавилось: ссыльных москвичей, ленинградцев, тверских и смоленских «кулаков», казанских «подкулачников», жен и детей «врагов народа», чечен, ингушей, калмыков, балкарцев, карачаевцев, немцев, причерноморских греков, турков, курдов, ираноазербайджанцев, поляков, караимов, крымских татар, не допущенных к реэвакуации в прежние места обитания евреев и многих-многих еще, внесших свой элемент в общую панораму.

Именно тут проектировалась самая великая стройка коммунизма, которую должно было видеть с Марса.

Вот с этого, примерно, времени и начинается наш дестан.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Но вернемся в Ханабад, сказочный и одновременно реальный до боли зубовной. Туда, где миражи настолько проникли в жизнь, что трудно уже разобраться в началах сущего. Что было раньше: мираж или сама жизнь? Что по чему должно строиться: жизнь по планируемым миражам, или мираж все же есть мираж? Так сказать, зыбкое недействительное повторение реального мира. «Обманчивый призрак; нечто, созданное воображением, кажущееся». Так сказано о мирах в самых последних словарях...

Победный дебют сразу приобщил меня к практическому ханабадству. Я ездил в разные концы великой пустыни, составляющей девять десятых территории исконного Ханабада. На крайнем ее Западе обмелевшее, по невыясненным обстоятельствам, море превратило остров величиной с небольшое европейское государство в полуостров. Туда уже тридцать лет ездили посуху, но в секретариате «Ханабадской правды» мой репортаж оттуда упорно переделывали на «Остров четырех богатств». Там добывали нефть, озокерит, йод и бром.

— Постановления не было о полуострове,— объяснял мне секретарь редакции.

Побывал я и на колодцах крайнего Юга, где молчаливые люди неподвижно сидели на вершинах барханов и смотрели в белое от зноя небо. Вокруг, в низинах между барханами паслись овцы. Две громадные, с пудовыми челюстями собаки лениво поглядывали по сторонам: не появятся ли жилистые каракумские волки, одинокий барс или гепард. А еще плыл я по буйной, сумасшедшей реке, которая так и называлась в древности «Безумная». В просторечии ее звали грубым словом от присевшей на песок женщины, поскольку она разливалась беспорядочно по пустыне, смывая и унося с собой все попадавшееся на пути. Рванувшись на тридцать километров в сторону, она смыла как-то столицу целой автономной республики. Посередине пустыни купался я в озерах, из которых пили воду гоплиты Александра Македонского, а вокруг синели черепки еще не известных науке цивилизаций.

Но светлой мечтой был Канал, куда я стремился с самого начала. Казалось, там постигну тайну происходящего со мной,

с окружающими меня людьми, с самой природой вещей. Нечто мистическое содержалось в прямых и решительных линиях на карте, которыми исправлялось несовершенство природы. Одна за другой появлялись они между Балтийским и Белым морем, рядом с Москвой, между Волгой и Доном. В порыве чувств хотелось взять линейку, выравнивать реки и берега морей, убирать горные хребты, чтобы можно было уже без всяких препятствий шествовать величавой поступью к сияющим вершинам. Они теперь так и назывались, пунктирные линии на картах — «великие стройки Коммунизма». А делалось все до гениальности просто. Здесь тоже вначале было слово: «Сталин сказал — и расцветут Каракумы!»

Эта стройка была самая великая. Бешеная, с желтыми водоворотами, масса воды беспрепятственно мчалась к тогда еще существующему морю посредине великой Центральноазиатской равнины. Трехпудовых сомов, усачей, метровых сазанов разделывали в рыбожарках по берегам древних каналов степенные, с большими черными усами чайханщики. Стада джейранов чутко вслушивались в тишину вечных песков. И вдруг схватывались с места, вспугнутые чудовищным, рукотворным громом, и мчались куда-то в солнечный зенит, не выбирая дороги. Будто выползшие из древних пещер приземистые машины раздвигали устоявшиеся барханы до самого основания, и поспешно разбегались, уползали из нор и ходов рыжие и песчаные лисы, змеи, ящеры-земземы. Взмахивали ковшами на железных шеях экскаваторы, за ними, уравнивая все живое и мертвое, ползли скреперы. Люди рыли канал, добивались многократного перевыполнения плана, хоть проетировщики еще не установили, где его рыть. Работали здесь пионеры стройки: сотни полторы матерых белозубых ребят с наколками на плечах и разбитных девушек с широкими спинами и непонятной жизнью в прошлом. Из них для нас выбрали двух-трух с более или менее ясной биографией. Изо дня в день мы давали их крупные планы в центральную прессу. Они смотрелись то в кабине бульдозера, то рядом со скрепером или на фоне плавучего землесоса. На блузках у них были прикреплены розданные фотокорреспондентом комсомольские значки, и они снисходительно улыбались в ответ на наши вопросы.

А рядом по каменной, с трещинами, ровности пересохшего такыра до самого горизонта разматывалась новенькая, с синевой, колючая проволока, взбивались загнутые в одну сторону металлические колья, устанавливались прожекторы на вышках. Ждали прибытия барж с подлинными строителями. Сколько их должно было тут быть? В штабе стройки услышал я эту государственно значимую цифру: миллион...

А первые уже явились из некоего небытия. Люди-тени беззвучно собирались в единый прямоугольник. Сидя на корточках, при ослепительном свете прожекторов, они что-то ели из железных мисок. Свет падал с четырех сторон и движения их казались многорукими. По краям стояли люди с собаками. Потом тут же на песке тени укладывались спать. Люди и собаки равнодушно смотрели на размазанный теперь по земле прямоугольник, переминались с ноги на ногу, зевали. Из поселка доносились частушки хора Пятницкого. Миражи и реальность сливались воедино. Любопытно, что тени на такыре так и воспринимались нами, как нечто потустороннее; не имеющее отношения к жизни. Мог ли я знать, что в этом прямоугольнике находится некий казахский писатель, романы которого я буду переводить через много-много лет, где-то в другую эпоху...

С известным всему миру кинооператором я проехал всю тысячестокилометровую трассу грядущего канала, летал на личном самолете начальника строительства и продолжал писать о гордых, полных джеклондонской широты и достоинства строителях канала. Я организовывал их выступления с искренней и одновременно лукавой верой в общественную необходимость таковой работы. Закон миража миллионократно усиливается в собранной воедино человеческой массе. Это чувство растет в геометрической прогрессии, и при умелом пользовании данным обстоятельством можно строить мировые катаклизмы самого чудовищного содержания. Что и выявил «век-волкодав». Впрочем, сравнение не точно. Собака, даже способная удушить волка, обыкновенный зверь, родившийся от другой собаки. Отнюдь не миражное чудовище, выведенное путем сознательного нарушения природного генетического кода...

В кабинете-вагончике начальник строительства — ученик великого Девиса, проработавший три года в Америке и, соответственно, генерал-майор государственной безопасности, сказал вдруг нам со спецкором «Правды», что канал здесь строить нельзя. Это вызвало в нас взрыв патриотического негодования. Клиническая картина такого припадка следующая: мыслительный прогресс полностью прекращается, что-то горячее бросается в голову, начинают чесаться руки, ноги, все тело. И хочется сокрушать врага...

Пожилой человек в мятом кителе без погон подвел нас к карте и коротко сказал: «Видите, река текла к другому морю. Потом случилось поднятие суши, и она потекла сюда, в это море. Поднятие тектоническое всей платформы, по всему горизонту. Понимаете? Не будет вода течь вверх, закона такого нет в природе!» Потом подумал и как-то искоса посмотрел на нас: «Разве что вынесут соответствующее постановление...»

В другом устланном ковром вагончике подтянутый и с парадными погонами полковник, начальник политотдела великой стройки, процедил: «Ну, видели настроения!» И мы целой бригадой засели в темную караульную ночь разоблачать пораженческие мысли «некоторых руководителей стройки». Среди нас не было гидростроителей и даже водопроводчиков, что только облегчало задачу. К утру материал был готов и улетел первым служебным авиарейсом...

Таким образом словно губка, опущенная в благоухающую ванну, я набирался опыта. Однако истинное ханабадство в том и состоит, что его никак не ограничишь исключительно сферой служебных отношений. Оно заполняет человека целиком, заволакивая мозг, проникая в сердце, печень и дальше в какие-то неведомые глубины естества, где скрыта тайна совершенства. То, что любой ханабадец на две головы выше какого-нибудь зарубежного чинуши, миру давно известно. Но вот как преломляется этот удивительный рукотворный симбиоз реальности и миражей в области природных человеческих чувств? Они-то не могут до такой степени подчиняться даже хорошим решениям.

К чести начальства, следует сказать, что оно понимало это. Хоть пункт о морально-бытовом разложении никогда не терял своей значимости, Закон Миража действовал и здесь. Требовалась лишь некоторая аккуратность в действиях, что касалось действительности. Но не дай бог проявиться чему-то такому в самом мираже. Что же, это было логично. Именно мираж, в отличие от действительности, наблюдает сразу множество людей.

Нечего и говорить, что я в своих странствиях познакомился с Элеонорой Васильевной и «Сучий двор» сделался объектом нашего дальнейшего повествования. Требуется объяснить, что это такое. Ничего тут нет недоброго и тем более постыдного. Помните великолепные верещагинские полотна, где краски как бы выгорели от чудовищного ханабадского солнца. На долгом пути через степи и пустыни солдаты строили себя форпосты — замкнутые с четырех сторон, наподобие римских лагерей, строения с огромным двором-плацем посередине. Строились они обычно рядом со старым ханабадским селением, знаменуя собой начало Новому городу. Когда солдаты уходили дальше, в громадных казарменных помещениях оставались жить их жены и вдовы. Они рождали новые поколения, которые чем-то неизъяснимым уже отличались от тех, кто остался в неблизкой родной стороне. Помните то же самое происходило когда-то и с солдатами Александра Македонского. Ну, а название двору осталось от тех первых, солдатских времен, с учетом соблюдения неко-

торых традиций. Элеонора Васильевна была здесь местной львицей, и поскольку ведала финансами в местной «Ханабадской правде», то знала и делила с нами все наши беды и радости. Командировочный — собственный или специальный корреспондент — находил улыбку и непритязательную щедрость души.

Собственно говоря, Элеонора Васильевна присутствовала в каждом пункте необъятного пространства, менялись лишь внешние приметы. Случалось, она была замужем, но это не имело определенного значения. Чаще всего просматривался некий местный покровитель из Ханабадского руководства. Элеонора Васильевна отзывалась о нем со всей серьезностью, как о своем друге, и не любила распространяться на эту тему. Да и сама она обычно занимала вполне достойный пост: инспектора горОНО, профсоюзного работника, заведующего отделом культуры. Впрочем, она всегда была очень мила и умела себя держать. При этом лишь требовалось звать ее по имени-отчеству. С нашей стороны, несмотря на некоторую очевидную двусмысленность ее положения, проявлялось к ней истинно ханабадское благородство.

Будь сейчас время застоя, можно было бы рассказать на эту тему десятки интереснейших сюжетов. Чем и занимаются некоторые смелые романисты, выдавая таковые сюжеты за жгучую правду. Что стоило хотя бы поведать о милых символах, так или иначе связанных с Элеонорой Васильевной. В некий период истории среди асов ханабадской прессы присутствовала мода на скромные знаки внимания в виде недорогих фаянсовых чашек определенного цвета. Их дарили на память Элеоноре Васильевне в подтверждение очевидной сердечной победы. У некоторых был целый набор таких «именных» чашек. С сервизами в то время было несвободно. Увидев такую чашку, выставленную на буфет ничего не подозревающий хозяйкой, посвященный улыбался, мысленно приветствуя своего предшественника. А добившись сам безусловного внимания со стороны Элеоноры Васильевны, дарил с в о ю чашку: синюю, красную или розовую с цветочками. Это был как бы тайный орден, объединенный именем прекрасной Дамы. Ну что бы стоило написать авантюрный роман о периоде застоя и назвать его «Двенадцать чашек»!

Ах, ханабадская газетная молодость, много есть чего такого о тебе рассказать. Так и хочется декламировать что-нибудь эпическое: «Богатыри, не вы!» Слезы невольно навертываются на глаза, и снова видятся миражи, миражи, миражи, слышатся уверенные голоса, выкрики, вопли, ласковый шепот, лай собак. Но нет, были, были светлые минуты! Святые, чистые воспоминания! Где вы теперь, Элеонора Васильевна, как у вас с перестройкой?..

Пусть не уверится читатель, что все, даже л и ч н о е, состо-

яло в то время из одних миражей. Человек остается слаб и в самую героическую эпоху. То нищему вдруг подаст пятнадцать копеек, то, присутствуя в конвое, не выстрелит, когда некая тень шагнет в сторону сорвать клюкву с куста, то над стихотворением заплачет. «Гвозди бы делать из этих людей!» Вот и попробуй. Правда, китайцы говорят, что гвозди делают только из ни на что не годного железа. Так они и пишут иероглифами!

А человек слаб, особенно в делах сердечных. Назовем ее просто Шаганэ, хоть и не встречал я ни разу в Ханабаде такого имени. Тут не будет чашек и прочих атрибутов ханабадского благородства, да и стиль придется менять. Началось с того, что принято было хорошее постановление по усилению работы среди женщин местной национальности. Преподаватели Ханабадского педагогического института, при содействии актива, прочесывали хлопковые поля и тутовые рощи ближайших колхозов, отлавливая не желающих получить высшее образование абитуриенток. Те убегали к предназначенным им мужьям с первого, второго и даже четвертого курсов. Поиски готовых выдвинуться женщин шли и в высших, руководящих эшелонах. В силу положительных анкетных данных и скромного поведения не проработавшая и года после института в школе Шаганэ была взята на ответственную работу в обком партии. Думаю, свою роль тут сыграла и мощная грациозность ее фигуры, которая как бы подтверждала идеологическую устойчивость. Я как раз и познакомился с милой, чистой сердцем и помыслами Шаганэ в период ее неожиданного взлета...

Но снова прервусь для объяснения...

Как механизм, губами шевеля,
Нам толковали мысли неплохие
Не верившие в них учителя.

Мысли — миражи. Это нечто вроде упырей, что под видом живого человека пьют человеческую кровь и высасывают мозг. Будешь идти все вперед из последних сил, но вместо пальм и светлого моря воды обретешь проступившую сквозь иссохшую корку земли сверкающую на солнце соль...

На этом роковом пути с указателями в направлении сияющих вершин я все же нет-нет, да и бросал взгляд в сторону. Что-то потаенное, ускользающее от глаз находилось там, и это был не мираж. Сама жизнь пряталась в каких-то щелях и складках, с головой укрываясь маскхалатом с миражными пятнами. Там, в стороне, пребывал изначальный Ханабад, столкнувшийся с

новой, так сказать, научной системой ханабадства. Что там, за оплывшими дувалами, за глухими, без единого окна, стенами, за бесстрастием лиц и движений, отрицающих саму идею миража? Каково пришлись химеры всеобщего ханабадства к опыту их устоявшейся в тысячелетиях жизни?..

Это никак не открывалось сразу. Мне предстоял долгий путь познания, не имеющий конца. Главная трудность заключалась в том, что и всеобщее ханабадство, которое я искренне исповедовал, было по сути не понятно ни уму моему, ни сердцу. Я знал лишь его атрибутику, то есть видел те же миражи. И поскольку сам состоял в этой системе миражей, то считал их основой бытия. Таким образом две линии предстояло мне бессознательно исследовать: линию всеобщего ханабадства, в котором я был вскормлен, и линию ханабадства действительного, имеющего свою историю и географию, где все было подлинное: жизнь и миражи. Представляли ли они собою две параллельные в пространстве или сливались где-то на каком-то отрезке истории? Сами вопросы эти делаются мне понятны только сейчас, а тогда я и не думал ни о чем. Жил себе, и все...

Но это только казалось мне. Со всем пылом молодости и натуры, верующей в миражи, я не мог не войти с ними в роковое противоречие. С первого детского лепета мне внушали, что следует говорит только правду, затем, что «пионер — всем ребятам пример», с молоком альмаматери я впитывал в себя, что «критика и самокритика — движущая сила общества». И вот с самыми добрыми намерениями, не разобравшись, что на дороге к сияющим вершинам суть не имеет ровно никакого значения, я сунулся выполнять совершенно бесперспективную работу: наполнять миражи содержанием. Мне виделась там какая-то плоть. Даже алхимики были практичнее: все-таки предполагали получить золото из какого-то другого элемента. Но что можно извлечь даже из очень правильных сновидений?

На камне разве вырастет тюльпан?

Это сказал великий ханабадский поэт.

С чего же началось все?..

Дородный, с приросшими к голове огромными мясистыми ушами, он улыбался всем своим широким лицом с крупными желтыми зубами. В глазах его «стоял жир», как определяют такое состояние организма ханабадцы. Не только цветом зубов, но чем-то еще неуловимым был он похож на довольного жизнью

балованного слоненка. Пилмахмуд[1] — так и звали его беззлобно подчиненные. Была в нем какая-то естественная, располагающая приветливость. Я смотрел без улыбки на него, совершая внутреннее усилие, чтобы не поддаться этому естественному обаянию, готовый вот-вот не поверить документам, многочисленным свидетельствам, даже собственным глазам.

Потом я всю ночь писал фельетон, и передо мной стояло его лицо, слышался мягкий, покровительственный голос. Меня ставило в тупик какое-то собенное движение его сытой руки. Нет, не отметающее факты, а как бы не придающее им того значения, которое придавал я. В этом движении содержалась некая абсолютная уверенность. Не было и тени не то что страха, раскаяния, но и намека на тревогу. На руке его покоились золотые часы «Победа» с браслетом — те самые...

«Тот самый Пилмахмуд» — назвал я свой первый фельетон. Какая-то давно не испытанная внутренняя дрожь стояла во мне. Он уезжал на курорт, Слоненок, и от каждого из трех детских домов области ему было преподнесено по паре этих первых послевоенных золотых часов. А кроме того, по четыре и по пять тысяч рублей деньгами. Что он получал от обычных школ, мне было неизвестно.

Такую дрожь я дважды испытывал лишь в войну. Накануне я побывал во всех этих детских домах и видел, что вместо трех конфет-подушечек с повидлом детям выдают только по две, а наказанным вовсе ничего не дают. Там содержались дети, оставшиеся одни на белом свете после ленинградской блокады, Харьковского сражения, досрочного взятия нашими войсками Киева, после Керченского рва и Бабьего яра. И были там местные ханабадские дети с черными неулыбчивыми глазами. Сливочного масла, что завозили туда каждую неделю, я нигде так и не увидел. Не было там розового «ханского» риса, как значилось в накладных, не было мяса от забиваемых ежедневно баранов, белого хлеба, зеленого чая. Была каша из крупы — маш. Днем этот маш плавал в супе и вечером опять присутствовал в каше. Лишь в одном из домов я разглядел в погнутых черепках и мисках редкие пятна сырого хлопкового масла. Лица у детей были голубыми, а руки какими-то бумажными, с чернильными прожилками...

Я почему-то не верил, что фельетон выйдет. Не из-за кричащих фактов или чего-то там еще. Просто не был уверен в своем умении, хоть написал уже пьесу, которая шла в ханабадских театрах, простых и академических. В ней все отвечало традиционному ханабадскому реализму.

---

[1] Слоненок *(туркм.)*.

А фельетон вдруг вышел чуть ли не на следующий день. Он занял полный «подвал» и через всю полосу крупно значилось: «Т о т с а м ы й П и л м а х м у д». В пятидесятый раз я рассматривал его, читал отдельные абзацы и весь фельетон от начала до конца. А потом наступила тишина...

Это чувство во все времена хорошо знакомо ханабадским газетчикам. Они ждут грома, испепеляющей мерзавца молнии со стороны обкома партии, ЦК, наконец, возмущенной общественности. Ведь вот они, факты: многократные ревизии, свидетельства десятков людей, в том числе директоров школ о регулярных поборах. А вот акты милиции о продаже на сторону детдомовского масла, мяса, детских ботиночек. Вот собственный дом на восемь комнат с садом, построенный в один какой-то год Пилмахмудом, а в доме ковры во всех комнатах по полам и на стенах. И собственная «Победа» помимо служебной. Это через каких-то пять-шесть лет после окончания войны, в которой здоровенный как бык Пилмахмуд по неизвестным причинам не принимал участия. Но шла неделя, другая, прошел месяц, а заведующий областным просвещением спокойно подъезжал к исполкомовскому зданию, поднимался к себе на второй этаж. Ему приносили чай, фрукты, еще что-то завернутое в бумаге, и он запирался с молоденькой секретаршей, чтобы без помех работать над методикой преподавания Конституции СССР. Именно в этом предмете был он дипломированным специалистом.

Знакомые обкомовцы при встрече со мной играли глазами и поджимали губы. Лишь один заведующий школьным отделом Шамухамед Давлетов, донашивающий с войны английскую зеленую шинель, сказал мне, моргнув единственным глазом: «Знаешь, чей он племянник!». А я... не понимал.

И еще моя милая Шаганэ, широко раскрыв свои бездонные глаза, шептала мне что-то, о чем слышала в кабинете первого секретаря обкома товарища Атабаева. Тот будто бы сказал, что Пилмахмуд ценный работник, и не следует сгоряча решать его судьбу. В редакции мне ничего не говорили, хотя что-то знали. Наш редактор, крупный мужчина с розовыми прожилками на белой коже и седеющими волосами, поощрительно кивал мне, но в глазах его стояла как бы стылая вода.

Зато как-то рано утром в мою калитку раздался тихий стук, и маленький, в огромном рыжем тельпеке человек, оглянувшись на обе стороны улицы, вошел во двор. В руках у него был большой, по-ханабадски перевязанный платком узел. Сняв глубокие калоши и оставшись в цветных носках домашней вязки, он прошел в дом и принялся раскладывать на столе документы: справки, выписки, вырезки из газет.

— Сагадуллаев — негодяй!..

Это он сказал убежденного, сверкая маленькими жгучими глазами. Когда он уже уходил, я показал ему на забытый узел. Он развернул его: там был великолепный агатовый изюм на металлическом блюде, килограмма два лущеного миндаля, что-то еще, по-видимому, мясное. С большим трудом заставил я его завернуть все это и забрать с собой. Он согласился лишь после того, как я взял с блюда символическую горстку изюма.

Всю неделю занимался я этим делом. Приходивший ко мне человек оказался преподавателем педучилища, бывшим некогда его директором. А нынешний директор Сагадуллаев, как свидетельствовали многочисленные документы, открыто занимался продажей дипломов по установленной таксе, брал с каждого поступающего деньги, фальсифицировал экзаменационные работы. В училище состояли преподавателями одни лишь его родственники или родственники заведующего облоно Пилмахмуда. На столе у меня остались лежать заверенные копии двух дипломов за подписью Сагадуллаева, выданных никогда не учившимся здесь людям и даже жившим совсем в другом месте.

Но я сделал больше. С помощью заведующего школьным отделом обкома партии Давлетова провел контрольную проверку экзаменационных работ в училище и выяснил, что две трети их слово в слово повторяли друг друга. Одинаковыми были даже многочисленные ошибки, допущенные неизвестным автором сочинения на тему: «Образ положительного героя в ханабадской литературе»...

Сагадуллаев терзал руками пресс-папье, переворачивал графин с водой, ломал на столе карандаши. Он пронзительно кричал, что знает, чьи это происки против него, честного коммуниста, отдающего все кровь делу Ленина-Сталина. Ханабадцы умеют образно говорить. Товарищи из комиссии ЦК с участием товарищей из обкома партии внимательно слушали его, что-то черкали в одинаковых глянцевых блокнотах. Так же молча слушали они показания преподавателей училища, завхоза, сторожа, двух уборщиц. Все были возмущены фельетоном, порочащим коллектив, как раз развернувший сейчас борьбу с влиянием Марра и его последователей в языкознании. Я облегченно вздохнул, лишь когда призвали, наконец, бывшего директора училища. Тот вошел, со всеми поздоровался, и тихо присел на краешек стула. В мою сторону он не смотрел.

— Тут вот ваша объяснительная записка по поводу фельетона,— товарищ из ЦК неспешно переворачивал большим и указательным пальцами мелко исписанные листы в косую линейку.— Вы пишите, что корреспондент принуждал вас давать показания на товарища Сагадуллаева.

— Ага, принуждал! — закивал тот головой.

— А факт с подношением корреспонденту подтверждаете?

— Ага, подтверждаю.

— Он брал что-нибудь у вас?

— Ага, брал... Кишмиш брал, миндаль!

Я сидел совершенно спокойный. Все происходило как бы вне этого мира. Прозрачный радужный туман плыл перед глазами: явственно виделось голубое озеро, пальмы.

— Напишите подробную объяснительную!..

Это уже обращались ко мне. Я положил на стол копии незаконных дипломов, акты проверок, ревизий.

— Это все частности! — сказал товарищ из ЦК, не взглянув на них.

Я шел по улице все в том же радужном тумане, с удивлением вглядываясь в лица встречных людей. Они были какими-то другими — не теми, какие я знал до сих пор. Почему же они такие? Ведь у детей, у сирот отнимают маленькую конфету с повидлом, чтобы были на курорте карманные деньги у Пилмахмуда. Дипломы продаются невежественным людям, и те потом учат детей. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи — все смешалось в голове, и я никак не мог ухватить какую-то определенную нить. К утру у меня поднялась температура, и три дня я пролежал в какой-то пустоте, без низа и верха. Я был гол и невесом, и еще будто прожекторы светили с невидимых башен... С восьми лет у меня не было температуры. Даже в войну, когда, обкалывая ледок, поднимался с промерзшей земли.

Но все закончилось, и я снова чувствовал запах распускающихся почек, слышал журчание воды в арыке, смотрел на солнце, на звезды. Шаганэ сообщила мне, что товарищ Атабаев сказал по поводу дела с педучилищем:

— Видите, опять опровержение. Этот новый товарищ корреспондент, как видно, не имеет опыта...

И тут мне из редакции переслали одно письмо. Их много было, писем, в связи с моими фельетонами, но это содержало конкретные адреса: «Поезжайте в такую-то и такую-то школы, посидите на уроках, а потом посмотрите у директоров документы об образовании». Вполне реальная подпись стояла под письмом, и я поехал...

Это был, разумеется, тот самый ханабадский колхоз, где все уже были мне знакомы. Меня и принимали радостно, как своего: расстелили дастархан, принесли чай-пай. И были несколько обескуражены, что я пил один только чай.

Школа была такая, как я уже предвидел: с большими пропыленными окнами и деревянным полом. Директор, учивший детей географии, долго не приходил — все искал что-то на школьном складе. Оттуда он принес свернутую вчетверо поли-

тическую карту мира. Когда он ее разворачивал, облачко пыли поднялось к обитому фанерными квадратами потолку. Тут и там на ней были видны ровные кружочки и следы присохшего чая. От сухости воздуха карта полопалась на сгибах, так что от нее отслаивались целые пласты океанов и континентов. Это не смутило директора.

— Наглядное пособие! — сказал он значительно, показывая на карту.

Что-то было вызывающее сочувствие в его худой несуразной фигуре, в потертости довоенного пиджака, прикрывающего старые ханабадские штаны, в доверчиво раскрытых глазах. Он вызвал к доске лучшего ученика, и я узнал его. Это был тот самый малый, что возил на сессию женщину-депутата. По-свойски улыбаясь мне широкой ханабадской улыбкой, малый бойко рассказывал о достижениях трудящихся в хлопководстве, шелководстве, овцеводстве, верблюдоводстве и прочих отраслях. При этом он совершенно точно показывал на карте обведенные чернилами просторы Ханабада. Потом директор объяснял новый материал, вычитывая его из лежащего перед ним учебника. Рассказывая о Балтийском море, он упорно водил указкой где-то между Италией и Грецией. Я отвернулся к окну...

Потом я смотрел личные дела учителей. У директора была справка с большой райисполкомовской печатью, удостоверяющая, что заменяет собой утерянный диплом. Район, где она была выдана, находился на другом конце великой ханабадской равнины. Точно такие же справки были еще у двух учителей. Не в силах больше видеть чистый, доверчивый взгляд директора, я опять попил чай и уехал, ни о чем больше не расспрашивая...

И в другой школе сидел я уже на уроке арифметики, и директор все никак не мог превратить одну пятую часть простой дроби в десятичную. У него тоже была справка с той же исполкомовской печатью. Внизу стояла уже знакомая мне четкая подпись: «секретарь Илия Жуков».

В третьей школе директор оказался ботаником, но справка об образовании у него и у четырех учителей была та же. Илия Жуков начал казаться мне волшебником, могущим взглядом останавливать течение рек, напускать глад и мор, или, наоборот, осчастливливать племена и народы. Поэтому с некоторым даже волнением подъезжал я через несколько дней к тому Ханадабу, где было его местообитание.

— Жуков? — переспросил меня в райисполкоме суровый человек в белой фуражке и брезентовых сапогах.— Так это, верно, Илья Захарович. Только он давно уже тут не работает.

— Как его найти?

— А вон там, в чайхане. Где же ему еще быть!..

Перейдя поросшую редкой, притоптанной колючкой площадь, я зашел в древнюю ханабадскую чайхану с резными деревянными подпорками, где в полумраке сидели старики. Они пили зеленый чай и вели свои негромкие разговоры, время от времени выплескивая опитки на подметенный травяным веником глиняный пол. В глубине возвышался на табурете пятиведерный самовар с двуглавым орлом и медалями. А у единственного окна с выставленной, по теплому времени, рамой стояли три или четыре столика. За одним сидел квадратный, с необыкновенно широкими плечами человек в выцветшей майке, под которой виделась на груди синяя русалка. Брюки у него выше колен были завернуты и пришпилены английскими булавками, а рядом со стулом стояла самодельная тележечка на подшипниках. Я знал все это. Сотни тысяч и миллионы их ковыляли и ездили так целых пять или шесть лет после войны. Были и ухватистые, что, прирабатывая к пенсии, сидели по двое на углах или ходили в поездах и трамваях с орденами от плеча до плеча. Навеки простуженными голосами они снова и снова напоминали о моряке Черноморского флота, просившем перед боем передать жене прощальный привет, а сыну бескозырку. Потом в один какой-то год, точнее в одну осень, они все куда-то исчезли. Говорили об островах, куда собрали их всех, которые непридомные, чтобы они там спокойно жили и не позорили нашу великую Победу. Разумелось, что им там хорошо, само государство заботится о них. И все, взрослые и дети, знали некую правду, но всевластный мираж воздействовал на всех, от пионеров до маршалов...

Он посмотрел на меня пронзительным бешено-радостным взглядом, будто знал, зачем я приехал.

— Садись! — и налил мне служебную порцию из стоящей перед ним бутылки. Я тоже ничего не говорил, мы с ним звякнулись и выпили, захрустев луковицей. Мне все здесь было понятно. Я знал уже, что денег он не брал за свою подпись и печать, одно угощение: триста граммов и закуску, никогда ничего больше.

— Советскому человеку следует верить,— сказал он.— Коли говорит, что утерял документ, значит, правда!..

И опять бешеное веселье в светло-голубых глазах.

О святая ханабадская простота, которая то ли хуже воровства, то ли сродни гениальности!..

На этой мой материал даже и опровержений ниоткуда не поступало. Лишь товарищ Атабаев мимолетно заметил, что нужно передовой опыт в школах пропагандировать, а не копаться в грязном белье. Так сказала мне Шаганэ. В обкоме партии

смотрели на меня со спокойной доброжелательностью, даже с неким сочувствием. Так смотрят на неразумное дитя, которое топает по лужам, обрызгивая прохожих.

Я полетел в министерство просвещения. Заместитель министра, представительный мужчина с твердым подбородком, не стал уходить от сущности дела.

— Мы посоветовались, где надо. В середине учебного года поднимать вопрос, обезглавливать школы неразумно. К тому же у товарищей опыт руководства, заслуги...

— А как с Пилмахмудом? — спросил я.

Он посуровел лицом, словно некая форточка закрылась в глухой стене. Мы оба молчали. Это длилось невыносимо долго. Потом я пожал его неожиданно очень мягкую руку и вышел в коридор, на улицу. Там ходили люди, сигналили автомобили, прыгали воробьи...

Второй секретарь ЦК Компартии республики товарищ Тарасенков всей своей громадной фигурой легко вышел из-за стола, с чувством потряс мне руку...

— Так он же сын рыбака!

— Кто? — не понял я.

— Товарищ Балтабаев. Пилмахмуд ваш. Правильно вы его пропесочили. Мы уже предупреждали его, чтобы вел себя скромнее...

И вдруг я ощутил, как из неведомых глубин прилила к лицу горячая волна, залила щеки, голову.

— Так он же вор, подлец. Подушечки у детей крадет, у сирот...

— Какие подушечки? — спросил озадаченно товарищ Тарасенков.

— Конфеты дешевые такие, с повидлом в середине. Это все равно, что у слепого нищего из шапки мелочь украсть, еще хуже!..

— Вот мы и преупредили его, чтобы не допускал нескромности. А тебе советую...— Он по-свойски, по-товарищески чуть снизил тон, даже руку положил на стол близко к моей руке.— Как коммунист коммунисту. Не следует рубить сплеча. Да, ошибся человек, с кем не бывает. Но вот говорил я тебе. Он из трудовой семьи, сын рыбака. И для просвещения сделал немало, заслуженный работник школы, два ордена имеет...

И вдруг я увидел в его глазах уже знакомое мне выражение. Да, да, то самое бешеное веселье, что увидел я у инвалида без обеих ног, выдававшего справки за триста граммов водки любому, кто обращался к нему. Но нет, у того было просто яростное неприятие сотворенного чьей-то непреоборимой волей миража. У этого была еще и насмешка над чем-то святым, дорогим мне

и всем бесчисленным людям, которые были рядом со мной в пионерах, в войну, и теперь, когда только недавно появился в магазинах свободный хлеб. Он откровенно смеялся над этим.

— Что же, если сыну рыбака можно отбирать у сирот конфету, то у меня отец в Первой Конной был. Значит, мне кого хочу вполне зарезать можно. Как у Бабеля?

— Какого Бабеля? — насторожился он.

— Писатель был такой.

— А, писатель...— он пренебрежительно подвигал пальцами.— Дело надо делать, товарищ Тираспольский. Вот у нас в некоторых колхозах социалистическое соревнование хромает, а газетчики наши молчат. Взяться бы вам за эту проблему. Перо у вас бойкое, хорошее. И мы поддержим...

Смех не уходил из его голубеньких глаз, спрятанных в мясистом лице. И черные иголочки виделись в зрачках.

Произошло невероятное. То есть вполне объяснимое с моей т о й точки зрения, но все же немыслимое с позиции ханабадского опыта и здравого смысла. Есть, видимо, нечто притягательное в состоянии транса правдоискательства, в котором я тогда непрерывно находился. Так, очевидно, киты разом выбрасываются на берег, заразившись неким неотвратимым чувством. Так или иначе, а мой редактор, полный избыточной крови флегматичный человек, начинавший некогда вместе с Кольцовым и два месяца молча слушавший мои пионерские тирады на тему партийной чести и совести, вдруг побагровел, ударил кулаком по настольному стеклу и попросил всех выйти из кабинета. Весь день он сидел там и что-то писал. Рвал написанное и писал снова. Секретарь Мария Николаевна вынесла от него две корзины изорванной бумаги, что-то печатала всю ночь. Затем заместитель редактора Аркадий Митрофанович Моторко вдруг срочно выехал в Москву...

Они полны были властного спокойствия, два прибывших самолетом товарища: замзавотделом и завсектором. В хороших двубортных костюмах, они с любознательностью смотрели в закопченное стекло на случившееся как раз тогда солнечное затмение, разглядывали идущего по Гератской улице из старого города верблюда, ели со всеми в обкомовской столовой. Все документы были собраны к ним в отдельный кабинет. Заведующий школьным отделом Шамухамед Давлетов передал мне, что внимание товарищей сосредоточено на делах училища, чтобы не распыляться на другие вопросы. К ним вызывались Сагадуллаев, бывший директор, секретарь патртбюро, председатель месткома, комсомольский секретарь. Меня не звали. Состоялся у

них серьезный разговор на закрытом бюро обкома, в узком составе. Стало известно, что Сагадуллаеву дали строгий выговор с занесением в учетную карточку. Потом товарищи так же тихо уехали. Это было подобно набежавшему вдруг посредине свирепого ханабадского лета облачку. Пролился дождь, но из-за восходящих потоков раскаленного воздуха капли в большинстве своем не долетали до земли, превращаясь в горячий пар. Это как раз и рождает миражи...

Уже в эти первые месяцы работы стал проступать некий действительный знак Ханабада. Собственно говоря, все было известно и раньше. Что касается истинного Ханабада, то в самой «Ханабадской правде» находились о нем живые свидетельства. Володя Свентицкий, с умным, изборожденным всеми очевидными пороками лицом, повествовал об этом в форме легкомысленной бравады. Так пьяница гордится своими былыми отчаянными похождениями. И был молчаливый, в какой-то мере чужеродный редакции элемент в лице Николая Николаевича Белоусова. Крупный, лет сорока, с открытым взглядом, он только улыбался при этих рассказах. Редактор и остальные относились к нему с уважением. А был он в недавнем прошлом первым секретарем райкома партии в одном из дальних районов, состоял в номенклатуре первой категории. И вот бес его попутал: начал приглядываться к исконному Ханабаду, даже язык выучил. Молчал года три, но тут подвернулся Володя Свентицкий со своим демоническим характером, и вместе они написали статью о случаях средневекового рабства в колхозах района. Подписались полностью, и, что удивительней всего, статья вышла.

— Что же, настоящее рабство? — недоумевал я.

— Да, наследственный раб работает, соревнуется, а трудодни пишут владельцу.

Николай Николаевич виновато улыбался. Володя Свентицкий как ни в чем не бывало мял плохими подгнившими зубами селедочный хвост. Их сняли на одном заседании бюро: прежнего редактора газеты и Николая Николаевича. Володя на время укатил в соседнюю республику. Николая Николаевича, как проявившего уже свой писательский талант, определили на прокормление в ту же «Ханабадскую правду». И это был прямо-таки из ряда вон выходящий либерализм. На бюро требовали дать политическую оценку своему поведению. Покушение было совершено на самое святое: на м и р а ж и.

— И теперь тоже обращают в рабство? — спрашивал я, воспитанный на миражах.

— Рабство тут внутри, патриархальное. Раб вроде принадлежности семьи, ее неравноправного члена. Дадут скот или деньги на калым, вот ты и раб до конца своих дней. Или из

тюрьмы выкупят. Это в отличие от тех прежних рабов-кулов, захваченных в набегах...

Володя Свентицкий, с детства знающий все ханабадские диалекты, говорил об этом, как о чем-то повседневном, вроде очереди в гастрономе. Николай Николаевич, бывший партийный работник, все улыбался...

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Итак, если вспомнить первые мои материалы по досрочному завершению сева в Ханабаде, начало было легким и даже радостным от сознания этой легкости, с какой приобщался я к ханабадскому трибунному слову. Газета, как я уже писал, называлась «Ханабадская правда», и все во мне с младых ногтей было подготовлено к утверждению этой правды в умах и сердцах. Или, как писал в таких случаях великий сатирик, я готов был «уловлять вселенную».

Что же вдруг помешало мне на этом благородном пути? Не враг же я самому себе. И что бы там ни говорили всякие не помнящие родства, народная мудрость гласит, что «рыба ищет где глубже, а человек — где лучше». Та самая ханабадская мудрость, которую истинные патриоты числят высшим выражением народного духа. Сюда же относится известное всему миру ханабадское терпение, являющее собой особую гордость патриотов. Разве не в его честь провозгласил многозначительный тост величайший ханабадец всех времен и народов. И вот же любят его истинные патриоты, забыть не могу. При их профессии — любить народ — как раз терпение этого народа к очень большой их пользе. А коль объект любви вдруг проявит строптивость или, того хуже, захочет подать на развод, то есть прямой ханабадский путь к восстановлению чувств. Заявление в парторганизацию — не любит, мол, пора ликвидировать как класс.

Но это к слову. Почему же я сбился с прямого пути, стал копаться в грязном белье, выискивать отдельные недостатки в счастливом и радостном, можно сказать, праздничном ханабадском жизнепрепровождении. Театр ведь всегда праздник. Наверно, есть в каждом человеке червоточинка, подталкивающая его к клевете, очернительству, от которых недалеко и до прямой измены великим принципам всеобщего ханабадства. Пусть же для тех, кто не может поступиться этими принципами, мой пример послужит доказательством их святой правоты...

Между тем, окружающая среда (как видите, я пользуюсь строго ханабадской терминологией) способствовала выполнению предназначенной мне задачи, а именно «уловлению вселенной».

Некоторые штрихи, в образе и поведении моих товарищей и учителей — Михаила Семеновича Бубнового, Женьки Каримова или Гулама Мурлоева, именуемого в колхозах «Гель-гель!» — уже знакомы читателю. Следует лишь расширить это знакомство, чтобы в полном объеме представить ханабадскую прессу тех поистине незабвенных исторических лет.

Вспоминается длинный коридор редакции с камышитовыми стенами и картонными дверями. Знаменитое ханабадское землетрясение буквально стерло с лица земли столицу республики, и рядом только строится небольшое каменное здание для республиканских газет. Как и все ханабадские учреждения, они теснятся во времянке, а в узеньких, перегороженных фанерой пеналах сидят впятером. Пожалуй, это было бы вовсе невозможное состояние — сидеть так, вплотную друг к другу, в ханабадскую жару, когда человек себя чувствует как бы обложенным сухой и горячей ватой. Стоят здесь столы и стулья, а люди ходят из комнаты или на угол к Варжапету пить пиво. Впрочем, не одно пиво, скажем прямо. И вряд ли этично сегодня, с высоты нашего понимания жизни, их за это осуждать. Невыносимо нормальному человеку жить в системе миражей и не принимать снотворного. Возникает естественная необходимость отравить каким-то грубым предметом сам организм. Каково же тому, кто не только живет, но активно участвует в создании этих миражей. Уже позже об этом состоянии было с особой точностью написано:

Пшеница сеется, скот размножается,
И все это на правильном таком пути:
Ах, замети меня, метель-кравица,
Ах, замети меня! Ах, замети!..

Здесь следует сказать, что начальство понимало это и, будучи непреклонным в прочих проявлениях свободолюбия, относилось снисходительно к такой, можно сказать, профессиональной слабости. Ведь и на фронте выдавались «наркомовские» сто граммов...

Если в отделах редакции пусто, то в секретариате не протиснуться среди курящих, спорящих, машущих руками, или просто отдыхающих от дежурства сотрудников. Тут уже находится знакомый нам Михаил Семенович Бубновый с черной как смоль шевелюрой, из которой вьется постоянный дымок. Он не выпускает дешевой папиросы «гвоздика» изо рта, и дым почему-то, прежде чем развеяться под потолком, собирается весь без остатка в его жестких, как проволока, курчавых волосах. От этого они всегда ядовито блестят, будто смазанные ипритом.

Боюсь, что от предыдущего знакомства останется не совсем лестное представление об этом заслуженном ханабадском журналисте. Он очень добрый и достойный, по-своему, человек, немало испытавший за свою бурную жизнь. Был беспризорником, махновцем, политбойцом в Первой Конной армии, газетчиком, кинодраматургом немого кино, заключенным, снова газетчиком на фронте и теперь вот здесь, в «Ханабадской правде», специальным корреспондентом. Его уважают редактор и товарищи за профессиональную честь, ясность чувств и верность газетному долгу. Он, так сказать, представляет из себя эталон ханабадского газетчика.

Да и другие мои товарищи вовсе не прирожденные мерзавцы, а самые обыкновенные люди. Вот ответственный секретарь, мой близкий друг. У него тоже валит дым из нечесаной каштановой шевелюры, но только приятный, душистый, от недавно вошедших в обиход сигарет «Золотое руно». Еще до войны юнкором выступал он в «Пионерской правде» с корреспонденциями о жизни пионерского отряда, в войну служил в дивизионке, затем работал в разных печатных «органах», областных и республиканских. Было дело, написал повесть, напечатал в местном журнали, но как человек честный и практичный, понял, что писателя из него не получится. После чего со всей страстью души продолжает нести неотвратимый крест. Другой жизни для себя он не представляет, со всей серьезностью относясь к организации материала, откликам трудящихся и информации о подвигах ханабадцев в социалистическом соревновании. Иногда пишет фельетоны по поводу отдельных недостатков. А потом мы сидим у него дома на веранде и всю душную, с расплывающимися звездами ханабадскую ночь сражаемся в преферанс с соответствующим сопровождением, бессознательно стараясь вытравить из себя дневные миражи.

У окна стоит, изящно откинув тонкую аристократическую руку, Володя Свентицкий. Лицо у него как бы изжевано больше обычного, и умными человеческими глазами он напоминает сатира со старых гобеленов. Если можно так выразиться, он художественно уродлив. Отец его — известный русский военный хирург-генерал, оставивший след в мировой медицинской науке, мать — красавица, прима-балерина императорских театров. Волею гражданской войны они оказались в Ташкенте, где и родился будущий ас ханабадской журналистики. По семейному преданию, мать через три дня после рождения сына повесилась. Мы — бесцеремонные люди и прямо говорим Володе, чтобы посмотрел на себя в зеркало. Могла ли не повеситься уважающая себя женщина, увидев, кого она родила.

А Володя, помимо польского по отцу и семейного француз-

ского, выучился, как мы уже говорили, всем ханабадским языкам и наречеям вместе со всеми же бытующими тут пороками. Он принимает опиум и колется морфием, ссылаясь на спайки от фронтового ранения. Прерывается это время от времени вполне вульгарным запоем. Блестящих и разнообразных способностей человек, он по высшему классу пишет литературные очерки, где официальные ханабадские миражи вполне естественно переплетаются с миражами его тоскующей души. Получается нечто в высшей мере патриотическое и зовущее на героические свершения. Правда, случаются и накладки.

Его собеседник, мрачный, немногословный, с повязкой на глазу, тоже разъездной корреспондент. Имя его известно здесь в каждой области и республике. Он не любит по каким-то причинам рассказывать свою биографию. Известно только, что в молодости он служил в каком-то трибунале, где потерял глаз и откуда был изгнан за бытовую неустойчивость и, ввиду способностей к художественному творчеству, направлен на укрепление в печать. Я знаю, о чем они говорят. Шла всенародная подписка на заем, и Володя дал живую зарисовку о том, как прошла эта патриотическая акция в одном из ханабадских колхозов. Первым, разумеется, подписался председатель и идущими от глубины сердца словами благодарил партию и лично товарища Сталина за заботу о колхозном крестьянстве. Володя застал этого крепкого, с проседью в волосах, человека на колхозном стадионе, где тот, показывая пример остальным, бодро подтягивался на турнике, что было несомненной творческой находкой. «Я подписываюсь на годовой заработок и призываю следовать моему примеру всех жителей нашего солнечного Ханабада!» — сказал этот человек в заключение беседы с корреспондентом.

Все бы ничего, но откуда-то стало известно, что председатель полтора года назад умер и возглавляет колхоз совсем другой человек, как выяснилось, женщина. Дело обычное, у каждого из нас имеются блокноты с прошлогодними и позапрошлогодними записями, откуда можно взять живую деталь или фамилию. Так в Ханабаде, как мы уже знаем, делается и с официальными докладами на самом высоком уровне. Собственно говоря, факты туда в основном представляем мы, «подручные партии», да и стиль их определяем, будучи призываемыми к орфографическому и синтаксическому их совершенствованию.

В этом случае Володе Свентицкому необходимо было лишь позвонить и справиться о нахождении в здравии и на свободе своего героя, но был — не помнит — чем-то развлечен. Речь между ним и Винником, как зовут его друга и соратника, идет о том, как притушить скандал. Выход известный — уехать Во-

лоде на два-три месяца в соседнюю республику, где его знают и обрадуются возможности оживить газетные листы. Такое уже делалось не раз, к тому же и алименты за эти месяцы можно сэкономить. А можно и остаться, на какой-то срок печататься под псевдонимом. Решают остаться на последнем...

Среди присутствующих находится дама с милым, чуть кукольным лицом и темными влажными глазами. Она тоже курит и невозмутимо слушает вполне мужские разговоры. «Журналист — мужского рода»,— эту ханабадскую мудрость повторяют здесь из поколения в поколение.

А разговоры идут самые что ни на есть ханабадские. Наряду с деловыми: куда «загонять» рапорт о трудовой победе шелководов, поскольку в номере стоят уже четыре победы: овцеводов, садоводов, нефтяников и строителей канала, не считая общественных побед; некто, возвратившийся из командировки, рассказывает последнюю новость об Элеоноре Васильевне. Там, в Ханабаде, она переехала из «Сучьего двора» в Старый город, где строятся новые четырехэтажные дома. Это вызывает всеобщее оживление. Все радуются за Элеонору Васильевну и строят догадки о том, кто из местных ханабадских вождей облагодетельствовал ее квартирой. Нужно сказать, что ханабадская широта души в отношении квартир и прочих государственных имуществ в этом случае безгранична. Все говорят о доброте покровительствующего Элеоноре Васильевне руководящего товарища. Тут же на фоне общего светского разговора вздорный, маленький и круглый как мяч Масюк, налившись кровью, кричит по поводу выброшенной из номера информации о передовом колхозном клубе, но никто на него не обращает внимания.

У стола ответсекретаря разговор идет вокруг Ваньки Ложкина. Высокий, сухощавый, с много говорящей померанцевой физиономией, он стоит в классической позе русского раскаяния, то есть с виноватостью в глазах и готовностью принять заслуженное возмездие. Произошло то, что с регулярностью происходит каждый три недели. Ванька, когда принимает через край, идет говорить в Большой Дом по поводу правды. Домой его отправляют на машине и утром звонят в редакцию. На этот раз он, каким-то образом минуя охрану, пробрался к самому второму секретарю ЦК товарищу Тарасенкову, в кабинете у которого во время разговора заснул в кресле.

С секретарем редакции Ванька не дружит, у них разногласия «по аграрному вопросу», как выражается Володя Свентицкий: Ванька хочет, чтобы тот лежал в земле, а секретарь отвечает ему тем же. Но тут святое дело. Ответственный секретарь снимает трубку и начинает прощупывать у знакомого начальства, насколько силен шум и каким образом можно направить его в

«джар», как именуется в водополивном хозяйстве канал для сброса дурной воды. Пересохшие пески поглощают эту воду и она исчезает, будто вовсе ее и не было. Все сочувственно слушают и уповают на ту самую снисходительность начальства к своим «подручным». Именно так с полным основанием определял несколько позже известный государственный деятель роль ханабадской прессы. Говорили, что после этого ханабадских журналистов долго не хотели принимать в какой-то там международный союз. При этом утверждали, что, мол, подручные в силу самой сути не могут состоять в каком-нибудь союзе: их дело — прими-подай!», а награда — подзатыльник.

Можно и дальше продолжать знакомиться с находящимися тут людьми, и это не лишено было бы определенного рода интереса, но лучше делать это в процессе исполнения ими поставленной временем задачи. То есть «показывать типические характеры в типических обстоятельствах», что является основным принципом ханабадской литературы. Оно-то хорошее правило, да только какие такие могут быть типичные обстоятельства и соответствующие им характеры, если предмет исследования... миражи?

Кажется, тысячу лет, от начала времен, работаю я здесь. Точнее сказать, не работаю, а состою в нерасторжимом единстве с людьми и эпохой. Работа — это когда создаешь нечто, имеющее вес, форму, предназначение. То, чем занимаюсь я со своими товарищами, скорее можно назвать служением. Работа прежде всего сочетается с целесообразностью. Она предполагает сомнение, вариантность действий, выбор. Ее, наконец, можно делать или не делать. Служение не знает всего этого, любые отклонения тут неправомерны.

И я не ведал сомнений. С одной стороны организовывал материалы о досрочном окончании сева, а с другой разоблачал Пилмахмуда. Все совершалось мною в некоем странном диалектическом единстве, где нет места противоположностям. Кажется, если искренний мой гнев вызывали действия Пилмахмуда, то почему же с такой же ясностью не относился я к бесчисленным ханабадским миражам, выражающим в конкретном преломлении захлестнувший эпоху грандиозный мираж всеобщего ханабадства? Между тем, так оно и было...

Теперь в союзе с Шаганэ я принялся за «женский вопрос». Оставив еду и сон, я мчался с нею в Ханабад. Нужно было предупредить действия забеспокоившейся родни преступника, могущей нас опередить. В клети, пристроенной к основному, плотной николаевской постройки зданию, где остро пахло кури-

ным пометом, я рылся в старых записях районного загса. В изъеденных сухостью тетрадях с ломкими страницами. Здесь и там попадались совершенно новые, еще не начавшие желтеть листы. На них стояли четкие невыцветшие печати, и лишь номера и числа повторяли давнишние даты. Новые листы — мы уже знали это — были вклеены за соответствующую цену предусмотрительными людьми. Загс дублировал записи сельских советов. В том году и месяце, что значились в документах восемнадцатилетней Аннагуль Анаевой, мы ничего не нашли. Зато на то же число и месяц, только на семь лет позже, обнаружили четкую запись о ее рождении с указанием тех же родителей. То есть, когда выдали ее замуж, было ей не восемнадцать, а одиннадцать. Потом уже с членами комиссии по делам несовершеннолетних мы поехали в дом к двадцативосьмилетнему грузчику пивзавода Курбану Торсыеву и изъяли у него малолетнюю жену. Здоровенного, с ногами как у слона, грузчика наутро взяли под стражу, а с довольно развитой уже Аннагуль не знали что делать. Отправить к родителям, так тех же необходимо судить за продажу несовершеннолетней дочери. Оставить в доме у мужа незаконно. В конце концов с помощью Министерства просвещения определили ее в интернат для особо одаренных детей. Я стал соображать, что же произойдет, если проверить в одном только районном загсе все новые листы, которые успели там вклеить в регистрационные книги. Сколько юных жен придется отымать от мужей, и как вырастет при этом контингент особо одаренных детей.

— Ну, отсидит муж свои два года, а что потом? — спрашивал я.

— Потом с женой будет жить,— отвечал невозмутимо заведующий школьным отделом партии Шамухамед Давлетов.

— Но ей ведь и тогда будет еще только тринадцать лет!

— Новую справку купит.

И снова летел я на другой конец Ханабада. Здесь было страшней. Ранним утром, когда женщины в красных до земли платьях — кетене — и закушенным яшмаком — платком молчания — равномерно поднимали и опускали кетмени в подсыхающие междурядья, столб пламени с черным дымом встал за дальними дувалами аула. Пронзительный вопль страдания полетел в бездонное небо, к восходящему солнцу, и рассыпался там, в пылающих недрах, тысячами криков невыносимой боли. Женщины опустили кетмени и стояли не шевелясь. Они все знали. Куски жирной сажи, словно клочья обгоревшей кожи, кружась, опускались на землю. В мире наступила полная тишина. И женщина опять замахали кетменями: по восемь взмахов в минуту...

В глазах у Шаганэ я увидел простое и великое человеческое чувство. Она держала обгорелую тонкую руку женщины, почти девочки, в своей руке, и из-под крепких, как маленькие стрелы, ресниц у нее катились крошечные шарики слез. Разбиваясь, подобно жемчугу, падали они на белое покрывало, которым было укрыто лежащее тело, и скатывались на затертый больничный линолеум. Где-то там, за зеркальной выпуклостью глаз Шаганэ стыл мираж. Она уже ощутила его всевластие, когда ей представили отдельный кабинет в обкоме партии. Облик государственности проступал в повороте ее головы, твердости пальцев, в той особой административной заботливости, с которой она наклонялась над другой женщиной, решившей уйти из жизни таким страшным способом. И все же струились эти драгоценные слезы. Долго ли будет продолжаться в ней столь неравная борьба?

Весь ужас заключался в том, что облившая себя керосином и зажегшая спичку женщина остается какое-то время жива. Огненный факел с черными краями две-три минуты полощется на ветру. Длинное платье-кетене обгорает вместе с кожей, вспыхивают верхушки волос, а потом огонь гаснет. И пострадавшая после оказания первой помощи в какой-то момент чувствует себя лучше. Она уже неистово хочет жить, верить в свое спасение, в будущее. И тут наступает мучительный кризис, почти всегда заканчивающийся неотвратимым.

Что-то неясное обозначал этот контраст: белая, с розовым маникюром, рука Шаганэ и черная от солнца и кетменя, в сочащихся кровью ожогах, рука прикрытой полотном женщины. Видны были лишь угли глаз среди завернувшихся струпьев лица. Оно улыбалось, это лицо, верило, жаждало вселенской доброты. До конца своих дней не забуду я эту улыбку... Шаганэ что-то тихо спрашивала, а женщина молчала и все улыбалась. Ох, эта ханабадская способность молча улыбаться! И следователь опрашивал ее и всех близких в доме.

— Ай, белая лошадь приснилась! — сказал суровый старик с ассирийской бородой, аксакал этой семьи.

Возле третьей и возле четвертой жертвы, покрытой струпьями ожогов, сидели мы так, и все они молчали. Была это женщина мать двух детей: они кричали и тянули к ней руки, когда она горела. И девочка — восьмиклассница, получавшая только хорошее отметки. Близких тут же арестовали, следователь раскладывал бумаги, несколько дней записывал показания. Виновные, поскольку находились рядом: муж, брат, учитель, получали сроки. Они тоже молча принимали это, как принимают в пустыне дождь или зной. Я пытался узнать что-то скрывающееся за этим молчанием, но тщетно. Так молчит природа, когда она неживая,

молчат камни, песок. Молчит земля, утратившая возможность рожать...

Снова видел я неприкрытое веселье в глазах товарища Тарасенкова.

— Что же, отдельные самоубийства еще случаются у нас. Так то пережитки прошлого. Не можем же мы давать пищу всяким там труменам, порочить наш социалистический строй. Сам посуди: такие достижения кругом, канал вот строим, голубую реку жизни ведем в пустыню, а тут какие-то самосожжения. Что скажет трудящийся в Америке или той же Западной Германии, прочитав такое. Нет, фельетон твой правильно задержали. Нельзя чернить наши достижения!

Я принялся объяснять, что все не так просто. По статистике до революции почти не было самасожжений, и если они происходят теперь чуть ли не каждую неделю, то следует разобраться, в чем тут дело. Живые люди ведь горят: матери, имеющие детей, школьницы.

— Вот и напиши хорошую, партийную статью на антирелигиозную тему!

— Да если бы не религия, то половина женщин сгорела! — воскликнул я.

— Как так? — спросил он недоуменно.

— А то, что мулла запрещает хоронить таких на кладбище, молитв над ними не читает!

Он поджал губы, мясистые щеки и подбородок пришли в неподвижность. И весь он выпрямился в кресле, как бы придавая особую значимость своим словам.

— Не знаю, как некоторые,— он строго посмотрел на меня, и в темных зрачках появились иголочки.— А я, когда возникают сомнения, говорю себе, что партия лучше меня разбирается во всем. Мы можем думать и так, и этак, а партия знает, что делать. Так как думаешь?

В глазах его играла неприкрытая веселость. Я не мог нечего ему сказать, и он это знал...

Здесь я успокаивался духом. Да и как бунтовать ему, этому духу, когда в прохладной полутьме расстелен благородный ханабадский дастархан, а водка наливается не в надтреснутые пиалы, а в граненые стаканчики из запотевшей от холода бутылки. Потому что в этом громадном доме в два этажа с двенадцатью комнатами есть даже большой складской холодильник. Он находится в подволе и питается от специально протянутой из города электросети. Об этом подвале среди нас ходят легенды: там пирамидами стоят шампанское, армянский коньяк,

крымские вина, а в холодильнике икра, семга, балыки всех сортов. Есть там даже вино, которое лично пьет товарищ Сталин. И других вещей там в достатке: котиковых шуб и габардиновых плащей, для них. Ну, а мы здесь, корреспонденты центральных и республиканских газет, кинохроники, ТАСС и радио, вовсе свои люди. Чай-пай тут происходит самый непринужденный.

Аман-Батрак, из первых героев-хлопкоробов, живой подвижный человек с крупными черными глазами, мой друг. Помимо всего прочего, колхоз его рядом с городом. Поля у него всегда ухоженные, на заем он подписывается первым в области, и мы по очереди пишем о нем очерки.

Не знаю почему, но ко мне он относится с какой-то особенной уважительностью. Дело не в том, что я здешний корреспондент, а в чем-то другом, мне неизвестном. Но я вижу, что Аман-Батрак не в порядке гостеприимства рад моему приезду. Его антрацитовые глаза с красными прожилками теплеют, и хоть может оставить меня сидеть с парторгом или председателем сельсовета, он остается сам, собственноручно наливает мне чай, водку, сидит со мной по два-три часа. И все смотрит на меня с интересом. Так он не поступает даже с корреспондентом «Правды».

Собственно, все мы мало знаем о нем. Рассказывают, что ездил он через границу, торговал людьми, а в земельно-водную реформу привез в ГПУ в мешке голову своего брата-басмача и стал председателем колхоза. Речи свои на республиканских активах он кричит сильным, высоким голосом, непременно упоминая о батрацком происхождении. Глаза у него делаются тогда дурными, мутными и совсем красными...

Сидим мы сейчас у него с областным агрономом Костей Веденеевым, который третий год учит меня своему делу. Он пьет как-то меланхолически, и вечное ироническое выражение не сходит с его красивого, мужественного лица. Костя — агроном от господа бога, и все меряется им соотносительно с хлопком. Двадцать пять лет назад приехал он сюда из первого выпуска сельхозакадемии и с тех пор забыл про свою родину, где сеют рожь, прядут лен и глядят на небо, ожидая дождей. Он и в отпуск с тех пор отсюда ни разу не выезжал. Есть такие фанатики дела, и ему отдают должное. Его, беспартийного, зовут на все пленумы бюро. Мне он сказал, что вполне назначил бы меня агрономом в МТС, так как их все равно никто не слушает. Он скептически относится к моей газетной деятельности, и между нами дружба, самая близкая, которая может быть у людей столь разного возраста.

Мы одни в большом устланном по-ханабадски коврами зале для гостей. Едим, пьем, ждем хозяина.

— Видишь, есть колхозы, где все как следует! — говорю я, как бы продолжая с кем-то невидимый спор.

Ироническое выражение на лице у моего старшего друга становится нестерпимым, и я начинаю горячо ему доказывать, что все дело в людях. Это они виноваты, если что-то не так. Вот Аман-Батрак умный, деятельный человек, настоящий хозяин, и все у него в колхозе: клуб, библиотека, стадион, радио в каждом доме. И трудовая дисциплина тут не то, что у других. Если бы все председатели...

Здесь я осекаюсь, потому что Костя Веденеев цедит сквозь зубы короткое ругательство. Это вечная манера его не участвовать в разговоре, а вот так: произнести что-то непотребное ни к селу, ни городу. Тем не менее я вдруг замолкаю и оглядываюсь. Действительно, все здесь такое же, как и там, в первом моем ханабадском колхозе, где я организовывал материал об успешном окончании сева: библиотека, детские ясли, полевые станы. И так же работают кетменями женщины на полях. Их видно отсюда, со второго этажа председательского дома. Многоцветной неровной группой движутся они в междурядьях, методично поднимаются к небу кетмени из кованого железа, зависают на мгновение и ухают всей своей тяжестью в мокрую глинистую твердь. Я пробовал как-то: самое трудное — вытащить потом такой кетмень из налипшей на него земли. Сделал я десятка полтора взмахов и почувствовал, как свинцом наливаются плечи...

Появляется Аман-Батрак, прижимается необъятной грудью к моему плечу, хлопает по спине, и я сразу забываю все: женщин в поле, кетмени, живые факелы. И вообще, я привык уже к Ханабаду, ибо сам ханабадец и воспитан в ханабадстве. Разница географических поясов, обычаев, языка не имеет никакого значения. В этом и заключается наша великая ханабадская дружба. Мы пьем, едим, говорим о том, кто из председателей в этом году станет новым Героем Социалистического Труда. То есть ханабадствуем во всю ширь души, и я чувствую себя достойным членом общества...

Меня попросили прийти в обком партии. Нет, не к самому товарищу Атабаеву. В отделе административных органов передо мной положили аккуратно прошитую папку с документами.

— Вот, посмотрите, это для вас,— сказал мне заведующий отделом, одаривая широкой ханабадскрй улыбкой.

— С этими безобразиями следует кончать. Тут как раз материалу на фельетон!

Я отогнул скрепки, принялся разглядывать бумаги. Все тут

было яснее ночи. Именно в этот час никто не спал в левобережном Ханабаде. Да, да, в том самом, что стоял здесь со времен Александра Македонского. И мост, построенный в те времена, был целым. Но люди не переходили на другой берег. Все они расположились на левой стороне Хандарьи и наблюдали, как правобережный председатель колхоза отмыкает амбар, продает неизвестным людям мешки с фуражным зерном и считает незаконно полученные от них деньги.

Ровно пять тысяч рублей было в той пачке. Это подтвердили все сто двадцать свидетелей из левобережного Ханабада. Каждый из них написал подробное объяснение по этому поводу. Все совпадало в этих живых свидетельствах: не только количество вывезенных ночью преступным способом мешков с фуражным зерном, но количество денег, значимость купюр и многие другие подробности. Что была ночь, так это не имело значения. Светила, как мы помним, луна, а нам известна из литературы орлиная зоркость истинных ханабадцев, прирожденных охотников и воинов. К тому же, не только количество мешков с украденным зерном, но совпадали полностью даже знаки препинания в объяснениях свидетелей. Разумеется, совершившего столь тяжкое преступление руководителя арестовали, за кражу коллективной собственности ему грозило тринадцать лет. Вопрос в обкоме решен, но следует о р г а н и з о в а т ь общественное мнение против подобных явлений, позорящих высокое звание советского человека.

— Сам Бабаджан Атаевич привел этот пример в речи на партийном активе! — сказал мне, посуровев лицом и сделав движение обеих рук к небу, заведующий отделом.

И мне сразу вдруг увиделся первый руководитель республики. Он был малого, очень малого роста, припадающий на ногу, но с далеко откинутой квадратной головой и трубным голосом. Да, лично Бабаджан Атаевич! В ответ на мой вопросительный взгляд заведующий подтвердил это еще раз энергичным кивков головы.

У меня мелькнула вдруг мысль: а на каком берегу Хандарьи родился Бабаджан Атаевич? Я расспрашивал строной, узнавал у знакомых. Все почему-то уходили от разговора, отводили глаза, как левобережные, так и правобережные ханабадцы. Говорили и так, и этак, но все как-то неопределенно. Опять вставала какая-то стена. Нет, не из камня или иного ощутимого материала, а невидимая простым глазом, словно бы джин заколдовал: тот самый, из кувшина. Дело, как-никак, происходило в Ханабаде, и явление джина здесь было вполне естественно.

Всякий день теперь ездил я туда, говорил подолгу с правобережными и левобережными жителями, проверял накладные, амбарные книги, счета. Говорил и с сидевшим уже полгода

председателем колхоза — степенным аксакалом с орлиным носом и светлыми немигающими глазами. Он молчал и никак не реагировал на представленные мною документы, доказывающие полную его невиновность. В колхозе с довоенных времен не водилось фуражного зерна, ни одного килограмма. И четверо взрослых сыновей старика — все грамотные люди — тоже молчали в ответ на мои расспросы, кому и зачем понадобилось сажать в тюрьму почтенного аксакала — их отца. Лишь один из них, инструктор райкома партии, договорился встретиться со мною на краю города и кое-что рассказать, но не приехал в условленное время. Когда я позвонил ему и спросил о причине его неявки, он ответил: «Ай, ничего не знаю!»

И я написал фельетон в защиту аксакала, указал на вопиющие несуразности в обвинении, многочисленные нарушения закона. То ли повлиял недавний приезд московской комиссии, то ли еще что-нибудь, но старика выпустили из тюрьмы. В один из дней они вдруг все вместе приехали ко мне домой: аксакал и четыре его сына. Сидели, пили чай и не сказали при этом ни одного слова. Потом уехали. Что-то перевернулось в моей душе от этого их молчания...

«Не тех людей берет под защиту этот корреспондент!» — сказал по поводу фельетона товарищ Атабаев. В голосе Шаганэ, передавшей мне эти слова, я впервые услышал тревогу.

— Может быть, ты немножко не так будешь писать? — сказала она мне.— Видишь, и здесь недовольны, и т а м...

Шаганэ ты моя, Шаганэ,
Потому что я с севера, что ли...

Впрочем, я не с севера, а с Черного моря, где тоже неплохие ребята. Все было с ней у меня: соловей, роза, полумесяцем бровь и прочее, официально утвержденное бесчисленным рядом великих ханабадских поэтов и что в новое время стало именоваться в Ханабаде морально-бытовым разложением. Тем не менее, огромная ханабадская луна сглаживала с лица тени, заставляла светиться чудным светом ее глаза, делая их бездонными. Это был волнующий серебряный мираж...

Но Шаганэ вдруг стала меняться. Нет, она была такой же, как и тогда, когда только еще перешагнула из тусклого мира школьной учительской туда, где рождаются молнии и откуда изливается животворящий благостный ливень, напояющий не один только Ханабад, но и «все прогрессивное человечество». Как-то уж не помню, по какому поводу, а скорей без повода, я зашел к ней в кабинет и увидел милейшую Аделину Павловну, сидящую обычно в первом этаже обкома за дверью с железной

решеточкой. Она как раз собиралась уходить от Шаганэ, оставив на столе перед ней плотный, с сиреневой сеточкой конверт. На нем ничего не значилось. В руках у почтенной Аделины Павловны содержалась целая стопка таких одинаковых конвертов, которые она в тихий утренний час разносила по кабинетам обкома партии.

Шаганэ, увидев, что я смотрю на конверт, как-то непонятно засуетилась, даже покраснела немного. Подтянув конверт к себе, она хотела незаметно спрятать его в ящик стола, но конверт там застрял, и она еще больше растерялась.

— Что это? — спросил я без всякого умысла. Конверт явно не относился к вариациям об изменах, соловье и розе и прочему бытовизму. Но почему же тогда она так настойчиво хочет скрыть его от меня? Если в нем какое-то партийное решение, то я ведь собственный корреспондент, номенклатура ЦК. И, главное, почему она краснеет? Ведь у нас не может быть каких-то тайн друг от друга.

— Это... «пакет»! — сказала она.

— Какой пакет? — не понял я поначалу.

— Ну, другая зарплата, партийная.

И тут меня осенило. Ну, как же: это то самое, что Костя Веденеев областной агроном, именует «корытом». Я с недоверием отнесся к этим его словам, тем более, что сидели мы тогда с ним с утра в укромном месте и употребляли чай-пай. Он утверждал, да и в редакции об этом говорили, что в ЦК, обкоме, горкоме и райкомах получают не одну официальную зарплату, а еще и «пакет», в финансовых документах не обозначенный и не облагаемый налогом. Его зовут еще «сталинский фонд», который распределяется среди единомышленников в партийном и государственном аппарате. Это была подлинно сталинская отеческая забота о кадрах. Когда достигнуты такие высоты, не нужно товарищам, отдающим себя великому делу, терпеть элементарные лишения. Мы не аскеты, как какие-нибудь фразеры и идеалисты первых лет революции, которые, ведая всем продовольствием страны, сознание теряли от голода. Слава богу, партия избавилась от таких людей. И распределяются эти пакеты соответственно трудовому вкладу каждого в общую работу. Инструктор получает ежемесячно один пакет, то есть полную вторую зарплату, заведующий отделом — полтора или два пакета, в зависимости от значимости отдела, секретари — по два и по три пакета. То же в исполкомах советов депутатов трудящихся. Разумеется, первый секретарь в таком случае самолично решает, какую категорию установить тому или иному работнику. Так крепнет связь между руководством и низовым аппаратом. Следует только делать это в закрытом порядке, чтобы не возникали ненужные разговоры...

Я вроде бы знал про это, и как бы не знал. И вот теперь увидел воочию.

— А почему фамилия не ставится на пакете? — спросил я у Шаганэ.

— Это не положено. Понимаешь, всего этого как бы и нет. Мы не расписываемся в получении,— сбивчиво объясняла мне Шаганэ.

— А если Аделина Павловна перепутает конверты и отдаст кому-то не тот пакет?

— У нас тут абсолютная честность между товарищами по партии!

Шаганэ сказала это с очевидной гордостью. Она больше не краснела и прямо смотрела на меня. Действительно, что может быть лучше честных отношений между товарищами по партии. Вот только Костя Веденеев. Всегда отыщет какое-нибудь грубое слово. Корыто! Зачем же так?

Вообще, у Шаганэ появились новые интересы. Те негромкие подруги, что были у нее в учительское время, как-то сами собой растаяли в пространстве. Она переехала в обкомовский дом, а они вроде бы остались на прежней квартире вместе с самодельной этажеркой для книг и непородным котом Мурзиком. Он был какой-то несолидный, этот кот, для такого дома. Круг интересов Шаганэ неимоверно расширился, и в центре его находилась ее теперешняя подруга и наперсница Катя Бобыкина. Дружба тоже бывает с одного взгляда.

Она и вправду была свой брат, милая Катюша, и весь городской актив называл ее между собой по-свойски: Катька-вожатая. Сейчас она ведала пропагандой в городском комсомоле, но кличка оставалась по прежней работе в пионерлагере, откуда и была она выдвинута. В первые же пять минут знакомства Катюша просунула ко мне руки под рубашку — погреться, так как вечерело, и это сразу сблизило нас. Вообще она имела необыкновенный талант мгновенно сближаться с людьми, заражать их своим комсомольским задором. Для городского партийного руководства это был незаменимый человек. Когда партийная конференция обыкновенно шла к концу, и уставшие клевали носом в ожидании подсчетов голосов, вдруг где-то сзади, в конце зала, раздавался звонкий и чистый Катин голос:

Споем же товарищи, песню
О самом большом человеке...

И старые хозяйственники с наколками на руках, директоры торгов и парторги, многоопытные руководители, матерые профсоюзные работники, состарившиеся стахановцы оживали, лица

их теплели, покрывались молодым румянцем. Они переглядывались, чувствуя себя единой семьей, соратниками в известном всем им деле, и подхватывали простуженными басами, тенорами, дискантами:

О самом родном и любимом,
О Сталине песню споем!..

О, сейчас уже не услышишь такого слаженного хора, такого искреннего единства, и в памяти до сих пор пор звучит высокий Катин голосок. Кто-то потом обязательно подвозил Катю, потому из этих своих старших друзей, даже если им было под шестьдесят, она говорила с комсомольской простотой: «Петр», «Иван», «Бекдурды».

Но был у нее и постоянный друг — молчаливый беспартийный человек лет за сорок, с широкими плечами и каким-то очень уж спокойным голубоватым взглядом, по фамилии Воробьев. Он ведал розливом уже знакомой нам водки — «мамы» — на местном винзаводе, и, в отличие от других хозяйственников, использующих государственный транспорт, имел к тому времени собственную «Победу» и ездил на ней сам, без шофера. Говорили о прошлых, еще довоенных его судимостях, что и к расстрелу приговаривался за хищения в особо крупных размерах, но он только улыбался, когда заходила речь о его прошлой жизни. Катюша при нем как-то вдруг становилась тише и помалкивала. Он не мог не знать о ее частых поездках с друзьями в машинах, но никогда не предъявлял ей каких-либо претензий. Это был какой-то особый вид дружбы...

А еще Катя незаменима была в праздники. Как-то я застал ее у Шаганэ накануне Первого мая. Она была очень серьезна и заворачивала что-то из старого зимнего белья. Я после Катиного ухода, по грубости натуры, спросил у Шаганэ, зачем той старое, да еще теплое белье.

Шаганэ поджала губы, но потом все же объяснила. Когда женщина громко и самозабвенно кричит в порыве чувств, то с нею происходят маленькие неприятности. При этом необходимо плотное, двойное белье, которое потом выбрасывается. Я как-то не осознал сразу связь между бельем и чувствами. И лишь на следующий день все вдруг понял. Катя стояла на украшенной лозунгами трибуне с отрешенным видом и с поднятыми к небу глазами. В руках у нее был микрофон. Когда очередная колонна переходила на мостовой невидимую черту, она вытягивала далеко вперед шею:

— Пламенный привет советским шелкомотальщикам и шел-

комотальщицам, с честью выполняющим задания партии по увеличению производства шелка в нашей стране!..

Ее голос, начинаясь на немыслимо высокой ноте, тем не менее устремлялся дальше вверх, достигая невообразимой звучности и силы. Страстность ее была искренней. Именно тут, на последнем слове, с ней это и случалось.

— Да здравствуют советские железнодорожники, выполняющие и перевыполяющие задания пятилетки по перевозке народохозяйственных грузов!

Идущие в колонные люди, ощущая этот природный зов, вздергивали головы и начинали печатать шаг, стараясь как можно лучше представить красочность и великолепие своих флагов, плакатов и диаграмм. В естествознании такое состояние особей имеет какое-то свое научное название...

А Шаганэ вдруг изменила походку. Господи, да что же с ней стало? Я увидел это совершенно неожиданно для себя, а может быть, просто не замечал происходящую с ней трансформацию. Куда девалась лебединая плавность движений, неповторимо женственный взмах руки, трогательная застенчивость взгляда. Шаг у нее теперь был твердый, движения уверенные, голос сделался как-то гуще. Я зашел к ней в кабинет и весь даже присмирел под воздействием этого нового ее голоса. Впереди были выборы.

— Ханабад-второй, ты слышишь меня? — она сделала мне знак рукой, указав на стул, и продолжала выговаривать в трубку.— Почему список кандидатов прислали с опозданием? И процент женщин местной национальности занижен. Мы сколько давали в разнарядке: тридцать два процента? А у вас тридцать. Курбанова не местной национальности, она только замужем за Курбановым, я сама проверяла. Мы тут ее заменили...

Она стала считывать с листа утвержденные на бюро обкома фамилии будущих ханабадских избранников в местные, районный и областной советы, сверяя их со списком там, на другом конце провода. Это был тот самый Ханабад, где я начинал свою публицистическую деятельность. Именно там организовывал я выступления женщины-депутата Верховного Совета. Шаганэ так отдалась делу, что, круто прогнув поясницу, положила на стул свое крупное, с натянутым чулком, колено. Что-то задрожало во мне. В длинном обкомовском коридоре было тихо. Я встал, неслышным шагом подошел и обнял ее. Она продолжала давать указания в трубку. Ничто не дрогнуло в ее голосе. Мои действия как бы не касались ее...

Она продолжала зачитывать фамилии, словно бы не интере-

суясь тем, что происходит с ней. В этом была какая-то особая острота ощущений. Ах, Шаганэ, невозможно это забыть!

— Нельзя же так,— сказала она мне потом строгим голосом, повесив трубку.— Видишь, сколько тут работы!

ПЯТАЯ ГЛАВА

Сижу и ем шурпу. Никогда и нигде я не ел ничего вкуснее. Нет, это обычный суп, который едят во всех краях Ханабада: в горах и долинах, в предгорьях, оазисах и пустынях. И не лучшая эта шурпа: разве такую проливал я с ложки тогда, в колхозе, когда организовывал материалы по поводу досрочного завершения сева в Ханабаде. Плов там золотился горой, и сочное, янтарное мясо увенчивало вершину, источая тонкий неповторимый аромат знаменитой ханабадской баранины.

Нет, мясо мой друг Шамухамед, заведующий отделом обкома, привез с собой, и на нем стоял проникающий в глубину до кости чернильный штемпель. В замороженных до белизны волокнах расплывалась несмываемая фиолетовая краска. Этой же краской метилось все в обкоме: столы, стулья, предметы пользования в туалетах, гардины на окнах. Тут содержалось первое нарушение вековой ханабадской традиции. Коренной ханабадец, не проникнувшийся веяниями современной ему цивилизации, ни за что не станет есть замороженное мясо. Вместо килограмма он лучше купит у известного ему мясника только двести граммов, но мясо это будет от зарезанного сегодня утром барана, по всем установленным законам из него будет выпущена кровь, и еще оно нигде не валялось, прежде чем попасть в плов или шурпу. С уважением к бывшему недавно живому существу оно было подвешено на особый крюк, обсушено чистым, естественным ветерком. Занимающийся мясом и всегда уважаемый в Ханабаде человек, так же как дед его и прадед, обязательно знает, в каком месте веет такой ветерок. Мясо, будучи непосоленным, может висеть там и неделю, сохраняя свой свежий, первозданный вид. Они, ветерки, очень разные на земле. Впрочем, подлинный ханабадец, о котором речь, и из двухсот граммов мяса приготовит такой плов, что каждое зернышко риса одинаково пропитается чудным его запахом. Все насытятся, и каждому будет казаться, что мяса в плове было вполне достаточно.

Да, тут смещены акценты. Отец Шамухамеда, высокий сухощавый старик с орлиным носом и белыми молодыми руками, отворачивается, когда сын передает замороженное мясо во двор, кому-то из домашних. Здесь явно небогатый дом. Шамухамед, потерявший глаз на фронте, единственный человек, в обкоме

партии, который носит до сих пор короткую, зеленого цвета английскую шинель. В шурпе, которую мы едим, взбито лишь одно яйцо, масло хлопковое, темное. Оно неочищенное, и его продают на базаре дешевле государственного рабочие хлопкового комбината. А по незыблемым ханабадским законам масло не следует покупать ни на базаре, ни в магазине, пусть оно там даже очищено до полной прозрачности. Один раз в полгода за ним следует ехать в некий отдаленный район, где сохранившийся мастер-устад давит его прессом в колоде из тутовника, и масло — чаще всего кунжутное, не касается при этом железа. Также и сахар почитающий чистоту человек не станет брать в виде песка или пиленый. В разных концах великой ханабадской равнины еще сохранились два или три заводика, выпускающих сахар головками. Он необыкновенной плотности, и когда колют его на мелкие кусочки, синее пламя выбивается из-под пальцев...

Почему же мне кажется такой вкусной эта шурпа, магазинные медовые пряники из грубой муки, зеленый чай с придержанными для гостей прошлогодними конфетами из вареного с мукой сахара? Но я уже знаю, что это от присутствия в этом доме великой древней честности, которая не является продуктом чьих-то умозрительных идей, а составляет саму плоть и душу, передаваясь через бесчисленное количество поколений. Зеленая армейская шинель на друге моем Шамухамеде, заведующем школьным отделом обкома партии, и эта небогатая шурпа в его доме — только видимая часть уходящего в глубины истории процесса. Никакое самое изощренное зло не в состоянии разыскать и облучить своим мертвящим присутствием его корни...

Я знаю также и истоки этого знаменитого восточного гостеприимства, его различные выражения. Истинно ханабадский стол — дастархан в виде расстеленной по ковру скатерти — может быть уставлен сказочными яствами, и щедрость хозяина не вызывает сомнений. Но все при этом так или иначе будет иметь сниженную цену, ибо тут очевидно был притоптан росток все того же дерева. Явно кто-то другой, не имеющий отношения к дому, оплатил эту избыточную щедрость. Совсем иное дело, когда вы понимаете, что в доме ничего нет. Единственная тощая курица бродила на пустом подворье при вашем приезде, а потом вы видите эту курицу в шурпе, приправленной все тем же дешевым хлопковым маслом-сырцом. И отказаться от угощения не смейте, потому что человек всю жизнь будет помнить это ваше пренебрежение его добрым чувством.

Не думайте также, что в исконном Ханабаде главную роль играет кичливость богатством или достатком в доме, свойственная вселенскому ханабадству. Это, особенно в первом случае,

тоже имеет место, но даже и здесь чаще лишь притоптаны, но не убиты до конца вечно зеленые побеги человеческой нравственности. Впрочем, присутствует и такое. Но суть самого принципа лучше всего являет себя в той части Ханабада, где суровость пустыни делает действия человека видными глазу без полутонов и присущего жителям средних широт флера ложной стыдливости. Вы заходите в кибитку или дом-тепе и видите сидящего на кошме хозяина. Он коротко кивает головой и молчит, не делая вам даже знака садиться. Вы садитесь и тоже поначалу молчите. «Мир вам!» — вы уже сказали перед порогом. Лежащий там огромный пес с квадратной мордой ждет этого вашего громкого объявления хозяину о своем приходе. Только не подумайте заходить беззвучно. Сказав «Салям алейкум!», можете спокойно переступать через него. Пес и ухом не поведет: хозяин предупрежден о пришельце.

А теперь вы сидите справа от хозяина и приводите в порядок свои мысли. Они текут плавно, никто не мешает вам думать. Вы не суетитесь, как в тех же средних широтах, не заготавливаете для завязки разговора фраз. Просто молчите. Время словно бы отступило куда-то, сердце ваше бьется спокойно. Потом приносят еду, заваренный чай. Независимо от хозяина вы делаете кайтарму: трижды выливаете чай в пиалу и обратно в чайник, давая остыть и настояться. Ломаете лепешки и едите. То же самое, независимо от вас, делает хозяин дома, так ни разу и не пригласивший вас есть словами или жестом. Все естественно: человек, пришедший в дом к другому человеку, не является здесь кем-то посторонним. Приглашая его есть, тем более уговаривать, подкладывая и нахваливая куски, верх неприличия. Человек сам выберет себе лучший кусок, а если от смущения начнет брать худшее, это вызовет недоумение...

Возникает разговор, такой же естественный. Если о погоде, то только когда она действительно интересует говорящих. И ни в коем случае не станет навязывать тему разговора сам хозяин. А можно продолжать молчать. Может быть, у пришедшего в дом человека такое настроение. Если у него горе, то слова тут излишни. Он может остаться ночевать, и потом уехать, так и не сказав ни слова...

Пустыня приучила к молчанию и созерцательности. О людях, живущих здесь, среди других ханабадских народов существует притча. По поручению общества поехали как-то два из них через пустыню с товаром в Хиву. Собрали со всего аула товары, нагрузили караван. Три недели ехали через пески и молчали. Но вот как-то утром один из них посмотрел на север и увидел голубой купол главного минарета Хивы. Он долго смотрел,

зачарованный, и потом тихо произнес: «Хива!» Другой посмотрел на него неодобрительно.

Они доехали до Хивы, выгодно продали товар, закупили необходимые в ауле вещи и благополучно вернулись домой. Следующей весной старейший аксакал аула, ввиду их прошлогоднего успешного похода, предложил им опять поехать вместе. «Нет, с ним не поеду!» — твердо сказал другой. «Почему?» — спросил аксакал. «Болтал всю дорогу. У меня до сих пор голова болит!»

Но мы с Шамухамедом вовсю говорим. Лишь отец его — аксакал молчит и даже движением брови не реагирует на наш разговор. Его борода, строго подстриженная по трехтысячелетнему канону, с выщипанными на щеках волосами, ниспадает на красный, в тонкую полоску, халат. У рукава и возле воротника видна аккуратная штопка. Внизу на голое тело надета чистая белая рубаха без всяких вышивок и украшений. Собственно говоря, это обычная нижняя рубаха, которую здравомысленно используют здесь в обоих смыслах. Старик смотрит немигающими глазами прямо перед собой, в известную лишь ему даль...

А мы с Шамухамедом говорим... Я многое уже знаю про роды и племена этой расположенной в пустыне части исторически единого Ханабада. Знаю в некоторой степени внутриродовые сложные связи. Роды и племена кочевали по этой пустыне, сталкиваясь друг с другом, объединяясь, разъединяясь, мирясь и воюя. Примыкающие к пустыне шахства, ханства и эмираты заключали с ними единовременные союзы для нападения друг на друга. Рабство, как промысел и составная часть жизни, было столь же естественной частью бытия, как любовь к детям и почтение к родителям. Некто с самыми добрыми помыслами вознамерился отметить его путем объявления в законе о его ликвидации. О извечная вера в силу писанного слова. Я читал законы Хаммурапи, выдавленные на глине и обожженные для вечности. В основе своей очень недурные для того времени законы!..

А рабство продолжалось, лишь видоизменившись, приняв форму того сосуда, который привнесла сюда со стороны новая эпоха. Ну хотя бы то, что теперь трудодни прежнего раба в колхозе «Путь к коммунизму» приписываются его владельцу, да и кнут... Впрочем, кнут сохранился в самом непосредственном его значении. И дисциплина в этом колхозе была образцовая. Когда беременная на последнем месяце женщина не смогла выйти на сбор хлопка, председатель-башлык приподнял ее, как пушинку, и посадил на раскаленный для печения хлеба тамдыр, от чего она тут же и родила. Прямо в эту печь...

Так что о рабстве я теперь уже кое-что знал. В том числе

и о производстве манкуртов — тоже в прямом смысле этого слова. Только не у журженей это было полторы тысячи лет назад. Я сам видел этих манкуртов. Полвека тому: захваченных в соседних краях Ханабада пленников связывали, выбривали им голову и натягивали на нее еще теплую кожу от шеи только что зарезанного верблюда. После этого бросали на несколько дней перед домом на жгучее ханабадское солнце. Человек умирал от жажды, шкура начинала ссыхаться, давить голову. Волосы у человека, не находя выхода наружу, росли внутрь черепа, принося неимоверные муки. И каждый день с утра до вечера пленника — чаще всего мальчика или юношу — били: не со злобой, а по необходимости. Били в обязательном порядке все члены этой семьи: мужчины, женщины, трехлетние дети. Били палками, камчой, прижигали железом, чтобы до конца дней он запомнил своих хозяев. Вечером они же его кормили, давали воду. Через неделю его развязывали, и забывший имя, лишившийся ума, физически здоровый человек мог делать все: пасти овец, носить воду, собирать хлопок, но только не думать и не разговаривать. При этом он хорошо знал своих хозяев и смертельно боялся каждого из них, хоть бы и ребенка. Что же, история показала, что так можно поступать и с целыми великими народами...

Никто из ханабадских писателей и газетчиков уже больше не писал о рабстве. Разве не были мы производным от тех же манкуртов, знающими хозяина. И как быстро сам я свыкся с тем, что это в порядке вещей. Оно существует, вполне классическое средневековое рабство, в системе социализма, и одновременно как бы не существует. О чем бы я ни писал, я обходил этот вопрос. И чувствовал себя хорошо.

Рабство между тем в Ханабаде, помимо классического, сохраняло многочисленные и самые разнообразные формы. Пожалуй, самое распространенное из них — домашнее рабство, когда в полностью зависимом от хозяина положении — душой и телом — находится его родственник или сородич со своей семьей. Он может считаться даже членом семьи хозяина, но так или иначе, это древний раб, которого не пустят за стол, и он доедает то, что осталось после хозяйского дастрахана. В прошлые воинственные времена он обязан был еще и с оружием в руках защищать хозяина. Теперь он просто работает на него. Историческое название ему: гулам, туленгут, мамлюк и другие. Об этом немало написано в ханабадской литературе, да только чаще всего этот институт рабства преподносится в эпических красках: верность, честность и прочие человеческие добродетели...

Знаю я теперь и многое другое, помимо родов и племен, что в различных формах присутствует в разных краях исконного

Ханабада. В этом пустынном краю, в большинстве родов, есть избранные — *иг*. Это сохранившиеся в тысячелетиях потомки древней кочевой аристократии, формировавшей в свое время еще кушанские, парфянские, эфталитские — от «белых гуннов» — государственные образования. В Ханабаде сухой, прокаленный солнцем песок хранит в нетронутости не только древние предметы, но и дух сохраняется как бы в законсервированном, недоступном разрушающему кислороду виде. *Иг* — это и сегодня люди высшего порядка. Из них, наряду с теми интеллигентами, кто не пользуется своими родовыми привилегиями и трудится наряду со всеми, присутствуют и такие, кто ничего не делает, раскатывает на машинах, пьет и веселится вполне на современный лад, а все его расходы оплачивают сородичи. По некоему древнему правилу они обязаны содержать своих *иг*, не давая им в чем-либо нуждаться. Разумеется, когда люди из *иг*, занимающие руководящие места, попадают под следствие или им грозит какая-нибудь другая жизненная неурядица, аксакалы сделают все, чтобы выручить их. Да и представители других родов тут обязаны им помочь, и чистый *иг* всегда может рассчитывать на поддержку в служебном продвижении, в суде, при любом рассмотрении своего дела, в том числе в партийных инстанциях. Существуют некоторые внешние признаки, по которым определяется *иг*. Например, кожа у него светлей, и на груди не должны расти волосы. Основное же население — кулы — древние оседлые жители предгорных оазисов, тысячелетиями кормившие завоевателей, хоть давным-давно уже смешались с ними...

Есть еще *тюре* или *торе*, как называют их в разных народах. Это потомки более поздней завоевательной волны — чингизиды, и пользуются они уважением и правами, близкими к *иг*. Затем идут приближенные к нашему времени выделения из общего ряда: *ата, ших* и другие. В разных местах варьируются их названия, разная принадлежность к тому или иному этническому, социально-историческому слою. Они могут быть потомками тимуридов, шейбанидов и множества других героев исконного ханабадского цикла, но суть все та же. Это привилегированные по отношению к общей народной массе структуры.

Особняком стоят *ходжи* или *кожа*, как зовут их на свой лад в иных краях. Они тоже потомки завоевателей, в данном случае ведущие свой род от самого Пророка или его сподвижников-ансаров, и имеются в каждом мусульманском народе — от Малайзии до Марроко. В отличие, скажем, от *иг* или *торе*, они олицетворяют собой не родовую аристократию, а духовное начало, являются хранителями правовых устоев, совести, нравственности. Разумеется, ходжи это прежде всего муллы, ишаны, пиры, духовные наставники, но из них чаще всего формируется

и светская интеллигенция, в том числе ее революционное крыло. Впрочем, подлинной интеллигенции много и в той же родовой аристократии: *иг, торе* и прочих, что естественно, как естественны были Герцен и декабристы. Немало негативного содержит в себе практика ходжей, но есть и положительные элементы. В эпоху непрерывных войн, каждодневных распрей, именно они они играют миротворческую роль. Переговоры об окончании или недопущении войны обычно начинались с того, что ходжи одного народа ехали к своим родственникам-ходжам во вражеский лагерь и обговаривали справедливые условия мира. В наше время достаточно часто так мирятся между собой общественные деятели и целые академические институты...

Множество неписанных законов, которые в ханабадской практике не в пример крепче писанных, пронизывают тут реальную жизнь. *Иг* или *торе* могут брать в жены избранницу из любой семьи, от других *иг* или *торе* до кулов. Но происходящему от кулов они не отдадут в жены кого-либо от себя. Особые правила в этом смысле и у ходжей...

Где-то в начале моей работы корреспондентом в области мне позвонили ночью, и вместе с нарядом милиции я прибыл на поле, примыкающее к находящемуся на краю города общежитию женского учительского института. Уже светало, в небе золотились легкие тучки. На просохшей земле, среди кустов цветущего хлопка, в юном страстном объятии лежали Он и Она. Казалось, юноша и девушка забылись и не видят подъехавших машин, людей встающего солнца. Лица юноши нельзя было разглядеть, а у девушки была откинута голова, и черные вьющиеся волосы рассыпались в хлопковом междурядье. Лицо ее со вспухшими губами светилось застывшим навеки счастьем. Наверно, поэтому молодой врач-судмедэксперт никак не решался приступить к своим обязанностям. Оба они были приколоты к земле одним прямым кинжалом, который загнан был по рукоять через спину юноши.

В тот раз все открылось в одну неделю. Девушка была из ходжей, причем из-за непосредственности поведения удостоилась прозвища «артистка». О, в ханабадской интерпретации о многом говорит это вполне невинное слово! А парень был из какого-то невидного рода по ту сторону пустыни. Ее предупредили от имени аксакалов о нежелательности этих встреч, но она не вняла советам старших...

Интересно, знал ли что-нибудь обо всем этом лихой балтийский матрос с маузером в руке — «краса и гордость революции», который устанавливал тут социализм? Но ему простительно. А вот знает ли сегодня все тонкости ханабадского бытия закончивший две партшколы товарищ Тарасенков? Так ему это и

не нужно. Больше того, он считает такое знание вредным для успешного строительства всеобщего ханабадства, которое выдает за реальный социализм. А кто заговорит или напишет о рабстве, например, или о вполне интеллигентных и почти официальных туленгутах в науке или литературе социалистического реализма, тот должен будет дать политическую оценку своему поведению. Сам пускай и определит, кому на руку такая клевета на социализм. Это и испытал в свое время на бюро ЦК Николай Николаевич. И то, что не исчез навсегда из поля зрения, великая его удача. По ханабадским правилам, когда дело на бюро доходит до политической оценки собственного поведения, то внизу, на заднем дворе, уже ждет не имеющая внешних знаков закрытая машина без окон. Пока происходит бюро, молчаливый шофер в защитного цвета ватнике поливает колеса из шланга или пробует ногой скаты. Обыденное дело...

Мы выходим с Шамухамедом прогуляться вдоль арыка. Собственно говоря, ниоткуда мы не выходим, потому что дворов по старой кочевой памяти тут нет, как почти нет и деревьев возле домов. Возле некоторых домов нового типа с открытыми верандами и широкими окнами разбиты кибитки, где летом принимают гостей и живут старики. Мне знаком вид здешнего аула, и я не спрашиваю у своего друга Шамухамеда, где чей дом. Во всех кишлаках и аулах исконного Ханабада, полукочевых и оседлых, дома располагаются одинаково. Посередине дом башлыка или раиса — председателя колхоза. Вокруг по периметру — дома председателя сельсовета, парторга, завскладом, председателя сельпо, директора школы. Следующее кольцо — дома бригадиров, штатных агитаторов, заведующих полевыми станами, близких и дальних родственников председателя. А дальше уже остальные — тоже в негласном, имеющем какой-то свой, определенный смысл порядке.

В голову приходят всякие мысли. Вспоминается недавняя свадьба, когда дочка товарища Тарасенкова выходила замуж за сына директора центрального столичного универмага. Справляли ее два дня в новом ресторане, заняв для этого и соседнее кафе. И сын начальника железнодорожного ОРСа женился на дочери полковника из ОБХСС — там уже три дня играли свадьбу. Они не исконные ханадабцы, а вот все чаще роднятся избирательно, на некоем строго горизонтальном уровне. Тоже что-то вроде завоевателей. Любопытно, как будут зваться в ханабадской иерархии третьего тысячелетия потомки сегодняшних ханабадских сердаров?..

Я не спрашиваю у Шамухамеда ни о рабстве, ни о делении

людей по историческим горизонтам. Мой друг замолкает при таких расспросах, и от него уже не добиться ни единого слова. Почему это так? Ведь он гневно говорит о том же Пилмахмуде, о первом секретаре обкома партии Атабаеве, о самом товарище Бабаджане Атаевиче Атаеве, а про это молчит. Оглядываюсь на его дом, верней, на дом его отца — колхозника. Тот стоит как бы в стороне, не очень близко к председательскому дому...

Мы уходим далеко за аул. Здесь уже заканчивается огромное хлопковое поле, прореженное столбиками тутовника без листьев. Прожорливый шелкопряд ест непрерывно, днем и ночью, и весь аул, от мала до велика таскает ему листья вместе с ветками. Сразу же за кромкой поля, без всякого перехода, начинается пустыня: придерживаемые верблюжьей колючкой и мелким саксаулом, набегают на скудные зеленые кустики едва заметные волны песка. Метрах в двадцати уже высятся барханы побольше, а за ними, совсем невдалеке, вздымаются над равниной чудовищные песчаные валы, застывшие в тысячелетнем неудержимом движении. Где-то под ними, говорят, погребена армия персидского царя Кира. Вершины барханов красные от заходящего солнца. Я спрашиваю у Шамухамеда о том, что давно уже вызывает мое недоумение. Все без исключения секретари обкомов, председатели облисполкомов и другие руководители в Ханабаде — в прошлом детдомовцы. Если не детдомовцы, то интернатские, в малом возрасте посланные по разнарядке в город на учебу и жившие там без родителей. Посылали туда чаще всего нелюбимых или неродных сыновей. С сурового детдомовского детства они хорошо знают друг друга. И год вступления в партию у них обычно один и тот же: 1937-й или 1938-й. При этом детдомовское происхождение обозначается как особо положительный штрих в биографии при назначении на должность. Шамухамед лишь пожимает плечами. Он молчит, но не так, как при предыдущих моих расспросах, и смотрит на меня с некоторой иронией: мол, дурак, ты, что ли, если не понимаешь такой простой вещи.

Ну, а почему все первые секретари ЦК в Ханабаде одинаково малого роста, хорошо известно. Все знают происшедший несколько лет назад случай, когда по чьему-то недосмотру именно здесь был избран первым секретарем ЦК рослый человек, видом и статью удавшийся в кого-то из своих дальних предков: гоплита Александра Македонского или воина-парфянина, от которого происходит здешнее слово *пахлаван*, означающее богатырь. А может быть, и в римского легионера, захваченного в плен этим парфянином. Так или иначе, а через какое-то время новый секретарь поехал на утверждение к товарищу Сталину. Рассказывают, что товарищ Сталин, войдя в комнату, где ждали его

ханабадские руководители, остановился вдруг на пороге, с растерянностью глядя на высокого человека среди них. Во время разговора он все оглядывался на нового секретаря, и в глазах его было беспокойство. Потом он ушел, не попрощавшись и не закончив даже беседы. Не успел новый секретарь возвратиться домой, как туда позвонил по «ВЧ» товарищ Маленков и сказал, чтобы немедленно собирали пленум для выборов нового первого секретаря ЦК. Товарищ Тарасенков стал предлагать кандидатуры, но все, одна за другой, отвергались.

— Там у вас, в Ханабаде, в облисполкоме, есть такой маленький, хромой. Вот его! — сказал товарищ Маленков.

Так первым секретарем ЦК стал товарищ Бабаджан Атаевич Атаев. А высокорослого секретаря не вернули даже на должность президента Академии, которую он прежде занимал, а оставили на учебе в Москве, где он через несколько лет умер...

Мы возвращаемся в аул, когда уже вечереет. На плоской крыше дома молится отец Шамухамеда. Он стоит неподвижно, в белой нательной одежде. Потом смотрит налево и направо, чтобы увидеть этот мир как бы заново, уже отрешенным взглядом. После чего быстро опускается на колени, склоняется к расстеленному садджаду[1], знаменующему плоскость земли. Некоторое время он находится в таком положении, постигая собственную ничтожность перед величием Вселенной и выражая покорность сущему в ней порядку. Затем будто просыпается, встает, переводит дыхание и готовится к следующему ракату молитвы.

— Это для здоровья хорошо,— застенчиво говорит Шамухамед, как бы оправдывая веру отца.— Пять раз в день таких упражнений — вот физкультура. И в дороге полезно: сойти с коня, размяться...

Мой друг в невинности своей слегка кривит душой. Так все интеллигентные люди в Ханабаде говорят, стремясь объяснить нарушение в собственном доме принципов научного атеизма. Сюда же относятся некоторые обряды, производимые над мальчиками и позволяющие содержать в чистоте крайнюю плоть. Пророк словно бы завещал правила санитарии и гигиены, так что опасаться здесь нечего. Между тем, все мы в «Ханабадской правде» знаем, что если председатель колхоза — верующий человек, то люди там чувствуют себя как-то защищеннее. Конечно, если вера не для камуфляжа. Мне уже приходилось писать фельетон о заведующем отделом пропаганды и агитации райкома, который, будучи исключен из партии по морально-бытовому поводу, тут же приступил к обязанностям ишана. Суть ханабад-

[1] Молитвенный коврик.

ства — форма, а не содержание. Но я знаю и кое-что еще. Суровая небесная кара за женские самосожжения, выраженная на земле запретом на молитву муллы и похоронах не на общем кладбище, неизмеримо эффективней, чем передовая статья в «Ханабадской правде». И калым вовсе не примитивная продажа женщины, как представляют его ветераны идеологического ханабадства, воспитанные еще на статьях в журнале «Безбожник». В переводе калым это «остаток» и отражает он сложную, р е а л ь н у ю систему отношений, учитывающую все моменты, в том числе физиологическое соответствие будущих супругов и при этом защищающую интересы обеих сторон. Дается задаток, который в определенной степени уравновешивается обратными подарками. В течение года молодая жена может уйти от супруга назад к родителям, и тогда собственно *калым* не выплачивается. Разумеется, здесь, как и во всяком человеческом деле, может играть свою роль и корысть, но разве не имеет она места в других широтах, где и не слыхивали о калыме?..

И еще один древний закон, по которому жена умершего человека переходит к его следующему по возрасту брату. Оно, конечно, звучит экзотично в системе отношений тургеневского или современного соцреалистического романа, но ведь у женщины обычно бывает куча детей и престарелые родичи в придачу. Так как дело происходило в безводной пустыне, где испокон веков кочует народ, то не такая уж это желанная награда для брата. Хочет или не хочет, а он о б я з а н взять в жены вдову вместе с ее детьми. И он так воспитан, что ему и в мысль не придет поступить иначе. Может быть, потому и возникло такое общепринятое определение по отношению к религии — свобода с о в е с т и?..

— Ах, так это же древняя дикость! — воскликнет сохранившийся в нетронутости ветеран-безбожник.— Где вы видели у нас кочующие роды? А я вспоминаю голод Тридцатых годов в Казахстане, когда начисто лишенные скота миллионы людей тронулись из золотой Сарыарки куда глаза глядят, и совершались ужасы, не снившиеся людям и в библейские времена. К слову сказать, на этом скорбном пути, где до ближайших городов тысячи верст, погиб и скот, реквизированный для нужд великого перелома. Какое же семейное право лучше всего подходит для такого состояния общества?..

Древность и современность — в каком соответствии находятся они при формировании совести? Что принимается и что отбрасывается людьми на их многотысячелетнем пути к идеалу? При одной из древних мечетей на великой ханабадской равнине, у сохраняющих безукоризненную красоту и строгость линий стен, я увидел нишу со свежим пеплом. Люди пишут на бумажке

молитву с пожеланиями выздоровления близкому человеку и сжигают ее здесь, передавая таким образом богу свое послание. Это отсветы зороастрийского огня, который предшествовал здесь исламу. Полтора тысячелетия боролась религия с этим предрассудком, но он жив, и вера молча включила его в свой обиход вместе с деревьями у святых могил, где к веткам подвязываются памятные лоскуты-молитвы. Вспоминаются Иван Купала, крашенки на пасху и многое прочее...

Я лежу на помосте из перекинутых через арык тутовых досок и смотрю в ханабадское небо. Оно полно звезд, чудовищно ярких от абсолютной сухости воздуха. Я чувствую себя отстраненным от суеты мира. Что-то шуршит в сложенной на топливо сухой колючке рядом с тахтом, где мне постелили на ночь одеяла, поставили кумганчик с водой. В огороженном кольями и обмазанном глиной сарае позвякивает уздечкой ишак, на котором ездит на базар старый Давлет-ата, отец Шамухамеда. Пахнет кизяком, дымом от тамдыра и покойными запахами пустыни. Она с двух сторон окружает узкую полоску оазиса, где первые люди селились еще тогда, когда не было ни Мекки, ни Иерусалима, ни Ниневии, и хмурые, чистые льды покрывали землю там, где сверхчеловеки потом построили Освенцим...

Откуда это понятие — с о в е с т ь? Она утверждается в мире с того самого мгновения, когда ангел отвел руку патриарха, занесшего нож над сыном. И в развитие идеи сам бог уже приносил в жертву собственного сына за все человечество. В другом направлении суровый Пророк требовал от своих последователей обязательной и непрекословной десятины в пользу вдов, сирот и не имеющих крова над головой.

Не в одной Аравийской пустыне, во всех народах земли совесть утверждалась, как признак рода человеческого. Кельтские и германские многообразные боги тоже требовали человеческих жертв, в их числе и сыновьями. И как бы ни умилялись досужие умы Перуном, но тот не был благостным исключением. Порою слишком узко смотрим мы на введение и приятие христианства, беспричинно радуясь историческим изыскам, подтверждающим тоску по идолам (Выдыбай, боже, выдыбай). Грамотность и новые формы архитектуры лишь сопутствовали процессу осознания совести, без чего уже не могло человечество вершить свой дальнейший путь. То же самое происходило в мусульманстве. Не одним лишь завоеванием утверждалось оно в человеческих душах.

Другое дело, что и в наши дни прикрытые священными одеждами тупые идолопоклонники готовы жертвовать двенадцатилетними детьми, перебить миллионы людей, поджечь весь мир, чтобы утвердить тем самым свою единственную форму совести.

Между тем, отводя руку патриарха от сына, вышний посланник тем самым отвергал и фанатизм. Явившийся вполне материально выраженному разуму и чувству бог не принимал кровавую жертву во имя свое. Оно-то, конечно, дикость — весь этот религиозный экстремизм, потрясающий нынче значительную часть мира, и тут безусловно правы ханабадские безбожники. Однако, исходя из этих высоких принципов, каким образом классифицировать практическую сторону самых правильных учений нашего времени. Разве не были мы свидетелями того, как сын доносил на отца, принося тем самым кровавую жертву. Имя сына за то заносилось в святцы. Такого и в древние времена не смог придумать сам враг рода человеческого, ибо был все же продукт человеческого самосознания. Ну, а разве не на нашем веку приносились в жертву идолам целые народы и классы?..

История свидетельствует, что просвещенный потомок завоевателей Индии, ведущий свой род от кровавого Тамерлана, по очереди посещал мечеть, христианскую церковь, синагогу, буддийский и индуистский храмы, творя в каждом одну и ту же молитву. Совесть — какие бы формы она ни принимала, в том числе и атеистические, едина в человечестве. Вместе с тем некое единство ненормальной, атавистической тяги к человеческим жертвоприношениям родит идолов — религиозных и идеологически выдержанных. Они бесперспективны и бездарны, кровь человеческая необходима им для самоутверждения. Обмазанный кровью идол испокон веков противостоит совести...

Всхрапывает ишак в загородке. Слышно, как трется он боком о вкопанный в землю кол. Я не сплю и смотрю в уставленное мириадами свечей небо. Почему мне так хорошо и чисто здесь, в пустыне, в этом доме? Ведь родился я в большом приморском городе, где утром ревут гудки, скрежещет трамвай на повороте и ругаются в порту на разных языках матросы.

Мне явственно видится, что я был уже некогда тут, в какие-то прошлые времена, и Шамухамед, его старый отец, все эти люди вокруг родные мне. Я помню всем своим существом, что так же лежал т о г д а и смотрел в э т о ж е небо...

Нет, наверно, не случайно необходимы людям и такие смешные вещи, как сахар головками и жатое в старом дупле масло. Как и тепло собственной печи и хлеб, испеченный в ней из с в о е й муки. Все это противостоит окружающему нас космическому холоду, некоему сверхразуму, выражаемому голой математикой, лишенной чувств. Сюда же относится и «садок вишневий коло хати», и изба-старуха, жующая челюстью порога мякоть тишины, и китайский обычай везти кости предков на родину. Среди американских миллионеров — коренных янки — существует обычай иметь собственное ранчо. Высшим знаком

аристократизма считается, когда, подавая на стол бифштекс, хозяин с гордостью замечает гостям, что своими руками пестовал бычка, из которого он приготовлен. Рядом это должно быть: мелькомбинат и маленький «млин» с греблею для полноты жизни...

Это главный вопрос бытия: соотношение формальной логики и интуиции. Может быть, теория относительности и есть некий прорыв из абсолютного холода математики к высшему состоянию, и мы слишком узко регистрируем лишь очевидную ее сторону. Разве не ее продукт само явление человека во Вселенной?..

Это было особенное состояние организма. Все определялось предшествующим воспитанием. Звучал горн, а я вскакивал, готовый к действию. Миражи не имели значения, и я корчевал зло, не ведая сомнений. Я и сейчас временами слышу, пробуждаясь, этот горн из детства. Его не заглушили ни бомбовые разрывы, ни давний приход в отчий дом следователя, ни даже строгий выговор с предупреждением на бюро ЦК одной из республик Ханабада...

Ничего не пропускалось. Я шел по главной улице областного центра с учителем вечерней школы Айрапетовым. В дверях универмага, закрытого на перерыв, стоял другой Айрапетов. Открыв в улыбке все золото, он сказал что-то негромко моему попутчику. Тот как-то сразу помрачнел, виновато поскреб воздух рукой, опустил голову. Все напряглось во мне. Я посмотрел на учителя — худого, гордого человека в стареньком довоенном пальто, из-под которого виднелись офицерские лицованные брюки со следом артиллерийского канта, на его ботинки с явно протекающей подошвой, на опущенное от проникающего ранения плечо, на стопку ученических тетрадей в клеенчатом портфеле у него под рукой. Потом я посмотрел на директора универмага. Несмотря на осеннюю непогоду, тот стоял в одном жилете, надетом на шелковую рубашку, с золотой цепочкой и брелоком поперек живота, и ему было жарко. Лицо его собиралось благородными складками у подбородка...

Вечером на квартире учителя Айрапетова мы пили домашнее вино, заедая магазинным пендыром — армянской соленой брынзой, культивируемой в Ханабаде карабахскими поселенцами.

— Что он тебе сказал, Геворк? — добивался я.

Хозяин мотал головой и не отвечал. Только после нескольких стаканов он вдруг выпрямился и совсем трезвым головом сказал:

— Он сказал мне: «Вот я Айрапетов и ты Айрапетов, на одной улице родились. Ты ученый человек, институт закончил,

других людей жизни учишь. А я четыре класса отсидел и все. Посмотри на твои ботинки и на мои, на свой дом и на мой. К кому люди с поклоном идут: к тебе или ко мне!»

Я сидел уничтоженный.

— Это он пошутил! — добавил учитель Айрапетов, увидев мое лицо.

Утром я позвонил знакомому работнику Контрольно-ревизионного управления.

— Айрапетов? — переспросил он и, помолчав, сказал.— На прошлой неделе только с обехеесовцами в паре мы его проверяли. На сто тысяч пересортица и все остальное...

— Ну, и что? — спросил я.

— А ничего. Там такие надолбы — не пробьешь. Пробовали уже!

Через час я был у него в управлении и смотрел акт внезапной проверки универмага, сделанной за два часа до конца работы. В тот день продавали тюль и женские модные резиновые сапожки. Тюль был стоимостью семнадцать, двадцать восемь и тридцать пять рублей метр. Сапожки по семьдесят, восемьдесят пять и сто двенадцать рублей, в зависимости от сорта. А все продавалось только высшим сортом. В кассе универмага нашли лишних девяносто восемь тысяч рублей. Я дал подвальный фельетон и стал собираться в дорогу. После каждого очередного фельетона меня посылали в другую область, на противоположный край Ханабада...

На этот раз я поехал к перегретому, пахнущему бензином ханабадскому морю и не успел остановиться в гостинице, как мне позвонил начальник здешнего КРУ. Он привез ко мне большой портфель с документами, из которых явствовало, что управляющий местным банком, молодой человек, два года назад закончил институт, некто Мовыев, открыто берет из кассы деньги и тратит их в морском ресторане. Туда к нему носят чеки на подпись.

Глава областных ревизоров мялся, переступал с ноги на ногу, явно не решаясь дать некое разъяснение такого — даже для Ханабада — не совсем обычного поведения молодого управляющего банком. Он оглянулся на дверь, наклонился к моему уху, и хоть были мы совсем одни, произнес шепотом:

— Атаев!

— Что Атаев? — не понял я.

— Товарищ Атаев! — проговорил он уже совсем беззвучно, одними губами.

Я ничего не понимал. Только после получаса вздохов и ежеминутного умолкания, удалось мне выяснить, что управля-

ющий Мовыев приходится племянником лично товарищу Бабаджану Атаеичу Атаеву, первому секретарю ЦК. Тому самому...

Имея уже некоторый опыт, я ни слова не сказал об этом редактору.

— Управляющий банком? — небрежно спросил редактор, когда я положил перед ним привезенный из командировки фельетон.— В набор!

А наутро, когда я пришел в редакцию, редактор сидел, уставившись взглядом в одну точку, и жевал бумагу, полосками отрывая ее от лежащего на столе листа. Это был у него признак крайнего душевного волнения. Меня он вроде бы и не видел.

— Вот что, больше никуда не поедешь. Останешься при редакции! — произнес он через некоторое время.

Ему уже позвонили о том, чей племянник Мовыев. А в редакционной приемной меня уже ждал молодой человек спортивного вида с упрямой складкой губ и сросшимися бровями. У него был прямой, открытый взгляд. Секретарша Мария Николаевна сказала мне, что товарищ ожидает моего приезда третью неделю и ни с кем больше в редакции не хочет говорить. Меня приятно кольнуло такое доверие, и я готов был к действию.

Все было в порядке вещей. Хлебозавод, самый большой в городе, ежедневно выпекал на несколько тонн хлеба и булочных изделий больше, чем значилось в накладных. Левая мука для этого регулярно поступала с мелькомбината. И еще нарушались нормы припека, что давало дополнительно пять-шесть тонн. С документальным подтверждением этого ко мне и пришел рядовой технолог завода, в этом году закончивший техникум. Как кандидат партии он говорил об этом на партийном собрании. Само собой разумеется, ему дали выговор и задержали переход в члены партии.

— Как же реализуется лишний хлеб? — спросил я.

— А у них свои магазины. «Центральный» и два на базаре. Еще, наверно, есть!

Он даже пожал плечами, удивляясь наивности моего вопроса. Действительно, разве не знаю я, сколько стоит в Ханабаде должность заведующего магазином. От двадцати пяти тысяч до полумиллиона единовременно, в зависимости от оборота, безопасности действий и установленных связей. Затем ежемесячные отчисления н а в е р х, гарантирующие все: благодушие ревизоров, слепоту ОБХСС, благоприятствование директивных органов вплоть до места на Доске почета. А коль дойдет все-таки до суда, то — сниженный до минимума срок, место хлебореза в тюрьме и непременное досрочное освобождение за «образцовое поведение». После этого можно будет занять ту же должность. Связаны так же между собой соответствующие магазины и

мясокомбинат, колбасная фабрика, пивзавод, ликеро-водочный завод и все остальные. Там, откуда они получают сырье, цепь продолжается через базы, склады, заготовительные конторы, колхозы, совхозы. И уходит, все укрупняясь и самосовершенствуясь, в заоблачные выси, где рождаются громы и молнии и откуда изливается благодать. Это и есть материальная система всеобщего ханабадства.

Зачем же я снова сижу с технологом Джумаевым, изучаю документы, шлифую образы вполне отвратительных мне людей? Я ведь сам — производное этой системы, и никуда мне от нее не деться. Зная всю нерушимость пирамиды, я как бы отодвигаю ее в сторону и перехожу в царство миражей. Поверьте, это вовсе нетрудно сделать. В нас сидит условный рефлект, культивируемый с самого момента рождения. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Этот лозунг висит в каждом родильном доме, и коль правы ученые, что нравственное воспитание человека начинается во чреве матери, то как не восхититься предусмотрительностью вывесивших его людей. Нужно сказать, что особые условия ханабадской истории создали предпосылки для такого рода воспитательных условий задолго до наступления эры всеобщего ханабадства. Корни этой педагогики тянутся через века чуть ли не к Перуну («Выдыбай, боже, выдыбай!»). Исходя из постулатов самой передовой в мире науки, можно предположить, что за столь длительный исторический период означенные условные рефлексы дали безусловный результат. (Помните: количество переходит в качество!) Нельзя при этом забывать, что мы и сами талантливы, а роль педагога не может быть односторонней. Для достижения успеха нужны усилия обеих сторон: воспитателя и воспитуемого. Но этот теоретический разговор далеко нас заведет. Так что вернемся к ханабадской практике.

Сразу признаюсь, здесь я лукавил, говоря, что не знаю, зачем беспокоюсь, пишу свои фельетоны и совершаю прочие необдуманные поступки. Это чистая правда, что не дает мне покоя тот самый горн из детства, который слышу по утрам. Сам от себя не убежишь. Но ведь правда и то, что, отодвигаясь в сторону реальности, я сознательно ухожу в область миражей. Как убежденному ханабадскому гражданину, мне известно, что критика и самокритика — движущая сила нашего общества. Каковое идиоматическое выражение означает, что не только можно, но даже необходимо вскрывать отдельные недостатки. Например, в деятельности того же хлебозавода. В данном случае это лишь подтверждает здоровье всего административно-хозяйственного организма, что в свою очередь свидетельствует о непобе-

димости великой ханабадской идеи. Вот я и стараюсь. И даже жду награды за свою смелость...

Накануне только с другом моим, работником парткабинета Мишкой Точилиным зашли мы в гастроном, где работает его жена Фаина. Мишка выбил чек на два рубля, означавший бутылку лимонада. Фаина отвесила ему кило колбасы, полкило масла, сыр, дала банку консервов, две бутылки водки с белой головкой, еще какую-то мелочь. После закрытия гастронома она присоединилась к нам, выпила стаканчик, вздохнула.

— Это так, в порядке самопотребления! — кивнул на стол Мишка.

— Что-то еще набегает? — спросил я.

Я был для них свой человек. Фаина посмотрела на меня темными, усталыми глазами:

— Когда четыреста, когда пятьсот в месяц. Столько же и зарплата, если без начета. И еще каждая продавщица раз в неделю отоваривается,— она кивнула на стол.— Павел Аверьянович позволяет, он мужик правильный...

Павел Аверьянович был заведующим секцией в гастрономе. Продавщицы две недели работали с восьми утра до девяти вечера и две недели отдыхали. К концу смены заведующий секцией подсчитывал вырученную сумму, после чего раздавал каждой свою часть.

— А недовесы? — спросил я.

— Этим только дура необразованная станет заниматься! — махнула рукой Мишкина жена.— Главное, что с базы лишнее идет. И еще списания. Нам с Павлом Аверьяновичем что если остается, то зернышки.

— А остальные куда?

Мишка с Фаиной переглянулись и замолчали. Я пил водку, заедал колбасой и прямо-таки физически ощущал собственную невинность...

Фельетон о хлебозаводе я написал достаточно убедительный. Редактор читал его трижды: отодвигал от себя, снова придвигал и все-таки дал. На меня завели в отделе писем целый ящик, куда складывали отклики на мои фельетоны. В низовьях Хандарьи, куда не достигла еще железная дорога и лишь раз в неделю летали самолеты, объявился некий гражданин, назвавшийся моей фамилией и целый месяц ездивший по колхозам, полной мерой пожиная плоды безоглядного ханабадского гостеприимства...

Стороной (в Ханабаде этот способ информации называют «мыш-мыш») мне сделалось известно, что стоит вопрос о моем отозвании из области с должности собственного корреспондента. Нет, никакого снятия с работы не предвидится. Наоборот, предстоит мое выдвижение на должность заведующего отделом в

самой редакции. Я долго думал об этом. В ханабадской истории со времен легендарного царя Кира сплошь и рядом наблюдаются такие перемещения работников, обративших на себя сугубое внимание начальства. Пока что я работал в редакции и жил в гостинице, временами наезжая в подведомственную мне область...

Я сразу почувствовал, что Шаганэ хочет сообщить мне нечто значительное. Было очевидно, что в ней борются какие-то сильные, неведомые мне чувства. Приблизительно через полчаса, после того как были исполнены установленные между нами ритуалы, она все рассказала.

Где-то уже к концу работы ее вызвал к себе товарищ Атабаев. Говорил по-отечески, интересовался самочувствием, работой, бытовыми условиями. Потом достал из пачки и положил перед ней письмо. Оно было без подписи.

— Читай! — сказал он.

Наряду с другими обвинениями в письме говорилось, что первый секретарь обкома партии на глазах у всех сожительствует с Шаганэ, являющейся заместителем заведующего отделом обкома, что он предоставил ей квартиру вне очереди, во всех речах и докладах хвалит ее работу и многое другое.

— Прочла? — спросил товарищ Атабаев.

Шаганэ, по ее словам, не знала, что ответить, и просто говорить не могла от возмущения. Это все, конечно, Каролина Петровна, заведующая сектором учета, устроила, ее действия. Она давно уже с Атабаевым крутит, все в обкоме это знают. В Крым в прошлом году вместе ездили, в санаторий ЦК. И откуда у нее каракулевая шуба за десять тысяч?.. Шаганэ даже расплакалась там, в кабинете, от возмущения.

— Так что будем с тобой делать? — спросил товарищ Атабаев.

Она утирала слезы, ничего не видя вокруг, и лишь поправляла завязочку платья, съезжающую на плечо. Это был совершенно непроизвольный жест. А плечи у Шаганэ изумительные, матовой белизны и какой-то особенной, необыкновенной округлости. Товарищ Атабаев прошел вокруг стола, положил ей руку на плечо, принялся успокаивать.

— А может быть, так с тобой и сделаем,— он все не убирал своей руки.— Раз пишут про нас, то теперь уже все равно!

Шаганэ не понимала, о чем идет речь. А он опустил руку ниже, приподнял ее со стула и стал вести в комнату отдыха. Там, рядом с бюстом товарища Сталина, слева от него, есть дверь...

Это я знал. Позади кабинета у первого секретаря обкома партии есть комната отдыха. Не одна там даже, а три комнаты:

гостиная с пальмами и банкетным столом, малый рабочий кабинет и спальная с соответствующими удобствами: ванной, душем, туалетом. Личная квартира при кабинете имеется и у председателя облисполкома. Разумеется, так же оборудованы всем необходимым рабочие места у руководителей республики: первого секретаря ЦК, Председателя Президиума Верховного Совета, председателя Совета Министров, которые проводят ночные совещания во время сева, подписки на заем и других ответственных политических кампаний. Соответственно и низовые руководящие товарищи организуют при своих кабинетах места с диваном, холодильником и прочими необходимыми предметами. В крайнем случае, диван ставится прямо в кабинете, у рабочего стола. На это счет существуют прямые ханабадские анекдоты...

Шаганэ оказалась на высоте. Она отвела руку товарища Атабаева и вышла.

— Так он же павиан, Шаганэ! — я расхохотался.— Посмотри на рожу: чистый павиан. И уши к голове приросли...

— Нет, ты напрасно так говоришь, он не такой...

Шаганэ даже обидчиво рукой повела, как бы защищая товарища Атабаева от моих замечаний по поводу его внешности. И тут я внимательно посмотрел на нее.

— Рост у него видный. Не старый еще мужчина,— продолжала она перечислять его достоинства.

Все тут было понятно. Мужчина, обративший внимание на женщину, пусть даже в таких сомнительных обстоятельствах, конечно же вырастает в ее глазах. Как можно осудить его за то, что не смог сдержать своих чувств при виде ее достоинств. Тем более, что на ней было это ее платье: в оборочку, внизу клеш и плечи открытые. Все это я прочел в ее глазах.

Однако увидел я там и еще что-то, от чего холодок прошел во мне. Некое торжество победительницы таилось в ней. Где-то там, в коридорах и кабинетах шла невидимая, непонятная мне битва. И Шаганэ не могла удержаться, она непроизвольно гордилась передо мной своими в ней успехами.

— Думает, я ему какая-нибудь Каролина Петровна!

Шаганэ теперь ходила крупными решительными шагами в незапахнутом халатике и говорила резко, громко, с неизвестной мне раньше хрипотцой в голосе. А я полулежал на глубокой тахте под торшером с шелковым абажуром со стаканом в руке и все пытался снова увидеть скромную учительницу, к которой пришел как-то вечером в старый коммунальный дом на окраине Ханабада. Тогда она краснела, угловато поворачивалась, брала с самодельной полки книгу, читала мне что-то. И боялась, не подумают ли чего-нибудь соседи.

— Шаганэ ты моя, Шаганэ!..

Она остановилась на полпути, посмотрела на меня подозрительно:

— Что это ты?

— Так, стихи читаю,— ответил я.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Иду через сквер, где вросли в береговую глину могучие карагачи. Между ними продольная аллея с розами, тут же площадка для танцев, летний кинотеатр. Невысокий обрыв к реке, которая течет с афганских нагорий, почти из Индии, и здесь растекается вся, без остатка, в хлопковых полях и уходящих в пески джарах. Вода в ней мягкая, густая, желто-бурого цвета...

В конце сквера виден за деревьями трехэтажный дом темных тонов на квартал с широкими полукружьями балконов и лестницами пожелтелого мрамора. Ранее дом был облицован цветным кирпичом, и лишь потом поверх всего выкрашен единым суровым цветом. Сквозь тяжелую, в палец толщиной, штукатурку проглядывают блестки цветной глазури, напоминая о первичном предназначении дома, бывшего когда-то купеческим клубом с номерами. Отсюда шел торговый путь в Индию, и здесь не жалели денег на обустройство и увеселения. При доме за высокой чугунной оградой ухоженный сад — продолжение все того же сквера с розами и карагачами. И еще замкнутый двор с воротами для автомашин — явление позднейшего времени.

Я показываю пропуск и захожу внутрь, так как здесь сейчас обком партии. Вдоль этажей идут коридоры с табличками на дверях по обе стороны, где значатся одни лишь фамилии товарищей и ни в коем случае название отдела или сектора, которые они представляют. Мало ли что может выяснить по названию проникший сюда посторонний человек. В рабочих кабинетах кое-где сохранились следы прошлого их предназначения: кафельная кладка, изразцы, овальный полукруг от зеркала на стене или мраморная подставка от сорванных удобств, которыми пользовались былые обитательницы дома. Всему областному активу известно, что в кабинете управделами обкома товарища Табейкина имеется фигурный электрический звонок с французской надписью: «Звонить мадам!» И еще от прежнего сохранились на виду две огромные вековые пальмы, которые стоят в приемной первого секретаря обкома партии товарища Атабаева.

Я пришел на целых сорок минут раньше начала заседания бюро. В приемной никого не было, кроме Розы Рашидовны,

которая сидела за своим столом с машинкой и телефонами. Она с интересом посмотрела на меня. Это кое-что значило: Роза Рашидовна была старейшим работником обкома, с тридцатых годов, и знала все. Дело не в том, что я пришел раньше времени, нарушив деловую партийную точность. Меня уже больше года не приглашали в бюро, хоть я все еще числился собственным корреспондентом и большую часть времени находился в области. И сегодня позвали меня не случайно.

Пока что я прошел в дверь напротив, к помощнику первого секретаря Ермолинскому. Тот в силу должности подкармливался в газетах и дружил с корреспондентами. Информация о трудовой победе тружеников шерстомойной фабрики, что передали утром по радио, была подписана одним из его литературных псевдонимов. Ермолинский как раз заваривал чай для хозяина. Деловито кивнув мне, он понес в большой кабинет металлический поднос с литровым чайником, пиалами и горсточкой конфет на блюдце. Это подтверждало, что у товарища Атабаева сидит кто-то значительный из республики.

Ермолинский тут же вернулся, своим утиным шагом прошел к окну, приоткрыл его и сел за стол, улыбаясь мне углами губ. В продолговатых, цвета перегорелого повидла глазах его светились огоньки. Это был всегдашний его вид: мол, знаю что-то важное, тебя касающееся, да не скажу, поскольку роль такая и значение. Мы поговорили с ним о пивзаводе, о новой лимонадной линии, которая должна вступить в строй. Сколько лет прошло уже после войны, а в городе нет своего лимонада. Я слушаю его дружеские разговоры и не верю его тону. При разборе еще первых моих фельетонов, когда приезжала московская комиссия, он подбирал против меня материалы. Я ведь искренне верил ему, когда он всячески поносил Пилмахмуда...

Выйдя от Ермолинского, я столкнулся с зампредоблисполкома Костецким. Тот спешил в большой кабинет с папкой в руке, но остановился, пожал мне руку, сказал вполголоса:

— Подожди меня!

Это был единственный из членов бюро обкома, который здесь открыто симпатизировал мне, несмотря на всем известное мнение обо мне товарища Атабаева. Я вышел на лестницу и стал ждать. Если меня сюда позвали, то явно будет обсуждаться что-то, меня касающееся. Хорошо в своей области работается Бахтееву, тоже собственному корреспонденту. Он фельетонов не пишет, лишь серьезные статьи о необходимости развертывания социалистического соревнования. И еще отчеты с партийных активов, пленумов и других ответственных совещаний. Когда происходит бюро, за ним из обкома присылают машину, сам первый секретарь

подолгу беседует с ним. Что же сделать, чтобы достичь такого уважительного к себе отношения?..

Мимо проходили заведующие отделами и те, кто готовил вопросы к заседанию бюро. Со мною здоровались как-то торопливо, стреляя глазами вверх и вниз по лестнице. Во всегдашних своих сапогах из серой парусины и линялой рубахе под старым шевиотовым пиджаком прошел областной агроном Костя Веденеев. Шамухамед остановился, хотел мне что-то сказать, но его срочно позвали наверх.

До бюро оставалось еще десять минут. Костецкий вышел улыбающийся, дружески взял меня за локоть, отвел в сторону. Там он отступил на полшага, мельком оглядел всего меня: пиджак, брюки, летние сандалии.

— Зачем ты это носишь? — спросил Костецкий с сочувствием в голове.

Мне сделалось почему-то неловко. Я не понимал, что имеет в виду заместитель председателя облисполкома. А он продолжал, все так же улыбаясь:

— Это все законно, не подумай чего-нибудь плохого. Костюм, который на мне, знаешь сколько стоит? — Костецкий дал мне пощупать мягкую, светло-серую шерсть, из которой был сшит его костюм.— Сто двенадцать рублей. Оптовая цена, все по закону. Это еще до войны дали разрешение продавать по оптовым ценам некоторые товары для руководящих работников. Товарищ Сталин лично дал указание...

Я растерянно держал в руке полу его пиджака, ничего не понимая. Зачем вдруг этот разговор о костюмах? И цена, о которой он говорит, какая-то странная. В универмаге обычный костюм стоит не меньше тысячи, а такие, как на Костецком, вообще там не продаются. Правда, я слышал о какой-то базе, где одеваются обкомовцы. Еще с упоением рассказывали, что в подмосковных санаториях для работников ЦК коньяк стоит вовсе какие-то копейки...

— Вот и подойди к Айрапетову. Он ведает этим. Такой же костюм отпустит. И еще что-нибудь, если понадобится. По той же цене. В обиде не останешься...

Я смотрел на него ошеломленно и почему-то чувствовал, что мне вдруг хочется петь. Какой-то знакомый мотив и слова подступали к горлу и вот-вот готовы были вырваться наружу. Костецкий осторожно высвободился из моих рук свой пиджак, кивнул мне...

Потом я сидел на бюро обкома и удивлялся, как это Шаганэ прошла мимо меня, и я ее не увидел. А может быть, она и раньше находилась у товарища Атабаева? Я посмотрел на ма-

ленькую дверь рядом с бюстом товарища Сталина. Дверь сливалась со стеной, и ее трудно было заметить.

Уже некоторое время слышался мне чей-то знакомый голос. Я оторвался от своих мыслей и увидел адвоката с фамилией Коржак. Тот стоял на большом, во весь пол, ковре перед бюро и что-то объяснил. Я принялся слушать.

— Прóшу товарища секретаря, я же в тюрьме тем часом находился!

Адвокат говорил глухим голосом, с каким-то не то польским, не то литовским акцентом, и седые кольца волос падали с высокого лба в разные стороны. Я знал его историю. Был он польским коммунистом, состоял в компартии Западной Украины. В Тридцать девятом наши войска освободили его из виленской тюрьмы. Он устанавливал советскую власть в западных областях Украины. Потом оказался здесь, в Ханабаде, состоял в адвокатуре, женился, имеет детей. Было какое-то указание в отношение бывших польских коммунистов, перешедших в ВКП(б). Его исключили из партии за утерю партийного билета. Не теперешнего, а тогдашнего, в Польше, о чем было указано в личном деле. Он подал апелляцию.

— Как это можно потерять партийный билет? — товарищ Атабаев говорил чуть в нос, но с чувством искреннего непонимания.— Настоящий коммунист должен носить свой партийный билет здесь, возле сердца!

— Так. Но товарищ секретарь и его коллеги уже слышали мое разъяснение. Партийный билет был запрятан мною при аресте политической полицией за год до войны. Это произошло в Варшаве. А что случилось с Варшавой, товарищ секретарь, наверно, знает!..

Бывший польский коммунист с недоумением на лице осмотрел всех членов бюро, снова обратился взглядом к первому секретарю. Тот смотрел не мигая и как будто не слышал его.

— Партийный билет! Нет ничего выше и дороже для человека. как это можно куда-то его запрятывать?

— Товарищ секретарь знает, очевидно, условия подпольной работы...— начал Коржак.

— Что-о?!

Товарищ Атабаев как-то неестественно выпрямился над столом, открыв рот в беззвучном крике. Руки его дрожали. Второй секретарь обкома товарищ Епифанов задвигался, крякнул, тяжело посмотрел на адвоката:

— Есть предложение утвердить решение горкома об исключении... За неправильное хранение партийного билета! — сказал он четко, с расстановкой.

Члены бюро молчаливо одобрили это решение. Я встретился

глазами с Шамухамедом, и мы поняли друг друга. Потом я посмотрел на Шаганэ. Она сидела в стороне от стола бюро, у противоположной стены, и держала в руках папку с документами. На меня она совсем не смотрела, будто меня здесь и не было. И опять удивился я происшедшей в ней перемене. Все в ней увеличилось, словно налилось некой особенной вескостью: плечи, бюст, размах бедер. И посадка головы определялась раз и навсегда. Это величественность, которая происходит от хорошего питания, отдаляла, делала ее чужой...

— Айрапетов!..

В начале я не понял, о чем идет речь... «в бедняцкой семье... участвовал в организации социалистической торговли... обеспечение фронта сухофруктами... коллектив универмага систематически перевыполняет планы, налажена политико-воспитательная работа...»

Я вертел головой, тревожно вглядываясь в лица членов бюро. Они были непроницаемы, лишь зампредседателя облисполкома Костецкий улыбнулся мне заговорщически: мол, наше с тобой дело!.. Ага, вот и суть. «Контролирующими органами в универмаге вскрыты случаи пересортицы, обмана покупателей. Все это говорит о слабом контроле со стороны директора, партийной и профсоюзной организаций универмага за работой продавцов...»

— Думаю, достаточно,— товарищ Атабаев с некоторой брезгливостью повел рукой, останавливая докладчика.— Члены бюро ознакомились со справкой по этому делу. Пусть сам Айрапетов теперь нам скажет!

Я смотрел, не веря собственным глазам. Неужели этот скромный, замученный работой человек с печальными глазами и хлюпающим носом тот самый Айрапетов, которого я встретил недавно на улице, идя с учителем Айрапетовым. На нем был много лет ношенный пиджак с мятыми бортами, вместо рубашки — выцветшая гимнастерка, галстук сдвинулся набок. Из-под темных, утерявших форму брюк выглядывали старые, армейского образца, ботинки. И зубы у него как будто были другие, не золотые. Он вдруг заплакал, зарыдал, растирая обеими руками слезы по небритому лицу... «Партия!.. До последней капли крови... Все свою жизнь!»

Он долго еще кричал фальцетом, и все слушали, стараясь не встречаться глазами. У меня почему-то чесалась спина. Первый секретарь обкома вдруг резко положил руку на лежащее перед ним дело:

— Хватит... товарищ Айрапетов!

Наступила тишина.

— Представление тут устраивает,— ядовито заметил второй

секретарь Епифанов.— Вместо того, чтобы честно, по-партийному...

— Обворовываете народ и государство! — товарищ Атабаев загремел, указывая пальцем на Айрапетова.— Какие там отдельные недостатки, когда сплошное воровство. В один день сто тысяч украли. А теперь плачете. Раньше надо было думать!

Голос товарища Атабаева сотрясал зал, отдаваясь эхом в коридорах обкома, позванивали люстры под потолком. Я распрямился и, будто живительное лекарство, впитывал каждое слово. В душе у меня происходила буря. В одну минуту я все простил товарищу Атабаеву. Зачем же я воюю с ним, ведь это настоящий партийный руководитель. Ему тоже нелегко приходится. В чем-то, очевидно, я неправ. Главное, все теперь увидят, что партийная справедливость существует, и она превыше всего. Я с вызовом посмотрел на зампреда Костецкого: тот сидел с безмятежным видом и словно бы даже наслаждался гневной речью первого секретаря.

— Так вот, мы должны вынести такое решение, чтобы никому неповадно было,— товарищ Атабаев повернулся к докладчику.— Там в горкоме строгий выговор ему дали? Ну, это много поначалу... Есть мнение дать ему выговор. Идите, товарищ Айрапетов, работайте и помните...

— До последней капли крови...— заведующий универмагом выпрямился, опустил по швам руки.— Пусть партия только прикажет, на смерть пойду.

Второй секретарь обкома товарищ Епифанов добродушно махнул рукой:

— Ладно, иди. И смотри там, чтобы идейно-воспитательная работа у тебя была на высоте,— он нашел меня глазами.— Вот и корреспондент здесь. Так что будем с двух сторон смотреть за тобой!

Теперь все улыбались мне. А я чувствовал, что все у меня сделалось деревянное: руки, ноги, голова.

В перерыве Шамухамед тихо сказал мне:

— Это Аман-Батрак за него перед Атабаевым просил. Айрапетов двести тысяч за это дал...

Меня будто холодной водой окатило. Аман-Бартак, мой друг, про которого столько написано! И в «Огоньке» его фотография. Стоит в сапогах и в вельветовом костюме уже с двумя золотыми звездами на пиджаке. Хлопок с крупными белыми коробочками ему по грудь. Кто-то сказал, что Сталин самолично вырезал картинки из «Огонька» и обклеивал ими стены на своей даче...

В редакции со смехом рассказывают, как у Амана-Батрака полутора миллионов в колхозной кассе при ревизии не хватило. Его позвали в обком на бюро. «А если я сейчас пошлю домой

сказать, чтобы положили их туда?» — спросил он у инструктора обкома. Еле отговорили его: мол, тогда хуже будет. Он и схлопотал тогда выговор...

Я не спал ночь в поезде, снова и снова вспоминая происходившее на бюро обкома. Полный чувств, не заходя в редакцию, явился я в ЦК. И товарищ Тарасенков опять принял меня.

Он всегда теперь радостно улыбался при виде меня. Я молча положил перед ним акты проверки айрапетовского универмага за несколько лет. Там было на миллион откровенного грабежа. Потом я ходил от окна к столу и все говорил. И тут опять увидел, что второй секретарь ЦК товарищ Тарасенков получает явное удовольствие от этой моей горячей речи. Нет, не в том смысле, что ему нравится ее содержание, а в другом. Он смеялся: искренне, от души, и казалось, вот-вот захлопает в ладони. Я умолк на полуслове.

— Вот что я тебе скажу.— Теперь он уже больше не смеялся, в глазах появились черные иголочки.— Бюро обкома партии вынесло решение?

— Вынесло! — сказал я.

Он отодвинул все привезенные мной документы, придвинулся ко мне своим большим телом:

— Что же, ты хочешь быть умнее партии?

Я молчал.

— Может быть, ты партии не веришь?

— Верю.

— И я верю. Вот и давай подумаем. Кто мы с тобой? Обычные люди. Партия, наверно, лучше нас разбирается в этом деле. Как ты полагаешь?

Он говорил мне уже это в прошлый раз, слово в слово. А теперь забыл.

— Вот видишь,— продолжал он.— А ты мне всякие бумаги суешь!

Он отодвинул от себя документы, не глядя. Я собрал их, положил назад в папку. А он уже снова улыбался:

— Я так и говорю всегда самому себе: «Партия лучше тебя все знает!» И вот, как видишь...

Он обвел рукой кабинет с лакированными панелями, лепным потолком с бронзовой люстрой, высокой двойной дверью.

У меня совсем не осталось в голове мыслей. Являлись какие-то обрывки, которые я никак не мог связать вместе. А он все говорил:

— Выискиваешь негативные факты. Так ведь недалеко знаешь куда скатиться. Кому это все на руку, не соображаешь?..

А перо у тебя красивое, четкое. Вот и написал бы что-нибудь хорошее, художественное, о рабочем классе. Кто создает все эти ценности вокруг? Он, его величество рабочий класс. Ты и создай образ. Я ведь сам из рабочих, простым слесарем был. Этими вот руками...— он придвинул свои руки к самому моему лицу.— Вот и опиши, как эти руки мир преобразуют, счастье для человека куют...

Я видел их прямо перед собой, его большие, белые руки, с пухлыми подушечками ладоней. Он протягивал их мне с настойчивостью, сам любуясь ими. А через минуту уже говорил, забыв о только что сказанном:

— Думаешь, легко людями руководить. Я ведь как. С семнадцати лет — школу так и не закончил — запрягли в комсомол. Инструктором, после секретарем, партшкола, ну и пошел: то на Волге, то на Сахалине, то у химиков, то в Африке, и теперь вот здесь. Так и тяну всю жизнь. Ты бы описал. На ком это держится? Все мы. Сам видишь...

Он говорил еще долго, с доверием ко мне. И я слушал...

Какая-то необыкновенная усталость была во всем теле. Будто меня долго били. Я перешел улицу, зашел в сквер. Сидел на скамейке, опершись подбородком на папку с документами. Тугой шар с маклюры сорвался, ударился рядом, забрызгал меня горьким соком. Потом я выпил стакан вина в голубенькой будке при аллее парка и решил махнуть на все рукой. Ехать в редакцию не хотелось, и я опять пошел в ЦК. Но теперь уже в другое крыло, к Сашке Бараннику, который прежде работал у нас в Ханабаде. Да и прочие ребята были мне там знакомы, вместе доклады писали.

Среди моря времянок из фанеры после великого ханабадского землетрясения новое здание ЦК с усеянным окнами куполом высилось среди них как гигантский бетонный корабль среди плывущих по жизни щепок. Я шел бесконечным пустым коридором, и ковровая дорожка скрадывала шаги. За дверями с многочисленными фамилиями-табличками тоже было тихо. Кружилась голова. Начинало казаться, что жизнь остановилась, и никого больше не осталось на земле. Но вот я увидел табличку со знакомой фамилией и толкнул высокую глухую дверь.

Сашка сидел, уткнувшись в бумаги, заслоненный от двери лежащими перед ним на столе тяжелыми книгами. Там были «Краткая советская энциклопедия», «Вопросы ленинизма», что-то еще — красное и муаровое.

— Здорово! — сказал я, подойдя к столу.

— Фу ты... твою мать! — Сашка облегченно вздохнул, смел рукой сразу все книги.— А я думал, кто это там крадется?

— Что, проверяют? — спросил я.

— Да нет, может так кто-нибудь зайти.

Он снял трубку, принялся звонить:

— Тут наш приехал... Приходи!

Скоро в Сашкиной комнате собралось пять или шесть человек: почти все ханабадские — инструкторы, инспекторы, замзавсекторами. Спрашивали, как там в Ханабаде с севом, кого сняли и назначили. Когда заговорил я об Айрапетове, они переглянулись.

— Айрапетов — мужик серьезный! — сказал Сашка и почему-то потер рукав у своего костюма.

А потом началось то, что всегда происходит, когда пять-шесть человек собираются здесь вместе. Поначалу рассказывались анекдоты на аграрно-колхозную тему, вовсе безобидные: про хитроумного директора совхоза и про цыгана, которого судили за халатность — кобылу увел, жеребенка оставил. Но вот Федор Павлович, самый старший из всех, принял суровый вид. Мы все тоже посуровели, облизывая губы от предвкушения...

— Не знаю, куда Васькин смотрит! — говорит он озабоченно и даже чуть покачивает головой. И мы с укоризной качаем головами, поскольку Васькин — министр государственной безопасности республики.

— Еду, понимаете, вчера в автобусе, и вдруг слышу за спиной такую антисоветчину, что волосы дыбом!..

— А что? — спрашивает кто-то из нас.

— Анекдотец травит фрукт один. Мол, заспорили Сталин, Трумэн и Черчилль, у кого страна богаче...

Мы сдвигаем головы, глаза наши горят преступным любопытством:

— Ну!

— Будто Трумэн хвалится, что в год у них выпускают столько автомобилей, что вся Америка может сразу сесть и поехать. Черчилль говорит, что у них в один год производится такое количество тканей, которым можно одеть все человечество. А Сталин вынимает изо рта трубку и смеется: «У нас в один день столько воруют, что можно все ваши ткани и автомобили в одночасье купить, еще и останется. Так кто из нас богаче?»

Мы прыскаем в кулаки и тут же выпрямляемся, искоса поглядывая друг на друга. Громко возмущаемся, что не следят как следует и не пресекают подобные анекдоты.

— Хотел было на остановке придерживать его, так он за угол и как сквозь землю! — заключает Федор Павлович.

— Это что, я и похлеще слышал! — вступает Нажметдинов,

инструктор орготдела.— В поезде ехал в командировку. Один там спрашивает: почему, мол, не выполняем сталинское решение Америку перегнать. Так сам товарищ Сталин будто бы сказал, что не надо. Догнать можно, а перегонять не следует.

— Почему? — спрашивает кто-то.

— Если перегнать, то сразу они голую задницу у нас увидят!

Все повторяется. Мы захлебываемся хохотом, потом мрачнеем и опять клянем органы, которые не расстреливают на месте подлецов, рассказывающих такие анекдоты. Это длится добрых два часа. Потом мы спохватываемся и поспешно расходимся, поглядывая друг на друга. В душе некое освобождение от давящей тяжести и одновременно тревога...

Редактор молча жевал бумагу.

— Что же ты, голубчик, ходишь в ЦК, не согласовав с нами?

Он поднял на меня свои блеклые глаза.

— Так я же, как коммунист...

Он уныло смотрел в пол. Я принялся ему рассказывать, как реагируют в области на нашу критику. Пилмахмуд продолжает руководить облОНО, и ему по-прежнему собирают дань. Выговор с него давно уже сняли. И в педучилище тот же Сагадуллаев продает дипломы. А в школах учителя с жуковской справкой продолжают учить детей. То же самое и с управляющим банком Мовыевым, которого заместителем министра финансов назначили. Хлебозаводу, о котором мы писали, присуждено переходящее Красное знамя...

— Вот что, поедешь по спецзаданию! — веско сказал редактор.

Я вернулся в Ханабад и включился в «людоедское» дело. О нем говорили, но никто толком не знал, что там правда, и что вымысел...

Все, как водится в Ханабаде, происходило на базаре. Да, на том самом базаре, расположенном в полуразрушенных стенах старой крепости, про который мы уже писали в самом начале, совершая экскурсию в ханабадскую историю. Там, рядом с проломом в стене, где столкнулись некогда известные исторические деятели, положившие начало вражде левобережных ханабадцев с правобережными, в наше время поселился одноногий инвалид со своей румянощекой, крепкой женой. Приехали они к концу войны откуда-то с Кубани и построили здесь добротный дом с пятью окнами и высоким забором. Их не смущала гнилостная вонь, исходящая от протекающего через их двор

крепостного рва, по которому теперь сбрасывались отходы местного масложиркомбината. Пахучая желто-бурая жижа обычно стояла там. А разводили они свиней...

Ханабадский базар за две тысячи лет нисколько не изменился. Разве что вместо цветастого халата и шитых серебром туфель там сейчас можно купить югославскую дубленку и ботинки «Саламандра». Впрочем, как и во времена Александра Македонского, нет той вещи в мире, которую невозможно было бы приобрести на ханабадском базаре. Говорят, в последние годы, имея деньги, тут можно купить небольшой атомный реактор. Я не имею оснований не верить этому.

А в остальном все тут было по-старому. Широкоплечие, с лиловатым румянцем во все лицо женщины продавали топленое молоко, сметану и мацони в стаканах, тут же высокими стопками лежали жареные решеточкой блины, от самых ворот сидели с полотенцами в руках продавцы лепешек. Во всю глубину базара, до дальней крепостной стены высились горы цветистых дынь, арбузов, пламенно-красной тыквы. Стояли корзины с виноградом, урюком, шапталой. Ни с чем не сравнимый, устоявшийся в тысячелетиях запах будоражил обоняние.

А по левую сторону находились сколоченные из досок прилавки. На них было разложено мясо, пересыпанное крупной солью сало, рассеченные надвое крупитчатые курдюки. Висели обдуваемые сухим горячим ветром пустыни бычьи, свиные, бараньи остовы. Бычьи и бараньи туши тут же заветривались, покрывались плотной, не допускающей проникновения воздуха пленкой. Лишь свиные туши продолжали сочиться, к вечеру уже источая все усиливающийся запах. Их надо было продавать как можно скорее, что и делала тетя Фрося, жена Кости-инвалида, живущего у крепости. Это ей было тем легче, что свинина у нее была плотная, отборная, с ясно видимой границей мяса и сала. Красивая свинина. Да и продавала она ее обычно рублем дешевле других. Местные почему-то это свинину упорно не брали, но тут и приезжих было достаточно.

Дело в том, что как во времена Александра Македонского и правившего затем Антиоха, именно здесь находился центр мировой торговли. Все так и оставалось в нетронутости. За много тысяч километров, с другого конца великой ханабадской низменности, кто-то вез сюда общим вагоном полсотни женских цветных платков. Обратно торговый гость увозил два десятка каракулевых шкурок-камбар, несколько кусков мыла, верблюжью пряжу жене и серую кунжутную халву детям. Случалось, между уложенными платками попадались мешочки с анашой или сухая конопля. Поскольку с приходом эры всеобщего ханабадства мечети были взорваны, а заодно и примыкающие к ним кара-

ван-сараи, перед путником, приезжавшим с торговой целью, вставала проблема ночлега. В здешней восьмикоечной гостинице можно было поселиться лишь по брони райкома партии, так что необходимо было искать какое-нибудь другое место. И тут оказывалась кстати тетя Фрося, выносившая к вечернему поезду домашнюю колбасу и сдобренный чесноком холодец. Она определяла достоинства приезжего и между делом предлагала переночевать в собственном доме. Мягкая певучая речь и весь хозяйственный вид ее располагал к себе, и человек шел за ней вместе со своими платками и кокнаром, если случалось везти его с собой. Тетя Фрося выставляла на стол закуски, муж ставил бутылку самогона...

В городке рассказывали шепотом про странные крики, которые иногда ночью неслись из дома на краю крепости. Кто-то видел человека, убегавшего оттуда с рассеченной головой. Но мало ли что говорится между людьми. Иногда приезжали какие-то люди, разыскивали пропавших родственников, но в милицию не обращались. Милиция между тем часто угощалась у дяди Кости, тем более, что закуска у него была добротная, да и место подходящее, подальше от глаз начальства. Как вдруг из самой Москвы нагрянули люди. Костю-инвалида с тетей Фросей увезли ночью, дом опечатали и поставили вокруг военную стражу. Вот тогда и пошли разговоры про людоедство...

Все оказалось еще страшнее. Муж с женою и вправду лакомились человечиной. А под домом нашли объеденные свиньями кости тридцати восьми человек разного пола и возраста. Может быть, потому еще не едят на Востоке свинины, что это единственное из всех домашнее животное, с удовольствием поедающее человека. Я лихорадочно вспоминал, не покупал ли у добродушной тети Фроси холодец или что-нибудь другое при моих наездах сюда.

Полмесяца вместе со следователями занимался я этим делом. Находились все новые жертвы, под стрехою сарая обнаружили ящик, в котором лежали десятки паспортов. Сколько людей было сброшено в протекающий через двор канал, определить не было возможности. Кости их перемешались там с древними костями тех, кто каждый в свое время осаждал эту крепость: воинами Тимура, нукерами Чингисхана, сельджуками, кушанами, парфянами, вплоть до гоплитов Александра Македонского. Истекавшая из масложиркомбината ядовитая жижа одинаково разлагала их, лишая временных признаков.

Когда я положил перед редактором очерк об этом деле с продолжением на три номера, он недоуменно посмотрел на меня:

— Зачем ты это писал?

— Чтобы напечатать! — ответил я с подъемом.

— Что же, по-твоему, у нас в стране существует людоедство?

И здесь во мне привычно что-то повернулось, вроде детской картинки-перевертыша. Реальность вдруг пропала, и на том же самом месте проступил мираж. Действительно, как это я написал такое? Откуда у нас людоедство? Да еще и про анашу с кокнаром упомянул. Получается, что у нас существует и наркомания. Да кто же пропустит такое? Значит, этого нет и быть не может. Я находился в зоне миража и пользовался соответствующей логикой. Хотите верьте, хотите нет, но я в ту минуту искренне верил, что не может всего этого быть у нас.

— Зачем же вы посылали меня? — вырвалось у меня. Я почувствовал, что шагнул одной ногой назад, в зону реальности.

Редактор тускло смотрел на меня, не отвечая. И я вдруг все понял. Меня нужно было хоть чем-нибудь занять на время, чтобы, по первородной своей глупости, не влезал куда не надо.

— Этот материал мы передадим куда следует! — веско сказал он.

Я взял черновик, выбрал из него кое-какой материал и все же написал фельетон. Там не было ни людоедства, ни наркомании, никакого очернительства. Речь шла о ханабадском базаркоме. Это у него работал Костя-инвалид сторожем при базаре. И не мог тот ничего не знать о занятиях своего сотрудника. Следователь говорил, что преступники наверняка сплавляли через кого-то отобранную у своих жертв анашу. А по данным областной милиции при базаре действовала опиекурильня. Но санкции на обыск или следствие почему-то не давали.

Полностью безграмотный базарком ездил в черном ЗИС-е и имел особняк на двенадцать комнат с садом на полгектара. Я и написал об этом, поскольку сад был отрезан в его личную собственность от бывшего «Государева имения». Того самого, что было основано когда-то для внедрения цивилизующего начала в ханабадскую действительность. Сейчас там располагался специализированный санаторий, занесенный во все мировые справочники, и базаркомовская стена вторглась на его территорию, заслоняя свет в окнах. Администрация санатория много лет вела тяжбу с базаркомом, наследующим владения бывшего государя-императора Александра Третьего, но ничего не получалось.

Я сам ничего не знал и ни в коем случае не думал в очередной раз подводить своего редактора. Он так и этак вертел фельетон, но там не было чего-нибудь крамольного. И что значит какой-то там базарком в районном центре? Пару абзацев на всякий случай сократили, и фельетон пошел.

Герой его на этот раз оказался родным дядей Бабаджана

Атаевича Атаева, того самого, невысокого и припадающего на ногу, которого товарищ Маленков лично отобрал в первые секретари ЦК. Между тем, я к тому времени не мог уже не понимать, что человек, ведающий базаром, во все времена был одной из главных политических фигур ханабадской истории. Нечего и говорить, как поднялось его значение в эпоху всеобщего ханабадства.

Но случилось самое худшее. То ли какую-то роль сыграло московское следствие, то ли еще что-то, но базаркома арестовали осудили на четыре года. Правда, в колонии он трудился в качестве хлебореза и вышел через полгода, вернувшись к руководству ханабадским базаром, но трещина, которую я давно уже приметил у себя под ногами, сразу вдруг расширилась и превратилась в зияющую пропасть. Я заглядывал туда и видел лишь поднимающийся оттуда туман. Перепрыгнуть на другую сторону уже не было возможности. В один из дней меня позвали в трехэтажный серый, с мечами и щитами, дом и под расписку вручили оружие. Я примерил в руке удобный «Вальтер» — второй номер и задумался. Давненько не держал я такой штуки в руках!..

Шаганэ между тем окончательно изменилась. У нее появилась какая-то плавная, основательная уверенность в бедрах. И все остальное уже исходило отсюда: непроизвольное повышение тона, приподнимание подбородка в разговоре, властность жеста. Она была уже выше меня, хоть, к чести ее, старалась держаться со мной по-прежнему. Значительность ее нового положения ощущалась во всем. Она теперь не говорила уже о пустяках и значительно поджимала губы, когда разговор касался вопросов государственных. Ей было все известно, и я невольно ощущал некую неполноценность даже в самые ответственные моменты наших отношений.

Я испытывал с ней даже некоторую робость. Чувствовалось ее приближение к государственным делам. И обстановка вокруг соответствовала этому новому ее качественному состоянию: полированный стол, мягкие кресла, ковры, и как бы в центре всего — широкий, раздвигающийся диван-кровать. Она больше не говорила со мной о товарище Атабаеве, и я почему-то не заводил о нем разговора. А о первом секретаре ЦК товарище Бабаджане Атаевиче Атаеве Шаганэ заметила, что он очень хороший человек и много работает. Между прочим, она обмолвилась, что вскоре перейдет на работу в столицу республики, на выдвижение...

Здесь следует сделать скачок во времени — вопреки природному ханабадскому стремлению к плавности. Пока происходили описываемые события, умер Сталин. Не стану распространяться о многообразии чувств, охвативших меня при этом неожиданном известии. Впрочем, неожиданным оно не было. Что-то ожидалось, потому что не могло больше продолжаться то, что было. Миражи уже настолько перемешались с реальностью, что нарушены оказались некие вселенские законы тяготения...

Когда же это произошло, было чувство растерянности и облегчения. Растерянность, преломляясь в системе миражей, воспринималась как подлинное горе. Тот, кому приходилось хоронить по-настоящему родного человека, понимает эту разницу между искренним горем и столь сомнительным чувством. И еще где-то на уровне диафрагмы ощущалась тревога: вот **ОН** сдерживал до сих пор все злое, кровавое, нечеловеческое, которое совершалось из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день. Как же теперь будет без него? Но в глубинах сознания, куда не достигал свет миражей, таилась радость. Так бывает после тяжелой болезни...

В силу профессиональной тренированности переход от реальности к миражам и обратно совершался во мне уже механически. По заданию редакции я сидел и писал зарисовку (так у нас это называется) о всенародном горе. Плакали люди по берегам Хандарьи, а молодая звеньевая, в шелковом платье и модных туфлях, только что закончившая школу, ушла от подруг, чтобы пережить наедине самое великое несчастье в своей жизни. Чистые девичьи слезы падали в мутно-серую речную воду, несущую жизнь колхозным полям. Она думала, какое огромное счастье принес ей великий человек, ставший отцом и учителем народов. И не знала она, что слезы ее смешиваются со слезами другой девушки, которая плачет о великой утрате там, по ту сторону граница, одетая в тряпье и прикрытая паранджой. Как мечтает она, что благодаря оставленному на земле завету этого человека «с лицом рабочего, головой ученого и в одежде простого солдата» (так я и написал!) явится к ней освобождение, как неминуемо придет оно ко всем народам земли...

Глаза мои были влажными от подступивших слез, я посидел еще немного, чтобы успокоились чувства. После этого встал и отнес материал заместителю редактора Моторко. И он, бывший боцман с линкора, тоже всплакнул, читая его. А я получил за этот материал тройной гонорар.

После этого время понеслось с неслыханной быстротой, Ханабад бурлил. Это особый материал для исследования — бур-

лящий Ханабад. Сам Бабаджан Атаевич Атаев по три и по четыре раза в день выступал на митингах, развенчивая культ личности. Рассказывали, что на собрание в медицинский институт он, припадая на ногу, пришел пешком. Все было брошено на разъяснение партийных решений по этому поводу. Товарищ Тарасенков на республиканском активе звал печать к смелости при разоблачении отдельных недостатков, порожденных культом. В области секретарь обкома партии товарищ Атабаев, не называя фамилий, указывал на пристрастие некоторых журналистов к сенсационности. Вместо того, чтобы предложить позитивную программу, смело распространять передовой опыт, они порой выискивают отдельные отрицательные факты и на этом основании мажут грязью всех трудящихся, которые в эти дни с небывалым трудовым подъемом борются за выполнение поставленной задачи — в трехлетний срок создать изобилие сельскохозяйственной продукции в стране. Подобное шельмование кадров не может быть терпимо, когда партия смело и, главное, своевременно разоблачила культ личности товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

Ни один человек не оставался в стороне. Пилмахмуд выступил со статьей в областной газете, где остро критиковал некоторые школы области, где не выполняется постановление о горячих завтраках и имеются отдельные случаи хищения предназначенных для этой цели продуктов. Директор педучилища товарищ Сагадуллаев на городском партийном активе назвал имена преподавателей, которые в период культа личности устраивали гонения на честных руководителей. Между тем, эти руководители все свои знания и опыт отдают делу воспитания будущих учителей. В областном универмаге товарищ Айрапетов на месте портрета генералиссимуса вывесил шелковое красное знамя с кистями, под которым на беломраморном стенде располагались портреты отличников советской торговли. По всему Ханабаду убирали бюсты товарища Сталина и вместо них ставили другие. И лишь базарком в Ханабаде не убирал висящую над его столом панорамную картину «Утро нашей родины»: товарищ Сталин с переброшенным через руку плащом стоит на всей земле. Видны только уходящие за горизонт просторы колхозных полей и столбы высокого напряжения. Ханабадский политический консерватизм, как известно, всегда начинался с базара.

Были и другие формы оппозиции, опирающиеся на ханабадский исторический опыт, который отличается в этом смысле своим богатством. Так, товарищ Панкратская, например, освобожденная с должности заведующей отделом пропаганды и агитации ЦК и переброшенная в ИМЭЛ (Институт Маркса —

Энгельса — Ленина) в разговоре с друзьями упорно именовала свое нынешнее место работы ИМЭЛС. А на вопросы слушателей партшколы, где преподавала по совместительству, какой литературой им пользоваться, теребила свои редкие волосы и говорила с тонкой улыбкой на губах:

— Не знаю, товарищи. Могу лишь сказать, что дома у меня лежит «Краткий курс»...

Порой оппозиция проявлялась совсем открыто. Так, присланный на укрепление из Москвы второй заместитель редактора вывесил у себя в кабинете привезенную с собой гравюру «Товарищ Сталин на борту крейсера «Молотов». Редактору доложили об этом, но тот жевал бумагу и ничего не говорил. А второй заместитель редактора поселился в новой, еще не сданной строителями гостинице рядом с вокзалом, куда поместили и меня. И вот тут произошла некая демонстрация.

В один из дней в столицу республики прибыл вдруг целый поезд с дипломатами. Это были первые иностранцы в Ханабаде со времен гражданской войны, когда они явились сюда со слонами и сипаями[1]. В гостинице спешно подготовили несколько номеров и с минуты на минуту ждали их прибытия. Как водится в Ханабаде, во всю ширину лестницы постелили ковер, по бокам встали городские власти, представители общественности с хлебом и солью, просто молодые люди, чье присутствие обязательно в таких мероприятиях. Послышались клаксоны подъехавших машин, широко отворились двери и на пороге появился дуайен дипломатического корпуса с супругой. И тогда по ковру с самого верха лестницы кто-то стал спускаться им навстречу. Все бы ничего: человек был в галстуке и золотых очках, с сигаретой в зубах, но больше ничего на нем не было, даже плавок. И спускался он почему-то на четырех, руками вперед, со спокойной сосредоточенностью в движениях. Я с ужасом узнал нашего заместителя редактора. В полной тишине он дошел до самого низу, с интересом посмотрел снизу вверх на дуайена, его супругу, и тем же порядком направился по коридору к буфету. Опомнившиеся молодые люди бросились за ним, но все остальное уже не имело политического смысла...

Для меня знак эпохи возник вдруг среди белого дня на главной ханабадской улице. По ней шел невысокого роста человек с загадочным индийским лицом, невыносимо мне знакомый. Главное было не лицо, а бархатно-черные спокойные глаза. Это большая редкость, когда глаза черные и спокойные. Некая древняя мудрость содержалась в них.

— Михаил Петрович! — закричал я шепотом. Он остановил-

[1] Сипаи — английские колониальные солдаты.

ся, пожал мне руку, словно расстались с ним только вчера. Мы пошли в городской парк, сели на скамейку напротив огороженного нестругаными досками монумента. Третий день гудели там тракторы, стягивая его с постамента. Сквозь щели забора был виден бетонный сапог с оголившейся арматурой, который никак не удавалось оторвать от основы. Мой знакомый молча смотрел, и не было движения в его лице.

Я был ошеломлен этой встречей. Не потому, что снова увидел его, явившегося из того, призрачного мира, а просто вдруг невыносимо ясным стало собственное мое участие в происходившем. Нет, не действием, а какой-то готовностью чувств. Когда Михаил Петрович исчез из этой жизни, это было для меня так же закономерно, как дождь или смена дня и ночи. Такое исчезновение людей и даже целых народов имело некую связь с тайной происхождения жизни...

Все было как будто только вчера. Незримая волна зародилась где-то в вершинах ханабадской тропосферы и катилась, завихряясь, смерчами и самумами, унося хижины и разваливая дворцы. Делалось это просто. Когда запланированная волна достигала назначенной республики, в центральном органе всеобщего ханабадства появлялась статья за тремя подписями. Это были секретарь ЦК по пропаганде и агитации республики, собственный корреспондент и известный толкователь книги Пророка, профессор Люцианов. С каждой республикой менялись секретари и корреспонденты, но профессор непременно присутствовал во всех этих статьях.

Статью затем перепечатывала соответствующая «Ханабадская правда», тут же приводились гневные отклики рядовых ханабадцев, требовавших возмездия. К этому времени десять — двенадцать деятелей местной ханабадской науки уже допрашивались и признавались, как дошли до жизни такой и какой разведке служили: японской, турецкой или ЦРУ. Люди это были творческие, и составить соответствующий сюжет для них не представляло труда.

Я дружил с Михаилом Петровичем, хоть был тот лет на двадцать старше меня. Собственно говоря, не был вовсе он Михаилом Петровичем, а был Оразмухамедом, но в Институте красной профессуры, где когда-то учился, слушатели-интернационалисты подчеркнуто брали себе русские имена и отчества. По профессии Михаил Петрович был экономистом, еще довоенным кандидатом наук, но, как всякий неординарный человек, занимался еще историей, филологией, писал рецензии, изучал эпос. И имел соответствующих ученых друзей в академических институтах. Их всех привлекли к ответственности, и его заодно.

Помню, в начале, когда лишь смутно ощущались признаки

приближающейся бури, он говорил мне, высоко приподнимая брови:

— Ну, написал мой предок полторы тысячи лет назад непролетарский эпос, так я здесь при чем?

Этот его неизвестно когда живший предок изобрел также первый на земле музыкальный инструмент и сделал немало еще полезного, за что и прославлен был как родоначальник многих племен и народов. А то, что на войну с соседями звал, то такое было тогда жестокое феодальное время. Так или иначе, а все, имевшие отношение к преподаванию эпоса или просто читавшие его, получили по десять лет и отбыли на ближайшую стройку коммунизма. Их я, очевидно, и видел на канале, в размазанном на песке прямоугольнике в окружении собак.

Все бы на этом и закончилось, но кто-то из тройки судей посчитал дело не таким простым. Один из подсудимых, поэт и философ с тонким лицом и ниспадающими кудрями, на дополнительном допросе признался, что собирались они друг у друга не просто пропагандировать панханабадский эпос, а еще составили при этом подпольное правительство. Премьер-министром его избрали Михаила Петровича, как единственного среди них экономиста.

Всех вернули в Ханабад и судили заново. Теперь им дали по двадцать пять лет. Трех или четырех думали расстрелять, но как-то обошлось. Дело, как рассказывали происходило таким образом. Приведенный на очную ставку кудрявый поэт дал подробные показания, кому какой пост был назначен в подпольном правительстве. Когда он закончил говорить, слово дали Михаилу Петровичу. Ровным голосом тот подтвердил, что все было именно так, но показания их друга-поэта не полные.

— Как это не полные? — удивился председатель суда.

— Как премьер-министр я дал ему особое поручение. Почему наш товарищ умолчал о нем?

Бедный поэт растерянно хлопал глазами.

— Помнишь, дорогой мой, когда утром проснулись. Тебя еще тошнило, потому что смешивал накануне водку с шампанским.— Михаил Петрович говорил убедительно, не повышая голоса.— Я поручил тебе тогда быть у нас министром государственной безопасности. Зачем же ты про это не рассказал?

Говорят, все трое судей не могли удержаться от смеха, глядя на физиономию поэта и философа. Оттого и заменили расстрел Михаилу Петровичу и его товарищам. Так ли было на самом деле, я не спрашивал. Мы говорили совсем о других вещах, об этом он говорить не захотел.

— До свидания, Михаил Петрович! — сказал я на прощанье и пожал ему руку.

— Михаила Петровича больше нет, там остался,— он говорил очень серьезно.— Я Оразмухамед, и никто другой!

Редактор отправил меня в длительную командировку. Я должен был сопровождать в поездке ответственных товарищей из Москвы, прибывших в Ханабад для изучения условий перехода на новый метод хозяйствования на селе, вплоть до создания отдельных семейных звеньев на хозрасчете. Два работника аппарата ЦК КПСС, к которым я непосредственно был прикреплен, один уже в возрасте, другой помоложе, оказались нормальные люди, во всяком случае ничего не напускали на себя. Старший был экономистом, а другой выдвинутый из глубинки. Приступали к делу мы с горного юга великой Ханабадской равнины.

— С чего же начнем знакомство? — спросил меня Николай Иванович, старший.

— С чайханы! — сказал я.

Он посмотрел на меня удивленно:

— С чайханы, так с чайханы.

Это была столица другой ханабадской республики. Не в сверкающую инородной бронзой и электричеством чайхану повел я их. И не в показательную столовую при городском парке с красным знаменем в углу. Километрах в пяти от города располагался кишлак, быстро становящийся городской окраиной. Там, напротив старого базара, было место, с которого я не в первый раз начинал знакомить приехавших сюда людей с подлинным Ханабадам.

Заведующий чайханой и давний мой знакомый, вышел к нам навстречу, обеими руками пожал руки гостей, нисколько не теряя достоинства. Все здесь было, как всегда. В глубине основательного сырцового строения стояла прохладная полутьма. Саманные стены хранят прохладу, когда снаружи за сорок. Самые различные люди находились здесь: они располагались на устланном кошмами деревянном помосте-тахте, сидели у столиков на полу. Это великий закон чайханы: каждый ведет себя так, как ему удобней. На краю тахта, притянув к голове шинель, спал солдат. Никто не беспокоил его, и разносчик чая с невозмутимой уважительностью обходил отдыхающего человека. У солдата было широкое рязанское лицо, и здесь это не имело никакого значения. Невольно вспомнилась первая заповедь Пророка: «десятую часть путешествующим, вдовам и сиротам...» Все было в порядке вещей.

Мы прошли на веранду, подпертую потрескавшимися столбами с резьбой. На дворе под кроной тысячелетнего платана сидели четверо стариков: зажиные, белобородые. Они пили чай

с лепешками и беседовали между собой. Их цветные халаты вместе с небом отражались в воде древнего хауза. Места для воды здесь не меняются тысячелетиями, и кто знает, не смотрел ли в эту самую воду Двурогий Искандер, как зовут здесь великого македонца. Совсем недалеко отсюда вполне реально стоит над ущельем построенный им мост и ездят по нему самосвалы. Лишь доски из века в век меняются на каменных быках. А Двурогим его называли, потому что на голове у него росли рога, но не наружу, а острием внутрь. Когда он останавливался в своих завоеваниях, рога начинали колоть его мозг, причиняя чудовищную боль. Она заставляла завоевывать все новые и новые страны. Такое было наложено на него необыкновенное проклятие...

Мы тоже пьем чай, едим утреннюю самсу. А я пока что договариваюсь с заведующим чайханой о плове. Он варится тут же в огромном казане, и хоть мясо тут казенное, это очень хороший плов. Но я говорю не об этом плове. Вместе с заведующим иду я к сидящим у хауза старикам. Тот здоровается с ними, представляет меня и сообщает при этом, что я давний его знакомый и очень хороший человек. Я молча стою, в знак уважения опустив руки. Один из стариков окидывает меня строгим взглядом и остается удовлетворенным.

Заведующий между тем продолжает говорить, что эти люди, которые приехали со мной, из самой Москвы и пользуются там большим уважением. Они слыхали, что именно здесь могут готовить настоящий плов и специально приехали сюда, чтобы убедиться в этом.

— Если бы почтенный Бобо-Мирзо согласился показать этим уважаемым людям свое искусство, они были бы вечно благодарны ему.— Заведующий приподнимает руки к небу.— Да, где еще могут они испробовать такой плов!

Бобо-Мирзо, старик с тонкими благородными чертами лица, думает еще некоторое время и согласно кивает головой. Заведующий кладет на коврик переданные мной деньги на продукты, старик и не смотрит на них. Мы благодарим его за согласие оказать нам такую большую услугу и идем назад на веранду.

Жизнь в чайхане между тем идет своим чередом. Человек пять или шесть в халатах поверх обычных костюмов ведут степенный разговор. Они молодые, но говорят с основательностью. Некий хромой Гафур, оказывается, возвратился из Новосибирска, куда возил курагу, свою и купленную у соседей. Ему удалось ее хорошо продать, поскольку цены там теперь достойные. Еще лучше цены в Иркутске, но дальше Иркутска везти нет смысла. Дорого обходится и кроме того сделалось известно, что в те города у моря привезли сейчас много сладкой сушеной сливы

из Вьетнама. Также в Москву не нужно везти изюм, там сейчас продается в магазинах белый изюм из Турции. Я слушаю и думаю, что вовсе это не спекулянты. Тысячу и две тысячи лет назад их предки водили караваны с курагой и изюмом в Сибирь и к скифам, и туда, где стоят сейчас совсем другие города и живут другие народы. Неужели было бы хорошо, если бы на иркутском базаре совсем не было кураги?

А рядом с нами назревает ссора. Двое почтенных ханабадцев укоряют в чем-то друг друга. Голоса они не повышают, но в тоне их явно слышатся угрожающие нотки. Они говорят каждый свое и не слушают друг друга. Вдруг один из них цепко хватает другого за бороду, одновременно то же самое делает и другой. Так, не выпуская бороды друг у друга, уходят они с веранды и усаживаются в сторону у дувала, выясняя отношения. Каждый теперь вынужден слушать другого, и по очереди, притихшими голосами, они выговаривают прямо в лицо друг другу свои претензии.

А мы наблюдаем за тем, что происходит у хауза. Дело там закипело. Минут через пять, неизвестно каким образом оповещенный, появляется возле стариков молодой человек, почтительно выслушивает Бобо-Мирзо и уходит. Затем какие-то указания получает мальчик, помогающий при чайхане. Через некоторое время приносят мясо, и мне даже отсюда видно, что это свежее, парное мясо от только этим утром зарезанного барана, причем именно та его часть, которая идет на плов. Мальчик приносит дочиста промытые в арыке лук, морковь, горох в деревянной миске, какие-то мешочки со специями. Лук особенный, белый и сладкий, который растет лишь в низовьях Хандарьи, его можно есть как яблоко. И морковь такую не найдешь на базаре: она янтарная, звонкая, без единой царапины или искривления. Горох, которым приправляют плов, тоже особого сорта, крупный, каменной твердости, его распаривают в миске. Но самое главное, в белом полотняном мешочке приносят «ханский» рис: жемчужно-матовый, продолговатый, которого не увидишь в магазинах. Бобо-Мирзо достает из чехла у пояса свой нож мягкой, домашней стали, и начинает резать лук. Полчаса уходит на одну луковицу: держа на весу, он отслаивает кружевные почти прозрачные кольца. И морковь стругается тем же способом, от себя, так что от одной моркови вырастает целая гора невесомых розоватых лепестков. Старики помогают Бобо-Мирзо осуществлять приготовления к плову. А мальчик уже почистил казан, наколол саксаул. Бобо-Мирзо не понравилось что-то, мальчик уносит часть дров приносит другие, более плотные...

Мы уезжаем по своим делам, предупрежденные, что обязаны быть здесь к пяти часам дня. Опоздать в этом случае было бы

неуважением. Приезжаем мы ровно к пяти и, выйдя из запыленной, проделавшей в этот день немалый путь «Победы», вдруг останавливаемся. Дух совершенства, который невозможно уже забыть, наполняет воздух. Это не грубый запах еды, пусть и очень вкусной, а именно дух, говорящий о чем-то более высоком, чем стремление к утолению голода. И мы не сразу садимся за еду. Вместе с заведующим я несу к хаузу отдельное небольшое блюдо с пловом и прошу глубокоуважаемого устада Бобо-Мирзо и его почтенных друзей разделить с нами счастье вкушения столь замечательного чуда, каковым является приготовленный им плов. Старый «мастер плова» не говорит ни слова. Он принимает блюдо, ставит его посередине, произносит молитвенную формулу. То же делают другие старики. За изготовление плова Бобо-Мирзо не берет денег. Этот достойный ужин для себя и друзей и есть его плата. Этим и живут старики, сидящие возле чайханы...

Мы едим плов без помощи ложек, стараясь подражать аксакалам. Иначе это кощунство: ложка, металлическая или деревянная, разрушает структуру напоенного особым ароматом риса, превращает его в обыкновенную кашу. Каждое зерно являет собой прообраз всего творения, и здесь, как и везде, нельзя разрушать гармонию. Впрочем, это обычное варварское высокомерие — презирать другой народ за свойственную ему манеру жизни. Между тем, я вижу, что Николай Иванович внимательно наблюдает за тем, как едят старики. Никто не касается еды другого. Берется тремя пальцами кусок мяса с вершины конуса, облепляется на своей части блюда рисом и отправляется в рот. Плов невозможно иначе есть. Я, впрочем, знаю, что шурпу эти старики едят деревянными ложками, как едят серебряными суп из рептилий завсегдатаи в парижском ресторане «Орион». Видимо, я правильно решил начать изучение Ханабада с чайханы...

Это переплетение много лет некошенной травы и одичавших, причудливо изогнутых веток деревьев было пугающе непонятным. И плоды, перезрелые, неестественно крупные, имели некий багровый оттенок. Персики, яблоки, лиловатые, величиной с кулак сливы валялись на земле, тяжелые гроздья винограда светились сквозь листву. И видны были остатки стен, проломы дувалов. Не было ни дороги, ни тропинок, все это стояло сплошной стеной, огороженное речкой, которую легко было перейти вброд, по камушкам. А по это сторону висела в воздухе дорожная пыль, сотни людей на ишаках и в больших, с колесами выше человеческого роста арбах ехали, не поворачивая головы в эту сторону. Но они все знали и видели. Это чувствовалось в особой напря-

женности их позы, когда проезжали мимо, в отстраненности взгляда.

— Что это там? — с удивлением спросил старший из гостей.

Я как бы заново посмотрел туда, за речку. Действительно, почти рядом теснятся дома и дворики старого города, начинаются хлопковые карты, где каждый метр земли на учете. Вокруг пустыня и горы, а здесь вдруг целый огромный массив с плодоносящими деревьями, древней кирпичной кладкой в арыках, тысячами поющих в ветвях птиц, стоит в запустении. Ни одного человека не видно среди этой безудержной зелени...

Я знал уже про это и все объяснил. Конная армия Буденного в Тридцатые годы боролась здесь с басмачеством. За два года прошла она всю Ханабадскую равнину, горы, пустыни и оазисы. Там, где обнаруживались басмачи, селения окружались, так что и птица не могла оттуда улететь. После орудийной подготовки в дело шли клинки. А по древней, еще зороастрийской традиции, нельзя заново селиться там, где произошло великое смертоубийство, ибо оно обязательно повторится. Безразлично, от чего бы это не случилось: от мора, землетрясения или человеческой злобы.

В разных местах Ханабада можно увидеть такие мертвые селения. Туда прорывается вода из речек и арыков, цветут и плодоносят сады, но люди туда не ходят...

Гости молчали. Николай Иванович захотел было перейти на ту сторону, но кто-то предупредительно крикнул с остановившейся арбы, что не надо этого делать.

— Почему? — спросил Николай Иванович.

Человек на арбе ничего не ответил, только указал камчой в гущу зелени. Там, совсем вблизи, оплетя толстую виноградную лозу, висела змея. Голова ее покачивалась у самой воды, словно выжидая того, кто ступит сюда. И тут мы увидели, что и на других деревьях висели змеи. Они сплетались и расплетались: сами похожие на ветви, трава внизу колебалась от их невидимого присутствия...

Мы долго ходили по базару. Кажется, что общего имеют переход на звеньевой метод хозяйствования и базар. Но я уже упоминал о роли базара в ханабадской истории. Впрочем, и мировая история не обходилась без этого. Это лишь казалось властителям, что они правят миром. Все в конце концов начиналось и заканчивалось на базаре...

Тысячами невидимых нитей связан ханабадский базар с мировой политикой. Дело здесь не просто в возможности приобретения там атомного реактора. Достаточно остановиться и

понаблюдать день или два за его жизнью. И не нужно идти в глубь торговых рядов, чтобы ощутить крепость этих нитей.

Вот у самых ворот неровной стайкой сидят благообразные старики. Перед ними скромные коврики, на которых стоят мешочки с зеленым насваем и стаканчики для отмеривания. Тут же пиалы, и чайничек с геок-чаем, которым обычно угощают серьезного покупателя. Насвай продают желающим и насыпают его в узкие бумажные кулечки. Вот и все. Но я знаю, что если подойду и скажу некое слово, то старик в плюшевой тюбетейке с присущей ему обходительностью нальет и протянет мне пиалу янтарного чая. А передавая пиалу, лишь слегка коснется моего мизинца, к которому приклеится зернышко зеленоватого теста. Прихлебывая чай и беседуя со стариком, я могу положить его под язык...

Есть тут и более серьезные продавцы, перед которыми и вовсе лежат пустяки: горка ваты, шнурки для ботинок. Время от времени к ним подходят какие-то люди, говорят одно-два слова и уходят. Потом подходят другие люди, выслушивают эти слова и исчезают, будто проваливаются сквозь землю. И больше ничего. Но кому-то это очень нужно, и расчеты тут идут уже на десятки тысяч рублей. Ханабадский базар полон тайн.

Бывает, что появляется тут вдруг новый милиционер, молодой человек в только что выданной форме со зведочками младшего лейтенанта и комсомольским значком. Он замечает какие-то незаконные действия, кричит, разбрасывает ногами чайники и мешочки, даже задерживает кого-то. Старики терпеливо сносят все это и подбирают разбросанный товар. Потом сходятся вместе, пьют чай и ведут разговор о случившемся.

— Хороший молодой человек, честный. Это сразу по его лицу видно! — говорит один.

— И смелый, настоящий джигит! — поддерживает его второй.— Как вы думаете, Сулейман-ака, из каких мест он родом, какого племени? Я его впервые у нас вижу.

— Слышал, что он оттуда, откуда и наш почтенный Назрибулло, который теперь секретарем в облисполкоме,— сообщает третий.

— Вот ты, Мамедали-ака, и посети сегодня почтенного своего земляка Назрибулло,— говорит первый старик.— Передай ему наши пожелания здоровья, а заодно похвали достоинства этого молодого человека, который назначен к нам в милицию. Если он от необдуманной горячности избавится, то хорошо будет служить, далеко пойдет.

Старики согласно кивают головами.

— А ты, почтенный Музафар-ака, скажи о том же самом

своему племяннику, который у нас в милиции работает. Думаю, что пока этого будет достаточно.

— Да, да, молодежь надо учить! — соглашаются старики.

На следующее утро младший лейтенант является на службу в то же самое время. Он проходит и, не глядя на мешочки и пиалы, здоровается со стариками, держа правую руку у сердца. Старики кланяются в ответ, перешептываются.

— Достойный молодой человек... Старших уважает!

Всего этого не объяснишь гостям.

Третью неделю бороздим мы ханабадские просторы, переезжаем из одной части Ханабада в другую, и теперь заехали в такие места, что здесь кажутся утерянными всякие координаты пространства и счет времени. Целый час уже, натужно воя, взбирается машина на вершину песчаной горы. Впереди еще большие горы, и ветерок свистит на вершинах, срывает и крутит песок, передвигая его по кругу, как в громадном котле. Вдруг обнажается остов древнего строения с проваленной крышей, чьи-то кости, старый казан. Через полчаса все это вновь опускается на дно песчаного океана и никогда больше не явится свету. Это здесь исчезла когда-то огромная армия персидского царя, и никого не осталось, чтобы рассказать о ней...

И вдруг слышится гулкий собачий лай. Он какой-то рыкающий, и мы непроизвольно вжимаемся внутрь старого «виллиса» с двумя ведущими, который единственный пока может осилить эти пески. Где-то наверху бархана появляются две громадные собаки серо-желтого цвета, скорее похожие на сказочных зверей. В два-три прыжка они догоняют нас, и вот уже с двух сторон лезут в машину чудовищные квадратные пасти. Но в это время откуда-то слышится легкий свист, и собаки оставляют нас.

Только теперь видим мы на вершине бархана человека. Он в черном тельпеке, длинные космы овечьей шерсти падают ему на лицо. Не поворачивая головы, недвижно сидит он на маленьком коврике, один в пустыне, и никого не видно вокруг до самого горизонта. Но я знаю, что это не так. А человек этот — кумли, «житель песков», пасущий здесь колхозную отару в трехстах километрах от главной усадьбы. Это могло произойти даже не с дедом его, а с прадедом два века назад, когда тот во время ссоры убил соплеменника. И аксакалы изгнали его из аула сюда — пасти скот. Его дети, внуки и правнуки — до седьмого колена, обязаны жить здесь. Их могут навещать родственники, но они не имеют права приближаться к своему аулу. Таково про-

клятие. Иногда из таких людей образовывались даже целые аулы-кумли, но не было случая, чтобы те раньше установленного срока возвращались к своему роду.

Кумли — это люди, живущие по своему собственному закону, многие, родившиеся и выросшие здесь, не хотят уже возвращаться в оазисы. Два-три раза в году им привозят сюда необходимые товары, а во время окота направляют в помощь людей...

Мы взбираемся на бархан, здороваемся, садимся рядом. Человек смотрит куда-то в небо. Собаки уселись у нашего «виллиса» и равнодушно поглядывают на нас. Каждая из них в состоянии придушить барса. Но барсов в этих песках не водится, только жилистые каракумские волки, которые вместо воды пьют овечью кровь. Где-то там, среди барханов, находится колодец, где отдыхает сейчас подпасок-чолук с отарой, скрипит колодезное колесо, блеют овцы. Там и дом этого человека, а здесь его мир, где он укрывается от шума цивилизации.

Кумли не разговаривает с другими людьми и, по всей видимости, не слушает, что те говорят между собой. Николай Иванович тихо спрашивает у меня, не поехать ли нам дальше. Я отрицательно качаю головой: нет людей добросердечней кумли, и наш приезд для этого человека — настоящий праздник. Посидев так молча еще некоторое время, он вынимает нож и начинает ковырять им песок рядом со своим ковриком. Мы смотрим с удивлением, как он достает из песка бутылку «Московской», потом другую, ставит перед нами. Я понимаю в чем дело. Сам кумли не пьет, скорее принимает терьяк. А в автолавке берет два-три ящика водки для гостей и хранит их здесь, рядом с собой.

Наш хозяин пока что ковырнул песок по другую сторону коврика, достал оттуда мешок коурмы[1] крупно порезал ее. Там же, не вставая с места, достает он из песка стаканы, пиалы...

Мы и заночевали там, на вершине бархана, овеваемые сухим ветром, на прогретом солнцем песке.

А сейчас мы в дебрях Хандарьи. Тугаи здесь выше головы, между плотным тростником и подлеском группами стоят вековые деревья. В этих местах недавно пограничники застрелили последнего ханабадского тигра. Тот выпрыгнул из тугаев, содрал крышу у машины. Его прошили автоматной очередью...

Мы петляем уже третий час в поисках колхозной свинофермы. Выделенный нам проводник сам потерял направление и

---

[1] Коурма — особым образом зажаренная баранина, спрессованная в форме колбасы. Хорошо сохраняется в сухом песке.*

беспомощно разводит руками. Мне все это известно, но я молчу. Пусть гости сами увидят плодотворность некоторых исторических решений. Живо помнится, как, приехав в Ханабад, выступал здесь тогдашний руководитель партии и государства: «Товарищи *мусульманы* — те больше конятинку любят. Другие, православные, уважают свинятинку. А надо так, чтобы православные конятинкой не брезговали, а товарищи *мусульманы* пусть приобщаются к свинятинке. Оно и будет дружба народов!» В тот же день во все концы Ханабада полетела директива: заводить свинофермы!..

Что-то дикое, невероятное пробежало перед самыми колесами машины, издало громкий визг и скрылось в тростниках. Мы переглянулись. Неужели?.. Да, в чем-то это было похоже на свинью, но с другой стороны своей худобой и подвижностью напоминало волка. И еще какие-то желтые полосы вдоль спины вовсе сбивали с толка...

Выйдя из машины, мы пошли в ту сторону, куда побежало непонятное животное. В самой гуще тугаев стоял полуразрушенный сарай, в котором на проломленной раскладушке спала женщина неопределенного вида. Она была прикрыта телогрейкой, а на свесившейся с раскладушки руке выделялось солнце с синими лучами и крупная неровная надпись: «Мама, прости, что тебя не слушала!»

Судя по запаху и валяющейся посуде, женщину было не добудиться. Опять то же существо пробежало где-то близко от нас, но с уже вполне очевидным яростным хрюканьем. Проводник подтвердил, что это и есть колхозная свиноферма.

Что же, ханабадцы не лишены здравого смысла, а опыт истории приучил их к неукоснительному выполнению предначертаний начальства. Не перенося и на дух «самой производительной отрасли животноводства», они наняли нигде не прописанную инородную женщину ухаживать за свиньями, а ферму с ней вместе вынесли за пятнадцать километров от поселка, в тугаи. Заведующую свинофермой, чтобы не сбежала, они обязались обеспечивать едой и питьем.

Пока мы размышляли, что нам делать дальше, женщина приподняла голову. Мутно посмотрев на нас, она выругалась почему-то по-немецки, перевернулась на другой бок и снова захрапела. Все бы ничего, да накануне с нами увязался Гулам Мурлоев, который настойчиво требовал организовать фотоэтюд. У него в связи с правительственным постановлением о свиноводстве был заказ от «Огонька». Долго рассказывать, как, разделившись, мы ловили в тугаях поросенка. Это удалось более ловкому и молодому Вадиму Павловичу, недавнему комсомольскому вожаку где-то в Кузбассе. Гулам суетился, приседая с

камерой, отползая, снова вскакивая, а тот держал на вытянутых руках что-то худое, злобное и, действительно, оказавшееся с полосами. По-видимому, это была уже помесь с дикими свиньями. Гулам успел дважды щелкнуть, как вдруг произошло невероятное. Пусть тысячу раз говорят мне, что свинья не может поворачивать головы. Озверелый поросенок вдруг извернулся на полных сто восемьдесят градусов. Раздался истошный человеческий вопль. Вадим Павлович мотал рукой, разбрызгивая кровь во все стороны. Полпальца оказались у него напрочь отхвачены. А брошенный на землю поросенок мгновенно исчез в тугаях. Гулам Мурлоев утешал Вадима Павловича, что снимок получился. Поросенка, правда, придется подретушировать, но тугаи вышли замечательные. В «Огоньке» это любят...

— Ур-ра-а!

Бурля и пенясь, миллион тонн воды сразу ударяет в бархан. Вначале он еще держится, лишь края отслаиваются, с пылью и брызгами рушась в кипящий водоворот. Но вода уже проникла в тысячи сусличьих нор, в многометровые пустоты, образованные корнями древнего, давно превратившегося в прах саксаула. Бархан темнеет, набухает водой и вдруг взрывается тысячелетней пылью, затмевающей солнце. Проходит менее получаса, и от гигантской песчаной горы в миллионы тонн ничего не остается. Вырвавшаяся из-под контроля вода заполняет низину, прорывается в стороны, плещется далеко уже, у других барханов. Там тоже с шумом рушится столетиями слежавшийся песок. В пустыне образуется новое озеро километра два длиной, с неопределенными топкими берегами. А вода просачивается все дальше, вправо и влево от главного русла канала, и вскоре болотистые озера возникают на много километров вокруг...

Сердце мое ликует. Мы стоим рядом с начальником строительства канала — тем самым генерал-майором государственной безопасности и учеником великого американского инженера Дэвиса, которого я три года назад критиковал за отсутствие энтузиазма. Только канал это уже другой. Тот, прежний, где вода должна была течь вверх, законсервировали. А этот, хоть называется «Большим», все же уже не «Великая стройка коммунизма». Начальник строительства теперь уже в гражданском пиджаке, и строители не за колючей проволокой. Это в большинстве своем бывшие зеки, выпущенные досрочно на свободу по «ворошиловскому указу» с правом жить и работать только здесь, на канале.

Я с восторгом пишу о новом, прогрессивном способе строительства канала, когда главным средством производства явля-

ется вода. Ее накапливают в кулак, потом рушат перемычку, и она сама уже размывает себе путь. Подсчитано, что это втрое дешевле, чем рыть канал экскаваторами, ограничивая берега, и впятеро дешевле, чем уплотнять, а тем более бетонировать его дно. Сама Хандарья с ее бешеным нравом подсказала строителям этот экономный способ, до которого нигде не додумались, даже в Америке.

Правда, находятся люди, извечные консерваторы, которые возражают против передового метода. Говорят о засолении почв и что вода на три четверти пропадает в пустыне. Как будто в Хандарье мало воды. Еще беспокоятся, что целое море может усохнуть, в которое она впадает. Но разве плохо, что тысячи озер появились в сыпучих песках? Тростник там стоит стеной, и даже кабаны появились. Жизнь пришла в пустыню!..

Я твердо решаю писать документальную повесть, главным героем которой станет начальник строительства. Был тот консерватором, а теперь сама наша жизнь заставила его идти в ногу со временем. Совершенно новый способ проложения канала в пустыне заслуживает пропаганды. Когда я говорю об этом с начальников строительства, он почему-то криво усмехнулся. Наверно, забыть не может ту нашу критику...

Там, где будущий канал пересекался железной дорогой, мы увидели множество народа. Люди сидели или лежали на песке, ничего не делая. Это было странное зрелище: солнце в синем небе, пустыня, и полтысячи ничего не делающих людей. Большой рыжий человек, стоя на холме, мял в руке и бросал вниз комочки земли. Это оказался здешний прораб.

— Вода подходит, к празднику кончать надо обводной канал, за мост приниматься,— он говорил каким-то безразличным голосом, не глядя на нас.— Людей уже четыре дня назад привезли, а самосвалов нет. Ничего нет. Даже лопатами не обеспечили...

Вдруг лицо его озарилось слабой улыбкой. Он перестал мять в руке такырную землю. Мы посмотрели туда, куда он смотрел. Шлейф пыли приближался сюда. Первым оттуда вынырнул черный «ЗИМ», за ним одна за другой «Победы», сначала новые, черные, потом все старее и светлее. В самом конце поспевал знакомый маленький «Москвич» с помятой дверцей. Товарищ Тарасенков в просторном летнем костюме строго спрашивал с прораба. Тот молчал. И люди вокруг молчали. Лишь те, которые вылезли из машин, что-то записывали в блокноты. Я оглянулся по сторонам: что тут было записывать.

— А ты здесь чего? — спросил я Костю Веденеева, оставшегося сидеть в «Москвиче».

— Чулпанов заболел,— нехотя ответил он.

Мне стало понятно. Когда едет второй секретарь ЦК, то с ним из области едут второй секретарь обкома, вторые секретари соответствующих райкомов, заведующие отделами и управлениями облисполкома. Или люди, из заменяющие...

— Работать надо! Тогда лопаты будут! Всё будет!..

Товарищ Тарасенков произнес это убежденно, полуобернувшись к окружающим людям, чтобы все его слышали. Мягко захлопнулась дверца «ЗИМа», захлопали дверцы у «Побед», и шлейф пыли стал быстро удаляться дальше по трассе канала. Все это состоялось в какие-нибудь две-три минуты. Только «Москвич» сельхозуправления все не заводился. Его дружно подтолкнули обрадовавшиеся хоть какой-то работе люди, и он понесся следом, ныряя между барханами и принимая на себя всю поднятую пыль...

Амана-Батрака не оказалось дома, и мы поехали к видневшимся по всему горизонту силуэтам ближних и дальних крепостей. Это был когда-то единый огромный город-полис с созвездием шахристанов-дворцов, базарами, бесчисленными караван-сараями, что, впрочем, тоже означает «дворцы для путешествующих», тенистыми садами и мудрецами, проводящими жизнь в библиотеках. Здесь рождались современная алгебра и астрономия, комментировался Аристотель, писались чеканные рубаи о любви и смысле жизни. Мы ехали среди грязных, поросших неопрятной рыжей колючкой бугров. Тысячелетняя пыль стояла над нами. Это была особенная пыль, светлая и пористая от кипевшей тут некогда жизни. Один из холмов, величиной с трехэтажный дом, был разъят дорогой надвое, и по обе стороны виделись плотно спрессованные и почему-то светло-серые человеческие кости: бедра, голени, тазовые полукружья. Они, словно бумага, ничего не весили и ломались в руках, высвобожденные из общего массива. Черепа такого же серого цвета составляли другой, отдельный холм. Часа полтора петляли мы среди молчания ханабадской истории, и только каракумская кобра подняла однажды голову из ложбины между холмами.

Наконец мы выехали к совсем уже древнему городищу, где следовало задирать голову, чтобы смотреть на оплывшие валы. Казалось невероятным, что в неведомые времена, задолго до начала нашей эры люди смогли насыпать посреди равнины эту чудовищную гору. Здесь кончалась история и снова продолжалась в зеленых картах хлопковых полей все того же колхоза, которым управлял Аман-Батрак. Сам он находился тут же, на полевом стане, с Шамухамедом и Костей Веденеевым.

Я был уже матерым ханабадцем и все понимал. Разумеется за день до нашего приезда позвонили председателю и расписали всю программу нашего пребывания здесь. Областного агронома прикрепили для соответствующих разъяснений и Шамухамеда для порядка от обкома партии. Вот мы как бы ненароком и встретились с ними в полеводческой бригаде. Нет предела тонкому ханабадскому лукавству...

Все было предусмотрено. Тут же, на границе эпох, располагалась археологическая экспедиция, которую предполагали посетить гости. Покуда на полевом стане готовили чай-пай, известный миру семидесятилетний ученый с молодыми глазами легким шагом повел нас на гору, к раскопанной им цитадели. Мы стояли на самом верху и нашим глазам открывался удивительный вид. На многие километры тянулась среди пустыни серая холмистая равнина, оставшаяся от государства-полиса, и по оттенку развалин можно было определить сменявшие друг друга цивилизации. Всякий раз очередную из них истребляли без остатка, и уцелевшие люди, памятуя о заклятии, ничего не восстанавливали на этом месте. Они строили свои дома рядом. Потом их в свою очередь подвергали «мечам и пожарам». В их бывших жилищах селились змеи, высыхали, превращались в труху сады, рушились стены и лишь серый прах наслаивался на развалинах век за веком. Мы видели недавно такое воздействие истории так сказать, в самом начале процесса. Сады там еще плодоносили, но на ветках висели змеи и листья деревьев были покрыты слоем этого праха...

Мы стояли наверху и молчали. Явственно были видны отсюда границы мертвого городища с проступающей по краям зеленью колхозного поля.

— Тут ведь отличная земля. Дувальные супеси,— Костя Веденеев показал вниз рукой.— Все тут может расти: сплошная органика!

Никто ему не ответил. Старый археолог принялся объяснять видную отсюда структуру раскопанного им средневекового селения:

— Традиция не менялась с античных времен. В центре всего находился дом владыки, а в поздние времена — бека или султана. Внутри самой цитадели селились ближайшие родственники, из коих и формировался управляющий аппарат. За стенами цитадели — следующая защитная линия, усадьбы-крепости приближенных к властителю людей. Затем жилища дружинников и так далее. Была как бы личная огороженность от начинавшего предъявлять свои требования государства. Но, в свою очередь, и определенная зависимость от собственных подданных. Феодалу приходилось с ними считаться...

Я смотрел на четко различимую сверху планировку раскопа, рвы и стены. Где-то я совсем недавно видел это. Потом, спустившись вниз, мы смотрели собранные в этом сезоне трофеи. Полевой музей экспедиции располагался в старой колхозной конюшне. На деревянных стеллажах лежали бесчисленные древние скребки, ножи, осколки посуды, но больше всего было проржавелых мечей и наконечников стрел. А рядом в поле, среди кустов хлопчатника стояли древние парфянские хумы в рост человека для хранения зерна, кувшины, корчаги. На них четко проступали орнаменты с преобладающим красным цветом.

— Смотрите! — сказал нам археолог.

В междурядьях женщина в золоченом борыке мерно поднимала и опускала кетмень. Из-под красного халата и голубого платья-кетене выглядывала ковровая вышивка шаровар. У щиколоток, многократно повторяясь, вился тот же самый орнамент с античного кувшина. И цвет был прежним...

Когда мы прощались, старый археолог отозвал меня в сторону. Что-то беспокоило его. Я знал об этом. Месяца два назад вдруг здесь была найдена огромная головы бронзового Будды. Это разрушало историческую традицию, утвержденную соответствующими постановлениями. Так или иначе, а археологов предупредили, чтобы не распространялись о своей находке. В «Ханабадской правде» была в последний момент снята с полосы информация о найденном Будде и изъяты все его фотографии. Теперь археолог не знал, можно ли показать находку гостям. Я успокоил его, что этим гостям можно. Голова оказалась как голова, ничего особенного, только величиной с комнату. Будда спокойно усмехался над чем-то, ему одному хорошо известном...

И вот мы сидим на полевом стане у Амана-Батрака, куда обычно возят значительных гостей. Все здесь дышит повседневностью. Даже обед готовят вместе с обедом для колхозной бригады: плов со свежей бараниной, пироги-«фитчи», суп-«пети» в горшочках, различного вида фрукты, сортовой виноград, дыни-«бахрман». Юная прекрасная библиотекарша с маникюром на ногтях, как раз привезшая заказанные колхозниками книги, вывешивает свежий номер стенгазеты. А в яслях даже ползают три или четыре малыша. И молодой человек в двубортном костюме с пробором в волосах ведет политическую беседу с первыми вернувшимися с поля женщинами. Остальные, я знаю, увидев здесь посторонних мужчин, хоть убей, не приблизятся сюда. Они продолжают мерно махать кетменями, не обращая внимания на призывы бригадира.

— Соревнование! — показывая в улыбке все золото зубов, объясняет их поведение Аман-Батрак. Крупные черные глаза его с красными прожилками отечески щурятся.

— Египетский труд! — громко говорит вдруг областной агроном Костя Веденеев. Я замечаю, что он уже на приличном взводе.

Все смотрят в поле. Там женщины все машут и машут кетменями. Какой-то странный у них вид. Знающий человек сразу определит, что не хотят на такую работу в шелковом кетене. В этой бригаде им довольно часто приходится так наряжаться. Ну, а что труд египетский, так я читал переводы древних иероглифов о тогдашних нормах питания. Довольно-таки сносно кормили фараоны строителей своих пирамид. Пальмовое масло и все такое прочее...

Я внимательно наблюдаю за гостями, с которыми сблизился за месяц поездки. Понимает или нет Николай Иванович, что происходит. Сам он руководил некогда заводом, потом совхозом, был секретарем обкома, крайкома. Но все это вне пределов коренного Ханабада. Нам уже известны результаты работы по семейно-звеньевому принципу в других местах. Полтора года назад в четырех республиках здесь заложили опыт. Полнокомплектная бригада на хлопке-«американце» по ту сторону Хандарьи имеет поле обычно в сто — сто двадцать гектаров при ста пятидесяти трудоспособных мужчинах и женщинах. Такое поле отдали одной семье из четырех-пяти человек, дали трактор, семена, удобрения и отменили всю отчетность. Начальству приказали не ездить туда. В пяти местах, где закладывался опыт, ничего не получалось. А в одном месте дехканская семья из четырех человек дала хлопка-сырца больше, чем весь колхоз, и получила миллион рублей прибыли. В колхозе у Амана-Батрака не получилось ничего с этим начинанием.

— Как вы думаете, Аман Курбанович, почему у вас люди не захотели производить такой опыт? — спросил Николай Иванович.

— Ай, им в колхозе нравится. Не хотят быть единоличниками!

Аман-Батрак даже губы скривил, произнося последнее слово.

— У Амана дисциплинированный народ! — заметил Шамухамед, сверкнув глазом в сторону гостя.

— Египетский труд! — громко повторил Костя Веденеев. Я знал эту его привычку — повторять одно и то же.

Как видно, это был старый разговор. Аман-Батрак убрал с лица свирепость и, полуобернувшись к гостям, принялся объяснять Шамухамеду:

— Ты, дорогой, жизни не знаешь. Только воевал и в школе

детей учил. С народом не работал. А подумал о том, что если четыре человека за сто двадцать человек дело начнут делать, то куда сто шестнадцать девать?

И тут замахал руками Костя Веденеев:

— А куда прежде девались? Пусть возле каждого дома сад с виноградником в полгектара будет. Уж как-нибудь прокормят себя!

— Ай, курага — детям кушать! — пренебрежительно отозвался Аман-Батрак.

— Пусть кушают. Все пусть кушают — от Москвы до Владивостока. Изюм и курага в России копейки стоила. А люди, если ткацкий и шелковый комбинат на месте построить, работу себе найдут...

— Это что же тогда: заработает человек миллион и еще погреб с шампанским себе заведет. Где уж тут будет социальное равенство, за которое борется наш уважаемый Аман-Батрак? — единственный глаз у Шамухамеда, моего друга, сверкал, как раскаленный уголь. Между ними была вражда, и дело было не в том, что Аман-Батрак был левобережным, а Шамухамед правобережным.

Гости все подробно записывали в блокноты.

— Что же тогда делать Аману-Батраку, если каждый станет сам себе хозяином,— тихо сказал мне Шамухамед.— Главное, сам он останется без работы. Управлять будет некем. А что он еще умеет, кроме как управлять и... еще людьми торговать.

Я быстро посмотрел на него, но Шамухамед стал разливать чай. И сидящий во главе дастархана Аман-Курбан как-то загадочно смотрел на меня. В черных с прожилками глазах его был какой-то вопрос. Он всегда так смотрел на меня. Я понял его. Этот неординарный человек все хотел выяснить, с какой целью я пишу свои разоблачения. Неужели я верю во что-нибудь? Что я мог ответить ему?..

Ничего не пошло в печать об опыте семейных звеньев в Ханабаде, даже упоминания об этом не было. Из всей моей месячной поездки «Ханабадская правда» дала информацию о строительстве моста через будущий канал. Да и то не впрямую. «Ты мне скажи спасибо, что пошла информация,— кричал мне в трубку Михаил Семенович Бубновый.— В цензуре сказали, что мост — стратегический объект. Я переделал на «сооружение при пересечении канала железной дорогой». Сооружение можно!»

Что-то странное происходило со мной. Проводив гостей, едущих прямо отсюда в Москву, я шел по улице.

По цели бьем, по цели бьем,
Все цепи разобьем!..

Впереди линейные с флажками, и общим строем, с сержантами во главе, печатая шаг, шла на занятия рота. Я подстроился под шаг, и стало вдруг легко и покойно. Сколько лет прошло, а это всякий раз случалось со мной. Независимо от себя подстраивался я под шаг идущей роты и шел вместе по тротуару, даже слегка раскачиваясь, будто на мне кирзовые подкованные сапоги. Те самые, что, сношенные до дыр, давно уже валяются в сарае. В такт равномерным ударам о землю сотен ног ни о чем не хотелось думать, и некое радостное чувство общности властно заполняло пустоты мысли и чувства. Это также надо учесть при изучении феномена всеобщего ханабадства.

Рота шла по Гератской улице, которая переходит в дорогу, ведущую прямо в Индию. Запевалы: тенор и хриплый баритон затеяли попурри. Это тоже было мне знакомо из прежней жизни: припев образуется из двух или нескольких песен. Получается плавный переход:

Мы за мир, и песню эту
Пронесем, друзья, по свету,
Э-эй, бей, коли, руби, ха-ха!

Я и не заметил, как закончилась улица, и только тут применил внутреннее усилие, чтобы остановиться. Рота прошла мимо, замыкающие несли безличные поясные мишени. Не людей, а тени, миражи. Их следовало поражать за двести, триста и четыреста метров...

Проскользнув в темноте в парадную, я позвонил у знакомой двери. Она открылась, на пороге стояла незнакомая женщина с папильотками в волосах. Из-за нее выглядывал мужчина в майке и пижамных брюках. Слышался детский крик...

— Так она уже в ЦК. На прошлой неделе переехала! — сказал мне Шамухамед на следующее утро, когда я как бы между прочим спросил его о Шаганэ...

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Дальше все происходило для меня в сумерках, прерываемых слепящими вспышками реальностей. Сколько длилось это состояние — месяц или год, не могу сказать. В памяти сохранились именно эти черно-белые картины без любых признаков цвета. Реальности до удивления были похожи на миражи...

Первая такая реальность вдруг возникла в Москве. Я сидел в ресторане и, в ожидании заказа, рассматривал настенные росписи, являющие ханабадский идеал счастливой и зажиточной

жизни. Среди чайных кустов, битой птицы и корзин с виноградом плавно ходили невесты в белом, сопровождаемые женихами с рукой на рукояти кинжалов, а за ними вертелись турбины ГЭС. Знакомый голос заставил меня повернуть голову. Я сразу даже не узнал его, рядового ханабадского деятеля, которого привык видеть с располагающей улыбкой на устах. Он ведал какой-то фабричкой, выпускающей красители для нужд местной промышленности, и сидел на всех активах где-то в предпоследнем ряду. Здесь он был неузнаваем. Не то, что новый дорогой костюм или золотая, с крупным камнем булавка на галстуке изменяла его вид. Сама уверенная поза, жесты, тон были другими. С ним сидели еще четверо ханабадцев того же ранга, и это были хозяева в своем отечестве. Нет, не в том, плакатном смысле, а действительные хозяева. Это было видно по всему: по тому, как смотрели на них другие посетители, как немедленно подошел к ним официант.

— Петя, здравствуй, как дела? — произнес мой знакомый густым голосом, приветствуя официанта.— Как Георгий Афиногенович поживает?

— Ничего дела, Бекназар Мамедович. Георгий Афиногенович только что из отпуска вернулся. А как ваше здоровье?

— Пока не жалуемся... Гостей хороших ждем, так что посмотрите там с поваром, что есть. Ну, и чтобы с собой. Это тебе за старательность!

В карман куртки официанта скользнули три или четыре сотенных бумажки.

Почему я остался и с начала до конца наблюдал всю картину?.. Был конец рабочего дня. Двое ханабадцев исчезли из-за стола и через некоторое время вернулись с двумя другими людьми.

— О, Сан Саныч... Ван Ваныч!..

Душевные объятия, истовые ханабадские поцелуи свидетельствовали о давнем и плотном знакомстве. «Камю» и «Двин» менялись на столе вместе с прочим. Наряду с легкомысленными восклицаниями и веселым смехом слышались обрывочные фразы о каких-то накладных, вагонах, красителях.

Это были тоже невысокого ранга министерские деятели: Сан Саныч и Ван Ваныч. Такие сидят по трое в одной комнате и курят лишь отечественные сигареты. Их дело подготовить и обосновать бумажку для начальника...

Один из ханабадцев, наиболее молодой, куда-то исчез и вернулся с двумя роскошными блондинками, тоже хорошо знакомыми присутствующим. Блондинки закурили. Через некоторое время вся компания, захватив пакеты и сумки с бутылками, куда-то уехала. Я оглянулся: за всеми другими столами теперь

сидели все такие же ханабадские компании, слышались возгласы, здравицы, и только акценты при это отличались: южные, северные, западные, восточные. И в каждой компании, полные великодушного понимания собственной значимости, сидели Сан Саныч и Ван Ваныч...

А на другой день в составе большой ханабадской делегации я был на приеме у министра нефтяной промышленности СССР.

— О, так вы из Ханабада! — воскликнул Министр.— Вот видите, у меня тут ханабадский ковер.

Он показал рукой на пол, где действительно лежал огромный ханабадский ковер метров на пятьдесят.

— Мне Бабаджан Атаевич два таких ковра подарил,— непринужденно объяснил нам хозяин кабинета.— Один у меня дома, другой здесь...

Я с изумлением слушал. Это был не обычный машинный ковер, на производство которых перешла ханабадская промышленность, а оригинальный, ручной работы. Пять или шесть мастериц по полтора-два года ткут его, используя растительные краски. На венских аукционах такой экспонат оценивается в десятки тысяч долларов.

— У нас настоящая дружба народов! — услышал я голос Министра.

Прямо из Москвы отправился я на курорт. И в первый же день встретил там знакомых. Это был Пилмахмуд и сопровождающие его на отдыхе директора детских домов с Сагадуллаевым во главе. Они не видели меня. Встреча произошла в местном универмаге, где висели невероятные по цене котиковые манто. Какая-то дама примеряла их, и у нее тоже было очень знакомое лицо. Я узнал ее: это была столичная певица, чьи афиши висели здесь на всех столбах и деревьях. Пилмахмуд с подчиненными с уверенным видом охотников, не скрываясь, наблюдали за ней из-за барьера. Певица с одухотворенным лицом перемерила три или четыре манто, посмотрела на цену и вздохнула. Она собиралась уже было уходить, но тут возле нее оказался Сагадуллаев. Он что-то говорил, играя антрацитовыми глазами и прижимая руки к сердцу. Подошли остальные, и в центре полукруга оказался Пилмахмуд. Он в чем-то убеждал певицу, делая великодушные ханабадские жесты. Сагадуллаев пока что отвел в сторону детдомовских директоров, те вытащили по пачке денег, продавщицы заворачивали примеренное певицей манто, перевязывали розовой ленточкой...

Поздно вечером из люксовой палаты фирменного санатория «Ханабад» раздавалась тихая музыка. За листьями пальмы мож-

но было разглядеть облаченного в пижаму Пилмахмуда и его даму в халате с желтыми драконами. Это была она, без всяких скидок — талантливая певица. Воздух был напоен ароматами южной ночи. Торжествовало всеобщее ханабадство...

Ночью мне снился детдом, и лица детей, зажимающих в кулачках слипшиеся конфеты-подушечки. А еще стучал барабан и пел горн...

Этим делом я занимался уже полгода. Начальник республиканской милиции полковник Житников, в прошлом танкист, маленький, крепкий, с гвардейскими усами, принес ко мне килограмма четыре документов. Я разговаривал с десятками людей, перепроверял каждый факт, дважды ездил в Москву.

— Только газета может сдвинуть дело с места. Тут мы или прокуратура ничего не можем. Поставят по стойке «смирно», и все! — сказал полковник Житников нашему редактору. Тот рвал полосками и жевал бумагу...

Из четырех или пяти ханабадских министерств некоторое время назад, согласно веяниям эпохи, было образовано одно большое министерство, долженствующее обеспечивать ханабадцев всеми видами довольствия. В этой реорганизации с особенной яркостью проявилась природная ханабадская революционность. Министром, разумеется, был назначен один из самых опытных ханабадских деятелей, подряд возглавлявший перед этим четыре или пять разных министерств от геологии до рыбной промышленности. И вот вместе с годовым отчетом в объединенное союзное министерство был отправлен в Москву вагон с дарами ханабадской земли. Здесь все было: от известных уже ковров до коньяков и тонких изюмных вин. Зернистая икра, знаменитые ханабадские дыни гарры-кыз в полтора пуда весом, мешки с изюмом и курагой были лишь дополнением к более вещественным подаркам. Их получили все, согласно своему весу и положению, от министра до рядовой машинистки. Тем, кто пытался отказаться от подарка, говорили, что таков священный ханабадский обычай, и не взять коврик или набор коньяка означает смертельно оскорбить национальное ханабадское чувство. Впрочем, тех, кто сомневался в правильности подарка, оказалось не так уж много. Всего на этот вагон и кое-что еще было потрачено три миллиона восемьсот тысяч рублей теми, дореформенными деньгами. Аппетиты тогда, как видим, были скромнее. Редактор выплюнул изо рта бумагу, долго смотрел куда-то в стену и приказал дать фельетон. Какой-то свой горн пел в нем...

Все произошло в течение трех-четырех месяцев. Редактор вышел на пенсию, заместитель редактора Моторко снялся с учета

и уехал в Москву работать в открывшееся там новое агентство, параллельное ТАССу, а полковник Житников перевелся начальником управления в Новгород. Все добровольно, без всякого со стороны кого бы то ни было давления и преследования. Перевели на другую работу и министра, посылавшего в Москву вышеозначенный вагон. Он был утвержден председателем Президиума Верховного Совета республики.

Ну, а мне выделили две комнаты в трехкомнатной квартире нового дома в соответствии с окончательным переводом из области в редакцию. Это был один из немногих домов, построенных после великого ханабадского землетрясения, и в нем селились лишь ответственные товарищи.

— Ну, как, доволен? — спросил у меня при встрече в коридоре ЦК товарищ Тарасенков.— Как видишь, партия заботится о людях. Теперь, надеюсь, не будешь все только в черном свете видеть. Жизнь у нас замечательная, надо только найти в ней свое место!..

Шаганэ была неузнаваема. Хоть я уже привык к ее значительности, но со времени последней нашей встречи прошло полгода. Сейчас она сидела в президиуме, неподалеку уже от самого товарища Бабаджана Атаевича Атаева и смотрела выше голов в зал. Белое, с черными дугами бровей лицо ее выражало теперь одну только значимость, и ничего больше. Меня она не видела, поскольку ни разу не перехватил я ее взгляда.

— Смотри, как Хромому она плечи показывает,— шепнула мне сидящая рядом знакомая ханабадская деятельница.— Во все командировки теперь с ним ездит!

Я о с в е щ а л этот республиканский актив. Зайдя в перерыве в секретариат за материалами, встретил Шаганэ в коридоре.

— Ты о чем там с Бибишкой шептался? — спросила она, остановившись, хриплым голосом. Значит, видела все-таки меня...

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

От меня уже ничего не зависело. Видимо, силен враг рода человеческого, подталкивающий на несуразные поступки. Так или иначе, некая стена рухнула передо мной, унося вместе с тысячелетней пылью устоявшиеся миражи. За глухими, без окон, дувалами открылась сама ханабадская сущность. Та самая, которую я бессознательно чувствовал и пытался разгадать все эти годы...

Все оказалось до удивления просто, как вода, земля или

рождающий видения горячий туман. Ханабад не менялся в основе своей. Он послушно укладывался в чуждые ему формы, осваивая их и внося собственное содержание. Это была его защитная реакция во все времена, начиная с Александра Македонского. Вспомните, как строился средневековый ханабадский полис: на искусственно насыпанном холме стояло жилище правителя, вокруг располагались родственники, сподвижники, зависимые дружинники, а по краям уже прочий народ, ищущий у стен шахристана защиты от врага, в каждую историческую эпоху пытавшегося создать централизованную систему. Ханабад внешне покорялся, входил в эту, как свидетельствует современная ханабадская историческая наука, прогрессивную систему, но суть его оставалась прежней. На протяжении веков и тысячелетий пирамида стояла основанием книзу, и это устойчивое положение было залогом сохранения той воистину великой ханабадской самобытности, которая и зовется культурой.

Я с самого начала понимал, что и современная ханабадская структура строилась по испытанной временем модели. Внешние атрибуты: общие собрания, социалистическое соревнование, стенгазеты и все остальное не имели принципиального значения. Ханабад за свою историю привык к миражам, да и местоположение его способствовало этому оптическому явлению. Слова *раис* или *башлык*, как именуют тут председателя колхоза, имеют вполне ханабадскую историческую традицию. Сам колхозный поселок закладывался, как мы видели, по тем же историческим канонам. И все же что-то здесь было не так...

Многое должен был я узнать и пережить, чтобы определить эту принципиальную разницу. От легендарных времен до самого последнего времени все централизованные системы, включавшие Ханабад в орбиту своего благоденствия, так или иначе не нарушали его внутренней симметрии. Примером может служить хотя бы приход сюда России, где здравомысленные политики, составленные из ученых-востоковедов, в меру возможностей, сдерживали природную российскую отвагу администраторов. Это происходило и в первые годы революции, когда только лишь утверждалась ленинская восточная политика. Но потом наступала эпоха всеобщего ханабадства...

Не таким уж однозначным, как казалось на первый взгляд, было ханабадское общественное устройство. Безусловно, многое сохранилось здесь с прежних времен: родофеодальная зависимость или хотя бы то же рабство. И тем не менее, не может человек жить без всякой надежды. Любой эмир или сердар так или иначе чувствовал взаимозависимость от подвластных ему людей. Если это было в степи, они могли попросту откочевать от него, если в оазисе — сбежать к другому хозяину, перемет-

нуться к врагу. Наконец, доведенный до отчаяния человек имел негласное право на кровную месть. Это была своя устоявшаяся жизнь, тем не менее, развивающаяся, закономерно подверженная мощному влиянию подступившей к порогу современности, без введения в живой исторический организм искусственных стимуляторов.

Наступившая эра всеобщего ханабадства перевернула пирамиду, сорвав ее с основания и поставив вершиной вниз, то есть в самое неудобное, с точки зрения элементарной физики положение. «Кто был ничем, тот станет всем!» — этот умозрительный лозунг был воспринят с ханабадской непосредственностью, то есть буквально. Тем более, что и ханабадская история предлагала многочисленные примеры того, как бывшие рабы становились властелинами. Все так и было в прошлом, но они не подводили под это теорию и, покоряя тело, не покушались на душу. Пирамида, согласно с законами природы, оставалась в естественном своем состоянии устойчивости...

Но оставим всеобщее ханабадство и проследим, что же произошло непосредственно в Ханабаде. Мы знаем уже, как были сокрушены всяческие султаны, эмиры, сердары и прочие феодально-байские элементы. На смену им пришел Аман-Батрак. Никакого другого исторического опыта у него не было, кроме того, который являлся в виде стоявших на холме тех же цитаделей с родственными усадьбами вокруг. Вот и начал он организовывать новую жизнь по тому же принципу. А как это называлось: колхоз, совхоз или социалистическое предприятие, не имело значения. Аман-Батрак в силу собственного опыта великолепно разбирался в миражах. То есть это был тот же султан или сердар, только лишенный каких-либо сдерживающих рамок.

Тут следует сказать, что вместе с феодально-байскими элементами в Ханабаде устранялись всевозможные ходжи и муллы. Оставался только мираж их присутствия, но реальность скрылась за глухими дувалами. Между тем, нигде, как в Ханабаде, религия не переплелась так со светской культурой. Молла — называют здесь попросту ученого, грамотного человека. Аману-Батраку, хоть он много не задумывался над этим, такое состояние общества, когда вне закона оказалась вся прежняя культура, было на руку. В старом Ханабаде ученый молла мог, растолкав приближенных, сесть рядом с эмиром. Аману-Батраку это было не по нраву. Всеобщее ханабадство требовало, как мы уже говорили, дисциплинировать не одни тела (этим Аман-Батрак занимался в прошлой своей жизни), но само человеческое естество, и его темной душе понравилась идея. Со свойственным ему реализмом он сразу разглядел здесь для себя несомненную

пользу. И принялся всеми выработанными ханабадской исторической практикой способами поддерживать стоящую вершиной вниз пирамиду. Вот тут бедные ханабадцы, поначалу индифферентно наблюдавшие за процессом перевертывания, ощутили, как ноги их отрываются от земли, по которой они ходили от начала времен, и принялись было пытаться сопротивляться на старый ханабадский манер. Да не тут-то было...

Если в прошлом султан или сердар должен был опасаться в какой-то степени людского раздражения, во всяком случае ему приходилось самому улаживать свои дела с зависимыми от него людьми, то теперь о каком-либо протесте не могло быть и речи. Уйти, уехать, откочевать было невозможно из-за отсутствия паспортов, а того, кто все же делал попытку встать с головы на ноги, или даже подозревался в этом, тут же объявляли врагом народа. Защиту Амана-Батрака и его действий в самом чудовищном их выражении взяла на себя с и с т е м а. Таким вот образом расцвел руководимый им колхоз. К слову сказать, ученым-ханабадоведам следовало бы задуматься, почему именно здесь функционировали самые передовые колхозы...

Присутствовал и еще один фактор, усугубляющий процесс тотального ханабадства. Эмир или сердар, как и российский помещик-крепостник, все же были заинтересованы в определенном благоденствии своих подданных поскольку от этого получали пропитание. Аман-Батрак был заинтересован только в благорасположении начальства, и чтобы заслужить его, мог содрать с рядового ханабадца последнюю рубашку. Тем более, что чаще всего такой деятель, получив очередной орден, через какой-то срок переводился на другое место работы, а те руины, что он оставлял за собой, зарастали тростником. Это никого уже не интересовало.

Дальнейшее ханабадское процветание тесно связано с теорией и практикой всеобщего ханабадства. Пирамиду следовало ежемгновенно поддерживать в столь необычном, противном законам всемирного тяготения равновесии. Стоящая на острие, основанием кверху, она всякую минуту могла повалиться на сторону. Призванный к перевертыванию Аман-Батрак мог в дальнейшем уже не справиться с более сложными задачами. И, само собой разумеется, потребовались свежие силы. Как мы помним, их рекрутировали из детских домов и интернатов, где будущие руководящие кадры жили обособленно от родителей, в соответствующей предстоящей задаче обстановке. Это тоже был старый ханабадский метод. Так султаны воспитывали мамелюков для своей личной гвардии. Да и то, что потом случилось, имеет в ханабадской истории многочисленные параллели. Мамелюки убивали своих благодетелей и сами становились султанами.

Все было закономерно. Дело только в том, что, в отличие от прежних исторических закономерностей, пирамида теперь стояла кверху основанием.

Артыкмач!.. От мала до велика знали в Ханабаде, что это означает. За каждый полученный с гектара центнер сверхпланового хлопка-сырца давали двойную плату и соответствующие ордена. Все было проще простого. Пытливый ханабадский ум нашел немедленный выход. Земли вокруг было целый континент, а вода текла бешеная, которую учесть в новых ханабадских аграрных структурах не представлялось возможности: то ли в пустыню утекла, то ли испарилась на миражи. Вот и сеял Аман-Батрак вместо тысячи гектаров полторы, а то и две тысячи, благо дисциплина у него в колхозе была показательная, а труд — делом чести, доблести и геройства. В свободное время он играл в карты с другими председателями. На кон ставился хлопок: тысяча или две центнеров. Выигравшему на хлопкозаготовительном пункте приписывали этот хлопок, и тот становился Героем Социалистического Труда.

Это был простейший из способов. А вообще среди ханабадских председателей установилась очередь: каждый год весь «лишний» хлопок шел тому, кто намечался в Герои Социалистического Труда. Соответственно делились и доходы. Весьма значительными людьми сделались приемщики «белого золота» на заготовительных пунктах и хлопкозаводах. В свою очередь они, за счет влажности и демократичности весов, экономили сотни тонн хлопка и имели возможность добавить их к урожаю того или иного колхоза. В Ханабаде почти не осталось председателей без звезд на груди.

Новый редактор — присланный из Академии общественных наук шатен с густой кудрявой шевелюрой — внимательно прочитал мой фельетон и попросил ненадолго выйти из кабинета. При нас он не разговаривая по «вертушке». Вскоре он уехал и вернулся без моего материала. Говорил он со мной, глядя куда-то вбок...

Все они смотрели на меня, повернув головы, никакого выражения не видел я на их лицах. Ни гнева, ни осуждения, ни даже безразличия. С чем сравнить мое состояние? Я почувствовал себя голым на рельсах, перед стремительно приближающимся поездом, и смотрел завороженно, не в силах сдвинуться с места. Сидящий во главе стола на подложенной подушечке Бабаджан Атаевич Атаев молчал, а они говорили короткими

фразами, словно пулеметными очередями, все одиннадцать человек. Лишь товарищ Тарасенков произнес краткую речь, сожалеющую о том, что свой талант я использовал не в том направлении, что и привело меня к печальному финалу. Общее мнение подытожила новый секретарь ЦК, предложившая освободить меня от работы в «Ханабадской правде» со строгим партийным выговором. Это была Шаганэ, которая сидела теперь вплотную к Бабаджану Атаевичу.

Бюро с ханабадским молчаливым достоинством согласилось с такой оценкой моего поведения. А я стоял, не воспринимая происходившего. Все случилось в три дня. Соседка по квартире, требовавшая для себя, в свое время первой ханабадской пионерки, всю жилую площадь, подала заявление о том, что у меня состоялась пьянка в рабочее время. Даже не пьянка, а оргия, как значилось в заявлении. Это было нелепо, поскольку в тот день меня и дома не было. Такие детали не стали даже и проверять...

Я все стоял. И тут будто молния осветила мой затуманенный разум. Ванька Ножкин неделю назад снова приходил еле теплый объясняться к товарищу Тарасенкову, и его простили. И меня бы простили, если что. Так что дело было не в моей нравственности. Пока занимался я Пилмахмудом или хлебозаводом, на это просто не обращали внимания. Критика и самокритика ведь тоже составляла часть общего миража. Даже взятка в целый вагон союзному министерству не играла никакой роли в общем победоносном шествии к великой цели. Что там вагон, когда чуть ли не вдвое выросла в Ханабаде урожайность «белого золота». Но вот последний мой материал, который лежал где-то здесь, может быть, в столе у самого Бабаджана Атаевича, нарушал уже саму экологию всеобщего ханабадства.

Да, я покусился на святая святых. Они все, конечно, знали про приписанный хлопок — и Бабаджан Атаевич, и товарищ Тарасенков, и все остальные. Как знали о миллионах приписанных кубометров на канале, о тройной стоимости при строительстве домов в разрушенном землетрясением Ханабаде или о таксе на должность районного прокурора и заведующего торгом. А я как дурак стоял сейчас перед ними, все знающими государственными людьми. Я, который начинал свою деятельность с о р г а н и з а ц и и материалов. Могу ли я в чем-нибудь обвинять их? Пусть это мираж — тысячи тонн хлопка, золотые звезды и все остальное. Но ведь на эти небывалые достижения станут равняться труженики колхозных полей в других местах, закипит соревнование, людям прибавится сил. Ханабадская логика в этом случае была неоспорима Мое же великое преступление заключалось в том, что я поставил под сомнение животворную силу

миража, в котором живу и от которого вкушаю свою вполне реальную часть.

Только я ведь точно знаю, что не станут труженики колхозных полей равняться на миражи. Не такие уж дураки ханабадцы. По примеру Амана-Батрака сами они станут приписывать хлопок, кубометры, жилье, покупать и продавать хлебные должности. От миража может родиться только мираж. Чем закончится вся эта гонка?..

В глазах Шаганэ мелькнуло вдруг какое-то чувство. Это был испуг. Она подумала, что я могу сказать что-нибудь такое... касающееся ее. Я повернулся и вышел.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Нам осталось сообщить читателю совсем немного. Метод ханабадского реализма, которого мы неукоснительно придерживаемся, требует от произведения оптимистического звучания. Все на самом деле и закончилось самым замечательным образом.

И произошло это совершенно в ханабадской традиции. В одно прекрасное утро республику будто током пронзило. Никто толком ничего не мог сказать, но все тем не менее знали: свершилось! К обеду стали выясняться подробности: идет пленум ЦК, и присутствует на нем неожиданно прилетевший ответственный товарищ из Москвы. Назовем его, как по-простому называли его в то время компетентные люди. Прямо из руководства комсомолом перешел он на высокую партийно-государственную работу и, благодаря счастливому сочетанию молодости и ханабадской твердости, получил кличку Железный Шурик.

Три дня непрерывно шел пленум и ночами еще — заседания бюро ЦК. Благодаря уже упоминавшейся нами системе «мышмыш» в Ханабаде знали все, что там происходило. Бабаджан Атаевич начисто отрицал предъявленные ему обвинения в нескромности и некоторых других недостатках руководства, но когда из определенного ведомства были представлены соответствующие данные, вынужден был прямо, по-партийному признать их. Так он подтвердил сожительство с Шаганэ, объяснив его болезнью жены и высоким ханабадским чувством, воспетым поэтами. А что терьяк принимал, так это в целях подкрепления сил для успешного выполнения поставленных перед республикой задач.

Многое рассказывали и о Шаганэ. Несмотря на признание Бабаджана Атаевича, она отреклась от всего. Только когда Железный Шурик показал ей какие-то фотографии и сказал, что вынужден будет ознакомить с ними членов бюро, она разрыда-

лась и написала в объяснении, что Бабаджан Атаевич принуждал ее ко всему нехорошему, используя свой авторитет.

Шаганэ отрицала и то, что ей делали дорогие подарки: новый автомобиль «Волга» на имя племянника, венгерский гарнитур, норковую шубу. Приходилось это доказывать с помощью неопровержимых свидетельств в виде прослушиваемых записей. В конце концов она упала в обморок и ее увезла «скорая помощь». Когда же на следующее утро бледная и отрешенная, она пришла на бюро, Железный Шурик ровным голосом перечислил ей цену и приметы двадцати восьми ханабадских ковров, которые она в эту ночь перевезла со своей квартиры и дачи к родственникам...

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Дело давнее, и Ханабад с тех пор видел такое, что какая-нибудь жалкая шуба или двадцать восемь ковров покажутся ему мелочью, не стоящей упоминания в художественной литературе. Так что сразу же сообщу результат пленума. Бабаджан Атаевич и Шаганэ были выведены из бюро ЦК и направлены на другую работу: он директором строящейся ТЭЦ, она — заведующей областным отделом культуры...

Железный Шурик лично пригласил меня к себе. Когда в присутствии нового первого секретаря ЦК, товарища Тарасенкова и других членов бюро он пожал мне руку и сказал, что я действовал правильно, как настоящий партийный журналист, то вместо того чтобы поблагодарить за доверие, я стал что-то говорить об Амане-Батраке, хлопковых приписках и прочем, не имеющем отношения к делу. Само собой разумеется, это было воспринято, как несерьезное поведение.

— Да, да, мы разберемся в этом. Только не надо забывать и о силе примера,— сказал Железный Шурик.— Нам нужны маяки!

Я даже не понял сначала, о каких маяках он говорит.

Пришла пора уезжать мне из Ханабада...

ЭПИЛОГ

И вот опять я в Ханабаде. Внизу, у бетонного парапета гостиницы «Ханабад», меня ждет не совсем новая, но все же черная «Волга». Традиция соблюдается. Кто-то из руководства, поездив на ней полгода, берет себе новую машину, а старую отдает в редакцию «Ханабадской правды», подтверждая свое

подлинно ханабадское уважение к печати. (Помните, Мамед-хан в знак благоволения дарил халат с собственного плеча!) За все время работы в Ханабаде я ни разу не видел, чтобы редакции выделили сразу новую машину. А свою персональную «Волгу» мне предоставил на целый день мой старинный приятель Женька Каримов, нынешний редактор «Ханабадской правды».

Я сажусь на устланное ковром сиденье (чисто ханабадская деталь!) и еду по бетонным плитам мостовой мимо бетонного здания знаменитой ханабадской библиотеки, бетонированных скверов, кафе, причудливых бетонных монументов и изваяний. Ханабад всегда шел впереди прогресса, и пока где-то еще раскачивались с освоением этого экономически выгодного и красивого строительного материала, заковал в бетон даже аллеи своего ботанического сада. Бетон и солнце — какое истинно ханабадское сочетание элементов!

Но вот бетон кончается, и я сразу вижу то, ради чего ехал сюда. Солнечные лучи отвесно падают на раскаленный песок, и совсем невдалеке передо мной, как бы паря в воздухе, плещут волны неведомого моря. Ветер колышет тростники, окаймляющие голубой залив и, кажется, вот он, совсем рядом, сказочный оазис в безжизненой, прокаленной пустыне.

Мы подъезжаем ближе, но мираж не исчезает. Он обретает вполне материальные черты: вода, качающиеся метелочки тростника, набегающие на берег волны. А еще хруст кристаллической белой пудры под ногами с промоинами черной соленой жижи, где сразу увязают ботинки. И запах гнилостного цветения — здесь, в сердце пустыни. Ядовито-зеленая пленка покрывает воду до горизонта, и даже змеи здесь не живут. «Сталин сказал — и расцветут Каракумы!» Что же, пророчество сбывается. Первородно чистая вода с мировых ледников, тысячелетиями разумно и естественно напояющая прокаленную солнцем землю и равномерно питающая уникальное море посредине великой ханабадской равнины, в рукотворной стихийности разлилась по пустыне, подтягивая со дна древних морей убивающую жизнь соль, и мираж обратился в реальность. Горько-соленая мертвая вода явилась детищем такого противоестественного процесса. Я долго смотрел вдаль, стремясь увидеть пальмы и белые города, но все было серо и буднично. Полуутонувший в прибрежном песке трактор валялся на том берегу. Подлинный мираж исчез из пустыни...

Что же, и я, в силу своих возможностей, приложил к этому руки. Разве не требовал я со страниц «Ханабадской правды», чтобы вода текла вверх вопреки тектоническим процессам поднятия суши? И не я ли потом взахлеб хвалил того же инженера и генерал-майора государственной безопасности одновременно

за новый, пробойный способ строительства канала. Я вдруг ясно увидел выражение его лица в тот исторический момент, когда водяной вал, сокрушая тысячелетние барханы, ринулся в пустыню. Хорошо знакомое мне бешеное веселье плясало в его умных, по-запорожски хитроватых глазах: «Получайте, что хотите, черт с вами!» И еще некая усталость виделась в его плотной фигуре с опущенными плечами...

Ну, а что можно сказать о нынешнем Ханабаде? Целый день я ездил и ходил по его весям и долам, испытывая радостное чувство узнавания. Что происходило здесь все эти годы и десятилетия, читателю достаточно известно из газет. Если подытожить, то это можно выразить одной фразой. Ханабад, как и весь наш народ, шел величавой поступью к сияющим вершинам. Меньше всего здесь было каких-либо отклонений от намеченного курса. Просто ханабадцы, в силу своего опыта, в большей степени опираются на реальности, чем на миражи, в результате чего время вытолкнуло их на передний план политической жизни. Адыловщина, рашидовщина, кунаевщина — всё это, в основе своей, достижения всеобщего ханабадства, получившие тут лишь соответствующую историческую окраску.

Поэтому не стану вдаваться в социальный анализ происходящего — это задача серьезных ученых-ханабадоведов. Расскажу лишь о том, что я увидел своими глазами в сегодняшнем Ханабаде в сравнении с Ханабадом четвертьвековой давности.

Для этого, как и во все времена, следует посетить базар. И вот там-то я уже не увидел невозмутимых стариков с большими трудовыми руками, библейскими бородами и благородным спокойствием в глазах, продающих, словно дарящих, матовый, с ожогами от солнца, виноград, белый фарабский лук, сладкую яблочную редьку, янтарную морковь. Три-четыре женщины предлагали катык, изготовленный из магазинного молока. Приезжий из дальних мест человек раскладывал маленькими сморщенными ломтиками сушеную дыню. Стоила она в двенадцать раз дороже, чем тридцать лет назад. Я невольно подумал, что именно настолько за эти годы Ханабад обогнал Францию по количеству философов на душу населения...

А будущие философы с юными беззаботными лицами заполняли до отказа перегретые бетонные улицы, скверы, открытые кафе, хоть и было самое рабочее, учебное время. И одеты все они были модно, добротно — осмелюсь сказать, что куда более дорого, чем одеваются студенты в Париже. Бросился в глаза некий неестественный перекос, исторический абсурд. Назовем прямо: искусственно навязанный кризис общественных и экономических отношений...

Падение Ханабада! Множество самых разнообразных значений содержит в себе такое утверждение. Что касается истинного Ханабада, то я уже писал, что он никогда не падет, разве что наступит конец света. Как птица-феникс из пепла возрождается он снова и снова, да пребудет так во веки веков. И нынешнее положение его связано не с чем иным, как со всеобщим ханабадством.

Здесь же дело сложнее. Привнесенная не ко времени и месту идея, соединившись с историческим ханабадством, и породила, как уже говорилось, этот чудовищный мутант. Поставленная, в согласии с ее законами, основанием кверху, пирамида неудержимо валится набок, погребая всяческие иллюзии. Строить будущее на фундаменте всеобщего ханабадства не имеет смысла, даже при самом горячем энтузиазме его адептов. Мутанты сами по себе ужасны, но не способны на потомство.

г. Алма-Ата

1987-1989г. г.

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОКОЛ 5
ПАДЕНИЕ ХАНАБАДА 335

Морис Давидович Симашко

ИЗБРАННОЕ В ТРЕХ ТОМАХ

Том второй

Редакторы *Рубцова Г., Крексунова Н.*
Художники *К. Абдикаримов, Л. Тетенко*
Художественный редактор *Л. Тетенко*
Технический редактор *К. Абдикаримова*

ИБ № 4975

Сдано в набор 28.01.92. Подписано в печать 10.09.92. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,2. Уч. изд. л. 30,61. Тираж 50 000 экз. Заказ № 3494. Свободная отпускная цена.

Издательство «Жазушы» Министерства печати и средств массовой информации Республики Казахстан, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «КІТАП» Министерства печати и средств массовой информации Республики Казахстан, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

Набрано в ВЦКП Министерства печати и средств массовой информации Республики Казахстан при помощи АСУТП «Союз» операторами Севидовой В., Родионовой В., Данчевой И., Сабировой Р.